

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ

СОБРАНИЕ



АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ

ДУРАКИ
НА ПЕРИФЕРИИ



СОБРАНИЕ



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

С О Б Р А Н И Е

**АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ**

**ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ
ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ**



**МОСКВА
2011**

УДК 821.161.2
ББК 84(0)5
ПЗ7

Составитель
Н. В. Корниенко

Художник
В. Я. Калныньш

Платонов А. П.
ПЗ7 Дураки на периферии: Пьесы, сценарии / Сост., подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко. — М.: Время, 2011. — 720 с. — (Собрание).
ISBN 978-5-9691-0480-8

В этот том классика русской литературы XX века Андрея Платонова вошли его пьесы, в том числе неоконченные «Избушка бабушки» и «Ноев ковчег», а также киносценарии.

ISBN 978-5-9691-0480-8



ISBN 978-5-9691-0480-8

© А. П. Платонов, наследники, 2011
© Состав, оформление, «Время», 2011
© Н. В. Корниенко, подготовка текста,
комментарии, 2011

СТРУКТУРА
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР.

СТИХОТВОРЕНИЯ. РАССКАЗЫ 20-Х ГОДОВ.

РАННИЕ РАССКАЗЫ. НАПИСАННОЕ В СОВАВТОРСТВЕ.

ЭФИРНЫЙ ТРАКТ.

ПОВЕСТИ 1920-Х — НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ.

ЧЕВЕНГУР. КОТЛОВАН.

РОМАН. ПОВЕСТЬ.

СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА.

СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА. РОМАН. ДЖАН. ПОВЕСТЬ.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ 30-Х ГОДОВ.

СМЕРТИ НЕТ!

РАССКАЗЫ И ПУБЛИЦИСТИКА 1941—1945
ГОДОВ.

СУХОЙ ХЛЕБ.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. РУССКИЕ СКАЗКИ.

БАШКИРСКИЕ СКАЗКИ.

ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ.

ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ.

ФАБРИКА ЛИТЕРАТУРЫ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА. ПУБЛИЦИСТИКА.

ПЬЕСЫ

ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ АКТАХ

Действующие лица

ИВАН ПАВЛОВИЧ БАШМАКОВ, счетовод.

МАРЬЯ ИВАНОВНА БАШМАКОВА, его жена.

КАТЯ, дочь Башмакова от первого брака.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ РУДИН, письмоводитель милиции.

ЕВТЮШКИН КАРП ИВАНОВИЧ, председатель комиссии
охматмлада.

АЩЕУЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, секретарь комис-
сии.

ЛУТЬИН ДАНИЛА ДМИТРИЕВИЧ, член комиссии.

МИЛИЦИОНЕРША.

МАЛЬЧИК, сын милиционерши.

АЩЕУЛОВА АЛЕНА ФИРСОВНА } жены членов

ЛУТЬИНА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА } охматмлада.

ЕВТЮШКИНА КАПИТОЛИНА СЕРГЕЕВНА

1-й КРЕСТЬЯНИН.

2-й КРЕСТЬЯНИН.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР.

СУДЬЯ.

СБИТЕНЩИК и ТОРГОВКА.

СТРАННИК.

Место действия — уездный город Переучетск.

Русская уездная квартира: комната, кровать, письменный и обеденный столы, радио шипит без толку, две двери, два окна. Сумерки.

Глеб Иванович, письмоводитель милиции, в полумилиционной одежде, болезненный человек, и Марья Ивановна, обильная женщина. Играют в козла. Радио.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. И вот все пишут и пишут газеты: книги в массы, автомобили в массы... там вот еще — культуру — тоже в массы... Прямо как кирпичи летят. Это им сверху так кажется, что внизу массы, а на самом деле эти массы и есть отдельные люди вроде меня, и даже любящие... Козлом вы остались, Марья Ивановна. И, например, любовь. Вам сдавать, Марья Ивановна. Выйдешь в поле, птички поют, луна держится. А в милиции у нас сапогами пахнет. И всё приводы и приводы — пьяных. А пьяные все знакомые, и регистрируешь на память: лучше б они не приходили. Хожу под вас с пикей, Марья Ивановна. А вы говорите — жизнь! Грущу я все время от ваших слов, Марья Ивановна, и собираюсь в губгород уехать — на время, конечно, так как не могу от вас своими силами оторваться...

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Грустный ты человек, Глеб Иванович. Надоели вы мне все, скорбящие. Хоть бы ты скорее в начальники выходил. Живу я среди вас и презираю.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Бью влетом.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А я бы с моим удовольствием в милицию поступила. Я бы ваших рьяных сразу всех в православную веру поставила бы. Сама бы ходила с револьвером, в сапогах и галифе. Пила бы за всех пьяниц сразу и любовников выбрала бы по своему усмотрению, которые нравятся... И ездила бы верхом, как начальник милиции.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Что это вы говорите, Марья Ивановна, какие слова вы все повторяете... Берите выше.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А когда ты мне чулки принесешь? — Вторую неделю обещаешь.

Входит муж Иван Павлович, пожилой человек, уезженный временем, с невероятными усами.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*раздеваясь, снимая сапоги и подвешивая их в специальном мешочке на специальном блоке к потолку, вешая на гвоздь пиджак, оставшись в чулочках и жилете*). В козла играете? — А коз небось не подоила? Здравствуйте, Глеб Иванович. (*Указывает на радио.*) Заткни дьячка.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Мое почтение, Иван Павлович, — как поживаете?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Спешу. Маша, убирайся скорее. Сейчас отзаседает текущие моменты и явится...

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. И как теперь выражаются? Вы не знаете, Иван Павлович, как, например, моменты могут течь?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Как они текут, меня не касается. Сейчас комиссия придет, отзаседает моменты и придет.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Какая комиссия?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Узкий состав охматмлада — охрана матерей и ихних младенцев... А вы разве не знаете? (*К Марье Ивановне.*) Придет обследовать социальное положение, основные статьи нашего бюджета, как живем и на что расходуемся. Убирайся лучше. Чтобы пострашнее было.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. А мы тут с Марьей Ивановной обсуждаем про милицию. Очень хочется ей стать милиционером.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Она еще не такое захочет, только допусти ее до нашего уровня положения.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. С вами захочешь. А доктор документ дал?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Дал. Беременна. Вставай, убирайся лучше.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А раз я беременна, убирайся сам.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Опять скандалишь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Раз я беременна, мне двигаться невозможно. Ты мудришь, и я тебе не попутчица в твоих мудрствованиях.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Марья Ивановна, вы беременны?

Иван Павлович учиняет в доме малый погром, растаскивает стулья, вынимает грязную ветошь, переворачивает некоторые вещи вверх дном.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ (*в волнении*). Иван Павлович, объясните толком причину происхождения комиссии.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*кричит во внутреннюю комнату*). Катька, иди помогать отцу! (*Глебу Ивановичу.*) От первой жены в дореволюционный период...

Входит двенадцатилетняя дочь Катя.

(*Дочери.*) Положи на стол вареной картошки, со шкуркой. Ешь жмых. Кинь шубу на кровать.

Катя приносит старый козжух. Иван Павлович и Катя работают над расстройством квартиры, лишь на письменном столе наводится тщательный порядок.

От первой жены в дореволюционный период у меня есть трое детей. Один на рабфаке, другой сын остался расти при старой жене, когда мы развелись. Катька при мне. И я считаю — прилично и достойно. У немцев есть «цвай-киндер-системе». После революции я рожать не могу. Я получаю по седьмому разряду семнадцатиразрядной сетки, а нагрузку от меня отняли. Пускай рожают руководящие лица. Я родить не могу.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Да вам и невозможно, Иван Палыч.

КАТЯ. А вот есть стихи, пионеры поют:

По неизвестным никому причинам
Постановила нарком Коллонтай,
Чтобы рожали только мужчины,
Хочешь не хочешь, лопай, а рожай.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Цыц, ты!.. Это только так говорится, что женщины рожают. А теперь хотя в городе и равенство на женщин, а все расходы на мужчинах. Ты эти песни брось, я их уж слышал по трубе из Москвы... Унеси стул, принеси вместо него ящик, — не до стихов тут.

Катя уходит со стулом.

(*К жене.*) А ты смотри в окно, слушай комиссию... Целое учреждение по одному делу придет, а бесплатно. Человек теперь дорог, особенно пока он рожаться хочет...

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Так чего же вы желаете, Иван Павлович? — Комиссия-то тут ни при чем, раз вы правовые родители?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Чего я желаю? — Я желаю — не родить. Я уже родил свою норму. А без комиссии нельзя сделать аборта, на основании обязательного постановления. А закона нарушать не могу — по своим политическим убеж-

дениям: иначе меня со службы тихо выкинут. У нас есть законное постановление во всеуездном масштабе, что аборт можно делать только с разрешения охматмлада.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Иван Павлович, да ведь это же против естества; против мировидения.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Естество здесь ни при чем. Естеством одни собаки живут, а мы люди, наше дело — социальные условия.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ (*к Марье Ивановне*). Ну а вы-то, Марья Ивановна, вы-то? — Где же ваша доля? — Вы ведь будете вроде мамыши?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А ну вас, у меня в голове от ваших разговоров целый гул гадов... Иван Павлович меня прямо загонял бюджетом. Уйду я от вас в разбойники: у вас все силы не на жизнь, а на учет уходят, а мне одна домашняя доля остается...

КАТЯ (*высовываясь из-за двери*). Папаня, там целых два ящика. Только я их не дотащу, — ты иди волоки, я тебе покажу.

Иван Павлович уходит за ящиками.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ (*хватая за руки Марью Ивановну*). Марья Ивановна, что же вы мне не сказали, что у вас ребеночек-то будет! — Ведь ему особое питание потребуется... Ведь я вижу, что Иван Павлович неспособен родить, ему революция душу отшибла. Ребеночек-то ведь мой, получается... Марья Ивановна, сподвижница, — ведь ребеночек-то, получается, наш с вами, мой то есть... Да ведь я для этого факта... Марья Ивановна, — наш?! Вы родить не бойтесь, все родят, и ничего, службу получают и живут до старости. Я от вас никогда не отлипну, буду как страстотерпец при вас. У меня все принципы повысились до высшего разряда... Наш?!

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Может, и наш. Знаю, что мой.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Ну а как же ты — родить-то будешь? — К чему эти комиссии-то?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А пущай мудрит, может, льгота какая будет. Двинуться мне некуда от вас, а то бы я вам показала, как бедной женщине родить!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Ну его с комиссиями. Давай вместе жить по всем принципам и в теплой тишине.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Подождем — увидим. Нашелся тоже родитель по шестому разряду. Я у тебя две недели чулки просила. Вон какие фильдеперсовы поступили в епо, а ты — принципы!.. То всеобщая равная свобода, а то принципы. Ты что — по принципиальности в любовники ко мне влип?

Иван Павлович волочит два ящика и устанавливает их около стола.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Идут! С той улицы! Маня, ляжь, вроде как нездоровится, вроде как тошнит. Глеб Иванович, сядьте к столу, читайте любую книжку, а я буду работать, — на службе всего не поспеваешь. Я кое-что упорядочу для вида. *(Садится к столу, листает бумаги.)*

Марья Ивановна ложится на бушлат. Пауза.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Вот в газетах пишут, Иван Павлович, — радио в массы, чудеса науки и техники в массы, прочие отношения — тоже в массы. Только успевай ловить. Я, конечно, понимаю, что вас принцип мучает с абортom, но, думаю, надо подойти к вопросу индивидуально, без массового масштаба. Швырнуть ребенка в массы нельзя, он в воздухе растворится, как падучая звезда.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Мы живем в настоящие времена, а не в будущее. По нашим временам человек должен выполнять общественные функции, а также лично жить и наслаждаться. Я послужил для общества тремя детьми, а теперь служу счетной работой.

Пауза.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я бы, Иван Павлович, все-таки родил бы...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну и родите на здоровье, а этот вопрос оставьте открытым, как внутрисемейного происхождения.

Пауза.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Вот в губернском органе пишут — рачья чума кончилась.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Чего?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Опять раков есть будем. В газете написано — кончилась рачья чума. Пятнадцать лет продолжалась и самостоятельно кончилась без научных забот. За это время дети выросли, не видя раков.

Пауза.

А то вот у нас в Заречье, — мужики, со зла на кооперацию, сельским сходом магазин госспирта закрыли. Плавают за водкой через реку на пароме. Большая опасность для милиции. Многие тонут... Организовать бы у нас общество спасения на водах.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Глеб Иванович, у меня новый ребенок в едоки просится, а вы мне спасением раков голову морочите.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Уйду от вас, чертей, в разбойники, в леса, в атаманы, в батьки и матки.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Опять скандалишь? Упорядочь ты себя, пожалуйста, хоть для комиссии!

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Жила бы в лесу и пела бы песни. Налетела бы набегом на ваш город, взяла бы его в плен и супруга моего либо к стенке, либо в золоторотный обоз, заниматься учетом контроля. Я бы тебя, учетного беса, каждое утро по морде бы била.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Опять скандалишь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Надоели вы мне все до скуки. Прямо от петли живу с вами!..

КАТЯ (*вбегая со двора*). Идут! Что мне делать?!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Садись, учись! — Марья, Христом Богом тебя умоляю от чистого сердца, — не скандаль при комиссии!.. Лежи и болей!

Входит комиссия, председатель Евтюшкин Карп Иванович, сухоречивый человек, бывший санитар, — секретарь Ащеулов Василий Степанович, бородастый выдвиженец, — и член комиссии Лутын Данила Дмитриевич, ротный лекпом. У двери становится во фронт женщина-милиционер.

АЩЕУЛОВ (*здороваясь по-домашнему со всеми и с трепещущей Катей за руку*). Мое почтение! (*Официально.*) Здесь проживает...

ЕВТЮШКИН (*официально, ни с кем не здороваясь*). Здесь проживает гражданин счетовод Башмаков с женой и семейством?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Да-с, я и есть Башмаков... Моя фамилия произносится вслух — Башмаков... Чем могу служить? — Удостоверение личности прикажете предъявить?

Комиссия садится в шапках вокруг стола. Члены держат в квартире себя, как татары в Древней Руси.

ЕВТЮШКИН. Не требуется. Мы есть узкая комиссия охматмлада. От вас поступило заявление о желании применения аборта к вашей супруге. Врачебная комиссия, освидетельствовав вашу супругу, нашла ее состояние здоровья в полном блестящем положении, и даже констатировала, что даже полезны дети от таких блестящих густых матерей. Нам теперь надо обследовать ваше матерьяльное положение, поскольку вы есть член профсоюза и ссылаетесь на имущественную маломощность... Товарищ Ащеулов, пиши протокол. Лутьин, приступи к осмотру движимого и его санитарного состояния. На дворе скотины никакой не имеется?

Лутьин лезет под кровать, под столы, тащит рухлядь, нюхает вещи и пр.

КАТЯ. Имеются две козы.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Цыц!

ЕВТЮШКИН. С ягнятами?

КАТЯ. Пять козленков. У коз ягнят не бывает. Они не ко-
ровы.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Цыц ты!

ЕВТЮШКИН. Не мешай, девочка, делу. Ты учи свои уроки и сознательно вырастай понемногу. *(К Марье Ивановне.)* Вы и будете потерпевшая?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Вот лежу и терплю, как он *(указывает на Лутьина)* подо мной шарит.

ЛУТЬИН. У вас что — изжога?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Нет, это у Ивана Павловича.

Лутьин шарит по обеим комнатам.

АЩЕУЛОВ *(читает вслух заготовленный бланк)*. Комиссия охматмлада в своем узком составе, из председателя гр. Евтюшкина, К. И., а также члена комиссии гр. лекпома Лутьина, Д. Д., и, наконец, секретаря гр. Ащеулова, В. С., то есть меня, — слушала и постановила, с правой стороны...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Позвольте сделать мне мои устные показания, ради уточнения событий дела. Я есть трудящийся человек. В свое время, а именно до революции, я родил троих детей и разошелся впоследствии, после революции, по кодексу со своей старой женой. Теперь я женат вторич-

но и первой жене плачу алименты. Кроме того, я выполняю общественные служебные функции, состоя в профсоюзе и платя взносы. Но кодекс продолжает действовать. И сверх того немецкую систему «двай-киндер-системе» я выполнил с превышением, то есть родил троих. Так что перед нацией я оправдан как родитель и как трудящийся элемент, служа по счетной линии... Вот, позвольте мне предоставить на рассмотрение комиссии баланс моих доходов и расходов с приложением объяснительной записки. *(Читает.)* Доходы. Жалованье по седьмому разряду семнадцатиразрядной тарифной сетки — 43 р. 72 к. ежемесячно. Козы: 366 стаканов молока в нынешний год как високосный. Считая по две с половиной копейки стакан, итого 8 р. 32 к. в год, а ежемесячно 32 к. целых и 55 сотых. Огород: капуста, картофель, свекла, морковь, огурцы, помидоры, рассада...

АЩЕУЛОВ *(по-домашнему)*. Как капуста, ничего уродилась?

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(Ащеулову)*. Капуста ничего, жаловаться нельзя. Вилка хорошо наливают.

АЩЕУЛОВ. А у нас в деревне, сказывают, — плоха!

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(читает)*. Огород. Капуста, картофель, свекла...

ЕВТЮШКИН *(строго перебивая)*. Да ты говори чохом обций и целый итог.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Итого с огорода в год...

ЕВТЮШКИН. Говори ежемесячно.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Итого с огорода в месяц 3 рубля 44 коп. Экономия от бережной эксплуатации мебели и носильного имущества, через это удлиняются нормальные сроки амортизации.

МАЛЬЧИК *(просовываясь в окно)*. Маманька, Васятка заливается, титьку хочет.

ЕВТЮШКИН. Это еще какой Васятка?

МИЛИЦИОНЕРША. А это мой. Я на этой улице живу. Я отлучусь.

АЩЕУЛОВ. Ступай, ступай. Открывай буфет.

Милиционерша уходит.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Через это удлиняются нормальные сроки амортизации...

ЕВТЮШКИН. Говори чохом и без утайки. А то предадим суду за бюрократизм.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Итого по доходным статьям на дебете 58 р. 32 с половиной коп. Расходы. Алименты первой жене — треть основного жалованья без внутрихозяйственных доходов — 14 р. 64 к. Квартира по ставке с излишком площади — 4 р. 11 к.

ЕВТЮШКИН. Ну, дай сюда документ, я сам обследую. *(Дьячит.)* Отопление, освещение, вата на переделку шубы... А это что?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А это?.. это чулки по три пары в год, мне и жене... На месяц получается чистого расхода...

ЕВТЮШКИН. Ага... Очистка нужника... Покупка кадки... А какая в кадке необходимость?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Кадка намечается для огурцов.

ЛУТЬИН *(выходя из другой комнаты с корзинкой)*. Тут находятся кружева и чистое белье.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А ты это не трожь. Тебя это не касается. Это, может, мое приданое.

ЕВТЮШКИН *(отрываясь от чтения)*. Поставь в сторону. Потом обследуем... Итого ты выводишь ежемесячного сбережения 2 р. 31 к. А где деньги хранишь?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Кто где, а я, как убежденный гражданин, в сберкассе.

ЕВТЮШКИН. Тогда покажь книжку.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я, товарищ председатель... тайна вкладов предусмотрена законом.

ЕВТЮШКИН. Показывай ради существа дела. Я не для формы прошу.

Иван Павлович нехотя ставит ящик к печке, лезет в печной вентилятор, вынимает измазанный в саже пакет, расшнуровывает, достает сберкнижку и пачку облигаций.

ЕВТЮШКИН *(разглядывая сберкнижку)*. 32 р. 77 к. А сколько набежало процентов, того не указано. А облигаций?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Облигаций рублей на сорок.

ЕВТЮШКИН. Покажь.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Точной цифрой 42 р. 50 к. без купонов.

ЕВТЮШКИН (*Ащеулову*). Пиши. Слушали, и осматривали, и обследовали матерьяльное положение гр. Башмакова, он же Башмаков: читается так, а пишется иначе...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Товарищ председатель, убедительно прошу, не заставляйте родить. Лучше я куда-нибудь пожертвую. Родить я никак не могу. Я не хочу увеличивать основные кадры беспризорников. Я свою активность потеряю. У меня бюджет лопнет. Непосредственно умоляю вас.

ЕВТЮШКИН. Ничего, ничего: ты человек честный. Вон в графах на канцелярские принадлежности 17 коп. ставишь, а мог бы госснабжением пользоваться... Может, 500 р. по займу выиграешь.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ (*в волнении*). Товарищи, я не как представитель власти и не как член профсоюза. Я — как отдельный несчастный человек... Она женщина молодая, пышная, уже расцветшая. Ей жить да счастьем жизни наслаждаться, сподвижнице нашей. Нельзя подходить к женщине в массовом масштабе. Она не сумма, а личность, потому что несчастная.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Глеб Иванович, хотя вы и частный представитель, но вы нарушаете закон. А я стою на законе и прошу вас не вмешиваться во внутрисемейные мои условия, как вы не родственник.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я не как родственник умоляю вас. Я как человек будущего.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А у нас не будущее, а настоящее. Будущего сроду не было.

АЩЕУЛОВ. Нам надо, чтобы наши женщины рожали без уstatку. Сколько еще народу потребуется для...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Граждане! Я судиться буду! Меня сократить могут! У меня бюджет лопнет! Я на самом основании закона стою.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Да вы хоть женщину спросите, мученицу самую.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*наступая на Глеба Ивановича*). Нечего ее спрашивать, она здесь ни при чем, она сама знает!..

ЕВТЮШКИН. Ну, вы, — тишина! Тут комиссия заседает. Сейчас тут не дом, а учреждение. Прошу понимать!.. Жен-

щину мы не упустим... Гражданка Башмакова, скажите ваше мнение.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Нечего ее спрашивать, товарищ председатель. Она скандалить будет.

ЕВТЮШКИН. Нам необходимо для существа. Говорите ваше мнение, гражданка.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Убегу я от вас всех и открою шинок. Либо в милицию поступлю. Я желаю быть работницей.

ЕВТЮШКИН. За шинок тебя оштрафуют. А в милиции все равно родит. Говори по существу.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я же говорил вам, что она скандалить будет.

ЕВТЮШКИН. Родить будешь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А то что же?

ЕВТЮШКИН. Ну то-то.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Не говорите с ней. Видите, скандалит!

ЕВТЮШКИН. Молчи для дела. Открываю прения. Товарищ Лутьин, докладай матерьялы вещественного осмотра. Ничего предосудительного, кроме чистого белья, не нашел?

ЛУТЬИН. Нет.

ЕВТЮШКИН. Говори тогда по науке.

ЛУТЬИН. Я от мнения воздерживаюсь и с вами буду солидарен. По-моему — чтобы родить. Объективных сопротивлений нету, а субъектов надо подчинять руководству. Вот мы только корзинку не осмотрели.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Товарищи! Граждане!

ЕВТЮШКИН. Ты молчи. Твое мнение, товарищ Ащеулов.

АЩЕУЛОВ. Безапелляционно — родить.

ЕВТЮШКИН. Беру себе личное слово. Возражений нет? — Позвольте, товарищи, мне резюмировать свою мысль.

АЩЕУЛОВ. Резюмируй ее.

ЕВТЮШКИН. Я принципиально стою на почве зрения, что родить надо неминуемо для пользы народонаселения. Раз мы охматмлад, то на то нас и поставили, чтобы фактически охранять судьбу поколений и тем показывать пример несознательным гражданам и организовывать будущее. Граждане нужны не только теперь, но надо заботиться также заготовкой граждан впрок. Роды женщинам никак нель-

зя прощать — наоборот, их надо учащать по мере темпа... А то и комиссию реорганизовать могут. Возражений против обеспечения будущего населения нет?

АЩЕУЛОВ. Быть не может.

ЕВТЮШКИН. Прения внутри комиссии считаю законченными. Подкомиссию избрать нахожу преждевременным ввиду ясности состояния вопроса. Товарищ Ащеулов, пиши. Комиссия... Письменное заявление и баланс присокупить к делу. Устное заявление гр. Башмакова не считать, так как комиссия его не помнит. Пиши... Комиссия, ознакомившись на месте посредством внезапного и фактического обследования... Комиссия увидела и нашла... Матерьяльное положение удовлетворительно, что подтверждается наличием сбережений и свидетельским показанием делопроизводителя уездной милиции гр. Рудина Г. И. *(показывает рукой на Глеба Ивановича)*. Вот его... А ты зачем здесь оказался?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я в гости пришел.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Он гость, а не свидетель! Не пиши его — он не официально пришел.

ЕВТЮШКИН *(Ащеулову)*. Пиши. Комиссия постановляет... Пиши... Комиссия, состоящая... перечисли нас... постановляет... Гражданке Башмаковой, М. И. — родить! Точка. Ввиду необнаружения к данному делу препятствия.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Прошу вас, не пишите! Не могу я рожать!

ЕВТЮШКИН. Буде же гражданка М. И. Башмакова сделает аборт на частной стороне у кустарной докторицы, то подлежит подвержению штрафа в размере, в будущем усмотренном.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Умоляю вас, не пишите! Я судиться буду! Не могу я рожать!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ *(бросаясь к Марье Ивановне)*. Марья Ивановна! Сподвижница! Родите на здоровье, — на радость и счастье и горе!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Товарищ Рудин! Прошу вас оставить мою квартиру присутствием вон!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Прошу вас в присутствии комиссии не допускать извращений! Я говорю на основании постановления!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А я говорю, вон ступайте!

ЕВТЮШКИН. Заседание комиссии объявляю закрытым. Членов комиссии прошу от семейного скандала следовать за мной. До свиданья, гражданин Башмаков. Счастливо размножаться! Позовите к себе на октябрины, принесу подарок от комиссии.

Евтюшкин и Лутьин идут к двери. Иван Павлович следует за ними. Ащеулов дописывает, складывает бумаги.

ЛУТЬИН. А корзину мы недосмотрели.

ЕВТЮШКИН. Наплевать!.. Я раньше ее видел...

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Прощайте, Марья Ивановна. Ваш муж меня отстраняет, но я от вас, печальной, сам не отойду.

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(поспешно обуваясь и надевая пиджак)*. Во имя спасения человечества прошу вас!.. *(Глебу Ивановичу, тихо.)* Убирайся отсюда к черту, инородное тело... *(Громко — комиссии.)* Не губите жизнь, не родите детей! *(Убегает им вслед, толкая перед собою Глеба Ивановича.)* Я судиться буду!

Все уходят, кроме Марьи Ивановны, лежащей на кровати, и Ащеулова, складывающего бумаги.

МАРЬЯ ИВАНОВНА *(вскакивая с кровати навстречу Ащеулову)*. Васька, голубчик мой милый, ребеночек-то ведь твой!

АЩЕУЛОВ. Да ну?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ей-богу, твой.

АЩЕУЛОВ *(озабоченно)*. А не врешь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Не вру. Ты сам пойми, какой он теперь человек! — Он человек дореволюционный, ты маломощность его прими во внимание. Он после революции от службы живет со слабостью сил.

АЩЕУЛОВ. А может, еще кто?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ей-богу, фактически ты.

АЩЕУЛОВ. Ты смотри. Ты прими во внимание мое положение. Я человек служебный, выдвинутый из гущи.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ну-к, что ж?

АЩЕУЛОВ. Хотя, впрочем, это я могу. У меня природа низовая, я человек тугой.

МАРЬЯ ИВАНОВНА *(радостно)*. Подлецы вы все, мужики! Вам радость и власть, а нам последствия.

АЩЕУЛОВ. А что это ты сказывала, — шинок открываешь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Вот ты какой! Я тебе про ребенка, а ты шинку обрадовался.

АЩЕУЛОВ. Я не радовался. Это надо с умом делать. А то оштрафуют. А раз комиссия постановила, теперь рожай. Ты живи при муже, как жила, а комиссия тебя не оставит без надзора. Она не человек, а организация.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Васька, давай уйдем в разбойники...

АЩЕУЛОВ. Это для какой причины?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Для вольной жизни. Будем всех грабить, песни петь. Учетного пса к стенке поставим и шлепнем его на заре!

Входит женщина-милиционер.

МИЛИЦИОНЕРША (*ревет по-бабьи*). Касатики, родить порешили... Вот она, наша бабья доля. Всегда решают...

Входят Иван Павлович и Катя.

КАТЯ (*прыгая на одной ноге*). А теперь можно не учить-ся? Все равно велели рожать. Теперь можно ставить вещи на место?

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*в самоуглублении*). Родить? А? — разбойники!

АКТ II

Камера уездного нарсуда. Плакаты, лозунги, скамьи, перегородка. Заседание суда. На скамье ответчиков — комиссия охматмлада в узком составе. На скамье истцов Башмаков. Сзади ответчиков на скамье для публики две жены членов охматмлада: Лидия Павловна Лутына, оособразная женщина, и Капитолина Сергеевна Евтюшкина, солдатообразная женщина. У дверей милиционер-женщина. За судьейским столом судьи. Уездный, крестьянский народ. Идет заседание. Превеликий шум. Все стоят. Комиссия орет в сторону Башмакова. Башмаков кричит на суд. Жены теребят мужей. Судья звонит.

ВОЗГЛАСЫ. Тише!.. Именем!.. Мелкая подворность!.. Это ты с ней живешь!.. Я тебе дам детей рожать!..

СУДЬЯ (*орет*). Тише! Тише, граждане! Всех опорожню из зала! У меня ум потух! Милиция!

ЕВТЮШКИНА. Товарищ судья, пусть он признается, жил он с ней или нет? Это не суд, а слабосудие.

СУДЬЯ. Гражданка Евтюшкина! Вы к суду не относитесь. Милиция, вывести Евтюшкину за руку прочь!

ЕВТЮШКИНА. Как это не отношусь, если мой муж с ней жил? Это ты не относишься! Я с ним разводиться буду! Я член нарпита!

МИЛИЦИОНЕРША. Ну, ты тише, раз ты член. Сиди, не оглашайся.

СУДЬЯ. А раз хотите разводиться, подавайте заявление на бумаге, а не голосом. Милиционер, выведите ее вон!

Милиционерша выводит Евтюшкину.

СУДЬЯ. Гражданин Башмаков, говорите ясно ваше очередное слово.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Гражданин судья. Никто ни с кем не живет. Это она брешет от настроения. Войдите в мое состояние, раз я фактически существую. Я к делу присовокупил все постановления. Из дела вы видите, что я поступаю по закону. Я родить не могу. Не важно, кто природный отец, а важно, кто правовой и фактический и, так скажем, общественный. А общественно-фактическим отцом является комиссия охматмлада в узком составе. Они фактически правовые и надлежащие отцы. Мне не на что возвращать ихнего ребенка. А мои сбережения я внес в деткомиссию, хотя, быть может, и напрасно, — что вы видите из формы дела. Раз они мне предписали ребенка, как фактические отцы, я и про <шу взять> с них алименты в мою пользу.

ЕВТЮШКИН. Это что же такое выходит! Это подрыв работоспособности комиссии!

СУДЬЯ. Молчите, гражданин Евтюшкин, пока вам не указали говорить.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Вот у них в лозунге охматмлада записано. (*Читает.*) «Комиссия фактически охраняет судьбу поколений и тем показывает пример несознательным гражданам и организует будущее. Граждане нужны не толь-

ко теперь, но надо заботиться также заготовкой граждан впрок...» А в резолюции написано, вот ее копия, а подлинник в деле. *(Читает.)* «Комиссия постановляет гражданке Башмаковой, М. И., родить». — Она и родила по их повелению... Гражданин судья, разрешите мне Евтюшкину задать проясняющие вопросы.

ЕВТЮШКИН. Не желаю с ним разговаривать.

СУДЬЯ. Задавайте. Гражданин Евтюшкин, отвечайте суду.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Комиссия охматмлада — может ошибиться или нет?

СУДЬЯ. Можете вы ошибиться или нет?

ЕВТЮШКИН. Никогда не может. Комиссия... в ней нет единоличного начала, чтобы ошибиться. Она не человек, а организация.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я согласен. Комиссия поступила вполне законно, предписав мне родить?

ЕВТЮШКИН. Стало быть, законно, раз мы комиссия.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А стало быть, платите мне алименты! *(К суду.)* Граждане судьи, они сознались! Умоляю вас, предпишите им платить мне алименты. Прошу вас от чистого сердца!

Шум. Крики. Вбегает Евтюшкина.

ЕВТЮШКИНА. Ты мне скажи, ты жил с ней или нет? Судьи, жили они или нет?!

АЩЕУЛОВ. А нас не сократят?

ЕВТЮШКИН. Это что же, на основании закона незаконное получается! Что мы, родоначальники нации, что ли?!

СУДЬЯ. Милиция! Молчите все сразу! Дайте нам задуматься! Молчать! А Я буду фиксировать. *(Толпа стихает.)* Кто хоть слово скажет, сейчас того вон истреблю из зала судебных установлений.

В зале насильная тишина. Звуки сдерживаемых сипов, дыханий, прочее. Судья пишет. Отворяется дверь. Входят два крестьянина с мешком, натываются на милиционершу.

1-й КРЕСТЬЯНИН *(громким шепотом устоявшегося голоса, почтительно и удивленно, принимая женщину по форме за милиционеру, а затем успокаиваясь, видя, что это баба)*. Товарищ милиционер, вот вам заявление подать...

2-й КРЕСТЬЯНИН (*так же сипло*). Потому как мы жена-тые и рожденные в дореволюционный период...

1-й КРЕСТЬЯНИН. Погоди. Как мы два брата. Я — Степан Меринов, а он Логин Меринов. Как он женат в дореволюционный период на Дарье Семеновне с детьми, а я на Фекле Павловне с детьми... Да никак ты бабочка?..

2-й КРЕСТЬЯНИН. То просим...

1-й КРЕСТЬЯНИН. Погоди. То просим аннулировать наши браки с детьми, как зачатые в дореволюционный период, потому как...

МИЛИЦИОНЕРША. Тиш-ша. Р-разойдись!.. — Видишь, суд и то задумался.

СУДЬЯ (*вставая*). Ничего суд на месте понять не может. Нам надо углубиться. Председатель Евтюшкин, хотите выразиться на помощь?

ЕВТЮШКИН. Прямо скажу, ничего не понимаю, что происходит. Однако постановления комиссии правильные. Давайте начнем сначала. Мы предписали родить по закону, а жена мне не дает покою, останавливает текущую работу, и вьелось ей в ум, будто я живу с Башмаковой. Освободите меня от ней, гражданин судья.

ЕВТЮШКИНА. Я сама от тебя освобожусь.

ЕВТЮШКИН (*жене*). Капа, ну чего ты с цепи сорвалась закон нарушать?

СУДЬЯ. А откуда она тут взялась? Я ее опорожнял отсюда. Милиция, гоните ее без отказа вон!

ЕВТЮШКИНА. А ты хоть и судья, а моего мужа не покрывай, должна я его шашни знать!

СУДЬЯ. Гони ее вон маршевым ходом!

Милиционерша выводит Евтюшкину.

ЛУТЬИН. Хотя это дело и темное, но нужно осветить его лучом науки и техники... Ведь это же нарушение дисциплины получается.

ЛУТЬИНА. Спасибо вам, Данила Дмитрич, за такую науку и технику!

СУДЬЯ. Ничего суд на месте понять не могут. Нам надо углубиться. Объявляю перерыв для приговора.

Шум и свалка. Вместе со сбитенщиком и торговкой горячими пирожками врывается Евтюшкина. Жены лезут

на мужей, мужья на Башмакова, Башмаков прячется за милиционершу.

СБИТЕНЩИК и ТОРГОВКА (всю картину). Сбитень-сбитень горячий! Пирожки горячие, на огне паруют, в животе жируют!..

ЕВТЮШКИН (Башмакову). Иван Палыч, это вы какими сознательными чувствами придумали такое безобразие? Ведь этак скоро весь город к нам на сознательные алименты поступит, вы нарушаете нашу установку.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я, Карп Иваныч, государственный житель, я все обдумал государственными мозгами, на основании законов.

ЕВТЮШКИН. Комиссия...

АЩЕУЛОВ. Карп Иваныч, Карп Иваныч, Карп Иваныч-жа!..

ЕВТЮШКИН. Чего тебе?

АЩЕУЛОВ. А нас не сократят, на периферию не отправят?

ЕВТЮШКИН. На периферии одни дураки живут, а мы в уездном центре...

ЕВТЮШКИНА. Это что же такое?! — Люди с женой имеют семейные отношения, а вы вмешиваетесь поперек, велите им родить против их воли.

ЛУТЬИНА. Знаем мы, почему вы чужую породу продолжаете.

ЛУТЬИН (жене). Лида, попей сбитню...

ЛУТЬИНА. Вы уж Марью Ивановну сбитнем угощайте! Научные средства знаете, а мне аборт потихоньку делаете!

ЕВТЮШКИНА. Знаем мы эту вашу охрану своих младенцев от чужих матерей. Это чтобы я поверила, что вы ради закона рожаете, а не так...

ЕВТЮШКИН. Бабы, ешьте пирожки! Питайтесь!

ЕВТЮШКИНА. Это чтобы поверить, это чтобы поверить, чтобы люди ради должности родить могли, чтоб...

ЕВТЮШКИН. Жены, отстаньте от нас! Дайте нам подумать.

ЛУТЬИН. Карп Иваныч, надо обсудить, чтобы не перегибать линии. Ведь одно искривление получается.

ЕВТЮШКИН. Гони баб, раз они не члены! (Комиссия оттирает женщин.) Дайте нам сознательно обсудить! Дайте

хоть одно мероприятие выпустить! (*Теснят женщин.*) Комиссия... гражданки... я как единоличный председатель комиссии... женщины, сократите от нас вон!

ЕВТЮШКИНА. Не уйдем мы от вас с пустыми руками!

ЛУТЬИНА. Поговорите, поговорите, — мы слушаем последний раз!

АЩЕУЛОВ. Дайте нам обсудить служебное положение!.. Карп Иваныч, Карп Иваныч-жа!.. С протоколом будем писать или так?

ЕВТЮШКИН. Как хочишь: ты сам теперь думай, видишь — я руковожу!

ЛУТЬИН. Надо бы с протоколом, ведь комиссию привлекают, а комиссия устно функционировать не может.

ЕВТЮШКИН. Вынимай бланк!

Ащеулов готовится на ходу писать. Комиссия лезет на Башмакова.

ЕВТЮШКИН. Гражданин Башмаков...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Граждане подсудимые, прошу вас очистить своим присутствием от меня!

ЕВТЮШКИН. погоди, ты нам даешь свои показания!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Не желаю я вам давать своих показаний. Будет! Надавался уже!

ЕВТЮШКИН. Как это не желаешь давать показания официальной комиссии?!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Будет, давал уже на свою голову. Ваша комиссия для детей, а не для возмужалых. Я и так уже от вас пострадал.

ЕВТЮШКИН. Нет, ты погоди!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Гражданин женщина-милиционер! Прошу вас охранить мою неприкосновенность личности!

МИЛИЦИОНЕРША (*к комиссии*). Не трожь скорбящего человека.

ЛУТЬИН. Давайте обсудим по точному существу... Карп Иваныч, председательствуй по плану.

ЕВТЮШКИН. Комиссия... кто желает высказаться?

АЩЕУЛОВ. А нас не сократят?

ЕВТЮШКИН. Нас сократить не могут, нас могут только реорганизовать.

ЛУТЬИН. Погоди ты каркать. Может, суд нас еще поми-
лует.

ЛУТЬИНА (*мужу*). Так и знайте, муженек, если судья
присудит вам платить, разведусь я с вами вон.

ЛУТЬИН. Лидочка, перестань волноваться. Съешь пи-
рожка!

ЕВТЮШКИН. Не мешай течению обсуждения. Может,
еще не присудят.

АЩЕУЛОВ. Отстаньте от учреждения.

ЛУТЬИН. Женщины, Лида, дайте я вам исчерпаю вопрос,
только дайте нам подумать. Может, с нас алиментов и не
возьмут.

ЕВТЮШКИН. Суд еще ничего не выдумал.

ЛУТЬИН. Наше учреждение поставлено заботиться о со-
хранении гражданского населения для будущего.

ЕВТЮШКИН. Солнце, например, оно тоже видимый ад-
министративный центр. Ведь оно нагревает землю, про-
изводит теплоту, и про то произрастают всякие растения,
даже ненужные, вроде Башмакова... А люди кормятся... Так
и комиссия...

ЕВТЮШКИНА. Что же, по-твоему, и дети от одной голой
теплоты рождаются?

ЕВТЮШКИН (*теряя терпение, усиленным служебным
басом*). Беру слово себе. Дело не в голой теплоте комиссии
и не в солнце. Комиссия... я как председатель говорю без от-
ступлений от инструкций... Комиссия не нашла в бюджете
Башмакова узкого места. Четкая линия закона...

ЛУТЬИН. Товарищи, мы с женщинами не столкуемся,
а суд сейчас грянет. Нам надо внутри комиссии сговорить-
ся. Пойдемте заседать в мужскую уборную, туда женщин не
пускают.

АЩЕУЛОВ. Правильно. Идемте всем скопом!

ЕВТЮШКИНА. Так и знайте, если суд назначит алимен-
ты, разведемся навеки!

Комиссия поспешно идет к двери, женщины за ними.

ЛУТЬИН (*жене*). Лида, ведь мы от своих отступлений по-
ступить не можем.

ЛУТЬИНА. Желаете с нами жить — отступите!

Уходят.

СБИТЕНЩИК и ТОРГОВКА. Сбитень! Сбитень! Пирожки горячие, сами паруют, сами жируют!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Дай пару! (*Покупая пирожки, к торговке.*) Кто хотел ребенка? Я или они.

ТОРГОВКА. Они.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А раз они, пусть надлежащие органы и рожают. Я здесь ни при чем.

ТОРГОВКА. Колхозом рожать лучше... А супруга-то где?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Она в больнице лежит. Я заявление в суд за две недели подал, чтобы алименты были к факту родов и чтобы не скандалила.

РЕПЛИКИ. От голой теплоты невозможно, в ней вещества нет.

— Тогда и в загнетке может родить.

— Блоху, например.

— Нет, загнетка не может, в ней сырости нет.

СУДЬЯ (*выходит и покупает пирожки*). Пять штук.

МИЛИЦИОНЕРША. Скоро начнете?

СУДЬЯ. Сейчас кончим. У нас весь разум вытек.

Судья уходит. *Входит мальчик с грудным ребенком на руках.*

МАЛЬЧИК. На, мамашка, покорми!

Милиционерша отворачивается, расстегивает мундир, кормит ребенка спиной к зрителю.

РЕПЛИКИ. Вон милиции добро, родит — не парует, никому не жалуется.

— Она действует по натуре закона, ей иначе нельзя.

МИЛИЦИОНЕРША. Тише там! Сейчас суд выйдет!

РЕПЛИКИ. А вы по какому делу здесь?

— Приезжал к нам иностранец, по профессии турист, ихний гад, проделал в стене дыру в женскую уборную на вышине потолка и висел там, как паук, пока не измучился. Фамилия его Гуго Ванцентович Прохадзько, а классовая принадлежность неизвестна. Женщины от этого объявили забастовку и перестали ходить в уборную. А мы дали им ход в суд. А он уехал по своей профессии.

1-й КРЕСТЬЯНИН (*милиционерше, вынимая из мешка куст крыжовника с корнем; ствол куста обвязан веревкой,*

и висит бланк с печатью). Так, вот, бабочка-постовой... Ты слушаешь, ай нет?

МИЛИЦИОНЕРША (*не обращиваясь*). Слухаю, слушаю, ай вас не услышишь?

1-й КРЕСТЬЯНИН (*с корнем*). Так вот одно дело мы тебе изложили, как мы просим аннулировать наших жен как заведенных в дореволюционный период. А теперь вот у меня какое дело... Ты слушаешь, ай нет?

МИЛИЦИОНЕРША. Слухаю-слухаю.

1-й КРЕСТЬЯНИН. Так вот обложили меня неподъемно из-за этого куста... Я, вишь, шесть кустов крыжовника посадил, а седьмой самотеком вырос, не досмотрел я за ним, а он в мочь вошел. А у меня по нему все остальные сельским налогом обложили. Но я вот теперь его вырыл и принес со свидетельством, что я его вырыл, — тут и печать приставлена, чтоб там усмотрели, — да ты глянь на печать-то! — Сынок-то насосался, — ай, дочка?

МИЛИЦИОНЕРША. А ты не допускай, чтобы росли по своей воле!

1-й КРЕСТЬЯНИН. Дочка! Ну, нехай дочка — мала да жива!.. А я ж его и вырвал за это с корнем и с печатью. То-то и горе, что само растет, не усмотришь... Так как же мне теперь оправдаться, чтобы по норме в аккурат налог брали, в нитку...

МИЛИЦИОНЕРША. Подавай прошение, чего ж ты молча пришел?

СУДЬЯ (*в дверь, милиционерше*). Сейчас выходим, бросай кормить!

МИЛИЦИОНЕРША (*громко*). Занимай места и садись. Вставай, суд идет!

Все занимают первобытные места. Милиционерша левой рукой держит ребенка, а правой — суду под козырек. Напряженная тишина.

АЩЕУЛОВ. Мужние жены! Прошу вас без скандалу!

ЕВТЮШКИНА. Так и знайте, разведемся!

СУДЬЯ (*дьячит*). Именем... Нарсуд третьего участка, заслушав дело о взыскании алиментов с комиссии охматмлада узкого состава... постановил... принимая во внимание заявление комиссии охматмлада о правильности ее постановления о родах, в силу чего комиссия поступила законно

и вполне принципиально и является хотя и не природным, но фактическим отцом ребенка Башмакова... в силу ее постановления о рождении и дальнейшем существовании... С другой же стороны, принимая во внимание социальное положение гр. Башмакова, И. Пе, а именно дореволюционного солдатского писаря из крестьян-отходников... А также принимая во внимание вынужденную законность действия гр. Башмакова, И. Пе, подтвержденную его бюджетным реестром, дабы поддержать максимальный уровень правосознания в массах... На основании статей гражданского кодекса... постановляется... Комиссии охматмлада узкого состава платить алименты гр. Башмакову, И. Пе...

В зале шум.

ЕВТЮШКИНА. Разведусь!

ЛУТЬИНА. Очень культурно!

СУДЬЯ. Ма-а-лчать! (*Дьячит.*) ...алименты гр. Башмакову, И. Пе, на воспитание рожденного по обязательному постановлению вышереченной комиссии младенца в размере одной трети ежемесячного жалованья без прочих доходов каждого узкого члена комиссии...

ИЗ ТОЛПЫ. А широкого?

СУДЬЯ. Что широкого?

ИЗ ТОЛПЫ. А широким и кооптированным членам не нужно платить?

СУДЬЯ. Нет. Молчать!.. (*Дьячит.*) Постановление суда окончательное и может быть обжаловано в двухнедельный срок.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я вполне праводоволен.

АЩЕУЛОВ. Товарищ судья, объясните своими словами, что я — отец только по действию или только по чистому закону? И меня не сократят за принадлежность к отцовству?

СУДЬЯ. Суд не входит в природное рассмотрение отцовства. Раз вы решили ребенку тому быть, то вы и есть виновники происхождения. Суду не подведомственно знать, кто природный отец.

Комиссия в обалделом трепете. Пауза.

МИЛИЦИОНЕРША. Встать! Суд уходит!

1-й КРЕСТЬЯНИН. А когда же наше дело оправдаешь? — Ведь корень лежит-сохнет.

СУДЬЯ. Какой корень?

1-й КРЕСТЬЯНИН. А вон он у тебя лежит как факт.

СУДЬЯ. Корень? Корень нам не обязательно, чтоб свежий. Нам дорого нарушение закона на чистом месте. А на корень глядеть нечего.

ЕВТЮШКИНА. Разбойники! Разведусь! Будет, пожила с ответственным мужем!

ЕВТЮШКИН. Комиссия... Члены!

ЕВТЮШКИНА. Разбойники!..

АКТ III

Помещение узкой комиссии охматмлада — среднерусское учреждение. Посреди комнаты громадный стол для заседаний, и вообще пусто. Лозунги. Дверь приперта конторкой.

Евтюшкин и Лутьин сидят рядом на столе и тоскуют.

ЕВТЮШКИН. Мы по закону поступили или нет?

ЛУТЬИН. По закону-то по закону, а получается одна слитная тьма.

ЕВТЮШКИН. Против молотка лоб не подставишь, хоть мы и идем вдоль справедливости. Хоть бы Ащеулов скорей пришел.

ЛУТЬИН. А твоя баба как?

ЕВТЮШКИН. Да как и твоя — вторую ночь здесь от нее спасаюсь.

ЛУТЬИН. Неужели разведутся?

ЕВТЮШКИН. Факт — разведутся. Вбить им в голову сочувствие власти никак не возможно. Это же империалистические существа.

ЛУТЬИН. А моя пятый день даже не ругается — вот что самое паршивое.

ЕВТЮШКИН. И моя.

ЛУТЬИН. Значит, у них все в голову поднялось. Надо полагать, разведутся.

Стук в дверь.

(Растерянно.) Опять бабы! Великомученики мы с тобой!

ЕВТЮШКИН (*безразлично, ко всему готовый*). Кто там? — не пустим!

АЩЕУЛОВ (*из-за двери*). Пустите. Это я — член Ащеулов.

Оба поспешно отставляют конторку. Дверь отворяется — и оба пятятся в сторону. Ащеулов входит бритый до омоложения и втаскивает за собою узлы.

ЕВТЮШКИН. Ты что? — Это ты?

АЩЕУЛОВ. Я. А что?

ЛУТЬИН. А где твоя наружность?

АЩЕУЛОВ. А я ее сбрил. А то все сразу узнают, что я настоящий член охматмлада... Что в городе производится — уму не понять!.. Нас все за разбойников считают и даже за хороших людей, как мы на сторону принципиально деньги жертвуем. А зеленей не топчем. Очень большие в городе разногласия... А вы осаду можете снять. Ваши бабы в загс пошли — зачеркиваться. И вот ваше приданое прислали... А с бородой я жить не могу.

ЕВТЮШКИН и ЛУТЬИН (*вместе*). Чего?!

АЩЕУЛОВ. Да вот бурьян снял с личности.

ЕВТЮШКИН. Да мы не про бурьян, а про жен.

АЩЕУЛОВ. Теперь осаждаться не надо, — говорю, пошли расписываться и вот — вещи вам прислали.

ЛУТЬИН. В загс?

АЩЕУЛОВ. Конечно, в учреждение. А то куда же?

ЕВТЮШКИН. А это наши вещи?

АЩЕУЛОВ. Они.

Пауза. Евтюшкин и Лутьин садятся по-прежнему рядом и понуро на стол.

ЛУТЬИН. Мы — что же теперь — холостые, значит?

ЕВТЮШКИН. Да-с, послужили... Вместо пользы дела и покая вышло усложнение процесса. Установку держали на размножение, а сами сиротеем.

АЩЕУЛОВ. И самое главное — все нас в городе за разбойников считают. Мальчишки за мной бандами носят, а в спину из калиток бабы-стервы выглядывают. Пришлось обриться.

Пауза.

Дожились!..

ЕВТЮШКИН. Прямо хоть коллективным рапортом механически сокращайся.

АЩЕУЛОВ. Сокращаться не надо. Все-таки лучше за власть держаться, чем за бабу. Баба дело текущее. Вы не унывайте. Все-таки выгодней алименты платить, чем в низовую деревню возвращаться, там одни массы, а более нет ничего.

ЕВТЮШКИН. Конечно, к грунту из государства возвращаться не стоит...

Пауза.

АЩЕУЛОВ. Члены, принимайте вещи, давайте расписки*.

ЕВТЮШКИН. И нужно же было ребенку происходить!

АЩЕУЛОВ. Я что — теперь занятий нет. Пишите сначала расписки в сохранности вещей, а я в загс схожу, посмотрю, что на улице движется, он же во втором этаже.

Евтюшкин и Лутьин пишут расписки.

ЛУТЬИН. И посмотрите, как у них выражения лиц.

АЩЕУЛОВ. Я смотрел. Выражение лиц скудное. Евтюшкина Капитолина меня по горбу узлом огрела, когда вещи вручала, как приспешника. А я ваших делов не знаю. А в загс пошли с зонтиками, чтобы на них не капало.

Евтюшкин и Лутьин передают расписки.

Поставь число. Расписались непонятно. Волнуетесь, а лебединых хвостиков нарисовать не забыли. Не запирайтесь — я сейчас.

Ащеулов уходит. Евтюшкин и Лутьин сидят по-прежнему и тоскуют. Пауза.

ЕВТЮШКИН. Все-таки запереть надо на всякий случай и вывесить объявление, что прием окончен вследствие рационализации...

Лутьин запирается и садится на прежнее место на стол заседаний.

И может быть, вот в этот самый текущий момент я перевожусь на холостую должность. Лучше бы она меня три недели пилила деревянной пилой, утром и вечером по три часа, а в середине дня по часу... Пускай бы далее на службу ходила мешать заниматься...

* Далее утрачена $\frac{1}{5}$ листа. — Ред.

ЛУТЬИН (*очень грустно*). И все выходит из-за голой идеи.

ЕВТЮШКИН. Вот их тут попробуй и надень, когда они не вещи, а отношения, эти самые идеи...

ЛУТЬИН. Отношения ничего не значат, Карп Иваныч, это не силы природы, это не...

Стук. Оба бегут отпирать. Входит деревенская женщина с продуктовым узелочком — жена Ащеулова, оставшая от мужа в культурном развитии.

АЩЕУЛОВА. Муж-то здесь аль скрылся?

ЕВТЮШКИН. Какой муж?

АЩЕУЛОВА. Товарищ Ащеулов, выдвигенец в начальники.

ЛУТЬИН. В какие начальники?

АЩЕУЛОВА. Да он, сказывают, заведующий над матерями, что ли, по всему уезду... Ай нет?

ЕВТЮШКИН. Над ними. Мы тоже заведующие.

АЩЕУЛОВА (*конфиденциально*). Касатики, обтолкните мне... Сказывают у нас в деревне, будто мой-то в компании с жуликами разбой учинил, — будто втроем они одну бабочку оскоромили, — и будут платить за это большие деньги... Я ему пышек принесла, небось уж всю жалованью отбирают...

ЕВТЮШКИН. Преувеличения. Это все для должности делается.

ЛУТЬИН. Для науки и знания, гражданка.

АЩЕУЛОВА. О! Ньюжли для нее? — и действительно — родили?

Входит Ащеулов.

АЩЕУЛОВ. Готово — разведены! Покупай пшеничной климовки! (*Увидав жену.*) Алена Фирсовна, — это ты, или так?

Лутьин и Евтюшкин покорно садятся на стол, на первобытные места.

АЩЕУЛОВА. Батюшка, Василий Степаныч, ужли ж это вы?

АЩЕУЛОВ. Я.

АЩЕУЛОВА. А где же ваша личность?

АЩЕУЛОВ. Это я ее сбрил для пользы дела, для санитарности. При должности с бородой невозможно.

АЩЕУЛОВА. Ай неволят?.. А тебя без бороды не рассчитают? Тебя за бороду и в город взяли...

АЩЕУЛОВ (*целуя с превосходством жену*). Алена, здесь присутствие, а не квартира.

АЩЕУЛОВА. А я тебе зато пышек напекла. (*Шепотом.*) Говорят, ты разбой совершил над женщиной. Наши мужики велели сказать, что — ничего, мол, чтоб прибегал в деревню, мужики тебя утаят... велели непременно сказать...

АЩЕУЛОВ. Пока еще не требуется. Я живу на рыск.

АЩЕУЛОВА. Ну, спаси те Христос.

АЩЕУЛОВ. Какой Христос? — Бога теперь нет.

АЩЕУЛОВА. Как нет? А где же он?

АЩЕУЛОВ. Не знаю. Только нет.

АЩЕУЛОВА. Это почему ж такое?

АЩЕУЛОВ. А потому что я есть, иначе б меня не было... Ты присядь в уголку на скамейку, а мы пока обсудим. Я ж тут член, тут государственный орган сидит — видишь его?

АЩЕУЛОВА (*оглядываясь*). Где он? — Покажь его мне.

АЩЕУЛОВ. А вот мы втроем... Сядь, отдышься!.. Давай твои пышки-лепешки.

Жена Ащеулова покорно садится в уголку.

АЩЕУЛОВ (*с узелком, к комиссии*). Я, значит, вхожу... значит, в загс...

ЛУТЬИН. А они, что ж, — ничего? — Не плачут?

АЩЕУЛОВ. Нет, — ничего... не плачут. Там ведь тоже учреждение, — там не заплачешь. Стоят рядом, и вид у них серьезный, а в руках зонтики, а дождя нету...

ЛУТЬИН. И ничего?

АЩЕУЛОВ. Ничего.

ЕВТЮШКИН. Вот стервы безначальные...

ЛУТЬИН. А ничего не спрашивали?

АЩЕУЛОВ. А я с ними не говорил. Я смутился...

Стремительно и надменно врываются с зонтами и четвертушками загсовой бумаги жены Евтюшкина и Лутьина. Они безмолвно суют бумажки в носы мужей. Мужья берут бумажки. Ащеулов сторонится от жен — за стол.

ЕВТЮШКИН (*читая с осторожностью*). Загс... Число... Номер... Штемпель и печать. Ничего нет... Только разведена

гражданка Майская... Это какая же Капитолина Майская? — У нас в городе таковой нету...

ЕВТЮШКИНА (*полна презрения*). Это я теперь Майская. Пожила я Евтюшкиной — будет с меня. Закон не только на вас имеется.

ЛУТЬИНА. А я — Трудовикова! Смердите тут разбойниками без нашего пола!

ЕВТЮШКИНА. Я теперь за своего любовника замуж выйду.

ЕВТЮШКИН. А разве он у тебя есть? — Где он служит?

ЕВТЮШКИНА. Конечно, буквально есть!.. Думаешь, только у вас на основании комиссии?!

ЕВТЮШКИН. Ну-ну...

ЛУТЬИН. А у тебя, Лида, тоже?

ЛУТЬИНА. А я вам не Лида больше. И вас не касается, есть или нет... Мы вам документы показали, и платите нам алименты... Идемте, Капитолина Сергеевна!..

ЛУТЬИН. Лида, и это, значит, все итоги?

ЛУТЬИНА. А чего ж вы б еще желали при вашем разбойничьем отношении?

ЛУТЬИН. Да я уж вижу, ты даже не дерешься.

ЕВТЮШКИН. В них какая-то углубленная проработка идет.

ЛУТЬИНА. Да мы не желаем теперь о вас и рук марать. Вы для нас теперь одни граждане, а не мужья. Платите теперь нам алименты за свою и за нашу волю. Идемте, Капитолина Сергеевна. Пусть посидят, подумают.

ЕВТЮШКИНА. Жаль, что ты теперь мне не муж, прямо руки чешутся и сердце зудит.

Бывшие жены уходят так же стремительно и достойно, как появились. Пауза.

ЕВТЮШКИН. Вась, припри дверь на всякий случай. Сегодня мы не присутствуем...

Ащеулов закладывает конторкой. Пауза.

АЩЕУЛОВА. Это вы такими бабочками и командуете? А где же ихние младенцы? Трудная ваша работа!..

ЕВТЮШКИН. Нет — и прочими.

АЩЕУЛОВ. Ты не в свое дело не суйся. В учреждениях люди сидят и не спрашивают... (*Развязывает узелок.*) Пи-

тайтесь, сотрудники, за счет моего деревенского социального положения...

Члены едят.

ЛУТЬИН (*Евтюшкину*). Ты теперь холостой?

ЕВТЮШКИН. Холостой.

ЛУТЬИН. И я тоже... Нельзя ли кассацию подать на незаконность развода, вызванного исполнением долга.

ЕВТЮШКИН. Едва ли выйдет. Там кассацию будут рассматривать тоже не мужья, а сожители, — они такие дела оставляют без воззрений.

ЛУТЬИН. Все-таки своим женам платить алименты как-то приятнее, чем на сторону... Всю свою жизнь мечтал я прожить научно и тихо, никого не тревожа и на пользу массам, как <нрзб.> — жить, повиноваться и трудиться... Человек я от природы скромный и исполнительный...

АЩЕУЛОВ. Как, конечно, сказать... Я так думаю, что одни алименты, как, например, мне, платить лучше, чем вам — туда и сюда...

ЛУТЬИН. Я все припоминаю, с какого места незаконное началось, — и не вижу... Кругом закон, а мы посредине мучаемся.

АЩЕУЛОВ. Закон законом, а в городе нас за разбойников почитают... Как бы народные волнения из-за нас не начались.

ЕВТЮШКИН. Что-нибудь да выйдет... Закон ошибаться не может. Раз нам жалованье идет, то значит, закон не ошибается.

ЛУТЬИН. Надо все сызнова продумать.

АЩЕУЛОВ. Заседать будем?

ЛУТЬИН. Да, позаседаться неплохо... На заседаниях — горе утихает.

АЩЕУЛОВ. Протокол писать или устно поведем?

ЕВТЮШКИН. Пиши.

АЩЕУЛОВА (*со страхом*). Мне не уйтить?

АЩЕУЛОВ. Находишь здесь!

ЛУТЬИН. Заполни предварительные сведения... комиссия... в составе...

ЕВТЮШКИН. Комиссия ошибаться не может... Я как председатель... Граждане члены, комиссия ошибаться может или не может?

ЛУТЬИН (*отвлеченно*). А что же они теперь без нас делать будут, — неужто новых любовников заведут? — И им платить алименты!

АЩЕУЛОВ. Кому?

ЛУТЬИН. Новым мужьям...

ЕВТЮШКИН. Про жен на заседании забудьте. Они теперь не жены, а вольные просительницы... Может ошибаться или нет?

АЩЕУЛОВ. Нет!

ЕВТЮШКИН. Фиксируй — нет!.. Комиссии... пиши!.. беру слово себе, а потом вам. Мы нравственно стоим на деле и умрем на посту...

Стук в дверь.

ЕВТЮШКИН. Опять бабы!..*

ЕВТЮШКИН. ...и расписку в получении ребенка получите с курьером... Гражданка Башмакова, мы никакие не разбойники, а я председатель, а они члены. Мы на основании закона будем возвращать нашего присужденного сына.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. И будем жить как разбойники, не домочадцы. Васька, держи своего сына прямее!..

АЩЕУЛОВ. Давайте ее кооптируем от греха и примем в штат как мать и технического работника на предмет детального возвращения...

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Вот я и буду с вами жить как matka, а учетного пса и прочих служащих и обремененных сюда не пускать.

ЛУТЬИН. Марья Ивановна, мы будем возвращать его по чудесам науки и знания, как двукратно постановила комиссия.

АЩЕУЛОВ. Давайте ее кооптируем от греха.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ащеулов, давай сюда сына! Клади его на престол!

Марья Ивановна кладет сына на конторку.

АЩЕУЛОВ. Убеждаю, давайте ее кооптируем.

АЩЕУЛОВА. Вася, я побегу... Очень страшно с вами, с разбойниками. Ты слухай, что я скажу, если понадобится в деревню прибегать спасаться, — мужики наказывали ска-

* Далее утрачены 4 страницы. — Ред.

зять, — примут тебя, спрячут... Только ты бороду тогда загодя отпусти, а то такого тебя мужички убьют... Ей-бо, пра!..

АЩЕУЛОВ. Иди, Аленушка, иди от греха! — оставь пышки!..

ЕВТЮШКИН. Комиссия... либо правда ее, явочную стерву, кооптировать?.. Прямо разбой — ребенок на письменной конторке лежит и не плачет. Дожились! Ащеулов, пиши выписку из протокола о наших достижениях и наши проекты в губгород, а копию писателю Максиму Горькому!

АКТ IV

Наиболее рационально использованная жилплощадь: помесь учреждений, детского приюта и жилья. Под плакатом «Дорогу детям, потому что они цветы» — громадная белая люлька под белым балдахином. Явная медицинская научность и мирная жизнь. На первом плане стол, тот же, что был в комиссии охматмлада. Половина стола накрыта скатертью.

Евтюшкин, Лутъин и Ащеулов сидят за столом, тихо заседая. За сценой Марья Ивановна поет. Ащеулов ей изредка подтягивает.

ЕВТЮШКИН (Ащеулову). Ты когда же с ней жил?

АЩЕУЛОВ. А я с ней почти что не жил. Я ею только любовался.

ЕВТЮШКИН. Когда любовался-та?

АЩЕУЛОВ. Да я не любовался. Так, примерно ходил месяцев за девять, либо с половиной, — на краткие беседования...

ЕВТЮШКИН. Значит, ребенок — твой?

АЩЕУЛОВ. Да она рассказывает — мой. Только это теперь к делу не относится, раз отец комиссия.

ЕВТЮШКИН. А я с ней жил в двадцать пятом годе... Когда ж это было? С декабря двадцать четвертого, когда колокол начали с собора спускать, — по январь двадцать шестого включительно, как раз она с Башмаковым зафиксировалась. Тогда же я и свое назначение получил в охматмлад.

ЛУТЬИН. А я с ней теперь живу ввиду исключительности обстоятельств.

АЩЕУЛОВ. А я изредка...

Лутьин роется в кипе бумаг.

ЕВТЮШКИН (*лирически*). Времена теперь такие пошли, весь город живет сплошь как одно семейство, и все родственники независимо от пола и должности... Ну ладно, поговорили неофициально, теперь пора перейти на текущие моменты. Докладай, Лутьин, по медицинской линии.

ЛУТЬИН. Вот с цифражом вам пора бы ознакомиться.

ЕВТЮШКИН. Докладай цифраж. Ащеулов, пиши.

ЛУТЬИН. Да писать-то много не надо. Вешаю ребенка по три раза в день, в весе не прибавляется, но и не убывает, стоит на балансе. Выношу его каждодневно на мороз на два часа, для вентиляции легких...

ЕВТЮШКИН. А еще какие мероприятия пускаешь?

ЛУТЬИН. Более пока ничего, жду достижений... Посетителей сегодня было — на предмет осмотра наших основных принципов коллективного воспитания — 31 человек. Судя по статистике цифража, наши принципы проводятся срочно в жизнь. Иначе куда у населения впечатления деваются? — Явно в подобные дела уходят.

ЕВТЮШКИН. Прямо не живем, а состоим в музее... будущее на руках вынашиваем... Мне бы тоже надо поработать, только некуда применить основное умение. Приходится, в зависимости от косвенных причин малолетства, ждать, когда вырастет. Я из него впоследствии, как вырастет, до возмужалости, буду госмужа делать.

АЩЕУЛОВ. Я тоже. По соответствующим постам. (*Зевает, отрывается от протокола и поет, подхватывая мотив М. И.*) Э-эх, ва субботу, да в день ненастный, нельзя в поле работать...

ЕВТЮШКИН и ЛУТЬИН (*продолжая песню*). Нельзя в полюшке работать, ни боронить, ни пахать.

МАРЬЯ ИВАНОВНА (*входя, поет вместе с членами песни*). Прощай, девки, прощай, бабы... — Чай, что ли, пить будем, разбойнички?

АЩЕУЛОВ. А воду поджарила?

ЕВТЮШКИН. Который пока час?

ЛУТЬИН. Время пить, обед переварился.

ЕВТЮШКИН. Комиссия желает чай пить.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Есаул, иди, неси самовар.

Ащеулов уходит за самоваром. Лутьин и Евтюшкин разговаривают.

ЛУТЬИН. Пищу принимать босому спокойней, кровес-
обращение облегчается.

ЕВТЮШКИН. Ноги — испаряются, а не потеют, хотя мы
люди не болящие.

Ащеулов вносит самовар.

АЩЕУЛОВ. Угар несуг. Атаманша, наливай чаю всем чле-
нам и себе.

Ащеулов также разговаривает.

Либо мне бороду сызнава отпустить? — Скучно без шер-
сти...

ЛУТЬИН. Отпусти обратно, а то тебя посетители за мало-
летнего принимают...

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ну, разбойнички, садитесь наслаж-
даться вкруговую, приступайте к вольной жизни.

ЛУТЬИН (*отхлебывая чай*). Тихая жизнь... Никогда так
планомерно не жил, — вот что значит безбабие...

Стук в дверь.

ЕВТЮШКИН. Ежели на предмет осмотра демонстрантов,
то пускай ходят по расписанию, завтра с одиннадцати до
часу пополудни.

*Входит человек, странник земного шара, в башлыке,
с вещевой сумкою и с посохом.*

СТРАННИК. Здесь в узком месте матерняя комиссия жи-
вет?

ЕВТЮШКИН. Здесь. А тебе чего?

СТРАННИК. Да пришел осмотреть ваши достижения.
Сказывают, здесь мужики женщинами стали.

АЩЕУЛОВ. Это им показалось.

СТРАННИК. И верно. Вы на баб не похожи... А она вон
(*в сторону Марьи Ивановны*) вылитая баба. Может, она
баба и есть?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Я не баба, я — атаман.

СТРАННИК. О?

ЕВТЮШКИН. Ты чего бродишь-то? — Во-первых, у нас смотреть нечего, у нас вещей нету, а есть отношения. А во-вторых, явись завтра от одиннадцати до часу, если хочешь посмотреть... А сейчас мы отдыхаем.

СТРАННИК. Ну, покажь хотя бы отношения. Я двести верст прошел — на вас посмотреть, как же можно... Народ повсюду томится. Не то дружбы, не то злобы ищут, не то харчами недовольны...

АЩЕУЛОВ. Вали, друг, на постоянный двор. Возьми кусок сахара...

Странник уходит, поторапливаемый Ащеуловым.

ЛУТЬИН. Работы у нас на все двадцать четыре часа.

ЕВТЮШКИН. Еще бы. Народ с периферии тронулся — в силу своевременности наших мероприятий... Налей вторую, доброволица...

МАРЬЯ ИВАНОВНА (*наливая через край*). Вот это я понимаю, жизнь. Живу и что хочу делаю, а делать я ничего не хочу. Не то что коз у Башмака доить. Он, черт, меня, как бухгалтерскую графу, учитывал, словно я вещь, а я отношение.

ЕВТЮШКИН. Ты не отношение — ты соотношение социальных условий, социальная надстройка, баба на базе.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А мне все равно, кто я есть. Мне бы только жить.

Стук в дверь.

АЩЕУЛОВ. Кого еще там несет?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Дань надо брать с этих посетителей.

ЛУТЬИН. Нельзя брать, сочтут за взятку.

ЕВТЮШКИН. А можно оформить как пособие для финансирования будущего, раз мы вроде музея.

АЩЕУЛОВ (*отпирая дверь*). Ну кто там еще? — В комиссии ребенок спит, а вы гремите.

Входят Башмаков и Рудин в чрезвычайной поспешности.

ЕВТЮШКИН (*Ивану Павловичу*). Ты зачем сюда пришел без повестки?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Сейчас объясню.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Марья Ивановна, сподвижница, здравствуйте!

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Здравствуй, здравствуй, сподвижник.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Мы пришли по внеочередному делу.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А ты не боишься, что я тебя здесь израсходую?

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*ехидно*). Нет, М. И., не боюсь, потому что я теперь всю вашу подноготную тайну постиг! (*К комисси.*) Граждане члены комиссии и председатель! Я должен сделать вам внеочередное заявление. На основе чистосердечного признания гражданина Рудина, Глеба Иваныча... Глеб Иваныч, подтвердите... и в силу политических моих убеждений, благодаря состоянию моей законности, — иначе меня сократят... Глеб Иваныч, повторите ясно при всех ваше чистосердечное раскаяние и за меня не стыдитесь.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Пришел ко мне сейчас гражданин Рудин и внезапно рассказал, одновременно покаявшись... Говорите, Глеб Иваныч, ради закона я терпелив.

ЕВТЮШКИН. Тогда мы откроем экстренное заседание комиссии для заслушания устного заявления гражданина Рудина, чтобы оно из устного стало документальным. Ащеулов, фиксируй показания. Говорите, гражданин Рудин.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. В газетах все пишут — чудеса науки и техники в массы, безбожие в массы, иностранные языки в массы, — а масс на самом деле и нет, а есть отдельные личности вроде меня, и между личностями идут конфликты, — какие же это массы, раз слитности нет? Надо поступать лично, а не в массовом масштабе, когда ничего не видно и все одинаково.

ЕВТЮШКИН. Ащеулов, фиксируй. Представитель милиции говорит, — масс нету, — и что будто есть одни конфликты.

АЩЕУЛОВ. Беру на заметку.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я Марии Ивановне сколько раз говорил, а она меня вон гонит и не слушает моих начинаний, говорит, что я не выдающийся и тихий человек, — а кто выдается — того у нас в исправдом сажают.

АЩЕУЛОВ. А ты не выдавайся зря, иди с массой в ногу. А когда нужно, тебя массы сами выдвинут, как меня.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я и не выдаюсь никуда... И вот я, не смотря на мои нравственные убеждения держать интимности в секрете, для спасения индивидуального дела, пришел и сказал Ивану Палычу, страдая посреди себя: Иван Палыч, я находился с вашей женой, у нас была любовь, секретная от вас...

АЩЕУЛОВ. А у кого она не была?

ЛУТЬИН. А ты пиши, секретарь, и помалкивай.

ЕВТЮШКИН. Продолжай дальше, Рудин. Служащий для женщин не любитель.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. И я говорю Ивану Павловичу. Простите мою слабосердечность и не поминайте лихом мою любовь с вашей супругой. А теперь я обращаюсь к вам, Иван Палыч, не для того, чтобы оскорбить ваши мужские качества, а чтобы доказать вам, что ныне коллективно и благополучно воспитываемый в комиссии ребенок, бывший ваш, — есть мой сын, а я лично против коллективного воспитания и хочу воспитывать моего сына по своему усмотрению и душевности совместно с любимой женщиной, на основании естественных и земных принципов... Иван Павлович сначала заплакал от обиды, а потом испугался, что я с нею жил и ни с кем не ссорился под его крышей, и сейчас же повел меня сюда.

ЕВТЮШКИН. Ну и жил. Комиссии это не подведомственно. Мало ли кто жил.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А ты не каркай.

ЕВТЮШКИН. Я иносказательно... Если бы он в открытом месте жил, а то в тишине частного дома, и никто не видел.

АЩЕУЛОВ. Комиссию факт жизни не интересуется, она заведует матерями, отнюдь не родителями.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Да я с ним всего две недели и была в отношениях. Скорбящий он человек, и никакого в нем бунту, помирать с ним подручно либо в козла играть.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я, конечно, со всеми вами согласен, что вы правильно рассуждаете, но, между прочим, ребенок мой, и я ему полнокровный отец.

АЩЕУЛОВ. И все ты врешь!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Положа руку на сердце — не вру, потому как Иван Палыч, по моим сведениям, от неустанно честной службы потерял способность множиться...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Это, положим, фактически еще неизвестно. У нас один ученый в городе в девятьсот третьем году ездил к мордве и измерял объемную величину расового корня, а потом письменно сверялся с чувашами и башкирами. Самый большой расовый корень — на основании науки — у русских. А я — русский, несмотря на мой возраст... Но это лишь предпосылка и к делу прямого отношения не имеет, раз Глеб Иваныч признался в своем отцовстве, чему я с пригорбием рад. И вот, как он признался, ко мне сразу пришли следующие закономерные соображения, нарушить которые я не могу в силу моих политических убеждений, поскольку я состою на службе по учетной линии и меня могут сократить за нарушение убеждений. Я все понял и сразу пришел к вам, так как на основании законов мужем считается не тот, что состоит в зарегистрированном супружестве, а тот, кто фактический отец, — и он, то есть фактический отец, должен заботиться о судьбе сына. А раз отец — Глеб Иваныч, — то он и должен подавать на вас в суд на алименты, а не я, — либо не подавать по его личному или нравственному усмотрению.

АЩЕУЛОВ. Ты — что же — будешь подавать? — И охота тебе была, Глеб Иваныч, усложнять историю потомством?

ЛУТЬИН. Стало быть, произошла судебная ошибка?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Вот именно! Я ж и говорю! Это меня и волнует до сердца в силу моей необходимой законности.

ЛУТЬИН (Ащеулову). Тут не усложнение, а прояснение. Здесь целый культурный пробел.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Вот именно! Прошу все дело начать рассмотрением сначала.

ЕВТЮШКИН. Ащеулов, фиксируй неотлучно. Здесь лежат неизвестные моменты, и неизвестно, куда обернет закон при новых обстоятельствах.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Вот именно! Совершенно верно! Я ж и говорю, раз я не являюсь на основании законов фактическим отцом, то я и ликвидируюсь в сторону и глубоко извиняюсь за все предшествующее беспокойство учреждений.

АЩЕУЛОВ. А закон обратную силу имеет или нет?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Я тебе возымею обратную силу, учетный пес! Я тебе дам, чтобы все сначала, это ты к тому

клонишь, чтобы я к тебе вернулась. Я тебе вернусь! Я конца света хочу, учетный морж!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Это я хочу, а не он, — и не к нему, а ко мне! Мы жить обратно не будем, мы вперед...

ЛУТЬИН (*Ивану Павловичу*). В чем же существо вашего нового иска — давайте четко подумаем сначала... Выходит, жены у вас нет, сына тоже нет, зато вы есть... А в результате вас и мы тоже жен и детей решились, но сами остались и воспитываем неизвестного сына, будущего человека. А что из него выйдет, никто не знает... При чем же вы-то здесь, раз вы не отец, не муж, а вообще инородный обыватель?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Вот именно! Я и пришел заявить, что я здесь ни при чем и никакой ответственности в дельнейшем не подлежу, что и прошу записать в протокол.

АЩЕУЛОВ. А если мы тебя привлечем?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Невозможно, нет никаких оснований, раз я ни при чем, не отец, не муж. Ведь государство не степь, оно само стоит на основании.

ЕВТЮШКИН. Ну а мы при чем в таком разе? — Чем ты можешь удостоверить?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. А разве кто чего удостоверит, когда главный мир стоит без документов.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Как без документов?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Да ведь заявление подается подателем сего, а кто удостоверит самого подателя, прежде чем он подаст о себе заявление?

АЩЕУЛОВ. Я на что хочешь мандат напишу, хоть на орбиту.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Вы-то напишете, а орбита вам — нет.

ЛУТЬИН. А ведь действительно, мир никем не удостоверен.

ЕВТЮШКИН. Стало быть, он юридически не существует.

ЛУТЬИН. А как комиссия тогда существует?

ЕВТЮШКИН. И мы при чем здесь?

АЩЕУЛОВ. Где?

ЕВТЮШКИН. В комиссии.

АЩЕУЛОВ. Чтобы руководить.

ЕВТЮШКИН. Да чем руководить-то, раз мир юридически не существует?

ЛУТЬИН. Существует или не существует — не окончательно удостоверено, Башмаков от всего отказывается, — а мы, несмотря на это, лишились жен и оказались штатными воспитателями комиссии охматмлада.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Вот я и хочу подойти индивидуально и тесно. Умоляю вас, давайте все это бросим...

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Я тебе брошу, — ты поднять не умеешь.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Мария Ивановна! Давайте возьмем нашего любимого сына, и пойду я с вами, моя любимая будущая жена, на свою квартиру... Я ее побелю, а на дворе колодезь вырою, чтобы вам за водою не ходить... Марья Ивановна, сподвижница моей единственной жизни! Ведь я вас люблю углубленнее себя!.. Будем жить на пользе симпатии и любезности.

АЩЕУЛОВ. Трогательно говорит!.. Даже писать скучно.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Будем жить на природном основании, как верные голуби, дети чистого воздуха.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Не желаю я голубиной жизни, — будет, пожила, — я хочу быть хищницей вроде коршуна, и никуда я отсюда не уйду, от этих разведенных разбойников.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Марья Ивановна, умоляю, пойдете, вы тут загрузите, вы женщина душевная, а не служебная.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Ты скорбеть надо мной будешь. И ребенок не твой, а Васькин.

АЩЕУЛОВ. Не усложняй, атаманица!

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Не верю, я кровью чувствую, что ребенок мой!

МАРЬЯ ИВАНОВНА. А я тебе говорю без чувства!

ЕВТЮШКИН. Ащеулов, ты фиксируешь или только думаешь?

АЩЕУЛОВ. Я сбился. Они говорят неорганизованно.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Мне можно уйти?

ЕВТЮШКИН. Зачем?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я бывшей супруги стесняюсь, у нее настроение набухает, и третий муж объявился, — значит, тем более я ни при чем.

ЕВТЮШКИН. По нашим временам мужей считать не обязательно... Как же ты уйдешь?

МАРЬЯ ИВАНОВНА. И проваливай в свою пещеру, пока мы тебя не вычли.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. До свидания, граждане, я больше здесь не потребен.

ЕВТЮШКИН. Как не потребен? — Тогда и мы тоже не нужны, а ребенок зачался и кончился сам по себе. Тогда и мы уйдем, и ребенок неизвестно с кем останется в одиночестве.

АЩЕУЛОВ. Мы столько проработали вопросов, что стоим уже накануне достижений. Ежели все отменять на самом конце, то у нас активности не хватит начинать сначала. Вишь сколько бумаги придется переписывать, а писать придется опять автоматически.

ЛУТЬИН. Активности хотя хватит, мир, говорят, миллион лет существует и до сих пор цел...

ЕВТЮШКИН. Идти нам некуда.

Бесшумно и без стука, но страшно авторитетно входят: старший рационализатор, Евтюшкина, Лутьи-на и женщина-милиционер. Вскорости за ними проникают на порог странник и два крестьянина, те, что были на суде с кустом. Пауза.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Вы кто такие?

Пауза.

МАРЬЯ ИВАНОВНА (*нагло поет*).

Чтоб на службу поступить,
То в союзе надо быть,
Чтоб в союз нам поступить,
То на службе надо быть!..

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР (*выслушав частушку*). Гражданка, ваше пение прекращается. Комиссия охматмлада здесь существует?

ЕВТЮШКИН. Здесь. В полном узком составе. Я ее председатель.

ЕВТЮШКИНА. Ну-ка, поди, поди сюда, председатель.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Повремените, гражданка Майская. С вашим мужем... (*К Евтюшкину.*) Вы посылали копию ваших достижений в губгород и товарищу Максиму Горькому?

ЕВТЮШКИН. Посылали. Ащеулов, достань копию достижений. А вы кто по должности будете? — У вас мандат есть или мы вас так должны знать?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Я старший рационализатор из губгорода, приехал обследовать вас и прочее на основании жалобы ваших бывших жен, гражданок Майской и Трудовиковой, а также на основании вашей копии достижений товарищу писателю Максиму Горькому.

АЩЕУЛОВ (*Евтюшкину*). А он нас не сократит?

ЕВТЮШКИН (*Ащеулову*). Едва ли, ты стой пока тактично.

Жены Евтюшкина и Лутыина энергично начинают гробить комнату, собирая вещи, выданные мужьям при разводе.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Мне можно уйти?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. А вы кто такой?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я здесь ни при чем. Я гражданин Башмаков.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Башмаков? — Отец ребенка или прочий?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Да-с, предполагаемый отец. Настоящие отцы — или Рудин, или Ащеулов, двое из них, а законный — комиссия.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Оставайтесь присутствовать. Который Рудин?

ЕВТЮШКИНА. А вон стоит мирный человек в милицейской фуражке, идол тоскливый.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Вы кто?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Я, изволите видеть, отец, но не могу достигнуть сына.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Кого достигнуть и кого отец?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Отец своего сына и его же тщетно достигаю...

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. От бывших жен Капитолины Майской и Лидии Трудовиковой поступило заявление об незаконных основаниях их развода. Однако причиной указывается закон и то, что вы на основании постановления суда принялись сразу платить алименты, а это, в свою очередь, беззаконие, так как комиссия охматмлада должна не

платить, а лишь руководствовать... Ведь если все комиссии будут оплачивать свое руководство, то тогда не будет обязанностей у руководимых.

АЩЕУЛОВ. Надо начинать все сначала? — Тогда нам еще год надо работать по этому неисчерпаемому делу.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Вот именно, надо начать все сначала.

ЕВТЮШКИН. Хорошо, начнем.

ЕВТЮШКИНА (мужу). Я тебе начну сначала!

АЩЕУЛОВ. Заняться фиксировкой?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Чего фиксировать?

АЩЕУЛОВ. Мы заседаем или так находимся?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Как заседаем?

ЕВТЮШКИН. А потому, если не заседаем, то неизвестно, к кому вы обращаетесь, потому что вне комиссии мы думать на эти мысли не обязаны, как мы тогда механически становимся честными гражданами.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Тогда, считайте, заседаем.

АЩЕУЛОВ. Считаем.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Гражданин старший рационализатор! Отдайте мне моего сына!

АЩЕУЛОВ (тихо). Бери!

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Повремените, гражданин... Повелею кротко и ясно на основании соответствующих постановлений губорганов. Судебный процесс об алиментах направить к пересмотру, беря за исход моменты зачатия и рождения ребенка... Повелею гражданину Башмакову взять сына в исходное положение вместе с женою...

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Так я и пошла!

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Жене Башмаковой следовать за мужем. Комиссии быть в силе и продолжать работу, подавая на Башмакова немедля в суд. Башмакову по суду отвечать. Бывшей Евтюшкиной, а теперь Майской, а также бывшей Лутьиной, а ныне Трудовиковой, по неперемennomу согласию со своими мужьями состоять в первобытном браке, как они о том ходатайствовали.

АЩЕУЛОВ. А мне куда деваться?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Подождите, я не кончил.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Гражданин рационализатор! Ведь я же не отец!

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Как не отец, когда вы супруг?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Если вы комиссию из отцов аннулируете, тогда пусть отцом будут либо Рудин, либо Ащеулов, раз они относились к моей жене больше моего...

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Какой Ащеулов и какой Рудин?

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Вот я, я несогласованно поступал, меня в деле нет.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. А надо бы себя увязывать... Повелею. Непременно приступать к выполнению моих повелений, не откладывая на минуту.

ЛУТЬИНА. Муженек, идите теперь сюда, связывать вашу скатерть.

ЛУТЬИН. Зачем ее связывать?

ЕВТЮШКИНА. Карпий, поди сюда! — Мы вам покажем — зачем!..

ЕВТЮШКИН. Погоди, разведенная гражданка, в силу входить... Гражданин рационализатор, у нас заседание закрывается, раз жены вступили, или длится?.. Ваши слова — окончательное постановление или нам надлежит апеллировать?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Не надлежит. Категорически отрицательное.

АЩЕУЛОВ. А я теперь кто же? — Они к женам пойдут, а мне куда?

ЛУТЬИН. Нам прямо и идти к женам, вещи в комиссии оставить или обратно?..

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Идите к женам с вещами.

ЛУТЬИНА. Иди-ка сюда, муженек, на собеседование.

ЛУТЬИН. Я что же, я всегда тебя любил, Лидочка.

ЕВТЮШКИН (жене). И мне идти к тебе?

ЕВТЮШКИНА. Иль еще не набегался?!

Мужья идет к женам: Лутьин — покорно, Евтюшкин — нехотя.

1-й и 2-й КРЕСТЬЯНЕ (*перебивая друг друга*). Товарищ улучшатель ихней жизни, а ты заодно и нас разбери вот, как и мы аннулировали наших жен и вырос лишний корень.

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Подожди, стой в сторону, разберем и вас. (*К страннику.*) А этот чего стоит?

СТРАННИК. А я стою и смотрю отношения, а сам живу.

АЩЕУЛОВ. А я теперь кто же? — Они к женам ушли в основное положение, а мне куда?

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Вы — как желаете.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Умоляю вас, отдайте мне моего ребенка!

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Гражданин Башмаков, озаботьтесь забрать вашего ребенка и жену.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Разбойники! Евтюшкин! Лутьин! — Куда же вы пошли, на кого же я осталась? Васька, иди сюда, спасайся! Спасай меня от учетного пса, не пойду я к нему, к нему — как в петлю!

АЩЕУЛОВ. Мне нельзя, я тоже женатый.

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Васька — отказываешься? А кто собирался со мной в леса убежать, сказывал, что там нас мужики утаят?

АЩЕУЛОВ. Я забыл.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Марья Ивановна, сподвижница!

СТАРШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР. Гражданин Башмаков, берите своего ребенка. Милиционер!

МАРЬЯ ИВАНОВНА. Не дам! Васька, бери своего сына, бежим в леса!

Марья Ивановна бежит к люльке вместе с Глебом Ивановичем. Страшный крик.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ. Мертв. Мальчик.

Пауза.

АЩЕУЛОВ. Гражданин рационализатор, — отметить в протоколе смерть ребенка для формы дела или так оставить?

МИЛИЦИОНЕРША (*плачет вместе с Марьей Ивановной*). Ма-а-анюшка...

Два милиционера — Рудин и милиционерша — обнимают Марью Ивановну.

Конец

ШАРМАНКА

ПЬЕСА В ТРЕХ АКТАХ, ШЕСТИ КАРТИНАХ

Действующие люди

ЩОЕВ, заведующий кооперативной системой в далеком районе.

ЕВСЕЙ, его заместитель.

ОПОРНЫХ
КЛОКОТОВ } кооперативные агенты-заготовители.

ГОДОВАЛОВ, представитель пайщиков, лавкомиссия.

ЕВДОКИЯ, выдвиженка.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ.

ПЕРВЫЙ СЛУЖАЩИЙ.

АЛЕША, бродячий культработник с музыкой.

МЮД, девушка-подросток, подруга Алеши по общей работе.

КУЗЬМА, железный человек, аттракцион группы Алеша — Мюд.

ЭДУАРД-ВАЛЬКИРИЯ-ГАНСЕН СТЕРВЕТСЕН, датский профессор-пищевик, прибывший с целью приобрести «ударную душу» СССР для Западной Европы.

СЕРЕНА, его дочь, девица.

ГОВОРЯЩАЯ ТРУБА на столе Щоева.

АГЕНТ СОВХОЗА.

ЧУЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК.

ЧЕТЫРЕ ДЕВУШКИ-ОСОАВИАХИМОВКИ.

ПОЖАРНЫЙ.

МИЛИЦИОНЕР.

КОЛЬЦЕВОЙ ПОЧТАЛЬОН.

Детские лица, глядящие в окно учреждения.

Двое рабочих, разбирающих строение.

Несколько служащих — мужчин и женщин.

Люди из кооперативного населения.

Люди в очереди у парка культуры и отдыха.

Двое или трое прохожих-строителей.

Работники прилавка у дверей кооперативов.

АКТ I

Картина первая

Районная местность. Дорога в даль страны; попутные деревья, которые шевелит редкий ветер; влево — постройка в пустоте горизонта, вправо виден небольшой город — районный центр. Над городом флаги. На краю города стоит большое жилье в виде амбара, над ним флаг, на флаге нарисовано кооперативное рукопожатие, которое можно понять издали.

Ветер и безлюдье. Далекие флаги трепещут. Над землей солнце и огромный летний день. Вначале, кроме ветра, все остальное тихо. Затем слышатся звуки движущегося железа. Неизвестное тяжкое железо движется, судя по звуку, медленно, еле-еле. Девичий голос устало поет негромкую песню. Песня приближается вместе с железом. На сцену вывывается механическая личность — Железный человек, в дальнейшем называемая Кузьмой. Это металлическое заводное устройство в форме низкого, широкого человека, важно вышагивающего вперед и хлопающего все время ртом, как бы совершая дыхание. Кузьму ведет за руку, вращая ее вокруг оси, как руль или регулятор, молодой человек в соломенной шляпе, с лицом странника — Алеша. Вместе с ним появляется Мюд — девушка-подросток. Она держит себя и говорит — доверчиво и ясно: она не знала угнетения. За спиной у Алеши шарманка. Вся группа дает впечатление, что это пешие музыканты, а Кузьма — их аттракцион. Кузьма вдруг останавливается и хлопает нижней челюстью, будто хочет пить. Группа стоит среди пустого светлого мира.

МЮД. Алеша, мне на свете стало скучно жить...

АЛЕША. Ничего, Мюд, скоро будет социализм — тогда все обрадуются.

МЮД. А я?

АЛЕША. И ты тоже.

МЮД. А если у меня сердце отчего-то заболит?!

АЛЕША. Ну что ж: тогда тебе его вырежут, чтоб оно не мучилось.

Пауза. Мюд напевает без слов. Алеша всматривается в пространство.

МЮД (из напева переходит к песне).

По трудовой, веселой дороге
Идем мы босые, пешком, —
Осталось идти нам немного:
Построен счастливый наш дом...

Алеша, я задумалась — и вышло: у меня сердце заболело оттого, что я оторвалась от масс...

АЛЕША. Ты живешь ненаучно. От этого у тебя болит всегда что попало. Я тебя, как наступит социализм, так изобрету всю сначала — и ты будешь дитя всего международного пролетариата.

МЮД. Ладно. А то ведь я при капитализме родилась. Два года при нем вся страдала... *(Обращается к Кузьме, касается его руками, — Мюд всегда трогает руками тех людей и предметы, с которыми вступает в отношения.)* Кузьма, скажи мне что-нибудь умное-умное!

Кузьма чавкает человеческой пастью. Алеша переводит какое-то устройство в обшлагах Кузьмы и держит его руку. Ну Кузьма же!

КУЗЬМА *(деревянным равнодушным голосом, в котором всегда слышится ход внутренних трущихся шестерен)*. Оппортушка...

МЮД *(прислушивается)*. А еще что?

КУЗЬМА. Рвачка... Бес-принципщина... Правый-левый элемент... Отсталость... тебя возглавить надо!

МЮД. А еще я кто?

Алеша делает манипуляцию в руке Кузьмы.

КУЗЬМА. Ты классовая прелесть... Ты сугубый росток... Ты ударник бедняцкой радости... Мы уже...

МЮД *(быстро)*. Знаю-знаю: мы уже вступили в фундамент, мы уже обеими ногами *(движется и приплясывает)*, мы вполне и всецело, мы прямо что-то особенное!

КУЗЬМА. ...Мы прущая масса вперед!.. *(Из Кузьмы далее идут холостые неразборчивые звуки.)*

МЮД *(Кузьме)*. Я люблю тебя, Кузя, ты ведь бедное железо! Ты важный такой, а у самого сломатое сердце, и тебя выдумал Алеша! Ведь тебя быть не может, ты — так себе!..

Кузьма молчит и не хлопает ртом. Гудит паровоз вдалеке.

АЛЕША. Пойдем, Мюд. Уж скоро вечер. На земле наступит тоска, а нам надо есть и ночевать.

МЮД. Алеша, у меня все идеи от голода болят! *(Трогает свою грудь.)*

АЛЕША *(касается Мюд)*. Где?

МЮД. Там, Алеша, где у меня бывает то хорошо, то нет.

АЛЕША. Это вредительство природы, Мюд.

МЮД. Она фашистка?

АЛЕША. А ты думала — кто?

МЮД. Я тоже думала, что она фашистка. Вдруг солнце потухнет! Или дождь — то капает, то нет! Верно ведь? Нам нужна большевистская природа — как весна была — правда? А это что? *(Показывает на местность.)* Это подкулачица, и больше ничего. В ней планового начала нету.

Кузьма невнятно рычит. Кратко, вблизи гудит паровоз. Алеша регулирует Кузьму, и он умолкает.

АЛЕША. Пускай она посветится еще *(глядит на местность)*. Мы ее тоже ликвидируем скоро как зажиточное привидение. Мы ведь ее не делали, — зачем же она есть?!

МЮД. Поскорей, Алеша, а то ждать скучно.

Слышны шаги людей.

КУЗЬМА *(бормочет)*. ...Нереагирование на активность...

МЮД. Что он?

АЛЕША. Это у него остаточные слова застряли. *(Регулирует Кузьму на его затылке.)*

Приходят человека два-три строителей — с сундучками, с пилами, с флагом в руках переднего.

МЮД. Вы кто — ударники или нет?

ОДИН ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ. Мы, барышня, — они!

МЮД. А мы культработники. Нас колхозная избушка-читальня послала...

ОДИН ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ. Вы что ж, побирушки, что ли?

МЮД. Алеша, он — идиотизм деревенской жизни!..

КУЗЬМА *(рычит что-то; затем)*. Живите смирно... Сейте кенаф и клещевину... *(гудит дальше и умолкает; слышится трение внутри механизма)*.

ОДИН ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ. Сыграй, малый, и нам что-нибудь — для упоенья.

АЛЕША. Счас. (*Заводит Кузьму сзади.*)

МЮД. Клади пятак в Кузьму. (*Показывает, куда класть — в рот.*) Это на культработу с единоличными дворами. Вы ведь любите дворы?

Один из строителей кладет пятак Кузьме в рот. Кузьма жевнул челюстью. Алеша берет Кузьму за руку и ставит шарманку на игру. Кузьма заскрежетал неразборчиво. Алеша стал играть на шарманке ветхий мотив. Кузьма запел более внятно.

МЮД (*поет вместе с Кузьмой*).

Все-мир-но-му про-ле-та-ри-ю,

Власть держащему, —

Слава!

Под-ку-лач-ни-ку, перегибщику, аллилуйщику,

Дву-руш-нику, беспринципщику,

Правому и левому и всякой темной силе —

Веч-ный поз-ор!..

КУЗЬМА (*после пения, один*). ...А в избушке теплей, чем в социализме...

ДРУГОЙ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ (*выслушав*). Продай нам железного оппортуниста!

МЮД. Кузю-то?! Что ты — он нам самим дорог. А на что?

ДРУГОЙ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ. А для утехи. Бог же в свою бытность завел себе черта. Так и мы — будем себе держать оппортуниста!

ПЕРВЫЙ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ (*Алексею*). На, парень, тебе рубль за выдумку. Поешь, а то голова ослабнет.

АЛЕША. Не надо. Ты лучше свой расценоч понижь на постройке, а я везде почую твой рубль.

МЮД. Мы себе денег не берем — мы любим советскую валюту.

КУЗЬМА. ...Ххады — херои... Живите потихоньку...

АЛЕША (*регулирует Кузьму, и тот замолкает*). Все время в нем какие-то контрольные лозунги бушуют. Не то он заболел, не то сломался!

МЮД (*строителям*). Ну, вы идите, идите. Нечего вам стоять, когда пятилетка идет!

ПЕРВЫЙ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ. Ну и барышня! Кто только ее мамаша была!

ДРУГОЙ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ (*вразумительно*). Социальное вещество.

Строители уходят.

За сценой тихо раздаются неопределенные иностранные звуки.

МЮД. Пойдем, Алеша. Я хочу чего-нибудь сытного.

АЛЕША (*налаживает Кузьму*). Сейчас пойдем... Что ты, жабочка, страдаешь все? Ты привыкни!

МЮД. Ладно. Я ведь люблю, Алеша, привыкать.

Появляются Стерветсен и его дочь Серена, девушка-европейка, с монгольским характером лица, на бедре у нее изящный револьвер; оба они с чемоданами, в дорожных плащах. Прибывшие раскланиваются, здороваются с Алешей и Мюд, а также с Кузьмой. Кузьма медленно подает руку в ответ Серене и Стерветсену. Иностранцы говорят по-русски, степень искажения языка должен взять сам актер.

СТЕРВЕТСЕН. Здравствуйте, товарищи активщики...

СЕРЕНА. Мы хотим быть с вами... Мы любим всю горькую долю!

МЮД. Ты врешь, у нас нету теперь доли. У нас теперь лето, у нас птички поют, у нас строится что-то такое! (*К Алексею — другим, мирным тоном.*) Алеша, она — что?

АЛЕША. Зажиточная, должно быть.

КУЗЬМА. ...Ххады...

Алеша укрощает Кузьму.

МЮД (*к иностранцам*). Вы что такое?

СТЕРВЕТСЕН. Мы... теперь неимущий дух, который стал раскулачен.

СЕРЕНА. Мы читали, и нам производили... папа, информасьон?

СТЕРВЕТСЕН. Четкое собеседованье, Серен.

СЕРЕНА. Собеседованье, когда говорили: вы буржуазию, и еще раз полклясса, и еще крупный клясс четко послали на фик!

МЮД. Она хорошая, Алеша. Мы их на фик, а они с фика, и сама же ясно говорит...

СТЕРВЕТСЕН. Я был молод и приезжал давно в Россию существовать. Я жил здесь в девятнадцатом веке на фабрике жамочных пышечек. Теперь я вижу — там город, а тогда

здесь находился редкий частичный народ, и я плакал пешком среди него... Да, Серен!

СЕРЕНА. Что, папа? Кто эти люди — батраки авангарда?

МЮД. Ты дурочка-буржуйка: мы поколение — вот кто!

СТЕРВЕТСЕН. Они — доброе мероприятие, Серен!

АЛЕША. А вам что здесь надо среди нашего класса?

СТЕРВЕТСЕН. Нам нужна ваша небесная радость земного труда...

АЛЕША. Какая радость?

СТЕРВЕТСЕН. У вас психия ударничества, на всех гражданских лицах находится энтузиазм...

МЮД. А вам-то что за дело?.. Раз мы рады!

СТЕРВЕТСЕН. У вас организована государственная тишина, и сверху ее стоит... башня надлежащей души...

МЮД. Это надстройка! Не знаешь, как называется, — мы вас обогнали!

СТЕРВЕТСЕН. Надстройка! Это дух движения в сердцеvine граждан, теплота над ледовитым ландшафтом вашей бедности! Надстройка!!! Мы ее хотим купить в вашем царстве или обменять на нашу грустную, точную науку. У нас в Европе много нижнего вещества, но на башне угас огонь. Ветер шумит прямо в наше скучное сердце — и над ним нет надстройки воодушевления... У нас сердце не ударник, оно... как у вас зовется... оно — тихий летун...

СЕРЕНА. Папа, ты скажи им, что я...

КУЗЬМА. ...Рвачка! Сила элемента...

СЕРЕНА (на Кузьму). Он знает все, как патрон...

МЮД. Кузя-то?! Он ведь нам подшефный элемент!

СТЕРВЕТСЕН. Где у вас разрешается закупить надстройку? (Показывая на город.) Там?.. Мы много дадим валюты! Мы отпустим вам, может быть, алмазный заем, корабли канадского зерна, наши датские сливки, две авиаматки, монгольскую красоту созревших женщин, мы согласны открыть вам наши вечные сейфы... А вы — подарите нам одну надстройку! На что она вам? У вас же есть база, живите пока на фундаменте...

КУЗЬМА (грозно рычит). Хитрость классового врага... Пап-па римский...

АЛЕША (укрошая Кузьму). Ага. Ты хочешь закрыть у нас поддувало и сифон?! Чтоб мы сразу остыли!

МЮД (*шепотом Алеше*). Фашисты! Не продавай надстройки, мы сами залезем на нее!

АЛЕША. Не буду.

СЕРЕНА. Папа, нам давали понятие вопроса — у них лежат установки. Купи тогда Европе установку. Надстройку им ведь жалобно дарить!

СТЕРВЕТСЕН. Продайте установку! Я вам дам доллары!

МЮД. А у нас есть одна только директивка, и то маленькая.

СЕРЕНА. Купи, папа, директивку. Надстройку экстремизма ты купишь после вдалеке.

АЛЕША. Мы директивы за фашистские деньги не продаем.

МЮД (*трогая револьвер на бедре Серены*). Отдай мне. У нас культурная революция, а ты с пистолетом ходишь. Как не стыдно?

СЕРЕНА (*недоуменно*). А вам он сильно нужен?

МЮД. Ну конечно. У вас ведь нет культурной революции, вы ведь темные, злые, и нам полагаются от вас наганы...

СЕРЕНА. Возьмите (*отдает револьвер*).

МЮД. Спасибо, девочка (*целует сразу Серену в щеку*). Кто нам сдается, мы тому все прощаем.

СЕРЕНА. Папа, Совет Юнион очень мил! (*К Алеше.*) Сыграйте фокс!

АЛЕША. Советский механизм не смеет.

Стерветсен и Серена кланяются и уходят.

МЮД. Алеша, а как же они купят идею, когда она внутри всего тела?! Нам ведь больно будет вынимать!

АЛЕША. Ничего, Мюд. Я им продам... Кузьму. Ведь он — идея. А буржуазия от него помрет.

МЮД. Алеша, мне будет жалко Кузьму...

КУЗЬМА. ...Отсталость... Бойтесь капитализма...

АЛЕША. Не скучай, Мюд. Мы закажем себе другого, а то Кузьма уже отстал чего-то от масс.

Заводит Кузьму. Кузьма начинает шагать со скрежетом внутри, бормоча невнятное железными устами. Все трое уходят. За сценой, уже невидимые, они поют песню в несколько слов. Алеша и Мюд петь перестают, а Кузьма, удаляясь, все еще тянет в одиночку чугунным голосом:
э-э-э-э...

Картина вторая

Учреждение — среднее между баней, пивной и бараком. Теснота служащих, чад, шум. Две уборные, две двери в них. Двери уборных открываются и затворяются: разнополые служащие пользуются уборными. Щоев — за громадным столом. На столе рупор-труба, которой он пользуется для разговора со всем городом и кооперативами: город невелик и рупор слышен всюду в окрестностях. ЩОЕВ (всему бушующему в делопроизводстве учреждению). Дайте мне задуматься. Прекратите там доносящиеся до меня запахи желудка.

Двери уборных останавливаются. Наступает всеобщая тишина. Щоев задумывается. Желудок его начинает ворчать; ворчание усиливается.

ЩОЕВ (тихо). Болит мое тело от продовольственных нужд. (Гладит свой живот.) Как задумаюсь, так и живот бурчит. Значит, все стихии тоскуют во мне... (В массу служащих.) Евсей!

ЕВСЕЙ (невидимо где). Сейчас, Игнат Никанорович. Сейчас капустку с огурчиком подытожу и к вам явлюсь.

ЩОЕВ. Итожь их быстрей, не сходя с места! А я потом сам поутюжу твои числа. Ответь мне подробно, что мы сейчас непайщикам даем.

ЕВСЕЙ (невидимо). Клей!

ЩОЕВ. Достаточно. А завтра?

ЕВСЕЙ. Книгу для чтения после букваря, Игнат Никанорович.

ЩОЕВ. А вчера?

ЕВСЕЙ. Мухобойный порошок системы Зверева, по полпачки на лицо.

ЩОЕВ. Разумно ли, Евсей, бить порошком мух?

ЕВСЕЙ. А отчего же нет, Игнат Никанорович?! Ведь уставки на заготовку мух пока не имеется. Утиль тоже насекомых продолжает отвергать.

ЩОЕВ. Я не о том горюю — не перебивай ты мне размышления... Я тебя спрашиваю: что птицы-голуби или прочие летучие, что они будут есть, когда ты мух угробишь? Ведь летучее — это тоже пищевой продукт.

ЕВСЕЙ. А летучих в нынешнем году не ожидается, Игнат Никанорович. Их южнорайонные кооперативы вперед нас перехватили и заготовили. Мы весной, Игнат Никанорович, пустое небо ожидаем. Теперь муха звереть без птицы начнет.

ЩОЕВ. Ага, ну нехай так. Пусть жрут летучих. Проверь мне через область телеграфом — не крадут ли в районе установок: десять суток циркуляров нет — ведь это ж жутко, я линии не вижу под собой!

Играет шарманка на дворе учреждения — старый вальс. Учреждение прислушивается. Щоев тоже.

ЕВСЕЙ (*все еще невидимый*). Не подать ли музыканту монету, Игнат Никанорович? Все-таки культработник человек!

ЩОЕВ. Я тебе подам! Давалец какой! У нас финплан не выполняется, а он средства разбазаривает! Ты пойди у него на дирижабль пожертвования отбери — вот это так!

Евсей показывается, вставая из массы служащих, и уходит вон. Шарманка играет непрерывно. Переговорная труба на столе Щоева начинает гудеть. Шарманка затихает.

ЩОЕВ (*в трубу*). Алла!.. Ты кто? Говори громче, это я — другого нету!

Эти слова, сказанные в трубу, повторяются затем, втрое усиленные, где-то за стенами учреждения, и эхо от них раздается в окрестных пространствах, пустота которых чувствуется в долготе и скуке многократно отраженных звуков. Разговор в трубе должен происходить этим порядком; особых ремарок, на каждый раз, не будет.

ДАЛЕКИЙ ГОЛОС (*извне учреждения*). Грыбки, Игнат Никанорович, червиветь начинают. Дозвольте скушать работникам прилавка — иль выдать массе!

Труба на столе секунду-две повторяет эти же слова совершенно другим голосом — более глухим, с иным выражением и даже с иным смыслом.

ЩОЕВ (*в трубу*). Какие грибы?

ДАЛЕКИЙ ГОЛОС (*за сценой*). Грыбки годовалые, соленые, моченые и сушеные...

ЩОЕВ (*не в трубу*). Евсей!

СЛУЖАЩИЕ. Евсей, Игнат Никанорович, кампанию вышел проводить.

ЩОЕВ. Трудитесь молча: я сам вспомнил.

Шарманка играет новый мотив. Входит Евсей с чужой соломенной шляпой в руках, наполненной медными деньгами. Он высыпает деньги на стол Щоева. Шарманка утихает.

ЕВСЕЙ. Двадцать рублей дал. Говорит, после еще принесет. Я, говорит, дирижаблю рад: зря, что раньше не слышал про него, а то бы, говорит, сам выдумал советский воздушный корабль.

ЩОЕВ. Он что, энтузиаст всякого строительства, что ли?

ЕВСЕЙ. Да должно быть, Игнат Никанорович.

ЩОЕВ. Член чего-нибудь или нет?

ЕВСЕЙ. Говорит, ничего не член.

ЩОЕВ. Как же так? Чудно...

Пауза. Шарманка играет вдалеке, еле слышно.

Сроду не видел энтузиаста! Десять тысяч пайщиков объединяю, и все как животные — только есть хотят день и ночь. Пойди приведи его — для моего наблюдения.

Труба рычит что-то на столе.

(Смотрит в трубу, затем — Евсею.) Это ты грибки му-чаешь второй год?

ЕВСЕЙ. Это не грибы, Игнат Никанорович, это соя в виде грибов, а я ее замариновать приказал... Чего спешить, Игнат Никанорович, люди ведь всё могут поесть, а что толку! Пускай лучше материализму побольше будет, а людей и так хватит.

ЩОЕВ *(задумчиво)*. Ты прав на все сто с лишним процентов. *(В трубу.)* Нетрожь грибов, чертова саранча: пускай лежат в виде фонда!

Шарманка играет еще дольше.

ЩОЕВ *(Евсею)*. Кличь сюда музыку: настроенья хочу.

Евсей уходит.

ЩОЕВ *(служащим)*. Дайте мне бумажек подписаться: скучно чего-то сейчас на свете!

ПЕРВЫЙ СЛУЖАЩИЙ *(вставая из рядов столов)*. Тут, Игнат Никанорович, подтверждения и напоминания лежат...

ЩОЕВ. Давай что попало.

Первый служащий подносит к столу Щоева папку с бумагами.

ЩОЕВ (*вынимает из штанов печать с факсимиле, дает печать первому служащему*). Колоти!

Первый служащий дует в печать и штемпелюет бумаги.

ЩОЕВ (*сидит без делов*). Надо бы нам спустить директивку какую-нибудь на лавочную периферию.

ПЕРВЫЙ СЛУЖАЩИЙ. Спущу, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ. Спусти, пожалуйста!

Входит Евсей. За ним — Алеша с шарманкой. Мюд пытается ввести за руку Кузьму, но туловище того не проходит в ужину входа.

МЮД. Алеша, Кузе здесь тесно. Ему тут узкое место.

АЛЕША. Пускай он наружи остается.

КУЗЬМА (*в дверь*). ...Нетрожь капитализма-старика... Ххады... (*Остается вне учреждения.*)

ЩОЕВ. Вы кто?

АЛЕША. Мы пешие большевики.

ЩОЕВ. Куда ж вы идете теперь?

АЛЕША (*глубоко искренне*). Мы идем по колхозам и постройкам в социализм!

ЩОЕВ. Куда?

МЮД (*детски-задушевно*). В социализм!

ЩОЕВ (*задумчиво*). Далекый прекрасный район.

МЮД. Да, вот, далекий. А мы все равно дойдем.

ЩОЕВ. Евсей, дай этой девочке конфетку.

АЛЕША (*обнимая Мюд*). Не надо — она к сладкому не привыкла.

МЮД. Сам соси конфетку, эгоист сладкоежка!

ЩОЕВ (*выходит из-за стола к людям*). Дорогие товарищи, трудящиеся, потребители, члены, пешеходы и большевики, я вас всех замечательно люблю!..

ЕВСЕЙ (*к Мюд*). Вам, барышня, с какой начинкой конфеток принести: с вареньем или с вишневым соком?

МЮД. Пусть меня пролетариат угощает, а не ты. У тебя неклассовое лицо.

ЩОЕВ. Люблю, Евсей, я это поколение! А ты?

ЕВСЕЙ. Да приходится любить, Игнат Никанорович!

АЛЕША (*не понимая обстановки*). А у вас здесь строится социализм?

ЩОЕВ. Ну еще бы!

ЕВСЕЙ. Полностью!

АЛЕША. А можно мы тоже будем строить?.. Все время играть на музыке — это сердце болит.

МЮД (*касаясь Алеши*). А мне скучно стало жить на свете пешком.

ЩОЕВ. А зачем вам строить? Вы весна нашего класса, а весна должна цвести. Играйте на музыке! Как скажешь, Евсей?

ЕВСЕЙ. Да я полагаю, Игнат Никанорович, что мы управимся без малолетних! Пускай уж, когда все будет готово, приходят жировать!

МЮД. А нам охота!

ЩОЕВ. А вы можете массы организовать?

Алеша и Мюд несколько времени молчат.

АЛЕША. Я могу только дирижабль выдумать...

Пауза.

ЩОЕВ. Ну вот. А говоришь — тебе охота. Вы лучше оставайтесь в нашей многолапчатой системе как музыкальные силы. Будете утешать руководство... Евсей, у нас там полагаются по штату утешители?

ЕВСЕЙ. Я, Игнат Никанорович, полагаю, что возражений не встречается. Пусть утешают...

ЩОЕВ (*глубоко размышляя*). Отлично. Тогда привлечем, Евсей, этих бредущих, пускай они остановятся. (*К Алеше.*) Сыграй мне что-то нежное!

Алеша берет шарманку, играет грустную народную песенку. Щоев, Евсей, все учреждение в глубокой паузе. Учреждение бездействует. Все задумываются. Алеша перебирает регистр, играет другую пьеску.

МЮД (*постепенно, незаметно входит в мотив и начинает негромко петь*).

В страну далекую
Собрались пешеходы,
Ушли от родины
В неизвестную свободу.
Чужие всем —

Товарищи лишь ветру...

В груди их сердце бьется без ответа...

Алеша играет еще некоторое время, после того как Мюд уже умолкла. Щоев, по мере музыки и песни, склоняется на стол и тихо плачет от тоски. Евсей, глядя на Щоева, также исказил лицо в страдании, но слезы у него течь не могут. Учреждение безмолвно плачет. Пауза.

ЩОЕВ. Жалостно как-то, черт ее дери!.. Евсей, давай организуем массы!

ЕВСЕЙ. На них тогда овощей не хватит, Игнат Никанорович.

ЩОЕВ. Эх, Евсей, давай верить во что-то!.. *(Утирает слезы. Алеше.)* Ты бы вот выдумал, как лучше слезы сушить на плакальщиках, а не дирижабль!

АЛЕША. Я могу.

ЩОЕВ. Зачисль тогда, Евсей, его штатным утешителем масс — согласуй с треугольником, — давай заготавливать массы в аппарат.

ЕВСЕЙ. Нужно ль, Игнат Никанорович? Нам и так одну выдвигенку Евдокию отгрузили уже!

Алеша тихо играет на шарманке танцевальный мотив. Мюд слегка движется в танце.

ЩОЕВ. А что она делает сейчас?

ЕВСЕЙ. Да ничего, Игнат Никанорович, — она женщина!

ЩОЕВ. Да что ж такое, что женщина, — в ней тоже есть что-нибудь неизвестное!

ЕВСЕЙ. В ней молоко есть, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ. Ага. Пускай тогда по молоку и маслу она играет ведущую роль в аппарате.

ЕВСЕЙ. Пускай, Игнат Никанорович!

Алеша играет несколько громче тот же танец. Учреждение, не поднимаясь с мест, сидя, движется туловищами в такт танцу. Труба на столе Щоева рычит.

ЩОЕВ *(в трубу)*. Алла! Это — я!!!

ТРУБА. Птицы, Игнат Никанорович, летят над районом.

ЩОЕВ *(в трубу)*. Откуда?

ТРУБА. Неизвестно. Из иностранных держав.

ЩОЕВ. Сколько их?

ТРУБА. Три!

ЩОЕВ. Лови!

ТРУБА. Сычас.

Шум ветра над учреждением, крики птиц.

ЩОЕВ. Евсей, это что такое?

ЕВСЕЙ. Это, Игнат Никанорович, новый квартал наступает, по-старому — весна!

ЩОЕВ (*задумчиво*). Весна... Хорошая большевистская эпоха!

ЕВСЕЙ. Терпимая, Игнат Никанорович.

МЮД. Сейчас весны нету, она уже давно прошла. Сейчас лето наступило — строительный сезон!

ЩОЕВ. Как лето?!

ЕВСЕЙ. Это все равно, Игнат Никанорович. Только ведь погода меняется, а время одинаковое.

ЩОЕВ. Ты прав, Евсей...

Петр Опорных входит; в руках у него курица и два голубя.

ОПОРНЫХ. Этта... Как-то ее?! Вот я, стало быть, Игнат Никанорович, заготовил тебе птичку: одну курочку неимущую и еще голубей два!

МЮД. Весной прилетают только странные птицы, а не куры. Все куры — колхозницы.

АЛЕША (*рассматривает птиц в руках Опорных; на ногах курицы ярлычок, а у голубя — бумажная трубка. Алеша читает их*). «Курица заявляет проклятье расточительству. Ей дают непотребную массу зерна, отчего зерно пропадает или его доедают хищники. А пить ей не дают ни капли. Курица заявляет негодование этой недооценке. Пионеротряд совхоза “Малый Гигант”».

ЩОЕВ. Не можем мы таких заготовлять — установки нету. Швырай ее, Петр, прочь.

Опорных берет курицу за голову и швыряет ее в дверь. Голова курицы остается у него в руках, а туловище исчезает.

ЕВСЕЙ (*глядя на куриную голову, на ее моргающие глаза*). Теперь курочка умиралась и далее не полетит.

ЩОЕВ (*Алеше*). А египетский голубь нам что сообщает?

АЛЕША (*читает*). Написано капиталистическим языком: нам не очень ясно.

ЩОЕВ. Тогда — бей обзёмь кулацкую пропаганду!

МЮД. Дайте я его лучше съем с бумажкой.

ЩОЕВ. Ешь, девочка, без остатка.

ЕВСЕЙ (к Мюд). Я тебе съем! Может быть, это нам египетский пролетариат сводочку о достижениях прислал...

ЩОЕВ (задумчиво). Далекый изможденный класс... Опорных, береги голубя, как ты профсоюзную книжку бережешь!

Далекый шум. Все прислушиваются. Шум увеличивается, превращается в гул.

ОПОРНЫХ. Что там за чума!.. (Уходит.)

Маленькая пауза страха.

ЕВСЕЙ (кричит изо всего усердия). Игнат Никанорович, это интервенция!

Работа учреждения враз замолкает. Мюд вынимает из своей кофты револьвер. Алеша берет со стола Щоева рычащую трубу, труба отрывается от устройства и продолжает рычать в руках человека. Оба бегут на выход с этими предметами и скрываются. Странный гул усиливается, но делается как бы шире и мягче, подобно потоку воды.

ЕВСЕЙ (ужаснувшись). Говорил я тебе, Игнат Никанорович, что сильна буржуазия-матушка...

ЩОЕВ. Ничего, Евсей, может — это буржуазия мелкая... А где же мои массы? (Оглядывает учреждение: учреждение пусто; несколько ранее все служащие молча скрываются куда-то.)

Кузьма разламывает дверной вход и пролезает в учреждение. Садится среди пустоты столов и берет ручку. Щоев и Евсей в страхе следят за ним. Входит Мюд с револьвером в руке.

МЮД. Это гуси-лебеди летят. Дураки!

Гул превращается в голоса тысяч птиц. Слышно, как птичьи лапки касаются железной крыши учреждения: птицы садятся, перекликаясь между собой.

ЩОЕВ. Евсей, кликни мне служебные массы: куда они скрылись? Надо нам что-то налаживать!

Кузьма встает и проходит в уборную, резко захлопывая за собой дверь.

Картина третья

То же учреждение, что и во второй картине. Трубы на столе Щоева нет. Пусто. Один Щоев. Птицы жалобно кричат вне учреждения: их там бьют и морят чем попало.

ЩОЕВ (*жуя пищу*). Народ нынче прожорлив стал: строит какие-то кирпичные корпуса, огорожи, башни и три раза обедать хочет, а я сиди и угощай каждого! Трудно все-таки быть кооперативной системой! Лучше б я предметом каким-нибудь был или просто потребителем... Что-то у нас идеологической надстройки мало: не то всё выдумали уже, не то еще что! Все мне охота наслажденье какое-то иметь!.. (*Подбирает крошки от употребленной пищи и высыпает их дополнительно в рот.*) Евсей!

ЕВСЕЙ (*за учреждением*). Сейчас, Игнат Никанорович.

ЩОЕВ. Откуда-то эта птица-сволочь еще появилась! Так было покойно и планомерно, весь аппарат взял себе установку на организацию мясных рачьих пучин, а тут эта птица мчится — заготовь ее попробуй! Эх ты, население-население, замучило ты коопсистему!.. Клокотов!

КЛОКОТОВ (*за стенами учреждения*). Иду, Игнат Никанорович.

Входит Клокотов — весь покрытый птичьими перьями.

ЩОЕВ. Ну как там?

КЛОКОТОВ. Да что ж, Игнат Никанорович, конечно, это не дело!

ЩОЕВ. А что ж это такое?

КЛОКОТОВ. Весь план срывается, Игнат Никанорович... Мы уже взяли установку на организацию рачьих пучин — так бы и надо держать. Туловище рака, Игнат Никанорович, лучше любой говядины. А то вчера был рак, сегодня птица летит, завтра зверь выскочит из лесов, а мы, значит, всю систему должны трепать из-за этой стихии?!

Щоев молчит задумчиво.

Так не годится, Игнат Никанорович! И население избалуетя! Раз уж мы приучили его к одному сорту пищи — ему и хорошо! А это что ж такое: из буржуазных царств теперь может вся живность броситься в нашу республику: там ведь

кризис — разве ее можно всю съесть?! У нас едоков не хватит!

ЩОЕВ. Ну а как раки твои в наших пучинах?

КЛОКОТОВ. Раки молчат, Игнат Никанорович, рано еще.

ЕВСЕЙ (*входит, весь в птичьих перьях*). Игнат Никанорович! Птица с документами прибыла. Ты гляди! (*Вынимает из кармана несколько картонных кружочков.*) На каждой номер, на каждой штампель! Она организованная, Игнат Никанорович! Я ее боюсь!

ЩОЕВ (*задумчиво и медленно*). Организованная птица... Четок воздух над нашей землей!

ОПОРНЫХ (*входя; весь мокрый, в длинных сапогах*). Рыба поперла, Игнат Никанорович!..

КЛОКОТОВ. Я так и знал!..

ОПОРНЫХ. Рыба поверху прет, а птица подлетает и жрет ее...

ЕВСЕЙ. Это прорыв путины, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ. А никого там нету... из крупных животных каких-нибудь — кто бы и птицу скушал! Верно ведь?

КЛОКОТОВ (*удовлетворенно*). Конечно, Игнат Никанорович! Нам ничего и не надо. По мясу мы раком обойдемся, по маслу — ореховым соком, а по молоку — так мы дикий мед смешаем с муравьиной кислотой, и все. Наука теперь, говорят, этого достигла.

ЕВСЕЙ. Мы потихоньку, Игнат Никанорович, всех снабдим. У всех будет полный аппетит!

ОПОРНЫХ. Так что же... этта... скажите? Птицу лупить или рыбу ловить?..

Нарастающий шум за сценой — что и во второй картине.

ЩОЕВ. Выйди глянь, Евсей!

Евсей исчезает.

ЩОЕВ. Отчего птица-то к нам из буржуазии летит?..

ОПОРНЫХ. Наша страна дюже жирна, Игнат Никанорович. Рождаются что попало — и живет!

ЩОЕВ. Не бреши. Тогда бы все в тару само лезло.

ОПОРНЫХ. А у нас человек дурак, Игнат Никанорович. У нас — как-то ее? — у нас тары нету!

ЩОЕВ. Человек же это я...

Шум увеличивается. Вбегает Евсей.

ЕВСЕЙ. Еще летит туча целая!..

ЩОЕВ. Кто летит?

ЕВСЕЙ. Гуси, воробьи, журавли, а низом — петухи мчатся... Чайки какие-то!

ЩОЕВ. Боже мой, боже мой... За что ты оставил меня на этом посту?! Лучше б я перегибщиком был и жил теперь на покое!

ОПОРНЫХ. Теперь всю рыбу слопают!.. Так как же быть-то, этта, руководящие?! Заготавливать из воды постную пищу или попам оставить?

ЕВСЕЙ (к Опорных). Петя, не активничай, когда тебя не привлекают!

ЩОЕВ. Евсей! Думай ты, ради бога, что-нибудь определенное! Ты видишь, у меня сердце болит.

ЕВСЕЙ. А я уже все выдумал, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ. Так доложи мне, возьми установку и делай.

ЕВСЕЙ. В Осовиахиме артиллерийский кружок, Игнат Никанорович, находится, а в кружке пушка — разрешите пальнуть по птичьему стаду!

ЩОЕВ. Ступай пальни!

Евсей и Клокотов уходят. Шум за сценой продолжается и переходит в птичьи крики.

ОПОРНЫХ. Игнат Никанорович! Зачем гнать птицу-то эту мимо? Мы б управились и птицу поймать, и рыбу вытащить! Народ — как-то она? — работает охотно.

ЩОЕВ. Мало ли что! Пусть летят в другие районы — там тоже есть кому жрать! Что ты за эгоист такой — я прямо удивляюсь тебе?!

Опорных бурчит про себя чего-то.

ЩОЕВ. Ну, ты что там еще! Забыл про мое единоначалие, беспринципщик дьявол какой!.. Иди, Петя, на свою путину.

ОПОРНЫХ (уходя). Вот, этта, как-то ее... вот он стерва мужичок какой!

ЩОЕВ. Устал я чего-то... Трудно мне кормить до гробовой доски такое тяжкое население!..

Шум за стеной несколько рассеивается и слышен тихо. Входят Мюд и Алеша. Оба в птичьих перьях. У Мюд перья даже в волосах.

МЮД (Щоеву). Отчего вы важный такой?

ЩОЕВ. Я не важный — я ответственный. А вы что вернулись? Вы видите, на кооперацию животные напали?!

АЛЕША. Это ничего, товарищ Щоев. Пролетариату пища всегда подходяща. Мы вдвоем тыщу штук заготовили. Мы...

ЩОЕВ. Будет тебе мыкать-то: мы-мы!.. Куда б ты годился, если б я тебя не возглавил?

МЮД. Алеша, а где ж тут партия и ударники?.. Мне здесь становится скучно!

ЩОЕВ (*несколько задумчиво*). Скука... Нежное, приличное чувство — в молодости от него трудности роста бывают...

За сценой что-то шипит, точно разгорается громадный огонь.

АЛЕША (*Щоеву*). Дядь, давай рационализацию выдумаем, а то у тебя ненаучно как-то все...

Шум за сценой превращается в рев и вдруг сходит на нет.

ЩОЕВ (*задумчиво*). Рационализация... (*Трогает Алешу.*) Может быть, ты гений масс, хотя я, брат, тоже задумчивый человек... (*Углубленно.*) Пускай теперь наука трудится, а человек около нее как на курорте. Приличное дело!.. Мы хоть туловищем отдохнем... Хоть...

За сценой — продолжительный нарастающий рев, как от разгорающегося пламени. Маленькая пауза. Тихий удар пушки. Задняя (считая от зрителя) стена учреждения медленно валится, ветер врывается в учреждение, тысячи птиц взлетают с крыши учреждения. Открывается районный ландшафт: две кооперативные лавки с приказчиками наружи; ворота с надписью «Парк культуры и отдыха», у этих ворот — очередь. Первый в очереди — Кузьма. Все это зрелище вначале застлано дымом. Дым рассеивается. Четыре крупные девушки-осоавиахимовки несут двое носилок в учреждение, проходя через поверженную стену. На носилках — Евсей и Клокотов. Носилки ставятся на пол перед Щоевым. Евсей и Клокотов привстают и садятся в носилках.

ЕВСЕЙ. Пушка, Игнат Никанорович!..

ЩОЕВ. Ну что пушка?.. Ну пушка!

ЕВСЕЙ. Пушка, Игнат Никанорович, цельный час разгоралась, а потом стрельнула...

ЩОЕВ. Это хорошо, что стрельнула.

КЛОКОТОВ. Она в нас стрельнула!

ЕВСЕЙ. Она вниз бьет, Игнат Никанорович. У ней на дуле лозунг висит...

ЩОЕВ. А вы-то что: убитые или нет?

ЕВСЕЙ. Да нет, Игнат Никанорович, приходится жить еще! Что ж поделаешь?

ЩОЕВ (*на санитарок*). А девки эти кто?

ЕВСЕЙ. А для них это общественная работа, Игнат Никанорович. Они рады людей таскать.

КОЛЬЦЕВОЙ ПОЧТАЛЬОН (*подбегает с сумкой к очереди людей у парка культуры и отдыха и говорит*). Граждане, отдайте пакет кооперации — мне каждый шаг ведь дорог, а вы все равно на ногах.

Люди из очереди показывают на Кузьму. Кольцевой почтальон засовывает пакет Кузьме в какую-то прореху и экстренно мчится вдаль. Кузьма начинает шагать на кооперацию. Не теряя порядка очереди, люди также движутся на учреждение, во главе с Кузьмой.

ЩОЕВ (*осоавиахимовкам*). Слушайте меня, девки! Раз вы любите тяжести, то поднимите мне стенку учреждения, а то я все время вижу разные массы и рассеиваюсь!..

ОДНА ИЗ ОСОАВИАХИМОВОК. Это можно, гражданин. Ты оттого и начальник, что никому не видим... Ты думаешь, мы дурочки, что ль?!

Вчетвером берут легко бревенчатую стену и ставят на место, загораживая учреждение от районного мира. Сами осоавиахимовки остаются уже вне учреждения.

МЮД. Алеша, здесь что такое — капитализм или второе что-нибудь?

ЩОЕВ. Евсей! Организуй, пожалуйста, эту девочку. У меня от нее изжога начинается.

ЕВСЕЙ. Я ее на заметку возьму, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ. А где же мое учреждение?

ЕВСЕЙ. Оно выходное, Игнат Никанорович!

ЩОЕВ (*задумчиво*). Выходное... Хорошо бы оно не возвращалось. Я бы тогда его враз со снабжения снял и план выполнил! Евсей, давай возьмем курс на безлюдие!

ЕВСЕЙ. Давай, Игнат Никанорович! А как?

ЩОЕВ. А я почему знаю — как?! Возьмем курс, и все!

АЛЕША. Можно механизмы выдумать, товарищ кооператив. Механизмы тоже могут служить.

ЩОЕВ. Механизмы... Что же, это отлично: сидит и крутится какое-нибудь научное существо, а я им руковожу. Это мне приятно. Я бы всю республику на механизмы перевел и со снабжения снял. Как, Евсей?

ЕВСЕЙ. Нам было бы легче, Игнат Никанорович.

КЛОКОТОВ. Нормальный бы темп работы наступил!

МЮД. Птицы летят, рыба плавает, люди кушать чего-то хотят, а они думают... Алеша, я здесь не понимаю!

ЩОЕВ. Вот дай я тебя возглавлю, тогда все поймешь!

ОПОРНЫХ (*входит, весь мокрый*). Так как же... этта, как ее... рыбку-то ловить или пускай живет?..

ЩОЕВ. Заготовляй, конечно.

ОПОРНЫХ. Кадушек нету, Игнат Никанорович... А бочары говорят — как-то ее? — ты соли им за прошлый месяц не давал. Дай, говорят, нам соль, а то хлеб насущный не соленый...

ЩОЕВ. А ты, Петя, пойди и скажи им, что они оппортунисты.

ОПОРНЫХ. А они мне сказали, что ты оппортунист! Так как же мне быть?

МЮД (*ко всем*). Это кто? Фашисты?

ОПОРНЫХ. Еще встречные девки говорили мне про ягду. Она, Игнат Никанорович, говорят, в лесах поперла... Все, как-то это говорится, летит, прет, плавает и растет, а у нас тары нету. Я хожу и мучаюсь.

Шум за сценой.

ЩОЕВ (*к Алеше*). Где твоя музыка, музыкант?! Опять мне чего-то печально от мненья и мечты... Евсей, погляди, кто там шумит и нарушает!

Евсей уходит. Вместе с ним исчезают наружу Алеша и Мюд. Шум людей за сценой увеличивается.

ОПОРНЫХ. Еще, Игнат Никанорович, птичьей стада помету навалили. Целые курганы лежат, а, говорят, это золотое дно. Так как же — заготовлять его или пускай так?

Шум за сценой утихает.

ЩОЕВ. Что тебе помет? Ты ведь самый задний человек в своем классе! Из птичьего помета заграничные химики

железо и сливки делают, а ты говоришь — помет! Что ты понимаешь?!

Евсей *входит*.

КЛОКОТОВ. Давайте выпишем, Игнат Никанорович, заграничного ученого — у нас масса загадочных вопросов стоит.

ЕВСЕЙ. Конечно, надо выписать. Заграничным особый продукт дают, и они одежду привозят в чемоданах.

ЩОЕВ. Правильно, Евсей. Кто там шумел наружи?

ЕВСЕЙ. Массы пайщиков двигались сюда, а я их окоротил.

ЩОЕВ. Зря, Евсей. Ты бы выбрал от них представителя, чтоб он уж вечно был один за всех.

ЕВСЕЙ. А я уж его выбрал, Игнат Никанорович, и должность ему дал — он теперь угомонится.

ЩОЕВ. Ты прав, Евсей. Мы всегда с тобой отчего-то правы!

Тихо стучат в дверь.

Да, пожалуйста, будьте любезны — войдите.

Входят датский профессор Эдуард-Валькирия-Гансен Стерветсен и его дочь Серена.

СТЕРВЕТСЕН. Здравствуйте, господа русские максимальные люди!

СЕРЕНА. Мы — научность, которая знает пищу. Здравствуйте!

ЩОЕВ. Здравствуйте, господа буржуазные ученые! Мы здесь сидим и всегда рады науке.

ЕВСЕЙ. Мы и науку заготавливаем...

СТЕРВЕТСЕН. Мы с детства максимально любим кооперативность. В Юнион Рашион Совет кооперативность прелестна — мы хотим учиться всему пищевому и еще товарному... я грустно затрудняюсь... самотеку!

ЩОЕВ. Ага, приехали. Теперь наша кооперативность прелестной стала, когда мы вас догнали и перегнали! Евсей, уважай этих чертей!

СЕРЕНА (*отцу*). Он говорит — щорт!

СТЕРВЕТСЕН (*дочери*). Потому что, Серен, у них нет бог, остался его товарищ — щорт.

ЩОЕВ (*торжественно*). Товарищи буржуи. Вы попали в самый расцвет реорганизации нашего аппарата. Так вы,

во-первых, ступайте, отдохните, опомнитесь, а через десять дней, во-вторых, являйтесь в нашу кооперативность — тогда мы вам покажем! А чемоданчики оставьте здесь — наша земля любую тяжесть выдержит.

СТЕРВЕТСЕН. Прелестно. *(Кланяется.)* Идем, Серен, нам надо поскорей опомниться.

СЕРЕНА. Папа, я так чему-то рада...

Уходят, оставляя чемоданы в учреждении.

ЩОЕВ. Евсей! Организуй мне бал! Устрой великую рационализацию, приготовь мощную пищу!

ЕВСЕЙ. Рационализацию-то я сделаю, Игнат Никанорович, ума в массах много, только пищи, боюсь, не хватит.

ЩОЕВ *(задумчиво)*. Пищи, говоришь, нет... Ну что ж! Мы организуем вечер испытаний новых форм еды. Мы нарвем любых злаков, мы муку из рыбы сделаем, раков вытащим из воды, птичий помет обратим в химию, суп составим из сала от мертвых костей и квас заварим из дикого меда пополам с муравьиной кислотой... И далее того — мы из лопухов блины такие испечем, что ты их будешь есть с энтузиазмом! Мы всю природу в яство положим, всех накормим дешевым вечным веществом... Эх ты, Евсей, Евсей: еда же — одна социальная условность, и больше нет ничего!..

Треск мотоцикла за учреждением. Входит человек — агент совхоза.

АГЕНТ СОВХОЗА. Я из совхоза водно-воздушных мелких животных «Малый Гигант». У нас птицы разбили птичник и сбежали. У нас вода промыла плотины — и рыба бросилась по течению. Вы не замечали этих животных в вашем районе?

ЕВСЕЙ. Нет, товарищ, мы заготавливаем некультурных животных. Мы любим трудности.

АГЕНТ СОВХОЗА. А я видел сейчас людей в перьях!

ЩОЕВ. Люди в перьях? Они врут. Это неверно, товарищ!

АГЕНТ СОВХОЗА. А?!

АКТ II

Картина четвертая

То же учреждение, но несколько измененное. Оно оборудовано разными механизмами. По мере их пуска в ход зритель понимает их назначение. У задней стены лежат иностранные чемоданы. Чисто. Один длинный стол. Трибуна у окна. На столе ничего нет. В одном углу находится рояль. В другой стороне шарманка: на месте ручки у нее шкив, от шкива идет вверх ременная передача. Тихо и безлюдно. Во второй, соседней половине учреждения — шум варева. Входят Евсей и Алеша.

ЕВСЕЙ. Ну как у тебя тут — все прилично?

АЛЕША. Устроено подходяще.

ЕВСЕЙ (*оглядывая Алешу*). Ты что-то похудел.

АЛЕША. Мысли из туловища выпустил много, и мне скучно в вашем районе... Евсей, когда же настанут будущие люди — мне надоели, кто живет сейчас. Ты ведь тоже стервец, Евсей!

ЕВСЕЙ. Я-то? Я — стервец. Оттого я и цел. Иначе бы давно погиб, может — и не родился бы. А ты что думал?

АЛЕША. А как же я тогда жив?

ЕВСЕЙ. Стихийно... Да разве ты живешь? Ты движешься, а не существуешь. Ты зачем стал шарманщиком, летун дьявол?

АЛЕША. Социализма хочу поскорей добиться. Рвусь куда-то все время вдаль.

ЕВСЕЙ. Социализм наступит для разумных элементов, а ты пропадешь: ты же — ничто, тебя возглавить надо.

АЛЕША. Пускай. Я себя все равно не считаю. Но отчего ты весь гад, а важней меня?

ЕВСЕЙ. Я-то? Да это меня массы изгадили: руководишь ведь кой-чем.

АЛЕША (*углубленно*). Уж скоро коммунизм, тебя на свете не будет.

ЕВСЕЙ. Меня-то? Что ты? Я боюсь, что света без меня не останется — вот чего!

Шум изготавливающейся пищи раздается сильнее. Входит Щоев. Алеша занимается монтажом наличных механизмов.

ЩОЕВ. Доложи, Евсей!

ЕВСЕЙ. Все нормально, Игнат Никанорович! Суп из крапивы готов, щи из кустарника с дубовым салом — париться поставил, механические бутерброды лежат на посту, компот из дягаческого сока — на крыше холодится, котлеты из чернозема жарятся. А что касается каши из саранчи и муравьиных яиц, то она преет, Игнат Никанорович! Все прочее — также мобилизуется на плите, а сладкое из клея и кваса поспело первым!

ЩОЕВ. А соус — под каким соусом вы это подадите?

ЕВСЕЙ. Соус, Игнат Никанорович, вещь ложная. Мы даем жидкое подспорье из березового сока!

ЩОЕВ. А это... Для ясности перспективы ничего не будет?

ЕВСЕЙ. Уксус, Игнат Никанорович, — уксус с махорочной крошкой и сиреневым кустом!

ЩОЕВ. Прелестно, Евсей. Теперь сообщите — как с инвентарем.

АЛЕША. А я вам всю посуду из дерева надолбил. У вас ложек и чашек нигде нету — вы же не догадались, что кругом леса, а в лесу колхозы с рабочими руками. Тут можно устроить целый деревянный век!

ЩОЕВ. Деревянный век... Что ж, это тоже приличная переходная эпоха была!

Шум людей за дверью.

ЕВСЕЙ. Гостевая масса идет, Игнат Никанорович.

ЩОЕВ. Не пускай. Дай нам опомниться.

Евсей запирает дверь на засов.

ЩОЕВ. Вот чего... А научного буржуя с дочкой ты чем будешь кормить?

ЕВСЕЙ. Тем же, Игнат Никанорович. Он сам мне сказал, что сочувствует великой еде будущего и готов страдать за новую светлую пищу.

ЩОЕВ. А я что буду есть?

ЕВСЕЙ. Ты, Игнат Никанорович, совместно со мной будешь. Мы с тобой попробуем паек заграничного ученого — я у него для опыта всю пищу взял.

ЩОЕВ. Ты умен, Евсей!

ЕВСЕЙ. Ну еще бы! Надо ж всесторонне...

Гости бушуют за запертой дверью.

ЩОЕВ. Пускай едоков, Евсей. Алексей, заводи аккорды. Алеша пускает шарманку: переводит рычаг — и приводной ремень, шлепая во все время игры шшивкой по шкиву, начинает вертеть шарманочный валик. Шарманка тихо, мелодично играет вальс «На сопках Маньчжурии». Евсей открывает дверь. Входят: Стерветсен под руку с дочерью и с ящиком в другой руке, Клокотов, выдвигенка Евдокия, пять девушек-служащих (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я), Петр Опорных под руку с маленькой женой, трое служащих мужчин с женами (1-й, 2-й, 3-й) и представитель кооперативного населения — Годовалов. Затем — пожарный в полном боевом обмундировании и в каске, который становится у дверей; наконец — милиционер. Шарманка перестает играть. Стерветсен передает Евсею ящик с продуктами.

ЕВСЕЙ. Слушайте меня, товарищи гости! Разрешите мне вас за что-то поприветствовать! Давайте все обрадуемся сегодня...

ЩОЕВ. Останови, Евсей, свое слово! Я еще не высказывался...

ЕВСЕЙ. Да я, Игнат Никанорович, как говорится...

ЩОЕВ. Ты всегда поступай не как говорится, а как подразумевается... Слушайте меня, товарищи гости...

Гости сели было, потом все встанут, кроме Стерветсена и его дочери, и слушают стоя.

Товарищи здешние и заграничные! Я хочу вам сказать что-то особенное, но отвык от счастья настроенья. Мучает меня тревога за сытость масс... Недоумение тоскует во мне... Ввиду же роста темпов аппетита масс перед нашей коопсистемой встала одна явная необходимость, а именно — преодолеть какую-то явную недооценку чего-то... Для сего нужно лишь проглотить пищу, а когда она попала в желудок — то пускай она там сама разбирается, пускай скучает или радуется. Нынче же мы должны испытать в глубине своих туловищ силу новой пищи, которую мы заготовили из самотечных природных материалов. Да здравствует пятилетка в четыре года!

Аплодисменты всех. Общее «ура». Люди прекращают аплодисменты, опускают руки, но аплодисменты не пре-

кращаются, а усиливаются, превращаются в овацию. Повторяется, еще более громогласно, крик «ура», металлического тона.

Все гости испуганы. Алеша жмет рукой рукоятку одного деревянного грубого механизма (он виден отчасти зрителю), приводной ремень сверху вращает механизм — он аплодирует и кричит «ура». Алеша отжимает рукоятку; ремень останавливается; механизм затихает.

ЩОЕВ. Евсей!

ЕВСЕЙ. Алексей!

АЛЕША. Даю питание. (Переводит рычаг.)

Грохот неведомого механизма. Затем — тихо. По столу на конвейере — медленно выплывает громадная деревянная чашка, над нею пар, вокруг чашки стоят прислоненные солидные деревянные ложки. Гости берут ложки.

ЩОЕВ. Музыку бодрящую, Алеша!

АЛЕША. Даю ее. Чего играть?

ЩОЕВ. Уважь, пожалуйста, заведи что-нибудь задушевное.

Алеша включает шарманку. Шарманка начинает играть задушевное. Гости едят. Щоев и Евсей сидят на трибуне. Евсей вынимает из ящика, доставленного Стерветсеном, отдельную пищу — колбасу, сыр и пр., — и ест ее со Щоевым на трибуне.

ОПОРНЫХ. Этга... Игнат Никанорович! Это что же, такие щи ты навеки учредил? Иль просто это одна кампания?

ЩОЕВ. Ешь, Петя, не будь оппортунистом.

ОПОРНЫХ. Мне что! Я только говорю... как-то ее... у нас говядина и капуста есть в республике. Может, лучше б кушать нормальные щи! А то желудок разбухнет!

ЕВСЕЙ. Петя! Кушай молча, испытывайся.

ОПОРНЫХ. Да я молчу. Я сейчас думать буду для пробы...

Шарманка замолкает.

ЩОЕВ. Алеша! Угоди-ка нам вторичным блюдом. Дай для опыта кашку!

Алеша переводит рычаг. Грохот. Чашка со щами уползает. Грохот прекращается. Выплывает миска с кашей.

ГОДОВАЛОВ (*встает*). Ото всех потребляющих членов, которые уполномочили меня думать за них, и еще...

ЕВСЕЙ. Мучиться за них душой, товарищ Годовалов...

ГОДОВАЛОВ. И еще мучиться душой, — я выражаю всеобщее гигантское чувство радости, а также энтузиазм...

Алеша включает автомат. Раздается гром аплодисментов. Годовалов садится. Все едят кашу.

ЩОЕВ. Ну как она, товарищи?

СЕРЕНА. Папа! Это — саранча? Они едят вредителей.

ЕВСЕЙ. Верно, барышня. Мы вредителей прячем в себя.

СЕРЕНА. Тогда вы будете вредным...

ГОДОВАЛОВ. Каша приличная, Игнат Никанорович.

ПЕРВЫЙ СЛУЖАЩИЙ. Эти опыты имеют громадное воспитательное значение, товарищ Щоев. Их надо устраивать каждую декаду.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Ах, мне ужасно мило здесь. Я в первый раз вижу интервенцию.

ЩОЕВ. Эй, дура... Молчи, когда слов не знаешь. Сиди и чувствуй что-нибудь бессловесно.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Но мне чего-то хочется, Игнат Никанорович... Я вся полностью волнуюсь!..

ЕВСЕЙ. Поля! Ты мамаше шепотом потом все расскажешь, а здесь ты для опыта...

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Ах, Евсей Иванович, мне так нравится наше учреждение... Я так что-то чувствую...

СТЕРВЕТСЕН. Ничего не следует оставлять без испытания. Весь мир лишь эксперимент...

ЩОЕВ. Тише там глотайте! Дайте нам слушать научное!

СТЕРВЕТСЕН. Я говорю: весь мир есть эксперимент Божьих сил. Ты согласна, Серен?

СЕРЕНА. Папа, разве Бог тоже профессор? А зачем тогда ты?

ЕВСЕЙ (*тихо Щоеву*). Игнат Никанорович, это религиозная пропаганда!

ЩОЕВ. Пускай, Евсей. Им можно: они ненормальные... Алеша! Давай всю пищу на выбор!

Алеша переводит рычаг. Грохот. По конвейеру уплывает каша. Грохот утихает. Конвейер подает постепенно серию различных кушаний.

ЩОЕВ. Вкушайте, товарищи, эти яства без остатка. У нас всего много — у нас одна шестая всего земного глобуса... Алеша! Организуй бутерброды!..

Алеша включает некий деревянный аппарат; в аппарате заранее заложена коврига хлеба. Аппарат режет хлеб на ломтики, и эти ломтики автоматически мажутся каким-то белым веществом; затем готовые бутерброды сошвыриваются лапой аппарата на деревянное блюдо. Блюдо поступает на конвейер.

СТЕРВЕТСЕН (*разглядывает действие аппарата*). Это изумительно, Серен. Это гигиена!

СЕРЕНА. Папа, мне нравится Алеша.

ЩОЕВ. Алексей! Сделай заграничной барышне что-нибудь любезное — ты ей нравишься!

Алеша подходит к Серене и целует ее, приподымая все ее тело с места.

СТЕРВЕТСЕН. Это дико. Серен!

СЕРЕНА (*оправляясь*). Ничего, папа, мне же не больно. Я должна ведь почувствовать Юнион Рашион Совет.

ЩОЕВ (*сурово*). Не будь беспринципщиком, Алексей...

СЕРЕНА (*Алексею*). Вы любите что-нибудь на свете или один коммунизм?

АЛЕША. Я люблю больше всего дирижабль. Я все думаю, как он взойдет над всей бедной землей, как заплачут все колхозники вверх лицом и я дам ревущую силу в моторы, весь в слезах классовой радости. Мы полетим против ветра надо всеми океанами, и мировой капитал сильно загорюет над летящими массами, под громадным туловищем науки и техники!..

СЕРЕНА. Я вас слушаю... Но мне говорил в Москве ваш одинокий член — вы любите ударников и таких, какие трудятся догнать и перегнать.

ЕВСЕЙ. Он летун, — ему лишь бы мчаться куда-нибудь, когда наши родные массы живут пешком...

АЛЕША (*отвечая Серене*). Ты не понимаешь, а он (*на Евсея*) — это как ваши. Он — не класс, он присмиренец.

СЕРЕНА. Но дирижабли есть и в Европе.

АЛЕША. Ну и что ж!

ЩОЕВ. Там же дяляческие дирижабли!

АЛЕША (*Серене*). Ты не понимаешь, потому что ты буржуйка. Ты одиноличница!.. Ты думаешь, что у тебя есть душа...

СЕРЕНА. Да...

АЛЕША. Нету. А у нас будет дирижабль. Он пойдет над немущим земным шаром, над Третьим интернационалом, он спустится, и его потрогают руки всемирного пролетариата...

ЩОЕВ (*Евсею*). А я думал — он дурак.

ЕВСЕЙ. У нас ведь одни прямые, четкие были дураки, Игнат Никанорович! А он дурак наоборот.

СЕРЕНА (*Алексею*). Вы действуете на меня как ландшафт, я чувствую грусть... как она у вас говорится... в своей кофте.

Стерветсен вынимает папирсы «Тройка» и закуривает.

СЕРЕНА. Папа, отчего мы с тобой одиноличники?

СТЕРВЕТСЕН. Серен, ты меня шокируешь!

ОПОРНЫХ (*выпивая чашку уксуса*). Пью за все державы, где... этга... пролетариат поднимает голову, увидя наш, как его, дирижабль!

ЩОЕВ (*вставая, торжественно*). За дирижабль революции, за всемирных пайщиков и... за все опубликованные в местной прессе лозунги — ура!

ВСЕ. Ура!

После возгласа внезапно настает тишина, но второй служащий кричит «ура» одиноким голосом, не замечая тишины.

ЩОЕВ (*кричащему*). Васька, не шокируйся!

Второй служащий враз утихает. Шум за сценой учреждения.

ЩОЕВ. Алеша! Запусти бал!

ГОЛОВАНОВ. Дайте хоть компотную воду-то допить... (*Пьет компот из черепушки.*)

ОПОРНЫХ (*к Стерветсену*). Угостите этим — как-то он? — вашим демпингом...

Стерветсен подает ему пачку «Тройки». Опорных берет три папирсы, двумя угощает соседей. Гости наспех доедают пищу, кроме Серены, которая беседует с Алексеем.

ЩОЕВ (*задумчиво*). Бал... Люблю я это веселое междоусобие человечества!..

Один из гостей-служащих подходит к окну и открывает его. Врывается шум района и постепенно затихает. Три полудетских лица появляются в окне и глядят в учреждение. Гость-служащий равнодушно обдает те лица дымом, который выходит далее во мрак районной ночи.

ЕВСЕЙ (к Стерветсену). Господин буржуазный ученый, может быть, у вас сложилось мнение о наших пищевых образцах — или не сложилось еще?

СТЕРВЕТСЕН. Я говорил бы так, что оно складывается... По-вашему, это звучит как самотек или я отметаю недооценку?! Я скучаю без понятия...

ЕВСЕЙ. Ну ничего — ты ведь не марксист, мы тебя научим. Можно посмотреть твою самопишущую систему? Это импорт, что ли?

СТЕРВЕТСЕН (подает Евсею самопишущую ручку). Рекомендую — это приличный автомат.

ЕВСЕЙ. Сама пишет?

СТЕРВЕТСЕН. Нет, активности она не имеет. Следует вам думать — как называется? — единоличником...

ЕВСЕЙ. Ладно. А я ведь полагал, она сама что-нибудь соображает. А она у тебя оппортунка. Оставь для образца, Алешка ее обгонит.

ДЕВОЧКА ИЗ ОКНА. Дядь, дай кусочек!

СЕРЕНА (Алексею). Отчего вам скучно на лице?

АЛЕША. Да все по социализму...

СЕРЕНА. А это прелесть?

АЛЕША. Угроблю за вопрос! Иль не видишь?

СЕРЕНА. Нет, я вижу только вас.

ДЕВОЧКА ИЗ ОКНА. Дядь, дай кусочек!

ДРУГОЕ СУЩЕСТВО (из населения за окном). Ну хоть что-нибудь!

Позади всех, за окном, появляется лицо Мюд.

ЩОЕВ. Алеша! Давай нам часть неофициальную!..

Алеша переводит некий рычаг, и стол с остатками яств уползает прочь — в боковую прорву учреждения. Гости на ногах.

ГОЛОС ЗА ОКНОМ. Нам хоть невкусное... Хоть мутного.

ЧУЖДЫЙ МУСОРНЫЙ ГОЛОС (взрослого, за окном). Дозвольте жижку жевнуть! Я тоже был член.

Пожарный закрывает окно. Но извне открывается другое, соседнее окно — и те же лица глядят, в том же порядке, точно они не переменили места. Пожарный закрывает и это окно. Открывается опять прежнее окно — и те же лица, в неподвижном порядке.

ЩОЕВ. Евсей! Упорядочь население!.. Алеша, давай же нежное...

Алеша переводит приводной ремень на шарманке, и, хлопая шивкой по шкиву, ремень вращает шарманку; шарманка играет нежную музыку — вальс. Гости начинают двигаться в такт.

ЕВСЕЙ (в окно). Вы что уставились?

ГОЛОС ДЕВОЧКИ (за окном). Нам хочется вкусненького!

ЧУЖДЫЙ МУСОРНЫЙ ГОЛОС. Дай, пожалуйста, я чего-нибудь проглочу!

ЕВСЕЙ. На — пей ради бога. (Дает ему чашку с уксусом, оставшуюся на трибуне.) Здесь ведь научный вечер, — тут мучаются из-за вас, братец ты мой.

Человек выпивает за окном уксус и отдает чашку обратно.

ЧУЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК. Люблю жидкое...

Гости танцуют: Алеша с Сереной, Опорных (большого роста человек) с маленькой своей женой, Стерветсен с выдвигенкой Евдокией и т. д. Один Щоев сидит задумчиво на возвышенном месте.

ЩОЕВ. Уважаю я это наслаждение масс...

ЕВСЕЙ (приближаясь к Щоеву). Чего-то, Игнат Никанорович, я сейчас всех граждан полюбил!

ЩОЕВ. Все животные, Евсей, любят друг друга. Нужно иметь не любовь, а установку... (Более задумчиво.) Установка... без нее давно лежал бы каждый навзничь.

Вальс продолжается. Опорных, прижимая к себе жену, блюет через ее голову в угловую урну и не останавливает своего вежливого супружеского танца; жена не замечает этого факта.

МЮД (за окном). Алеша! Возьми нас туда!

Алеша не слышит, танцуя с Сереной, которая уже вся побелела лицом и скорее корчится, чем танцует. Стервет-

сен вдруг припадает к роялю, побледнев. Евсей хватает урну и почтительно держит ее перед ртом Стерветсена. За окном стоит Мюд, и рядом с ней появилось лицо КУЗЬМЫ, лежащее подбородком на подоконнике. Других людей никого нет; ясно видна районная ночь.

СТЕРВЕТСЕН. Благодарю. Пицца не вышла, она усвоилась вглубь.

ЕВСЕЙ. Если даже вас не вырвало, то наше население сроду не заблует...

Первая служащая начинает среди танца извиваться телом, ее челюсти и горло сводятся в судорогах, ее мучит тошнотворное чувство, — она движется почти в припадке, вся трепеща от желудочного страдания. С ее кавалером-служащим совершается то же самое.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Ах, я так в общем и целом довольна, но я больше не могу... я не в силах... из меня выходит вся душа...

СТЕРВЕТСЕН. Продайте ее мне, мадмуазель...

Всех остальных танцующих также сводит рвотная судорога, но танец все же продолжается; одичавшие тела в мучении обнимают друг друга, но напор желудочного вещества давит им в горло, и танцующие откидываются один от другого. Музыка утихает.

КУЗЬМА (из-за окна запекает).

...Высоко в небе ясно...

МЮД (жалобным голосом продолжает песню из окна).

...Вьется алый стяг...

СЕРЕНА (еле двигаясь в танце изнемогающим телом, говорит печально Алеше). Ах, мне так грустно в животе!

АЛЕША. Что у тебя — душа с телом расстается?

СЕРЕНА (судорожно наклоняется и делает в платок). Рассталась уже!

Музыка замолкла вовсе. Гости расселись по сторонам и корчатся на стульях от желудочных чувств. Серена сразу, после факта с платком, меняется, веселеет и танцует одна.

(Отцу.) Папочка, я теперь хочу фоксик!

Стерветсен садится к роялю и начинает играть медленный пессимистический фокстрот.

СЕРЕНА (*движется и поет*).

Бедный мой маленький парень,
Далекий, погибший матрос,
Вернись еще раз на прощанье,
Ты слышишь —

плачет наш фокс...

(*Грустно, к Алеше.*) Где у вас есть большевистская душа?.. Европа ведь скучает без нее и плачет...

АЛЕША. Буржуазия должна плакать без отдыха. Ей хорошо теперь поплакаться!

СЕРЕНА. Ах, Алеша, большевизм такой милый, у вас так весело и трудно!.. Обнимите меня с вашим большевистским мужеством...

АЛЕША (*отстраняя Серену*). Неинтересно: ты буржуйка...

ОПОРНЫХ. Этта... Как-то она?! Игнат Никанорыч, можно меня вырвет — во мне добавок остался...

ГОДОВАЛОВ (*умоляюще*). Игнат Никанорович, я только один переедок вышвырну изо рта — я пищи перехватил...

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Товарищ Щоев, разрешите мне быть сейчас выходной. Я уже была рада весь вечер!

ЩОЕВ. Умолкните! Приучайте себя к выдержке — вы откроете новую эпоху светлой еды. Весь мир развивается благодаря терпежу и мучению. (*Задумчиво.*) Терпеж! Вот причина — для движенья времени куда-то!

ЕВСЕЙ (*гостям*). Довольно вам притворяться!..

Кузьма за окном плачет: по железному лицу сочится какая-то влага.

МЮД (*из-за окна*). Алеша, возьми нас к себе, нам скучно. Здесь природа-фашистка дует в меня, а Кузя плачет.

АЛЕША (*спохватывается*). Мюд! (*Втаскивает ее в окно, затем Кузьму; Кузьма бурчит.*)

Гости все поворачиваются лицами к стене; их томит тошнотворность. Кузьма ест остатки пищи с канцелярского инвентаря. Бьют часы на башне в районе.

СЕРЕНА. Папа, где же у них надстройка?

СТЕРВЕТСЕН (*к Щоеву*). Господин шеф! Мы бы весьма желали, вы обрадуете всю пан-Европу, если отпустите нам горячий дух из вашей государственной надстройки!

Кузьма уходит в уборную.

СЕРЕНА. Или хотя продали установку... Папа, она дешевле!
ЩОЕВ (*задумчиво*). Наш дух энтузиазма хотите себе заготовить?!

ЕВСЕЙ (*Щоеву*). Отпускайте его, Игнат Никанорович, без нормы. Нам тара нужна, а не дух.

ЩОЕВ. Что ж! Установок на энтузиазм у нас много, почти что затоваривание получилось...

Слышно, как Кузьма рыгает в уборной чугунным звуком, и гости — после Кузьмы — одновременно делают то же самое.

ЩОЕВ (*обращает внимание на гостей*). Ступайте прочь спать: завтра служебный день.

Гости исчезают. Остаются: Щоев, Евсей, Стерветсен, Серена, Мюд, Алеша, пожарный, милиционер.

ЩОЕВ (*продолжает*). Что ж, идеологические установочки наши мы можем вам отгрузить, но только за валюту!

Взрыв коллективной тошноты за сценой.

ЕВСЕЙ. Налопались, уроды!.. Брешут — привыкнут!

МИЛИЦИОНЕР и ПОЖАРНЫЙ (*улыбаясь*). У них выдержки нет!

Картина пятая

Сцена в прежнем оборудовании. На лавке спит Мюд, обняв Кузьму. Евсей дремлет на стуле. На конторке спит Серена. Щоев, Алеша и Стерветсен бодрствуют за столом. В открытое окно видны звезды над районом.

ЩОЕВ. Дешево даете, господин буржуазный ученый. Будь бы это продукт не скоропортящийся иль заготовительная цена его была подходящая, а то ведь — нет! Ты знаешь, где у нас установки хранятся?

СТЕРВЕТСЕН. Не имею такого факта, товарищ шеф.

ЩОЕВ. А раз не имеешь понятия, то и не торгуйся... Что тебе — в амбаре, что ли, иль в бунтах мы надстройки сваливаем?! Что тебе — нанял сторожа, что ль, по первому разряду тарифной сетки, плати ему двадцать четыре, купи валенки на зиму — и все?! Ишь ты какой, интервент дьявол!..

КУЗЬМА (во сне). Паппа римский... Ххады...

ЩОЕВ. Ты прав, Кузьма, на все сто с лишним процентов... Ты, господин агент буржуазии...

СТЕРВЕТСЕН. Я не агент, я культурная личность Европы...

ЩОЕВ. Это все едино, личности у вас нет, раз ты в нашу периферию приехал. Личность теперь я!.. А ты считай дальше — во сколько нам обходятся одни складочные расходы на каждую идею! Считай: складываем мы ее в миллионы выдержанных личностей, каждую личность надо, не говоря уж кормить, — надо ее страховать, беречь от разложения, прорабатывать, чтоб в ней воздух не сперся и установка не протухла, — это ж нежнейший товар, господин научный, а не гриб!

ЕВСЕЙ (со сна). А с грибом, Игнат Никанорович, иль мало было хлопот?!

ЩОЕВ. Далее посчитай постройку каждой установки!..

СТЕРВЕТСЕН. Разве ваша душа делается, как промышленность?..

ЩОЕВ. Надстройка же она, дурак! Надстройка над отношением вещества! Конечно, она у нас делается! В нашем райпотребсоюзе одну идеологическую резолюцию три года прорабатывали: сорок тысяч пайщиков были привлечены на ногах для выяснения принципиальной установки. Четырнадцать массовых кампаний было проведено! Тридцать семь человек старших инструкторов были брошены в гущу нашего членства на полтора года! Двести четырнадцать заседаний с числом присутствующих душ-едоков в семь тысяч штук! Да плюс сюда еще общие собрания, где скоплялись в итоге миллионы!.. Вот во что обходится нам строительство одной только установки! А ты хочешь всю надстройку купить! У тебя всей Европы на один ее транспорт не хватит! А тара у тебя где? У вас же нет подходящей международной личности...

КУЗЬМА. Паппа римский...

ЩОЕВ. Он, Кузьма, не годится. Это жалкий оппортунист-схематик. (Задумчиво.) Схематик! Гнусный упрощенец линии Иисуса Христа, и больше нет ничего.

АЛЕША. Товарищ Щоев, давай я им свезу. У меня внутри много революционности лежит! Я чую все вперед будущего, я весь томлюсь от скуки заграничного капитализма!

СТЕРВЕТСЕН. Я не понимаю... Я кормлюсь пищей, но живу душой. У нас на Западе тихо стало в сердце, а у вас оно... ударник в радость и в грудь. Бедная интеллигенция желает вашу душу. Мы просим подешевле, у нас кризис и так грустно в уме...

ЩОЕВ. Сочувствую. Но что ж с тобой делать, когда ты ничий?! У нас ведь контроль рублем, братец ты мой!

КУЗЬМА. С капитализмом нужно соглашение...

АЛЕША. Лежи, Кузьма, лучше молча, раз я тебя устроил.

МЮД *(со сна)*. Не буди меня, Кузя. У меня виден сон.

ЩОЕВ. Знаю, Кузьма, что нужно. Неохота, да приходится. Он, интервент черт, никак ведь не поймет, что у нас идет строительство сознательных гигантов — резолюций. А хочет купить их за ничто. Нам весь Кузбасс дешевле и скорее обойдется, чем проработка нашего устава!.. Евсей!

ЕВСЕЙ *(со сна)*. Э?

ЩОЕВ. Во сколько нам обошлось строительство нашего районного устава?

ЕВСЕЙ. Сейчас, Игнат Никанорович! Э-э, по исполнительной смете номер сорок восемь дробь одиннадцать — сорок тысяч с копейками, не считая затраты на живую силу собраний...

ЩОЕВ *(Стерветсену)*. Ну вот видишь! А ты хочешь уставовку купить! Купи лучше директивку — по дешевке отгрузу...

СТЕРВЕТСЕН. А можно? Там есть ваш энтузиазм?

ЩОЕВ. Браком не торгуем! Ваша товарная буржуазия на нас не жалуется.

СТЕРВЕТСЕН. А сколько вам нужно средств?

ЩОЕВ. Евсей!

ЕВСЕЙ *(в дремоте)*. Э?

ЩОЕВ. За сколько мы с тобой сумеем директивку отпустить — со всеми нашими наценками?

ЕВСЕЙ. По тридцать семь рублей за штуку, Игнат Никанорович! Стоимость костюма среднего интеллигентного покроя...

СТЕРВЕТСЕН. Костюмы у меня есть!..

ЕВСЕЙ. Давай!

АЛЕША (*Евсей*). С него не бери. Лучше я тебе свои штаны с рубашкой отдам!

ЕВСЕЙ. Сиди в своих портках. Твой материал не валютный.

АЛЕША. Я вас побью вручную, чертей!.. Товарищ хочет в нашу идею окунуться, а вы...

ЕВСЕЙ. А мы его раздеваем, чтоб он окунулся и обмылся!

ЩОЕВ. Алеша! Успокой свою психологию, здесь не частное заведение.

СТЕРВЕТСЕН. Серен!

СЕРЕНА. Иё?

СТЕРВЕТСЕН. Где наш гардероб?

СЕРЕНА. Сейчас, папа! (*Поднимается и идет в угол, где два чемодана. Евсей оперирует в чемоданах вместе с ней.*)

АЛЕША (*Щоеву*). Вы не идею, вы бюрократизм за деньги продаете — я партии скажу!

ЩОЕВ. Ты прав на все проценты. Пускай бюрократизм в буржуазию идет — пускай она почешется. (*Задумчиво.*) Бюрократизм... Двинем его на капитализм — и фашистам конец. А то они нашего деревянного леса испугались, упрощенцы — черти! Пусть бы радовались, что мы им живую древесину отпускаем, а то наделаем из дерева бумагу, а из бумаги оформим душу — и пустим к ним ее: пускай тогда плачут...

Евсей тем временем сбросил с себя штаны и ватную куртку и переоделся в заграничный костюм.

ЕВСЕЙ (*берет папку с бумагами, дает одну бумажку Стерветсену, открывает место в папке*). Распишитесь в получении.

СТЕРВЕТСЕН (*расписывается и берет бумагу, потом читает*). «Циркулярно. О принципах самовозбуждения энтузиазма». Это мы любим. Отпустите еще нам вашего настроения!

ЕВСЕЙ. Можно. Игнат Никанорович, там кофта для твоей бабы есть...

ЩОЕВ. Возьми, Евсей. Баба тоже существо.

Евсей вынимает из чемодана цветную кофту, швыряет ее на стол Щоева. Стерветсен снова расписывается и получает бумагу.

СТЕРВЕТСЕН (*читает*). «Частичные примечания к Уставу о культработе». Очень рад!

ЩОЕВ. Ну вот. Учись, чувствуй и станешь приличным классовым человеком.

СТЕРВЕТСЕН. Спасибо!

КУЗЬМА (*привстав, вынимает изнутри себя бумажку, что дал ему кольцевой почтальон, и подает ее Стерветсену*). На!

СТЕРВЕТСЕН (*беря документ*). Благодарю вас...

КУЗЬМА. Дай, ххад...

СТЕРВЕТСЕН. Пожалуйста, прошу вас. (*Подносит Кузьме открытый маленький чемодан.*)

Кузьма берет цветную жилетку, брюки и успокаивается.

АЛЕША (*Щоеву*). Отчего, товарищ Щоев, я гляжу на тебя, на всех почти людей — и у меня сердце болит?!

ЩОЕВ. Невыдержанное еще, вот и болит!

КУЗЬМА. Покоя нету... Эклектики...

ЩОЕВ. Вот именно, Кузьма, что покоя нету... Я ночей не сплю, а мне говорят — у тебя темпов мало. Я нежности из надстройки хочу, а мне сообщают — радуйся сам по себе... Я скучаю, Кузьма!

КУЗЬМА. В будущее рвутся... Ххады...

Мюд шевелится и открывает глаза.

ЩОЕВ. Рвутся, Кузьма!.. О Господи, Господи, хоть бы ты был, что ли!..

ЕВСЕЙ (*роется в чемоданах*). Тут еще есть добро, Игнат Никанорович! Может, установочку продадим на валютный товар?..

ЩОЕВ. Продадим, Евсей... Мы ведь и без установки стоим. А свалимся, так будем лежа жить... Эх, хорошо бы лежа теперь пожить.

АЛЕША. Продавайте уж сразу всю надстройку! Нам не жалко — у нас вырастет душа из остатков!

ЩОЕВ. Ты прав, Алексей. А где ее взять — надстройку, чтоб по накладной одно место получилось.

АЛЕША. Она вся в тебе целиком, товарищ Щоев! Ты же самый четкий человек в районе!.. А у нас надстройки нету — мы нижняя масса, ты сам говорил!

ЩОЕВ. Да пожалуй что!.. Я ведь все время чувствую что-то величайшее, только говорю не то.

СТЕРВЕТСЕН. Нам и нужно ваше чувство!

МЮД. Алеша, продай Щоева — он сволочь социализма.

АЛЕША *(тихо)*. Я давно все чую, Мюд. Лежи пока во сне.

ЩОЕВ. Не то и правда, Евсей, — продать свою душу ради Эсесер?! Эх, погублю я себя для социализма — пускай он доволен будет, пускай меня малолетние помнят!.. Эх, Евсей, охота мне погибнуть — заплачет надо мною тогда весь международный пролетариат!.. Печальная музыка раздастся во всей Европе и в прочем мире... Съест ведь стерва-буржуазия душу пролетария за валюту!

ЕВСЕЙ. Съест, Игнат Никанорович, и энтузиазм украдет. А весь Эсесер останется без тебя круглой сиротой, и что нам тогда делать, кто нас возглавит без тебя!.. *(Искажает лицо для плача, но слезы у него течь не могут, и он надевает в тоске пенсне из кармана заграничного костюма, в который уже оделся из чемодана Стерветсена.)*

ЩОЕВ. Да пожалуй что ты прав, Евсей!.. Обдумай это и доложи впоследствии...

АЛЕША. Нечего обдумывать. Торгуйся подороже с буржуазией за все свое туловище, в котором дрожит твоя идеологическая душа!.. Или ты республику разлюбил, сволочь?!

СТЕРВЕТСЕН *(Щоеву)*. Ну пожалуйста, я прошу... Если вы надстройка... психия радости... то я прошу воодушевить Европу всем сердцем вашей культуры. Едемте в наш свет!

ЩОЕВ. Возглавить вас, что ль?

СТЕРВЕТСЕН. Вы сообщаете верно. Нам нужно ваше полное мероприятие культуры.

Серена испуганно, неразборчиво бормочет во сне по-французски.

ЩОЕВ. Пугается барышня чего-то!

ЕВСЕЙ. Установки нету, вот и боится! Классовое сознание разлагается...

АЛЕША. Поезжай, товарищ Щоев! Проси миллион!

ЩОЕВ. Я несколько дороже этой суммы. Как, Евсей?

ЕВСЕЙ. Я озадачился и все обдумал: Игнат Никанорыч как наша возглавляющая надстройка должен остаться в Эсесере, потому что Эсесер дороже всей прочей гнусной суши...

ЩОЕВ. Ты прав, Евсей!

АЛЕША. Ехайте оба на другой свет — вы нам дешевле всех...

ЕВСЕЙ. Обожди, Алеша, перегибать... Я полагаю, что мы быстро найдем подходящую идейную личность среди наших пайщиков. Пусть она поедет в фашизм и даст ему надлежащее настроенье. Нам это пустяки — им хочется одного духа, а он — ничто. Нам его девать некуда — нам нужен один материализм!

ЩОЕВ. Опорных, что ль, отпустить?

ЕВСЕЙ. Петьку-то? Он дурак, он нам самим дорог...

ЩОЕВ. Ну Годовалова.

ЕВСЕЙ. Невыдержанный человек. Все время рад чему-то.

ЩОЕВ. Может — бабу?

ЕВСЕЙ. Цену снизят, Игнат Никанорович. Не стоит.

СЕРЕНА (*во сне*). Ах, папа-папа, я так люблю советского Алешу и не могу проснуться от нашей грусти...

СТЕРВЕТСЕН. Спи, наша девочка!

СЕРЕНА. Но папа: это бывает так же редко, как жизнь, — один раз.

ЕВСЕЙ. Ну, нашла себе, дура, установку!

ЩОЕВ. Ну кого же с духовным грузом-то послать?

КУЗЬМА. ...Тихий разумный элемент...

ЩОЕВ (*на Кузьму*). Он мыслит почти как я. Пошлем тихий разумный элемент.

ЕВСЕЙ. Ложитесь пока отдыхать, Игнат Никанорыч. А завтра мы соберем пайщиков и назначим торги на лучшую идеологичность. И пошлем какой-нибудь некий элемент!

ЩОЕВ. Ты умен, Евсей! До свиданья, господин буржуазный ученый. Прощай, Кузьма!

КУЗЬМА. ...Спи, актив!..

ЩОЕВ. Кузьма, ты живой, что ли?

КУЗЬМА. Да почти что как ты...

МЮД. Алеша, я вижу во сне одних буржуев и подкулачников... Только мы с тобой — нет!

АЛЕША. Бей их, Мюд, и во сне!.. Где они?!

ЕВСЕЙ. Граждане, прошу спокойно. Здесь идет социалистическое строительство. Дайте мне возможность запродать профессору наши установки!..

МЮД (*сталкивая Кузьму на пол*). Иди от меня, оппор-
тун! Ты за них стоишь!

Кузьма брякается на пол. В районе бьют часы.

АКТ III

Картина шестая

То же самое учреждение, но опустелое, лишенное механических устройств. Идет собрание пайщиков. Присутствуют все люди, которые были на балу кушаний, плюс еще человек десять разных личностей. Трибуна. На трибуне Щоев и Евсей. Они двое, как и Опорных, Годовалов, Клокотов, — в заграничных костюмах; Щоев, кроме того, в роговых очках. Евсей в пенсне. Кузьма — в заграничной жилетке, в брюках — вид совершенно человеческий. Наоборот, Стерветсен и Серена одеты теперь совсем плохо: профессор в пиджак-кацавейку желто-тифозного цвета, в ватные штаны ополченского образца, в картуз; его дочь — в ситцевый кухарочный капот, на голове ее — уездный полушалок. К моменту начала этого действия собрание уже давно идет. Шум.

ЩОЕВ (*курит сигару; задумчиво, в наставшей вдруг тишине*). Никого нету. Все выдержаны, у всех внутри бушует что-то светлое, а все — явно недостаточно. Петя, как у тебя дело с душой?

ОПОРНЫХ. Да все, Игнат Никанорыч, — как-то ее? — прилично. И еще... эт-та... мне хорошо!

ЩОЕВ. А ты что полагаешь, Годовалов?

ГОДОВАЛОВ. А я же рад, Игнат Никанорыч, я не полагаю.

ЕВСЕЙ. Может, девчонку Мюд отослать?

ЩОЕВ. И то, Евсей. Девчонка! Ты как настроена?

МЮД. Я определенно против!

ЩОЕВ. Чего — против?

МЮД. Против тебя. Ты потому что сволочь, аллилуйщик, право-левый элемент, ты замучил всю местную массу, у тебя тары нету, ты гад бедного класса — ты вот что такое!.. Алеша, мне скучно здесь, я вся плачу... Идем отсюда в социализм!

АЛЕША. Погоди, Мюд. Я еще зажгу в них энтузиазм! Или — потушу их навеки!

МЮД. Лучше потуши их навеки... А то я слышу по ночам, как гремят вдалеке молотки, и колеса, и еще гвозди! У меня так тогда сердце болит, Алеша, что мы с тобой не там!.. Я хочу ударничества, Алеша, и чтоб было скучно от трудности!

КУЗЬМА. ...Голосуй единогласно... Внедряй!..

ЩОЕВ. Нечего, Кузьма. Не пришли еще к мнению...

ГОДОВАЛОВ. Игнат Никанорыч, ты Евсея Ивановича продай буржуазии — дюже дорог человек!

ЕВСЕЙ. Вася! Молчи, пока я тебя не переизбрал!

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Игнат Никанорович! Меня командуйте... Я в культэстафете была, во мне ведь давно скрывается роскошное обаяние духа — только я не говорила!.. Я безумно люблю соревнование с Европой!..

ЩОЕВ (*задумчиво*). Эх, женщины, женщины, — отчего вы толстые снизу, а не сверху?! Евсей, думай же что-нибудь, ради бога, — ты видишь: я томлюсь.

ЕВСЕЙ. А я уже выдумал, Игнат Никанорыч! Мы Кузьму отправим!

ЩОЕВ. Как, Евсей? Он же одна идея!

ЕВСЕЙ. А мы же и продаем, Игнат Никанорович, одну идею! Надстройка же! Пустяк над базой! А Кузьма человек твердый, выдержанный, разумный почти что!

МЮД. Пускай, Алеша, продают. Мне Кузю ничуть не жалко. Мне жалко пятилетку в четыре года.

СЕРЕНА. Папа, пусть они дадут нам Алешу! Он есть надстройка!

МЮД (*бросается на Серену*). Ты дурочка капитализма! Алеша всю вашу Европу расстроит — вот что!

СЕРЕНА. Ах, я уже расстроена...

ЩОЕВ. Кузьма! Мы тебя отправляем в буржуазию как груз, а ты будешь там как идеология ихней культуры!.. Ты живым-то можешь быть?

КУЗЬМА. ...Не могу жить!.. Ххады...

ЩОЕВ. Что с тобой?

КУЗЬМА. Не хочу жить, а то ошибусь... хочу остаться шелезным...

ЩОЕВ. Печальный элемент!

ЕВСЕЙ. Он боится твердость потерять, Игнат Никанорович. Боится в беспочвенный энтузиазм впасть и сползти со своих убеждений в уклон. Он — разумный элемент.

КУЗЬМА. ...Боюсь скатиться с установки... Живые — рады энтузиазму и мучаются, а я сомневаюсь и покоен. Никого нету, ххады. Один товарищ Угланов Михаил Палыч!..

ЩОЕВ. Он действительно разумный элемент.

СЕРЕНА (*указывая на Кузьму*). Кто это, Алеша?

АЛЕША. Он стал буржуазным угожденцем.

СЕРЕНА. Ударник?

АЛЕША. По нас бьет. Мы его нарочно выдумали — для проведения воспитательной работы...

МЮД. Кузя — сволочь... Он оппортунистик...

ОПОРНЫХ. Этта... Как-то она самая?

ОДИН ИЗ ПАЙЩИКОВ. Игнат Никанорыч, разрешите мне поехать разложить Европу!

ОПОРНЫХ. Этта... Может, Игнат Никанорыч, это мы здесь только не подходящи для идеологичности, а там опомнимся?

СТЕРВЕТСЕН. Я с приветом извиняюсь... Но если для вас такая продажа приносит дефицит...

ЕВСЕЙ. Верно, ученый. Нам твоя цена убыточна. Набавь какую-нибудь толику!

СТЕРВЕТСЕН. Мы почти согласны...

ЩОЕВ. Ты правильно учел, Евсей. Пускай в набавку идет он сам. Закрепи его до конца пятилетки как научный кадр.

ЕВСЕЙ. Скроется, Игнат Никанорыч!

ЩОЕВ. А мы его — вот что... Мы подписку возьмем...

ГОДОВАЛОВ. Женить его, и больше ничего. У нас Евдокия без нагрузки ходит. Пусть он Евдокию полюбит...

ЩОЕВ. Евдокия!

Выходит из массы Евдокия.

(*Указывая на Стерветсена.*) Можешь полюбить иностранного мужика?

ЕВДОКИЯ. Да то будто нет, что ли?!

ЩОЕВ (*Стерветсену*). Вот твоя особа, протерпи с ней года два, тогда я вас разведу. Поцелуйтесь теперь!

Евдокия первая обхватывает и целует Стерветсена.

ЕВСЕЙ. А как же дочка, Игнат Никанорыч? Дочка заску-
чает ведь!

ЩОЕВ. Сейчас... Алешка, обнимай барышню-буржуйку.
Полюби ее ради общего дела.

Серена хочет приблизиться к Алеше.

АЛЕША (*вскакивая на трибуну*). Я поеду к буржуйам! Во
мне все время бушует идейная душа... (*К Стерветсену.*) Что
вы дадите Эсесеру за нашу надстройку?..

ЕВСЕЙ. Сколько нам заплатите наличными за производ-
ство революции?

СЕРЕНА. Дирижабль, Алеша!

АЛЕША (*счастливый*). Дирижабль!!! На нем высоко
взойдет пролетариат над всею бедняцкой землей!.. Я согла-
сен сгореть в Европе за такую машину!

СТЕРВЕТСЕН. Но я не понимаю...

СЕРЕНА. Папа, Алеша меня любит...

ОПОРНЫХ. Как-то ее?! Нам дирижабль в виде тары ну-
жон! У нас кадушек нету!

ГОДОВАЛОВ. Я б вынес мнение — купить за нее гуже-
транспорт.

ОДИН ИЗ ПАЙЩИКОВ. На что нам идея? Мы уж давно
все осознали. Всемирный вопрос — пустяк.

МЮД. А я, Алеша? А я с кем останусь? Я умру от оппор-
тунизма...

АЛЕША. Ничего, Мюд. Я сейчас его ликвидирую. Кузь-
ма!

КУЗЬМА (*из гущи собрания*). Э?..

АЛЕША. Хочешь кончиться навеки?

КУЗЬМА. Покоя хочу. Мертвые угождают всем.

*Алеша выводит Кузьму из собрания наперед. Вынимает из кармана разводной ключ, отвертку и прочие инструмен-
ты. Отвинчивает Кузьме голову и швыряет ее прочь.*

ОПОРНЫХ. Этта... Я головку ту возьму — можно чашку
для щей сделать... (*Берет себе голову Кузьмы.*)

*Алеша извлекает из груди Кузьмы примус, радиоаппара-
туру и прочие немудрые предметы. Затем разывает все
туловище на несколько частей — элементы Кузьмы с гро-
хотом падают на землю, и сыплются пятаки; из глуби-
ны же погибшего железного тела вырывается облако*

желтого дыма. На полу остается куча железного лома. Все следят за облаком рассеивающегося желтого дыма.

МЮД (*глядя на дым*). Алеша, это что?

АЛЕША. Отработанный газ. Оппортунизм.

МЮД (*меланхолично*). Пускай пропадает. Им дышать все равно нельзя.

СТЕРВЕТСЕН. Я сожалею о кончине гражданина Кузьмы. Мы в Европе нуждаемся в железном духе.

Клокотов выходит с мешком и складывает туда остатки Кузьмы.

АЛЕША. Не скучай, ученый человек. Я из тебя тоже могу железку сделать.

СТЕРВЕТСЕН. Я далеко не возражаю.

ЩОЕВ. Опорных! Петя!

ОПОРНЫХ. Я вот он, Игнат Никанорыч!

ЩОЕВ. Прими и сдай Кузьму в райутиль в счет нашего плана.

ОПОРНЫХ. Сычас, Игнат Никанорович. (*Бросается по служебному делу.*)

ЩОЕВ (*к Алеше*). А ты что же — оппортунистов выдумываешь, товарищ дорогой? Массу хочешь испортить?

АЛЕША. Да я, товарищ Щоев... Я нечаянно... Я хотел героя сделать, а он сломался...

ЩОЕВ. Сломался?! Мало ли что сломался! Подавай теперь заявление, что ты осознал свою ошибку. Но заявление свое считай явно недостаточным, а себя признай классовым врагом...

ЕВСЕЙ. Да, да... Ишь ты какой! Герой сломался! Разве герой может сломаться?

Алеша горестно наклоняет голову.

МЮД. Не плачь, Алеша. Ты зажмурь глаза, а я поведу тебя в социализм как слепого. И мы будем опять одни с тобой петь в колхозах о пятилетке, об ударниках — обо всем, что лежит на сердце.

АЛЕША. Нет... Я оппортуниста сделал. У меня душа теперь печально болит.

ЕВСЕЙ. Заявление подай. Пиши, что чувствуешь немую тоску.

ЩОЕВ. Осознайся, полегчает.

ОДИН ИЗ ПАЙЩИКОВ. Смерть предателю интересов нашей прослойки!

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Ах, это ужас!.. Этот неофициальный музыкант оказался примиренцем, он нашу идеологию упростил!.. Вы понимаете?

Разговор среди собрания.

— Кошмар!.. Я говорил, что интервенция будет...

— Документы! Документы проверьте!.. Хватай его за документ!

— Окружите их несокрушимым единством рядов!

— Это формальное заблуждение — он должен отречься от своего безобразия!..

— Дайте ему плюху, кто поближе!

— Он вредитель, он классовый аппарат хочет сломать!..

— Фашист! Дайте мне прорваться к нему! Дайте мне лицо классового врага!

— Ах, в нас бушует высшая ненависть! И главное — в общей груди!

— Потеха, едрена мать!

— Интересно теперь жить в учреждении! Прямо весь дрожишь от чувств!

— Членов арткружка — прошу ко мне!

— Серен, что здесь такое? Я опять в недоразумении...

— Ах, папа, здесь самотек интриги!..

— Этта... как-то ее... Алешка — ты сволочь!

— А я, знаете, все время, все время, даже когда мне аборт делали, — все время чувствовала, что у нас на службе что-то неблагополучное... Я даже доктору при операции это говорила... Я сама удивляюсь!

— Ух, люблю я эти опасности!

— Вы же милый человек. Вы на подлость только по отношению к женщине способны.

— Конечно же, не по отношению к государству!

— Учредить порочное предприятие для изменников!

— А-а, давай-давай-давай погорячей!.. Потеха, сукины сыны!

— Теперь, товарищи, нам нужно сплачиваться!

— Следите друг за другом!

— Не доверяй себе никто!

— Считай себя для пользы службы вредителем!

— Карайте сами себя в выходные дни!

— Больше мученья, больше угрызений совести, больше тоски за свой класс, товарищи!

— На высокую ступень!

— Ура!..

ЩОЕВ. Умолкни, стихия.

Наступает тишина. Алеша стоит, окруженный всеобщей враждой; он тоскует и растерян. Он не знает, как ему дальше жить.

(Хладнокровно.) Достаточно будет, если человек письменно раскается в сердечном заблуждении.

ЕВСЕЙ. Нам важно получить от него документ по форме, и больше ничего. Согласно документа он исправится механически!

ЩОЕВ. Ты прав, Евсей! (Задумчиво.) Документ!.. Сколько задумчивости в одном слове! Вечная память мыслям человечества!

АЛЕША. Я был единоличный талант...

ЕВСЕЙ. Ты дар Божий, а Бога нет...

АЛЕША. Отчего я не стал железным! Я был бы верен вам навсегда!

ЕВСЕЙ. Твердости нет, нежность тебя замучила.

АЛЕША. Вы правы кругом! А я ничто, меня больше нет на этом организованном свете.

ЕВСЕЙ. Дисциплинки не хватило, установочка расшаталась.

АЛЕША. Я думал что попало, я некультурный, у меня чувства бродили без русла, и я часто плакал даже от одной грустной музыки...

ЩОЕВ. Ты выдумывал без руководства, и твои предметы работали наоборот. Где ты раньше был — я б возглавил тебя!

АЛЕША. Я сознаю себя ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще механистом... Но не верьте мне... Может быть, я есть маска классового врага! А вы думаете редко и четко, вы — умнейшие члены! А я полагал про вас что-то скучное, что вы плететесь в волне самотека, что вы бюрократическое отродье, сволочь, кулачская агентура, фа-

шизм. Теперь я вижу, что был оппортунист, и мне делается печально на уме...

МЮД. Алеша! Я одна теперь осталась! (*Отворачивается от всех и закрывает лицо руками.*)

ЩОЕВ. Ничего, Алексей, мы тебя образуем!

СЕРЕНА. Папа, что здесь такое?.. Алеша, не бойтесь!

СТЕРВЕТСЕН (*Щоеву и Евсею*). Я отказываюсь от сделки на эту (*указывая на Алешу*) психологию. Это брак, а не надлежащая надстройка. Нам полезны лишь горячие, беззаветные герои! Я отметаю этот брак!

ЕВСЕЙ. Ввел ты нас в убыток, Алешка!

АЛЕША. Я жалкий заблужденец, а вы вожди...

ЩОЕВ. Это нам достаточно известно. Мы руководим и подытоживаем.

МЮД. Зачем ты такой, Алеша?!

АЛЕША. Я присмиряюсь под фактом, Мюд.

МЮД. Зачем ты испугался этой гнусной прослойки? Ведь я осиротею без тебя. Я не подниму одна шарманку и не дойду по такой жаре до социализма!.. Алеша, товарищ Алеша!..

Алеша плачет. Все молчат.

ЩОЕВ. У него нежность наружу выползает. Не сберег, стервец, до будущего.

Мюд вынимает из кофты револьвер. Направляет дуло на Щоева и Евсея.

МЮД. Кончайтесь!

Евсей сразу, безмолвно и обильно, плачет: все лицо покрывается текущей влагой. Щоев смотрит на Евсея и Мюда с неверием.

ОПОРНЫХ. Этта... Евсей Иванович, разве у тебя слезы? Ты ж плакать сроду не мог!

МЮД. Кончайтесь! Вы социализм будете мучить!.. Лучше я вас замучаю!

ЩОЕВ. Сейчас, товарищ женщина. Дай бумажку — я заявление напишу, что отрекаюсь от ошибок...

ЕВСЕЙ (*ничтожным детским голосом*). У нас чернила нету, Игнат Никанорович. Попроси гражданку девушку обождать. Мы ей расписку дадим, что согласны кончаться...

ЩОЕВ. Печального хочу. Алеша, сыграй нам марш...

МЮД. Скорее. У меня рука уморилась.

ЩОЕВ. Евсей, поддержи руку гражданке.

Евсей бросается к Мюд. Мюд стреляет в него. Евсей падает и лежит неподвижно. Мюд направляет револьвер на Щоева. Собрание инстинктивно делает шаг в сторону Мюд.

МЮД. Спокойно. У нас некогда могилы рыть!

Собрание замирает.

ЩОЕВ. От лица пайщиков выражаю благодарность товарищу женщине за смерть этого (*указывает на Евсея*) тайного гада...

МЮД (*Щоеву*). Я тебе слова не давала.

ЩОЕВ. Извиняюсь. Но разрешите мне тогда попечалиться... Алеша, отпусти мне, пожалуйста, что-нибудь из музыкального напева!

ОПОРНЫХ. Сейчас, Игнат Никанорович! Где она — эта, как-то ее? (*Исчезает вон, появляется с шарманкой; подносит ее к Алеше.*) Пожалуйста — ради бога.

ЕВСЕЙ (*лежа*). Чтой-то, Игнат Никанорыч, я не кончусь никак.

ЩОЕВ. А ты, Евсей, помаленьку. Ты не спеши — как-нибудь справишься. Тебе что: помирать неохота?

ЕВСЕЙ. Да ведь раз я гад, то приходится, Игнат Никанорыч. Смотрите только — не скучайте без меня.

ЩОЕВ. Не будем, Евсей. Алеша, заведи нам что-то мотивное.

Алеша начинает тихо вертеть музыку. Музыка играет скорбящую песенку, затем несколько стихает и играет еле слышно.

ЩОЕВ. Опять мне жалостно что-то! Гражданка, дай мне хоть заявление написать, что я всему сочувствую.

Евсей шумно вздыхает на полу.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Евсей Иванович вздыхает.

ЕВСЕЙ. Предупреждаю — без меня в строительстве будет прорыв...

ОПОРНЫХ. Как-то его?! Убит, а сочувствует...

МЮД. Рука уморилась. Сейчас стрельну.

АЛЕША (*запевает в мотив своей музыки*).

По трудной веселой дороге
Идем мы, босые, пешком...

МЮД. Другую, Алеша, другую, гад! Тебе теперь не трудно и не весело. Вот эту... *(Музыка смолкает. Мюд опускает револьвер и поет одна в совершенной тишине.)*

Кто отопрет мне двери,
Чужие птицы, звери?!
И где ты, мой товарищ,
Увы — не знаю я!

ЕВСЕЙ *(с пола)*. Можно я буду твоим товарищем?.. Я ударником стану, в энтузиасты запишусь, весь век буду усердие иметь!.. Тару сорганизую!

Собрание входит в песню и поет под шарманку: «И где ты, мой товарищ, / Увы — не знаю я!»

ЩОЕВ *(плачет сквозь роговые очки)*. Кончиться хочу... Шум птиц, шум потоков воды — вдалеке, вне учреждения. Триск мотоцикла. Вбегает агент совхоза.

АГЕНТ. Мобилизуйте мне массы поскорее! Я птиц и рыбгоню обратно в экономию!.. Вы что такое?

ЩОЕВ. Не бойся трудностей, товарищ, — гони один.

АГЕНТ. А?

ЕВСЕЙ. Можно, я загоню? Меня животные боятся.

МЮД. Беги...

Евсей, бодро вскочив, убегает. Агент также скрывается следом.

ОПОРНЫХ. Убитые еще лучше стараются. Вот это — как-то ее? — установка!

СТЕРВЕТСЕН. Граждане района, я поражен наличием вашего духа!.. Я высоко оценил вашу прохожую девушку Мюд!

ЩОЕВ. Что ж ты меня не убиваешь, девчонка?! Тварь маломощная! Мужества испугалась? *(Задумчиво.)* Мужество!.. Люблю я свою личность за качество!.. Бей, душегубка!

МЮД. А я уже расхотела. Я перегибщицей боюсь стать.

СЕРЕНА. Папа, ты не купишь теперь Алешу?

СТЕРВЕТСЕН. Нет, он разложился. Серен...

Собрание постепенно укладывается спать — на пол и на канцелярский инвентарь. Мюд берет у Алеши шарманку, с трудом несет ее на спине до двери, у двери останавливается и оглядывается на учреждение. Все люди бдительно смотрят на нее...

АЛЕША. До свиданья, Мюд!

МЮД. Прощай, гад присмиренец!

Лежачее собрание поднимает руки для приветствия уходящей. Мюд показывает им кулак и улыбается.

МЮД. Эх вы, гуща низовая!.. *(Открывает дверь.)*

СТЕРВЕТСЕН *(встает с пола и бросается к Мюд)*. Слушайте меня, маленькая госпожа... Разрешите приобрести вас для Европы. Надстройка — это вы! *(Мюд смеется.)* Но я вас прошу. Вы ум и сердце всех районов нашей земли. В вас влюбится Запад...

МЮД *(серьезно)*. Нет. Мне любовь не нужна. Я сама люблю.

СТЕРВЕТСЕН. Разрешите узнать — кто у вас на груди?

МЮД. Товарищ Сталин.

СОБРАНИЕ *(почти хором)*. Приветствуем.

СТЕРВЕТСЕН. Но вашему государству необходимы дирижабли, а мы можем подарить целую эскадру воздушных кораблей...

ОПОРНЫХ. Бери, девка!

МЮД. Не хочется что-то. Мы пока пешком будем жить.

СТЕРВЕТСЕН *(кланяясь)*. Чрезвычайно жаль.

МЮД. Попроси у пролетариата своего района...

СТЕРВЕТСЕН. Благодарю вас.

Мюд уходит. Тишина.

ЩОЕВ *(вздыхает)*. Доколе, Господи!..

ОПОРНЫХ *(лежа в собрании)*. Эх, как-то тебя? — Игнат Никанорыч, Игнат Никанорыч... Кто ж нас утешит теперь?!

ЩОЕВ. Эх ты, Петя, Петя, печали я теперь хочу... Мне давно уж все ясно, а нынче тянет на что-то неопределенное...

КЛОКОТОВ. Товарищ Щоев, давай, пожалуйста, текущие дела. Члены тоже ведь умариваются. Завтра надо рано вставать — план выполнять.

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Ах, нет, что вы говорите! Нам слишком интересно. Мы любим побеждать трудности.

СТЕРВЕТСЕН *(багровея лицом от злобы)*. Обманщики, рвачисты, алилуйщики, самотек... У вас нет установок — это циркуляры, у вас нет надстройки — вы оппортунисты!.. Берите ваши отношения *(извлекает из штанов бумагу)*

и швыряет их в пространство), берите ваши пункты и параграфы — отдайте мне мои костюмы, мои сорочки, мои очки и принадлежности!..

СЕРЕНА. Кофты, лифчики, чулки, комбинезоны!

Стерветсен и Серена бросаются на Щоева, на Клокотова и сдирают с них свое бывшее платье.

КЛОКОТОВ (первой служащей). Слухай, ты, кажется, иностранный наддузник обменяла на копию перспективного плана?..

ПЕРВАЯ СЛУЖАЩАЯ. Я... А вы у меня взяли и своей супруге отнесли — сказали, что она в тот день родилась сорок лет назад. Помните?

КЛОКОТОВ. Забыл.

Щоев уже без пиджака, без жилетки и без очков — Серена управилась с него содрать эти предметы. Стерветсен тем временем раздел почти донага Клокотова. Щоев, когда его обдирают, равнодушно читает одну из бумажек, вышвырнутых Стерветсеном.

ЩОЕВ. Остановитесь, граждане, нас, оказывается, уже нету...

Всеобщее внимание. Все лежащие встают.

(Читает.) «...Ваша Песчано-Овражная коопсистема с сего апреля месяца обращается к ликвидации. Заброска промтоваров, равно и хлебофуража, прекращается. Основание: означенный населенный пункт сносится, ради промышленной эксплуатации подпочвы, в которой содержится газовый угар...» (К собранию.) Не понимаю. Как же мы были, когда нас давно нет?!

КЛОКОТОВ. Так ведь мы угаром, стало быть, дышали, Игнат Никанорович! Как же тут поймешь: сознательно ты существуешь или от угара?!

ЩОЕВ (задумчиво). Газовый угар!.. Вот она, объективная причина несознательности районного населения.

ГОДОВАЛОВ. А что ж теперь нам-то делать, Игнат Никанорович? Ведь объективных причин, люди говорят, нету, а есть одни субъекты...

ЩОЕВ. Объектов нету, говоришь?.. Тогда организуй самобичевание, раз ты субъект.

ГОДОВАЛОВ. Сейчас, Игнат Никанорович! (Суетится.)

Стук топоров. Отваливаются несколько бревен в задней (относительно зрителя) стене учреждения. В просвете работают двое рабочих. Отваливается еще часть стены. Собрание ложится вновь, кроме Стерветсена и Серены, которые стоят с отобранными кучами одежды в руках.

ОДИН ИЗ РАБОЧИХ (закладывает под верх учреждения крановые зубья и кричит). Краном! (К собранию.) А нам говорили, что тут давно чистое место и никого нету... Вы нам весь путь загородили...

Верхняя часть учреждения уходит в высоту, остатки стен разваливаются. Видна пустота мира — бесконечный районный ландшафт. Пауза. Затем слышится издали шарманка: где-то играет невидимая ушедшая Мюд. Музыка торжественна и трогает скучное чувство чело- века.

МЮД (поет вдалеке).

В страну далекую
Собрались пешеходы,
Ушли от родины
В неизвестную свободу,
Чужие всем —
Товарищи лишь ветру...
В груди их сердце
Бьется без ответа.

У Щоева разгорается бурчание в желудке, и он трет себе живот в надежде потушить звуки. Собрание безмолвно лежит вниз лицом. Стерветсен и Серена одиноко стоят среди ликвидированного, поверженного учреждения.

СЕРЕНА. Папа, что все это такое?

СТЕРВЕТСЕН. Это надстройка души, Серен, над плачущей Европой.

Конец

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица

АБРАМЕНТОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, инженер, 45 лет.

КРАШЕНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, инженер, лет 25.

МЕШКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, утомленного вида инженер, лет 40 с лишним.

ЖМЯКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, инженер, небольшого роста, сытое туловище, не более 40 лет.

ДЕВЛЕТОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, директор завода, 35 лет.

РАСПОПОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ } рабочие-ударники
ПУЖАКОВ ПЕТР МИТРОФАНОВИЧ } аварийной службы
оба средних лет.

МУЖ КРАШЕНИНОЙ, служащий, лет 30.

ПОЧТАЛЬОН.

Работница, разносящая обеды.

Несколько рабочих и работниц.

Громкоговорящие телефоны.

Действие происходит на большом заводе в течение 4—5 дней.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Занавес опущен. Редкие удары механического молота. Пауза. Затем судорожная частота ударов нескольких молотов. Пауза. Занавес поднимается. Через сцену в зрительный зал врывается шум работы большого завода, иногда судорожно бьют молота и слышен вихрь спускаемого пара. Комната — жилище Мешкова: наибольший беспорядок, горы сора, стихийная постель, пустые бутылки на полу, примус, на стенах чертежи машинных конструкций, портрет Дзержинского. Телефон. Над те-

лефоном крупный номер 4—81. Окно открыто в ночной мир: грохот завода, сияние электричества, свист пара и сжатого воздуха. Инженер Мешков стоит у окна спиной к зрителю. Он кашляет. Затворяет окно. Настает почти тишина — заглушенно, как бы вдалеке, звучит завод. Мешков лежит среди стихии комнатных предметов. Где-то начала играть духовая музыка, и ее слышно в комнате то сильнее, то слабее. Она играет нечто печальное и героическое; временами затихает совсем; сейчас ее почти не слышно.

МЕШКОВ. Нужно скончаться... Я мелочь, прослойка, двусмысленный элемент и прочий пустяк... Вот уже опять стоит в мире вечернее время. Но никто ко мне в гости не приходит, и мне пойти некуда.

Громче играет музыка вдалеке, в невидимом саду.

(Прислушивается: музыка стихает, словно относимая ветром.) Люди отдыхают где-то. А я чем больше дома, тем больше устаю... О чем это всегда играет музыка? Она как будто обещает человеку друга, светлое будущее... Но я скучаю от товарища и утомляюсь от врага.

Стучат в дверь.

Входите, кто там есть.

Входит Абраментов — в дешевой, изношенной одежде, худой и бедный человек.

МЕШКОВ *(не узнавая)*. Вы кто? Вы зачем пришли?

АБРАМЕНТОВ. Инженер-механик Абраментов, ваш бывший друг... А сейчас ищу не дружбы, а ночлега: все общежития и бараки переполнены...

МЕШКОВ *(узнавая, радуясь)*. Откуда ты, милый мой Сережа? *(Встает, целует пришедшего, почти плачет.)* Я ведь один теперь на свете — жена еще при тебе скончалась, а сыновья бросились куда-то в Республику и скрылись от меня...

АБРАМЕНТОВ. Да, Иван Васильевич... *(Осваивается в комнате.)* Давно мы с тобой не глядели друг на друга! *(Глядят друг на друга.)* Ты что так постарел, Иван?

МЕШКОВ. А я, Сережа, устал от исторической необходимости. Я живу и все время чувствую какой-то вечный вечер. Как будто везде уже зажжены свечи.

АБРАМЕНТОВ. Отчего же?

МЕШКОВ. Не знаю... Я слаб. Я вижу, что стал бездарен, что новые люди способней меня и знают уже больше. У них великая практика, Сережа... А ты где был?

АБРАМЕНТОВ. В Австралии, а потом в тюрьме... Отчего у тебя в комнате сор и не прибрано?

МЕШКОВ. Настроения нету... В Австралии? Зачем ты там был? Ты знаешь, я забыл однажды формулу живой силы!

АБРАМЕНТОВ. Эм вэ квадрат, деленные на два... Я хотел оттуда победить Советский Союз.

МЕШКОВ. И полюбил его?

АБРАМЕНТОВ. Нет, я заинтересовался им.

МЕШКОВ (*меняясь*). Это что значит? Может быть, ты мерзавец? Ты не гляди, что я стар и несчастен, что в сердце моем горе, — я и безответно могу любить рабочий класс и его страну... Ты сочувствуешь социализму или нет?

АБРАМЕНТОВ. Я ему потворствую.

МЕШКОВ (*думая*). Не знаю, что ты говоришь... А что ты делал в Австралии?

АБРАМЕНТОВ. Сторожил пчелиные пастбища от саранчи.

МЕШКОВ. Но ты инженер!

АБРАМЕНТОВ. Там их много без меня. Я голодал два года, год был в ссылке, в пустыне, за руководство маленькой забастовкой.

МЕШКОВ. Сердечно удивляюсь. Ты же бывший зажиточный человек?

АБРАМЕНТОВ. Ну и что ж. А ты думал — революция всегда приходит в нищей одежде, а контрреволюция обязательно в галстуке?

Громче играет музыка.

МЕШКОВ. Я не думал об этом... Ты слышишь, как у нас играет музыка? Это идет культработа в нашем прекрасном рабочем клубе.

АБРАМЕНТОВ. Разве? (*Подходит к Мешкову вплотную.*) Слушай меня, Иван. Ты знаешь меня очень давно...

МЕШКОВ. Да... С юности. Когда я полюбил еще свою покойную жену...

АБРАМЕНТОВ. Правильно. А я тогда же начал жить с разными девушками... Ты знаешь, Иван, что я вредителем не был.

МЕШКОВ. Знаю, Сережа. Ты не был.

АБРАМЕНТОВ. Я понял давно: нельзя победить изнутри почти единодушную страну.

МЕШКОВ. Нельзя, Сережа...

АБРАМЕНТОВ. Я уехал прочь. Я забылся один среди капитализма. Чужие страны стали для меня родиной. Нужда, убожество, презрение — все это я перенес с полным сознанием, с готовностью, потому что моя идея была сильнее впечатлений.

МЕШКОВ. Буржуазия — ведь это мир одиноких, Сережа. Там трудно быть человеку.

АБРАМЕНТОВ. А я и хочу, чтобы человеку было трудно, — он лучше, когда мучается... Дай мне чаю.

МЕШКОВ. Сейчас, Сережа. Только у меня пищи нету никакой. Я должен за ней сходить кой-куда.

АБРАМЕНТОВ. Сходи. Все равно ты любишь человека.

МЕШКОВ (*в стеснении*). А документы, Сережа, есть у тебя? Ты по закону вернулся в СССР?

АБРАМЕНТОВ. Есть, конечно. Советская власть отпустила меня жить и работать.

МЕШКОВ (*в напряжении*). Ах, так... А, Сережа, ты скажи мне тихо: ты не шпион, не подлец, не вредитель?..

АБРАМЕНТОВ. Нет. Я лично рассмотрел весь мир и признал коммунизм необходимым. Но признал только мыслью, искусственным напряжением. Теперь я хочу узнать социализм чувством и действием... Советская власть еще меня не победила, а я ее побеждать уже не хочу. Может быть, мы обнимемся и упадем вместе на пустой земле.

МЕШКОВ. Кто мы — СССР и капитализм?.. Ты не знаешь силы нашей державы, она упасть никогда не может... Ну, я пошел за угощением, а то ты есть хочешь.

Уходит.

АБРАМЕНТОВ (*один*). Живет себе в этом помещении один советский дурачок, и неплохо ему. Ни капитализма, стервец, не спас и социализму, наверное, плохо помогает. (*Звонит телефон. Берет трубку.*) Алло... Да. Нет. Девлетов? А кто вы такой? Директор? Здравствуйте, директор! Его нет. Я его послал закуску себе покупать... Инженер Абраментов. Нет, я механик, но изучал гидравлику и электротех-

нику. Ладно. Приезжайте! (*Кладет трубку.*) Кажется, я уже на службу поступил.

Дребезг стекол в окне. Звук напряженного взрыва. Свист сжатого воздуха. Окно распахивается. Громче слышна музыка, и вдруг она прекращается, точно разнесенная ветром. Тишина. Абраментов молча, но без паники, бросается вон из комнаты.

Краткая пауза.

Тревожный, ритмично повышающий и понижающий свой тон гудок. — Комната некоторое время пуста. Слабо начинает звонить телефон и умолкает. Приходит Мешков с покупками.

МЕШКОВ. Опять, наверное, авария. Пускай, — там есть сменный инженер... (*Мучается.*) Меня же дома не было в момент происшествия... Я просто спал и ничего не слышал... Где Сережа-то? (*Видит распаханное окно.*) Надо его затворить. А то скажут — у тебя окна распахиваются, а ты не слышишь... Ишь, скажут, глухонемой какой! (*Затворяет окно.*)

Слабо звонит телефон.

(*На телефон.*) Он слишком тихо звонил, я не мог проснуться... (*Терзается.*) Либо пойти все-таки... Нет, я и так на заем на двухмесячный оклад подписался: пускай я сплю. (*Тушит свет. За окном встает зарево освещенного завода. Вибрирующий высокий звон работающих машин в тишине.*)

Пауза.

Мешков всхрапывает где-то в темном хаосе комнаты. Входит человек. Зажигает свет. Это Абраментов. Он измазан в машинном масле, одежда на нем разорвана местами в клочья.

АБРАМЕНТОВ (*смотрит на спящего Мешкова*). Сладко спят гуманисты на свете... Мешков, вставай!

МЕШКОВ (*медленно поднимается из вороха вещества; говорит со сна*). А? Что? Ты откуда явился?

АБРАМЕНТОВ. Я на аварии был.

МЕШКОВ. Где? Какая авария?

АБРАМЕНТОВ. Перекачали в компрессорной. Крышки цилиндров порвало.

МЕШКОВ. А?! Что в компрессорной? (*Волнуясь.*) А не говорили там, что меня нет?.. А я ведь спал, Сережа, я сильно

сплю теперь. Я ударник и боюсь ослабеть, поэтому стараюсь лучше питаться, а по ночам не просыпаюсь.

АБРАМЕНТОВ. Понятно. Ты же мягкосердечный человек, либерал, гуманист. А такие всегда себя жалели больше всех.

МЕШКОВ (*взволнованный*). Ну а что в компрессорной? Не спрашивали, где я?

АБРАМЕНТОВ. Интересовались.

МЕШКОВ. Я, пожалуй, сейчас сяду рапорт напишу. А?

АБРАМЕНТОВ. Напиши, что спал и была температура.

МЕШКОВ. Вот именно, я так приблизительно и думал. (*Ютится у стола, ища принадлежности для письма. Стучат в дверь.*) Войдите, пожалуйста, товарищ.

Входит Девлетов. Подает руку Абраментову.

ДЕВЛЕТОВ. Благодарю вас за помощь на аварии.

МЕШКОВ (*подходит к Девлетову*). Здравствуйте, Илья Григорьевич.

ДЕВЛЕТОВ (*равнодушно*). Здравствуйте, Мешков.

Мешков отходит писать.

(*Абраментову*). В компрессорной мы с вами не договорились. Какие ваши условия, если я вам предложу должность заместителя главного механика?

АБРАМЕНТОВ. Те, которые у вас полагаются по профсоюзному закону. Я сам условий не имею.

ДЕВЛЕТОВ. Хорошо. Вы говорили мне пустяки про Австралию. Скажите — вы белогвардеец?

АБРАМЕНТОВ. Теперь я одинокий.

ДЕВЛЕТОВ. Что это значит? Не говорите мне пустяками. Одиноких нет. Вы не притворяйтесь.

АБРАМЕНТОВ. Нисколько, гражданин. События били меня кирпичами по голове и гнали в вашу сторону. А в сердце своем — я ничей, там я свой.

ДЕВЛЕТОВ. Свой только? Значит — чужой, значит — враг.

АБРАМЕНТОВ. Нет... Просто в сердце еще долго остается теплота того класса, который уже погиб...

ДЕВЛЕТОВ. Ну ладно. Нам нужна ваша голова. Сердце храните неприкосновенным для памяти, если сумеете сохранить... Стало быть, вы будете замом главного механика.

МЕШКОВ (*подходит, подает бумажку*). А я, Илья Григорьевич?.. Примите, пожалуйста, рапорт.

ДЕВЛЕТОВ (*беря рапорт*). А вы будете теперь сменным инженером — вместе с Олей Крашениной.

МЕШКОВ. С этой девушкой?!

ДЕВЛЕТОВ. С этой девушкой.

МЕШКОВ (*глухо*). Так я что же? Я мало способен или худ стал?

ДЕВЛЕТОВ (*прочитав рапорт, швыряет его прочь*). Нет, Иван Васильевич, не потому... Посудите сами — у нас один сменный инженер на все три смены. Какой же это сменный, когда его самого сменить некем. Ведь Крашенина не выходит из цехов по двадцать часов. Вчера я ее нашел спящей в силовой, третьего дня она стояла на ремонте фильтра тридцать часов... Нужен второй сменный инженер по заводу, иначе мы не выйдем из аварий и неполадок. Это гвоздь всего положения на заводе. Я вас прошу понять меня, Иван Васильевич, ваша ставка снижена не будет. Я обращаюсь к вашей чести старого производственника. Вы меня понимаете?

МЕШКОВ (*угрюмо*). Я все понимаю. Я должен нести обязанности девушки.

ДЕВЛЕТОВ. Класс ваш маленький, Иван Васильевич, а самолюбие у вас большое... Я шучу.

АБРАМЕНТОВ. Слушайте, директор. Мешков ведь сирота. У нас с ним нет своего класса.

ДЕВЛЕТОВ. Я это знаю, товарищи. Поэтому я и зову вас к нам. Человек должен перестать быть сиротой, — а вы не притворяйтесь убогими. Однако мне пора на вокзал — я должен утром побывать в Москве. Нас должны немедленно включить в республиканское кольцо высокого напряжения.

Прощается и уходит.

МЕШКОВ. Не нужны мы им более, Сережа. Завтра я — сменный инженер, послезавтра — надсмотрщик двора, а через полгода — сторож у ворот... (*Трогает свои покупки.*) Ешь продукты — тут много вкусных вещей: нам в закрытом распределителе дают... Ешь, а то скоро уж покушать колбасы не придется, сторожем буду.

АБРАМЕНТОВ. Слушай, Иван Васильевич. А ты не путаешь пролетариат с закрытым распределителем?

МЕШКОВ (*теряясь*). Нет, Сережа. Я знаю, что это разница.

Стучат в дверь.

ГОЛОС КРАШЕНИНОЙ (за дверью). Вы не спите, Иван Васильевич?

МЕШКОВ. Нет еще. Мы здесь работаем кое-что. Входите, пожалуйста.

Входит Крашенина, усталая и сонная.

КРАШЕНИНА (*Абраментову*). Добрый вечер — еще раз! Спасибо вам за работу на аварии.

АБРАМЕНТОВ. Здравствуйте, инженер.

КРАШЕНИНА (*Мешкову*). Иван Васильевич. Директор мне сказал, что вы будете вторым сменным. Смените меня сегодня, а то я вся уже сплю... (*Садится в какой-то мусорный хаос.*) Я за вас буду потом двое суток... Перемените манометр в компрессорной — он врет... Трест точной механики — дурак или дура... (*Засыпает сидя; вдруг опять открывает глаза.*) Товарищ Мешков, если вы утомились уже, то я сама пойду... Берегите компрессорную — молота станут. Извините, что я не могу смотреть на вас. (*Закрывает глаза.*)

МЕШКОВ. Я не вправе сменить вас, товарищ Крашенина. Были только ни к чему не обязывающие меня переговоры с Девлетовым. Я должен дожидаться приказа.

КРАШЕНИНА (*со сна*). В цехах сейчас опасно, инженеры. Но я через час совсем отдохну... Хотя я буду видеть всю компрессорную во сне — меня не надо сменять... Распопов, Пужаков, у вас греются моторы, откройте окна на ветер... (*Спит.*)

МЕШКОВ (*подходит к Крашениной.*) Сережа, эта девушка уже спит. Села на мое чистое белье, примяла и спит.

АБРАМЕНТОВ. Она, наверное, не тяжелая. (*Подходит к Крашениной, подымает ее на руки.*) Она легка, как мальчик. Где у тебя постель?

МЕШКОВ. Сейчас.

Сортирует какой-то хлам, швыряет книги и пр. Абраментов держит Крашенину в ожидании.

КРАШЕНИНА (*бормочет во сне*). Я ведь не сплю, я только притворяюсь... Распопов, зови свою бригаду — держи давление, котельная слабеет... Нет, — у меня один ум устал,

а сердце все равно бьется... Я все бригады, все механизмы вижу во сне. Я сплю только нарочно... Я не хочу...

АБРАМЕНТОВ (*наклоняется ухом к груди Крашениной*). Врешь, товарищ. Ты спишь так глубоко — ты так далека сейчас от нас, как на том свете...

КРАШЕНИНА (*открывает глаза и смотрит на Абраментова*). Неправда, товарищ Абраментов. (*Снова закрывает глаза; спит.*)

АБРАМЕНТОВ. Что за странное создание — спит и думает.

МЕШКОВ (*управившись с постелью*). Клади ее сюда.

Абраментов осторожно спускает Крашенину в приближенную, расчищенную постель.

КРАШЕНИНА. Вы не ушли еще, товарищ Мешков? Дайте мне встать — я сама пойду...

МЕШКОВ (*в испуге*). Спите, спите, Крашенина... Я сейчас... (*Другим тоном.*) Но не могу же я идти дежурить безо всякого оформления. Наконец, я просто не знаю всех заводских установок.

Сильно бьют молота; стекла слабо дребезжат. Затем — тихо. Крашенина спит.

АБРАМЕНТОВ. Оставайся с нею. Я пойду за нее.

МЕШКОВ. Сережа, ты ставишь меня в неловкое положение. Выходит дело, я и тут не гожусь. Девчонки, мальчишки, пузанки какие-то работают лучше меня. Я не нужен никому. Меня путают, отстраняют, гонят куда-то ночью, какие-то неточные манометры... Мне нужны четкие директивы, условия, а не сонный бред девушек... Ведь это же курс на катастрофу, я в тюрьме помру за такие дела...

АБРАМЕНТОВ. Оставайся... Сидеть сейчас в комнате — это действительно курс на катастрофу. Я пойду в компрессорную, я не боюсь умереть в тюрьме, я там был.

МЕШКОВ. Сережа, ты пойми, ведь я теряюсь в этой сложной обстановке...

Абраментов уходит. Пауза. Бьют молота. В окне — зарево от накаливаемых исходящих газов завода. Мешков ест один принесенную им же пищу. Жуя, подходит к спящей Крашениной и рассматривает ее.

Спит новый человек... По-старому спит. (*Внимательно вглядывается в лицо спящей.*) Неужели она умней и лучше

меня? Чем же это такое? *(Осторожно пробует Крашенину по поверхности ее туловища.)* Наверное, есть что-нибудь странное внутри ее... *(Гладит Крашенину вокруг лба.)* Какое действительно хорошее существо — ничего не требует, ни на что не жалуется, любит что-то далекое и меняет на это далекое свою текущую молодость. Бедный новый человек, какой в тебе дар? *(Отходит от Крашениной.)* А во мне нет никакого дара — сам люблюсь ею, а сам есть хочу. А она, наверное, никогда не помнит пищи — она ест только тогда, когда умирает с голоду. *(Ест.)* Ем и тоскую...

КРАШЕНИНА *(во сне)*. Абраментов, клапана стучат!..

МЕШКОВ *(пугается)*. А? Вы что? Абраментова нет.

КРАШЕНИНА *(бормочет)*. Он в силовой... Там экономайзер не ладит... Мешков, скажите ему.

МЕШКОВ. Сейчас... Сейчас пойду скажу... *(Уходит. Затем — сразу же появляется снаружи, в окне, и смотрит оттуда внутрь комнаты. Крашенина спокойно спит. Сейчас же возвращается.)* Сказал. *(Крашенина спит молча. Мешков про себя.)* Значит, мне пропадать в этом мире... Они и во сне все чувствуют. Ведь действительно экономайзер в котельной испорчен — как я забыл? Как я наяву об этом ни разу не вспомнил?.. Отчего я теперь не чувствую своего ума?

КРАШЕНИНА. Проснуться хочу. Разбудите меня.

МЕШКОВ *(про себя)*. Надо заняться делом. Проснется еще и скажет: ты что сидишь, буржуазный остаток? *(Хлопочет у стола, вынимает соответствующие принадлежности и пристраивается чертить. Звонит телефон. Берет трубку.)* Слушаю... Сейчас спрошу. *(К Крашениной.)* Товарищ, товарищ... Сережа спрашивает, где двухдюймовая труба у вас.

КРАШЕНИНА. В котельной, где второй бункер.

МЕШКОВ *(в телефон)*. В котельной. *(Вешает трубку. Спешно чертит что-то, с испугом оглядываясь на спящую Крашенину. Немного погодя — Крашениной, тихо.)*

Товарищ, какого вы обо мне мнения?.. Можно, я буду жить? *(Крашенина молчит во сне.)* Неужели я отстал, неужели я дурак?.. *(Медлит.)* Наверное. *(Подходит к спящей. Снова рассматривает ее. Крашенина что-то тихо бормочет. Мешков слушает.)* Шепчет чего-то во сне... У нее все будущее

обеспечено, а она волнуется... Интересно, чем пахнет от особого человека. *(Наклоняется и нюхает волосы Крашениной.)* Не то травой, не то ветром. А от меня? *(Нюхает свою грудь, растянув рубашку.)* Пустяком каким-то... Я и запах потерял. Я засыхаю — мне конец... *(Крашенина бормочет и смеется во сне. Мешков, наклоняясь к ней.)* Что вы сказали?

Краткая пауза.

КРАШЕНИНА. Отчего вы так смешны, Мешков? Я бы давно сумела умереть.

МЕШКОВ *(отстраняясь, со злобой)*. Ах, вы так... Не беспокойтесь — у меня тоже давно все готово. Я сейчас же все совершу самым надлежащим образом... *(Суется; рыщет по вещам, достает из-под матраца листик бумаги; читает его.)* Вот оно — мое милое. *(Читает вслух.)* «Убитая горем двоюродная сестра с глубоким душевным прискорбием извещает всех родных и знакомых о своевременной кончине»... *(В сторону Крашениной.)* Теперь вы поняли? *(Крашенина мелко смеется во сне.)* А вы думали, я уже ничто. Нет, подружка дорогая, — я организационно подготовился... Организационно! Не беспокойтесь, не беспокойтесь — у меня все предусмотрено: за телефон уплачено за год вперед, номер записан, деньги за объявление — в особом конверте сложены... *(С вызовом к Крашениной.)* Пожалуйста. *(Берет трубку телефона, говорит веско и твердо.)* Дайте мне срочно номер 4—81. Благодарю. Главная контора газеты?.. Мне нужно сдать экстренное объявление о смерти. Что вы говорите?.. Нет — о моей смерти... Почему нельзя?.. Можно? Так примите, пожалуйста, по телефону... Деньги?.. Деньги я завтра утром пришлю... Как? Да это верно, что умру... Так как же быть-то?.. А сейчас нельзя придти? Поздно?.. Ну хорошо, я завтра утром принесу. *(Вешает трубку. К Крашениной.)* Вот вам и все, сударыня.

Крашенина спокойно спит. Мешков аккуратно свертывает свою бумажку с объявлением о смерти, прячет ее за телефон и довольно, умиротворенно улыбается. Затем подходит к Крашениной и, чуть склонившись, взяв свои руки назад, пристально следит за ее сном и дыханием. Пауза. Бьют молота на заводе. Одновременно без стука отворяется дверь. Осторожно, злонамеренно входит

Крашенин — муж. Он останавливается позади Мешкова и бдительно наблюдает его и спящую жену.

КРАШЕНИН. Спасибо тебе, жена... Две ночи я ждал тебя, сволочь.

МЕШКОВ (в испуге, оборачиваясь). Здравствуйте, товарищ.

КРАШЕНИН (жене — в сдержанном испуге). Я думал — ты правда работаешь. А ты — на постели... Ты с пожилым живешь... (Бросается на Крашенину и, не свершая ничего, наклоняется и плачет.)

МЕШКОВ. Она утомилась, товарищ.

Крашенина молча встает и садится на кровати с закрытыми глазами.

КРАШЕНИН. Оля! Ты забыла меня, девочка? Я ведь твой Коля... Ах ты так, — прочь от меня, сука! (Крашенина открывает глаза.) Докажи мне, что ты любишь меня одного на свете! Ведь терпенья нету — душа в груди болит!

Входит Абраментов.

Докажи сейчас же!.. Иль я для тебя обезличкой стал?!

Пытается рвать на Крашениной платье. Абраментов хватая Крашенина, приподнимает его и сокрушающе швыряет всего человека в угол комнаты — в хаос вещей: вещи заваливают Крашенина.

КРАШЕНИНА встает на ноги.

АБРАМЕНТОВ. Кто это был?

КРАШЕНИНА. Мой муж.

АБРАМЕНТОВ. Простите меня, ради бога.

КРАШЕНИНА. Ничего. Я давно от него вся в шишках и синяках...

МЕШКОВ (в недоумении). А я думал — новый человек весь чистый...

Гудок на заводе. Все слушают.

КРАШЕНИНА. Моя смена... (К Абраментову.) Скажите, выполнила ночная свой встречный? Хватило воздуха котельной и молотам?

АБРАМЕНТОВ. Так точно. Бригады гнали механизмы с перегревом — и ночь опередила день.

КРАШЕНИНА. Как хорошо... Ну, до свидания, сейчас я вас сменяю. (Уходит.)

КРАШЕНИН (*вставая из хаоса вещей*). Вы сейчас будете заявление на меня писать? Или — нет?!

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Пульт (центральное устройство по распределению тока силовой электроустановки). Это примерно наклонный к зрителю стол, покрытый темным блестящим лаком, либо — мраморная доска. В пульт вделаны разноцветные лампы (красные, синие, желтые, белые); около каждой группы ламп — градуированный разрез, в котором ходит стрелка. На вертикальной плоскости пульта, обращенной к зрителю, контактное автоматическое управление; ряды рукояток и штурвальных колес. Над пультом — три громадных циферблата и одна большая красная лампа. Перед пультом — круглый стул, который бывает у пианистов. На правой стороне пульта — серия телефонов.

Позади пульта — металлическая башенка, устроенная из небольших балок; в низу башни видны резервуары масляных выключателей, вверху — блестят медные шины контактов. Внутренность башенки покрыта проводами и различными деталями. Вся башенка видна зрителю насквозь. Над пультом — рупор радио. В начале действия — лампы на пульте не горят, стрелки всех циферблатов и градуированных шкал покоятся на нулях.

Занавес поднимается.

На пульт всходит по ступенькам инженер Жмяков, диспетчер энергетики, радостный человек средних лет. Он поет «Посмотри, как дивно море...» и смотрит на свои часы на руке. Берет телефон.

ЖМЯКОВ. Котельная, котельная, котельная... Ты жива еще, матушка?.. Как у тебя водичка: кипит?.. Ага. Уголь, говорите, не горит? Ага... Отчего же он не горит-то? Советская власть, наверное, виновата?.. Нет?.. А кто же? Значит, вам порох надо давать! А вода-то цела у вас? — Может, и вода засохла... (*Смотрит на часы, кладет телефон. Берет другую трубку.*) Это вы, девушка? Дайте мне, пожалуйста, первую

сквозную ударную. Да... А вы поищите по цехам бригадира... Распопова, да, а можно и Пужакова, Петра Митрофановича: кто вам больше нравится. Никто не нравится?.. Ну что ж: рабочий класс крайне сожалеет... Ожидаю вашего сигнала. *(Кладет трубку, берет другую.)* Машинный? Говорю я... Я говорю... Ну я, конечно, — пора по тембру различать... Готовьте турбогенератор на перегрузку, держите дизель в резерве на оборотах. Алеше привет, поклон всему машинному. *(Кладет трубку. Смотрит на часы. Звонок одного из телефонов. Берет трубку.)* Я! Кто? Здравствуйте, Петр Митрофанович... Вот что: сегодня уголь у нас обратился в несгораемое вещество... В империализме даже дрова горят, а у нас такая особая точка, что все гаснет. Нельзя ли тебе с бригадой сегодня побыть немного в котельной? Да! А то не вывезем... Пар посадят — вот что. *(Глядит на часы.)* Скорее, Петр Митрофанович, скорее, дорогой... Проверьте воздушный экономайзер, дутье на полный форс, хорошую шуровку топкам и прохладный душ кочегарам, — до свиданья, дорогой, до свиданья — у меня сигнал.

Вспыхивает красная лампа над пультом; вслед за красным светом — гудит заводская сирена где-то невдалеке.

(Вставая на ноги, быстро действует на пульте и напевает.) Колокольчики... *(включает один из автоматов на пульте: на пульте вспыхивает красная лампочка, трогается стрелка в градуированном разрезе; чуть трогаются стрелки на двух больших циферблатах, висящих над пультом; на третьем циферблате стрелка восходит сразу высоко и там останавливается)* ..бубенчики... *(включает второй автомат: вспыхивает вторая красная лампа, трогается стрелка в градуированном разрезе, стрелки на двух главных циферблатах дают дрожание вперед)* ...звенят... *(включает третий автомат с теми же эффектами)* ...звенят... *(включает четвертый автомат)* ...о моей... *(включает: зажигается синяя лампа)* ...погиб... *(включает — синие, красные, желтые, белые лампы)* ...шей юности твердят, твердят...

Включает сильный свет на всей плоскости пульта; высокая дрожь стрелок на циферблатах; медленно начинается приглушенное пение работающих вблизи котлов, гене-

раторов и механизмов, — приглушенное настолько, что не мешает слышать слова действующих лиц. Вся сцена идет скоро и энергично. Включение закончено. Ритмическая дрожь стрелок на циферблатах. Напряженное пение механизмов. Лампы на пульте меняют цвета: красный на синий, на желтый и обратно.

(Слегка танцуя, припевает.) Их паровоз летит вперед, а нам всем — остановка... *(Одна красная лампа начинает быстро вспыхивать и потухать, что-то сигнализируя.)* Неужели остановка? Я тебе остановлюсь, сукин сын! *(Звонит телефон. Жмяков берет трубку.)* Да... Петя?.. Нет? А кто ж ты такой? Василь Иванович?.. Не тянет? Оборотов не хватает? Перегрузка? Хорошо, — я чуть добавлю напряжения — вытянем. *(Кладет трубку, берет другую.)* Котельную, тетя... Петра Митрофановича!.. *(Одна красная лампа по-прежнему мигает; вспыхивают пульсирующим светом три-четыре новых красных лампы.)* В руках у нас винтовка!.. Петр Митрофанович?.. *(Замигали еще две красные лампы. Жмяков берет одновременно другой телефон: говорит в два.)* Турбинную... Турбинная? Я говорю! *(Мигают пять красных ламп.)* Я говорю... Я! Что вы там молчите, как раскаявшиеся оппортунисты? Немедленно включите дизель на второй фидер! *(Кладет одну трубку, остается с первой трубкой.)* Петр Митрофанович?! Я хочу давления, — атмосферы две-три сверх всего. Нет, ну на часик, на два... Будьте любезны, ради бога. Прижмите клапанок на котле. А котел — с форсом и шуровочкой! *(Кладет трубку, берет другую.)* Турбогенератор... Я говорю. Я! Слушайте — проходим пик. Перекручиваем агрегат на час... Ну, конечно, сверх! Повышаем обороты — режем пик на вольтах и амперах. Внимание!.. Слушать турбину, прижать предохранители, держать подшипники на руках... Электрик! Генератор! Держать руку на корпусе машины, нюхать обмотку, запустить добавочный вентилятор. Внимание! *(Почти все красные лампы мигают: синих, желтых, белых нет. Жмяков берет три трубки телефонов.)* Котлы! Турбина! Генератор! Дизель! Внимание! Началось!.. Проходим пик! *(Стрелки всех трех главных циферблатов восходят высоко вверх, почти до предела градуировки. Мигание красных ламп сильно уча-*

щается. Жмяков — в телефоны.) Полное дутье-форс!.. Следите за обмоткой... Пахнет там гарью или нет, бедный мой товарищ? Дизель, дизель, жми свою долю, — ни черта не помогаешь... Пик растет, товарищи! Эй, ударники, где вы там, во что бьете, — вы на пик меня посадили... (Красное мигание учащается. Жмяков снимает все трубки телефонов.) Слушайте меня, телефонные девки! Мгновенно дать сюда дежурного инженера... (В исступлении кричит во все телефоны.) Эй, цеха!.. Выключись кто-нибудь на полчаса. Ну ради бога! Хоть на пять минут. Кузница! Прокатная! Молота! Дайте потише чуть-чуть. Я не вынесу, сердце разлетится.

Краткая пауза.

ТЕЛЕФОН (громко, басом). Пошел ты к черту. У нас двадцать процентов сверх плана нагорело.

ЖМЯКОВ (полубезумно). А?! Ну, я извиняюсь... (Другим тоном, тихо.) Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Именно — дивная.

ТЕЛЕФОН (глухо). Я сменный инженер. Слушаю.

ЖМЯКОВ (берет телефон). Отцепите от меня где хотите десять тысяч киловатт. Я сожгу генератор. Кто вы такой?

ТЕЛЕФОН. Я Мешков. Сейчас остановлю что-нибудь.

ЖМЯКОВ. Иван Васильевич?! Ради бога. У меня слезы на глазах. Идите сюда.

Звонит телефон.

(Берет трубку.) А... Да. Что? Вам двести киловатт на кирпичные пресса?.. Пошли вы к черту. Потушите последнюю лампу над своей башкой. (Кладет трубку.)

Мигание красных ламп достигает высшей частоты.

(Озирается.) Я сейчас заплачу от такой ненормальной жизни.

ТЕЛЕФОН (басом). Кто там плакать хочет? Дай мне отделаться — я тебя утешу...

ЖМЯКОВ (бессознательно). А?! Да, я вполне согласен!

Лампы сразу прекращают мигание; стрелки приборов снижаются; на пульте начинается прежняя игра цветов: красный, синий, желтый, белый.

(Весело.) Да, я вполне согласен! (Прежняя жизнерадостность. Потирает руки, почти танцует.) ...Колокольчики-бубенчики звенят-звенят!.. О моей...

ЛЕЖАЧИЕ ТРУБКИ ТЕЛЕФОНОВ (*глухо*). Ну! Кто там есть?
ЖМЯКОВ. Пик снят, товарищи. Закуривай.

ЛЕЖАЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ (*враз*).

— Воздуху нету, гад.

— Кто выключил?

— Печь потухла. Шихта шлакуется.

— Воды-ы!

— Сорвал план, стервец.

Матерное бормотание. Пауза.

ЖМЯКОВ (*поникая*). Боже мой, Боже мой, почто ты оставил меня... в таком веке? В каменном тихо было.

Входит Мешков.

МЕШКОВ. Я три цеха выключил.

ЖМЯКОВ. Спасибо, Иван Васильевич. Теперь нам с вами конец.

Телефоны злобно бормочут.

МЕШКОВ (*в испуге*). Включайте скорей опять.

ЖМЯКОВ. А как генератор?

МЕШКОВ. Горячий, Владимир Петрович, — он сгорит.

ЖМЯКОВ. Так как же быть-то?

МЕШКОВ. Неизвестно, Владимир Петрович... Может, среднее что-нибудь есть?

ЖМЯКОВ. При большевизме я среднего ничего не видал.

МЕШКОВ. И я тоже, Владимир Петрович. Все одно большое только.

ТЕЛЕФОН (*громко, резко*). Включай!

ЖМЯКОВ и МЕШКОВ (*в испуге*). Сейчас! (*Делают манипуляции с автоматами; стрелки на главных циферблатах восходят до предела. Все контрольные лампы делаются красными и начинают пульсировать светом с высшей частотой.*)

ТЕЛЕФОН (*басом, громко*). Взяти!!! (*Слышно через телефон, как загудели моторы и пошли станки.*)

Мешков нерешительно опять выключает автоматы; стрелки падают; лампы перестают мигать, некоторые становятся синими, желтыми.

ЖМЯКОВ. Что вы делаете?

МЕШКОВ. Выключил опять три цеха. За это самое большее нам с вами общественный позор, а за генератор, если

сожжем, — нам будет лет десять... У меня, Владимир Петрович, перечень есть: сколько за что полагается. *(Вынимает бумагу и предъявляет ее Жмякову.)* Поинтересуйтесь!

ТЕЛЕФОН *(басом, громко)*. Эй, опять току нету! Вы что — работаете или боитесь?! Вы — кто?

ЖМЯКОВ *(читает бумагу Мешкова)*. До пяти лет изоляции... Да, это дивная пора.

ТЕЛЕФОН. Давай току, я отвечаю!

Входит Крашенина.

КРАШЕНИНА *(тихо)*. Так нельзя, товарищи. Надо скорее вытягивать завод — социализм нас ждать не будет. *(Становится за пульт.)*

ЖМЯКОВ. Мы боимся рисковать генератором, товарищ Крашенина. Можно сжечь обмотку.

КРАШЕНИНА *(тихо и просто)*. Хорошо. Но если вы останавливаете заводы, срываете планы — вы рискуете не генератором, а всей страной.

МЕШКОВ *(нерешительно)*. Обмотка сгорит... Нам страшно тянуть завод на перегреве.

КРАШЕНИНА *(тихо)*. Пусть. Я сожгу обмотку — я и чинить ее буду день и ночь. *(Производит включение автоматов: пульсирование красных ламп, движение стрелок главных циферблатов.)*

Жмяков и Мешков стоят в стороне. Мешков берет за руку Жмякова, и так находятся оба неподвижно. Рычит одна из лежащих трубок телефонов. Крашенина берет ее.

Я слушаю... Сколько вам нужно? Тысячу киловатт? Что у вас? Лесопилку пускаете?! Это хорошо. Я вам сейчас включу. *(Включает: бешеное пульсирование ламп.)*

ЖМЯКОВ *(в ужасе)*. Это безумие. Девочка сожжет сейчас силовую.

МЕШКОВ. Хорошо, что не мы... Ведь пять лет по перечню.

ЖМЯКОВ. Капут будет девочке. Немножко жаль.

КРАШЕНИНА *(берет телефон)*. Генератор, пожалуйста... Генератор? Я — пульт, инженер Крашенина. Кто это? Товарищи, вы чувствуете генератор? Как работает обмотка? *(Пауза. В сдержанном волнении.)* Запах появился?! *(Веша-*

ет трубку. Оглядывает помещение отвлеченными глазами, не замечая двух инженеров. Тихо говорит.) Горит генератор, товарищи, и нет никого.

Входит Абраментов.

АБРАМЕНТОВ. Здравствуйте. Почему так много здесь технических сил? (К Крашениной.) Почему долгий пик?

КРАШЕНИНА (*невнимательно*). Завод выходит из прорыва... Сто ударных бригад... Глеет изоляция — есть ли выход, товарищ Абраментов?

АБРАМЕНТОВ (*остро оглядывает пульт*). Нет выхода. Выключайте перегрузку. Сбрасывайте перегрев. Машины ведь нейтральны в классовой борьбе — генератор сейчас сгорит.

Входит Пужаков, на бедре у него мешок с инструментами.

КРАШЕНИНА (*невнимательно*). За кого, вы говорите, машины?

ПУЖАКОВ (*сразу*). За нас, Ольга Михайловна, — мы их заставим сочувствовать... На третьем крану лебедка не работает — мы никак не сообразим, пойдете поскорей. Час думали без вас, да, наверное, алгебры не знаем.

КРАШЕНИНА (*не слушая*). Пужаков, генератор горит... (*Раздраженно*.) Разве можно сейчас думать по целому часу?

ПУЖАКОВ (*остро*). Как? Генератор горит?! Сейчас соображу!.. (*Соображает*.) Обливать корпус водой — поставить ребят. Сам стану! Но — осторожно, внутрь не заливать! Враз, — сейчас! (*Ко всем*.) По любому делу соображу, только по своему — нет... Не сгорит! Протянуть шлангу! Бузовать беспрерывно!.. Пойду для четкости сам. (*Быстро уходит*.)

Краткая пауза.

АБРАМЕНТОВ. Машины мертвы, к сожалению, Ольга Михайловна.

КРАШЕНИНА. Когда они в мертвых руках, инженер Абраментов.

АБРАМЕНТОВ (*вспыхивая от обиды*). Ленин не советовал зазнаваться, коллега. А генератор — не большевик.

КРАШЕНИНА. Я не зазнаюсь, но и полюбить вас никого не могу.

АБРАМЕНТОВ. Посмотрим.

КРАШЕНИНА. Буду рада заплакать о вас.

АБРАМЕНТОВ. Постараемся.

КРАШЕНИНА. Зачем же для меня стараться? Вы инженер или кавалер?

АБРАМЕНТОВ. Как вам не стыдно? Ведь я понимаю все. Я учился науке рабочего класса в тюрьме, я там пролежал много ночей с открытыми глазами. Я прожил жизнь в одиночестве, но умру в тесноте вашего класса.

КРАШЕНИНА. Зачем же вам умирать, Абраментов? Плохо вы знаете науку рабочего класса. Зачем ему ваша смерть? Ему нужно, чтобы вы стали товарищем пролетариата.

Красные лампы мигают все более спокойно. Раздается нежная негромкая музыка, она приближается и постепенно смолкает: входит почтальон с громадной, набитой сумкой на животе, точно в сумке лежит сундучок или шарманка.

МЕШКОВ (*про себя*). Ну куда ж тут мне жить на этом свете?

ЖМЯКОВ. Да, героически и скучновато... Где мы теперь, кто нам сжимает пальцы?..

ПОЧТАЛЬОН (*разобравшись в сумке*). Обождите-ка вы все. Кто тут будет инженер... Крашенинова какая-то и еще Жмяков Ве Пе. Кто это такой — вы или нет? Отвечайте последовательно!

ЖМЯКОВ. Мы. Давай сюда.

ПОЧТАЛЬОН. Нате вам депешу — одну на двоих, а в другой раз я вам носить ничего не буду... Целую четверть своего рабочего дня вас ищущу: сказано — лично вручить. А где лично — когда этих личностей нету на свете! Дома, сказали, вы не бываете, на заводе у вас тоже вечного места нету. Идите, говорят, ищите их где-нибудь сквозь. А где искать, когда кругом машины и меня огненной железкой чуть не ушибло! Разве это жизнь? Вы бы поставили где-нибудь койки, сундучки, чтобы я уж знал, что там вы когда-нибудь очутитесь. (*Берет расписки; уходя.*) Прямо наказание! Только и мучаешься, что без почты, сказано, социализм — ничто!

МЕШКОВ (*читает*). «Подготовьтесь приему тока с республиканского кольца высокого напряжения. Устанавли-

вайте новый радиопульт. Девлетов». Милый товарищ, у нас давно все готово. Еще не действует это общепролетарское кольцо высокого напряжения и не получен этот радиопульт. *(Рвет и бросает депешу.)*

ПОЧТАЛЬОН *(видя такое дело)*. Ну вот видите, а я хожу, тружусь на них, тело свое трачу...

Уходит, сделав какие-то манипуляции в глубине своей сумки, — сразу начинает играть негромкая радиомузыка марша: звуки явно происходят из сумки.

ЖМЯКОВ *(глядя вслед почтальону)*. Этот человек, кажется, музыку носит в самом себе.

Красные лампы почти спокойны, еле мигают.

МЕШКОВ. А мы в себе носим смерть... Володя, не могу я так существовать, когда эта девушка служит инженером лучше меня!.. У ней остыл генератор, я же вижу по сигналам!..

ЖМЯКОВ. Ясно и прекрасно.

МЕШКОВ. Я это предвидел. *(Берет телефон.)* Дайте мне, пожалуйста, номер 4—81. Это говорит гражданин Мешков. Я вот утром давеча объявление дал... Нет — о скончании одного гражданина, где двоюродная сестра еще скорбит... Да, да. Вы напечатаете его?.. Что?! Места нету? А когда же? На днях? Ну вы поскорей, пожалуйста, а то мне терпеть-то уж очень... Что? Хорошо, я немного подожду... *(Кладет трубку. Жмякову — скучно.)* Да, Володя...

ЖМЯКОВ *(тем же тоном)*. Да, Ваня...

ЛЕЖАЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА *(голосом Пужакова)*. Оля, генератор остывает.

КРАШЕНИНА. Морозь его дальше, Пужаков.

ПУЖАКОВ *(в телефоне)*. Сейчас!.. Мы сейчас боковой вентилятор поставим, сделаем пульверизатор и будем дуть в его нутрѣ водяную пыль — самую мелочь! Ничего?

КРАШЕНИНА. Ничего. Понемножку.

ПУЖАКОВ *(в телефоне)*. Ну конечно: чуть-чуть, но — с вихрем!!!

КРАШЕНИНА. Вот-вот.

МЕШКОВ *(вздыхая)*. Не сгорит генератор, Владимир Петрович.

ЖМЯКОВ. Нет, Иван Васильевич. Но наше славное имя уже сгорело. Облетели огни, отгорели цветы... Нам остается лишь марш Шопена.

Красные лампы перешли к этому моменту на спокойный свет.

МЕШКОВ. Марш играть не станут — разлуку сыграют.

ЛЕЖАЧИЙ ТЕЛЕФОН (*хрипло*). Можно кирпичные пресса запустить? Киловатт двести.

КРАШЕНИНА. Конечно, можно. (*Включает.*) Почему с утра не пускали?

ЛЕЖАЧИЙ ТЕЛЕФОН (*хрипло*). Утрешний инженер-мужик не велел.

АБРАМЕНТОВ (*к Мешкову и Жмякову*). Вы, что ль, не велели?

ЖМЯКОВ. Мы... У нас изжога в душе, Сергей Дмитриевич. Мы же — старое поколение, остатки от истраченной мелочи, мы — колокольчики-бубенчики...

МЕШКОВ (*Абраментову — уныло*). Я говорил тебе, Сережа, что мы теперь — пустяки. (*Садится в немощи на приступок пульта, невнимательно вынимает из кармана кулек с конфетами и начинает сосать конфетку.*)

АБРАМЕНТОВ (*со злобой и энергией*). Но я не хочу быть пустяком! Я хочу быть товарищем пролетариата, я хочу вместе с ним долго и трудно жить. (*Берет руками свою голову; тихо.*) Я измучился весь!..

Рупор радио начинает играть музыку. Играет до конца действия. Входит работница с обедом в судках. Ставит судок на пульт.

ЖМЯКОВ (*Крашениной*). Обеденный перерыв: выключайте холодные цеха. Переключайте третий фидер на районное кольцо.

РАБОТНИЦА. Ешьте блюда. Проголодались ведь небось! (*Уходит.*)

ЖМЯКОВ (*Крашениной*). Ну же, милая! Первый в нейтраль, третий на кольцо — мягко, быстро!..

Крашенина резко манипулирует автоматами. Судорожная игра цветов на пульте. Но большинство ламп остается красными.

АБРАМЕНТОВ (*бросается к пульту*). Не так! Легче!

ЖМЯКОВ (*бросаясь к Крашениной*). Возьмите сопротивление! Что же вы делаете, бедная моя?!

Абраментов и Жмяков хватаются за автоматы.

МЕШКОВ (*в стороне*). Не трожь нового человека. (*Швыряет в рот новую конфетку.*)

Судорожная игра цветов на пульте. Взрыв синего пламени — без шума — на верху распределительного башенного устройства, что за пультом.

ЖМЯКОВ (*в волнении, у автоматов*). Автомат не вырубает!

АБРАМЕНТОВ. Дай я. (*Резко манипулирует; не выходит.*) Топор! Инструмент! (*Бросается в разные стороны в поисках.*)

ЖМЯКОВ (*мучается у автоматов*). Контакты спеклись, масло высохло... Гибель богов! Мешков, справься в перечне, что нам будет... Хоп! (*Автомат отказывает.*)

Крашенина хватает гаечный ключ и бросается внутрь распределительного устройства — в башню. Абраментов бежит за ней. Он снимает фуражку, надевает ее на руку и, выхватив у Крашениной ключ, пытается раздробить изолятор, сорвать провод, держа ключ в руке, обернутой фуражкой.

АБРАМЕНТОВ (*кричит из башни*). Выключайте генератор!

ЖМЯКОВ (*работая у пульта*). Не выходит, Сергей Дмитриевич. Контакты сварились. Мешков, дай пососать напоследок. (*Мешков подает ему кулечек.*)

КРАШЕНИНА (*из башни*). Зовите аварийную ударную бригаду.

ЖМЯКОВ (*выплевывает конфету; затем в телефон*). Ударная аварийная — на пульт, на автоматы!

Синее пламя в верху башни нисходит постепенно книзу. Входит работница, приносившая обед.

РАБОТНИЦА (*осматривая судки на пульте*). Что ж вы блюда-то не едите? Остынут ведь, а мне выговор будет, что инженеров невкусно кормлю. У-у, блаженные! (*Уходит.*)

ЖМЯКОВ. Мешков, съешь блюда.

МЕШКОВ (*со слезами*). Что вы смеетесь надо мной! Я тоже люблю революцию, я тоже хочу чего-то... (*Бросает*

кулек, почти плача подходит к пульта, берется за автомат.)

Вбегают Пужаков и Распопов. На бедрах у них мешки с инструментами. Они взбираются по металлической обрешетке башни наверх, к пламени.

АБРАМЕНТОВ (кричит им снизу). Прервать ток? Остановить турбину?..

ПУЖАКОВ. Зачем? Не смей. Мы так разъединим. Здесь не очень жарко. (Распопову.) Как скажешь, Семен?

Лезут выше, надевают резиновые перчатки, достают из сумок инструмент: стержни с крюками на концах.

Пульт по-прежнему судорожно играет цветами, но часть ламп — неподвижно красные. Абраментов и Крашенина выходят из токораспределительной башни.

КРАШЕНИНА (в телефон). Турбину! Турбинная! Внимание! Я — пульт. Авария. Турбинщик — руку на стопор. Слушать меня. По моему сигналу — немедленно стоп. Люди под высоким напряжением. Электрик, руку на сопротивление. Слышите ли вы меня, товарищи?

ТЕЛЕФОН. Слышим.

Распопов и Пужаков на верху башни, близ синего огня. Распопов ухватывает инструментом контактную шину, около которой трепещет пламя. Шина не поддается. Распопов повисает на ней, прихватившись инструментом. Пужаков повисает таким же способом вслед за Распоповым на второй шине.

АБРАМЕНТОВ (Мешкову, который все еще держит руку на автомате пульта). Попробуй вырубить еще раз масляный автомат.

ЖМЯКОВ. В масле сейчас газ. Взрыв может быть.

АБРАМЕНТОВ. Пробуй, Мешков.

Мешков с резким усилием двигает автомат. Взрыв в масляном баллоне в низу башни. Огонь вскидывается кверху, до ног Распопова и Пужакова, и почти окружает их.

КРАШЕНИНА (в телефон). Стоп, турбина!

Гаснет весь пульт, весь свет. Остается огонь в башне. Обеденное радио играет по-прежнему. Резко хлопают контактные шины на верху башни, где двое людей. Одна шина заземляет руку Распопова ниже кисти; он повисает

ет всем туловищем, роняя инструмент. Пужаков падает вниз, в огонь и выбегает из него к пульту. Распопов висит с прихваченной рукой.

ПУЖАКОВ. Сеня, тебе больно? Что ж ты не кричишь?

Пламя бьет снизу в ноги Распопова, охватывая почти все его туловище — до живота.

РАСПОПОВ (томясь). Товарищи... (Хватает свою зажатую руку ртом и грызет ее своими зубами. Откидывается. Томится.) Товарищи... Перебейте мне руку... Где товарищи, я никого не вижу... Мне скучно одному. (Снова грызет свою руку.)

АБРАМЕНТОВ. Мы с тобою. (Бросается в башню, минутет нижний очаг огня, быстро лезет по обрешетке, сквозь огонь по пылающим проводам и деталям.)

Мешков закрывает лицо руками. Жмяков поднимает кулек с конфетами и берет оттуда конфету в рот.

КРАШЕНИНА (Пужакову). Достань револьвер! Дай чегонибудь...

ПУЖАКОВ (роясь в карманах своей прозодежды). Обожди! Я в Осоавиахиме вчерашний день на проверку взял. (Достает два-три маленьких револьвера. Один подает Крашениной, другой берет себе.)

Абраментов, немного не достигнув Распопова, молча валится вниз, в огонь. Распопов поворачивает свое лицо к Пужакову и Крашениной, видит наведенные на него револьверы и рвет руку из зажима. Пужаков и Крашенина спускают курки — раздается щелканье вхолостую, без выстрелов. Распопов падает за Абраментовым вниз, в огонь.

ПУЖАКОВ (бросая револьвер). Брак продукции: будь ты проклят!..

Крашенина и Пужаков бегут к башне. Из башни, из огня медленно выходят черные, обгорелые, почти неузнаваемые Абраментов и Распопов. Они держат друг друга за руки. Крашенина и Пужаков останавливаются перед ними. Останавливаются и Абраментов с Распоповым. У них нет глаз.

ЖМЯКОВ (в телефон). Пожарную!.. Огонь на пульте!.. (Краткая пауза.) Жертвы? Какие жертвы? (Глядит на

Абраментова и Распопова.) Они были, но встали опять жить.

Абраментов и Распопов падают на землю, не выпуская взаимных рук. Быстрый занавес.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Комната заводского клуба. Две двери. Окон нет. Два гроба на столах, два черных трупа в них. Два венка с надписями: «Храбрейшему инженеру, товарищу рабочего класса», «Другу Сене, павшему на поле пролетарской славы и чести». Общій транспарант над гробами: «Мертвые герои прокладывают путь живым». Безлюдно. Пауза.

Входит Крашенина — в длинном платье, в весенней шляпе, с маленьким букетом цветов. Она подходит к гробу Абраментова. Стоит у изголовья. Потом несмело гладит обугленную голову Абраментова. Потом склоняется и робко целует его в губы. Молчит. Вытирает глаза — жестом, точно поправляет прическу на висках.

КРАШЕНИНА *(тихо)*. Вы были правы, товарищ Абраментов. Я и полюбила вас, и заплакала. Но я не рада теперь. *(Кладет цветы в изголовье. Поправляет одежду на трупе. Всматриваясь в Абраментова.)* Я забыла запомнить ваше лицо. *(Трогает лицо покойного.)* Ну, прощайте теперь совсем. *(Отходит, но останавливается и вновь смотрит, не отрываясь, на Абраментова.)*

Входит Пужаков: в костюме, в галстуке, убранный, с громадным букетом красных роз.

ПУЖАКОВ *(читает)*. «Храбрейшему инженеру, товарищу рабочего класса». Довольно верно, — хотя что-то недостаточно. «Другу Сене, павшему на поле пролетарской славы и чести». На поле падать не надо: оно ровное. «Мертвые герои прокладывают путь живым». Живым? А кто такие эти живые — герои или нет? Нужно ли им путь-то прокладывать? Эх ты, господи!.. *(Подходит к трупу Распопова.)* На, Сеня. *(Кладет цветы на грудь мертвого. Стоит молча в неловкости.)* Что ж ты, Семен, навсегда, стало быть, уморился? Тактам и останешься? *(Молчит.)* До самого социа-

лизма дожил, а — умер... Вот скоро хорошо уж будет, а тебя нету: нам, брат, без тебя тоже стыдно оставаться. Ты, значит, сделал, а другие жировать будут, — это ведь неверно. (*Молчит, тоскует.*) Нет, и помереть хорошо за такое дело и в такой год... Взяла революция — и даст революция. Молодец Семен — ты лучше живого теперь: лежи вечно!.. Вот дай управиться — природу победим, тогда и тебя подыдем... Эх, горе нам с героями! (*Берет из своего букета два цветка.*) Надо и тому положить: тоже свой человек. (*Кладет на Абраментова два цветка. Крашениной.*) Здравствуйте! Тоже горюете стоите, — иль просто так себе?..

КРАШЕНИНА. Просто так стою.

ПУЖАКОВ. Отчего же? — надо погоревать. Так стоять неприлично.

КРАШЕНИНА. Я тоже горюю. Я солгала вам, что так стою.

ПУЖАКОВ (*глядит на осунувшуюся Крашенину*). Ну вот это нормально, это сознательно, а так стоять нельзя.

КРАШЕНИНА. Я теперь полюбила его.

ПУЖАКОВ. А это еще лучше, еще приличней. Поцелуйтесь с ним на прощанье — он ведь один остается. А ты с нами будешь.

Крашенина приближается к Абраментову. Одновременно входит Мешков, — согнувшийся, неряшливый в лице и одежде; он останавливается у ног Абраментова.

КРАШЕНИНА (*приподнимает черную руку Абраментова, целует ее и говорит мертвому*). До свиданья. (*Накрывает лицо Абраментова куском покрывала от изголовья.*)

ПУЖАКОВ (*радостно*). Вот это нам приятно... А то раньше красивые девки мужиков любили за одно лицо, а на лице — глупость.

Крашенина молча стоит.

МЕШКОВ (*неопределенно*). Неясность жизни была...

ПУЖАКОВ. А нам давно все ясно. Социализм, брат, это тебе не один пот на рубашке, а вот... что-то такое... серьезное: геройская жизнь и смерть... Что ж я Семена-то забыл поцеловать! (*Идет к Распопову и целует его.*) Ну, Сеня, — прости меня. Я, знаешь, может, и сам бы умер — по-товарищески, чтоб с тобой быть, — да теперь вместо тебя нужно жить — опять мне забота.

МЕШКОВ (*про себя, недоуменно*). А мне что делать в этой жизни? (*Горестно.*) Я не могу ни погибать, ни целоваться. Я стесняюсь жить... (*К Абраментову.*) Сережа, ведь я же говорил тебе, что я пустяк...

Входит Жмяков, одетый в черное, намеренно грустный, до торжественности.

ЖМЯКОВ. Оркестр прибыл, товарищи, — двадцать три человека состав. На дворе дождь и молния! (*Снимает шляпу и отряхивает ее от капель дождя.*)

ПУЖАКОВ. Ну зачем оркестр? Зачем людей еще больше расстраивать? И так печально будет.

ЖМЯКОВ. Нисколько, товарищ Пужаков. Наша печаль превратится в звуки, а звуки рассеются...

ПУЖАКОВ. Вот тебе раз.

ЖМЯКОВ (*в дверь*). Прошу вас, товарищи. (*Хозяйствует у гробов, готовит их к выносу.*)

Входят человек шесть-семь рабочих.

Пожалуйста, будьте любезны, — в главную залу.

Рабочие и Пужаков поднимают гробы на руки и быстро трогаются с места.

Осторожнее. Без темпов, пожалуйста.

Идет вслед за гробами. Позади всех уходит Крашенина.

Остается один Мешков.

МЕШКОВ (*находит телефон на стене и берет трубку*). 4—81. Благодарю вас... Я вот вам звонил уже... Это объявление по поводу смерти одного гражданина, члена секции... Да-да, — о котором скорбит двоюродная сестра... (*Слушает.*) Нет, он еще не похоронен... Он ожидает объявления... Все лежит. (*Слушает.*) Сегодня помещено?! (*В волнении.*) А... а где же газета, ее утром не продавали, где ж она? (*Слушает.*) Когда? К четырем часам дня? Отчего к четырем — из-за объявления?! Ах, бумагу не доставили... Спасибо, спасибо!.. Правильно все напечатали: Иван Васильевич Мешков, да? и — умер? (*Слушает.*) Скончался?.. Спасибо, спасибо... (*Вешает трубку. Один.*) Ну, мне надо кончаться... Уже давно, давно пора, дорогой мой друг, бедный мой человек, — ни помолиться тебе некому, ни попрощаться не с кем... Вот умер Сережа, и мне его не жалко — сердце пусто, ум давно без памяти, чувства безответны... Я весь уже

легкий, скучный, как усталое насекомое, которое несется ветром в старую осень.

Глухо, точно очень далеко, играют похоронный марш. Звуки встают, как вещи, неподвижно.

(Прислушиваясь.) Сережа, ты обманут. Ты видишь, они не могут сами тосковать по тебе и заставили музыку... Сережа, ты скоро уйдешь в материк, в тесную землю, опять в тюрьму. Зато у нас с тобой останется одна свобода — свобода быть забытыми. *(Музыка прекращается. Слышится далекий раскат грома.)* Ну, мне пора ложиться. Сейчас перестану дышать. *(Ложится на стол. Вдруг привстает и сидит на столе.)* Скучно чего-то. *(Сходит со стола, идет к телефону, снимает трубку.)* Барышня, дайте мне номер какого-нибудь человека... *(Ждет, слушает.)* Что вы говорите? Хорошо. *(Кладет трубку.)* Гроза: телефоны не работают, человек не отвечает. Пойду погляжу на улице — какая там гроза. Сейчас вернусь. *(Уходит.)*

В другую дверь входит Жмяков.

ЖМЯКОВ *(садится в усталости)*. Устал горевать... Трупы унесли в дождь, живые пошли сочувствовать, а оркестр с полдороги пойдет в садик и там заиграет другие мотивы... А затем наступит вечер, погода изменится, выйдут домработницы и начнут под музыку воздух рассекать. Шумит население на земле!

Приходит Девлетов, в мокром плаще, с маленьким чемоданом. Ставит чемодан на пол.

ДЕВЛЕТОВ. Здравствуйте, Владимир Петрович. *(Садится, утирает платком лицо.)* Я с поезда только что... Был в Москве. Там говорят, что нас уже включили в общий ток силовых гигантов, что выслали нам давно особый диспетчерский радиопульт, но — у нас ведь нет ничего. Усердствуют от ужаса чиновники!.. Встретил в гробу Сергея Дмитриевича, встретил Семена Федоровича Распопова... Эх, Владимир Петрович, Владимир Петрович, что же вы-то смотрели?

ЖМЯКОВ. Не хотелось, Илья Григорьевич, ток прерывать. Были бы аварии на механизмах, брак, скандал, промфинплан бы сорвали.

ДЕВЛЕТОВ. Ну и что ж? Справились бы потом, не очень страшно... А то ведь вы людей пожгли, и каких людей...

(Иронически.) Промфинплан бы сорвали. Вот вы и сорвали его. Что такое «промфинплан»? Это не бумага, это вот те люди, какие погибли... Извольте теперь идти под суд. Кто там еще был? Мешков и Крашенина? — Тоже под суд. А я буду общественным обвинителем... Не беспокойтесь, я вас укатаю прочно...

ЖМЯКОВ *(расхаживая, слегка напевает)*. Колокольчики-бубенчики...

ДЕВЛЕТОВ. Вы что, издеваетесь, Жмяков?

ЖМЯКОВ. Вы забыли еще одного подсудимого.

ДЕВЛЕТОВ. Кого?

ЖМЯКОВ. Директора — вас.

ДЕВЛЕТОВ *(встает)*. Вы правы, Жмяков. Общественным обвинителем будет Пужаков.

ЖМЯКОВ. Я даю согласие.

ДЕВЛЕТОВ. Его не требуется. Идемте — вы напишете аварийный рапорт, — сейчас же, при мне.

ЖМЯКОВ. Прекрасно, со всем вдохновением, ударно... Будьте любезны. *(Дает директору дорогу вперед.)*

Одновременно входит в другую дверь вымокший на дожде Мешков с газетой в руках. Жмяков замечает его и делает ему рукой знак прощания. Оба уходят.

МЕШКОВ *(один, медленно и внимательно читает газету)*. «Убитая горем двоюродная сестра с глубоким душевным прискорбием извещает всех родных и знакомых о своевременной кончине инженера-механика, члена секции ИТР Ивана Васильевича Мешкова». *(Складывает газету.)* Хорошо. Плохо только, что сестра извещает, а не треугольник. Подумают теперь, что я антиобщественник был, раз завком промолчал... Неприятно. *(Спихтывается. Запирает обе двери на ключ. Садится.)* Теперь совсем хорошо. Плохо только — домой нельзя пройти: газета вышла, увидят, что я живой, и окружат вниманием. *(Пауза.)* Говорить мне чего-то охота, мнение какое-то появилось... *(Развертывает газету, читает молча, потом вслух.)* «Партком, завком, дирекция, рабочие-ударники... о смерти в огне... незабвенного, верного пролетариату товарища, храбрейшего инженера Сергея Дмитриевича Абраментова, пришедшего из рядов врагов!..» *(Озирается.)* Из рядов врагов!.. А я от-

куда? Я врагом не был. Я все время сочувствовал. Я наоборот даже. Я слишком честный. Я умираю от честности, потому что осознал, что я дурак новой жизни, — я стесняюсь жить!..

Резкий стук в дверь. Мешков бросает газету; потом прячет ее под стол, быстро раздевается наполовину; опомнясь — одевается опять. Стук в дверь повторяется.

(Подбегает к телефону; берет трубку; хрипло шепчет.)

Барышня, а барышня!.. Скажите мне что-нибудь ради бога...

Стук в дверь. Голоса.

ГОЛОС ЖМЯКОВА. Да здесь же он, я вам говорю. Я его только что видел, он мокрый был...

МЕШКОВ *(в телефон, хриплым шепотом)*. Барышня, а барышня! Прошла гроза или нет?.. Барышня, товарищ...

Стук в дверь. Голоса.

ГОЛОС ПУЖАКОВА. Дай я высажу все снасть. Мешков хороший человек.

Дверь трещит. Мешков бросается к столу, на котором лежал Абраментов, влезает на него и ложится вниз лицом.

Дверь вышибается извне. В дверном отверстии появляются: Пужаков, Девлетов с чемоданом, Жмяков с газетой и несколько рабочих, мужчин и женщин; позади — Крашенина под руку с мужем. Звук упругого пневматического удара — негромкого, но глубокого и мощного. Комната сотрясается. Стол, на котором лежит Мешков, подпрыгивает, — и Мешков скидывается на пол. Мешков вскакивает на ноги. Мгновение общего тревожного напряжения. Жмяков, наоборот, чрезвычайно спокоен. Крашенина вырывает руку у мужа.

ДЕВЛЕТОВ *(бросая на пол чемодан)*. Что это?! Немедленно всем в цеха!

Новый удар. Комната сотрясается. Общее волнение Мешков покачнулся всем телом, но устоял. Девлетов, Крашенина и Пужаков бросаются к выходу. Жмяков спокоен.

ЖМЯКОВ *(Девлетову)*. Спокойно, директор. Это пробуют новые молота, это еще неполные удары.

Девлетов и другие останавливаются.

ДЕВЛЕТОВ. Да, я вспомнил. Кто проверяет установку? Чья сейчас смена?

КРАШЕНИНА (*подходя*). Моя смена.

ДЕВЛЕТОВ. Почему вы не в цеху?

КРАШЕНИНА (*тихо*). Я провожала в могилу своего товарища — Абраментова.

Пауза.

Крашенина вдруг отворачивает свое лицо ото всех и закрывает его руками.

МУЖ КРАШЕНИНОЙ. Олечка, не плачь. Ведь я с тобой остался. (*Обнимает ее за плечи.*) Крошка ты моя...

Маленькая пауза.

ДЕВЛЕТОВ (*медленно*). Так... (*Крашениной.*) Ольга Михайловна, завтра у вас будет внеочередной выходной день.

КРАШЕНИНА. Как вам не стыдно? У меня новые молота на испытании.

ДЕВЛЕТОВ. Здесь не стыд, а мой приказ. Здесь я директор. Гражданин Крашенин, проводите свою жену домой.

КРАШЕНИНА (*оборачиваясь с высохшим лицом*). Я сама уйду. Мое сердце прошло.

Уходит. За нею следом уходит ее муж.

ПУЖАКОВ. Бедная ты наша женщина.

Случайные рабочие, бывшие свидетелями сцены, расходятся.

Раздается нежная музыка. Входит почтальон с громадной сумкой на животе: весь оборванный, одежда на нем в клочьях.

ПОЧТАЛЬОН. Давайте мне теперь прозодежду. Пока я шел до сих пор, по адресу, мне разные цехи, индустрия и машины весь костюм изорвали... Там все крутится, мечется, бушует, жжется, — почтовому человеку пройти негде... Принимайте молнию!

ДЕВЛЕТОВ (*берет телеграмму, читает*). «Поздравляю днем рождения милого друга мужа. Тася. Мерзавец, зачем ты фактически бросил семью и плачущих по тебе детей?» Кто сегодня родился?.. Адресовано мне, прислано из моей же квартиры. Значит, — мерзавец, товарищи, это — я.

ПОЧТАЛЬОН. Да, наверное, ты; ты же адресат, ты же расписался.

ПУЖАКОВ. Пускай пишут, пускай поздравляют, пускай обижаются, товарищ Девлетов. Все равно всем известно,

что мы люди нежные и культурные... Илья Григорьевич, как ты мне посоветуешь: я хочу зубы себе вставить... А то завод у нас приличный, жизнь наступает высшая, а я беззубый... Так бы мне зубы не особенно нужны были, я и десною жую вкусно, — но все же это как-то некрасиво в нашу эпоху... Ты глянь сюда, до чего меня пища довела. (*Открывает рот и показывает щербинки отсутствующих зубов.*)

Почтальон первым заглядывает в рот Пужакову.

(*Почтальону.*) А ты чего глядишь на меня? Тебе одежда нужна? На! (*Снимает с себя пиджак.*)

ПОЧТАЛЬОН. Прочь ты от меня, деляцкий элемент! Я на вечерних курсах учусь и стою сейчас черпаю от вас различные знания. Не оскорбляй меня рвачеством, квалифицированный черт! Ты видишь — я стою посредине техники, темный, как бутылка. А сознание во мне светлое — и я тебя обгоню.

Маленькая пауза.

ПУЖАКОВ. Ну до чего ж наш пролетариат сердцем возгордился. Это прямо сукин сын стал!

Почтальон, бормоча, уходит. Из сумки на его животе возобновляется музыка.

ДЕВЛЕТОВ (*подходит к Мешкову, который стоял неподвижно во все время сцены*). А это что такое?

ЖМЯКОВ. А это, Илья Григорьевич, наш сознательный покойник, инженер Мешков. Он, по официальным данным, скончался.

ДЕВЛЕТОВ (*всматриваясь в Мешкова*). Отчего он скончался?

ЖМЯКОВ. Он стихии выдвиженчества испугался, Илья Григорьевич.

МЕШКОВ. Мне нужно скончаться, Илья Григорьевич, а я не умею, я — никак, я разучился.

ДЕВЛЕТОВ. Ну и черт с тобой... Дай я тебя сам сейчас убью, негодная тварь, если тебе нужно и ты не умеешь... Где револьвер?.. Ты думаешь что?.. Ты думаешь — социализм это тебе ширпотреб? Ширпотреб?! — куда вся сволочь, шлак, весь гной всех времен стечет? Ты думаешь — социализм для всех, а для тебя в особенности? Прочь с земли, скучная твоя душа!.. Где револьвер? — Кончайся.

ЖМЯКОВ. Я человек безоружный, Илья Григорьевич.

ПУЖАКОВ (*вынимая револьвер и отдавая его Девлетову*). На, возьми, только пользоваться не советую: брак продукции.

ДЕВЛЕТОВ (*хватая револьвер, — на Мешкова*). Ты социализм хочешь кончить, стервец, а не себя. Ты инженер и член социалистического общества — тебя пролетариат поставил в один ряд с собою, свой ум отдал тебе на выучку, технику — маховое колесо революции — поручил тебе держать на высших оборотах, он хотел заставить твое сердце чувствовать и биться вперед, он спас тебя из могилы истории, мясо от себя оторвал и тебе выдал... А ты — ты кончаться, ты — в гроб, ты буржуем своего туловища себя вообразил! Ты пролетариату в лицо, в душу, в открытые руки плюнул. Ты — что такое? Тебе чего? Тебя все рабочие завода знали и уважали, а ты недоволен! — тебе что? — специального счастья захотелось в нашем несчастном мире — покоя и благородства над гробами миллионов?! Эх ты, говно! (*Бросает револьвер на землю.*)

ПУЖАКОВ. Тише, директор... Чего ты человека калечишь!

ДЕВЛЕТОВ. В отпуск! На месяц! На два месяца — на курорт!.. Завтра же оформите ему путевку! Надо прекратить эту психологию на заводе. Мертвых сохранить, живых вылечить.

МЕШКОВ. Можно я... можно я сейчас пойду подежурю за Крашенину?

ДЕВЛЕТОВ. Ступайте.

МЕШКОВ (*делает движение и опять останавливается*). Надо мной там массы засмеются...

ПУЖАКОВ. Идем, Иван Васильевич. (*Берет Мешкова под руку.*) Идем, никто не засмеется. Мы люди тактичные, нам нравится интеллигенция. А ты ничего не бойся, — массы — они ведь хорошие... Это только субъекты — сукины сыны.

МЕШКОВ. А я... я полагал, что человек нарочно не отвечает мне... Я скучал...

ПУЖАКОВ. Так то ж ты по буржую скучал, а не по человеку. Ты ж ни разу не жаловался мне, что скорблю, мол, и бедствую грудью...

Уходят. Остаются Девлетов и Жмяков.

ДЕВЛЕТОВ. Ну, Владимир Петрович, а вы что такое?

ЖМЯКОВ (*серьезно*). А я же, Илья Григорьевич, последний мелкий буржуй на свете. Прикажите — и меня не будет.

ДЕВЛЕТОВ. Дурите пореже, Жмяков... Невежда хулиганит финкой, а интеллигент — умом. Но нравитесь вы мне чем-то, — черт вас знает.

ЖМЯКОВ. А тем, что я счастливый гад, Илья Григорьевич.

ДЕВЛЕТОВ. Гадами ведь целый мир был заселен — разве вы забыли? А вам надо перестроиться: я серьезно говорю.

ЖМЯКОВ. Зачем же тратиться, Илья Григорьевич? Я человек дешевый и веселый, — я в социализм бубенчиком-бубенчиком вкачусь, позвоню немного и замолкну сам.

ДЕВЛЕТОВ. Прямо хуже вредителя, сукин сын.

ЖМЯКОВ. Хуже, Илья Григорьевич, гораздо хуже. Вредители же пессимисты были, а я всякой исторической необходимости рад. Даже вперед необходимости рад... А суд-то нам будет, Илья Григорьевич?

ДЕВЛЕТОВ. Обязательно. Непременно.

ЖМЯКОВ. Благодарю вас. (*Двигается и напевает.*) Пускай могила нас всех накажет — мы еще разик проживем!

Частым тактом бьют тяжелые молоты. Комната сотрясается. Жмяков легко танцует в такт тяжелому ритму. Сразу тихо. Жмяков останавливается. Девлетов берет с пола чемодан.

ДЕВЛЕТОВ. Врешь, Жмяков: все равно ты нашим будешь! Кроме нас — кому ты нужен? Кто оценит или поймет твою тревогу и твой характер?.. Социализм велик! Будь здоров! (*Уходит.*)

Пауза.

ЖМЯКОВ (*грустно*). Товарищи, я люблю вас... Но любить вас — с моей стороны бестактно, и я скрывался под улыбкой... Ах, жизнь, неужели ты вся прожита? Неужели ты серьезна и прекрасна, начиная с осени девятьсот семнадцатого года? Ах, сволочь и гад: зачем тебе жизнь, когда ты лишь сожалеешь, но не действуешь! Вперед, мерзавец!

Бросается в пространство. Входит почтальон в прежней порванной в клочья одежде.

ПОЧТАЛЬОН. Ты куда? Чего ты мечешься: ведь адрес потеряешь!

ЖМЯКОВ. Да куда-то вперед, сам не знаю...

ПОЧТАЛЬОН. Ну вот видишь, а ты мечешься! Прими-ка местную срочную, задержанную на аппарате... Распишись на обратной расписке... Первый раз застаю я человека на одном и том же месте: и правильно! Раз есть почта и телеграф, люди должны жить неподвижно. Читай при мне — что там тебе сообщают — советский связист должен интересоваться смыслом продукции своего труда. А то, может, я хожу без смысла и растрчиваю зря основной капитал своего тела: ведь это ж — дефект!

ЖМЯКОВ (*читает*). «Сего числа три фазы вашего завода введены в контакт с высоковольтной магистралью республики. Энергетический резерв страны распоряжении завода. Включайте нагрузку республиканское кольцо. Автоматический радиопульт выслали почтой две декады назад. Включайтесь на расстоянии. Инструкция при аппарате. Линейный инженер Брекчиус». — Люблю я вас, Брекчиус! Почтальон, на сколько задержана эта телеграмма?

ПОЧТАЛЬОН (*размышляя*). Содержание довольно смысловое. Я доволен, что хожу... Да, я полагаю, что суток на четверо депеша опоздала: у нас электричество в проволоке ослабело и аппараты Бодо перестали активничать.

ЖМЯКОВ (*задумчиво*). Суток на четверо... Абраментов умер трое суток назад. На трое суток задержано включение. Трое лишних суток мы гнали генератор с перегревом и перегрели людей.

ПОЧТАЛЬОН. Выходит — так. От почты, братец ты мой, люди плачут, радуются и сразу помирают. Почта, телеграф — это дело слишком серьезное. Ты люби эту область!

ЖМЯКОВ. Хорошо, буду любить. Где посылка в наш адрес?

ПОЧТАЛЬОН (*засовывает руку в сумку, делает там в глубине несколько манипуляций, вынимает наружу небольшой специальный прибор — вовсе не похожий на радиоприемник, хотя тех же размеров, что радиоприемник; прибор начинает играть нежную музыку еще в руках почтальона; почтальон ставит его на стол, — прибор игра-*

ет). Вот она — ваша посылка: я думал, что это пустяк! Без адресата. А я люблю радионауку и технику и сделал себе приемник, чтоб мне была музыка, когда я нервничаю или когда мне скучно. Я уж пятый день хожу под марш.

ЖМЯКОВ (*хватая револьвер с земли, брошенный Девлетовым*). Застрелю, негодяй! У нас люди умерли из-за тебя...

ПОЧТАЛЬОН (*невинно*). Теперь стрелять уж ни к чему... Сами виноваты: привили мне любовь к научно-техническим достижениям, пустили ходить в будущее, — вот я и стремлюсь!

Жмяков бросает револьвер, садится на пол и беззвучно плачет.

Чего ты нервничаешь? Аппарат твой цел. Я изучил его по инструкции и ничуть не испортил... (*Манипулирует на аппарате: загорается вначале одна синяя лампа, затем две, затем три, и все горят ровным светом; внутри аппарата по-прежнему играет нежная музыка.*) Ты думаешь — я попка?.. Ты думаешь — я просто себе гуща масс?.. Нисколько! Сейчас я тебе электричество по радио включил — только и всего. Нам понятно.

Жмяков встает, смотрит на аппарат — на лампы, на циферблаты на нем. Пауза. Быстро входит Мешков.

МЕШКОВ. Владимир Петрович, на главном пульте падает нагрузка. Завод идет полным ходом. Я не растерялся, но просто ужасаюсь.

ЖМЯКОВ (*указывая на прибор на столе*). Вот теперь наш главный пульт. Нас включили в республиканское кольцо высокого напряжения. Останавливайте турбогенератор, тушите дизель, поставьте дежурного монтера на главный трансформатор республики.

МЕШКОВ. Слушаю, Владимир Петрович. Сейчас все налажу: я ведь теперь бодр — после смерти! Я ведь теперь счастлив!

Быстро и бодро уходит. Вбегает Пужаков.

ПУЖАКОВ. Владимир Петрович. Кто там прет таким ходом наш завод? Нам теперь силы девать некуда, раньше машины только шумели, а теперь они песни поют.

ЖМЯКОВ. Мы попали в общепролетарское силовое кольцо, и вот — мчимся!

ПОЧТАЛЬОН (*Пужакову*). А ты думал — мы остановимся?

ПУЖАКОВ (*почтальону*). Прочь от меня, фабзяц! Эх, Владимир Петрович, Владимир Петрович, ты бы хоть спел теперь что-нибудь.

ЖМЯКОВ. Нет, Петр Митрофанович, я пел не от радости. Песня моя спета, и наступает жизнь.

ПОЧТАЛЬОН. Ну что ж — иди и существуй. Я вполне допускаю.

ЖМЯКОВ (*почтальону*). Благодарю вас.

ПОЧТАЛЬОН. Неначем. Живи себе безвредно и героически, как я живу... Ну, затем до свидания — пойду пользу делать. Эх, судьба — проблема.

Направляется к выходу.

Конец

14 КРАСНЫХ ИЗБУШЕК

ТРАГЕДИЯ

Действующие лица

ИОГАНН-ФРИДРИХ ХОЗ, ученый всемирного значения, председатель Комиссии Лиги Наций по разрешению Мировой Экономической Загадки, 101 год от рождения.

ИНТЕРГОМ, спутница Хоза, 21 года.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ, лет 45.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ.

УБОРНЯК ПЕТР ПОЛИКАРПОВИЧ

ФУШЕНКО ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ

ЖОВОВ МЕЧИСЛАВ ЕВДОКИМЫЧ

} писатели.

СУЕНИТА, 19—20 лет, председатель колхоза «14 Красных Избушек».

КСЕНИЯ СЕКУЩЕВА, колхозница, 23 лет.

ФИЛИПП ВЕРШКОВ, колхозник в возрасте.

АНТОН КОНЦОВ, колхозник лет 30, говорит и действует со срочной, безошибочной четкостью, с непоспевающим выявляться воодушевлением.

ГЕОРГИЙ ГАРМАЛОВ, демобилизованный красноармеец, колхозник, муж Суениты.

БЕРДАНЩИК, колхозный сторож, человек старых лет.

Районный старичок.

Летчик.

Железнодорожный сторож в вокзале.

Грудные дети — Суениты и Ксении.

Несколько пассажиров с обыкновенного поезда дальнего следования.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Фойе московского вокзала. Цветы, столики, транспаранты с приветственными надписями на иностранных языках. Несколько лозунгов по-русски. Один большой транспарант гласит: «За здорового советского старика! За культурную, еще более плодотворную старость!». Гудки далеких мчащихся паровозов. Звуки настраивающегося духового оркестра где-то на перроне.

На сцене Начальник станции; он бдитительно оглядывает помещение и переставляет цветы на столиках — для их лучшей эффектности. У дверей — железнодорожный сторож. Входит Приветствующий Деятель.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ (к Начальнику станции). Здравствуйте, товарищ. Когда прибывает поезд с границы?

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ. Экспресс «Могучая Птица» должен прибыть через две минуты. По сведениям диспетчера, опаздывает на четыре минуты, но я думаю — механик нагонит: паровоз серии И-ЭС.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Должной четкости в работе транспорта еще нет!

Долгий, далекий, разрываемый скоростью и встречным вихрем воздуха, жалобный свисток мчащегося паровоза.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (официально). Транссоветский экспресс «Могучая Птица» — Столбцы—Владивосток — прибывает на первую платформу! В литерном люкс-вагоне следует господин Иоганн-Фридрих Хоз, почетный член Стокгольмской Академии, председатель Комиссии по Разрешению Мировой Экономической Загадки при Лиге Наций. (Глядит на часы на своей руке.) Опоздание: полминуты! Механик — товарищ Живаго!

Свисток паровоза — уже в пределах вокзала. Звук работающих тормозов. Остановка. Гул публики. Приветствия. Музыка — туш.

Начальник станции, подтянувшись, уходит на перрон. Приветствующий Деятель стоит в сосредоточенной позе.

В фойе входит Иоганн Хоз об руку с Интергом. У Интергом в руках маленький чемодан. Позади них являются три писателя: Уборняк, Фушенко и Жовов. Затем — Начальник станции. Приветствующий Деятель встречает Хоза, представляется ему и его спутнице, говорит краткую фразу приветствия по-французски.

ХОЗ. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово живете! Ну, как дела со второй пятилеткой? Надеюсь — четко?!

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Пардон: вы говорите по-русски? Вы знаете наш трудный язык пролетариата?

ХОЗ (*раздраженно*). Знаю, знаю... Ну конечно же знаю! Я уже забыл, чего я только не знаю. Русский, индусский, мексиканский, еврейский, астрономию, психотехнику, гидравлику... Мне сто один год, а вы — мальчик! (*Раздражаясь все более.*) Вы — мальчик! — осмеливаетесь со мной говорить по-французски.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Простите. Спутница ваша также потрудились над русским языком?

ХОЗ. Мальчик! Не раздражайте моего духа на этой раздраженной земле! Интергом, скажите ему по-русски ваши пустяки!

ИНТЕРГОМ. Долой антискирдовальное настроение!

ХОЗ. Как? Что такое? Отличница, вы знаете по-русски лучше меня?! Повторите сейчас же: вы ж видите — я мучаюсь!

ИНТЕРГОМ. Долой антискирдовальное настроение! Я читала газеты Советов, я выучилась. Антискирдовальное настроение — по-русски — это печаль. Это аннюи, это не социализм.

ХОЗ. Это сверкающе!

ИНТЕРГОМ. Вы ошибаетесь: это блестяще.

ХОЗ. Пардон: блестяще!.. Что я такое, если стал забывать чепуху?.. Мальчики, девочки, дети — дайте мне трость из могильного креста, чтобы я мог уйти на тот бедный свет!

ИНТЕРГОМ. Вы, дедушка, контр-дурак.

ХОЗ. Как? Что такое?

ИНТЕРГОМ. Вы контр-дурак: значит — умница.

ХОЗ (*сосредоточенно*). Неизвестно, Интергом.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (*Хозу*). Поздравляю вас с благополучным прибытием. Желаю вам счастливого путеше-

ствия по этой самой великой и пока еще самой чуждой вам стране.

ХОЗ. Самой чуждой?! Ошибаетесь: все страны для меня одинаково чужды и бесприютны. Благодарю вас.

Начальник станции прощается и уходит.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Приветствую вас, господин Иоганн Хоз, великий философ слабеющего капитализма, блестящий мастер оппортунистических ухищрений, и желаю вам...

ИНТЕРГОМ. Стать младенцем, дошкольчатником, пионером, октябристом нового света...

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ (*к Интергом — угрюмо*). Далеко не верно... (*Хозу.*) Приветствую вас в еще неизвестной гигантской стране — от имени трудящихся людей, делающих счастье и истину себе и вам. Мы счастливы встретить вас в своем общем доме!

ХОЗ. Сомневаюсь, чтобы вы были от меня счастливы.

Краткая пауза.

Я никого еще не делал веселым и счастливым. (*На Интергом.*) Вероятно — только ее.

ИНТЕРГОМ. Да, Иоганн, от вашей любви я ужасно счастлива!

ХОЗ. Знаю, знаю... Вы же вперед женщина, потом человек.

ИНТЕРГОМ. И вперед, и назад — я всюду женщина.

ХОЗ. Вы контр-умница, Интергом... Ах, мадемуазель девочка, мне давно уже надоело жить в своем организме, в этой жизни, в тоске текущих фактов: дайте мне молочка! Мне скучно, мадемуазель, от сознательных чувств... Молочка!

ИНТЕРГОМ (*вынимает из своего чемодана бутылочку консервированного молока и подает ее Хозу*). Кушайте, дедушка, вы не волнуйтесь, вы не думайте: у вас так слаб желудок... Ну ради бога, дедушка, не оставляйте капель на дне, я вас люблю.

ХОЗ (*отдавая бутылку, допив молоко*). Теперь — чего-нибудь химического, едкого!

ИНТЕРГОМ (*роясь в чемоданчике*). Вот — неизвестно что... Что-то химическое, невкусное такое.

ХОЗ. Давайте, мне надо глотать! (*Берет таблетку из рук Интергом и глотает. Затем враз обращается к При-*

ветствующему Деятелю.) Где здесь социализм? Покажите его сейчас же, меня раздражает капитализм.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Отдельные элементы нашего строя я вам в состоянии предъявить немедленно. Пожалуйста! Сейчас же направо будет комната матери и ребенка...

ИНТЕРГОМ. Благодарим вас. Предъявите нам, ради бога, комнату для самых бедных старичков, и что они там делают!

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ (в затруднении). Простите: она ремонтируется...

ХОЗ. Не спешите, Интергом. Здесь нет старичков, здесь люди умирают вовремя. (К Приветствующему Деятелю.) Вождь, товарищ, остановите ремонт комнаты старичков: она у вас будет пустая.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Я преувеличил, господин Хоз. Этой комнаты у нас нет.

ХОЗ. Не смущайтесь: я знаю, что вы понемногу (бормочет невнятно) хвастуны, но ведь мы вовсе подлецы. Компривет! (Ко всем спутникам.) Товарищи, подумаем так. У них есть комната матери и ребенка — это пустяки. У них мало стариков и нет для них комнаты — это успех. Не ошибаюсь ли я, господа?

ТРИ ПИСАТЕЛЯ (напряженно, одновременно, почти вместе). Привет! Доблесть! Ажур! Гут! Принципиально! Мерси!

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Вы глубоко ошибаетесь, господа! У нас есть лозунг: «За здорового советского старичка! За культурную, еще более плодотворную старость!» Прочитайте! (Показывает на лозунг на стене.)

ИНТЕРГОМ. Иоганн, большевистские старички тоже любят женщин, как ты?

ХОЗ. Сомневаюсь.

ИНТЕРГОМ. А если они догонят и перегонят?

ХОЗ. Тогда ты уйдешь к ним, а я женюсь на юной комсомолке — моложе тебя.

ИНТЕРГОМ. Это ужас, Иоганн!

ХОЗ. Это моя техника, Интергом. Вы ее знаете?

ИНТЕРГОМ. Ах, вполне, Иоганн. Мое тело прогрессирует от вашей страсти.

ХОЗ. Оно и увядает также, Интергом. Я говорю о вашем теле. А мой опыт приобретает рациональность.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ (*смущенно*). Господин Хоз, вас ожидает наша страна.

ХОЗ. Да, да — сейчас мы отправимся в русское пространство, на воздух, в зеленую рощу, на колхозную печку нового мира, в природную чепуху!..

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Господин Хоз, для вас давно заведены моторы. Разрешите узнать ваш курс!

ХОЗ. В безвестность истории, в Азию, в пустоту Востока... Мы хотим измерить светосилу той зари, которую вы якобы зажгли...

УБОРНЯК. Могу я узнать у господина всемирного мыслителя его точку зрения на какой-либо всемирно-исторический предмет?

ХОЗ. А вы кто такой — вы трудящийся?

УБОРНЯК. Я прозаический великороссийский писатель Петр Поликарпыч Уборняк. Я надеюсь, что вы знаете мои книги: «Бедное дерево», «Доходный год», «Специфическая личность», «Вечно советский» и прочие мои сочинения?..

ХОЗ. Не надейтесь: я не знаю ваших книг.

УБОРНЯК. Народам известна моя международная деятельность по обороне моей родины...

ХОЗ. Простите мое невежество. В чем выразилась эта ваша деятельность?

УБОРНЯК. В момент угрозы интервенции со стороны Англии — я женился на знаменитой англичанке. В эпоху японской угрозы — я обручился с японкой из древнего рода.

ХОЗ. Благоразумно. Интервенция, как известно, не состоялась, ваша заслуга неоченима. Но на ком вы женились в гражданскую войну?

УБОРНЯК. На образованнейшей дочери почтенного русского генерала.

ХОЗ. Отлично. Вы, господин Уборняк, совсем неглупый человек — для дураков.

УБОРНЯК. По добрейшему обычаю моей родины, по сердечнейшему дружелюбию нашей наибогороднейшей и наиболее благодарнейшей отлично-превосходной страны —

разрешите обменяться поцелуем, дабы получилось у нас это культурно и исторически!

ХОЗ (*указывая на Интергом*). Поцелуйте вон ее в щеку. Она заведует моими чувствами.

Интергом подставляет свою щеку, раздув ее изнутри, а Уборняк вежливо прикладывается к ней.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Вам, господин Хоз, желают представиться еще два писателя: Мечислав Жовов и Геннадий Фушенко.

ХОЗ. Скорее, пожалуйста. Мне нужна действительность, а не литература.

Мечислав Жовов медленно подходит почти вплотную к Хозу и молча, несколько застенчиво, улыбается.

ИНТЕРГОМ. Иоганн, отчего у него лицо счастливого корнеплода? — я забыла его по-русски.

ФУШЕНКО. Овощ, мадемуазель.

УБОРНЯК. Тыквы! Какой овощ?! — Колхозные прозаики!..

ИНТЕРГОМ. Счастливая тыква!

Пауза. Жовов молчит.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ (*Хозу*). Он говорить не может: у него десять человек иждивенцев. Но он вам рад.

ФУШЕНКО (*тихо, но настойчиво*). Господин Хоз, я член правления. Я пишу рассказы из турецкой жизни...

Хоз не замечает Фушенко.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Может быть, господин Хоз выскажется более научно о цели своего путешествия в страну строящегося социализма?

ХОЗ. Научно?! Не раздражайте меня! Я приехал сюда поселиться, я еду по пустяку!

УБОРНЯК (*торжественно*). Вы ошибаетесь, господин Хоз. У нас в стране, на одной шестой суши, где...

ФУШЕНКО. Господин Хоз... я...

ХОЗ. Не притворяйтесь серьезными, господа. Вам хочется рассмеяться в своей стране, а вы стараетесь мыслить! Смейтесь и сочувствуйте!

ФУШЕНКО. Господин Хоз! Я орга...

ХОЗ. Хорошо. Пишите рассказы. Играйте в свою славу.

Шум поезда, вошедшего в вокзал, гул толпы пассажиров. Уже по этим звукам ясно, что пришел обыкновенный бедняцкий поезд дальнего следования.

Несколько будничных пассажиров входят по ошибке в зал на сцене, но Железнодорожный сторож выпирает их вон обратно. Два пассажира, однако, успевают миновать сторожа и пройти через сцену с мешками. Третьим пассажиром, спокойно и нечаянно прошедшим мимо сторожа, является Суенита. Через плечо у нее висят ее вещи, связанные узлом на плече; за спиной мешок с сухарями и железная кружка, спереди — книги, обвязанные веревкой. Суенита — смуглая, южная женщина, она сейчас утомлена дорогой и грязна. Она оглядывает людей и обстановку удивленными, немного грустными глазами.

Х03 (наблюдая Суениту). Какое бедное творение природы!

СУЕНИТА. Мы не богатые... Где тут уйти на Казанский вокзал — мне нужно ехать в пустыню.

Х03 (неподвижно разглядывая ее). Как тебя зовут, божие создание?.. Куда ты спешишь отсюда, советское дитя?

СУЕНИТА. Суенита. Я не дитя, я председатель пастушьего колхоза «Красные Избушки». Я еду домой на Каспийское море.

Х03. Какое чудо жизни — ребенок правит деревенским царством! Откуда же ты едешь, беззащитная моя?

СУЕНИТА. Я не беззащитная — у нас колхоз, у меня муж в Красной Армии. Я в Ленинград ездила, библиотеку в премию получала.

ФУШЕНКО. Товарищ председатель, сколько у вас обобществлено хозяйств? Не активничают ли кулаки? Нет ли мелких прорывов в организационно-хозяйственном укреплении? Не нужно ли срочно послать в ваш колхоз ликвидационно-прорывочную бригаду писателей? Я член культбригады...

СУЕНИТА (задумчиво). Писателей?.. А они умные?.. У нас четырнадцать красных избушек. У нас не было чтения, всё уж прочитали, у нас в колхозе читают вслух по ночам. Лампа горит, стекло треснуло от огня, а я читаю, и все думают около меня, а кругом темно, слышно, как шумит Каспийское море. Книги все прочли, стали неинтересны, нам было скучно жить

с одним своим умом. Мне дали тогда в премию библиотеку, что я трудодни прекрасно сосчитала. А книги хотели прислать, только не прислали — все нет и нет: у бюрократизма не болит социализм. Я поехала сама, взяла и везу — не знаю теперь, где Казанский вокзал, где билеты берут без плацкарта.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Вот перед вами, господин Хоз, небольшое существо социализма.

ХОЗ. Огромное, дорогой мой. Весь божий мир скрылся в этом бедном существе. (*К Суените.*) Дайте мне вашу руку, счастливая моя!

Суенита несмело подает Хозу свою руку. Хоз целует ее руку.

СУЕНИТА. Плюньте лучше. У меня рука сейчас грязная. Руками ведь не целуются, а только работают и обнимаются.

УБОРНЯК. Она санминимум проходила.

СУЕНИТА. Да, я санитарка и детей умею принимать.

ХОЗ. А рожать вы не пробовали?

СУЕНИТА. Успела уже.

ИНТЕРГОМ. Хотите одеколona для рук?

СУЕНИТА. Так себе. Не хочется. Где Казанский вокзал?

ФУШЕНКО. Разрешите я вам билет возьму вне всякой очереди.

СУЕНИТА. А разве можно? Там люди в очереди стоят, это против закона, я за кило пшена людей наказывала.

УБОРНЯК. Можно, голубушка. Он возьмет без очереди. Он и живет без очереди — его очередь давно прошла, а он живет себе по-культурному! Геня, давай поцелуемся!

ФУШЕНКО. Давай, Петр Поликарпыч!.. (*Целуется.*)

ИНТЕРГОМ (*Суените*). Хотите молока?

СУЕНИТА. Я в колхозе его пила. До свиданья. Я пойду в очередь билеты покупать — боюсь, не достанется. Чего те двое целовались? — неприличные какие!

ХОЗ. Погодите... Я еду с вами — разрешите пожилому человеку!

СУЕНИТА. Вы старый. У нас лесу нету: если умрете — гроб не из чего делать. Мы вас в песок положим.

ХОЗ. Я согласен. До свидания, господа! Пишите сочинения, приветствуйте, встречайте поезда дальнего следования, будьте здоровы!..

Хоз и Суенита направляются к выходу.

ИНТЕРГОМ (*бросаясь вслед*). Иоганн! А где же я буду жить? Иоганн! Здесь чужая страна, я умру без тебя, Иоганн!

ХОЗ (*приостанавливаясь*). Ну, дальше что? Ну раздражай, раздражай меня! Выпускай из тела пустяки!

ИНТЕРГОМ (*припадая к Хозу*). Иоганн, ты исчерпал своей любовью всю мою молодость...

ХОЗ. Да, исчерпал. Я же мужчина, Интергом!

ИНТЕРГОМ. Не бросай меня сразу! Выпей своего молочка, съешь чего-нибудь химического — уйдем в отель, забудемся... Возьми меня в пустыню, я засохну по тебе в Европе. (*Плачет.*)

ХОЗ. Умирают от любви и живут в пустыне — только ангелы, Интергом... Ты женщина, ты в пустыню не поедешь. Сегодня же ты будешь улыбаться...

СУЕНИТА. Старичок, там во все колхозы поезда уйдут. Мы останемся.

ХОЗ. Сейчас. Сейчас все организуем, бедные мои!

ИНТЕРГОМ (*в слезах*). Где же ты станешь пить молоко, есть порошки и пилюли? Кого ты будешь теперь любить? Я изучила тебя, я чувствовать привыкла, а теперь надо забывать!

СУЕНИТА. Я его буду кормить из своей сумки. У меня сухари и корки есть.

ХОЗ (*к Уборняку*). Господин писатель! Интергом — голландская фламандка, хотя и родилась в России. Я считаю полезным улучшить нравственно-политические отношения между вашей родиной и Голландией. Возьмите Интергом под вашу любовь и покровительство. Сделайте одолжение голландской королеве!

ИНТЕРГОМ. Ах, Иоганн! Я так грустна сейчас! Ну, поцелуй мне руку!

ХОЗ. Успокойся, Интергом: ты знаешь, что жизнь все равно несерьезна. Прощай, мое бедное тело! (*Целует Интергом в лоб и оставляет ее, отходя к Суените.*)

УБОРНЯК (*к Интергом, предлагая ей руку*). Сударыня, разрешите предложить вам культурную дружбу и гостеприимство! Мой дом открыт всей Европе!

СУЕНИТА (*Хозу*). Пойдем скорее, дедушка, в нашу деревню, у меня ребенок там плачет.

ХОЗ. Пойдем, божье создание. Дай мне сухарик пососать из твоего мешка.

СУЕНИТА. После. Сядешь в вагон — тогда и будешь трескать.

ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Господин Хоз, вас ожидает «Бьюик». Мотор все время горячий, машина дежурит для вас.

ХОЗ. Остановите его. Я начинаю теперь согреваться сам — моторы пусть остынут.

Уходит с Суенитой.

УБОРНЯК (*ведя под руку Интергом*). Вы отлично и серьезно заживете у меня в доме, моя славная и милейшая госпожа Интергом.

Все расходятся. Уборняк берет Интергом за обе руки.

УБОРНЯК. Ах вы, моя голландка! У вас же чудесная гидротехническая родина! Мы с вами романы будем писать и — очерки!.. У меня дома собака Макар есть, вот зверь обрадуется вам!

ИНТЕРГОМ (*улыбаясь*). Да, господин Уборняк, я люблю романы... И Макаров я тоже люблю — они мне нравятся!

УБОРНЯК. Голубушка, дайте мне попить этого хозовского молочка!

Интергом вынимает из своего маленького чемодана бутылку молока и подает Уборняку.

ИНТЕРГОМ. Ну пожалуйста!

УБОРНЯК (*выпив молоко*). Культурная была привычка у этого научного старичишки!.. Послушайте, превосходнейшая моя, — как же вы жили с этим ветшайшим старичком?..

ИНТЕРГОМ (*улыбаясь*). Ах, господин Уборняк, жизнь ведь так несерьезна!

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Край низкой плетневой огорожи; оголенные, колеблемые ветром ветви отоцалого дерева; далекий шум Каспийского моря.

За плетневой огороджей деревянная пристройка избы — в виде большого крыльца или сеней. Там стоит стол для занятий.

Вся эта обстановка занимает правую часть сцены. Слева видна даль, уходящая в смутное пространство. Спереди левой части стоит столб с советским гербом и надписью; «СССР. С-х пастушья артель XIV Красных Избушек. Высота над уровнем моря 19,27 м. Средн. год. колич. осадков 140 мм. Душ-едоков 34. Председ. С. И. Гармалова». В средней части сцены стоит чучело, устроенное из глины, соломы и различной ветоши. Чучело похоже на сурового человека, ростом в полтора человека. Правая рука чучела высоко поднята в неопределенной угрозе. Вечер. Приходят Хоз и Суенита из дальнего пути. Суенита несет те же вещи, что и на вокзале в Москве. Они останавливаются. В колхозе не слышно ни одного человеческого голоса.

СУЕНИТА (прислушивается). Не слышно никого... Чучело какое-то поставили! — должно быть, людей не хватает!..

Краткая пауза.

Мы дошли, дедушка... Ты видишь — это наш пастуший колхоз. Мы здесь овец кормим и рыбу ловим понемножку. Давай переобуемся в чистое. (Садятся на землю, Суенита начинает переобуваться.)

ХОЗ. У меня нету ничего чистого. Я так посижу и отдохну от своего умозрения.

СУЕНИТА (переобуваясь). Ну посиди, поскучай, а потом ночевать на печку пойдешь.

Вдалеке, где-то за колхозом, заплакал грудной ребенок; тихо проговорил что-то женский человеческий голос.

ХОЗ. Кто там заплакал у вас, в ваших социальных полях?

СУЕНИТА. Это наши дети играют в яслях.

ХОЗ. А я слышал, что плачут.

СУЕНИТА. Напрасно ты слышишь.

Снова слышится далекий плач ребенка.

ХОЗ. Вот опять тоскует чей-то мелкий голос.

СУЕНИТА. Это один мой ребенок плачет — он по мне скукает, он родную мать давно не видел... Отвернись, я соски свои оботру — сейчас пойду кормить его грудью. (Обтира-

ет соски на своих грудях. Хоз глядит на грудь Суениты, не отвернувшись.) Ты видишь, как молоко скопилось!

ХОЗ. Вижу.

СУЕНИТА. Напрасно ты видишь.

ХОЗ. Устал я шагать по неопределенной земле. В цветах, в слезах и в пыли живут люди, а я, старик, нахожусь при них свидетелем. Чем же это все кончится, бедные мои?

СУЕНИТА. Ну что, дедушка, понравился тебе наш Эсесер? У нас ведь все может случиться, чего только захочет наше сердце!.. Что ты говоришь — кончится?

ХОЗ. Да, мне ваш Эсесер понравился: кругом противоречия, а внутри неясность... Я говорю: когда же кончится наше дыхание в этом пустом пространстве и мы обнимемся в общей могиле! Когда же, девочка?

СУЕНИТА. Мы — никогда, а ты скоро: ты же дедушка — старичок, ты сохнешь уж! (*Переобувшись, вставая.*) Ну — обутка готова... (*Кричит в колхоз.*) Антошка! Ксюша! Дядя Филя!.. Мы пришли! Ксюша, неси мне моего мальчика скорей! (*Более тихо.*) Я соскучилась вся... (*К Хозу.*) Дедушка, ступай на колхоз, там на печку ляжешь, у кого топилась, и там накормят тебя. Когда я приберу горницу, я тебя позову.

ХОЗ. Кормиться я не люблю. У вас есть что-нибудь химическое?

СУЕНИТА. У нас колхозная аптека в ящичке есть. Съешь порошок!

ХОЗ. Пойду съем. (*Уходит.*)

Суенита входит на крыльцо избы и складывает там свои грузы.

СУЕНИТА (*разбирая принесенные книги*). Скорей бы только его увидеть! Маленькое теплое тело, и всегда оно пахнет вкусным чем-то... Почему-то так тихо стало в колхозе!.. (*Зовет.*) Ксюша, Ксюша! Неси мне моего мальчика! (*Всюду тихо. Краткая пауза.*) Скоро я еще рожать буду — мне так нравится, когда из меня выходит что-то горячее, жалкое и плачущее такое, бедный комок моей жизни. Он беззащитный, испуган, весь в крови, его измучила страшная смерть... (*Зовет.*) Ксюша!.. Где же кто-нибудь! Где мой ребенок и весь колхоз?

Тихо является Филипп Вершков.

ВЕРШКОВ. Здравствуй, товарищ председательница! С прибытием тебя, с достижением здоровья и с прочими делами успеха! *(Подает руку Суените.)* Видела в центрах-городах хороших наших людей, передала им наше почтение иль промолчала?

СУЕНИТА. Передала.

ВЕРШКОВ. А как их здоровье?

СУЕНИТА *(во время диалога — постепенно переодевается в другое, чистое платье, исчезая на момент в избу и возвращаясь оттуда)*. Ничего. Они велели тебе сказать — пусть побольше трудится, поменьше брешет на руку врагу.

ВЕРШКОВ. Да неужели же, Суенита Ивановна?! Иль им и про меня донесли сводку настроения? Ну, — теперь я гроыхну! Теперь я вполне — всеми костями своими!

СУЕНИТА. Дядя Филя! А в колхозе что? Траву всю собрали? Я шла — стогов не видела! Свезли нашу заготовку в Союз-мясо?

ВЕРШКОВ *(смуценно)*. Не управились еще, Суенита Ивановна!

СУЕНИТА. Что же вы, черти! Я же вам наказывала! Ты чего глядел? На что мы тогда государству нужны? — пусть лучше тут море будет, а не люди: в море — рыба...

ВЕРШКОВ. Море?! Вопрос этот интересный, Суенита Ивановна... Каких-то ты жизненных книжек нам привезла?.. Когда будешь население знакомить?

СУЕНИТА. Где Антошка? Ксюша куда девалась?

ВЕРШКОВ. А они побираться по морю пошли — мертвую рыбу по берегу искать, а Антошка даже лопух приступал жарить и лепешки печет из овечьего желудочного добра. Нам харчиться нечем стало: баранины нету.

СУЕНИТА. А овцы наши колхозные?! Дядя Филя!

Ход диалога начинает ускоряться и ускоряется все более.

ВЕРШКОВ *(поспешно, задыхаясь горлом)*. Ты слушай меня, Суенита Ивановна... Я как общественность, я от лица всех самых ударных и сознательных... Ты только слушай меня: я тебе наговорю реально, убедительно в высшей степени — тут бантик был...

СУЕНИТА. Какой бантик такой? Говори мне скоро!

ВЕРШКОВ. Я тебе говорю сокращенно, арифметически, вроде Совнаркома и Цекубу: бе-а-не-те-ке — белогвардеец-антиколхозник! Федор Кирилыч Ашурков, — бантик! Ты его еще раскулачивала перед второй большевистской, а он теперь явился...

СУЕНИТА. Ты убил его?

ВЕРШКОВ. Нипочем! Это он меня треснул трижды по горбушке, а Антошку они сапогами мяли, кирпичами по сознанию в голову били, — но ведь кирпичи-то мягкие, они же без обжига, они саманные, и Антошка воскрес без ущерба...

СУЕНИТА. В голову по сознанию?! А вы что здесь сознавали тогда?

ВЕРШКОВ. А мы сознавать не поспевали, Суенита Ивановна, — их цельных семеро бантиков было! Они из темной степи пришли, а у берега наш колхозный корабль рыбацкий стоял — «Дальний свет». Тут же мы с Антошкой находились — весь гурт гнали купать от паразитов, всю сумму нашего имущества, а прочий народ бродячий колодезь рыл вдалеке — не видать и не слышать!..

СУЕНИТА. Ну скорее! Ты говоришь так долго, как будто молчишь!

ВЕРШКОВ. Они гурт наш овечий на корабль колхозный загнали, — один баран только остался, а избушку живьем на берег уволокли, вместе с оконными стеклами, и на баркас погрузили, а потом уехали в испуге на парусе... Случилось ужасное явление упущения!

СУЕНИТА. А солонина, а хлеб где наш общий, который в мешках залатанных лежал? Говори мне враз!

ВЕРШКОВ. Враз я не могу — мне психа в горле мешает. А солонина, а бедняцкое зерно наше, которое в мешках залатанных лежало, тоже в море на баркасе нашем поплыло — на тот берег империализма...

СУЕНИТА. А почему же вы кулаков побить не могли? У тебя револьвер есть! Значит, вы за них стоите?! Кто трус, тот теперь подкулачник! Вы мелочь — сволочь, ничуть не большевики! Проверить вас надо, чтобы сердце у каждого биться стало, а не трусить!..

Суенита сбегает с крыльца.

ВЕРШКОВ (*спокойно*). Да то нет, что ли? Конечно, проверить надо! Культработа мала среди нас, вот что я тебе скажу. А револьвер вынимать опасно было — его отымут!

СУЕНИТА (*кричит*). Ксюша!

ГОЛОС КСЮШИ (*вблизи*). Ау-у!

ВЕРШКОВ (*тихо*). Это ведь трагедия!

Прибегает Ксения Секущева. Вдалеке плачет ребенок.

КСЕНИЯ (*бережно, затаенно плачет и обнимает Суениту*). Суня моя приехала...

СУЕНИТА. Ксения! Как же вышло? Почему избушка наша пропала, всех овец уворовали, дети плачут?.. (*Пауза; подружки стоят обнявшись.*) Там старик явился со мной — пускай кормят его на мои трудодни.

КСЕНИЯ. Сказала уж, травяную тюрю сидит хлебает, два порошка из аптеки съел.

СУЕНИТА. Вкусней тюри у нас ничего нет?

КСЕНИЯ. Нету. Бантики уворовали все.

СУЕНИТА. Ксюша! А ты все время кормила моего ребенка, у тебя не пропадало молоко?

КСЕНИЯ. Не пропадало.

СУЕНИТА. Ну принеси мне его поскорей, я сама его хочу кормить, а то груди распухли.

КСЕНИЯ (*вскрикивая*). Горюй по ним, Суенита: у нас с тобой нету детей!

СУЕНИТА (*не усваивая*). А — как же быть-то? А почему ты не горюешь?

КСЕНИЯ (*сдержанно*). Я своего отгоревала. (*Теряя сдержанность.*) Не мило мне, жутко мне, ветер качает меня, как пустую, я в Бога верить хочу!

СУЕНИТА. Ксюша! Бога нету нигде — мы одни с тобой будем горевать... (*Томясь и сдерживаясь.*) Что же мне с мукой моей делать теперь — ведь нам жить нужно, и жить неохота!.. Куда вы закопали моего мальчика?

ВЕРШКОВ (*поспешно, задыхаясь в горле*). Суенита Ивановна, ты разреши мне, чтоб я выразился наконец! Я все знаю, я давно стою наготове!

СУЕНИТА (*горюя и медленно плача*). Дядя Филя, зачем вы колхоза не сберегли, зачем вы ребенка моего схоронили?..

ВЕРШКОВ. Как так схоронили?! Ничто! Ты не плачь по нем, не горюй, наша умница, он плывет сейчас спокойно по Каспийскому морю — в руках классового врага!

СУЕНИТА. Не тревожьте меня! Дядя Филя, где наши дети?..

ВЕРШКОВ. Нет никакой информации!.. Ты слушай меня! Бантик Федька Ашурков, когда напал на наши избушки, так он сперва не расчухал добра — и поволок одну избу к берегу. А в избе той наши ясли были, и там спали — на религиозный грех, будь он проклят! — твой мальчишка да Ксюшкин сосунок. Я тут бросился на банду, но меня ударили какой-то кулацкой тяжестью, я так и сел на свой зад: спасибо, хоть сесть на что было...

СУЕНИТА. Дядька Филька, почему же ты детей не отнял у них?

ВЕРШКОВ. А что дети? Я овец старался отбить — не детей. Дети — одна любовь, а овцы — имущество. Ты детей тоже не переоценивай, ты баба не слабая — нарожаешь!

СУЕНИТА. Уйди прочь от нас!.. Ступай барана зарежь для ученого.

ВЕРШКОВ. Барана? Последнего? Сейчас пойду убью животное такое! Я понимаю: это убийство политическое... (*Уходит.*)

Плачут грудные дети в глубине колхоза.

СУЕНИТА (*забываясь*). Ксюша! наших детей несут!

КСЕНИЯ. Колхозницы с берега ворочаются. Боятся теперь дома ребят оставлять — с собой таскают, а ребята от голода орут.

СУЕНИТА. Принеси мне чужого ребенка, я кормить его буду и ночевать с ним лягу потом. Возьми у Серафимы Кошункиной...

КСЕНИЯ. Ну ты очень-то не блаженничай! Сейчас принесу... (*Уходит.*)

СУЕНИТА (*зовет*). Антоша! Антошка!

ГОЛОС АНТОНА. Дай и мне управиться! Я близко нахожусь — в пределах!

Приходит Хоз.

ХОЗ. Благодарю вас за гостеприимство. Я вкусно напился какой-то пустынной травой.

СУЕНИТА. Неначем. Завтра барана будешь есть. *(Зовет.)*
Антошка!

ГОЛОС АНТОНА. Обожди: я ветер смерю. Воздушные пути республики должны быть безопасны!

Ксения приносит двух грудных детей. Одного отдает Суените, другого оставляет у себя.

КСЕНИЯ. Давай чужих кормить, а то молоко в голову бросится, от горя помрешь. *(Уходит, баюкая ребенка.)*

СУЕНИТА *(разглядывая ребенка)*. Почему у него такое скучное лицо?.. *(Дает ему в рот свою грудь.)* Он не сосет молоко из моей груди!

ХОЗ. Положи его на землю, Суенита. Твой ребенок, наверное, хочет умереть.

СУЕНИТА. Он один останется — на всем свете, без нас и без жизни!

ХОЗ. Не тоскуй, Суенита. Ты зачала его, шутя, веселясь и задыхаясь, зачем же раздражаешься теперь? Это несерьезно... Что тебе один ребенок! — Ты качаешь в своих бедрах, как в люльке, целое будущее человечество. Подойди ко мне!

Далекий, невнятный гул летящего аэроплана.

СУЕНИТА. Я не слышу тебя, старичок. Мне трудно сейчас...

Приходит Антон, обвязанный на голове тряпками от полученных ранений.

СУЕНИТА. Антошка! Бери коня. Скачи в район к телефону — кричи в ГПУ на Каспийское море. Чего раньше не гнались за кулаками?

АНТОН. Съедобную пищу из всякого брачного праха организовали: нервничать некогда было! Тем более все равно бдительность на границах у нас сугубая — никто не уплывает!

Усилившийся гул: летит аэроплан.

СУЕНИТА. Аэроплан летит! Антошка, пускай он спустится, мы на нем кулаков догоним!

АНТОН *(глядя в высоту)*. Спущу! Я враз спущу! Никогда на машине не летал! Великая техника, все сердце гремит, так и хочется крикнуть — вперед!

ХОЗ. Ты сигналов не знаешь?

АНТОН. Я член Осоавиахима. Я зажгу костер и пушу дым государственной опасности, а тебя надо арестовать: ты мой ум рассеиваешь!.. *(Исчезает.)*

ХОЗ. Спит твой ребенок.

СУЕНИТА. Спит мой мальчик. *(Укрывает ребенка и кладет его в сених на лавку.)* Все теперь спят — на земле и на море. Только один далекий ребенок кричит сейчас на нашем маленьком корабле... Он меня зовет, он без защиты там! Я в воду брошусь, я уплыву к нему в темноте...

ХОЗ *(приближаясь к Суените)*. Не шуми, девочка, наша судьба беззвучна. *(Обнимает Суениту и склоняется около нее.)* Я тоже плакать с тобой хочу и тосковать около твоей нищей юбки, у пыльных ног твоих, где пахнет землею и твоими детьми.

*Обнимает ослабевшую Суениту и держит в объятиях.
Далекий стихающий гул удаляющегося аэроплана.*

ХОЗ. Целый век грусти я прожил, Суенита. Но теперь я нашел твое маленькое тело на свете, теперь я тоскую по тебе, как бедный печальный человек. Я хочу смиренно зарабатывать свои трудодни.

СУЕНИТА *(слегка глядя Хоза)*. А ты живи с нами до смерти в пастушьем колхозе и радуйся помаленьку. Поедешь в район и сдашь курс счетовода.

Входит Антон.

АНТОН. Промчался в высоте без остановки! Но я еще подкараулю: они летают тут часто по великому маршруту. Буду ходить и сигналы жечь из огня всю ночь! *(Уходит.)*

Суенита уходит в сени и склоняется там над спящим ребенком.

*Хоз подходит к плетню. Он стоит молча небольшое время.
Вечер стемнел в ночь.*

ХОЗ. Жульничество! *(Маленькая пауза.)* Какое всемирное, исторически организованное жульничество!.. И ветер, дескать, как будто грустит, и бесконечность обширна, как глупое отверстие, и море тоже волнуется и плачет в берег земли... Как будто все это действительно серьезно, жалобно и прекрасно! Но это бушующие пустышки!

СУЕНИТА *(из сеней)*. Дедушка, с кем ты напрасно разговариваешь?

ХОЗ. Ах, девочка, Суенита, это жульничество! Природа не такая: и ветер не скучает, и море никого никуда не зовет. Ветер чувствует себя обыкновенно, за морем живет сволочь, а не ангел.

Является Антон и проходит.

АНТОН. Никто не летит. Одна тьма на свете и море шумит.

Антон уходит. Суенита идет в избу, возвращается с зажженной лампой и садится за стол заниматься.

СУЕНИТА. А почему вы такой умный?! Может, вы тоже — так себе старичок!

ХОЗ. Я не умный. Я жил сто лет и знаю жизнь от привычки, а не от ума.

СУЕНИТА. А кто такие жулики, почему их не расстреливают, чего они думают?

ХОЗ. Они думают, как и я: мир существует по поводу одного пустяка, который давно забыт. Они обращаются поэтому с жизнью как с заблуждением — беспощадно... Дочка, иди я тебя поцелую в голову.

СУЕНИТА. Почему?

ХОЗ. Потому, что я тебя люблю. Мы ведь оба обмануты... Не раздражай меня! Когда два обманутых сердца прижмутся друг к другу — получается почти серьезно. Тогда мы обманем самих обманщиков.

СУЕНИТА. Не хочу.

ХОЗ. Почему не хочешь?

СУЕНИТА. Не люблю тебя.

ХОЗ. Молочка!!! Дай мне молочка! Где моя Интергом?

СУЕНИТА. У нас молока для тебя нету — детей надо кормить... Иди, дедушка, трудодни считать — я запуталась.

ХОЗ. Иду, девочка. Займемся пустяками для утомления души.

СУЕНИТА. Это не пустяки. Это наш хлеб, дедушка, и вся революция.

Приходит Антон.

АНТОН. В воздухе никто не летит! Буду инвентарь проверять. Надо стараться что-то делать. (*Уходит.*)

Хоз идет к Суените.

ХОЗ. Где мои очки? Где, ты говоришь, вся революция?

СУЕНИТА. Очки ты у своей любовницы в сундуке оставил. Ты в одних штанах к нам приехал, без куска хлеба. Вот очки нашего пастуха лежат, — носи теперь их... *(Меняясь.)* Слушай, дедушка Хоз!

Пауза. Слышен шум моря. Темная ночь.

Опять мне скучно стало. Сердце мое болит, и телу жить становится стыдно.

ХОЗ. Ничего: твое тело неплотно сидит на твоей душе, оно потом прирастет. *(Надевает очки с жестяным оборудованием, увязывает их за ушами, садится на место Суениты и читает ведомости.)* Зачем считать? Ну зачем считать цифры, когда все в мире приблизительно?.. Суенита, полюби меня своим печальным бессознательным сердцем — это единственная точность в жизни.

СУЕНИТА. Наоборот: я вас люблю сознательно!

ХОЗ. Сознательно!.. Сознание — это светлый сумрак юности перед глазами, когда не видишь пустяка, господствующего в мире.

СУЕНИТА. Сознание — это ум. Раз не понимаешь, то молчи.

ХОЗ. Сознательная моя... Я рад, когда не понимаю.

СУЕНИТА. А я тогда скучаю... Считай скорее — чтобы к утру была раздаточная ведомость: ты мне расчет с колхозниками задерживаешь! Чтоб все было ясно каждому — нам неясности не надо... Я скоро вернусь! *(Берет закутанного ребенка с лавки и идет с ним.)* Холодно стало, пойду согрею его, где печка топилась. *(Уходит.)*

ХОЗ *(один)*. Мне все ясно. Но я хочу неясности. Неясность! Я давно потерял тебя и живу в пустоте ясности и отчаяния.

Стук молотка в колхозе; визг напильника. Эти звуки повторяются и в дальнейшем.

(Считает на счетах по ведомости. Вдруг бросает считать.) Пусть они будут счастливы приблизительно! Все равно — всякий счет и учет потребуют потом переучета. *(Пишет по ведомости.)* Прохору Берданщику — десять килограммов: ты, Прохор, траву собирал без усердия, к советской власти относишься косо. Ксении Секущей — хороша ты, Ксения, божье дыхание, наживай себе силу в тело —

тебе сто килограммов баранины, не считая шерсти. Антону этому — Антошка!! — тебе целый центнер: ешь говядину! Ты траву сеял посредством ветра, два колодца вырыл — оба сухие стоят, ты море меришь для Академии наук, спектакль поставил о топоре и добился уяснения хозрасчета всеми колхозниками... Летит там аэроплан или нет?

ГОЛОС АНТОНА. Нету ничего — тьма, пустые стихии шумят!

ХОЗ (*считая*). Скощу! Скощу! Скощу со всех наполовину. Шестнадцать лет с коммунизмом возьтятся, до сих пор небольшой земной шар не могут организовать! Схоластики! Я штрафовать вас буду!

ГОЛОС АНТОНА. Штрафуй нас, товарищ всемирный академик! Бей трудоднем по психозу масс!

ХОЗ. Нельзя, Антошка... Карл Маркс говорил мне в середине прошлого века, что психоз пролетариату не нужен.

ГОЛОС АНТОНА. А ты знал Карла Маркса?

ХОЗ. Ну как же не знал?! Ну конечно же знал! Он всю жизнь искал чего-либо серьезного и смеялся над текущими пустяками всех событий.

ГОЛОС АНТОНА. Ты врешь, научный человек! Маркс не смеялся над нами — он любил нас вперед навсегда, он плакал над гробом Парижской коммуны и протянул дорогу своего умозрения за горизонт всемирной истории! Ты брось здесь свои кругозоры, ты пойми нас — или мы тебя пойдем!

ХОЗ (*считает*). Серафиме Кошункиной и ее мужу, тому же Кошункину, — по нулю, ничего, два нуля.

Приходит Антон.

АНТОН. Ты что раздражаешь меня своим энным пониманием каждого предмета? Ты эффект жизни смазываешь мне перед глазами!

ХОЗ. Блаженны бормочущие! (*Считает по ведомости.*)

АНТОН. Мы еще не блаженные, мы трудящиеся, а ты что здесь психуешь по-жуткому?

ХОЗ (*не отрываясь от занятий*). Тебе чего, малолетний?

АНТОН. Психани по-жуткому — тебе говорю! Из чего сделан весь мир — из атомов или нет?

ХОЗ. Из психующего пустяка!

АНТОН (*мучительно*). Значит, и атому жутко! Пойду море мерить и гири проверять, а то в мире как-то плохо реально — надо его с точностью организовать!

ХОЗ. Антошка! Зачем ты чучело это поставил — три трудодня истратил! Расточительство!

АНТОН. Пугать классового врага! Чучело больше человека и страшней, а человек пускай трудится, нам его не хватает.

ХОЗ. Но классовый враг не испугался.

АНТОН. Поскольку чучело мертвое, то нет — нисколько. Это Филька Вершков указал мне: сделай чучело, сторожа не надо. Стали оставлять избушки без человека, ушли все колодезь рыть, а классовый враг набежал... Пойду скорей трудиться! Аэроплана нету, темнота стоит...

Идет со сцены.

Навстречу Антону входит Суенита с ребенком.

АНТОН. Не спит?

СУЕНИТА. Нет, он бредит. Холодно везде, печку никто не топил, а мать его от голода спит равнодушно.

ХОЗ. Суенита, что ты носишь это дитя: пускай оно умрет. Иль мало в тебе любви, чтобы рожать их без жалости?

АНТОН (*Хозу*). Я вот как дам тебе сейчас — так ты из башмаков вылетишь вверх! Ты у нас на все свои детали разлетишься — от удара пролетариата!

ХОЗ. Неверно, Антошка!.. Что мне пролетариат? Он же моложе меня! Я родился, когда пролетариата еще не было, и умру, когда его не будет! Пролетариат сам изуродуется, если ударит в мои жесткие кости!

СУЕНИТА. Аэроплана нету?

АНТОН. Нет... Давай я отнесу его в корзинку и там покачаю.

Берет ребенка из рук Суениты и уходит.

СУЕНИТА. А ты сосчитал раздаточную ведомость?

ХОЗ. Сосчитал.

СУЕНИТА. Дай я проверю.

ХОЗ. Не проверяй, Суенита... Ведь овцы твои не в пастушьем колхозе, а в руках классового врага.

СУЕНИТА. Ты бедный дедушка! Ты не знаешь сугубой охраны наших границ... Хлеб наш священный возвратится в наше тело.

Бледный рассвет. Далекий гул аэроплана. Суенита прислушивается. Пауза.

СУЕНИТА (*кричит*). Антошка! Аэроплан к нам летит! Зажигай сильнее сигналы! Обожди меня. Я избу зажгу! (*Убегает.*)

ГОЛОС АНТОНА. Я уже вижу все и принимаю максимальные меры.

Пауза.

Приближающийся гул самолета.

ХОЗ. Спешат всякие случайности. Надо итог подводить.

Сильный красный свет: загорается изба в колхозе, подожженная Суенитой.

Стихающая работа близкого снижающегося самолета.

Пауза.

Приходят Летчик и Антон, за ними является Ф. Вершков.

АНТОН. А где Суенита Ивановна?

ВЕРШКОВ. Сейчас явится. Крышу зажгла на избе, никак не потушит.

Вбегает Суенита.

ЛЕТЧИК (*Суените*). Вы — председатель?

СУЕНИТА. Вы же видите, что я!

ЛЕТЧИК. Слушаю. Я водитель машины сельхозавиации 42-07. Шел по маршруту на рисовый совхоз. Приземлен огневыми сигналами. Товарищ Антон сообщил мне о необходимости погони за бандой кулаков. Я согласен сделать разведку над морем, но мне нужен проводник для опознания вашего рыбацкого судна.

СУЕНИТА. Летим скорее со мной!

АНТОН. Я тоже лечу. У меня сердце от радости рвется!

ЛЕТЧИК. Двое?! Ну ладно. Давайте скорей! (*Уходят. Суенита оборачивается с пути.*)

СУЕНИТА (*Хозу*). Дедушка, береги колхоз, ты меня любишь. (*Уходит.*)

ХОЗ. Лети, бедная птичка. Я буду бдительный.

Остаются Хоз и Ф. Вершков.

ВЕРШКОВ. Ну вот мы и хозяйева с тобой, Иван Федорович! Давай теперь распоряжаться.

ХОЗ. Распоряжаться? Я тебе распоряджусь! Ступай вперед трудиться!

ВЕРШКОВ. Это верно, Иван Федорович, я пойду. Жесткое руководство нам необходимо! (*Уходит.*)

*Свет от горевшей избы потух. Серый, скучный рассвет.
Рев мотора отлетающего аэроплана.*

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Внутренность правления колхоза. Портреты. Лозунги. С.-х. животноводческие плакаты. Стенгазета. В углу — свернутое красное знамя. Стол со счетами. Лавки. Одно окно, оно закрыто. Ночь под утро. Горит лампа. За столом Хоз в очках, сильно обросший и дремучий.

ХОЗ. Ночь! Тишина! Люблю, когда не слышно никаких стихий! Когда раздается одно дыхание человека! (*Слушает. Под окном храпит человек.*) Социалист Филька Вершков храпит. Целый стог травы один собрал — сутки работал, лунным светом пользовался. Десять трудодней придется ему вписать. Но он же мнимый человек — запишу ему четыре трудодня.

Входит Ксения, сильно похудевшая.

КСЕНИЯ. Бери весточку. (*Достаёт из-за кофты письмо и даёт Хозу.*) Утром кольцевая почта подбросила, кольцевик говорил — еле сыскали тебя. Читай теперь.

ХОЗ (*оставляя без внимания письмо*). Я давно ничего не читаю.

КСЕНИЯ. А может, интересно!

ХОЗ. Нет. Не интересно, Ксюша! А ты забыла, что твой ребенок плывет сейчас по Каспийскому морю!

КСЕНИЯ. Нет, не забыла, Хозушка, нипочем не забыла! Как живой, как милый — так и стоит перед глазами... Самой есть нечего, а груди молоком набухли... И-их, только усну — забуду!

ХОЗ. Ну хорошо — мучайся, это прекрасно. Я тебе напоминаю, чтоб не забыла. А наряд — мешки штопать — ты перевыполнила?

КСЕНИЯ. Выполнить — выполнила, а перевыполнить — не успела. Руки от горя болят, я уж и плакать не могу, а только вылуплю глаза и гляжу, как мертвая рыба...

ХОЗ. Ксюша! Бедное грустное вещество, пойди сюда. Дай я тебя обниму и поглажу! (*Ласкает Ксению.*)

КСЕНИЯ (*прижимаясь к Хозу*). Дедушка Иван, ты ученый, ты добрый, скажи — как мне жить теперь, помоги мне отстрадаться...

ХОЗ. Не плачь, Ксюшка! В детстве ты так же плакала над разбитым пузырьком, над потерянным синим лоскутом, — и горе твое было таким же печальным. Теперь ты плачешь о ребенке... Я тоже плакал когда-то, у меня было четыре официальных жены, все умерли. Они родили мне девятнадцать детей — юношей и девушек — ни одного не осталось на свете, даже их могил я не могу найти. Ни одного следа, где ступила теплая нога моего ребенка, я никогда не видел на земле...

КСЕНИЯ. Не скучай, дедушка, я тоже скучаю. Бедный ты мой горюн!

ХОЗ. У вас есть аптека?

КСЕНИЯ. Маленькая.

ХОЗ. Пойди принеси мне чего-нибудь химического — я проглочу.

КСЕНИЯ. Сейчас притащу.

ХОЗ. Сбегай, девчонка.

Ксения уходит.

ХОЗ (*зовет в окно*). Филипп!

ГОЛОС ВЕРШКОВА. Тебе чего, Иван Федорович?!

ХОЗ. Иди сюда.

ГОЛОС ВЕРШКОВА. Сщас. Дай вытянусь — кости обломаю.

ХОЗ (*роясь в делопроизводстве*). Опасность отставания налицо. Уборка травы не закончена. Налог по мясопоставке не сдан, мешков на зимние запасы не хватает, две колхозницы вчерашний день рожать легли — в один день зачатые получили... Ну где я теперь мешочных штопальниц возьму, боже мой... Суенита, дыханье мое, ворочайся скорее в наши избушки, у тебя сердце бьется умнее моей головы. Я классового врага не вижу! А ведь это все его проделки!

Входит Филипп Вершков.

ВЕРШКОВ. Тебе чего?

ХОЗ. Вот что — отчего ты спишь помногу?

ВЕРШКОВ. У-у, едрена-зелена! Я думал: ты контра-человек! а ты — тоже вроде нас. Неужто за границей, кроме нас, никакого интереса у вас нету?

ХОЗ. Слушай, Филька, ты классовый враг!

ВЕРШКОВ. Я-то?.. Да можно сказать, что — так точно, а можно и нет! Можно сказать, это гнусная ложь, уловка и клевета на лучших людей. Как хочешь, Иван Федорович: и вперед, и назад, в общем — загадочно!

ХОЗ. Врешь, ты вредный! Я сквозь целое человечество всю судьбу вижу!

ВЕРШКОВ. Мало ли что ты видишь! Ведь — теоретически!

ХОЗ. Практически, гад! Я второй век живу, я проверил на событиях! Ты политику партии не любишь, ты здесь притворяешься, что за нас, а сам за Европу стоишь, за зажиточных!

ВЕРШКОВ. Ты... ты меня не распсиховывай, я заикаться начну, я в тебя... предметом воткну... Кто тебе стог-гигант сложил, десять ден в одни сутки включил?

ХОЗ. Ну это ты, Филипп Васильевич. Я тебе четыре трудодня записал.

ВЕРШКОВ. Четыре дня!.. Ты... ты психу нагоняешь в меня, я факты забываю! Ты негодование во мне развиваешь, чертов пережиток!

Приходит Ксения.

КСЕНИЯ. На море шум начался. Страшно сейчас плавать одному в воде...

ХОЗ. Дай порошок.

КСЕНИЯ. Бери какие хочешь, все принесла. *(Открывает перед Хозом ящик-аптеку.)*

Хоз глотает три порошка по очереди.

ХОЗ. Запить даже нечем. Пора квас варить в колхозах.

ВЕРШКОВ. Жуй всухую.

ХОЗ. Не раздражай меня, ничтожный!

ВЕРШКОВ. Я тебе дам ничтожный! Ничтожные у нас знаешь где? А здесь одни многозначные!

ХОЗ. Не распсиховывайте меня! Уйдите прочь из правления!

ВЕРШКОВ. Забюрократился уже! Вот дай Суенита Ивановна из командировки приедет — я все расскажу.

КСЕНИЯ. Я тоже не смолчу. У нас артельное хозяйство, и тон должен быть товарищеский. По непроверенным данным срамишь — фу, какое безобразие!

БЕРШКОВ. Пойдем, Ксюша, от классово-чуждых. Нечего нам мировоззрение свое марать.

Оба уходят.

ХОЗ (*счастливо*). Живут себе эти божьи почти существа. Играют в различные шутки, а получается всемирная история... Скоро светать начнет — надо отчетность в райзо готовить. (*Занимается.*)

Приходит Берданщик с ружьем.

БЕРДАНЩИК. Не ложился еще?

ХОЗ. Нет. Сижу вот копаюсь в общей жизни.

БЕРДАНЩИК. Пора бы уж на бок, ай ты моложе меня?

ХОЗ. А тебе сколько времени?

БЕРДАНЩИК. Да годов сто будет ли, нет ли: едва ли! Туман уж в уме пошел — сам вижу белый свет, а интереса нету!

ХОЗ. Да ты умный, что ль?

БЕРДАНЩИК. А я — когда как! То умный, то опять нет: у меня облака по уму плывут.

ХОЗ. Ну ты умный, — ступай колхоз с края карауль.

БЕРДАНЩИК. А я — правда, нет ли? Классовый враг?

ХОЗ. Так зачем же ты ходишь здесь? Ступай в район и скажи, чтоб тебя арестовали. Пора бы уже сознанию научиться.

БЕРДАНЩИК. Ходил уж. Дважды просился под арест. Не берут никак — признаков нету, говорят, нищий человек. Краюшку хлеба на обратную дорогу выписывают по карточке и пускают ко двору.

ХОЗ. Значит, ты полезный общественник.

БЕРДАНЩИК. Я-то? Едва ли. Я в книге начитался: люди сто тысяч годов живут на белом свете — ни хрена не вышло. Неужели за пять лет что получится: да нипочем!

ХОЗ. Прочь отсюда, классовый враг!

БЕРДАНЩИК. Я не евши это сказал. Это я бдительность твою проверял, а может — ты агент Ашуркова! Я здесь сторож, я все берегу — весь инвентарь и всю идейность... Заря встает — ложись на бок, спи, а то силу днем потеряешь.

А нынче каждый день тыщу лет кормит, колхозная революция должна сто тысяч годов покрыть! Во как! У нас ведь так-то! Отдыхай с богом! *(Уходит.)*

Краткая пауза.

ХОЗ *(один)*. Не понимаю ничего: облака по уму плывут! Розовая заря в колхозе. Является Вершков.

Ты что не спишь?

ВЕРШКОВ. Не спится: забота! Светает помаленьку, еды нету. Народ ворочается лежит.

ХОЗ. Ну раздражай, раздражай меня, мешай трудиться!

ВЕРШКОВ *(вздыхая)*. Удивляюсь я всемирному человечеству. Как это тебе империалисты — далеко ведь не глупейшие люди — загадку своей жизни приказали отгадать! Ты же отсталый человек, ты овечьего колхоза решить не можешь!.. Я бы давно все мировое дело разгадал — и не ездил бы никуда, а сидел бы на квартире, ел бы пищу и думал бы себе!.. Их, и выдумал бы я тогда!

ХОЗ. Филька! Все мировые дураки всегда ищут мировую истину.

ВЕРШКОВ. Тебе же лучше! Мы-то с тобой не дураки: ты всемирный двурушник, а я колхозный ударник-пастух. Только всего.

ХОЗ. Филька! Прочитай в конверте, что мне Европа там еще пишет. Напиши ответ этому кулацкому колхозу. Ты, оказывается, великий человек! *(Отдает Вершкову конверт.)*

ВЕРШКОВ *(распечатывая конверт)*. Да, я что хочешь! Когда как! Когда великий, когда мелкий! Что ж делать: жизнь ведь мероприятие незаконченное! Приходится!

ХОЗ. Да ведь и я тоже, Филька, такой: когда как! Мы оба с тобой — трудящиеся люди!

ВЕРШКОВ. А, ништ, я тебя не вижу. Я вижу! *(Пишет, не читая, несколько слов на письме — резолюцию.)* Большевик-человек наблюдает вас, дураков, насквозь! *(Отдает Хозу письмо с конвертом.)*

ХОЗ *(читая резолюцию)*. Филька! Неужели это верно? Неужели вся мировая экономическая загадка решается твоими четырьмя словами!

ВЕРШКОВ. Зря ничего не пишем. Я-то знаю.

Пауза.

ХОЗ (размышляя). Да, это верно. Вы знаете. А что мне пишут оттуда?

ВЕРШКОВ. Пишут, что им так себе: неудовлетворительно. Прочитай сам вслух!

ХОЗ (читает с пропусками, злобно бормочет). ...Из Москвы получено сообщение... На вокзале вы хотели жениться на известной красавице — пастушке Суените... Вследствие некоторого ограничения ваших умственных способностей... концентрированный круг европейской трагедии... Шлите... новый принцип... разрешение мировой политико-экономической загадки...

ВЕРШКОВ. Я же сам написал. Теперь мировой загадки нету.

ХОЗ. Ты написал ясно: загадки нету. Пора отсылать, утро наступило.

ВЕРШКОВ. Подпиши. А я дай за секретаря.

Подписывают. Запечатывают конверт. Входит районный старичок — с деловой сумкой и с запасом свернутых знамен, сделанных из кумача и рогожи.

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК. Здравствуйте! Тушите лампу, чего вы здесь сидите!.. Я из райцентра пеший пришел, за соревнованьем гляжу!

Районный старичок берет из угла горницы красное знамя, свертывает его, берет к себе, а из своего запаса выделяет рогожное знамя и ставит его взамен.

ВЕРШКОВ. Ты за что нас обижаешь?

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК. Не заслужили, значит. Обыкновенное дело! (Уходит.)

ХОЗ. Боюсь, Суенита Ивановна раздражаться будет...

ВЕРШКОВ. Это ничто... Надобно, Иван Федорович, что-нибудь народу дать, он не евши плачет, лежит на земле.

ХОЗ. Я не слышу.

ВЕРШКОВ. Тут не слушать надо, а думать. Ну, послушай!

Растворяет окно правления.

Слышна ругань мужчин и женщин — и редкий, отдаленный плач детей, мирный по своим звукам.

ХОЗ. Они не плачут, они ссорятся.

ВЕРШКОВ. Они друг друга грызут, это хуже слез. Народ от голода никогда не плачет, он впивается сам в себя и помирает от злобы.

ХОЗ. Закрой окно. Сколько дней Суениты Ивановны нету?

ВЕРШКОВ (*закрывает окно*). Девятые сутки ушли.

ХОЗ. А ты разве не хочешь есть?

ВЕРШКОВ. Нет. Я живу от сознания, разве у нас от пищи проживешь?

ХОЗ. Пойди позови ко мне Ксюшу!

ВЕРШКОВ. Пользы не будет... Но сходить можно. (*Уходит.*)

ХОЗ (*один*). Боже мой, жизнь, в чем твое утешение?.. Надо отчетность в райземотдел кончать...

Приходит Ксения.

КСЕНИЯ. Я и сама бы пришла, я проснулась уже. (*Дует в лампу и тушит ее. За окном стоит ранний солнечный день.*) Давай наряд на задание.

ХОЗ. Ксюша! У тебя сердце болит — пусть оно отдохнет.

КСЕНИЯ. Это еще что такое за новости такие. А вдруг да ГПУ ребенка моего догонит, а я здесь, значит, лодырничала? Вот так симпатично будет!

ХОЗ. Ксения, принеси мне чего-нибудь химического, я ослабел.

КСЕНИЯ (*укрощаясь*). Ну сейчас. А молочка не хочешь? У меня в грудях скопилось, все равно выдавливать на землю буду. Женское молоко полезно.

ХОЗ. Ну ступай, подои сама себя, принеси в бутылочке. А химию тоже не забудь!

КСЕНИЯ. Ладно уж. Без порошков ты жить не можешь!

ХОЗ. Умру.

Ксения уходит.

Я чувствую тепло человека в этой стране... Отчет в райзо закончен, слава богу. Книги писал, а никогда так не радовался. (*Расписывается с размахом.*) Хорошо!

Брань, крики женщин и плач детей слышатся сквозь закрытое окно.

Быстро входит Вершков, за ним Берданщик с ружьем.

ВЕРШКОВ. Слышишь, как бормочут? Тебе надо, Иван Федорович, теперь на Берданщика опереться, у него ружье, он районной властью утвержден!

БЕРДАНЩИК. Это зря: ни к чему! Народ только между собой будет злиться, это всегда так, а посторонних он никого не тронет.

ХОЗ. Ты, Филька, классовый враг! Народ надо кормить.

БЕРДАНЩИК. Вот верно сказал! Мы, старики, все знаем!

ВЕРШКОВ. А чем ты накормишь его? — только политически! Лозунг выпустишь из ума!

ХОЗ. Берданщик, возьми его под арест! Ты видишь — кулак проявляется!

БЕРДАНЩИК. Я вижу. Твое руководство работает хорошо.

ХОЗ. Отведи его в наш тюремный кузов, какой Антошка сделал!

БЕРДАНЩИК. Отведу. А народ кормить ты не раздумал?

ХОЗ. Нет. Исполнивай свою службу!

БЕРДАНЩИК. Сейчас. Иль ты обиделся? *(Выталкивает прикладом Вершкова вон.)* Иди прочь, двоякий человек! *(Уходят оба.)*

Прибегает Ксения с бутылочкой молока.

КСЕНИЯ. Дедушка Иван! Чего-то у нас там делается такое! Все орут, томятся, друг друга раздражают!

ХОЗ *(беря у Ксении бутылочку)*. Твое молочко-то?

КСЕНИЯ. Мое. Из груди своей тебе нацедила, да не поспела всю бутылку налить — мужики так и рвут из рук, лопать хотят. Сначала облатки проглоти! *(Дает Хозу порошки в облатках.)*

ХОЗ. Сколько у нас детей в колхозе — без твоего с Суенитой?

КСЕНИЯ. Обожди... *(Считает шепотом.)* Семеро!.. Двоих схоронили — пятеро!

ХОЗ. А много у тебя молока в груди еще осталось?

КСЕНИЯ. И старого и малого накормлю — и в резервный фонд останется!

ХОЗ *(отдает ей бутылочку с молоком обратно)*. Ступай корми всех детей своим молоком. Сколько успеешь, пока себя всю иссосешь.

КСЕНИЯ (*радуясь и удивляясь*). А верно, дедушка Хоз! Чего я себя, дура, берегла, только мучилась!

ХОЗ. А мужчинам и женщинам дай из аптеки по одной химической облатке. Пусть съедят их. Скажи, я велел, я тоже ими кормлюсь — второй век живу. Колхозники умные, они наедятся.

КСЕНИЯ. О, они умные, они терпеливые, дедушка Хоз! Им чуть-чуть дай только, у них сразу сердце болеть перестанет!

ХОЗ. Накорми их, Ксения, из груди своей и из аптеки.

КСЕНИЯ. Иду, дедушка... (*Уходит.*)

ХОЗ (*глотает облатки и пережевывает их*). Хорошо. Питательно!

Пауза.

(*Один.*) Буду жить на свете, как сторож Берданщик, — стеречь случайности и фонды!

Незаметно, неслышно входит смеющаяся Суенита. Углубленный Хоз не видит ее.

СУЕНИТА. Здравствуй, дедушка Хоз!

ХОЗ. Суенита!.. Ты вернулась к нам. Убедительная моя!.. А где мелкий ребенок?

СУЕНИТА. У нас в колхозе. Сейчас я его Фимке Кошункиной понянчить отдала, больше меня никто не видел. И Ксюшкин мальчик тоже цел — я обоих принесла, они живы!.. Сделай мне доклад о положении хозяйства!

ХОЗ. Обожди ты с этими бесчеловечными делами: хозяйство, доклад, положение! (*Открывает окно в колхоз: тихо, ничего не слышно, стоит светлое позднее утро.*) Тихо стало, народ наедается... Дай я тебя поцелую по старости лет!

СУЕНИТА. Ну ладно, поцелуй — я не засохну.

Хоз целует Суениту в лоб.

ХОЗ. Вечная моя! Как давно я искал тебя — сто лет.

СУЕНИТА. Я тогда на свете не была — напрасно искал.

ХОЗ. Я рождения твоего ожидал.

СУЕНИТА. Поздно явился — я уж сама рожаю.

ХОЗ. Я народ здесь кормлю. Мое руководство работает хорошо.

СУЕНИТА. Мы проверим.

ХОЗ. А хлеб наш колхозный и овцы где? Ты отняла их у классового врага?

СУЕНИТА. Мы догнали наш парусник на аэроплане. Потом его повернул к Астрахани катер ГПУ и взял на буксир.

ХОЗ. Ашурков где, я спрашиваю!

СУЕНИТА. Когда морское ГПУ начало гнаться за ними, они спустили в море половину нашего хлеба, сорок овец потопили — остальные целы, и избушку нашу бросили — она поплыла-поплыла... А ребяташки наши, мой и Ксюшин, в трюме лежали, их сам Ашурков нянчил и плакал по ним, когда его арестовали...

ХОЗ. Приличный человек!

СУЕНИТА. Да. Он меня любил когда-то в девушках, до ликвидации классов...

ХОЗ. Где хлеб и овцы наши, я тебя спрашиваю!

СУЕНИТА. Их Ашурков на нашем паруснике домой к нам из Астрахани везет.

ХОЗ. Какой Ашурков?

СУЕНИТА. Бантик бывший. Он по ветру едет, скоро мы парус на море увидим. С ним агент ГПУ плывет, до нас провожает.

Пауза.

ХОЗ. Ничто неясно... Откуда же ты явилась?

СУЕНИТА. Из Астрахани же, старый человек! Мы с Антошкой и с детьми на аэроплане до совхоза долетели, а оттуда пешие прошли. Понимаешь ты? А Федьку Ашуркова я велела ГПУ простить и дать мне на воспитание, я из него колхозника-ударника сделаю, он годится лучше наших, я знаю! Он кроткий будет!

ХОЗ. Значит, это и есть классовая борьба! Ну что ж — пускай вращаются пустяки!

СУЕНИТА. А ты думал, это одно убийство!

ХОЗ. Хорошо. Классовый враг нам тоже необходим: превратим его в друга, а друга во врага — лишь бы игра не кончилась. А есть чего мы будем, пока Ашурков твой с добром приплывет?

СУЕНИТА. Химию, старичок! Ты игры не понимаешь!

Вбегает Ксения и обнимает Суениту.

Ксюша, мы опять с тобой две матери!

КСЕНИЯ. Опять, Сунечка моя!

СУЕНИТА. Дедушка Хоз, пошли ко мне Фильку Вершкова. Я его арестую.

ХОЗ. Я его уже арестовал!

СУЕНИТА. Ты молодец! Тогда пойдй приведи его!

ХОЗ. Я схожу. Только несерьезно это все! *(Уходит.)*

СУЕНИТА. Ксюша, ну что?.. Где наши ребятишки?

КСЕНИЯ. Хорошо, Сунечка! *(Щекочут и ласкают друг друга.)* Они у Фимки спят, я их нашла.

Приходит Берданщик.

БЕРДАНЩИК. Главная гражданка наша приехала. Здравствуй, девка!

СУЕНИТА. Старичок, ты знаешь, что ты классовый враг — или это тебе нипочем неизвестно?

БЕРДАНЩИК. Знаю. Я уже давно говорил, что я — не тот.

СУЕНИТА. Ашурков сказал, как ты притворился и спал посреди колхоза, когда они избушку волоком волокли! Одно чучело безличное дежурило за тебя!

БЕРДАНЩИК. Свободная вещь.

КСЕНИЯ. А это что, по-твоему, — тухлая мошонка?

БЕРДАНЩИК. Акт.

СУЕНИТА. Что такое? Повтори мне, жалкий!

БЕРДАНЩИК. Акт — говорю.

СУЕНИТА. Будет общее собрание — уйдешь из колхоза навеки! Поставь ружье в угол.

Пауза.

БЕРДАНЩИК *(положив ружье)*. Пойду сумку шить... Ксюшка, дай иголку! Была своя, сломал один конноарочный, попросил штаны заштопать — и сломал. Какие теперь иголки? — одно перевыполнение, а не иголки!

КСЕНИЯ *(вынимает из юбки иголку)*. Бери иголку! Ступай скорей, пока терпит тебя мое сердце.

БЕРДАНЩИК. Сердце что! Оно болит и терпит! *(Уходит с иголкой.)*

ГОЛОС АНТОНА. Я вас всех по всем линиям проверю! Товарищ Антон Концов знает эту атмосферу, он видит ваше антинаучное лицо классового врага, достойное презрения! Товарищ Антошка понимает, отчего дребезжит колхозная тележка! Он видит в упор бесстрашно! Еще нет такого че-

ловека, который обманул бы или испугал товарища Антона Концова! Я все человечество здесь по всем принципам пересортирую!.. Наука! Всемирные академики! Вы здесь улыбаться приехали: идите бороться за качество-количество продукции против классового врага!..

КСЕНИЯ (*почтительно*). Антошка пришел.

СУЕНИТА (*в окно*). Антошка!

ГОЛОС АНТОНА (*более спокойно*). Ввиду необходимости контрольной проверки ожидаемого с бантиками хлеба у меня явилась потребность пересмотреть сотенные весы системы Фербенкса, так как есть возможность испортить их бесшумной рукою кулака.

СУЕНИТА. Ксюша, мне Антошка не нравится.

КСЕНИЯ. Оголтел от своего ударничества... Все они здесь на одну морду, — так бы и треснула всех: колхозные притворщики! Уж, по-моему, бантик и то лучше. Его арестуй, он и работает. Да ей-ей как!

Приходит Хоз.

ХОЗ. Филька сейчас явится. Он письмо в Европу заклеить пошел... Я здесь отношение из Европы получил — там трагедия!

СУЕНИТА. У тебя одна Европа на уме, а у нас целый мир на руках — ты же видишь!

ХОЗ. Я вижу. Вы запутались. Вам есть нечего будет...

Является Вершков.

ВЕРШКОВ. Здравствуй, товарищ председатель! С победой тебя — над классовым врагом бантиком!

СУЕНИТА. Не надо. Ты тоже бантик.

ВЕРШКОВ (*улыбаясь*). Ты нынче веселая!..

СУЕНИТА. Я не скучная... А ты горевать будешь сейчас. Зачем ты велел Антошке чучело ставить? Чтоб чучело колхоз стерегло, когда бантики явятся?! (*Вынимает револьвер из своей одежды.*) Возьми свой револьвер — Ашурков велел тебе отдать. Он хотел из него тебя застрелить, да знал, что я тебя все равно раскулачу.

ВЕРШКОВ (*без револьвера*). Аль до всего дознались, ехидны сухие?

СУЕНИТА. До всего, дядя Филя, — до погибели твоей дошли.

КСЕНИЯ. Помирай скорее, терпенья нету думать о тебе!
ВЕРШКОВ. Я здесь премированный ударник, не увлекайтесь, граждане, своей забавой!

КСЕНИЯ. И верно: он премированный! Что ж это делается такое?! Суня, давай лучше бантиков в колхоз наберем — они боязливые будут и не такие двуручные!

СУЕНИТА (*Вершкову*). А кто виделся с Ашурковым у бродячего колодца? Кто сказал ему — вдарить в колхоз, махнуть овечий гурт и жить потом вольно в кавказских краях, как члены профсоюза?

ВЕРШКОВ. Что ж такое, что говорил! Молча — скучно сидеть, говоришь слова в виде опыта. Слова не считаются, это звуки.

ХОЗ. Господин Вершков, разрешите спросить: вы за колхоз, то есть за социализм, — или напротив?

ВЕРШКОВ. Я за него, Иван Федорович, и напротив. Я считаю, одинаково: что социализм, что — нет его. Это ж все несерьезно, Иван Федорович, одна распсиховка людей.

ХОЗ (*задумчиво*). Несерьезно, дядя Филя. Распсиховка?!

СУЕНИТА. Перебrehать нас всякому дураку можно, а победить и умник даже не сумеет... Ксюша, покличь Антошку!

КСЕНИЯ (*в окно*). Антошка! Иди сюда скорее, скверный такой!

ГОЛОС АНТОНА. Успеешь! Я здесь тару чиню.

ХОЗ. Господин Вершков, где письмо в Европу?

ВЕРШКОВ (*отдавая письмо*). Отдай сам кольцевуку. Ты видишь: я здесь ударником был, мировую загадку экономики решил — и погибаю.

СУЕНИТА. Какую он загадку решил?

ХОЗ. Мировую! Он написал рукою: «Да здравствует товарищ Сталин» — мировой загадки больше нет.

ВЕРШКОВ. Нету. Я сразу догадался.

КСЕНИЯ. Ишь, демон какой!

Пауза.

СУЕНИТА. Мы здесь бедные, у нас нет никого, кроме Сталина. Мы шепчем его имя, а ты его срамишь. Вы богатые, у вас много ученых вождей, у нас — один. Ты что. Вершков?!

ВЕРШКОВ. А ты что?

СУЕНИТА. Я здесь колхозница, я социализмом буду.

ВЕРШКОВ. А я-то кто ж? Я тоже социализм!

СУЕНИТА. Социализм, как и Сталин, у нас один. Два не нужно. (*Мгновенно всаживает в грудь Вершкова кинжал.*)

Вершков садится на лавку в изнеможении смерти.

ХОЗ (*Вершкову*). Дядя Филя. Что делается на том свете — ты чувствуешь?

ВЕРШКОВ (*свалившись*). Так себе — пустяки и мероприятия... Тут тоже несерьезно, Иван Федорович, зря люди помирают.

ХОЗ. Хорошо видит смерть этот человек.

ВЕРШКОВ. Я не умер, я переключился.

Пауза.

СУЕНИТА. Кончился он?

КСЕНИЯ (*пробуя тело Вершкова*). Кончился, холодеть начинает.

СУЕНИТА (*щупая кинжал*). А кинжал почему-то еще теплый!

Является Антон.

АНТОН (*не вникая в обстановку*). Каждый теперь должен жить как сознательно, так и ответственно!

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Берег Каспийского моря. Полуденный горизонт. Небо. Сияющий свет над пустынной далекой водой. Маленький кузовок в форме цилиндра, устроенный сплошь из плетня, — и цилиндрическая круглая стена и крыша; стоит этот кузов на трех камнях. Весь кузов, в том числе и крыша, оплетены колючей проволокой. Это — тюремный колхозный кузовок. Около плетневого кузова сидит Антон с самодельным ружьем, которое было у Берданщика, и сторожит заключенную в тюрьме Суениту.

СУЕНИТА (*невидимая, негромко поет изнутри тюрьмы*).

Нулимбатуйя, нулимбатуйя,

Аляйля бедная моя.

Уввикувейра фимулумайла —

Аляйля халма сарвайджа!

Пауза.

Антошка, ты тут?

АНТОН. Я всегда там, где мне необходимо быть по соответствующему распоряжению или по личной точке зрения на государственную пользу.

СУЕНИТА. Я вижу отсюда скважину — как у вас в колхозе солнце светит!.. Сколько времени я еще буду сидеть в темноте?

АНТОН. Эн-количество.

СУЕНИТА. А сколько это — эн?

АНТОН. Никому не известно: это математически. В море эн-количество воды, в пустыне песку эн-количество, везде одно гигантское эн!

СУЕНИТА. Мне холодно тут. Здесь тень кругом.

АНТОН. Поскольку природа отпускает в настоящее время достаточное количество температуры — ты говоришь клевету на весь климат СССР!

СУЕНИТА (*тихо поет*).

Трава на свете теплее стала.
И дождь над родиной идет,
Далек от сердца товарищ Сталин, —
Его Аляйля в колхозе ждет.

АНТОН. У нас есть наличие государственной связи снизу доверху — через край, район и правление колхоза, — здесь я заменяю тебе все высшее руководство: мучайся без скуки!

Пауза.

СУЕНИТА. Антошка! Я вылезу. (*Царапается изнутри тюремного кузова.*)

АНТОН. Получится умерщвление тебя.

СУЕНИТА. А кто Филька был?

АНТОН. Филипп Вершков не кто иной, как разоблаченный до конца классовый враг, опасный двурушник, надевший маску премированного ударничества.

СУЕНИТА. Врешь: он был настоящий ударник!

АНТОН. А зато классовый враг!

СУЕНИТА. И классовый враг тоже настоящий!

АНТОН. Вопрос исчерпался.

СУЕНИТА. Классовый враг у нас вне закона по конституции. Его можно убивать. Я вылезаю. (*Царапается изнутри.*)

АНТОН. Я ликвидирую тебя насмерть на месте, поскольку нет оформления твоего освобождения!

СУЕНИТА. А ты знаешь нашу конституцию?

АНТОН. На память! — все пункты: спроси любой!

СУЕНИТА. А не выпускаешь чего ж?

АНТОН. Я не помню в точности всех изменений и дополнений, внесенных в конституцию соответствующими постановлениями Президиума ЦИК СССР.

СУЕНИТА. А я помню.

АНТОН. Все равно — у тебя нет документов под руками.

СУЕНИТА. Ты пособник классового врага!

АНТОН. Товарищ Антон Концов знает себя лучше, чем любые голословные психические девки, заключенные под стражу за превышение полномочий власти на местах!

Краткая пауза.

СУЕНИТА. Там вон идет кто-то. Антошка, позови его!

АНТОН (*вглядываясь*). Это идет районный старичок, заведующий учетом соревнования и качества продукции. Он же пешком разносит и вручает директивы по важнейшим мероприятиям райцентра.

СУЕНИТА (*протяжно*). А лицо у него какое чуждое!..

АНТОН. Лицо есть маскировка идейной вооруженности — на обе стороны фронта борьбы!

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК (*голос*). Караульщик! Слушай меня отсюда — у меня ноги ходить утомились, я вздохнуть сяду.

АНТОН. Я слушаю, товарищ из района. Говори твою потребность.

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК (*голос*). Ты слушай меня! Пускай Суенита Ивановна опять гуляет — ей райпрокурор велел. Вперед до особого распоряжения — ты и прочий никто не трожь ее. Все права службы и состояния отдай ей обратно!

АНТОН. Впредь до особого? А насколько времени впредь полагается?

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК (*голос*). Раз впредь — значит навеки. До самого гроба так и будет гулять, аль у прокурора делов боле нету?.. Суенита Ивановна девка добрая — зря не убивает.

АНТОН. Ступай скажи товарищу Хозову — пусть он мне даст установку как председатель. Ты для меня маловероятен.

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК (*голос*). Пойду кликну сейчас... хочьба доняла, — хоть бы мне до транспорта схематического дожить!

АНТОН. Транспорт твоей должности полагаться не будет.

РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК (*голос*). А я тогда карьеру сделаю — выше стану. Я ведь усердный... Надо трогаться. Эх ты, служба района, — в такой период времени! (*Слышно бормотание и кряхтение.*)

Пауза.

СУЕНИТА. Старый, старый сволочь-старичок!

АНТОН. Старость в случае доходности от нее государства на эн-отрезок времени допустима.

Приходит, бдительно оглядываясь, демобилизованный красноармеец, в армейской шинели, с пищевой сумкой, — Георгий Гармалов, муж Суениты.

СУЕНИТА. Ты в колхоз наш вернулся? Ты ко мне пришел? Георгий! Я здесь сижу, я заперта.

ГАРМАЛОВ (*пугаясь*). Суня! Ты где? Ты зачем тут? Кто тебя мучает?

СУЕНИТА. Прислонись ртом к плетню — я тебя языком поцелую.

ГАРМАЛОВ. А мальчик наш живой или помер?

СУЕНИТА. Он живой, он на меня с тобой похож... Наклонись ко мне. Я тебя вижу, меня проволока колет в лицо... (*Царапается изнутри.*) Скорее! Мне холодно делается здесь.

Гармалов шарит руками по кузову тюрьмы.

АНТОН (*вставая*). Отойдите, гражданин, дальше от секретного сооружения.

ГАРМАЛОВ (*узнавая Антона*). Ты Антошка Концов?

АНТОН. Кто бы я ни был, я человек определенный!

ГАРМАЛОВ. Товарищ Концов, выпусти мне жену.

АНТОН. Много вас здесь шедевров является — отойдите несколько прочь!

ГАРМАЛОВ. Не бойся. Я красноармеец, я вреда не сделаю! Я по семейству соскучился.

СУЕНИТА. Егорка! Ты красноармеец, а я председатель колхоза — отними ружье у Антошки, я приказываю тебе!

ГАРМАЛОВ. Не смей обижать! *(Бросается на Антона.)*
Здесь председатель — советская хозяйка!

АНТОН *(стреляет)*. Я живу серьезно, от меня каждому жутко!

СУЕНИТА. Не попал!

АНТОН. Попаду — не радуйся: это одно предупреждение!
(Становится в прыг стрелка.) Взводный командир запаса Красной Армии никогда не промахнется!

Гармалов с воплем кроткого человека схватывает Антона, выбивает у него ружье, ломает ружье пополам и швыряет его в сторону.

АНТОН. Ага — нападение на пост!.. Десять лет по мирному времени тебе обеспечено. Факт сложный!

Появляется Хоз.

ХОЗ. Антошка! Уходи прочь — я тебя сменяю!

АНТОН. Пора тебе не опаздывать! Лицо из района приказало Суениту Ивановну...

ХОЗ. Знаю, знаю. Мне все уже давно известно и понятно.

АНТОН. А этого *(указывает на Гармалова)* надлежит немедленно посадить в тюремную организацию сроком на десять лет!..

ХОЗ. Кто это такой — чей воин?

АНТОН. Супруг Суениты Ивановны, совершил нападение на пост, необходимы беспощадные...

ХОЗ. Остановись, классик масс! Мы запишем это событие в конце календарного года в итогах классовой борьбы. Ступай проверять весоизмерители, составь метеорологическую сводку, займись землеустроением пастбищ, просмотри кухонный очаг в столовой, начерти твое изобретение в масштабе...

АНТОН. Какое изобретение! У меня их максимальное количество!

ХОЗ. Самое важнейшее — эту избушку, заключающую в себе человека.

АНТОН. По всей колючей проволоке необходимо пустить электрический ток...

ХОЗ. Втыкай, Антошка!

АНТОН. Антошка знает сам, где что воткнуть и вынуть в унисон труда, не имея ни славы, ни пищи...

ХОЗ. Спешите организовать!

АНТОН. Пора стремиться! *(Исчезает прочь.)*

ГАРМАЛОВ. Старичок, выпусти мне бабу.

ХОЗ. Успеешь еще, береги свое терпенье для блаженства.

СУЕНИТА *(царапаясь изнутри)*. Мне холодно тут. Я сжимаю сама себя руками, чтобы согреться. Во мне остывает что-то горячее внутри...

ХОЗ. У тебя теплые руки, ты согреешь остывающее.

СУЕНИТА. Дедушка Хоз, я не знаю... Может, в руках у меня один холод останется — и руки остынут!

ГАРМАЛОВ. Суня! Ты дыши сама на себя, ты согреешься.

СУЕНИТА. Я и так дышу, я согреваюсь уже. Идите трудиться на колодцы, кормите чем-нибудь неевший народ. Не видно там паруса на море?

ГАРМАЛОВ *(вглядываясь в море)*. Не видно, Суня, парусов...

ХОЗ *(открывает тюремный запор)*. Выходи, Суенита Ивановна, опять в свое прежнее счастье. Любит тебя советская власть.

СУЕНИТА *(выходя, зажмуривается, трет руками свое исхудалое тело)*. А где красноармеец Егор? — он мой муж!

ГАРМАЛОВ. Я здесь, Суенита Ивановна!

СУЕНИТА. Весь срок отслужил?

ГАРМАЛОВ. Освобожден досрочно по успехам. Прибыл на постоянное местожительство в бессрочный отпуск — на помощь колхозному строю!

Суенита обнимает Гармалова. Тот, в ответ, осторожно прижимает ее к себе и держит в скромных объятиях.

СУЕНИТА. Ты не будешь классовым врагом?

ГАРМАЛОВ *(отстраняясь)*. Я красноармеец. Не смей оскорблять!

СУЕНИТА *(привлекаясь к нему)*. Я любить тебя буду, женою стану опять.

ГАРМАЛОВ. Спасибо, Суенита Ивановна! Я буду стараться быть полным ударником!

СУЕНИТА. Ну гляди — старайся! У нас здесь томление стоит от голода и классовых врагов, мы корабль ждем с хлебом и овцами своими... Не видно там паруса? *(Глядит в море.)* Немножко ветер начинается... *(Мужу.)*

ГАРМАЛОВ. А сын где?

СУЕНИТА. У Ксюши. Погляди его и ступай трудиться — переделывай все, что Антошка сделал.

ХОЗ. Антошка сам беспримерный ударник!

СУЕНИТА. Молчи: у тебя бдительности нету никакой! У Антошки непрочно все выходит: вырыл колодезь — он сухой стоит, сто гирь из глины обжег — они рассыпались, тюрьму эту сделал — преступнику там жутко и можно убежать! Нам нужно, чтобы все было прочно и навеки... Твой Антошка — несерьезный пустяк!

ХОЗ (*кратко*). Я молчу.

СУЕНИТА (*Гармалову*). Поцелуемся теперь.

Гармалов, вытерев рот, нежно целует Суениту, оберегающе обнимая ее.

Я люблю тебя: нам нужны мужья и верные колхозники.

ГАРМАЛОВ (*четко*). Буду стараться жить строго — как мужем твоим, так и колхозником.

ХОЗ (*задумчиво*). Мужчины в мире исчезают, но женщины остаются вечными.

ГАРМАЛОВ. До свиданья, Суня.

СУЕНИТА. Приходи вечером ко мне — я тебе трудовень запишу по фактической выработке.

Гармалов уходит.

ХОЗ. Суенита!

СУЕНИТА. Ну что, дедушка Хоз?

ХОЗ. Давай поцелуемся.

СУЕНИТА. Не в губы только.

ХОЗ. Куда хочешь — лишь бы тело было твое.

СУЕНИТА. Тебе тело только — мировоззренья ты не любишь.

ХОЗ. Тело, только тело.

Целует Суениту в висок.

Люблю эту сущность! Девочка, нет ли чего у тебя химического?

СУЕНИТА. Нету, дедушка, ты уж и так всю аптеку нашу съел. Возьми пойдешь у Ксени жавель, я ей давно велела купить.

ХОЗ. Пойду пожую жавель этот. (*Уходит.*)

СУЕНИТА (*одна*). Не видно в море никакого корабля!.. Какой яркий свет горит везде — должно быть, весело сейчас

в мире жить!.. Шум какой-то слышен! Что там делается на всем свете? (*Озадаченно всматривается в пространство и прислушивается.*) Там империализм, там скучно и жутко, я одна здесь на берегу, а позади меня весь целый Советский Союз большевиков... Но я ослабла, на мне ребра стали видны, меня муж любить не будет... Скорее надо зимние овчарни делать, хлеб беречь буду, сама караулить, сама не спать... (*Слышен далекий гармонический гул. Суенита следит за небом.*) Аэроплан летит над пустыней! Он тоже наш — в нем капля нашей колхозной крови. Пусть летит выше, мы вытерпим!

Приходит Ксения.

КСЕНИЯ. Суня, еды нету никакой, мужики все томятся. Антошка блюет — бешеной травы сейчас наелся.

СУЕНИТА. Надо хлеб и овец было беречь от кулаков. Пусть терпят теперь — это им наука и техника.

КСЕНИЯ. Во мне молоко пропадает — детей наших с тобой нечем кормить.

СУЕНИТА. Сукровицу выдавливай из себя, как я своего вчера кормила.

КСЕНИЯ. Суня, народ ведь подыметесь.

СУЕНИТА. Подкулачники не народ — они лягут, а не подымутся.

КСЕНИЯ. Суенита, неужели душе с телом расставаться от жизни такой!

СУЕНИТА. Ксюшка! Ты меня на бога берешь! Ступай к черту! Давала сосать моему мальчику?

КСЕНИЯ. Давала. Твой мужик ему жеваный хлеб в рот сует — он с собой куски принес.

СУЕНИТА. Пусть сует... Слушай, возьми моего мужика, ступай скорей на мясной совхоз — может, за всю траву нашу они овцу нам променяют!

КСЕНИЯ. А ребенка кто накормит без меня?

СУЕНИТА. Я накормлю, уходи скорей.

КСЕНИЯ. У тебя молоко высохло.

СУЕНИТА. Не твоя забота, кости свои дам глодать.

КСЕНИЯ (*дружелюбно*). Суня, а ты сама давно не ела?

СУЕНИТА. Я в Астрахани уху хлебала, двенадцать дней прошло.

КСЕНИЯ. А как же ты?..

СУЕНИТА. Ступай отсюда, как я велела! Ты меня не пугай и не ласкайся: ишь кулацкая неженка какая, то в драку лезет, то в слезы.

КСЕНИЯ. Не бурчи ты на меня, сучья старушка стала какая! Несимпатично глядеть на тебя: аж противно! (*Отправляется.*)

СУЕНИТА (*зовет*). Дедушка Хоз!

ГОЛОС ХОЗА. Иду, девочка! Не шевелись там пока без меня.

СУЕНИТА. Ну скорее же!

Является Хоз.

ХОЗ. Скучно тебе, когда меня нет?

СУЕНИТА. Да вот, скучно!.. Дедушка, знаешь что, я тебя уже постепенно люблю.

ХОЗ. Люби понемногу. Но дедушка тебя любить не будет.

СУЕНИТА. А любил за что?

ХОЗ. За мнимость твою. Ты пустое обольщение для моей грусти.

СУЕНИТА. Это правда. Я никогда не зазнавалась — я пустое обольщенье.

ХОЗ. Мне известно с точностью всемирное устройство. Оно состоит сплошь из стечения психующих пустяков. И в тебе нет ничего лучшего! *

СУЕНИТА (*ложится на землю*). Во мне тоже пустяки, дедушка, я их чувствую.

ХОЗ. Ты лишь бедное тело, болеющее от стесненного в нем грустного вещества...

СУЕНИТА. Во мне мало осталось вещества, я давно не ела.

ХОЗ. Это безразлично. Я сто лет ел и все равно ничтожный.

СУЕНИТА. А ты обними меня. Забудься, умри, старичок!

ХОЗ. Ты права, девочка. Согреемся вдвоем, пока ты еще теплая... (*Ложится с нею рядом около тюремного кузова.*)

СУЕНИТА (*лаская Хоza*). Дедушка Хоз, ты великий ученый всего мира, накорми колхоз!

ХОЗ. Как же, девочка?..

СУЕНИТА. Ты выдумай, ты как-нибудь химически! К нам смерть идет — попробуй мои кости.

Хоз пробует кости Суениты.

ХОЗ. Ты худая... Я слышу твое сердце — оно близко теперь стало.

СУЕНИТА. Скоро оно совсем наружу пробьется... Я спать захотела.

ХОЗ. Не спи, вечная моя. Поговори со мной — мне скучно.

СУЕНИТА. Выдумай нам пищу поскорей. Ты знаешь вещество всего мира — оно ведь пустяки, ты сам говорил. Дай же нам теперь этих пустяков: мы их съедем...

Краткая пауза.

СУЕНИТА. Думай же скорее — тебе все известно.

ХОЗ. Я уже думаю. Поцелуй меня.

СУЕНИТА. Успеешь. Сначала пищу выдумай нам: хоть немножко.

ХОЗ. Сейчас.

Пауза.

Хоз ворочается по земле в томлении тщетной мысли. Затем начинает кататься, вращаясь всем туловищем.

СУЕНИТА. Ну как — тебе думается?

ХОЗ. Думается.

СУЕНИТА. Выдумал?

ХОЗ. Нет еще. Не приставай с пустяками. Я спать хочу. В глубине колхоза заплакали грудные дети.

СУЕНИТА. Ну спи. Я детей* пойду кормить.

ХОЗ. Чем ты кормить их будешь? Ты иссохла вся.

СУЕНИТА. Чего-нибудь выдавлю из себя, может — кровь пойдет. *(Уходит.)*

ХОЗ *(один, лежа)*. Как выдумать мне хлеб колхозу... Никто же ничего не думает на свете! И мысли нету никакой, — есть лишь жульничество и комбинация случайности...

Является Интергом с чемоданом. Она замечает Хоза.

ИНТЕРГОМ. Ах, это ты, Иоганн? Ты здесь, ты жив-здоров, и слава богу?

ХОЗ *(вставая с земли)*. Интергом! Верное безумное дитя мое!

ИНТЕРГОМ *(прижимаясь к Хозу, говорит быстро)*. Я десять дней ездила на авто по степи одна. Шофер умер. Я искала тебя по местной республике, авто стоит в районе, где вся власть, я семьдесят километров шла пешком, мне сказали —

господин Хоз в избушках живет, и — хорошо! Я с тобою буду опять без разлуки! Господин Уборняк дал мне командировку во весь Советский Союз — искать древние страшные силы против революции, а сил нет, я искала, устала, не нашла. Он триумфальный мужчина! Я жила прелестно и физиологически, но он не марксист, и у него взяли... как она зовется?.. лошадь, на которой делают карьеру!.. Милый мой, Иоганн, как ты измучился, вечный мой дедушка-муж! (*Целует Хоза.*)

ХОЗ. Подожди, ничтожная! Ты знаешь — я люблю ласкаться радикально.

ИНТЕРГОМ. Я тоже теперь халтурить не люблю.

ХОЗ. Халтурить! Кто ты такая теперь?

ИНТЕРГОМ. Я теперь марксистка, Иоганн. Меня господин Уборняк научил — это так нетрудно и приятно, все так удивлялись мне и обожали! Так интересно жить и умереть за всех трудящихся! Я в партию хочу, я буду бороться! Только я одно забыла, мне советовали быть как можно... как можно... сознательней? — серьезней?.. Нет!.. еще как-то быть!..

ХОЗ. Бдительной!

ИНТЕРГОМ. Ну да! Ты догадался, ты гениальный!

Краткая пауза.

ХОЗ. Но откуда ты — сволочь такая? Кто тебя выдумал?

ИНТЕРГОМ. Я не сволочь. Я научилась всей прелести и бонус-тону в московских домах общестственности. Я перестроилась!

ХОЗ (*серьезно и грустно*). Слушай меня, девчонка! Здесь живут большевики, а не Уборняки, тебя выгонят отсюда.

ИНТЕРГОМ. Очковтирательство! Недооценка! Я идеологический работник, я боец культфронта, я три очерка уже написала и пьесу пополам! Я член Всесоюзного Союза Советских Писателей, от меня ждут вырастания качества, меня везде сберегут.

ХОЗ (*задумываясь*). Ты права, Интергом. Если мир пропадает, значит, ты живешь. Что у тебя в чемодане?

ИНТЕРГОМ. Пицца и гигиена.

ХОЗ. Хорошо. Пойдем теперь радикально ласкаться. Обменяем свои организмы. Кроме чувства, ничего не выдумаешь!

ИНТЕРГОМ. Ах, Иоганн! Но куда?

ХОЗ. Вот сюда! (*Указывает на тюремный кузов.*)

ИНТЕРГОМ. Ну скорее только! Я вся завяла в дороге: без любви нет полной гигиены.

Уходят оба в плетеный кузов. Пауза.

Слышен напевающий голос Суениты, баюкающий ребенка.

Она поет примерно следующее:

Спи, просыпайся нескоро,
Спи и во сне не скучай,
Вырастут наши коровы,
Будем пить с сахаром чай.
Спи, тебе страшно и жутко —
Лучше себя позабудь.
Думает, хлеб нам наука,
Грейся пока в мою грудь.

СУЕНИТА (*зовет*). Дедушка Хоз! (*Молчание.*)

Суенита входит на сцену, закутывая ребенка и прижимая его к своей груди.

Но грудь моя тоже холодная стала... Куда же девать мне его, чтобы он согрелся? В живот спрятать опять? — Там тесно, он задохнется. А здесь просторно и пусто, он умрет. (*Разглядывает своего ребенка.*) Ты сильно мучаешься или нет? Скажи, что не сильно! Скажи мне что-нибудь! Что же ты закрыл глаза и молчишь! О чем ты думаешь сейчас один?

Плетеный кузов пошевеливается: оттуда начинают раздаваться редкие ритмические скрипящие звуки. Звуки эти повторяются. Суенита прислушивается, не уясняя причины этих звуков.

Что это — едет кто-то далеко!.. Остановился! Приезжай скорее, нам скучно! (*Склоняется.*)

Прибегает Антон.

АНТОН. Тело смертью томиться начинает! Сознание боюсь потерять! Народ умолк и дремлет лежит.

СУЕНИТА. А он дышит еще?

АНТОН. Я всем велел дышать без остановки! Кто продышит до вечера, тому трудовень запишу!

СУЕНИТА. Не надо, Антошка! Это ошибка, у нас отчетность не примут!

АНТОН. Все не без ошибки, на ошибках учимся, ошибки нам необходимы, ошибки надо организовать!.. Я десять

дней продовольствия не ел — руки работают, тело мчится, а голова не думает ничего!.. *(Мечется по сцене.)*

СУЕНИТА. Кому променять себя на хлеб и крупу для колхоза? Антошка, где взять мне еду для неевших? *(Садится на землю в печали.)*

Звуки из плетеного кузова прекращаются.

АНТОН. Еду пора теперь организовать! Нагревай ребенка, храни его жизнь в запас будущности!

СУЕНИТА. Я храню его.

АНТОН. Он будет жить вечно в коммунизме!

СУЕНИТА *(разглядывая ребенка)*. Нет, он умер теперь. *(Подает ребенка Антону.)*

АНТОН *(беря ребенка)*. Факт: умер навсегда.

Клокочущий гортанный крик Интергом из плетеного кузова.

СУЕНИТА. Женщина где-то умерла.

АНТОН. Неважно. Вскоре наука всего достигнет: твой ребенок и все досрочно погибшие люди, могущие дать пользу, будут бессмертно оживляться, обратно к активности!

Краткая пауза.

СУЕНИТА. Нет. Не обманывай меня. Дай мне ребенка — я буду плакать по нем. Больше ничего не будет. *(Берет ребенка у Антона.)*

АНТОН. Плачь сиди, как дождь. А мы будем рассматривать слезы как саботаж действия! *(Исчезает.)*

Из плетеного кузова выходит Хоз.

ХОЗ. Плачь, Суенита!

СУЕНИТА. Я вытерплю.

ХОЗ. Я слышал все, моя девочка! Как же нам жить теперь с тобою?..

СУЕНИТА. А ты выдумал еду для колхоза?

ХОЗ. Выдумал. Я задушил сейчас классового врага, и от него осталась пища — колбаса, масло, стабильное молоко, — хочешь кушать?

СУЕНИТА. Где?

ХОЗ. Возьми в тюремной избушке. Там лежит Интергом — моя бывшая европейская женщина. Я жил с нею сейчас, а потом оборвал ей дыхание...

СУЕНИТА. За что ты убил ее?

ХОЗ. Она опасна для тебя и всего социализма — она опасней старого империализма.

Краткая пауза.

СУЕНИТА. Уходи от нас, дедушка Хоз.

ХОЗ. Некуда, Суенита.

СУЕНИТА. Найдется. Лучше уходи. Мы похороним твою женщину в могилу, мы наедемся своей едой... Ты пустяк!

ХОЗ. Где же мне быть, Суенита? Брезжущая моя!

СУЕНИТА. Возьми и умри.

ХОЗ. Пока, пожалуй... Уже поздно стало на свете! Хотя тоже — юмористика! Что — смерть? — Сырье для глупейших стихий!.. Некуда исчезнуть серьезному человеку!

СУЕНИТА. Подержи моего мертвого сына. Я лицо пойду вымою в море. *(Встает с земли, отдает ребенка Хозу и уходит.)*

ХОЗ *(один к ребенку)*. Ты уже умер, маленький человек!.. Ты остывшая плоть Суениты, ты милый, маленький мой! *(Целует ребенка.)* Ну что ж — давай ляжем рядом на землю, я тоже умру вместе с тобой. *(Ложится на землю, кладет рядом с собой ребенка и обнимает его.)* Пусть в глазах потемнеет свет и сердце перестанет раздражаться... Боже мой, Боже мой, — ты детский и забытый!

Являются Ксения и Гармалов.

КСЕНИЯ. А где же Суня-то?.. Все спят, чего-то лежат, досадные какие!

Показывается Суенита.

СУЕНИТА. Сменяли траву?

КСЕНИЯ. Шут ее сменяет! Приказчика встретили колхозного: у вас полынь, говорит, одна растет, от нее шерсть с овцы не всходит, — жуйте ее сами впроголодь!.. Вот тебе и колхоз: помирай теперь! Эх, думали-гадали!.. Мой малый уж обомлелый лежит.

СУЕНИТА. А мой мертвый.

ГАРМАЛОВ. Кто мертвый?! *(Бросается к ребенку, лежащему с Хозом.)* Слабый ты мой, чего ж я чувствовать буду без тебя!.. Я жить теперь сомневаюсь!

ХОЗ. Не шуми надо мной, гражданин, — дай мне покой... Ксюша, принеси мне на ночь химикалия какого-нибудь!

КСЕНИЯ. Жижки тебе надо навозной, старый пралич! Хоть бы ты сдох, я бы съела тебя! *(Кричит.)* Химия! Москва проклятая! Я все бельма выцарапаю тебе за судьбу нашу такую! *(Исчезает со сцены.)*

Вбегает Антон.

АНТОН. Контрреволюция развязывает себе руки! *(Падает на землю в слабости тела; поднимается.)* Это ничего, мой разум жив, идея цела полностью, в одном только теле лежит гнездо голода, а больше нигде! Я встану еще и брошусь вперед до победы! Да здравствует... *(Забывается.)*

ГАРМАЛОВ *(подымаясь от ребенка; к Суените)*. Ты чего ж здесь дисциплину распустила, что еды нету и дети помирают?!

СУЕНИТА. Умер один наш ребенок: ты его хлебом обкормил. Больше никто — все живы, все притворяются... *(Забываясь, напевает.)*

Нулимбатуйя, нулимбатуйя.

Аляйля, бедная моя...

(Хватая ребенка.) Слабый ты мой! *(Несколько успокаивается; кладет ребенка вплотную к Хозу.)* Согревай его!

ХОЗ. Я сам холодею.

ГАРМАЛОВ. Прочь горе! Опомнися! Мы не семейство, мы все человечество! Пора терпеть и трудиться — давай мне наряд, пока ум опомнися.

СУЕНИТА. Опустит в море этот тюремный кузов. Поправь на нем погуще колючую проволоку, мы рыбы наловим, мы тогда наедемся...

ГАРМАЛОВ. Ага, это рационализация, я понимаю! Я вен-терь, я ловушку сделаю для подводной рыбы, я это знаю. А приманку где взять?

СУЕНИТА. Я дам ее тебе потом.

ГАРМАЛОВ. А веревку толстую!

СУЕНИТА. В колхозе сыщи.

ГАРМАЛОВ. Там нету.

СУЕНИТА. Тогда я волосы обрежу свои...

ГАРМАЛОВ. Не надо — я веревку пойду построю. *(Уходит.)*

СУЕНИТА. Дедушка Хоз!

Хоз молчит.

СУЕНИТА. Дедушка! Вставай! Скоро вечер, разводи костер — мы уху будем варить.

Хоз молчит.

СУЕНИТА. Антошка! Вставай, — скоро есть начнем.

Антон молчит.

СУЕНИТА (*близко склоняясь к Хозу*). Дедушка Иван! Ты притворяешься? (*Ощупывает его.*) Нет, он умер уже: его нету!.. Дедушка! Не притворяйся, у тебя щека теплая... Дедушка Иван, ведь смерть — пустяк, а ты умер!

Тихо плачет над Хозом.

АНТОН. Неприлично глядеть, если плачут над чуждым человеком... У меня один глаз не закрылся — я все вижу!

СУЕНИТА. Он Карла Маркса знал и счетоводом у нас работал, вот я и плачу. Я хозяйка в колхозе, я должна его жалеть.

АНТОН. У меня чистый разум, а это диалектика! Слезам я не возражаю.

СУЕНИТА. Спи, Антошка!

АНТОН. Сон без пищи не евшему полностью заменяет хлеб. Я сплю.

СУЕНИТА. Если все помрут, я одна останусь. Кому-нибудь надо быть, а то плохо станет на свете, вот что.

ХОЗ (*встает и садится*). Думал, что умер, засмеялся и проснулся.

СУЕНИТА. Не будешь больше умирать?

ХОЗ. Не выходит ничего, девочка. Для смерти тоже нужно дурацкий психоз иметь. Без глупости ничего не сделаешь.

СУЕНИТА (*сидясь рядом с Хозом*). А как же ты будешь теперь?

ХОЗ. Никак. Буду неподвижно томиться среди исторического течения. Я такой же пустяк, как все живое и мертвое. Понять все можно, сирота моя, а спастись некуда.

СУЕНИТА (*печально*). Ты уйдешь от нас?

ХОЗ. Я пойду. Вы надоели мне со своей юностью, энтузиазмом, трудоспособностью, верой в будущее. Вы стоите у начала, а я знаю уже конец. Мы не пойдем друг друга.

СУЕНИТА. Я не понимаю, это правда, но мы подружимся с тобой... Дедушка Иван, знаешь что... по-моему, — ты дурак!

ХОЗ. Я рад, что ты начинаешь понимать вопросы.

СУЕНИТА. Обожди, бабушка... Я парус вижу! *(Встает и глядит в море.)* Нет, это не парус, это птица летела.

Приходит Гармалов.

ГАРМАЛОВ. Я устроил веревку. *(У него в руках витое лыко в виде веревки.)* Суня, давай теперь приманку на рыбу, чего в кузов класть. Я сейчас его на берег покачу. *(Трогает кузов и открывает дверь.)*

СУЕНИТА *(поднимая своего ребенка)*. Егор, нам нечего класть... Давай положим своего сына — он все равно ведь мертвый, а наука говорит — мертвые не чувствуют ничего.

ХОЗ *(про себя)*. Бога нет даже в воспоминании.

СУЕНИТА. Клади его, Егор. Он был такой вкусный, я его любила целовать, когда он засыпал у меня на руках. *(Целует ребенка.)*

Гармалов к этому моменту открыл дверь в плетеном кузове и разглядел его внутри.

ГАРМАЛОВ. Тут женщина какая-то лежит — вся красавица. Это буржуйка чья-то! Ее за шею задушили — ей горло сломали.

ХОЗ. Бросьте ее в море в этой плетеной тюрьме. Вы много рыбы поймаете на ее тело.

СУЕНИТА. И верно, Егор. Хозяйствуй скорее.

ГАРМАЛОВ. Сейчас я на ставок покачу, там всю снасть налажу и женщину эту раздену, чтобы ее рыбы чуяли. А тут еще пища пайковая лежит в чемодане!

СУЕНИТА. Нам не надо. Пускай тоже на приманку остается. *(Кладет ребенка обратно на землю, рядом с Антоном.)*

Пауза. Гармалов валит цилиндрический тюремный кузов набок и укатывает со сцены, скрипящие сухие звуки заглушаются в пространстве.

ХОЗ. Прощай, Суня.

СУЕНИТА. Прощай, бабушка, навеки! *(Бросается к Хозу, обнимает его и целует в губы.)*

ХОЗ *(держит Суениту в объятиях)*. Навеки?! Нет, с тобой навеки прощаться нельзя... Я еще вернусь к тебе, но — не скоро! Когда и ты уже будешь старушкой, бедная, худая моя, глупая теплота моего старого сердца... *(Целует Суени-*

ту в глаза. Затем отстраняется от нее и уходит со сцены.)

Пауза. На море показывается белый парус маленького рыбацкого судна; над белым полотном паруса — красный флаг.

Суенита паруса не видит.

СУЕНИТА. Ребенок мой не дышит. Дедушка Хоз ушел... Скоро уже вечер — как скучно делается мне одной!

АНТОН (*вскакивая на ноги*). Я с тобой один остался до полной победы — кто кого — на эн-количество веки веков! (*Падает снова на землю.*)

СУЕНИТА (*равнодушно видит парус*). Вон корабль наш плывет, хлеб и овцы едут домой... Один ребенок мой не чувствует ничего... Пойду колхоз разбужу.

На сцене остаются лежать Антон и рядом с ним мертвый ребенок Суениты. На море — парус. Пауза.

АНТОН (*вскакивая в рост*). Пора вперед!!!

Мгновенно исчезает.

Конец

ГОЛОС ОТЦА

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Действующие лица

ЯКОВ.
БЫВШИЙ СЛУЖАЩИЙ.
МИЛИЦИОНЕР.

Кладбище. Железная низкая решетка. За решеткой у изголовья могилы — вертикально поставленный тесаный камень, с надписью: «Александр Спиридонович Титов. Инженер. Продолжатель дел Уатта и Дизеля. Скончался в 1925 году, жития его было 38 лет и 3 месяца. Мир праху твоему, великий труженик для облегчения участи людей».

У могилы — старое дерево. На могиле несколько жалких жестяных цветов, издавна оставленных здесь. На втором плане видны такие же надмогильные камни и деревья. Вечернее время. Кладбище пусто. Появляется Яков, юноша лет девятнадцати-двадцати. Он входит за решетку, на могилу отца.

Молчание.

(В дальнейшем идет диалог между сыном, Яковым, и отцом его, говорящим через сердце Якова, — голосом, однако, того же сына; т. е. Яков говорит, спрашивает и отвечает сам себе; но в голосе сына и отца есть все же разница, хотя эти два голоса и принадлежат одному реальному человеку — Якову, и «голос отца» по существу голос того же Якова. Играть на сцене «голос отца» другому актеру не следует, потому что это будет грубой художественно ошибкой, которая придаст сцене мистический оттенок, тогда как эта сцена должна быть совершенно реалистической. Впрочем, может быть, «голос отца» как раз следует играть другому актеру.)

ЯКОВ. Отец, зачем ты умер?.. Зачем ты лежишь здесь один в могиле?.. Все равно ведь я люблю тебя!

Краткое молчание.

ГОЛОС ОТЦА. Меня здесь нет, дорогой мой. Могила под тобой пуста.

ЯКОВ. А где же ты? — Я к тебе пришел...

ГОЛОС ОТЦА. В могиле никого нет — в ней земля, и что в нее входит — тоже становится землей. Но земля обращается в цветы и в деревья — и уходит через них на свет из темноты могил.

ЯКОВ. Но где же ты теперь, отец?

ГОЛОС ОТЦА. Я в твоём сердце и в твоём воспоминании, — больше меня нигде нет. И ты — моя жизнь и надежда, а без тебя я ничтожней того праха, который лежит под этим могильным камнем, без тебя я мертв навсегда и не помню, что был живым.

ЯКОВ. Папа, а как ты будешь жить, если я тоже умру когда-нибудь, как ты?

ГОЛОС ОТЦА. Тогда я исчезну вместе с тобой. Без тебя я существовать не могу.

ЯКОВ. Но я часто забываю тебя, отец, и мое сердце бывает пустым, — где ты тогда живешь?

ГОЛОС ОТЦА. Я живу тогда в твоём забвении и ожидаю твоего воспоминания обо мне.

Краткое молчание.

ЯКОВ. Папа. А зачем тебе еще жить, когда ты уже умер? Раз ты умер, больше тебе ничего не надо... Значит, ты опять хочешь жить?

ГОЛОС ОТЦА. Нет, жизнь моя окончена. Больше я жить не могу и не буду, — я умер. Но я хочу остаться в тебе памятью и слабым теплом, чтобы ты думал иногда обо мне и утешался, когда тебе бывает трудно.

ЯКОВ. А зачем тебе так жить, — тебе разве нужно?

ГОЛОС ОТЦА. Мне ничего не надо... Но я хочу сбросить тебя от горя, от ненужного отчаяния и от ранней гибели — от всех бедствий жизни, которые с тобой могут случиться. Поэтому я живу тебе на помощь.

ЯКОВ. Ты живешь не сам для себя, ты из-за меня?..

ГОЛОС ОТЦА. Я ради тебя томлюсь, чтобы ты не изменил мне.

ЯКОВ. Папа, как же я могу изменить тебе? Ты уже умер, а я жив.

ГОЛОС ОТЦА. Это верно. Но ты можешь мне изменить, и твоя измена будет самой страшной для меня, потому что я мертв и беспомощен, я уже не могу бороться, я лишь слабый свет в тебе.

ЯКОВ. Я чувствую тебя, я знаю этот далекий смутный свет, когда думаю и тоскую о тебе... Но я не могу тебе изменить.

ГОЛОС ОТЦА. Нет, можешь.

ЯКОВ. Почему, отец?

ГОЛОС ОТЦА. Посмотри вокруг себя. Здесь одни могилы. И в них люди. Все они, — и тот, кто умер уже старым и кто молодым, — все они умерли, не узнав истинной жизни. Все они мертвые, что лежат в этой земле под тобою, умерли не потому, что тело их утомилось от счастья, а ум от истины и сердце от славы жизни. Не потому. Нет, мы не знали ни счастья, ни истины, ни простого удовлетворения от своей работы и от своих страданий. Но мы тоже хотели создать великий мир благородного человечества, и мы чувствовали себя достойными его. Мы спешили работать, мы воевали, мучились и болели, мы устали и умерли...

ЯКОВ. Я все знаю это, папа...

ГОЛОС ОТЦА. Мы верили в прекрасную душу человека. Мы жили на свете как больные, как в бреду. Мы собирались друг с другом и согревались один от другого. Жили мы или нет? Я уже не помню. Все прошло слишком быстро, как в детском сновидении, я помню лишь свою муку, однако и ее теперь забыл и простил... Но мы сделали кое-что в жизни: мало, но сделали. Мы верили в лучшего человека, — не в самих себя, но в будущего человека, ради которого можно вынести любое мученье. И мы передаем вам, своим детям, эту надежду, больше нам некому ее передать. А вы не должны изменить нам. А если и вы нам измените, тогда сравняйте наши могилы.

ЯКОВ (*улыбаясь*). Папа. Ты умер давно. Ты не знаешь, что теперь на свете. Твоя работа по экономии топлива в ма-

шинах сберегла миллионы тонн мазута, и мама получает пенсию. Если бы ты был живым, ты был бы счастливым...

ГОЛОС ОТЦА. Не знаю, был бы я счастливым... Твоя мать говорила, наверно, тебе, как это было трудно сделать — мало сжигать топлива и получать много энергии... Нет, сделать это было легко, даже весело. Я хочу сказать, что не природа враг человека, — разгадать ее, использовать ее свойства на добро для человека нетрудно. Но как было мне мучительно доказывать людям, где их выгода, как трудно облегчить участь людей! Я в тюрьме сидел за это.

ЯКОВ. Кто же враг человеку?

ГОЛОС ОТЦА. Другой человек.

ЯКОВ. А кто друг?

ГОЛОС ОТЦА. Тоже человек. Вот в чем тягость и печаль жизни. Если бы против людей стояла одна природа, тогда бы осталась одна простая и легкая задача.

ЯКОВ. Мама мне говорила, как тебе было тяжело работать. Я это знаю.

ГОЛОС ОТЦА. Я был идеалистом. Я думал, что людям будет лучше, если на одну лошадиную силу в час потребуется всего полтора грамма мазута.

ЯКОВ. Людям стало лучше, ты думал правильно.

ГОЛОС ОТЦА. Не знаю, как у вас теперь. Но я знаю, что я думал неправильно, я ошибался. В руках зверя и негодяя самая высокая техника будет лишь оружием против человека.

ЯКОВ *(в волнении)*. Ты прав, отец! Так делают теперь враги людей, но мы их раздавим, потому что самая лучшая техника — это высший человек, а высший человек живет у нас, в Советском Союзе.

ГОЛОС ОТЦА. Откуда ты это узнал?.. Высший прекрасный человек — вот в чем тайна, которую мы не могли открыть, и поэтому мы умерли в тоске.

ЯКОВ. Я научился этому у Сталина.

ГОЛОС ОТЦА. В чем его учение?

ЯКОВ. Я еще сам не научился всему его учению. Но я знаю, что Сталин учит всех людей быть верными детьми своих отцов, он велит никогда не изменять тому, что было в отцах высшим и человеческим, он хочет сделать героиче-

ческую душу человека законом всей земли. Он сам ученик Маркса и Ленина.

Краткое молчание.

ГОЛОС ОТЦА. Мой отец родил меня и велел быть только добрым и терпеливым. А я хотел, чтобы ты стал знающим и смелым. Но ты должен теперь стать мудрым и счастливым. Ты должен быть моим идеалом! Но кто поможет тебе быть таким человеком, и будет ли это так? — Ведь я, твой отец, мертв и бессилен...

ЯКОВ (*встает на ноги*). Так будет, отец! Если даже мне придется бороться со всем миром, — если люди устанут, озвереют, одичают и в злобе вопьются друг в друга, если они позабудут свой смысл в жизни, — я один встану против них всех, я один буду защищать тебя, Сталина и самого себя!

ГОЛОС ОТЦА. Ты погибнешь тогда, мой мальчик.

ЯКОВ. Но ведь ты тоже погиб!.. Что тут страшного — умереть? Посмотри — сколько лежит вас, мертвых, здесь! Вы ведь все вытерпели смерть.

ГОЛОС ОТЦА. Умереть не страшно. Ты не бойся смерти: это не больно.

ЯКОВ. Я знаю.

ГОЛОС ОТЦА. Ты не знаешь, ты еще не умерал.

ЯКОВ. А я все равно знаю, потому что не боюсь смерти.

ГОЛОС ОТЦА. Ты прав, мой сын. Я люблю тебя сейчас еще больше... Уходи с моей могилы и живи, я буду теперь навсегда мертвым и спокойным. Ты не изменишь мне никогда, и в этом будет моя вечная жизнь.

ЯКОВ. Спи, отец, вечно в земле. Прощай. (*Яков склоняется к могиле и целует землю.*)

В это время на соседней могиле появляется человек — бывший служащий стройразбортреста; этот служащий слегка подкапывает надмогильный камень лопатой, сворачивает камень и кладет его на землю; затем он раскачивает железную решетку-ограду. Яков молча наблюдает за этим служащим. Служащий оставляет решетку соседней могилы, перелезает на могилу отца Якова и начинает подкапывать лопатой надмогильный камень-памятник.

Брось лопату! Что ты делаешь? Здесь мой отец лежит!

СЛУЖАЩИЙ. Тут покойник. Я его не достану, он мне ни к чему.

ЯКОВ. Зачем вы это делаете?

СЛУЖАЩИЙ. Так велели. Камень и железо в утиль, дерева на корчевку, могилы сровнять в ничто, а сверху потом парк устроят — карусели, фруктовая вода, на баянах заиграют, девки придут и лодыри с ними — на отдых, и ты приходи тогда, — чего на могиле торчишь? — а сейчас ступай отсюда прочь, дай нам управиться!

ЯКОВ (*в недоумении*). А зачем на кладбище парк культуры устраивать? Кругом же пустая степь, там свежая земля!.. Там и надо парк делать.

СЛУЖАЩИЙ (*трусясь с лопатой*). Стало быть, что вот как раз так надобно, что именно тут. Там в степи неинтересно, там взять нечего, а тут — и железо, и камень, и деревья, и венки из жести, — всякий инвентарь.

ЯКОВ. Ну и что ж такое, что железо! А оно ведь ржавое все, а камни ничего не стоят, а деревья — на дрова только, они старые и кривые...

СЛУЖАЩИЙ. А все-таки нашему царству-государству и тут доход... Чего тут железу и камням зря находиться! Покойники в земле давно сопрели, родня их — какая выросла, какая сама скончалась, — и уж считай, что про мертвых забыла...

ЯКОВ. А я не забыл вот!..

СЛУЖАЩИЙ. Ну ладно — не забыл! Памятливый какой! — дай кладбище уберем, и ты все позабудешь: места тогда, где сейчас стоишь, не найдешь: тут ферверок будет иль квас по кружке отпустить — от жажды... А родня покойников, которая жива еще, сама придет плясать сюда, — кому тут плакать, кого помнить!.. Понял теперь?

ЯКОВ (*удивленно*). Нет!

СЛУЖАЩИЙ. Потом поймешь, когда привыкнешь — не враз!.. (*Ворочает надмогильный камень, слабо сдвигая его с места.*) Ишь ты, дьявол, неподатливый какой!.. Смешно и забавно тут будет! Мороженое, компот в чашках, двор смеха в загородке. Я в Туле бывал и все видел. И тут же силомер и труба — на звезды глядеть: где, что и как там, отчего все произошло и куда потом денется; оказывается, мы все

из тумана явились — так выходит по науке, — да пускай из тумана, нам одинаково!.. А дальше (*служащий оставил на время работу и жестикулирует, полный воображения будущего*), дальше — вон видишь где — буфет откроют: харчи, напитки, вафли, изюм, простокваша, блины, — что хочешь! Тут целый парад красоты будет, тут прелесть что такое начнется! А ты что стоишь? Говори — хорошо ведь получится?

ЯКОВ (*заслушавшись — в изумлении*). Хорошо.

СЛУЖАЩИЙ (*принимаясь за работу*). А камень этот в фундамент пойдет, железо в переплавку, — глядь и фабрика новая стоит. Ну конечно, если сырья не хватит, то она работать не будет. Неважно — мы подождем и потерпим... (*Валяет на землю надмогильный камень.*) А я здесь силовым буду заведовать либо конфеты в бумажки заворачивать — легкая чистая работа! Туда-сюда, и день прошел, и не утомился, и деньги заработал, и сыт по горло: везде же знакомство: и на кухне, и в буфете — где пирожок возьмешь, где жамку, где щей похлебаешь... Так и жизнь проживешь — незаметно, а приятно, в полный аппетит, культурно, с удовольствием! (*Поет и приплясывает.*) Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру!.. (*Останавливается.*) Чего же еще надо? — Ничего. Достаточно.

ЯКОВ (*ожесточившись*). Пошел прочь отсюда!

СЛУЖАЩИЙ. Чего?

ЯКОВ. Ничего. Достаточно. Прочь отсюда — с могилы моего отца!

Яков выхватывает лопату из рук служащего и бросает ее в сторону.

СЛУЖАЩИЙ. Не трожь мой инвентарь. Ответишь!

Он вынимает из бокового наружного кармана свисток — и свистит в него, вращаясь во все стороны.

Тогда Яков берет этого человека поперек — и кидает его вон через железную ограду вместе со свистком, не переставая свистеть. Исчезнув со сцены, человек со свистком свистит еще некоторое время, потом умолкает.

Яков один.

ЯКОВ (*в землю*). Отец!

Молчание.

Я буду жить один — ради вас всех, мертвых.

В земле — молчание.

Проходит милиционер.

МИЛИЦИОНЕР. Кто здесь сигналы подавал?

ЯКОВ (*в сторону исчезнувшего служащего*). Вон тот человек. Он здесь сначала могилы хотел сровнять с землей, а потом в свисток засвистел.

Милиционер уходит в сторону, затем возвращается обратно со служащим.

МИЛИЦИОНЕР (*к служащему*). Это вы тут памятники валяли навзничь?

СЛУЖАЩИЙ. Это мы. Это мы ради культуры, товарищ начальник, мы сперва разбираем все негодное, собираем сырье, а затем уж строим.

МИЛИЦИОНЕР. Вон как. А это не вы в пригородном районе кузницу сломали, а из кузницы баню построили? А потом увидели, что кузница тоже нужна, тогда разобрали баню и опять построили кузницу? И так разбирали и строили — то баню, то кузницу, — пока весь материал у вас не истратился в промежутках, и тогда бросили строить — не из чего стало. Это вы были, ваша организация?

СЛУЖАЩИЙ. Все может быть, товарищ начальник: это мы. Мы любим строить красоту и пользу из утиля!

ЯКОВ (*к служащему*). Кто вы такой — дурак или вредитель?

СЛУЖАЩИЙ. Дураков нету, товарищ родственник покойного, — есть пережитки сознания капиталистического периода в головах отдельных честных граждан, а это не вредительство. Это не считается. Не смей клеветать на меня! А то ответишь. Вы сами ударили меня недавно моим больным телом о землю!

МИЛИЦИОНЕР. Свидетелей не было, доказать нельзя... Кто вам поручил разрушать кладбище?

СЛУЖАЩИЙ. Не разрушать, а постепенно, исподволь подготавливать его территорию на предмет будущей утилизации под парк культуры, искусств и отдыха, где бы люди, отдыхая, приобретали себе неутомимость...

МИЛИЦИОНЕР. Кто вас заставил это делать? Ваше учреждение?

СЛУЖАЩИЙ. Отнюдь нет, товарищ начальник...

МИЛИЦИОНЕР. Я не начальник...

СЛУЖАЩИЙ. Я вижу по вашим способностям, что вы не простой милиционер, — нечего вводить меня в кажущееся заблуждение. Стыдно, товарищ милиционер... Я сейчас временно нигде не служу и директив не получаю, — я вроде как в отпуске, но я организовал местную общественность своего треста — с целью проявить инициативу, так как я не устал. И наша общественность поручила мне озаботиться обследованием кладбища, а также нежилых оврагов и пустошей — для вышеуказанной цели...

МИЛИЦИОНЕР. Сколько у вас общественности?

СЛУЖАЩИЙ. Инициативной общественности по данному вопросу нас двое, а я из них самый первый. Мы постановили между собой украсить наш город.

МИЛИЦИОНЕР. Хорошо. Завтра вы посадите живые цветы на этих могилах своими силами и за свой счет. А сейчас — подымите все памятники, которые вы повалили, и оправьте могилы, которые вы топтали.

СЛУЖАЩИЙ (*с полным, мгновенным усердием*). Есть, товарищ начальник! Сейчас же все будет сделано в самые сокращенные сроки!.. Я полагаю теперь, что здесь навсегда должно остаться кладбище, а парк культуры и отдыха мы запланируем на пустоши.

Служащий с яростной работоспособностью принимает за восстановление повергнутых им памятников.

ЯКОВ (*милиционеру*). Отправьте его куда-нибудь на пустошь навсегда.

МИЛИЦИОНЕР. Ого! А после него и пустоши не будет!..

ЯКОВ. Ну в тюрьму!

МИЛИЦИОНЕР. Тоже не годится. После него тюрьму придется ремонтировать.

ЯКОВ. А куда ж его?

МИЛИЦИОНЕР. Сам износится в своей суете. Чадом изойдет и исчезнет. Ведь не каждый гражданин бывает человеком, товарищ. До свиданья!

Конец

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ, ИЛИ ИЗБУШКА ВОЗЛЕ ФРОНТА

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Действующие лица

МАРФА ФИРСОВНА, старая крестьянка.

НИКИТА, ее сын, красноармеец.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ, санитар.

ФРАНЦ, немецкий унтер-офицер, разведчик.

ГУГО, немецкий солдат, разведчик.

Внутренность крестьянской избы. Одно окно наружу — против зрителя. За окном — полный, склонившийся круг подсолнечника. Русская печь, устьем обращенная в сторону от зрителя. Обычное убранство. Тишина.

В избе одна Марфа Фирсовна: она метет веником посреди избы, метет по одному месту, метет и метет в тихом самозабвении, не замечая, что делает.

Входит Прохожий, красноармеец, оглядывает избу, снимает головной убор, расправляет усталое тело, здоровается.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Здравствуй, бабушка...
Можно переобуться? А то ноги затомились.

Марфа Фирсовна молчит и метет пол.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (*топчется*). Бабушка.

МАРФА ФИРСОВНА (*опомнясь*). Тебе что, сынок?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Я переобуюсь.

МАРФА ФИРСОВНА. Переобуйся. Сядь и переобуйся.
Пусть ноги отдохнут и подышат.

Прохожий-красноармеец садится на пол посреди избы и начинает медленно переобуваться. Марфа Фирсовна оставила веник и неподвижно следит, как кряхтит и действует усталый красноармеец. Марфа Фирсовна до-

стает с печи чистые теплые портянки и подает их красноармейцу.

МАРФА ФИРСОВНА. Одень смену-то.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Спасибо тебе, бабушка... Помог бы я тебе по нашему крестьянскому делу, да некогда — война идет, день и ночь некогда... Одна, что ли, в избе живешь?

МАРФА ФИРСОВНА. Жила-то не одна, а теперь вот одна осталась. От немца всем разлука вышла.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Ничего, мать. Отвоюемся, тогда все по родным дворам разойдемся — кто к матери, кто к жене с ребятишками, а кто один был — тот семейство себе заведет. Тогда тихо будет, и мы опять землю будем пахать, скотину выкормим, новые избы поставим. Мы тогда отдышимся и опять жить будем исправно.

МАРФА ФИРСОВНА. Кто отдышится, а кто уж нет! Кто вернется домой из разлуки, а кто уж навсегда там без силы, без мочи останется!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Оно понятно — кто убит, тот, мамаша, ушел от нас бессечно. За них уж пускай другие живут и поминают их в счастливой жизни.

МАРФА ФИРСОВНА. Ишь ты, ученый, хитрый какой!.. Один, стало быть, убитый лежит, а другой живет в избе на покое, ест щи с говядиной и поминает его! А что ж убитому-то станется с того, с одного поминания?! Он весь разбитый, покалеченный лежит, и кости его в прах распадаются, для него весь свет потух — какая ему радость, что живые живут!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Что ж тут поделаешь, мамаша, такое наше положение... Враг нам житья не хочет давать никакого.

МАРФА ФИРСОВНА. Пускай он один и подыхает, враг этот, который житья нам не дает.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Так не выходит, мамаша. За народную добрую жизнь нашему брату, красноармейцу, приходится смертью сполна оплачивать.

МАРФА ФИРСОВНА. Да на что ж народу тогда и жизнь, если за нее молодые да самые лучшие смерть принимают!.. На что мне, старой, белый свет, коли мой сын там на голой земле глаза свои навеки закрыл!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Ничего, мать, жизнь без смерти не держится, надо маленько потерпеть.

МАРФА ФИРСОВНА. Чего же тут терпеть-то, когда не терпится, когда сердце мое уж дышать не может и ничто мне не в милость.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Ничего, мать, — привыкнешь и обтерпишься, а там, гляди, и вся война кончится. Тогда сынов много назад вернется.

МАРФА ФИРСОВНА. Да чего ты мне пустое говоришь — ничего, привыкнешь да обтерпишься... Сам красноармеец, а все дурной! Мне сынов других не надо, мне мой один нужен. Ты-то живой вот, а мой-то, Никита, может, покойник давно и мать свою не помнит.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. А где твой Никита?

МАРФА ФИРСОВНА. То-то и горе, что известия давно нету. То все бывало нет-нет да получишь письмо. Хоть что-нибудь, а напишет, бывало, жив, мать, из боя целым воротился, а завтра опять в бой идти, да думаю опять воротиться... А теперь ничего не пишет. Значит, живым не воротился.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Когда как, мать. Раз на раз не приходится... Где он служил, твой сын-то?

МАРФА ФИРСОВНА. Да где все, где более всего народу-то, в пехоте, что ль...

Марфа Фирсовна вынимает из печи корчажку с молоком, ставит ее на стол; достает хлеб, отрезает от него ломоть; стелит чистое полотенце; собирает на стол.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Вон как... Я тоже пехота. Я Иван Поликарпыч Гушин, а твой кто?

МАРФА ФИРСОВНА. А мой Никита Семенов Прохоров.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (*припоминая и радуясь*). Никита Прохоров? Ага. Обожди-ка, мамаша, а он не в сто двенадцатом стрелковом бахчисарайском полку служит? Он к ордену боевого Красного Знамени представлен или нет?

МАРФА ФИРСОВНА. Ну а то как же! К ордену он давно представлен, теперь уж, почитай, получить бы его должен... Садись, покушай. Дай я на тебя поближе погляжу, сына вспомню и поплачу.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (*он уже переобулся*). Покушать всегда можно.

Садится за стол, кушает. Марфа Фирсовна наливает ему молока в чашку, угощает и взглядывается, как в любимого сына.

Так я твоего сына знаю, мать. Мы в одной роте с ним служили...

МАРФА ФИРСОВНА. А того ль ты Никиту Прохорова-то знаешь? Ведь у него примета есть...

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Того самого, которого ты родила.

МАРФА ФИРСОВНА. А примета?..

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Какая примета такая? Парень он добрый, крестьянский, боец исправный...

МАРФА ФИРСОВНА. Да чего ты мне — я сама про то знаю. А примета какая у него? Отличие какое?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Да он как все! Ну вроде меня!

МАРФА ФИРСОВНА. Уж ешь, да не ври! Какой же он как все? Он из себя статный, складный весь, на лицо чистый, взглядом ясный... А ты поменьше будешь.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Красивый, что ль? Ну, для матерей их сыновья всегда самые лучшие. По этой примете их не разберешь — обозначаешься...

МАРФА ФИРСОВНА. Матерям-то видней... А чего ж ты с Никитой ко мне не пришел, — один явился.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Невозможно, мать...

МАРФА ФИРСОВНА (*в тревоге*). Чего так? Тебе можно, а ему нет?.. Где ж теперь мой Никита?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (*после небольшой паузы*). Он — без вести.

МАРФА ФИРСОВНА (*не вполне понимая, все более тревожно*). Без вести?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (*спокойно*). Он значится без вести пропавший.

МАРФА ФИРСОВНА. Пропавший?.. Куда же он пропал, мой Никита... Он ко мне не вернется?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Пока непонятно. Если убит, тогда — он пал за родину, тогда он не вернется — ты не ожидай. Если в плен попал — тогда враг его мучает, тогда ты плачь и по нем горюй. Если в окружении очутился или

сквозь фронт блуждает, тогда вернется и тебе весть подаст. Прохоров солдат большой, его сам генерал хвалил. Прохоров врагу не сдастся, он сам его живьем возьмет. *(За окном еще несколько ранее — разгорается зарево далекого пожара.)* А ты пока зря не горюй. Я коли найду твоего Никиту, так на руках тебе принесу — это моя должность. Я еще поблуждаю тут возле фронта.

МАРФА ФИРСОВНА. Поел, что ль? Чего сидишь — прохлаждаешься?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ *(смущаясь)*. Да я покушал: спасибо вам, хозяйка.

МАРФА ФИРСОВНА. А покушал — так иди в свое войско. Чего ходишь, время тратишь... Война-то небось не ждет. Она как пашня: упустишь землю весной — и по осень не соберешь ничего. Так и ты — чего сидишь, когда немец работает...

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. А у меня отпуск — командировка есть, мамаша. Я до завтрашнего утра свободный человек.

МАРФА ФИРСОВНА. Отпуск у него! Какой тебе, сатана, теперь отпуск? Люди кто мертвые, кто без вести пропал, кто без сна бьется и страдает, а у него командировка какая-то, прах ее возьми!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. У меня документ, мамаша! Я на сутки за лекарством отпущен, я санчасть в роте...

МАРФА ФИРСОВНА *(серчая)*. Ну иди, иди дело делай, санчасть в роте... Нельзя — и ступай. Допей молоко!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Больше пить некуда, мамаша!

МАРФА ФИРСОВНА. Некуда!.. Как так некуда — солдат должен в запас есть. Хлебай сейчас же!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ *(в испуге)*. Ну ладно, сейчас дошибу. *(Пьет из корчажки.)* Маленько осталось.

МАРФА ФИРСОВНА. Немцам, что ль, оставил? Допей, тебе говорят!

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ *(в ужасе)*. Есть допить. *(Допивает, затем забирает весь остаток хлеба.)* Сокрушил все! Спасибо, мать.

МАРФА ФИРСОВНА. Ступай теперь, мне некогда; без вести не пропадай.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Есть, мамаша, без вести не пропадать! А после победы явиться в гости!

МАРФА ФИРСОВНА (добрее). И раньше, милый, приходи, и раньше... Как мимо избы пойдешь, так зайди.

Обнимает красноармейца. Прохожий-красноармеец крепко в ответ обнимает старую крестьянку и на мгновение приникает к ней; затем Прохожий-красноармеец быстро уходит. Марфа Фирсовна теперь одна; за окном зарево далекого пожара разгорелось более ярко.

Я сама пойду сыщу без вести пропавших. Я сама найду управу на врага — ишь, развольничался, разгулялся как! Людей убивает, избы палит, урожай в поле остался! Это — что же! Это к чему такое? (Марфа Фирсовна быстро обувает новые лапти, заматывает онучи, достает топор из-под печи, накидывает на плечи полушалок.) Что я! Иль уж не хозяйка ни в избе, ни во дворе, ни в поле? Иль уж я не мать, что сына родила, а он без вести у меня пропал!.. Да как же я это проглядела да позволила, чтоб случилось в жизни мученье такое!.. Я вам отдам обратно горе мое — и вы не стерпите его, как я терплю, вы пропадете с железом и с пушками, и солдаты ваши побегут от меня! (Более сосредоточенно и горестно.) Как я не уследила!.. Цельный век хлеб работала да сына растила, а про себя думала, что я дура, а есть другие умные, которые всем заведуют, — пусть они за меня думают. Вот они и думали вместо меня. Вот он белый свет-то? Пожар!.. Чего я избу одну свою берегла, когда разбойник за пряслом ходил!.. Зачем я смиренная, глупая была?

Марфа Фирсовна берет топор и собирается покинуть избу, освещенную через окно заревом дальнего разгоревшегося пожара и светом еще неугасшего дня. Навстречу Марфе Фирсовне в избу входит Франц, а за ним Гуго.

ФРАНЦ. Хальт!

Марфа Фирсовна, не понимая приказания, делает резкое движение навстречу немцам.

ФРАНЦ. Хальт, старук!

ГУГО. Стоп, Фарья.

МАРФА ФИРСОВНА (кладет на лавку топор). Не шумите в чужой избе...

ФРАНЦ. Стоп, старук. Где рус?

МАРФА ФИРСОВНА. Да я сама русская. Тут одна я осталась русская.

ФРАНЦ. Говори мало. Один вопрос — один ответ. Где русский солдат?

МАРФА ФИРСОВНА. Солдаты воевать ушли. Чего им в избе делать? В избах одни бабы ныне живут.

ГУГО. Я видел — здесь солдат ходил.

МАРФА ФИРСОВНА. А видел — так ловил бы его, может — сам бы ему в руки попался.

ФРАНЦ (*беря топор*). Инструмент — что делает?

МАРФА ФИРСОВНА. А что придется, — без топора какое хозяйство.

ФРАНЦ. Топор!.. Рус убить можно: ейн пуля — экономия. (*Перекладывает топор на стол.*)

МАРФА ФИРСОВНА. Топором, что ль, хочешь нас убивать?

ФРАНЦ. Топором хорошо убить можно. Русские спят. Тихо убить можно.

ГУГО (*улыбаясь*). Фриштик вставить не надо.

МАРФА ФИРСОВНА. Вон как! Стало быть, ты сонных нас топором рубить хочешь, а пули себе в барыш оставляешь?

ФРАНЦ. Сама не говори. Вопрос — ответ. Где русский солдат, куда был, сколько народ?

Марфа Фирсовна молчит.

ГУГО. Это вредный старук! Хлеб кушает, млеко кушает — пользы нет. Ей смерть надо.

МАРФА ФИРСОВНА. Чем убивать-то будешь? Пули тебе жалко, а топор у нас русский, он тупой.

ФРАНЦ. Германской армии от старук тоже польза. Пользы нет — тогда убить. Пусть немного живет. (*К Марфе Фирсовне — резко и угрожающе.*) Где был русский солдат? Где прятал?

МАРФА ФИРСОВНА. Ну что же, что солдат тут был! Он побыл, отдохнул, да опять воевать пошел.

ФРАНЦ (*быстро*). Полк, дивизион, мотор, артиллерий?

МАРФА ФИРСОВНА. Да у нас люди пешие были.

ФРАНЦ. Сумма? Колоссаль — это много или нет — это мало?

МАРФА ФИРСОВНА. Людей-то? Страсть сколько было! Считаю, они по всей округе теперь в хлебах врага сторожат.

ФРАНЦ (*делает отметку в своей полевой книжке*). Говори, старук, нам польза, тебе будешь жить.

МАРФА ФИРСОВНА. Жить? А чего мне жить! Мое дело отжитое. Раз вы явились — какая жизнь!.. Нам жизнь — когда вам будет смерть.

ФРАНЦ. Нам нет смерти. Вам будет смерть... Пушки ехал, миномет был?

МАРФА ФИРСОВНА. Да, громыхали по тракту. Видимо-невидимо ехали.

ФРАНЦ (*делает отметки в книжке*). Русский солдат ругал наш фюрер Хитлер?

МАРФА ФИРСОВНА. Не, словами его не касались. Словом его не тронули. Он ишь какой! Убить злодея насмерть обещались.

ФРАНЦ. А ты молчал, старук?

МАРФА ФИРСОВНА (*медлительно*). А мне чего говорить?.. Разбойников много на свете — то один, то другой, то третий является. Пока их переловишь да перебьешь по очереди, глядь, и своя-то жизнь кончилась понапрасну. Вот что жалко-то. За доброе дело руками-то приняться и времени нет.

Гуго внимательно слушает Марфу Фирсовну и задумчиво опускает голову.

ФРАНЦ (*командует*). Марш вперед, старук! Надо смотреть место — где есть живой русский солдат. Ступай тихо, старук! (*Указывает Гуго на корчажку на столе, из которой выпил молоко Прохожий-красноармеец.*) Гуго!..

ГУГО (*послушно хватает корчажку, жадно со свистом сосет из пустой посуды, ставит корчажку обратно, облизывает языком губы*). Ейн капля.

ФРАНЦ. Ейн капля — нам польза. Млеко — крафт солдат. (*Смахивает в горсть хлебные крошки со стола и быстро высыпает их себе в рот.*) Нам польза! (*К Марфе Фирсовне.*) Марш! Обман будет — твоя смерть.

МАРФА ФИРСОВНА. Я никуда не пойду. Тут моя изба, тут мой двор, там земля наша лежит. Я на этой земле родилась, хлеб из нее добывала, хлебом тем сына вскормила, тут моя сила легла. Никуда я не тронусь с родной земли!

ФРАНЦ. Марш!

Гуго грубо толкает Марфу Фирсовну, чтобы она шла.

МАРФА ФИРСОВНА. Не трожь меня, ублюдок! Чужие капли и крошки пришли доедать!..

ФРАНЦ. Марш! Нам надо место — русский живой солдат. Живая будешь, пуля не убьет.

МАРФА ФИРСОВНА (*хватая топор со стола и со страшной силой вонзая его в древесину стола*). Мой сын там! Как ты смеешь мне говорить такое, чтоб я русских тебе показала!.. Чего ты грозишь, чего ты пугаешь меня, голодная вошь! Ты думаешь — весь свет запугал, так и я на колени стану перед тобой? Тут конец света тебе будет!

Немцы оторопело стоят, пораженные смелостью и разумом старухи. Затем Гуго направляет свой револьвер на старуху.

ФРАНЦ. Смерть потом. Этот старук опасен, старук тайну знает — говорить не хочет. Старук надо гестапо!

Гуго вытаскивает из-под лавки возжевую веревку, отрезает от нее кинжалом конец и связывает — при помощи Франца — руки Марфы Фирсовны назад.

МАРФА ФИРСОВНА. Со старухой не сладят никак! И убить охота, и пошпионить надобно... Мои руки землю пахать умеют, а вы их связали!!! Ну, чего теперь делать будете, разбойники? Я Красную Армию кликну сейчас.

ФРАНЦ. Вредный старук! Жить не любит... Гуго, ступай, иди — кто там есть ландшафт.

Гуго уходит. Франц сторожит Марфу Фирсовну. Марфа Фирсовна спокойна.

МАРФА ФИРСОВНА. Мать-то у тебя есть?

ФРАНЦ. Мать?.. Есть мать.

МАРФА ФИРСОВНА (*задумчиво*). Чем же кормиться она будет после войны?

ФРАНЦ. Здесь будет.

МАРФА ФИРСОВНА. Побираться к нам придет? Пусть приходит, я подам ей хлеба. Жалко старуху.

ФРАНЦ. Жалко старук?

МАРФА ФИРСОВНА. Жалко... Сейчас сын у нее разбойник, а тогда покойник будет, и сама она побираться к нам придет. Вот и вся война ваша. Какое же у матери утешение?

Франц молчит. Быстро входит Гуго.

ФРАНЦ (нечеловечески). Наше утешение есть фюрер! Хайль Гитлер!

ГУГО (вытягиваясь, с бездушно-счастливым идиотизмом). Хайль Гитлер!

ФРАНЦ (в той же позе, что и Гуго, с тем же нечеловеческим лицом). Хайль Гитлер! Фюрер аллес фюреришен!

МАРФА ФИРСОВНА (непосредственно). Это вы нарочно, что ль? Или вы и вправду не люди, а железки заводные?.. Как за вас бабы замуж выходят?

ГУГО. Русский солдат нету... Ночь будет.

За окном все более смеркается; зарево далекого пожара постепенно угасает.

ФРАНЦ (Марфе Фирсовне). Ступай вперед. Ступай тихо. У меня пуля. Пуля не жалко.

МАРФА ФИРСОВНА. Сам ступай прочь отсюда! Тут моя изба!

ФРАНЦ. Старук не любит жить. Гуго! Не надо жить старук!

Из тихого поля начинают доноситься медленные внятные слова песни. Франц делает Гуго знак рукой и вынимает револьвер. Гуго в этот момент вглядывается через окно наружу. Песня.

...Жалко только Родину, мать-Россию родную,

Матушку-старушку да избушку без меня.

Эх, любо, братцы, любо!

Любо, братцы, жить!

Нам бы только немца поскорее размножить!..

ГУГО. Русский солдат!..

Франц приближается к окну. Марфа Фирсовна тоже склоняется, чтобы посмотреть наружу. Краткая пауза.

МАРФА ФИРСОВНА (тихо и счастливо). Мой Никита идет.

ФРАНЦ. Кто там идет?

МАРФА ФИРСОВНА. Без вести пропавший.

ГУГО. Русский солдат. Два солдата.

МАРФА ФИРСОВНА. Нерусский. А другой не солдат — он санчасть.

ФРАНЦ. Ты знаешь — кто это они?

МАРФА ФИРСОВНА. Знаю. Они нерусские. Они немцы. Они были тут в избе, молоко с хлебом пили. Я-то уж их знаю...

ГУГО. Они русские. Шинель русский, шаг русский...

МАРФА ФИРСОВНА. Они немцы — шпионы. Это они нарочно в русских оделись.

ГУГО (*вглядываясь внимательно*). Один мало убитый, раненый нога. Другой нет, сам идет.

МАРФА ФИРСОВНА (*она стоит возле окна позади немцев; ей плохо видно из-за них: теперь она видит и на мгновение забывается от горя*). Никита!.. Тебя ранили в ножку...

ФРАНЦ. Это вредный старук, — русский шпион.

Франц и Гуго направляют свои карабины наружу, за окно. Краткая пауза.

МАРФА ФИРСОВНА (*громко и резко, как немцы*). Хальт! Немцы автоматически оглядываются на Марфу Фирсовну; в то же мгновение Марфа Фирсовна откидывает ногой, зацепив ею за кольцо, крышку подполья и прыгает в подполье, — и слышен ее голос из подполья: «Говорит Старая Гора! Здесь немцы. Откройте огонь из пушек. Стреляйте скорей по Старой Горе!»

ФРАНЦ. Телефон!.. Это шпион — старук!

ГУГО. Весь русский народ — шпион, партизан.

ФРАНЦ (*выхватывает клинок, Гуго делает то же*). Убей народ! (*Жест в сторону окна.*) Этих — потом. Их убьют сейчас русские пушки. Этот старук хуже всех солдат... (*С внезапной догадкой.*) А зачем ей убивать русских, Гуго?

ГУГО. И нас сейчас убьют русские пушки.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Не открывать огонь. Не открывать огонь по Старой Горе! Не надо, нет. Немцев нету. Они отошли.

Немцы поняли, но они в испуге и недоумении. Они склоняются над открытым подпольем. Затем с клинками в руках они становятся — один у окна, другой возле подполья, но не на виду.

ФРАНЦ (*шепотом*). Страшный старук! Стрелять в нее нельзя. (*Указывает на окно.*) Там русским слышно. Стрелять в русских нельзя — старук в телефон пушкам скажет.

ГУГО. Можно. Я стреляй солдат. Ты убивай старук.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Огонь по Старой Горе!
Огонь по Старой Горе! Опять немцы тут.

Франца и Гуго оставляет их самообладание.

ФРАНЦ. Зачем ты по-русски сказал? Здесь живет злой, великий старук! *(Бросается на Гуго с обнаженным клинком.)* Теперь смерть нам будет сейчас! Я фрау и фюрер люблю. Я жизнь хочу с победой... Ты изменник солдат! Зачем сказал по-русски? *(Замахивается клинком на Гуго.)*

Гуго, защищаясь, хватается Франца за руку, в которой тот держит клинок.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Я бы и по-немецки угадала...

ФРАНЦ. Ты схватил руку германского унтер-офицера. Сдавайся!

ГУГО *(всаживает свой клинок в грудь Франца, тот валится на пол)*. Умирай по-немецки, молча. Это вы привели меня в смерть. *(Прислушивается.)* Сейчас будет залп. *(Бросает на пол клинок.)* Прощай, старук! И ты там умрешь.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Прощай... Ложись, сынок, на пол: бежать-то уж не успеешь.

Гуго ложится на пол вниз лицом. В окне показывается лицо Никиты.

НИКИТА. Мама!

Короткая пауза.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Иди ко мне, Никитушка. Я в подполье сижу и выбраться сама отсюда не могу. У меня руки заняты.

НИКИТА. Сейчас, мама!

НИКИТА *входит в избу, он ранен в ногу; его поддерживают и ему помогает идти прохожий-красноармеец, сакитар.*

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Привел тебе сына, мамаша... А ты где сама-то?

Вошедшие красноармейцы замирают на мгновение от удивления при виде двух неподвижно лежащих немцев.

ГОЛОС МАРФЫ ФИРСОВНЫ. Помогите мне — который поздоровей-то из вас!

Прохожий-красноармеец опускается в подполье и на руках высаживает оттуда Марфу Фирсовну, а у нее по-

прежнему связаны руки назад — а затем выбирается оттуда сам. Никита привалился спиной к стене, чтобы не тревожить раненую ногу; мать со связанными руками подходит к сыну.

Сын обнимает ее.

Краткая пауза.

Гуго шевелится.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ (к Гуго). А ты не мертвый, что ль?

ГУГО. Нет. Убивать будешь?

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Сейчас, сам видишь, некогда. Сын к матери на побывку приехал. Лежи, дурак.

НИКИТА. Санитар, развяжи моей матери руки.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Ага — вон оно как. А я сначала и не сообразил. Прости меня, мамаша... (*Развязывает руки Марфе Фирсовне.*) Ведь ишь, дьяволы, на какие мертвые узлы затянули — так жилы можно порвать... Ты что же, мамаша, картохи, должно, в погребце перебирала?!

МАРФА ФИРСОВНА. По телефону с пушками говорила.

НИКИТА. С какими пушками? Ты что, мать, какой у нас телефон?

МАРФА ФИРСОВНА. Обманно. Это я немцев поугала. Я с картошкой там говорила.

Гуго пошевелился на полу.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Так, стало быть, это ты тут одна, мамаша, двух немцев наземь уложила?

МАРФА ФИРСОВНА. А чего тут? Одна.

НИКИТА (*прижимая к себе мать*). Тебя, мама, к награде надо представить.

МАРФА ФИРСОВНА (*обнимая сына освобожденными руками*). Не нужно. Теперь ничего мне не нужно. Все у меня есть — ко мне сын мой без вести пропавший вернулся. Ты где пропадал-то, Никитушка?..

НИКИТА. А я немножко в разведке заблудился; там и подранили меня. Пришлось у партизан пожить.

МАРФА ФИРСОВНА. Дай я тебе сейчас сама ножку об мою и чистым перевяжу.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. А я-то здесь на что? Кто здесь, кроме меня, медицинская сила?.. Ты, мать, сердцем

не болей. Ногу я ему сам хорошо обладил — нога у него помучается малость, потом заживет. Она уже почти зажила. Что вот нам с этим немцем живым делать? Лежит тут не свой человек!

МАРФА ФИРСОВНА *(она присела возле раненой ноги сына и ощупывает ее)*. А чего с ним делать?! Что хотели немцы-то с Никитой моим сделать, то и с ними нужно...

НИКИТА. Как же ты, мама, двух фашистов сразу победила?

МАРФА ФИРСОВНА. Да ведь как, сынок! Как надо было, так и победила. У них-то железо, да машины, да всякие ехидные средства. А у нас что же! — у нас разум да сердце есть? — мы этим их и берем, и возьмем! А когда у нас железа-то побольше будет, тогда мы и к ним наведаемся.

ПРОХОЖИЙ-КРАСНОАРМЕЕЦ. Ну и мать у тебя, Никита! Ее бы и весь народ похвалил. Как скажешь?

Конец

ВОЛШЕБНОЕ СУЩЕСТВО

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, ШЕСТИ КАРТИНАХ

Действующие лица

КЛИМЧИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, генерал-майор, 35 лет.

МАРИЯ ПЕТРОВНА, его жена.

ЧЕРЕВАТОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, профессор медицины, генерал-лейтенант медицинской службы, старик 70 лет.

НАТАША, его племянница, 25 лет.

ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНА, тридцатилетняя женщина.

ВАРВАРА БОЖКО, ее сестра, девушка 22 лет, сержант.

РОСТОПЧУК ГЕННАДИЙ СОФРОНОВИЧ, адъютант Климчицкого, лейтенант, 40 лет.

ИВАН АНИКЕЕВ, старый солдат, лет 45.

НИКИТИШНА (ПЕЛАГЕЯ НИКИТИШНА), старая крестьянка.

АНЮТА, ее внучка, лет 14.

НЕМЕЦКИЙ ЧАСОВОЙ.

Земляки Аникеева, красноармеец-автоматчик, офицер связи, старшая сестра, полевой хирург и другие.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина

Вечер. Большая грейдерная дорога — позади немецкого переднего края, километрах в 2—3 от собственно переднего края. Обычный русский пейзаж. По краям дороги — молодые березы, один печной очаг, оставшийся от сожженной избы. Работают три русские женщины, они отрывают траншею. Время от времени по дороге проходит немецкий часовой. Иногда он останавливается у печного очага, роется в пепелище, отыскивает там жалкие истлевшие предметы крестьянского обихода — железную скобу,

гвоздь, шило, кочетык и пр., старательно очищает эти предметы, осматривает и прячет их в свой ранец.

Среди работающих русских женщин — жена генерала, Мария Петровна, затем Любовь Кирилловна и старуха Пелагея Никитишна; рядом с ними работают пленные красноармейцы, они все раненые и больные, — Иван Аникеев, старый солдат, и с ним еще три земляка.

У Ивана Аникеева забинтована голова. Женщины и мужчины работают печально и утомленно. Возле них бродит немецкий часовой.

На фронте полная тишина. Постепенно вдалеке, на советской стороне, занимается музыка: там играют советские громкоговорящие установки. Исполняются последовательно почти на всем протяжении картины (чередование, длительность, паузы — по усмотрению постановщика) следующие; желательны, песни: «Полноночка», «Рябина», «Липа вековая», «Советская патриотическая песня».

Пленные вслушиваются в песню родины и почти прекращают работу.

Мария Петровна бросает лопату и ложится на землю вниз лицом. Любовь входит в песню и вторит ей своим голосом. К Марии подходит Иван Аникеев.

ИВАН (пожилой солдат с бурыми, выгоревшими на солнце усами). Не горюй, тетка, судьба — дело переменное... Россия не умерла, и ты живи!

Никитишна сидит на земле и плачет. Иван опирается на лопату и тоже начинает петь ту же песню, что поют из России; ему помогают остальные его земляки; уже никто не работает. Немецкий часовой подходит к ним и вскидывает автомат в боевое положение; четверо пленных красноармейцев прекращают петь и снова начинают копать землю. Любовь продолжает петь, Мария лежит на земле, Никитишна по-прежнему плачет.

ИВАН (к Марии). Не огорчайся! Вставай — копни да вздохни! Копай мелко, вздыхай поглубже... Откуда сама-то? **МАРИЯ**. А ты?

ИВАН. Мы-то?.. А мы дальние!.. Мы в голову были раненые, стали ослабшие, и нас немцы взяли без памяти.

МАРИЯ. А ноги-то целы у вас?

ИВАН. Ноги? Ноги пока при нас.

МАРИЯ. При вас? Так ты пользуйся ими. Ты слышишь — это нас зовут.

ИВАН. Да то кого же? Мы слышим... Там у нас в ротных кухнях еще суп сейчас теплый, всегда остаток бывает. У нас повар, бывало, до утра котла не сливал — может, кто отощальный придет и похлебают... А не отощальный тоже хлебают — солдат любит в запас кушать.

1-й ЗЕМЛЯК ИВАНА (*нюхает воздух*). Щами из России пахнет.

2-й ЗЕМЛЯК ИВАНА. У нас в батальоне, когда мотивы на баянах играли, в ужине большие добавки давали.

НИКИТИШНА (*перестав плакать*). Да уж в жизни я не поверю, чтобы мужик-повар сытно да наваристо мог сготовить. Они добро только портят. У меня внучка девочка есть, так любого мужика на всякой работе перехватит. Что на руку, что на язык — на все горазда!

ЛЮБОВЬ (*к Марии и Ивану*). Вставайте, пошли! (*Бросает лопату.*)

ИВАН. Куда, барышня?

ЛЮБОВЬ. Дурень! Куда русские из плена ходят?

ИВАН. А то будто я сам не знаю! Эка, ефрейтор какой! Я еще когда без памяти был, уже тактику свою сообразил. А она бойца учит, тонконожка!.. (*Указывает на немца.*) Он-то ничего не чувствует — из тылов взят, в землю закопан будет. Он, дурной, полсмерти с собой привез, а полсмерти ему, бог даст, мы добавим: может, Александр Иванович позаботится.

МАРИЯ. А это кто — Александр Иванович?

ИВАН (*указывает в советскую сторону*). А вон там товарищ генерал один присутствует. Мы в его дивизии службу несли: генерал-майор товарищ Климчицкий.

МАРИЯ (*медленно встает с земли*). Генерал-майор Александр Иванович Климчицкий?

ИВАН. Он самый. Ничего командир, — бойца своего бережет, а немца слабо терпит.

МАРИЯ. Он раненый был?

ИВАН. Сколько разов, однако стерпел жизнь.

МАРИЯ. А волосы у него все такие же, все так же вьются?

ИВАН. Какие волосы? Волос у него опавший, давно с харчами поел... Прежде-то они были, и точно — курчавый был командир. Ну а потом от судьбы, от жизни, от недостатков природы сперва поседели, потом побурели, а потом устали и прочь попадали. Не все ж им рожаться из умной головы.

МАРИЯ. Так он плешивый стал? Ведь он же совсем еще молодой!

ИВАН. Ну как тебе сказать! У него тоже жизнь, считай, уже к вечеру пошла. А потом, у него ж забота большая — он ведь генерал, человек: он в каждого солдата должен душу вдохнуть, чтоб тот мог и на подвиг выйти, а при случае и смерть принять. Тут забота трудная, враз стариком станешь.

МАРИЯ. Он не старик еще... А пусть старик! Он милый мой!

ЛЮБОВЬ. Любила, что ль, его? Генералов трудно любить. Они толстые.

МАРИЯ. Я и сейчас люблю его. Он мой муж.

ИВАН. Да ну? Вот тебе раз!.. Так ведь он же вот, Александр Иванович, ваш супруг-то, — он насупротив вас в блиндаже сейчас живет. Да отсюда километра два-три нет ли, будет ли до него!.. Он, небось, сейчас ужин кушает, в карту глядит и по вас скучает... А вы тут же! Эх, знал бы он такое дело!..

МАРИЯ. А почему вы знаете, что он по мне скучает?..

ИВАН. Допрежде слышал... У него адъютант Геннадий Софроныч есть...

МАРИЯ. Ростопчук?

ИВАН. Лейтенант товарищ Ростопчук... Так он, товарищ лейтенант, дневальным, бывало, говорил: боевой, говорит, у нас генерал, а одним только плох, совсем плох...

МАРИЯ. Чем же он плох?.. Довольно вам о муже моем говорить!

ИВАН. Нет. К чему ж довольно? Мы можем... Одним, говорит, никуда генерал наш не годится: душа у него велика. По ночам один плачет, о жене своей печалью тоскует, забыть о ней не может, а без нее жить ему состояния нет... А жена его, или супруга, в немцах, свободная вещь, погибла! Вот и жжет его горе, и томится его сердце по душевной подруге! А где ж ты ее достанешь — может, она в земле давно лежит, может, нищенкой мается в рабнях...

ЛЮБОВЬ (*с увлечением*). Какой человек — этот генерал! Как бы я хотела увидеть его!.. А я увижу, я увижу его! (*К Марии.*) Какая вы счастливая!

МАРИЯ (*сияющая счастьем*). А я правда, я правда сейчас счастливая!

Появляется внучка Никитишны, Анюта. Она приносит на коромысле два глиняных горшка с ужином.

АНЮТА (*к Никитишне*). Бабушка, я ужин тебе сварила, иди щи хлебать, а кашей после заешь...

НИКИТИШНА. Чего ж ты столько наварила-то? Ай добра в избе некуда девать, так ты на десятерых варишь, а я одна — да и то изжогой страдаю — какой я едок. Сварила бы мне два блюдца каши — и хватит...

АНЮТА. Да аль я тебе одной, что ль, наварила? Тут и другой народ наш томится — пусть все кормятся, чего ты, бабушка, об одной себе думаешь?

ИВАН. Ничего девчонка. По телу маленькая, а по сердцу уже подросшая. Ставь, дочка, пищу на травку, сейчас мы ее исхарчим начисто. А молочка нету?..

НИКИТИШНА. Еще чего тебе? Ты где — ты в плену, что ль, иль дома с печки бабой командуешь?

Иван достает ложку из-за сапога.

Подходит немец. Замахивается автоматом. Все берутся снова за лопаты.

Немец вынимает складную ложку, очищает ее, снимает каску с головы, садится на землю, открывает один горшок и начинает быстро есть горячую кашу.

АНЮТА. Бабушка, неприятель нашу кашу ест! Отнять у него?

НИКИТИШНА. Не надо. Он не соображает, что делает. Отойди от него, он еще покалечит тебя.

АНЮТА. А так он кашу нашу съест! Чего ж мне делать-то?

НИКИТИШНА. А какого тебе рожна делать-то? Ты видишь — война идет...

АНЮТА. Я вижу...

Анюта бросается к немцу, тянет горшок к себе, немец хлопает ее ложкой по лбу. Анюта плюет в кашу, немец достает плевок из каши ложкой и выкидывает его прочь и продолжает есть с прежней жадностью.

Бабушка! Он жжется, а сам жрет.

НИКИТИШНА. Да чума с ним! Может, кишки у него облупятся!

АНЮТА. Да, облупятся... Он воду потом будет пить и остынет. Я просо полола, а он пшено пришел и съел. Ведь это наказание — такой неприятель!

Слышится орудийный выстрел немецкой пушки. Затем в воздухе слышится вой немецкого снаряда и разрыв снаряда на советской стороне; музыка враз умолкает.

ИВАН. Попадание! Засекли нашу точку! Скучно станет без песни...

Снова возникает песня.

Неточно бьют!

В воздухе появляются осветительные ракеты.

Ну, немцы посватались за нас. А сейчас свадьба начнется!

АНЮТА (немцу). Скорей лопай, посуда нужна.

Выстрел из пушки с нашей стороны. Слышен шелестящий свист снаряда.

ИВАН (в сторону летящего снаряда, в солдатской ярости). А ну — влепи им! Влепи им! Бей точно — в прах!

Разрыв нашего снаряда.

Кажется, точно положил. Пора трогаться! Дорожку домой я разведаль! Команда, за мной!..

Анюта хватает второй горшок и надевает его вместе с содержимым (содержимое — похлебка) на голову питающегося немца. Его голова и туловище обливаются похлебкой.

Все пленники вскакивают, бросаются в советскую сторону. Второй выстрел нашей пушки. Близкий разрыв снаряда. Падает на землю Мария — и она уже не встает; тогда как другие, сперва припавши к земле, затем поднялись и устремились в свою сторону.

ИВАН (поднявшись). Не попал! (Смотрит на лежащую Марию.) Вставай, наш генерал недалеко!

Мария лежит неподвижно, Иван убивает лопатой немца.

Попал!

Со сцены исчезают все. Остаются лежать Мария и немец. Осветительные ракеты гаснут. Ночь. Тишина.

Вторая картина

Блиндаж генерала, командира дивизии Климчицкого. Обычная обстановка. На пустом ящичке стоит патефон. У полевого телефона дремлет адъютант Ростопчук.

Тишина. Глубокая ночь.

Звонит телефон.

РОСТОПЧУК. Лейтенант Ростопчук слушает... Генерала нет. Нет генерала! Он мне не докладывает, наоборот, — я ему докладываю. Да, я старше его, но по возрасту. Ожидая с минуты на минуту; он был только что в хозяйстве Еланина. Позвони в хозяйство Лебедева. А что у тебя? Какие люди? Сколько их? А зачем им к генералу? Мало ли что, просят... У нас с генералом еще кое-какие заботы есть... Какие заботы? Ну разные. С немцами война, ефрейтор Никодим, наш вестовой, самовар распаял, мы теперь без чая воюем, хотел его отчислить, а его контузило. Заботы хватает... Что? Ну ладно, пусть доставят, но попозже. Генералу надо поспать. Ладно. Стукни тогда мне по этой же трубе. *(Кладет трубку. Идет к шкафчику. Достает флягу. Взбалтывает ее. Отвинчивает пробку.)* Шнапс! Уничтожить его или генералу каплю оставить? Да нет, не надо генералу — чего ему здоровье портить! Испорчу себе! *(Выпивает. — Звонит телефон. Ростопчук берет трубку.)* Да! Во сколько заняли? Сейчас запишу. Генералу доложили? Отлично. В четырнадцать ноль-ноль, говоришь? Ну ясно, а в пятнадцать там еще бой шел... Да что сведения ты получил, а ты их проверил?.. Ну да, вот именно — в нуль-нуль, нули вы считаете, а на целые часы опаздываете... Да мне все ясно: вам лишь бы скорее доложить и благодарность от генерала получить, а потом на грудь чего-нибудь схватить. *(Иронически.)* Нуль-нуль! *(Кладет трубку.)*

Появляется генерал Климчицкий; он в плаще, заметно утомлен.

КЛИМЧИЦКИЙ. Чаю у нас нету, самовар распаяли... Нет ли чего другого, чем оживиться?

РОСТОПЧУК. Никак нет, товарищ генерал...

КЛИМЧИЦКИЙ *(беря флягу, из которой выпивал Ростопчук)*. Тут, кажется, оставалось немного... *(Пьет из*

фляжки.) Ничего нету. А вы напрасно, Геннадий Софроныч, нажимаете по этому делу, — здоровье себе расстроите...

РОСТОПЧУК. Количество недостаточное бывает, Александр Иванович, — в таком объеме оно только лечит...

КЛИМЧИЦКИЙ. Начальник штаба отдыхает?

РОСТОПЧУК. Отдыхает, товарищ генерал.

КЛИМЧИЦКИЙ. Пусть отдыхает, будить пока не надо... Новых задач у нас пока нету. Командующий не звонил?

РОСТОПЧУК. Никак нет. Свободно можно отдыхать, товарищ генерал. Задач не получено, противник молчит.

КЛИМЧИЦКИЙ. Свободно отдыхать никогда нельзя. У противника могут быть задачи. Я пока ложиться не буду.

Звонит телефон.

(Берет трубку.) Да... Нет. Командир дивизии. А что вам нужно? Да вы говорите!.. Пропустите их ко мне. *(Кладет трубку.)* Геннадий Софроныч, запишите себе для исполнения. На третьей батарее, она ночью чуть-чуть работала, есть неточность стрельбы, а пушкари там хорошие. Видимо, у них расстроились прицельные приспособления. Пусть техники сегодня же наладят.

РОСТОПЧУК *(записывая)*. Есть, товарищ генерал. А вы, Александр Иванович, все-таки закрыли бы глаза до утра.

КЛИМЧИЦКИЙ. Впустите там людей ко мне.

РОСТОПЧУК. Зачем вам люди, товарищ генерал? Это я знаю кто — ненужные вам личности: солдат да баба от немцев прибежали. Чего на них генерала тратить?

КЛИМЧИЦКИЙ. Впустите, адъютант! А то начнет: что мне надо, что не надо, и неизвестно — кто из нас генерал. Трудно иметь адъютантом умного старика...

РОСТОПЧУК *(направляясь к выходу из блиндажа)*. Конечно, трудно: у старого адъютанта молодым генералам учиться приходится, а учиться неохота...

Ростопчук впускает Ивана Аникеев и Любовь. Иван Аникеев вытягивается по форме; Любовь с восхищением смотрит на генерала.

КЛИМЧИЦКИЙ *(всматриваясь в Ивана)*. Я тебя видел. Ты мой солдат!

ИВАН. Так точно, товарищ генерал. Боец четвертой роты осмнадцатого батальона четыреста пятого ельнинского

полка. Самовольно явился от противника к исполнению службы, а к противнику попал без памяти от раны головы!..

КЛИМЧИЦКИЙ. Понимаю, понимаю... При форсировании реки. Вспольной был ранен?

ИВАН. Так точно, товарищ генерал. Был павшим, думал — смерть, потом сердце опять силу взяло, и я опять жить стал, обязан, товарищ генерал.

КЛИМЧИЦКИЙ. Так. Так...

ИВАН. Разрешите доложить, товарищ генерал, в дополнение...

КЛИМЧИЦКИЙ. Ну давай, давай дополнение.

ИВАН (к Любви). Выйди вон пока, женщина, ты вольная гражданка.

КЛИМЧИЦКИЙ. Говори при ней!

ИВАН. Справа по грейдеру, полтора километра отсюда, где как раз лесная опушка и там же балочка со старым бурьяном, там у немцев одна батарея стояла...

КЛИМЧИЦКИЙ. Я это уже знаю... Ну, дальше!

ИВАН. Разрешите доложить, товарищ генерал, вы теперь не знаете. Они нынче ночью туда вторую батарею добавили: калибр семьдесят четыре.

КЛИМЧИЦКИЙ. Спасибо. На карте можешь указать точнее?

ИВАН. Соображу, товарищ генерал.

РОСТОПЧУК (Ивану). Иди сюда. Соображай со мной. (У карты.) Обожди, ты не пользуйся своим пальцем — возьми карандаш: у тебя палец сразу четыре километра накрывает...

ИВАН. Палец, правда, не тот.

КЛИМЧИЦКИЙ. У солдата палец всегда тот. (Ростопчуку.) Сообщите данные на батарею.

РОСТОПЧУК. Есть, товарищ генерал.

КЛИМЧИЦКИЙ (к Любви). А вы?.. Вы садитесь, пожалуйста. Разрешите спросить ваше имя, как вам удалось бежать от немцев, где вы жили в мирное время?

ЛЮБОВЬ. Так точно, товарищ генерал!.. (Смущаясь.) То есть нет...

КЛИМЧИЦКИЙ. Меня зовут Александр Иванович. Называйте меня по имени.

ЛЮБОВЬ. А я знаю.

КЛИМЧИЦКИЙ. Откуда? Вы не можете знать моего имени.

ЛЮБОВЬ. Могу, Александр Иванович... Я Любовь Кирилловна, до войны я работала директором точки Главпива РСФСР. У немцев была саботажницей земляных работ, а из плена ушла по своему желанию — и ваш красноармеец, товарищ Аникеев, перенес меня сегодня ночью через реку Проню, а теперь я не знаю, как надо жить, я отвыкла в рабстве... Я прошу вас, я прошу вас, Александр Иванович... *(Все более расстроганно.)* Я так хочу теперь жить на свете! У вас здесь так хорошо! *(Осматривается в блиндаже.)* И странно мне, и страшно, как будто я рождаюсь снова и боюсь чего-то, и хочется мне жить; но я боюсь опять нечаянно умереть, как я долго умирала у немцев... Как я похудела там, у меня ноги стали как палочки, Аникеев правду сказал, я тонконожка — я никуда не гожусь. И мне так стыдно, что я такая стала, что я позволила себя замучить! Сердце мое тоже слабое стало, оно скучало и долго болело... Простите меня, Александр Иванович, я плохо думать стала, я неправильно себя веду...

КЛИМЧИЦКИЙ. Успокойтесь, успокойтесь... Прошу вас, Любовь Кирилловна. Адъютант! Распорядитесь, чтобы Любовь Кирилловна могла поужинать и отдохнуть!

РОСТОПЧУК. Есть, товарищ генерал. Пусть она заодно и позавтракает, чтобы утром ей не беспокоиться.

ЛЮБОВЬ. Александр Иванович, скажите мне, как дальше нужно жить хорошо, чтобы народ меня знал и любил, потому что я его люблю и хочу сделать ему что-нибудь особенное, что ему нужнее всего...

КЛИМЧИЦКИЙ. Отдохните, Любовь Кирилловна. Мы вместе с вами подумаем об этом. Только вы немного ошибаетесь — вы же видите, я не учитель, я солдат...

ЛЮБОВЬ *(рассеянно)*. Вы солдат? А солдат — он что?.. Женщины рожают людей, а наш солдат их спасает от врага, от смерти.

КЛИМЧИЦКИЙ. Совершенно точно. Наш солдат нужен народу наравне с пахарем, наравне с матерью...

ЛЮБОВЬ. Я люблю вас. Я бы умерла у немцев, если бы вас не было.

КЛИМЧИЦКИЙ. Это относится вон к Аникееву, Любовь Кирилловна.

ЛЮБОВЬ. Я сама знаю, к кому что относится.

КЛИМЧИЦКИЙ. Простите...

РОСТОПЧУК. Александр Иванович, в Москве сейчас первые петухи пропели. Генералам тоже надо спать иногда, и нашим гостям покой нужен.

ЛЮБОВЬ. Не нужен мне покой. И я не к вам явилась.

РОСТОПЧУК. Ого! Ко мне бы вы совсем не явились...

КЛИМЧИЦКИЙ (*сурово*). Адъютант!

РОСТОПЧУК. Я вас слушаю, товарищ генерал.

КЛИМЧИЦКИЙ. Чаю для Любовь Кирилловны, сто граммов бойцу Аникееву — распорядитесь через вестового...

Ростопчук выходит для распоряжения и возвращается.

ИВАН. Товарищ генерал, разрешите доложить одно сведение...

КЛИМЧИЦКИЙ. Говори!

ИВАН. А мы не все оттуда дошли, товарищ генерал. Тронулось оттуда нас порядочно народу — одних больных бойцов было четверо, да прочих было вдобавок сколько-то, малолеток был один. А дошло нас всего двое.

КЛИМЧИЦКИЙ. Сколько же осталось еще там наших людей, которые не смогли уйти?

ИВАН (*задумываясь*). Это будет порядочно, товарищ генерал. Трудящиеся люди...

КЛИМЧИЦКИЙ. Я знаю, что трудящиеся... Все живые пока?

ИВАН (*в затруднении*). Нету. Скончавшиеся. (*Перекрестился.*)

ЛЮБОВЬ. А когда ж чаю нам принесут? Меня жажда мучит, дорога и ночью такая пыльная была!

ИВАН (*в ожесточении, крикает*). Эх, не ту женщину с собою взял, через проток ее неразумную пронес...

ЛЮБОВЬ. А какую же тебе еще брать-то было? Старуху, что ль, — так она со внучкой местная жительница. А Мария Петровна замертво осталась лежать.

Вестовой вносит чай, закуску, сто граммов водки солдату.

ИВАН. Эх, дурная, на язык слабая какая... Было б тебе там остаться, а той бы женщине здесь уместно быть.

КЛИМЧИЦКИЙ. А почему той уместно здесь быть? Кто это такая — Мария Петровна?

ИВАН. А, разрешите доложить, товарищ генерал, — то ваша супруга была! *(Берет сто граммов и сразу выпивает.)* Царствие Божие, вечный покой, добрая женщина была, все по вас томила, — сама мне сказывала.

РОСТОПЧУК *(Ивану)*. Молчать! Ты что здесь непроверенные данные распускаешь? Ты что — высший командный состав нарочно огорчить хочешь?

ЛЮБОВЬ. Как это непроверенные данные? Я сама видела, что она убита!

ИВАН *(к Ростопчуку)*. Вот, товарищ лейтенант, во всякой бабе серьезная дура сидит: когда ей срок бывает, дура наружу выходит, испортит характер человеку и опять спрячется, и глядишь — женщина опять умная.

КЛИМЧИЦКИЙ. Всем молчать! Я сам пойду туда, где жена моя лежит... Адъютант! Вы что медлите — почему не посланы техники на третью батарею для настройки прицельных приспособлений?

РОСТОПЧУК. Виноват, товарищ генерал. Это дело пустяковое! *(Хочет взять трубку телефона.)*

КЛИМЧИЦКИЙ. Пустяковое! Батарея неточно работает — это пустяковое дело?

РОСТОПЧУК. Нет, это великое дело! *(Держит руку на телефонной трубке.)*

ИВАН. А то бы не великое: жизнь и смерть!

Ростопчук говорит в телефон — неслышно для зрителя, потому что в этот момент в блиндаж входит офицер связи.

ОФИЦЕР СВЯЗИ. Товарищ генерал, разрешите доложить.

КЛИМЧИЦКИЙ. Да, я слушаю, лейтенант.

ОФИЦЕР СВЯЗИ. Населенный пункт в 104-м квадрате контратакуется противником: силою до полка пехоты, при поддержке восьми тяжелых танков. У противника есть резервы на этом участке. Командир полка, подполковник Караев, убит. Майор Кротов исполняет обязанности командира полка, он прислал меня к вам за вашими указаниями. Проводной связи и связи по ВЧ с вашим хозяйством пока нет.

КЛИМЧИЦКИЙ. Адъютант! «Виллис» мне! Офицер связи, вы едете со мной!

Из блиндажа выходят: Ростопчук, затем Климчицкий и офицер связи. Слышится артиллерийский гул.

Ростопчук возвращается.

ИВАН. Надо бы, товарищ лейтенант, супругу товарища генерала земле предать. А то там немцы о ней не позаботятся, а мертвый человек — дело святое, его без заботы оставлять нельзя.

РОСТОПЧУК. Проверить, проверить это еще надо! Может, это все брехня и ты брешешь тут за сто граммов.

ИВАН. Что вы, товарищ лейтенант? Разве можно по поводу горя такого врать! Да я сейчас хоть в штрафную роту за это дело пойду.

РОСТОПЧУК. Обожди! Надо сначала проверить, в штрафную роту позже успеешь.

ЛЮБОВЬ (*увидев патефон, к Ростопчку*). А патефон у вас играет или испорчен?

РОСТОПЧУК. Э-э, Любовь Кирилловна, — концерт после победы будет. А вам не пора уже к делу какому-нибудь приурочиться? Я могу помочь.

ИВАН. Да ей давно пора в медсанбате бойцам письма писать. Да хоть бы куда-нибудь скрылась, раз уж живой осталась. К чему женщине в этом высоком месте находиться? Здесь кругом тайна.

ЛЮБОВЬ. А мне и тут ничего. Тут война...

ИВАН. Ну, чума с тобой. Отвлекаешь ты меня от моей души... А что, товарищ лейтенант, пока темно еще, я бы успел к немцам сходить и мертвое тело доставить обратно сюда...

РОСТОПЧУК (*задумываясь*). А можно? Далеко это отсюда?

ИВАН. Да нет, дело-то недалнее: туда-сюда и враз тут буду.

РОСТОПЧУК. А немцы? Немцы с фонарем провожать тебя будут?

ИВАН. Да что мне немцы! Я к ним привык, я в разведку на поиск ходил, меня наш генерал с одного взгляда запомнил. Я был в своем взводе незабываемый боец, — сам ротный так меня определил. Я человек сносный. А немец — он человек

не тот. Конечно, смотря кто против него находится. На меня он действует слабо, я его умелым умом беру, по привычке. Разрешите, товарищ лейтенант, время не тратить зря.

РОСТОПЧУК (*всматриваясь в Ивана*). Что ж, выполняй! (*Снаряжается сам.*) Я тоже с тобой прогуляюсь. Вдвоем легче.

ИВАН. А я и один управлюсь, товарищ лейтенант.

РОСТОПЧУК. Не в том дело. Я больше тебя уважал Марию Петровну.

ИВАН. Вы уважали больше?

Любовь к этому моменту уже задремала. Ростопчук глядит на нее в размышлении. Затем зовет.

РОСТОПЧУК. Автоматчик!

Снаружи входит Автоматчик.

Оставайся здесь. Пока я не вернусь, женщина пусть спит. Выпускать ее отсюда не надо. И не беспокой ее. Понятно?

АВТОМАТЧИК. Есть, товарищ лейтенант. Пусть она спит, а выходить ей некуда, беспокоиться нечего.

Ростопчук и Иван уходят.

Любовь пробуждается, потягивается, встает, прогуливается по блиндажу, молча рассматривает автоматчика. Затем заводит патефон. Патефон играет вальс. Любовь движется в танце.

ЛЮБОВЬ (*к автоматчику*). А что, немцев вы скоро одолеете?

АВТОМАТЧИК. Как управимся.

ЛЮБОВЬ. А когда — управитесь?

АВТОМАТЧИК. Когда осилим.

ЛЮБОВЬ. А вы всех их побьете?

АВТОМАТЧИК. Сколько потребуется.

ЛЮБОВЬ. Надо всех их убить!

АВТОМАТЧИК. Которые повинны, те помрут. Расчет с нами должен быть с точностью!

ЛЮБОВЬ. А я бы их всех так и порвала руками в клочья!

АВТОМАТЧИК. Ну ты-то конечно, ты бы порвала. Нам с тобой не сравняться!

Любовь меняет пластинку в патефоне.

Заунывной там нету?

ЛЮБОВЬ. Есть — «На сопках Маньчжурии». (*Заводит.*)

АВТОМАТЧИК (*вздыхая*). Жалостная... Не то жива моя мать, не то нету... Нюрка-сестра, должно, померла от немцев: на границе с мужем жила. (*Вдруг.*) Заведи другой мотив!

Любовь меняет пластинку.

Санитары вносят раненого генерала Климчицкого. Климчицкий в бреду. В блиндаже остаются, кроме генерала, — врач, старшая сестра, офицер связи, Любовь. Любовь снимает мембрану.

КЛИМЧИЦКИЙ (*лежит*). Пусть будет музыка!

Патефон продолжает играть.

Врач и сестра работают возле раненого.

Патефон умолкает.

ВРАЧ. Александр Иванович, прошу вас уснуть.

КЛИМЧИЦКИЙ. А жена уже спит?

ВРАЧ. Спит... Она давно уже спит. Вы не говорите, не беспокойте ее.

КЛИМЧИЦКИЙ. Закройте ей глаза.

ВРАЧ. Сейчас, Александр Иванович... Теперь, вы видите, глаза у нее закрыты, и она спит сладким-сладким сном.

КЛИМЧИЦКИЙ. Я тоже сейчас усну... Я очень устал...

Пауза.

ВРАЧ (*к офицеру связи*). Какой печальный случай! Как же вы не уберегли командира?

ОФИЦЕР СВЯЗИ. А рана очень опасна?

ВРАЧ. Раны все опасны...

ОФИЦЕР СВЯЗИ. Немцы вдавились в наш порядок, у них было двенадцать тяжелых танков... Генерал приказал использовать приданные самоходные оружия. Он сам сел в самоходную установку, он повел самоходки в упор на немецкие машины. Бой машин был на ближней дистанции. Семь «тигров» было сбито, у нас сгорели две самоходки, и в третью попала скользящим ударом немецкая болванка. В этой самоходной установке был генерал... Он сказал: ничего, мы перетерпели противника, и он сгорел; самое важное — стерпеть, выждать и ответить насмерть.

ВРАЧ. Да... Вот оно как произошло. За это Героя дают. А как мне этого героя жить теперь заставить, когда стальная болванка весь организм в нем смешала.

ЛЮБОВЬ. А я знаю как... Для этого доктор тоже должен быть героем, тогда он вылечит.

ВРАЧ (*оглядев Любовь*). Совершенно правильно, милая моя. Принесите горячей воды.

Появляются Ростопчук и Иван.

ЛЮБОВЬ. А где же она?

РОСТОПЧУК. Нету ее нигде.

ИВАН. Всю местность осмотрели, где должна она лежать; немцы уволокли ее тело, чтоб оно не мешало проходу; а старуху и внучку отыскиали, они ко двору своему вернулись.

ЛЮБОВЬ. А у нас генерала убило!

РОСТОПЧУК (*потрясенный*). А я тогда зачем остался?

Иван становится на колени и припадает лицом к земле.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Третья картина

Квартира генерала Климчицкого, которая ему предоставлена для отдыха и окончательного излечения в тылу, в небольшом городе. Хорошо убранная комната. Цветы. Рояль, шкаф с книгами. Ростопчук играет на рояле балладу Шуберта. Прерывает игру.

РОСТОПЧУК (*задумавшись, зовет*). Иван!

Появляется Иван.

ИВАН. Я вас слушаю, Геннадий Софроныч.

РОСТОПЧУК (*ощупывая себя*). Дай гвоздь и молоток.

ИВАН. Аль опять пояс распускать?

РОСТОПЧУК. Опять. Расползаюсь в тылу, скотом себя чувствую.

ИВАН. Да что ж тут нам — харчи да покой, а от совести мы не худеем.

РОСТОПЧУК. Скоты мы с тобой!.. Давай гвоздь и водку давай заодно. Утешиться хочу!

ИВАН. Да это можно. Власть в наших руках.

РОСТОПЧУК. Ладно... Давай инструмент и жидкость.

Иван уходит. Ростопчук начинает опять играть балладу. Иван приносит все принадлежности, стопку водки и закопченный котелок с картошками.

(На картошку.) А это ты что приволок? Что у нас тут, поляна, что ль, иль огневой рубеж? Здесь генерал должен пребывать.

ИВАН. Это картошка, Геннадий Софроныч. Я картошку там испек в котелке. Как в поле получилась, нигде мы такой не едали — только под Великими Луками, помню, такая получалась... Мы ее тут на полу съедем.

РОСТОПЧУК. Ну ладно. Поставь ее на пол. Влей мне жидкость в рот — видишь, руки заняты.

Иван ставит котелок на пол. Затем вливает водку в рот Ростопчука. Затем распоясывает его и работает над поясом на полу.

Иван!

ИВАН. Я вас слушаю, Геннадий Софроныч.

РОСТОПЧУК. Соедини меня с госпиталем. Я о здоровье генерала информацию должен получить. Ему бы пора уже на выписку идти. Он от тоски по войскам там еще больше разболеется, чем от раны.

ИВАН. Сейчас... Сейчас соединим на информацию. *(Про пояс.)* На два сантиметра добавил — на неделю хватит. *(Набирает телефон и говорит в трубку.)* Алла, алла!.. Тут не война — не спешат отвечать. Должно, обедать ушли, тут постоянно везде обеденные перерывы.

РОСТОПЧУК *(подходит к телефону)*. Да! Шевелитесь там! Это я говорю! А вы кто? Никто? Раз вас нету — с кем же я говорю? *(Бросает трубку.)* Никого там нету — одно электричество хрипит...

Когда Ростопчук говорит по телефону, Иван садится за рояль и довольно уверенно набирает мелодию вальса, но играет неверно, фантастически.

Привыкаешь?

ИВАН. А чего же? Я по слуху с точностью стучу.

РОСТОПЧУК. Для музыки пальцы у тебя здоровы!

ИВАН. Ничего. Я к ним притерпелся. Они умелые. Чувствуете, Геннадий Софроныч, почти как у вас выходит.

РОСТОПЧУК. Ну ясно, что почти что... Давай жевать!

Ростопчук и Иван усаживаются на ковер возле котелка с картошками.

ИВАН. Сейчас и в роте — тоже прием пищи идет. Не слышать, Геннадий Софроныч, когда мы отсюда вперед тронемся?

РОСТОПЧУК. Не слышать пока. У генерала здоровья полного еще нету.

ИВАН. Это мне понятно. Тело у него на поправку пошло, а сердце по семейству болит, а семейства нету.

РОСТОПЧУК. Ты бы поменьше вникал в медицинские дела. Сам же согласился быть вестовым и сопровождать генерала поехал.

ИВАН. Да как вам сказать, Геннадий Софроныч, я и по охоте, я и по нужде, и по назначению. Генерал же из моей дивизии, мне надобно его сберечь и наблюдать.

РОСТОПЧУК. А ты не чувствуешь, Иван, что ты — того — не вполне по уставу содержишь себя?

ИВАН. Чувствую.

РОСТОПЧУК. Это я тебя распустил.

ИВАН. Точно, товарищ лейтенант. Меня нельзя распускать. Вот вы, например, сейчас только одну стопку выпили, а я на кухне уже стакан хватил.

РОСТОПЧУК. Ну? Вот ты творение какое! А что с тобой сделаешь, раз генерал терпит тебя при себе...

ИВАН. А генерала я при сердце своем терплю, Геннадий Софроныч! А по прочему ведь скучно, товарищ лейтенант; в тылу какое нам существование! Там при деле сердце лежит, а здесь при печали томится. Там ты весь народ за спиной бережешь, а здесь имущество от пыли караулишь.

РОСТОПЧУК. Справедливо, Иван. Грустно нам в тишине, без тех людей, без товарищей, не горит у меня тут сердце ежедневно. Заботы благородной нету! Живу только любовью к нему — нужен он войскам!

ИВАН. Необходим!

РОСТОПЧУК (*уже в упоении воспоминаний*). Сейчас немец, в эту пору, любит огнем нас прощупывать.

ИВАН. Любит... А мы любим огонь тот засекасть да помалкивать. А попозже, когда солнце в упор на нас засветит, мы начнем класть по его огонькам — и пушки его иные калечатся, иные помирают совсем, а расчеты уж не встанут на ужин.

РОСТОПЧУК. А стемнеет, Иван, — когда стемнеет, самолеты выходят... Спишь — и слышишь, и еще крепче спишь.

ИВАН. Солдат с бомбежкой не считается... Эх, хорошо там, Геннадий Софроныч.

РОСТОПЧУК. Там хорошо, Иван. Там свободно живешь. У солдата одна забота — враг. А здесь сколько забот!

ИВАН. А перед боем, Геннадий Софроныч!.. Перед боем — на душе у тебя тревога, чувствуешь себя всего туго, за минуту норовишь год прожить — чего недоел, недопил, чего из жизни не успел ухватить — жалко делается. Думаешь, выйду из боя, ничего не упусти, — отдай, что полагается! А выйдешь из боя, своих убытков не считаешь и рад, что неприятеля одолел. В том и есть вся радость солдата!

РОСТОПЧУК. В том и есть вся радость... А ты уж считал, сколько тебе щей еще полагается, если бы ты лет до ста прожил?

ИВАН. Да нет, товарищ лейтенант, вы солдата неточно тут учили. Солдат это только так говорит, а думает он по обширному!

Легкий стук в дверь. Входит генерал-лейтенант медицинской службы Череватов.

Ростопчук и Иван с некоторым опозданием вскакивают и вытягиваются — так что Череватов успевает осмотреть их в первоначальном положении.

ЧЕРЕВАТОВ. Здравствуйте. Вы кто тут? Свои, чужие, посторонние, родственники — или никто?

РОСТОПЧУК. Адъютант генерал-майора Александра Ивановича Климчицкого, — лейтенант Ростопчук!

ИВАН. Ординарец генерал-майора товарища...

ЧЕРЕВАТОВ. Все вижу! Опомнитесь! Остановитесь! Ничего не надо. Что?.. Это что здесь находится?

РОСТОПЧУК. Здесь находится квартира генерал-майора Александра Ивановича Климчицкого...

ЧЕРЕВАТОВ. Ага. Хорошо. Хотя что же особенно хорошего? А я знаете кто?

РОСТОПЧУК. Знаем, товарищ генерал-лейтенант медицинской службы, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Федорович, товарищ Череватов...

ЧЕРЕВАТОВ. Медицинских и прочих наук, и прочих!..

Осматривает квартиру, пробует вещи, разглядывает котелок с картошкой.

Иван хочет убрать котелок, исполняя безмолвное указание Ростопчука.

Не трогать! Остыла картошка?

ИВАН. Никак нет, еще теплая.

ЧЕРЕВАТОВ. Дай одну.

РОСТОПЧУК. Разрешите очистить и масла подать?

ЧЕРЕВАТОВ. Не смей! Давай в коже — полевую!

Ему дают картошку. Череватов ест ее.

На отдельном столике стоят пузырьки, склянки, корбочки и прочая посуда с лекарствами, с хвостами рецептов. Череватов осматривает эту медицину.

РОСТОПЧУК. Товарищ генерал-лейтенант... Это заготовлено по приказанию лечащих врачей — на предмет излечения нашего командира генерал-майора Климчицкого.

ЧЕРЕВАТОВ. Вижу, знаю, предчувствую!.. Чепуха! Я его сам буду лечить, пользоваться, воодушевлять! Эту ерунду убрать всю, выбросить ее бесследно! *(Череватов берет один за другим два-три пузырька, рассматривает рецепты.)* Это что? Ага... Ну ясно. Этим хотят сердце и душу моего больного поправить? Три раза в день по пять капель — и получается жизнерадостность. А это? Порошок. Его надо есть после еды — и получается покой внутренних органов. А тут что? Впрыскивание. Два кубика в вену — и из этого получается счастье, и человек хочет жениться! Магия!.. Выбросить прочь!..

Иван хватает котелок из-под картошки и сыпает туда со столика все лекарства.

РОСТОПЧУК *(довольный)*. Порядок! Разве можно нашего генерала каплей лечить?

ИВАН. Да разве можно любого боевого мужика из пузырька вылечить? Мы и в санбате не каплей лечились, а кашей с салом! *(Уходит.)*

ЧЕРЕВАТОВ. Так, стало быть, в этих условиях и будет отдыхать и выздоравливать Александр Иванович?

РОСТОПЧУК. Так точно, в этих, товарищ генерал-лейтенант. Может, разрешите привести всю эту бытовую обстановку в полное соответствие с уровнем медицинской науки?

ЧЕРЕВАТОВ. Не приводить в соответствие, уровня нету!.. Оставить все как есть, все здесь должно быть обыкновенно, скучно, неудобно. Организуйте ему некоторое неудобство! Он должен чувствовать реальную жизнь, а не томиться здесь, как цветок в лепестках, — тогда он умрет.

РОСТОПЧУК. Есть. Будет неудобство... А как насчет воздуха, питания и прочего режима?.. Если легкий сквозняк — он вреден или больше полезен?

ЧЕРЕВАТОВ. Сквозняк? — Даже ветер! Пища — всякая, вплоть до водки, и в любых количествах. Режим? Эту болезнь надо лечить свободным блаженством... Пусть генерал танцует, ухаживает, собирает общество, живет пустяковой жизнью...

РОСТОПЧУК. Слушаю! Стало быть, товарищ генерал-лейтенант, лечения никакого не нужно?

ЧЕРЕВАТОВ. Наоборот — необходимо, неизбежно, категорически нужно! Но лечение достигается посредством избавления, посредством свободы и случая. Человека надо лечить посредством другого человека — и только! Но не всякий человек излечивается всяким другим человеком, а только единственным, который ему неизбежно полезен, необходим, категорически нужен!

РОСТОПЧУК. А разрешите спросить, товарищ генерал-лейтенант, посредством какого человека можно излечить нашего генерала?

ЧЕРЕВАТОВ. Вы не соображаете, не думаете, не предвидите, не взвешиваете, не...

РОСТОПЧУК. Не подытоживаю, товарищ генерал-лейтенант...

ЧЕРЕВАТОВ. Не подытоживаете, не организуете, что говорите. Если бы я знал, какой именно нужен человек нашему генералу для избавления его от страдания, — я бы давно его вылечил. Я давно уже веду этого больного. Тело его мы залечили, от ранения остались только шрамы, а от болезни остался лишь пустяк — великая тоска по войскам, туда его еще нельзя пускать! Не разрешаю! И тоска по своей милой, но умершей жене. Он любил ее и любит верной, неразлучной любовью, как оно и полагается любить.

РОСТОПЧУК. Может, разрешите, товарищ генерал-лейтенант, поискать подходящего человека?

ЧЕРЕВАТОВ. Опять вы не...

РОСТОПЧУК. Понимаю!

ЧЕРЕВАТОВ. Вы не... Ведь этот подходящий, нужный, полезный ему человек находится в единственном количестве, и содержится он в недрах всего человечества. Отыскать, открыть, найти, наблюдать, привлечь, приурочить этого человека — моя великая задача! Больше, важнее, обширнее, глубже того — это задача всей нашей науки!

РОСТОПЧУК. А из нас, из близкой среды, никто не подойдет для этой великой задачи?

ЧЕРЕВАТОВ (*раздраженно*). Опять вы не...

РОСТОПЧУК. Не подхожу, не соответствую, недооценил...

ЧЕРЕВАТОВ. И переоценил, и переоценил! Это хорошо. Цени себя выше! В каждом существе природа создает свой новый дар!

РОСТОПЧУК. Я это в себе чувствую, товарищ генерал-лейтенант.

Входит Климчицкий — он одет в гражданский черный костюм. Вслед за ним — Иван. Климчицкий внешне в хорошем настроении духа.

КЛИМЧИЦКИЙ. Здравствуйте... Здравствуйте, Дмитрий Федорович!

РОСТОПЧУК. Здравствуйте, Александр Иванович!.. Разрешите вам выразить приветствие — в этом втором эшелоне, где мы временно скучали по вас...

КЛИМЧИЦКИЙ. Ничего, скоро опять в первом эшелоне будем. (*К Череватову.*) Дмитрий Федорович, я могу быть теперь свободным от болезни и — от вас? Мне пора в войска!

ЧЕРЕВАТОВ. Абсолютно свободны, Александр Иванович. Вы можете сейчас отправляться хоть в рукопашную атаку. Вперед на врага, товарищ генерал-майор!

РОСТОПЧУК. Прикажете вещевые сумки укладывать, Александр Иванович?

ИВАН. Обождем маленько, товарищ лейтенант. Из медсанбата сразу в атаку не выскакивают. Я не видал...

ЧЕРЕВАТОВ. Здравый, толковый, заботливый, преданный умом умелый солдат.

КЛИМЧИЦКИЙ (*весело*). Да, Иван у меня большой солдат. Только в тылу, не у дела я его затамил.

ИВАН. Дело я свое справлю, товарищ генерал Александр Иванович, — как вы только отдышитесь, так опять на отдых в свою роту пойду.

КЛИМЧИЦКИЙ. Устал ты тут, Иван?

ИВАН. И правда, притомился, Александр Иванович.

РОСТОПЧУК. Может, гостей прикажете созвать, Александр Иванович?

ЧЕРЕВАТОВ. Это полезно. Это организация самоутешения. И я приду, а может, и не один еще — старушку какую-нибудь с собой за ручку приведу.

КЛИМЧИЦКИЙ. Я был бы рад, но ведь кого же именно созывать, Геннадий Софроныч? У нас и знакомства нет в этом тылу. Город здесь небольшой, люди все заняты.

РОСТОПЧУК. Ну, местное общество всегда найдется, Александр Иванович. Здесь даже одна знакомая, известная вам, проживает.

КЛИМЧИЦКИЙ. А что ж, с людьми веселей. Устраивайте, Геннадий Софронович. Как мой «виллис»?

РОСТОПЧУК. Полный порядок, Александр Иванович: хоть сейчас заправили — и на войну.

КЛИМЧИЦКИЙ. Ну хорошо, действуйте. Пусть будут гости, я соскучился болеть.

РОСТОПЧУК. Это мы с Иваном вмах!

Ростопчук и Иван исчезают.

ЧЕРЕВАТОВ. Как вы себя чувствуете, однако, Александр Иванович? Вы действительно такой оживленный, какого я вижу, или вы только владеете собой и меня обманываете, повергаете в заблуждение, совершаете обходный маневр?

КЛИМЧИЦКИЙ (*неуверенно, смущенно*). Нет, я вправду веселый, Дмитрий Федорович.

ЧЕРЕВАТОВ. Вообще-то я против веселости. Но в данном случае я веселье духа вам рекомендую, предписываю, внушаю, приказываю — как генерал-лейтенант!

КЛИМЧИЦКИЙ (*по-солдатски*). Есть веселье духа, товарищ генерал-лейтенант медицинской службы!

ЧЕРЕВАТОВ. Ну вот, так и поступайте. Пиво пьете?

КЛИМЧИЦКИЙ. Изредка, товарищ генерал-лейтенант.

ЧЕРЕВАТОВ. Чаще, чаще пейте. Ничего не избегайте, делайте всё, что все делают, что обыкновенно. Прогуливай-

тес, по дороге забредите куда-нибудь — в ресторан, в кафе, в пивную точку, — знаете, есть такие — там всегда ассамблея посетителей и всего один прилавок, а за ним особа стоит, пиво в кружки наливает, до черты никогда не допустит, и сама, бедная, за счет недолива, за счет пены живет. Да бог с ними, вы их не избегайте и не обижайтесь на них... Ну, я вечером, может, еще проведу вас.

КЛИМЧИЦКИЙ. Прошу вас, Дмитрий Федорович. Буду вам очень благодарен.

Череватов уходит.

Климчицкий один. Он обходит комнату, осматривает мебель, стены, трогает руками предметы, молчит.

Вещи хорошие, но — чужие. Она их никогда не видела.

Пауза.

Надо иметь и свою собственность... Жалкая у нас с ней осталась собственность!

Вынимает из бумажника два предмета: фотографию Марии Петровны и ее носовой платок. Фотографию он прикрепляет к стене, пользуясь молотком и гвоздем, оставленными Иваном на полу. Затем он подносит платок к своему лицу, нюхает его.

Еще руками ее пахнет.

Четвертая картина

Та же обстановка. Убранный стол с яствами, но яства эти довольно скромные. Сначала сцена пуста. Затем входит Климчицкий. Одет он по-прежнему в гражданское платье, он по-прежнему в напряженном состоянии духа, которое извне кажется спокойным и даже веселым. Он подходит к столу, смотрит на яства.

КЛИМЧИЦКИЙ. Мария тоже любила гостей собирать. Я, помню, еще ревновал ее к обществу. Как и всякий человек, я хотел, чтоб она только меня одного знала на свете... Она мне раз правильно сказала: если я тебя одного буду знать на свете, какая же честь в моей любви к тебе? Я тогда понял ее, а согласиться не мог. Теперь я согласен с нею, но сказать ей об этом не могу, поздно уже. Главных, самых важных слов

я так и не успел ей сказать. А уже гостей созвал, веселиться хочу, — все это творится по какому-то странному самотеку обычая и любезности. Не устранить ли это все, взять трость в руку и уйти одному в ночное мирное поле?.. Как ты думаешь, Мария Петровна? Ты молчишь, ты всегда теперь молчишь. Ты бы позвонила или постучала в дверь и вошла сюда. Я бы многое тебе мог теперь рассказать, самое главное, что не успел сказать и все откладывал, думал — успею, позже скажу...

Стук в дверь.

Пожалуйста! Входите!

Входят Ростопчук и Любовь.

(К Любви.) А мы с вами знакомы!

ЛЮБОВЬ. Ну конечно, Александр Иванович, знакомы, и уже довольно давно. Но вы меня, наверно, ни разу не вспомнили, а я вас ежедневно.

Здороваются.

КЛИМЧИЦКИЙ. Неужели ежедневно — так часто?

ЛЮБОВЬ. И даже чаще — непрерывно... Со мною еще се-стра моя там в гости к вам пришла, можно, она придет?

КЛИМЧИЦКИЙ. А где же она? Пожалуйста!

РОСТОПЧУК. Она стесняется, товарищ генерал, она на-ружи осталась. *(Тихо.)* Она сержант.

КЛИМЧИЦКИЙ. Какой сержант?

РОСТОПЧУК. Да, ну это — ну это ПВО, объект сторожат, в объекте сани на зиму вяжут.

КЛИМЧИЦКИЙ. Значит, она тоже солдат. Так тем лучше. Как же вы смели ее на улице оставить? Разве можно солдата унижать? Проси, скажи — я велел быть ей у меня в гостях!

РОСТОПЧУК. Есть. *(Уходит.)*

КЛИМЧИЦКИЙ. Любовь Кирилловна! Не хотите ли выпить чего-нибудь: у нас есть пиво, фруктовая вода, чай есть.

ЛЮБОВЬ. Только не напитки. Я их видеть не могу. Я сама директор...

Входят Ростопчук и Варвара. Варвара в большом смущении, но, не видя генерала — Климчицкий в гражданском костюме, — немного успокаивается.

ВАРВАРА *(тихо, Ростопчику)*. А где же генерал, товарищ лейтенант? Его не будет?

РОСТОПЧУК (*тихо*). Да генералы сразу не появляются: у них времени нету, у них война на руках.

Варвара смело подает руку Климчицкому.

ВАРВАРА (*Климчицкому, разочарованно*). А я думала — вы генерал!

КЛИМЧИЦКИЙ (*улыбаясь*). Да что вы!

РОСТОПЧУК. Ну, пора! Давайте торжествовать, что ль? Прошу! Не теряйте времени, начнем настоящую жизнь!..

Все усаживаются за стол. Выпивают, закусывают.

КЛИМЧИЦКИЙ. Как вы поживаете, Любовь Кирилловна? Как вы устроились здесь?.. И простите — вы замужем?

ЛЮБОВЬ (*смеясь*). Что вы, Александр Иванович? У меня мужа нету. Я вообще трудна для замужества.

КЛИМЧИЦКИЙ. Вон как... Может быть, это вам кажется только, Любовь Кирилловна?

ЛЮБОВЬ. Да нет, нисколько не кажется. Да и мне лет порядочно — уже достаточно сравнялось, в деревнях таких, как я, перестарками зовут.

ВАРВАРА (*хриловатым, мужским, как бы махорочным, прокуренным голосом*). В деревнях такие за вдовцов выходят, а в городе за инвалидов.

ЛЮБОВЬ. Я вот посмотрю — за кого еще ты выйдешь, солдатский сапог с ложкой!

ВАРВАРА (*тем же голосом*). Я-то? Я не солдатский сапог с ложкой, — я воин, я, Любочка, в Сталинграде на волжской переправе связисткой стояла...

РОСТОПЧУК. Ого! Вы в Сталинграде были?..

КЛИМЧИЦКИЙ. Так вы воин бывалый, Варвара Кирилловна. Ваше здоровье!

ЛЮБОВЬ. Подумаешь — она в Сталинграде была. А я от немцев бежала!

ВАРВАРА (*тем же голосом*). Бежала!.. Сама говорила — как ты бежала: тебя наш боец на руках через речку перенес!

ЛЮБОВЬ (*обижаясь все более*). Неинтересный разговор! И общество скучное какое-то: болящие да выздоравливающие!.. Геннадий Софроныч, а вы говорили — у вас весело будет, народу много, танцевать будем, а тут одна сестра моя, солдат, инструкции говорит — и у меня уже изжога от нее начинается.

РОСТОПЧУК. Вот тебе раз! Веселье потом — мы по порядку живем; у нас дом строгий.

ВАРВАРА (*тем же голосом*). А ей тут все равно будет скучно — она генералов любит и старший командный состав.

РОСТОПЧУК. Генералов мы доставим! Пустяки...

ЛЮБОВЬ (*слегка смутившись*). Александр Иванович, а вы кто теперь?

КЛИМЧИЦКИЙ. Кем был, тем и остался, Любовь Кирилловна.

ЛЮБОВЬ. А я думала...

КЛИМЧИЦКИЙ. А вы не думайте...

ЛЮБОВЬ. Я думаю о вас, Александр Иванович.

КЛИМЧИЦКИЙ. Благодарю вас, но это напрасно, Любовь Кирилловна. Чего обо мне думать — какая я задача.

ЛЮБОВЬ. Я ошибку сказала — я о вас не думаю, а я вас как-то чувствую и не могу никак ничего понять...

КЛИМЧИЦКИЙ. А что нельзя понять — то, может быть, и недостойно понимания.

ЛЮБОВЬ. Не знаю... Я не знаю, Александр Иванович, но мне так грустно бывает жить... У вас тут хорошо, но все равно потом придется уйти и расстаться...

КЛИМЧИЦКИЙ. Это, правда, печально... Но что же нам делать? Разве вы хотите навсегда здесь остаться?

ЛЮБОВЬ. Я хочу навсегда тут остаться, это правда.

КЛИМЧИЦКИЙ. Мы бы вам скоро надоели, Любовь Кирилловна. И мы недолго здесь будем — мы уедем опять на войну... А потом, после войны, опять встретимся с вами. Давайте будем дружить!

ЛЮБОВЬ (*разочарованно*). Водиться? Это что!.. Это ребяташкам и девчонкам радость.

РОСТОПЧУК (*Варваре, тихо*). Атака и контратака!

ЛЮБОВЬ. А где же музыка?

РОСТОПЧУК. Найдется.

Ростопчук встает и садится за рояль. Начинает играть вальс. Любовь протягивает руки к Климчицкому — с тем чтобы он повел ее в танце.

КЛИМЧИЦКИЙ. Прошу прощения, Любовь Кирилловна. Но сначала я всегда думаю о солдатах. А сержант — тоже дама.

Климчицкий приглашает Варвару. Любовь остается в недоуменном одиночестве. Варвара идет навстречу Климчицкому; вдруг останавливается, резко поворачивается, отходит в угол к креслу и там быстро и ловко сбрасывает с себя сапоги — и обнаруживается, что она обута в бальные туфли и на ее ногах шелковые чулки; все это в готовом виде помещалось в сапогах; на пол падает ложка, эту ложку Варвара бросает обратно в сапог. Затем, таким же быстрым приемом, Варвара снимает с себя пояс и португю, сбрасывает через голову гимнастерку — и остается в заранее надетой шелковой нарядной блузке. Перед зрителем появляется преображенная красивая девушка, в которой уже нет ничего мужского, и говорит Варвара далее нежным, девическим альтом, а не махорочным басом. Ростопчук, оглянувшись, прерывает игру.

ВАРВАРА (слегка оправляя на себе блузку). Я теперь ничего.

Климчицкий берет Варвару за талию — для танца.

РОСТОПЧУК (не играя). Я тоже хочу.

КЛИМЧИЦКИЙ. Продолжайте, Геннадий Софроньч.

РОСТОПЧУК. Настроения нету, мне уже эта муза наскучила.

КЛИМЧИЦКИЙ. Ну что же вы?.. Разве может муза наскучить?

РОСТОПЧУК. Может. Муза же дух, Александр Иванович. А я тоже хочу сейчас чего-нибудь конкретного — в форме туловища... (Кричит.) Иван!

Появляется Иван.

Садись — подребезжи, а я поработаю.

ИВАН. С тонконожкой с этой? — Какая с ней работа!

Иван садится за рояль; он начинает играть. Игра его, конечно, гораздо менее умелая, чем игра Ростопчука. А главное — Иван по временам создает своей музыкой нестерпимое и мучительное положение для танцующих, потому что Иван внедряет в вальс посторонние и фантастические мелодии: в вальсе слышится и «Барыня», и «Наверх вы, товарищи», и другие музыкальные пьесы; кроме того, иногда Иван и подпевает, а также помогает

себе ногами (педалями он не пользуется). Ростопчук берет в танец Любовь.

РОСТОПЧУК. Иван, давай такты. Не спеши!

Иван играет, все танцуют с большим трудом.

(Веда Любовь мимо Ивана.) Не выдумывай, держись устава. Это нотное дело.

ИВАН. Не выдумывать нельзя: у меня голова такая — не пустая!

Танец продолжается. Входят Череватов и Наташа.

ЧЕРЕВАТОВ *(у входа)*. Нормально, здраво, научно, логично! Это истинный, настоящий лечебный режим! Я того и требовал, это самое я и предписывал! Великолепно, продолжайте!

Иван, прервав игру, встает и вытягивается. Варвара, вырвавшись от Климчицкого, вытягивается и замирает перед Череватовым.

ВАРВАРА. Разрешите присутствовать, товарищ генерал-лейтенант?

ЧЕРЕВАТОВ. Какой генерал-лейтенант, кто это, где он?

НАТАША. Дядя, это вы!

ЧЕРЕВАТОВ. Кто — я?

Наташа касается рукою погона на плече дяди.

Ах вот он кто генерал-лейтенант! *(К Климчицкому.)* Что я тут должен выразить, Александр Иванович?

КЛИМЧИЦКИЙ. А вы действуйте по положению, Дмитрий Федорович, — в уставе есть свои пункты.

ЧЕРЕВАТОВ. Да, кстати, Александр Иванович, дайте мне почитать хоть раз этот самый устав... Еще вот что, чтобы не забыть, — это моя племянница Наташа; одна из семерых моих племянниц, а остальных шестерых я не взял с собой. Но это норма, бывает и больше: племя семени!

Климчицкий здоровается с Наташей. Затем Наташа здоровается с остальными. Ростопчук жестом увольняет Ивана от присутствия. Иван потихоньку уходит.

Что же вы остановились все? Танцуйте как следует. Я тоже приму участие в этом телесном торжестве.

КЛИМЧИЦКИЙ *(беспомощно)*. Я не знаю... А может, не надо больше танцевать?

ЧЕРЕВАТОВ. Необходимо, категорически полезно, я как врач приказываю вам неустанно веселиться!

КЛИМЧИЦКИЙ. А может, не надо больше?

ЧЕРЕВАТОВ. Ну тогда давайте пьянствовать, закусывать, но чем-нибудь надо непрерывно заниматься.

КЛИМЧИЦКИЙ. Не надо.

ЧЕРЕВАТОВ. А кто здесь генерал-лейтенант и кто генерал-майор? Это я к вам обращаюсь, Александр Иванович!

КЛИМЧИЦКИЙ (*сдержанно и равнодушно*). Играйте, Геннадий Софроныч!

Росточук садится за рояль, играет веселый, легкий вальс. Любовь почти хватает Климчицкого себе в пару. Череватов берет себе в пару Варвару. Наташа молча следит издали за танцующими. Климчицкий танцует совершенно механически, как мертвый автомат, и смотрит на Любовь равнодушными, пустыми глазами, не слушая, что та лепечет ему. Любовь сияет в удовольствии, совсем не понимая состояния своего спутника.

ЛЮБОВЬ. Я тоже поеду с вами на войну.

Климчицкий молчит.

Какие у вас руки холодные — я чувствую их через кофточку. Как бы я хотела их согреть своим дыханием.

КЛИМЧИЦКИЙ. Она уже никогда не будет танцевать со мной.

ЛЮБОВЬ. А кто ее хоронил? У нее могилы нету!

КЛИМЧИЦКИЙ. У кого могилы нет?

ЛЮБОВЬ. А зачем вам надо помнить мертвых? Надо забыть. Я ведь, например, совсем живая, война кончится — я опять пополнею, раньше я хорошенькая была и опять такой буду!.. Чего же вам надо еще, Александр Иванович, товарищ генерал-майор?

КЛИМЧИЦКИЙ. Оставьте меня, Любовь Кирилловна. Я больше не могу. Адъютант! Прекратить музыку!

Росточук прекращает игру. Все останавливаются.

НАТАША. Зачем люди танцуют, когда не надо танцевать.

КЛИМЧИЦКИЙ. Не надо танцевать... Вам надо всем идти домой! Ступайте домой! Идите скорее! Я больше не могу.

Все смущены. Краткая пауза.

ЧЕРЕВАТОВ. Понимаю, понимаю... Вам опять плохо. Не можете веселиться. И мне прикажете убратсья, Александр Иванович?

КЛИМЧИЦКИЙ. Да, Дмитрий Федорович, да, это желательно. Простите меня... Простите меня все... Как хочу я скорее уехать!

ЧЕРЕВАТОВ. Отлично. Ну, теперь-то я и не расстанусь с вами! Я врач!

Ростопчук в это время берет Любовь под руку и уводит ее. Наташа в смущении прижалась к стене. Варвара испуганно одевается: она засовывает ноги в солдатские сапоги, одна нога не входит: там ложка; Варвара надевает поверх блузки гимнастерку; потом вынимает ногу из одного сапога, вытаскивает оттуда ложку, вновь надевает сапог, не знает, куда деть ложку, и в смущении подает ее Наташе. Наташа берет ложку.

Это кто ж такое? Это что за существо?

ВАРВАРА (*вытягиваясь*). Сержант Божко, товарищ генерал-лейтенант медицинской службы!

ЧЕРЕВАТОВ. Демобилизовать! Демобилизовать как де-вушку, как будущую роженицу и мать, как эту — как кого?.. Как дочку, как внучку!

ВАРВАРА. Разрешите, товарищ генерал-лейтенант, выразить желание — остаться в рядах армии до победы!

ЧЕРЕВАТОВ. Еще чего!.. Рожать пора! Я вам говорю это, как сам отец, как сам дед, как сам этот — как кто еще? (*Обернувшись к Наташе.*) Кто еще бывает?

НАТАША. Ну, как доктор, как генерал-лейтенант...

ЧЕРЕВАТОВ. Ну да — и как они!

ВАРВАРА. Разрешите идти?

ЧЕРЕВАТОВ. Ступайте и исполняйте. (*Наташе.*) Отдай ей ложку!

ВАРВАРА (*выхватывая ложку у Наташи, девичьим голосом.*) Отдайте мою ложку!

Наташа отдает ложку Варваре. Варвара уходит. Наташа берет свою беретку, желая тоже уйти. Но Череватов отбирает у нее из рук беретку, кладет себе в карман и делает Наташе жест: остаться. Климчицкий, действуя в дальнейшем, ведет себя как одинокий человек, как буд-

то в комнате, кроме него, никого нет. Климчицкий открывает чемодан на полу; роется там в вещах и в одежде, но не находит, что ему нужно.

НАТАША (*тихо, Череватову*). Трудно ему сейчас.

ЧЕРЕВАТОВ. Так и должно быть, я этого ожидал. Горе его уводит от нас все дальше и дальше.

КЛИМЧИЦКИЙ. Иван!

Появляется Иван.

Иван! Где мой второй чемодан — там было одно женское платье, его Мария Петровна носила.

ИВАН. Есть в сохранности, товарищ генерал.

КЛИМЧИЦКИЙ. Принеси его.

Иван уходит и приносит платье. Климчицкий берет на руки платье и рассматривает его. Иван стоит возле него.

Оно уже старое...

ИВАН. Да, платье ношеное, а было ничего. Да и теперь оно еще вполне годное, если женщина не особо гордая.

КЛИМЧИЦКИЙ. Она не гордая. Надо разгладить его и приготовить.

ИВАН. Это можно. Я сейчас. У меня утюг горячий — я вам китель утюжил.

КЛИМЧИЦКИЙ. Неси утюг сюда. Надо осторожно гладить, надо не прожечь платья, оно и так ношеное.

ИВАН. Да я и холодным могу разгладить. Я нажимать буду, а утюг остужу.

Иван уходит и возвращается с утюгом. Он враз начинает гладить платье на столе, сдвинув с него посуду и закуски. Гладит он с солдатской размашкой, не считаясь с нежным предметом своей работы. Климчицкий бдительно наблюдает за ним, не замечая, однако, грубых жестов Ивана.

НАТАША. Разве так можно? Вы все оборки и пуговицы так посорвете. Дайте я вам поглажу, а то на женщину нельзя надеть такое платье, вы ее обидите.

Климчицкий внимательно глядит на Наташу.

ИВАН. Глядя какая женщина будет — иная и неглаженному будет рада.

НАТАША (*осторожно глядя платье*). Какое хорошее платье! Изящное, простое, такое живое по цвету... Она любила и понимала, что бывает красивым.

КЛИМЧИЦКИЙ. Она понимала... Иван, нам дамские туфли нужны — тридцать седьмой номер. Только нам надо купить очень хорошие туфли...

ИВАН. Туфли?.. Да по нашему понятию тут такого товара нету, но найти можно.

КЛИМЧИЦКИЙ. Возьми деньги и сходи поищи.

ИВАН. Сейчас прикажете отправляться?

КЛИМЧИЦКИЙ. Да, иди сейчас.

Иван уходит.

НАТАША. Хорошо быть любимой.

КЛИМЧИЦКИЙ. А мертвой хорошо быть?

НАТАША. Если быть вечно любимой, то можно и умереть.

КЛИМЧИЦКИЙ. А разве любимым легко умирать?

НАТАША. Да, когда я умирала, мне было нетрудно, мне было нестрашно.

КЛИМЧИЦКИЙ. А вас тогда любил кто-нибудь?

НАТАША. Тогда я любила, но это то же самое — и меня любили в ответ.

КЛИМЧИЦКИЙ. Кто же это был?

НАТАША. Это было много людей, и не одни люди — это были и деревья, и рожь, и облака, и наши избушки, и даже бабочки в поле над цветами, вся наша Россия.

Наташа вручает Климчицкому выглаженное платье. Климчицкий осторожно рассматривает платье, снимает с него соринки и складывает его.

ЧЕРЕВАТОВ. Вечная любовь! Вечная любовь! Она, конечно, возможна, допустима, неизбежна, вероятно есть. Но у нее есть и младшая сестра — измена, и тоже вечная. Заразные источники! Вечного много, а здоровья нет.

Является Иван с коробкой в руках.

ИВАН. Во дворе у жильца приобрел... Тридцать седьмой номер, и не надеванные ни разу, покрыты лаком... Примерить бы надо, в случае чего я обратно их отдам и деньги назад.

КЛИМЧИЦКИЙ (*рассматривая туфли в коробке*). Примеривать некому.

ИВАН (*понимая*). Царствие Божие!

КЛИМЧИЦКИЙ. Я не хочу более болеть... Я работать хочу, я жить хочу с солдатами, и я хочу сражаться! Я тоже

люблю многих людей, — а не одну ее только, бедную мертвую мою, — и я люблю и деревья, и наши избушки, и рожь, и птиц в поле над цветами... Исцелиться мне надо!

ИВАН (*задумчиво*). Горе само не любит оставлять человека, Александр Иванович. Горе истомить в себе нужно.

КЛИМЧИЦКИЙ. Оно меня томит.

ИВАН. Это худо. Вас войско ждет, нам туда пора, Александр Иванович! Вам нельзя так быть... Поплакать нужно, помолиться — да и с Богом на фронт против врага.

ЧЕРЕВАТОВ. Молиться расчета нет — Бога не существует.

ИВАН. Как расчета нету? Расчет есть: Александр Иванович нам, солдатам, нужен, там трудно без него войску обходиться, — я-то знаю!.. Я сам за него помолюсь и поплачу, может — ему легче станет.

НАТАША. Пусть он молится.

ЧЕРЕВАТОВ. Но кому?

ИВАН. Я всем святым помолюсь.

ЧЕРЕВАТОВ. Святым можно, святых и среди нас много живет, я с ними даже знаком. Это обыкновенное явление.

Иван становится на колени, лицом в угол, спиной к зрителю, и шепчет молитву. Климчицкий тоже стоит спиной к зрителю. Немного погодя встают на ноги и остаются в этом положении Наташа и Череватов.

ИВАН (*кончая молитву, кланяется до земли*). Прости нас, сестра наша Мария!

Иван подымается, оборачивается лицом к зрителю, лицо у него в слезах. Климчицкий оборачивается лицом к зрителю, лицо его также в слезах.

НАТАША (*делает движение в сторону Климчицкого, говорит с кроткой нежностью*). Александр Иванович...

Климчицкий подымает взор на Наташу, склоняется к ее руке и целует ей руку. Когда он склонился к ее руке, Наташа одним робким движением проводит рукой по волосам Климчицкого.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Пятая картина

Слева пустынный уголок парка. В отдалении, за кустарником, стоит на часах Варвара; за нею заметен какой-то склад. Справа веранда маленького кафе-пивной. На веранде стойка. За стойкой Любовь. На стойке обычная механика и принадлежности этого рода предприятия: пивной сосок, откуда льется пиво, манометр, кружки, бутылки с вином, закуски в тарелках. Ростопчук сидит на веранде за столиком.

РОСТОПЧУК. Всем увлекался, Любовь Кирилловна. Любил и целовался, утирая затем уста, усы носил — и сбрил, размножался — двое детей было, и обои скончались, путешествовал по своей воле и по чужой тоже, служил по снабжению в тресте, смысла жизни искал, нашел его и забыл, на старости лет лейтенанта заслужил...

ЛЮБОВЬ. А ведь вы разлагаетесь, Геннадий Софроньч! Вы раньше строже характером держались.

РОСТОПЧУК. Естественно. В тылу трудно — обязанностей мало, пива много.

ЛЮБОВЬ. Но неужели вы теперь совершенно неспособны любить кого-нибудь?

РОСТОПЧУК. Способен, Любовь Кирилловна, я ко всему способен.

ЛЮБОВЬ. К пиву вы способны!

РОСТОПЧУК. Нет, после пива я могу стать безумцем и, например, полюбить женщину. Ну а потом все равно пива захочется. Так что я не начинаю никого любить, а сразу выпиваю обе порции — без промежутка на любовь.

ЛЮБОВЬ. Ну, это же пошло! Вы живете без всякого аромата, без душевных иллюзий!

РОСТОПЧУК. А пена! А пивная пена! — Я сразу вдыхаю ячменные поля, я вижу васильки, птичек там различных, как девушки в колхозах по вечерам поют. В пене — всё!

ЛЮБОВЬ. Сегодня в кино «Тельняшка моряка» идет. Пойдемте со мной! Пиво там тоже в буфете продают.

РОСТОПЧУК. Нет. В кино часто моргать нужно. А я не моргающий. А сколько я вам должен за напитки?

ЛЮБОВЬ. Не помню. Приблизительно кружек двести. Да это не важно.

РОСТОПЧУК. Я думал, больше..Это очень важно. А отчего у вас здесь так пустынно?

ЛЮБОВЬ. Моя торговая точка не на месте поставлена. Тут зенитная батарея близко... Не везет мне с судьбою! А вам?

РОСТОПЧУК. Я сам судьбу везу! Что мне судьба! Я генералом не буду, не успею...

ЛЮБОВЬ. Геннадий Софроныч! А как здоровье Александра Ивановича? Кто о нем заботится — неужели вы с Иваном?

РОСТОПЧУК. Мы. Мы его вылечили. Мы скоро вперед трогаемся.

ЛЮБОВЬ. Как же вы его вылечили? Ему же было очень плохо...

РОСТОПЧУК. А мы просто. Генерал слушался моих указаний — лекарств не пил, компрессов ему не ставили, ничего не впрыскивали. Я велел ему жить нормально — и он стал жить.

ЛЮБОВЬ. Никогда не поверю, чтобы мужчина мог без женского ухода встать на ноги... Отчего меня больше не приглашали? Мне было тогда так приятно в вашей квартире! Там обстановка со вкусом, и генерал такой симпатичный, и я заметила, что со мной он здоровей себя чувствует... Только напрасно он так рано нам велел уйти. И зачем вы тогда меня увели?

РОСТОПЧУК. Вам гулять настала пора.

ЛЮБОВЬ. А мне все равно нравится генерал.

РОСТОПЧУК. Который?

ЛЮБОВЬ. Но второй ведь не строевой службы! Он — так... Когда я еще увижу генералов? Геннадий Софроныч, вы должны организовать в нашем населенном пункте высшее культурное общество. Нам нужно развитие... Я хочу генералов! Не смейтесь надо мной: мне скучно!

РОСТОПЧУК. Я не смеюсь, Любовь Кирилловна. Я все больше и больше привыкаю, а впоследствии постепенно, вероятно, полюблю вас!

ЛЮБОВЬ. А вы скорее, а то вы можете постареть.

РОСТОПЧУК. А вы?

ЛЮБОВЬ. Нет, у меня еще время есть.

РОСТОПЧУК (*вставая из-за столика*). Тогда я сейчас!

Ростопчук идет к стойке. В это время появляются Климчицкий, Наташа и Череватов. Ростопчук замечает их и старается поспешно удалиться за стойку, за спину Любови, к выходу из кафе через заднюю дверь.

ЛЮБОВЬ. Вы чего же шутите со мной? Иль вы пиво боитесь пить при генералах?

РОСТОПЧУК. Пить можно, но у меня дозы большие. (*Уходит через заднюю дверь.*)

ЛЮБОВЬ (*разглядывая Наташу*). А она ему не пара! Нет, в ней чего-то тонкого нету — ни в фигуре, ни во взгляде. С генералами должны гулять высшие натуры! А это что — это случайность судьбы, слепая фортуна! Подумаешь: одна с двумя генералами!

Климчицкий и его спутники замечают Любовь и раскланиваются с нею; причем Череватов, одетый в генеральскую форму, снимает головной убор, а Климчицкий, одетый в гражданское платье, приветствует Любовь по-военному. Климчицкий сейчас в уравновешенном, спокойном состоянии духа, без прежнего скрытого напряжения.

НАТАША (*про Любовь Кирилловну*). Какая она славная! В ней целое счастье для кого-нибудь хранится.

КЛИМЧИЦКИЙ. Да, она добрая женщина. Только она ведет себя как дитя, — для других это очаровательно, а для нее бывает и мучительно...

ЧЕРЕВАТОВ. Фитюлька!.. (*К Климчицкому.*) А вы что же, дорогой мой, у вас сейчас действительно вполне, это, так сказать, здоровое самочувствие — или вы опять насильно действуете над собой, опять маскировка, камуфляж, маневр воли, обман врача и захват его в клещи, с целью бросить меня, старого, в котел окружения?..

КЛИМЧИЦКИЙ (*улыбаясь*). Я как мог держался, Дмитрий Федорович... Я желал только исцеления... Мне нужно на войне работать! Я опирался только на одно свое сердце, я давил страдание одним своим сознанием.

ЧЕРЕВАТОВ. Ну и что же, — для этого вы показательно веселились, когда вам нужно было плакать?

КЛИМЧИЦКИЙ. Я все средства пробовал... Но для исцеления мало оказалось одного своего сердца или одной своей воли, Дмитрий Федорович!

ЧЕРЕВАТОВ. Мало, мало! *(Подымается на веранду кафе, к Любви.)* Пива — две порции, и гороховую летучку на блюде!

Любовь обслуживает Череватова; вскоре она даже подсаживается к Череватову и чокается с ним пивной кружкой. Между ними идет мимическая сцена — в духе их характеров.

Климчицкий и Наташа отходят в безлюдный угол парка, что находится слева от кафе. Там есть скамья.

А неподалеку от скамьи, за садовым кустарником, стоит на часах Варвара.

КЛИМЧИЦКИЙ. Копейка лежит. Надо поднять. *(Нагибается и поднимает с земли копейку.)* Хотите, я вам подарю копейку?

НАТАША. Дайте ее мне. Я люблю копеечку.

Климчицкий дарит ей копейку. Наташа рассматривает денежку, потом аккуратно прячет ее в свой маленький кошелек.

Пусть бережется — сгодится когда-нибудь.

КЛИМЧИЦКИЙ. Все надо беречь — и копейку, и хлебный колос, и вас...

НАТАША. А вот червяк лежит — мертвый или живой? *(Поднимает червяка и разглядывает его.)* Живой еще немножко, но его дядя мой растоптал — он ничего не замечает, он только думает.

КЛИМЧИЦКИЙ. Может, он живой еще. Вы подышите на него.

НАТАША *(дыша на червяка)*. Он оправится, он терпеливый.

КЛИМЧИЦКИЙ. Пустите его в прохладное место. Он работать будет, он тоже пахарь, он раньше крестьянина землю готовит, он жует ее и жует...

НАТАША *(пуская червяка в почву)*. Червяк — нужный человек. Ступай — трудись... Ветер шумит в деревьях, ли-

стья осыпаются, в природе всегда слышится какая-то музыка, а слов нету...

Варвара издает возглас девичьим альтом.

ЧЕРЕВАТОВ (кричит с веранды). Наташа, как называется еще неизбежность, непреодолимость, необходимость?

НАТАША (сразу, автоматически). Безусловность, категоричность!.. (К Климчицкому.) Не обращайтесь на мои слова.

КЛИМЧИЦКИЙ. Говорите что хотите, делайте что хотите, лишь бы вы не умерли. На вид вы не очень здоровы — вы молоко каждый день пьете?

НАТАША. Нет, не каждый день. Нас ведь у дяди семеро племянниц, и все младше меня, да еще три тетки есть и дедушка в девяносто два года.

КЛИМЧИЦКИЙ. Безобразие! Я прикажу с завтрашнего дня носить вам молоко!

НАТАША. А к чему? Разве я особая какая? Мне молоко не нужно. Я и картошкой с маслом бываю сыта.

КЛИМЧИЦКИЙ. Отставить! Я сам решу этот вопрос.

НАТАША. Без меня не решите. Я — не пьющая молока.

КЛИМЧИЦКИЙ. Я вас приучу, я вас заставлю.

НАТАША. А к чему? Я живу как могу, всем довольная.

КЛИМЧИЦКИЙ. Что значит — как могу?

НАТАША. А это значит — как нужно.

КЛИМЧИЦКИЙ. Нет, вы живете — как не нужно. Молока вы не пьете, дядя о вас не думает, вы можете погибнуть.

НАТАША. Едва ли. Если бы могла, я бы уже погибла.

КЛИМЧИЦКИЙ. Наташа!.. Кто же вас допускал до гибели? Погибать может только солдат!

НАТАША. Неправда.

КЛИМЧИЦКИЙ. Правда. Я лучше знаю. Мать вас родила лишь однажды, а солдат должен сберечь вас от гибели хоть тысячу раз.

Варвара издает возглас мужским голосом, подобный криканию.

НАТАША. От кого же меня нужно постоянно беречь?

КЛИМЧИЦКИЙ. От злодейства, от врага. Возле вашей жизни должен всегда, вечно стоять солдат на часах. Иначе напрасно народ рождает своих детей, их умертвит злодей-

ская сила. Что мать родила только однажды, то солдат обязан беречь постоянно, — солдат так же нужен, как мать.

НАТАША. Значит, когда я живу, кто-то другой должен умереть за меня?

КЛИМЧИЦКИЙ. Должен. Это солдат должен, это я должен.

НАТАША. Не надо!.. Никому не надо за меня умирать — что я? Какая от меня радость? Солдат лучше меня человек...

КЛИМЧИЦКИЙ. Не лучше, не в этом дело. Смерть для солдата не казнь, а подвиг и свойство его. Он простой человек.

НАТАША. Это правильно, а правильное не всегда ведь бывает.

КЛИМЧИЦКИЙ. Но так должно быть!.. Наташа, как вы тут будете жить одна, когда я уеду? Я боюсь за вас.

НАТАША. Я за вас тоже боюсь, там стреляют.

КЛИМЧИЦКИЙ. Наташа... Я опять хочу теперь жить, как прежде жил, — уехать на фронт, быть женатым, иногда отдыхать на скамье, как сейчас, подбирать копейки и оживлять червей. Солдату мало нужно.

НАТАША. Я могу только оживлять червей, подбирать копейки и не пить молока...

ЧЕРЕВАТОВ (*кричит с веранды кафе*). Наташа! Как называется куриное яйцо?

Наташа не успевает ответить.

(*Кричит.*) Не надо! Вспомнил: белок! (*К Любови.*) Итак, берется белок пополам с ветчиной!

ЛЮБОВЬ. А не лучше ли будет витамин С?

ЧЕРЕВАТОВ (*кричит*). Никаких витаминов! Ветчина, сало, говядина!.. Витамин — измышление...

КЛИМЧИЦКИЙ. Вы можете пить молоко, вы можете быть счастьем человека.

НАТАША. Для счастья другого надо быть очень хорошей, надо иметь в себе что-то такое, чего я в себе не чувствую.

КЛИМЧИЦКИЙ. Но другой может это чувствовать.

НАТАША. Это нельзя. Как же он может чувствовать то, чего нет. Зачем его обманывать? Ему это только кажется.

КЛИМЧИЦКИЙ. Он в этом уверен.

НАТАША. Веруют и в пустое.

КЛИМЧИЦКИЙ. Нет! Я вижу, я ясно вижу то, что...

НАТАША (*перебивая*). Вы видите, что вам хочется видеть, а его не существует.

КЛИМЧИЦКИЙ. Так где же оно есть, что мне нужно?

НАТАША (*терпеливо и кротко улыбаясь*). Что вам нужно, того много на свете.

КЛИМЧИЦКИЙ. Не уходите от меня! Что мне нужно — живет только в одном человеке.

НАТАША. Я не боюсь быть несчастной, Александр Иванович. Я боюсь вашего несчастья.

Варвара издает возглас девичьим альтом.

КЛИМЧИЦКИЙ. Наташа! Я вас совершенно не понимаю...

НАТАША. Я, как Иван, хотела сохранить вашу жизнь... Я так думала... Вы лучше меня, Александр Иванович. Вы возвышенный человек! А я, я сама еще не знаю — кто я такая и чего я стою... И потом, я должна сказать вам, Александр Иванович, что я была долго и опасно больна.

КЛИМЧИЦКИЙ. Наташа... Зачем вы мне говорите эти пустяки? Если вы больны, я позабочусь о вас. Если вы сами не знаете, чего вы стоите, и если вы даже ничего не стоите, — я обязан сделать так и я сделаю, что вы будете стоять дорого, дороже всего на свете, и не для меня только, а для всех!

НАТАША. Вы не знаете, что я хочу сказать, Александр Иванович...

ЧЕРЕВАТОВ (*с веранды*). Вам не пора пиво пить? А то мне кончать пора!..

КЛИМЧИЦКИЙ (*про себя*). Опять этот старик! Я от него снова заболею — и уж тогда умру.

Череватов спускается с веранды из кафе и подходит к Климчицкому и Наташе.

ЧЕРЕВАТОВ. Ну, о чем вы тут бормотали? Или уже все ясно стало?

КЛИМЧИЦКИЙ. Дмитрий Федорович, Наташа была сильно больна... А вы сейчас следите за ее здоровьем?

ЧЕРЕВАТОВ. Голубчик, у меня их семеро! Семеро! И одна Наташа как раз никогда не болела.

НАТАША. У меня не болезнь — у меня смерть была.

ЧЕРЕВАТОВ. От нее я не лечу. Хотя, по совести, от нее только и надо лечить. *(К Наташе.)* А как же у тебя смерть была и как ты излечилась от нее? Это медицински интересно.

НАТАША. Я болела долго головой. Меня били по темени. Сначала они хотели, чтоб я совсем умерла, потом они хотели, чтоб я наполовину умерла, а наполовину осталась живой, чтоб я стала страшной для народа, чтоб я стала безумной — от этого народ должен больше бояться немцев. У меня осталась рана на темени в голове, она зажила теперь, но там ямка. Вы попробуйте ее. *(Она рукой трогает свою голову. Климчицкий тоже осторожно касается рукою ее головы.)*

ЧЕРЕВАТОВ. Обычная черепная травма.

НАТАША. Обычная... Я сначала должна умереть, и я умирала, потом сделали, что я осталась жить полумертвой и безумной, и я такой была, только недолго... Я в партизанах была, в одном отряде — только немножко, я мало совсем была в партизанах и ничего, кажется, не сделала. Мне велели сходить в город Рославль на разведку, это нетрудное было дело для меня. Я пошла и вернулась, все узнала. Потом опять пошла, второй раз. Меня немцы посадили в тюрьму. В тюрьме меня стали калечить, как всех, но я терпела. Меня спрашивали, — я, правда, знала много, но ничего не говорила. Меня велели убить. Нас вывели на хозяйственный двор в тюрьме и расстреляли всех, нас стояло тогда сорок восемь человек. В меня попали слабо, поранили в мякоть руки, но мы все упали. Потом нас завалили соломой и дровами, облили дрова бензином и ночью зажгли, чтобы мы сгорели. Когда загорелся огонь, я уползла через ограду, разбитую бомбой с нашего самолета.

ЧЕРЕВАТОВ. Обожди, а отчего же я этого не знал ничего?

НАТАША. Я спряталась, а меня опять нашли и вернули в тюрьму. Там я скучала. Немцы устали от меня, не знали, что делать. Чтоб всем страшно стало, кто русские и кто на воле, немцы велели выпустить меня утром. А ночью меня вызвали к палачу, палач бил меня по темени и проверял, чтоб я не умерла, а только потемнела рассудком. Когда я потемнела рассудком, меня вправду утром выпустили... Потом я долго жила в городе на воле, чтобы люди, глядя, какая

я стала, еще больше боялись немцев. Но люди не боялись их — они меня прятали, кормили и дали одежду. Я хотела уйти из города, я видела поле, чистое небо и не могла найти туда дороги, я забыла ее. Когда я просила проводить меня, мне обещали проводить и обманывали. Все боялись, что я заблужусь и меня убьют немцы. Меня опять приводили в дом, велели жить и давали кушать. Так я жила и была слабой. Потом один мальчик поверил мне, что я правда хочу уйти далеко. Он вывел меня за город на дорогу. Там стояли два немца на посту. Они знали меня, все немцы и жители знали меня. Немцы ударили меня прикладами и велели бежать в поле по бурьяну. Я побежала. Это было их минное поле, немцы смеялись и ждали, когда я взорвусь. Но я бежала все дальше и дальше, про мины я не помнила, я хотела добежать до горизонта на свободу, где были наши. Немцы стали стрелять в меня, потому что я не взорвалась. Но они не попали в меня, и я ушла далеко к своим и там отдохнула, а потом опомнилась рассудком и стала как прежняя. Но я не знаю, может быть, я когда-нибудь опять заболею, у меня с тех пор часто болит голова, как будто там тесно моему рассудку. Может, я глупая буду, Александр Иванович!

Краткая пауза всех. Наташа виновато улыбается.

КЛИМЧИЦКИЙ (сурово). Вы тоже солдат.

ЧЕРЕВАТОВ. А я об этом понятия не имел!

КЛИМЧИЦКИЙ. А о чем вы имеете понятие, Дмитрий Федорович?

ЧЕРЕВАТОВ. Ну как вам сказать — я имею понятие о болезнях, о дефектах, о травмах, о всех прорухах человеческого туловища и об исцелении от них!

КЛИМЧИЦКИЙ. Вот мое исцеление! (*Целует Наташу в больное темя на ее голове.*)

ЛЮБОВЬ (*с веранды кафе, про себя*). Настоящие мужчины никогда сразу в губы не целуют. У них сознание есть.

ЧЕРЕВАТОВ (*задумчиво и печально*). Я так и знал, что больного человека необходимо исцелять только посредством другого, и потом строго определенного человека, находящегося где-то вдали, в глубине, в недрах, в гуще, может быть — на дне человечества. Но я не знал одного, и самого главного, что человечество находится так близко: оно содер-

жится даже в моих племянницах. Их у меня семь дыханий и семь ртов!.. Да как же я мог совершить такое врачебное упущение? Как я мог не разглядеть в этой — как ее? — Наташе лечебного средства против осложнения болезни?.. Да врач ли я в высоком, в идеальном, в действительном смысле понятия? Или я тоже больной, только лечить меня уже некому?

Варвара издает возглас мужским голосом.

ЛЮБОВЬ *(с веранды)*. Дмитрий Федорович, я вам яичницу с ветчиной приготовила — без всяких витаминов! Идите, пожалуйста, к нам!

ЧЕРЕВАТОВ. Да, да, покормите старого дурака! *(Уходит на веранду.)* Пора, пора!

КЛИМЧИЦКИЙ *(Наташе)*. Я не отдам вас больше ни немцу, ни смерти, ни другому врагу! Мое сердце будет жить возле вас, как часовой. И без смены. *(Берет Наташу за руку.)*

НАТАША. Возле вас я никогда не умру, мне ничего не страшно.

КЛИМЧИЦКИЙ. Вы теперь невеста моя. Но идет война! И я вас поцелую как жену только после войны.

НАТАША. После войны... Но я хочу и на войне видеть вас хоть издали. Я тоже хочу быть там, Александр Иванович, я хочу, чтобы над нашими полями шумел только один ветер и никогда больше не принижали рожь к земле взрывные волны... Так будет лучше, по-моему.

КЛИМЧИЦКИЙ. Так будет лучше? Хорошо. Я подумаю. Наташа, подарите мне вашу копеечку.

НАТАША. Навечно?

КЛИМЧИЦКИЙ. Навечно, Наташа.

НАТАША *(доставая из кошелька копейку и подавая ее Климчицкому, зажав в кулак)*. Навечно — пожалуйста! Не потеряйте ее, она маленькая.

КЛИМЧИЦКИЙ. Разожмите же кулак... Какой он у вас маленький!

НАТАША. Как копейка? Он ростом с мое сердце. Берите. *(Дает ему копейку.)*

КЛИМЧИЦКИЙ. Спасибо вам, Наташа, за большое доверие. Эта копейка будет богатой.

К Варваре подходит разводящий и сменяет ее с поста. Варвара подходит к Наташе и неожиданно целует ее.

ВАРВАРА. Давайте будем водиться... Приходите к нам в землянку. У нас новый патефон есть и целый набор пластинок! Старший лейтенант вам разрешит — я похлопочу.

КЛИМЧИЦКИЙ. А что ж, Наташа! Сержант вам добрая подруга. Ходите к ней в гости, дружите с ней вместе, танцуйте, и я еще молоко приучу вас пить.

Варвара убегает.

Климчицкий берет Наташу под руку и направляется в глубь парка.

ЧЕРЕВАТОВ. Обождите старика! Он питается! (Вдруг вставая.) Довольно пищи — вторую смену челюстей трачу напрасно!

Идет вслед Климчицкому и Наташе.

ЛЮБОВЬ. А все-таки она не пара ему! Я это прямо чувствую, что не пара.

Из-за стойки, из внутренней двери кафе появляется Ростопчук и снова садится за столик.

РОСТОПЧУК. Обслуживайте меня. Давайте все сначала!

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Шестая картина

Внутренность большой русской крестьянской избы. Русская печь, деревянный стол, скамьи. Против зрителя дверь и одно окошко наружу, в природу. В избе пусто, убого и уныло; хозяйство обглодано немцами. Над столом висит низко свешанный матерчатый абажур без лампы. На столе графин-пузырь с надетой на горлышко пустой чашкой. Осенняя ночь. Шумит ветер за окном в сосновом лесу; по оконной раме стучит голая ветвь надворного кустарника. В избе сумрак, света нет. Пелагея Никитишна (Никитишна) лежит на печке. Ее внучка, Анюта, лежит на лавке. Пауза.

АНЮТА. К чему ж лампу-то было отдавать? Старый человек, а все глупый! Ночи-то ишь какие длинные стали —

лежишь и думаешь, и уж думать-то нечего, — а что во тьме делать? Во тьме нечего, во тьме скучно...

НИКИТИШНА. Я тебе дам во тьме!.. Скучно ей во тьме — веселая какая! Иль немцы-то мало задницу тебе драли? Еще по порке скупаешь?

АНЮТА. У меня уже все зажило давно... Это ты все немцев этих боишься — и лампу им со страху отдала.

НИКИТИШНА. Попробуй — не отдай им! Ведь он — немец! Аль он спрашивает, аль он просит чего...

АНЮТА. Я бы нипочем им лампу не отдала. Я бы свет сейчас жгла и сидела читала бы книги из школы, напрасно, что ль, я всю библиотеку в избу в подполье стаскала...

НИКИТИШНА. Лампа ей нужна! Свет бы она жгла! Книжки бы она читала! А чего там читать — да я тебе все изустно расскажу, хоть не по-книжному, а всё верно будет... Лампы ей жалко! А газ где брать будем?

АНЮТА. Газ я достану — не твоя будет забота. Газ я из немецкой машины ночью солью, а добавок и шину шилом проткну.

НИКИТИШНА. Ты вот допротыкаешься шилом своим, ты вот добалуешься — снова-то уж тебя гоняли в рабство!

АНЮТА. А что мне рабство! Убежала и опять убегу. Это тебе все страшно: живи вот с тобой во тьме!

НИКИТИШНА. И ночью от тебя покоя нету! Хоть бы в рабство тебя опять немцы взяли, я бы отдохнула!

АНЮТА. Времени тоже у нас нету, и будильник немцы взяли. Ничего ты, бабушка, не уберегла.

НИКИТИШНА. Хоть сама-то жива осталась — при внучке такой.

АНЮТА. А какая я такая?..

НИКИТИШНА. Да уж другой такой нету — одну Бог дал... А как это такое — я ничего не уберегла: а картох сколько в поле закопала, а овчину всю новую утаила, а приданое твое — два сундака — как было, так и теперь все цело осталось, и, кроме меня, его и не найдет никто, и ты не знаешь, где я сундуки схоронила, без меня ты и замуж не выйдешь. Ишь ты, я добра не уберегла! Без меня кому и сберечь-то его!

АНЮТА. А пускай бы все пропало: все одно немцам потом велят все отдать назад с добавкой.

НИКИТИШНА. Кто же это им прикажет тебе приданое назад вернуть? Ты, что ль?

АНЮТА. Красная Армия, вот кто.

НИКИТИШНА. Ну да, у Красной Армии только и делов, что девкины юбки да кофты у немцев назад отбирать!

АНЮТА. Не надо мне кофты и юбки... Нам жить надо, как прежде было. Бабушка, а кто же нам поможет-то?

НИКИТИШНА. Красная Армия, вот кто.

АНЮТА. Пора бы уж ей приходиться, народ весь томится. Все книжки из библиотеки сотлеют в подполье, мухи на угодьях разжирели, иная с жука выросла, крапива с лебедой и та в цельный кустарник, как роща, разрослась, поля нелюдимые стали — где силу брать запашку делать?..

НИКИТИШНА. Загоревала девка! А то без нее-то и обдумать некому — как пахать и сеять будем после немцев. Ей, видишь, одной забота! Да мы где потеряли что, там и обратно отыщем!

АНЮТА. МТС-то немцы всю растащили: ни плуга, ни трактора, ни тисков не осталось.

НИКИТИШНА. А пускай растащили — обратно внове по списку доставят. Где у тебя ведомость, которую я от председателя принесла, когда он в лес ушел, это еще до нашествия было?

АНЮТА. Ведомость там же, где книжки, я ее в Пушкина положила. А что там ведомость была — она неправильная. Я потом сама добавила, я помню, что было и в МТС, и в колхозе. Они там записали не всякое добро — два жернова забыли, меха в кузнице, шорного товару не было...

НИКИТИШНА. Ну а ты-то записала, добавила это в ведомость?

АНЮТА. А то как же!

НИКИТИШНА. Да то-то! А то с немцев, с них спросу не будет!.. Где вот лемеха на тракторные плуги брать будем — у нас корпуса большие были и железо твердое стояло, целину, как творог, отваливало. Немцы-то справятся нам железо такое на корпуса поставить?

АНЮТА. Справятся, бабушка. У них заводы большие есть, мы учили про иностранные державы.

НИКИТИШНА. Ага, знать, фабрики-то у них есть! Да я и сама думала, что есть, откуда же у них страсть всякая бе-

рется. Теперь все ихние машины с фабрики к нам волочить надо. Пускай у нас железо делают — ни подковы, ни гвоздя ведь нету, ты вот ушко в иголке отломала, теперь свои гуни заштопать нечем...

АНЮТА. У немцев и уголь есть, бабушка.

НИКИТИШНА. Антрацит, что ль?.. Нам он тоже надобен. Кузнец всегда жаловался — уголь из дерева мягок, жару мало дает. Да и леса наши целее будут — ишь, немцы деланки какие свели: без ума валили, — и зрелое дерево шло, и молодняк-недоросток рубили... Ты бы тоже это записала! А то убытки-то наши сочла, а что нам с немцев неминуемо следует, о том ты не заботишься.

АНЮТА. Пускай утро настанет. Как рассветет, так я новую ведомость составлю.

НИКИТИШНА. И железную дорогу всю порушили. Где вагон, где паровоз был — теперь в одной куче гарь осталась. А на станции и башня с водой стояла, теперь на земле лежит. Никакого порядка нету. Не то запишет кто этот убыток, не то нет? А ты тоже — возьми да запиши его на всякий случай, бумага-то ум бережет.

АНЮТА. Ладно, бабушка. А у Кондрата избу спалили, двух петухов съели и свинью супоросную в машину бросили — это ведь тоже в ведомость надо!

НИКИТИШНА. Это и сам Кондрат помрет — не забудет, ты бумагу зря не марай. Ты пиши, чем немец весь народ обездолил и что всему народу с немца полагается.

АНЮТА (*прислушиваясь*). Бабушка, стучит кто-то со двора!

НИКИТИШНА (*слушая*). Аль немцы, что ль, полуночники?.. Вина напились да закуску по деревне ищут! — Никого не слышать... Верба стынет по осени и в избу просится. Ночь-то долга теперь, и война идет, не кончается... Холодно нынче во дворе, ветер поднялся, и дождь вторые сутки идет.

АНЮТА. Мы-то с тобой, бабушка, в избе греемся. А красноармейцы в земле сидят, им и обсушиться негде, они в немцев палят.

НИКИТИШНА. Спаси их, Царица Небесная.

Матерчатый абажур, низко свешанный с потолка над столом, начинает раскачиваться. Стеклянная чашка,

надетая на горлышко пузатого старинного графина, что стоит на столе, начинает позванивать — то тише, то громче.

АНЮТА. Бабушка, абажур опять качается, и чашка запела.

НИКИТИШНА. Ну что ж, слава тебе, Господи. Знать, бой далече идет — наши в поход пошли.

В окне вспыхивает на мгновение красноватый отсвет далекого артиллерийского огня, беззвучного из-за удаления. Тихий стук в окно.

АНЮТА. Бабушка, опять кто-то стучит. Я на печку к тебе пойду.

НИКИТИШНА. Спи, спи... Тебе слышится. Какой там демон в полночь в непогоду такую в избу стучаться будет. Немцы во тьме не ходят, и лес от нас близко.

Тихий стук опять звучит в окне. Анюта приподнимается с лавки, оборачивается к окну. Окно освещается на мгновение беззвучным отсветом огня, и в окне видно лицо человека.

АНЮТА (вскрикивая). Бабушка! Человек стучится!

НИКИТИШНА. Обожди... Ты сама не ходи. Я сама пойду отворю (Никитишна сходит с печи, подходит к окну.) Ктой-то там? Чьи сами-то? (Из-за окна звучит невнятный голос.) Чьи?.. Ну, иди обогрейся, время-то уж больно позднее! Знать, нужда у тебя большая, что в такую пору покоя тебе нету! (Открывает затвор у двери.) Садись к печке поближе.

Входит Мария. Она постарела, исхудала еще более, она в ветхой, жалкой одежде, измокшая и продрогшая. Мария подходит к печи и греет руки.

АНЮТА (всматриваясь в Марию). Тетка!.. А тетка? А ты землю с нами не копала на немцев?

МАРИЯ. Копала... Я много земли копала, я и падала на землю, и обмирала на ней, я много людей видала, — может, и с вами была, теперь не помню...

НИКИТИШНА. Ко двору, что ль, идешь?

МАРИЯ. Ко двору.

НИКИТИШНА. Оттыльча, из-под немца?

МАРИЯ. Оттуда.

НИКИТИШНА. Видать, затомилась вся. Садись, я тебе поужинать соберу — картохи есть печеные, похлебка в горшке осталась, только я из печи все горшки уже выставила, остыла теперь еда.

МАРИЯ. Спасибо, мне не нужно, я так согреюсь и усну. Вторую неделю по лесам иду, ноги опухли.

НИКИТИШНА. А ты на печь полезай. Там тепло и покойно тебе будет.

МАРИЯ. Сейчас, бабушка. *(Разувается, снимает верхнюю одежду для просушки.)*

НИКИТИШНА. Вдовая, что ль?

МАРИЯ. К мужу иду.

НИКИТИШНА. Цел, значит, муж-то?

МАРИЯ. Не знаю. У самой, бабушка, сердце болит по нему. Иду-иду и все никак к нему не дойду.

НИКИТИШНА. Ах ты, бедная. Знать, долог нынче путь до своего мужика-то?

МАРИЯ. Долог, бабушка.

НИКИТИШНА. Что ж ты к нему идешь — привыкла к нему так аль поистине любишь?

МАРИЯ. Поистине, бабушка!

НИКИТИШНА. Кто ж он у тебя, мужик-то, — знатный такой, с лица собой хороший иль к тебе уж очень добрый и расположительный?

МАРИЯ. Сама не знаю, бабушка.

НИКИТИШНА. По чувству, значит, живешь, а по рассудку не знаешь?

АНЮТА. Хватит тебе, бабушка, прохожую пытаться. Сама все знаешь, а спрашиваешь. Ты и дедушку все пытала, он серчал-серчал, а потом кашлять начал...

НИКИТИШНА. Ишь ты, характерная какая — вся в дедушку своего! *(Лезет на печь. К Марии — с печи.)* Иди сюда — тут теплынь стоит, враз согреешься и уснешь.

Мария влезает на печь и укладывается там с Никитишной. Слышен далекий нарастающий гул и шум идущего войска, вооруженного машинами; Анюта, послушав, закрывает дверь и обратно идет к своей постели на лавке.

АНЮТА. Войско идет! Наше ли, нет ли?.. Наши, должно быть, — гудят дюже гулко, немец шумит маломочней! *(Слу-*

шает.) Утром проснусь — и хорошо мне будет! (Улыбается.) Спи, Анютка, — красноармеец завтра придет! (Ложится на лавку, укрывается, затихает.)

Резкий стук в дверь.

НИКИТИШНА (с печи). Кого там домовой по ночам носит?

ИВАН (из-за двери). Это мы пришли! Открой, хозяйка!

НИКИТИШНА. Кто вы-то?

ИВАН (из-за двери). Мы-то? Да мы Красная Армия!

Никитишна враз падает с печки, как молодая. Анютка тоже вскакивает молнией, она уже у двери, сбрасывает затвор — и в избу входит Иван Аникеев, он в плащ-палатке, за ним следом входит Наташа, она в шинели красноармейца.

Здравствуйте, хозяева!.. Что-то ваши личности мне знакомые! Неважно! (Оглядывается избу.)

НИКИТИШНА. Аль вы и вправду Красная Армия!

ИВАН (строго). Да то кто же! Иль ты не чувствуешь?

НИКИТИШНА. Да я чую, чую, родимый!.. Я сейчас печь затоплю, полы вымою! (Хлопочет по избе.)

ИВАН. Правильно, бабушка, — топи печь, мой полы, мы на постое у тебя будем стоять...

НИКИТИШНА (суетится). А я сейчас, я сейчас... Я втупор же, втупор же...

АНЮТА (подходит к Ивану и серьезно, торжественно, как взрослая, протягивает ему руку). Здравствуйте! А мы знали, что вы все равно придете! А если бы вы не пришли, то мы бы сами за вами пошли!

ИВАН. Аль соскучились?

АНЮТА. Вон бабушка соскучилась, она меня ругала, что вы долго не шли.

ИВАН. Ладно. Теперь мы явились. Бабка, давай свету!

АНЮТА (здороваясь с Наташей). И вы тоже Красная Армия?

НАТАША (улыбаясь). И мы тоже. И вы будете тоже.

НИКИТИШНА. Анюта! Ступай свечку в клетки сыщи. Я ее в мешок с мякиной спрятала...

Анюта быстро уходит.

ИВАН. А кто это у вас тут на печи ночует?

НИКИТИШНА. А там женщина прохожая одна, она к мужу идет, да уморилась идти.

ИВАН. Какая там прохожая? А кто она по документу? Может, она по шпионству работает... Буди ее, пускай прочь уходит. *(К Наташе.)* Наталья Владимировна, изба, пожалуй, уместная для командира. Как вы полагаете?

НАТАША. Уместная. Здесь хорошо. Надо вещи доставить.

ИВАН. Вещи вмах тут будут.

Анюта приносит большую свечу, ставит ее на стол. Иван зажигает свечу своей зажигалкой и уходит.

АНЮТА. А говорила, что никакого свету у нас нету. А там еще осталось сорок свечей...

НИКИТИШНА *(будит Марию)*. Вставай, вставай, прохожая! Слазь с печки поскорее. Ты слышишь — Красная Армия пришла! Теперь не место тебе тут быть, может — ты шпионство, давай документ!

АНЮТА *(к Марии)*. Нечего, нечего тут быть! Тут Красная Армия у нас будет в избе!

НАТАША. Пусть она спит. Чего вы тревожите человека, сейчас еще ночь...

Мария слезает с печи; смотрит, пораженная, на Наташу.

МАРИЯ. Правда — это вы пришли?

НАТАША *(улыбаясь)*. Правда, мы.

Мария падает на колени возле Наташи, припадает к ней и обнимает ее. Наташа в ответ также обнимает Марию. Мария встает затем перед Наташей, Наташа подымается ей навстречу, и обе женщины целуют друг друга. Никитишна и Анюта хлопчут у печи, гремят утварью, растопляют печь, готовят кушанье и т. д. — на некотором протяжении по ходу действия. Горница из дотоле унылого, печального жилища приобретает праздничный, оживленный вид.

МАРИЯ. Правда, это вы?..

НАТАША. Правда, правда, мы...

МАРИЯ. Значит, теперь я дошла, теперь я отдохну. Окончилась моя мука.

НАТАША. Отдохните, отдохните, матушка. Ступайте на печь обратно — рано еще.

МАРИЯ (*стеснительно*). Разве уж я такая матушка вам?

НАТАША (*смутившись*). Ну, старшая сестрица!

МАРИЯ (*задумчиво*). Теперь я правда старшая! А недавно — я тоже такая, как вы, была. Я с мужем тогда жила, я была счастливая.

АНЮТА. Тетка! Прохожая! Давай справку или документ — кто ты такая и зачем по земле идешь?

НАТАША (*как бы утешая Марию*). Ничего, ничего: вы опять найдете своего мужа, опять будете счастливой, опять красивой станете.

МАРИЯ. Может быть, может быть... Я тоже так думаю. Мне для счастья надо немного. Я хочу увидеть своего мужа и узнать, что он живой...

НИКИТИШНА. Ну — не скажи! Это глядя какой муж у тебя! А то встретишь его — и не обрадуешься. Может, без тебя он уж кою бабу на смену ставит! Может, лучше тебе век его не видать.

МАРИЯ. Едва ли, бабушка, едва ли так случится, как ты говоришь. Мой муж меня обязательно дождетя, если он жив еще.

НИКИТИШНА. А из каких же твой муж-то будет: деревенский, что ль, иль из города, пьющий или в рот не берет?

МАРИЯ. Он военный, бабушка.

НИКИТИШНА. Солдат, значит. Ну где ты теперь его сыщешь?.. Я вот тоже вдовой живу, и ничего, притерпелось. Что ж будешь делать-то?

НАТАША. Давайте я вам помогу найти вашего мужа.

МАРИЯ. Вы добрая. Но мне не надо помогать, я сама его найду. Его найти теперь нетрудно.

НАТАША. А то давайте вместе искать. Я бы попросила генерала, чтобы он вам помог.

НИКИТИШНА. Так тебе генерал и поможет — ему и говорить-то с тобой некогда.

НАТАША. А я бы попросила его, я его невеста.

Никитишна и Анюта обомлело глядят на Наташу.

АНЮТА (*недоверчиво*). Генерал — он знаешь кто! Такие невестами у генералов не бывают!

НИКИТИШНА. Ишь ты!.. Невеста она генерала! Правду говорит иль брешет?

АНЮТА. Бабушка, а знаешь что? Генералы в Красной Армии добрые бывают, они и простых в невесты берут.

НИКИТИШНА. Да уж ты будто знаешь что! (*Передразнивая внучку.*) Добрые! Простых в невесты берут!.. Говорит, как сама она замуж за генералов выходила!

МАРИЯ (*Наташе*). Вы невеста генерала?

НАТАША. Да. А что вас удивляет?

МАРИЯ. Ничего. Я вспомнила. Я тоже невестой когда-то была... А ваш жених далеко?

НАТАША. Нет, он близко. Он здесь. Я сама в его части служу. Он командует дивизией, он генерал-майор.

МАРИЯ (*осторожно*). Генерал-майор? Он пожилой уже?

НАТАША (*смущенно*). Нет, он не пожилой уже.

МАРИЯ. Он холостой или вдовый?

НАТАША (*смущенно*). Вдовый. Жена его умерла неизвестно где.

МАРИЯ. Неизвестно где?

НАТАША. Неизвестно. Ее не нашли.

Входят Иван с двумя чемоданами и Ростопчук. Иван, узнав Марию, вытягивается по-солдатски и безмолвно смотрит на Марию.

Ростопчук взглядывается в Марию, узнавая ее и еще не зная, что ему предпринять.

МАРИЯ. Геннадий Софроныч, это вы? Здравствуйте!

РОСТОПЧУК (*быстро подходя к Марии*). Здравия желаю, Мария Петровна! Поздравляю вас с благополучным прибытием!

АНЮТА (*к Ивану*). А она документ-справку нам не показала!

Иван по-страшному заскрипел на Анюту зубами — и Анюта мгновенно отскочила от него.

МАРИЯ. Геннадий Софронович! Я вас хочу спросить — где вы служите теперь, в какой части?

Краткая пауза.

РОСТОПЧУК (*сначала невнятно мычит*). Да как вам сказать, Мария Петровна? Я, видите ли...

МАРИЯ. А где та дивизия, какая была?.. Ее нету в живых?

РОСТОПЧУК. Какой дивизии? Которой ваш супруг командовал — или другой какой?

МАРИЯ. Той, которой он командовал.

РОСТОПЧУК. Дивизия цела, Мария Петровна, только я там...

МАРИЯ. А что только вы там, Геннадий Софроныч?

РОСТОПЧУК. Только я там на прежней должности и, как видите, в прежнем неподвижном звании! Как ваше здоровье, Мария Петровна? А мы вас, знаете ли, долго искали тогда, когда, по нашему мнению, вы были убиты.

МАРИЯ. Это когда было?.. А — помню, — когда мы ров отрывали против вашей дивизии?..

РОСТОПЧУК. Вот именно так, Мария Петровна... Иван, это какой дурак эту избу для генерала выбрал?

ИВАН. Дурака тут не было, товарищ лейтенант. Тут я был и товарищ Наталья Владимировна. Это мы выбрали.

РОСТОПЧУК. Ага: тут не было дурака. Так вот что: в такой избе только военторг можно разместить, а не командира дивизии! Позови мне полевой военторг!

ИВАН. Есть, товарищ лейтенант. *(Уходит.)*

РОСТОПЧУК *(к Никитишне)*. Ты что хлопочешь тут, хозяйка, чего на утро готовишь?

НИКИТИШНА. Мы-то? А мы картохи варим и тюрю готовим, чтоб на всех на вас хватило!

РОСТОПЧУК. Картохи и тюрю нам готовишь? А лапшу? Давай, хозяйка, лапши наварим, — я велю, и сейчас тебе лапши полпуда принесут.

НИКИТИШНА. И лапшу можно. Без лапши нам тут скучно жилось, как уж вас назвать-то, я и не знаю как и боюсь...

Ростопчук продолжает беседу с Никитишной и Анютой.

НАТАША *(к Марии — робко)*. Мария Петровна... Мария Петровна...

МАРИЯ. Я еще не такая старая. Зовите меня Марией.

НАТАША. Мария!.. Вам нужно переодеться — на вас платье совсем износилось.

МАРИЯ. Я сама знаю, что я одета как нищенка. Но вы же понимаете, откуда я иду. Зачем же вы мне так говорите? Разве есть у меня другое платье?

НАТАША *(просто)*. У вас есть другое платье, я сама его выгладила, и туфли новые у вас есть. Мы их вам... я их вам привезла.

МАРИЯ. Зачем мне ваше платье? Я все равно его не надену. Вы сама невеста.

НАТАША. Это ваше платье, а не мое: вы сами узнаете его.
Натasha достает из чемодана то платье, которое она гладила когда-то, и подает его Марии.

МАРИЯ (*узнавая свое платье*). Это мое платье!.. А вы чья невеста? Вы его невеста?

НАТАША. Ничья. Я была невеста, а теперь перестала... Наденьте ваше платье, оно такое красивое, у него такой живой цвет, у вас очень хороший вкус.

МАРИЯ. Я отвыкла носить платья, я привыкла ходить убогой, я уже не чувствую в себе женщину... Я уйду сейчас совсем, навсегда... Где тут порог? Где улица в деревне?

НАТАША. Нет, вы не можете уйти, Мария.

Натasha не пускает Марию, уводит ее за устье печки, вообще за печь — из поля зрения зрителей.

РОСТОПЧУК (*Анюте*). Ну, Анюта, какие же мы?

АНЮТА. А вы красивые!

РОСТОПЧУК. Да то-то! На тебе жамку! (*Достает из планшетки жамку и подает ее Анюте.*)

Входят Иван и Любовь — она одета теперь в военизированную одежду.

Люба, тут твой военторг будет.

ЛЮБОВЬ (*осматривая избу*). Ну вот еще... Здесь абсолютно неудобно для военторга. У нас такой оборот сейчас, где я тут размещусь?

РОСТОПЧУК. Где хочешь, а будешь тут. Кончено! Тебе здесь удобно, а генералу нет.

ЛЮБОВЬ. А по-моему, эта изба как раз для генерала. Тем более что наш генерал сам любит жить неудобно и неуютно. Здесь как раз ему мило будет, а военторгу нет.

РОСТОПЧУК. Кончено. Военторг здесь уже есть.

ЛЮБОВЬ. Нету его здесь и не будет. Мы независимая, мы особая организация! Мы вас обеспечиваем всем необходимым!

РОСТОПЧУК. Правильно, Любовь Кирилловна, правильно! Это потому, что мы свободно обходимся без необходимого.

ЛЮБОВЬ. Я знаю, вы всегда относились к военторгу с косвенным чувством.

РОСТОПЧУК. Зато я персонал его уважаю...

Распахивается дверь. Появляется Варвара и вытягивается.

ВАРВАРА (к Ростопчуку). Товарищ лейтенант, генерал идет!..

Наташа и Мария выходят из-за печи или перегородки.

Мария переодета в платье и обута в новые туфли.

НАТАША (Марии). К вам очень идет. Он так рад будет вас увидеть, и я рада.

МАРИЯ. Кто будет рад?

Входит Климчицкий — в полевой форме. Короткая пауза.

НАТАША. Разрешите мне уйти, Александр Иванович.

КЛИМЧИЦКИЙ. Почему уйти? Нет, вы останьтесь, Наташа.

МАРИЯ. Александр... Ты помнишь меня, ты счастлив теперь?

КЛИМЧИЦКИЙ. Теперь... Сейчас я счастлив, Мария. Ты жива, ты вернулась...

Он подходит к ней, целует ее в лоб и проводит рукою по ее платью.

МАРИЯ (вдруг приникая к нему). У тебя была невеста.

КЛИМЧИЦКИЙ. Была, и я любил ее.

МАРИЯ. А ведь я была живая!

КЛИМЧИЦКИЙ. Я думал, ты умерла убитая. Мы привезли твое платье, мы хотели найти твое тело...

МАРИЯ. И ты любил ее, свою невесту?

КЛИМЧИЦКИЙ. Любил. Я любил ее, чтобы не умереть от тоски по тебе.

МАРИЯ. Но этого теперь не нужно, я ведь живая.

КЛИМЧИЦКИЙ. Мария, Мария, ты верная, ты счастливая моя... (К Наташе.) Как мне трудно за вас... Как страшно за вас, Наташа.

НАТАША. Мне не страшно, Александр Иванович. Мне не страшно было сейчас. Я ведь тоже солдат.

КЛИМЧИЦКИЙ. Вы правда солдат, Наташа. Вы своим сердцем прикрыли меня.

НАТАША. Я должна была это сделать, Александр Иванович. Я берегла вас, как могла. А солдат — это вы, вы сбереже-

те весь наш народ (*на Марию*), — и она одна — тоже народ, и ее сберегите. А мне разрешите уйти, я хочу смениться со своего поста, у меня опять болит голова, но это скоро пройдет — у меня она часто болит.

МАРИЯ (*целует Наташу*). Спасибо вам, Наташа.

НАТАША (*целуя ее в ответ*). Не на чем, Мария Петровна.

КЛИМЧИЦКИЙ. Наташа... Наталья Владимировна! Я должен вам копеечку.

НАТАША. Берегите ее, Александр Иванович. Вы мне после ее отдадите.

КЛИМЧИЦКИЙ. Эту копеечку трудно отдать... Я много должен людям...

ВАРВАРА (*мужским голосом*). Наташа, нам в роту пора, там делов много.

НАТАША. Нам пора, Варя...

ВАРВАРА (*девичьим голосом*). Пора, Наташа, — чего ты тут?

Обе уходят.

ИВАН (*про себя*). Другая бы померла от горя такого или хоть в голос заплакала бы, а эта ничего, и еще лучше сердцем стала. Заработал свою душу народ на войне.

НИКИТИШНА (*моя полы*). Вот девка-то!.. Такое стерпела — и еще копейку в долг дала. Возьми, дескать, и помни, хоть ты и генерал!

КЛИМЧИЦКИЙ (*ко всем оставшимся*). А кто здесь еще?

РОСТОПЧУК. Здесь мы, Александр Иванович. Эта изба для вашего пребывания явно не подходит.

КЛИМЧИЦКИЙ. Почему? Здесь хорошо. Дайте связь и свет.

ИВАН. Есть, товарищ генерал-майор. (*Уходит.*)

КЛИМЧИЦКИЙ (*замечая Любовь*). А вы как сюда попали на войну?

ЛЮБОВЬ. Я здесь военторг, Александр Иванович. Меня Геннадий Софронович сюда устроил, я ведь и в тылу была пишевичка...

КЛИМЧИЦКИЙ. Пишевичка? Это что?.. Ну ладно, раз вы уж тут, то работайте, военторг тоже дело серьезное, а то у нас лейтенанты без звездочек ходят.

ЛЮБОВЬ. У меня, Александр Иванович, есть и другие мотивы... Я приехала сюда по симпатии.

КЛИМЧИЦКИЙ. По любви, значит?

ЛЮБОВЬ. Да. Конечно, по любви. Я уже так привыкла к вашей компании, что кого-то из вас полюбила, но кого — в точности не знаю, и я приехала сюда в военторг.

КЛИМЧИЦКИЙ. Хорошо: разберитесь.

РОСТОПЧУК. Есть... Сейчас разберемся, Любовь Кирилловна. Это пустое дело!

Ростопчук уводит Любовь.

АНЮТА (бабушке). Бабушка, это генерал?

НИКИТИШНА. Генерал! Иль не видишь, что ль? Не соли носом!

АНЮТА. Я вижу. (*Шепотом.*) Бабушка, пойдем отсюда.

НИКИТИШНА. И то пойдем! А то-либо помешаем им в чем.

Обе уходят.

МАРИЯ. Вот мы опять с тобою вместе вдвоем, разлука наша прошла.

КЛИМЧИЦКИЙ. Разлука наша прошла, Мария... (*Прислушивается к нарастающему гулу движения машин на удаленной дороге.*) Наши войска вперед идут!

МАРИЯ. И ты пойдешь?

КЛИМЧИЦКИЙ. Пойду... Пока нам приказано остановиться, потом я пойду впереди всех.

МАРИЯ. Впереди всех?

КЛИМЧИЦКИЙ. В прорыв пойду, в преследование и на уничтожение!

МАРИЯ (*прислушиваясь*). Опять я слышу разлуку.

КЛИМЧИЦКИЙ. И опять мы встретимся. Ты не бойся, ты терпи, Мария.

МАРИЯ. Я не боюсь, я привыкла, а ты помни меня, ты там меня помни.

Слышится очень далекий гул артиллерийской стрельбы, но вскоре он утихает.

КЛИМЧИЦКИЙ (*вслушивается, лицо его улыбается и делается счастливым*). Я и сам буду помнить тебя... Ты слышишь, Мария?

МАРИЯ. Я все слышу... А отчего ты улыбаешься, чему ты рад?

КЛИМЧИЦКИЙ. Я сам не знаю.

МАРИЯ. Там смерть живет.

КЛИМЧИЦКИЙ. Я сам там живу!

МАРИЯ (*удивленно и с огорчением*). Александр! Я вижу, ты уже забываешь меня! О чем ты думаешь сейчас?

КЛИМЧИЦКИЙ. Нет, я не забываю тебя, Мария. Я думаю — как там хорошо!

МАРИЯ. Тебе только там хорошо!.. А я опять одна!

КЛИМЧИЦКИЙ (*возбужденно и радостно*). Там огонь, Мария!

МАРИЯ. Пусть огонь... Обожди немного, поговори со мной. Как ты жил без меня — это долго было...

КЛИМЧИЦКИЙ. Долго... Там сосед сейчас мой действует. Пехота за танками, наверно, пошла! Там командиры кричат бойцам: «Ближе к броне, ближе к броне! Но не жмись к ней, не жмись вплотную! Осматривайся на местности, действуй самостоятельно!..»

МАРИЯ. Александр, вспомни меня!.. Александр, где сейчас твое сердце — ведь ты любишь меня!

КЛИМЧИЦКИЙ. Я люблю тебя... Везде мое сердце, и там оно, Мария, там оно, где должно быть.

МАРИЯ. Я только что нашла тебя! Я никуда не пущу тебя.

КЛИМЧИЦКИЙ. Мария!.. Ты меня забыла! Меня и мать не могла бы остановить! Мне жизнь одолжил народ — и я возвращу ему свой долг, и не один раз возвращу!

МАРИЯ. Ты один только раз сумеешь отдать свой долг — и ты будешь убит... Александр, поговори со мной о чем-нибудь еще, давай чай пить, сейчас уже утро наступает. Ты всю ночь не спал!

КЛИМЧИЦКИЙ. Мария! Я люблю тебя еще больше... Но смысл моей жизни, зачем я дышу, зачем я родился, — всё там меня ожидает. Я хочу, чтобы у моей солдатской груди остановилось все черное живое злодейство мира — и пусть оно впивается в мое сердце хоть целый век, а я буду душить и томить его на себе и не умру, пока враг не затамится на мне насмерть!..

МАРИЯ. Для того ты и родился дышать? И тебе будет тогда хорошо?

КЛИМЧИЦКИЙ. Для того я и родился, Мария, все солдаты живут для того... А хорошо мне только с тобою. Там же меня ожидает мой долг и моя судьба. Это, может быть, не каждого радует, но все этим живут, иначе мы будем мертвые прежде смерти... Мария! Давай с тобой завтракать, как в старину до войны, — давно мы с тобой вместе не завтракали. Хорошо мне только с тобою. Но век я не забуду Наташи, нечаянной невесты моей.

МАРИЯ. Я ее тоже не забуду

КЛИМЧИЦКИЙ. Не забывай, Мария. Где ординарец? Чего связи не дают?..

МАРИЯ. Я тебе помогу! Хочешь, я пойду твоего ординарца найду?.. Ты обожди меня. Я потом сама тебе завтрак приготовлю.

КЛИМЧИЦКИЙ. Ну иди. Только не заблудись и скорее возвращайся.

МАРИЯ. Нет, я найду дорогу. Я сейчас опять приду к тебе. Ты не скучай. *(Уходит.)*

КЛИМЧИЦКИЙ *(один)*. Светает... В детстве с отцом я рыбу ловил в это время.

Появляется Ростопчук.

РОСТОПЧУК. Товарищ генерал-майор, командный пункт оборудован, вас вызывает командующий на радио — ВЧ. *(Оживляясь.)* По-моему, Александр Иванович, мы рванем сегодня второй рубеж обороны — и пойдем чесать вперед.

КЛИМЧИЦКИЙ. А откуда это вы знаете?

РОСТОПЧУК. Я это чувствую, Александр Иванович.

КЛИМЧИЦКИЙ. Да, лейтенант. Сегодня у нас будет святая жизнь!

Оба уходят. Пауза.

Изба пустая.

Входит Мария. Она оглядывает пустую избу. Медленно обходит пустое жилище.

МАРИЯ. Где же он?

Возвращается к двери. Открывает ее.

Слышен резко нарастающий гул идущих по дороге военных машин.

Он ушел вперед. (Краткая пауза.) Все идут вперед.

Мария уходит. Дверь остается открытой. Пауза. Появляется Череватов и закрывает за собой дверь.

ЧЕРЕВАТОВ (в дорожном плаще; плащ он снимает и остается в повседневной форме генерал-лейтенанта медицинской службы). И здесь никого нет! Я никого не могу найти! Все мчатся вперед! Всю ночь езжу по санбатам, но ни одного не нашел. Санупра армии я тоже не отыскал. Чувствую себя никому не нужным сиротой! — Кого я должен здесь проверять, наставлять, инспектировать, инструктировать, вдохновлять, сдвигать с мертвой точки? Все находятся на ногах и на колесах, и всё мчится! — Что же здесь совершилось, на этой сцене жизни, и что имеет быть еще совершиться на ней?.. Куда вы мчитесь все вперед?.. Страдают, болеют, умирают, но движутся. И хорошо, что движутся: пусть они мчатся в свою радость, вперед и в победу. Люди для меня неплохие родственники. Наташа! Где мои племянницы?.. Я давно живу на свете, я частично виноват в том, что родилось и что происходит во всей этой действительности! А что же происходит в этой великой игре и в этом волшебном существе — советском человеке? Я озадачен и расстроган, но понять ничего не могу. Я хочу снова пережить жизнь, чтобы разгадать ее прелесть и ее наставление. Но нашему брату не полагается жить вторично, а в первый раз проживаешь жизнь начисто, без остатка разума. Все произошло не так, как я указывал, как я предвидел и как должно произойти. Но все произошло лучше! Почему это случилось? Неясно. Ведь я несомненно умнее каждого из действующих лиц, а все вместе, когда они один вокруг другого суетятся, то они гораздо разумнее меня и даже возвышенней! Что же мне делать, однако, — ведь я старый хитрый человек? Как мне суметь еще хоть раз посмотреть на этот быстро проходящий спектакль, чтобы заплакать, улыбнуться и уразуметь истину? Может быть, следует мне прижиться к чужой юной душе — и через ясные глаза этой души снова осмотреть наш мир? — Что ж, это мероприятие достойное и выгодное. Но для того — надо полюбить это юное существо, а сердце мое уже утомлено долгим биением. Где моя Наташа?.. Однако же, как не хочется уходить с этой сцены, хотя уже пришла пора уйти...

Приоткрыв дверь, выглядывает Анята. Череватов замечает и манит ее к себе.

ЧЕРЕВАТОВ. Существо, ребенок, милое дитя, подойди ко мне! — Ну пожалуйста! — Шурочка, Наташа, Анята, Муся, Лизочка, Клавочка, Нинка! — Ну пожалуйста, ко мне, прошу вас!

Анята, робея, не сразу приближается к Череватову. Череватов осторожно и робко гладит головку девочки.

Конец

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ

ПЬЕСА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица

ПУШКИН АЛЕКСАНДР, поэт, ученик Лицея.

АРИНА РОДИОНОВНА, няня поэта.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН, дядя поэта.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, сестра поэта.

ЧААДАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, друг Александра,
гвардейский офицер.

ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ.

ДАША } крепостные девушки

МАША } в людской Ольги Сергеевны.

ПУЩИН ИВАН

КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ } друзья Александра,
ученики Лицея.

ДЕЛЬВИГ АНТОН

ЭНГЕЛЬГАРТ ЕГОР АНТОНОВИЧ, директор Лицея.

КАРАМЗИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА.

ДЕРЖАВИН ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ.

ПЕТРОВ ЗАХАРИЙ, гвардейский офицер,

адъютант коменданта Царского Села.

ФЕКЛА.

ФОМА, сторож в Лицее.

Посол датского короля.

Знатная дама с усами.

Музыкант со скрипкой.

ВАРСОНОФЬЕВ, офицер.

Лакей в доме Ольги Сергеевны.

1-й преподаватель в Лицее.

2-й преподаватель в Лицее.

ГЕНЕРАЛ САВОСТЬЯНОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ.

РАЗУМОВСКИЙ, министр просвещения.

Ямщик КУЗЬМА.

Конвойный солдат.

Кухарка в доме Ольги Сергеевны.
Публика на экзамене в Лицее.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Людское помещение в доме сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, в Петербурге. Убранство простое, почти крестьянское, как в русской избе, и по этой причине уютное и милое.

Стоит зима; окошко в морозном узоре; за окошком метель. Дверь, выходящая в сени, заиндевела.

Старая няня Ольги и Александра Пушкиных, Арина Родионовна, сидит на скамье, дремлет и вяжет: «И медлят поминутно спицы в ее наморщенных руках». Возле няни сидит Маша, отроковица-подросток, живущая в доме Ольги Сергеевны; рот ее открыт, большие глаза ее серьезны, печальны и внимательны, она точно прислушивается. И в самом деле: слышно дыхание метели за окном, а издалека, из внутренних покоев, слышатся человеческие голоса и звуки музыки. В доме Ольги Сергеевны семейное торжество: день рождения хозяйки. В доме, должно быть, гости.

И няня, Арина Родионовна, прислушивается; потом, зевнув, крестит рот и опять медленно вяжет спицами, словно бы дремля, а на самом деле бодрствуя и понимая все, что совершается вокруг, вблизи и вдали.

Со двора входит Даша (она чуть старше Маши), черная кухарка, с вязанкой дров; она бросает дрова на пол возле русской печи.

АРИНА РОДИОНОВНА (Даше). Чего ты так — ногами шумаркаешь, дровами гремишь: все броском да рывком!

ДАША. А чего, бабушка? Я ничего!

АРИНА РОДИОНОВНА. Полы-то крашенные, господа за них деньги платили, а ты их обиваешь.

ДАША. Я больше, бабушка, не буду.

АРИНА РОДИОНОВНА. Не надо, умница.

ДАША. Не буду, бабушка, я тихо буду.

АРИНА РОДИОНОВНА. Да, то-то! А то как же!

МАША. Дашка, засвети огонь в печи. На дворе люто.

АРИНА РОДИОНОВНА. И то, Даша. Ишь, студено стало.

ДАША. Сейчас, бабушка, я сейчас, — я втупор же печь засвечу.

МАША. Огонь ведь добрый, он горит! Я его люблю!

Даша заправляет русскую печь березовой корой и заправляет ее огнем. Кора вспыхивает, свет из печи играет на полу, на стенах, отсвечивает на потолке, — людское жилище преображается, как в волшебстве.

Из господских горниц явственно доносится музыка — вальс, простая мелодия восемнадцатого века.

Даша снимает валенки, остается босая и оттопыривает такт вальса большими ногами, вольно размахивая руками.

МАША. И я хочу! И я хочу так топать и руками махать!

АРИНА РОДИОНОВНА. А чего же! Встань да спляши!

МАША. А я боюсь! Мне стыдно, бабушка!

АРИНА РОДИОНОВНА. Кого тебе стыдно-то? Господ тут нету. Я тут с тобою. Не бойся никого, чего ты...

МАША. А я ведь дурочка!

АРИНА РОДИОНОВНА *(поглаживая головку Маши)*.

Кто тебе сказывал так, сиротка моя, — души у того нету.

МАША. Люди, бабушка, говорят. Они знают.

АРИНА РОДИОНОВНА. Люди говорят... А чего они знают? Они сами по слуху да по испугу живут. Ты погляди-ка на батюшку, на ангела нашего Александра Сергеевича: разумный да резвый, и славный какой, и ничего как есть не боится, — как только земля его держит! — Господи, сохрани и помилуй его, сколь страху за него я терплю!

МАША. А ты любишь его, бабушка?

АРИНА РОДИОНОВНА. И-и, детка моя милая: усну — забуду, усну — забуду... Я и живу-то одной памятью по нем да лаской его. Хоть он и при матери своей рос, да не близко, а у меня-то возле самого сердца вырос: вон где такое!

МАША. И я его люблю!

ДАША. И я!

АРИНА РОДИОНОВНА *(как бы про себя)*. И вы, и вы!.. Все вы его любите, да кто его сбережет!.. Вам-то он в утешение, а мне — в заботу...

МАША. И мне в заботу! *(Она живо, с улыбкой на лице, спрыгивает со скамьи.)* Я ему огня нарву, он цветы любит! *(Она пытается сорвать отраженный свет из печи, волнующийся на полу и на стене; ей это не удастся, она видит — руки ее пустые; тогда Маша бросается в устье русской печи, хватая там руками огонь, вскрикивает от боли, выскакивает обратно и мечется посреди людской.)* Огонь, огонь! Стань добрый, стань добрый, стань цветочком! Я сторю — не мучай меня!

Даша берет деревянную бадейку с водой и враз окатывает Машу.

ДАША. Ништо, небось потухнешь.

АРИНА РОДИОНОВНА. Аль вовсе сдурели! Дашка, потри ей ледышкой жженые пальцы, боль и пройдет, да одежду сухую надень на нее, — глянь-ко, за печью висит. Эка резвые да бедовые какие!

Даша босиком выметывается за дверь за ледышкой, сейчас же возвращается обратно и уводит Машу с собою за печь.

Отворяется дверь, что ведет в господские горницы, появляется Василий Львович Пушкин, дядя Александра. У него книга под мышкой.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ *(к Арине Родионовне)*. А где же, где тут, где, — где юноша-мудрец, питомец нег и Аполлона?

АРИНА РОДИОНОВНА *(вставая и кланяясь в пояс)*. А никого тут нетути, батюшка Василий Львович, и не было никого.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Как — нету? Как — не было никого? Так вы же, вы-то здесь, Арина Родионовна!

АРИНА РОДИОНОВНА. Так мы кто, мы люди, батюшка Василий Львович...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ *(перебивая)*. Мне и надо людей, мне и надобно вас, дорогая наша Арина Родионовна. *(Целует ее в голову.)* Вы старшая муза России — вот вы кто!

АРИНА РОДИОНОВНА. Не чую, батюшка, не чую!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А где Сашка? Он здесь где-то... Я думал, он при тебе!

АРИНА РОДИОНОВНА. Нету, батюшка, нету; должно, в горницах шалит, где ж еще. Сама жду его — не дождуся, в кои-то веки из Личья своего показался, и то нету.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Сбежал, подлец!

АРИНА РОДИОНОВНА. Ан явится. Он до нас памятли-
вый.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Матушка, Арина Родионовна, вы бы его выпороли, — ведь есть за что!

АРИНА РОДИОНОВНА. Знаю, батюшка, знаю, да не смею.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Как так — не смеете! Штанишки прочь — и хворостиной его, хворостиной, чтобы визжал, подлец этакий! Ведь вы ему больше матери — вы его выхо-
дили, вы сердце в него свое положили...

АРИНА РОДИОНОВНА. А то как же, батюшка, а то как же: без того младенец человеком не станет!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ну и попарывайте, попарывайте его — зимой хворостиной, а летом крапивой...

АРИНА РОДИОНОВНА. Не с руки, батюшка: ему-то больно, а мне вдвое.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Вдвое, говоришь! *(Открывает резким движением книгу, что принес под мышкой, читает.)*

Но кто там мчится в колеснице

На резвой двоице порой?

Слыхала, матушка, какие стихи ныне пишут, а? Двоица! Ах, мерзавец!.. Это пару лошадей он так пишет, когда одна лошадь вдвое бывает. Это все князь Шихматов, шут полосатый. Это что же такое, матушка моя? Отвечай мне, я жалу-
юсь тебе? Это библический содом и желтый дом!.. *(Василий Львович с яростью швыряет книгу в горящую печь.)* Вон отсюда! — здесь Пушкины живут!

АРИНА РОДИОНОВНА. Дело ваше, а нам ни к чему.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ *(с остаточной яростью)*. Как так вам ни к чему? А что же вам к чему? Ах, рабство жалкое!..

АРИНА РОДИОНОВНА. А ты не шуми, батюшка... Что ты бросил — и нам ни к чему. А что нам впрок, то мы из огня возьмем и с земли подыдем. *(Она меняется в лице и что-то невнятно шепчет или напевает.)*

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Громче, матушка, — во всеуслышание!

АРИНА РОДИОНОВНА (*напевая внятно и задушевно*).

Ты спросишь: «Где ж мои родные?»

И не найдешь семьи родной.

Мой ангел будет грустной думой

Томиться меж других детей!

И до конца с душой утрюмой

Взирать на ласки матерей;

Повсюду странник одинокий,

Предел неправедный кляня.

Услышит он упрек жестокий.

Прости, прости тогда меня...

Из-за русской печи появляются Даша и Маша; Маша переоделась в сухую одежду; обе они молча, несколько испуганно наблюдают из отдаления за действием.

ДАША (*вдруг; громко, продолжая стихотворение*).

Быть может, сирота унылый,

Узнаешь, обоймешь отца...

(*И сразу смолкает, смутившись.*)

Василий Львович *глядит на всех, потрясенный и радостный.*

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ах, прелесть! Сашка, что ль?

АРИНА РОДИОНОВНА. Да то кто же!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Как — да кто же! И я бы так мог сочинить!

АРИНА РОДИОНОВНА. Ну нету, батюшка, не обижайся на старуху: дар Божий у Саши одного, у Александра Сергеевича.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ишь ты, какова! Да ты знаешь, я ему и по таланту дядя старшой! Что Сашка без дяди своего!

АРИНА РОДИОНОВНА. Бог вам судья.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. То-то.

АРИНА РОДИОНОВНА. А я Богу подсказчица.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*рассмеявшись*). Ах, сердита, ах, умна ты, матушка, Арина Родионовна! Знать, все музы тебе внучки! Только не ровня они своей бабушке, нет — не ровня! Я изумляюсь!

АРИНА РОДИОНОВНА. Это кто ж музы, батюшка: ангелы, что ли?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Да нет, матушка, какие ангелы: это девки такие! *(Замечает Дашу и Машу.)* Вон такие, какие они, только похуже, пожалуй! *(Подходит к Даше и Маше, гладит их по голове, одну и другую.)* Эти-то добрые, они славные, — вот тебе где ангелы, они на кухне! *(Даша и Маша ухмыляются.)*

АРИНА РОДИОНОВНА. А те, видать, зловредные.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ого! Те мошенницы, матушка, те мошенницы.

АРИНА РОДИОНОВНА. На небе живут?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А где же? Там, конечно.

АРИНА РОДИОНОВНА. Избаловались! На земле-то труднее.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. И верно, и верно! Вот я живу на земле — и я страдаю.

АРИНА РОДИОНОВНА. Чего ж так? Душа, что ль, болит по ком?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Нету, матушка, нету: устерсов не ем, гадов морских! А привык!

АРИНА РОДИОНОВНА. А ты ешь их! Ешь, гадов-то!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Англичанка не велит, от суши нас отрезала. В Европе пожары, на Везувии огнедышащее извержение, в журналах пишут, как готовить сушеные щи для солдат, — мне скучно, матушка!

АРИНА РОДИОНОВНА. Скучай, батюшка!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Зачем же, матушка, — зачем мне скучать?

АРИНА РОДИОНОВНА. Чтобы жить, батюшка.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Эх, старая, сказала. Чего скучать, пойду танцевать.

АРИНА РОДИОНОВНА. Воля ваша.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А ваша? А ваша где воля?

АРИНА РОДИОНОВНА. У вас, батюшка. Воля-то одна.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ *(задумывается, целует старуху в голову)*. Правда твоя. Спасибо тебе, — да и мы-то рабы.

АРИНА РОДИОНОВНА. А кто же? И вы тоже — при рабах и господин раб.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ах, прелесть!.. Ведь это же справедливо! А где, однако ж, Сашка? Явится к тебе — пошли его ко мне! Он мне надобен.

АРИНА РОДИОНОВНА. Скажу, чего же.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (к Маше). Ты чего — глаза в слезах, а сама смеешься?

ДАША. Она сдуру так-то.

МАША. Я не сдуру, я от радости.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А чему ты рада? Чему, красавица моя?

МАША (бормочет, как сама не своя). В печи огонь горит, от огня цветы растут, на дворе мороз, на небе звезды, а в избе люди добрые...

АРИНА РОДИОНОВНА. Ишь, умница.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Превосходно! В доме, где Пушкины, всякий сверчок поэт.

МАША. А таракан?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. И таракан, и блоха, и клоп, и муха, и птицы, и звери, и собаки, и кошки...

МАША. И я, и ты!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. И ты, и я... Ну, улыбнись мне еще раз... Ах ты, природа милая! Существовай!

ДАША (Маше). Ощерься!

Маша улыбается и в застенчивости закрывает лицо руками. Василий Львович, напевая, удаляется в господские горницы.

Из горниц слышится музыка.

МАША. И я хочу туда!

АРИНА РОДИОНОВНА. Куда тебе?

МАША (указывая на дверь, куда ушел Василий Львович). Туда! Там хорошо!

АРИНА РОДИОНОВНА. Опомнись! Там гости; у матушки-то Ольги Сергеевны нынче именины, ангела ее поминают.

МАША. И у меня нынче именины! И я ангел!

ДАША. Гляди-ко, и у нее именины, и она ангел! (Смеется.)

МАША (смеется, подобно Даше, без всякой обиды). И у меня именины, и у меня ангел есть.

ДАША. Бабушка, а у нас будут именины?

АРИНА РОДИОНОВНА. Будут, будут — чего нет? И у нас будут. Когда-нибудь будут...

ДАША. А у нас разве тоже ангелы есть?

АРИНА РОДИОНОВНА. А то как же! И у нас есть.

ДАША. А где ж они?

МАША (указывая себе на грудь). А тут!

ДАША. Бабушка! А что они делают?

АРИНА РОДИОНОВНА. Да что прикажут. Они послушные.

Входит лакей с большим лопухим унылым псом датской породы.

ЛАКЕЙ (на пса). Они скучают там!

АРИНА РОДИОНОВНА. Эко горе-то!

ЛАКЕЙ. Они нездешние, они из датской державы. Их хозяин — посол короля.

АРИНА РОДИОНОВНА. Ишь ты, — знать, и кобель — барин.

ЛАКЕЙ. А как же! Они скучают, у них слезы в глазах, — такая в них сущность. Иностранцы!

АРИНА РОДИОНОВНА. А ты кнутом его...

ЛАКЕЙ. Ошалела, матушка! Они при своем барине, а барин их при короле. Стало быть, сей пес-то — третье существо от самого короля. Ближко, стало быть! Велено, чтоб они веселыми были. Приказано, чтоб Машка занималась им и забавляла его, покуда они не ухмыльнутся аль не погавкают довольным голосом... Машка, прими скотину!

МАША. Бабушка!..

АРИНА РОДИОНОВНА. Господская воля, Машенька...

МАША. А я нынче именинница!

АРИНА РОДИОНОВНА..Аль ты барыня, что ль?

МАША. А я... а я... бабушка, а у меня тоже ангел есть, а пес нечистый!

ЛАКЕЙ. Щекочи, щекочи его! Видишь, они скучные...

АРИНА РОДИОНОВНА. Стерпи, Машенька...

Маша занимается с собакой: щекочет ее за ухом, утирает ладонью влажные собачьи глаза, тормошит ее.

ЛАКЕЙ (закуривая трубку). В иностранных державах и пес пряники глотает... Там деликатность такая!

АРИНА РОДИОНОВНА. Ты бы и шел туда да псом там жил.

ЛАКЕЙ. А мы и тут, матушка, пироги едим, когда они сохлые; нам сохлые завсегда отдают. А что, и сохлые можно — обмакни в жидкое да вкушай!

АРИНА РОДИОНОВНА. Можно и сохлые, и с плесенью, и прокисшие... Чего и пес не тронет, так ты небось проглотишь!

ЛАКЕЙ. А мне чего! — не бросать стать... Сжую и проглочу! Я человек этакий!

ДАША. Он этакий, такой-сякой, да с дурью...

Маша по-детски разыгралась с собакой; она ласкает и веселит ее и бормочет что-то про себя. Возможно, что эта сцена происходит за печью и видна зрителю лишь частично или совсем не видна, а только слышна.

МАША (явственно — к собаке). Ухмыляйся теперь, ухмыляйся! Чего ж тебе надоть, лодырь кормлёный! Ухмыляйся скорее, а то я бабочкой стану и от тебя улечу! У меня сердце маленькое, в нем радости мало, ты не ешь его — оно горькое, не ешь его, а то умрешь...

ДАША. Бабушка, чего она говорит так-то?

АРИНА РОДИОНОВНА. От обиды она разумом зашлась.

МАША. Улечу я бабочкой, где цветы растут, и ты меня не догонишь. А ты не плачь, ты не плачь по мне, я буду счастливой тогда. Я сяду на цветок, а цветок меня съест, и я стану цветком. А цветок выпьет пчела, я стану медом. А мед скушают пчелкины дети — я буду маленькой пчелкой. А пчелку ветер унесет, я буду ветром. А ветер снег подымет, я стану снежинкой. А снежинка опустится на матушкино лицо и станет слезою...

ДАША. Опомнись, Маша!

АРИНА РОДИОНОВНА. Не трожь ее, она сама изойдет и перестанет.

МАША. А матушка мне улыбнется, и слеза ее высохнет; и стану я тогда счастливой...

Является Александр Пушкин: в людской тихо, слышно только явственное бормотание Маши; Александр слушает Машу.

И буду я птицей, буду я травкой-былинкой, зернышком хлеба, доброю девушкой буду, а дурочкой Машкой боле не буду — мне матушка моя не велела. Она наказывала мне, чтоб я жила счастливой да вольной, а то, сказывала, она и в могиле плакать будет по мне. А мне горько дурочкой жить, матушка моя плачет в земле... Не плачь, матушка, я

тоже сейчас не плачу, я собаку веселю, пусть она ухмыляется...

АЛЕКСАНДР. Машенька, зачем ты грустна? Ты будешь счастливой!

МАША. Сначала собака должна ухмыльнуться. Мне велели ее веселить, а она плачет. Я ее сейчас поцелую, мне жалко ее...

АЛЕКСАНДР. Не нужно. Маша, не нужно, — пусть ее датский король веселит.

Александр хватает собаку за ошейник и выгоняет ее прочь за дверь, что выходит из людской во двор.

ЛАКЕЙ (вставая). Так не велено, барин!

АЛЕКСАНДР (с мгновенной яростью). И ты туда же, прочь!

ЛАКЕЙ. Нам чего же... Собака-то иностранной державы, будь бы она русская... (Уходит вслед за собакой.)

ДАША. Ай, в избе как чисто стало! Здравствуйте, батюшка Александр Сергеевич!

АЛЕКСАНДР (смеясь — к Даше). Здравствуй и ты, старая моя матушка... (Выводит за руку Машу.) Ах, вот ты какая, Машенька! — уже большая стала, а была маленькая...

МАША (улыбаясь). И ты был маленький!

АЛЕКСАНДР. Нету, я маленьким сроду не был!

МАША (веселая). Ты дедушка?

АЛЕКСАНДР. Я дедушка! Я живу на старости лет. Видишь?

МАША. Вижу. А я бабушка. Видишь?

Они идут, взявши один другого за руку, как ветхие старик и старуха, и подходят к Арине Родионовне.

АЛЕКСАНДР (обнимая няню). Нянюшка моя... Здравствуй, матушка, здравствуй, родная моя...

АРИНА РОДИОНОВНА. Здравствуй, ангел мой, здравствуйте, друг наш любезный, — храни вас Господь милостивый!

Няня крестит голову припавшего к ней Александра.

Соскучился, милый, — по нас соскучился, по людям своим... А уж мы-то по вас глаза досуха выплакали, — каково там-то вам в училище в сиротстве жить, — скудно да немилло. Чужая-то печь и топлена холодная бывает... Ах, дружок наш бедный, коли бы вы сердце наше чувствовали...

АЛЕКСАНДР. А я чувствую его, — вот оно, матушка, бьет-ся, вот оно стучится, ваше сердце, ко мне...

АРИНА РОДИОНОВНА. Правда, правда твоя, батюшка наш Александр Сергеевич, стучится к вам наше сердце, любит оно вас, да мало того что любит...

АЛЕКСАНДР. А что? А еще что же?

АРИНА РОДИОНОВНА. Да еще боится оно за вас...

АЛЕКСАНДР. Чего, — чего же оно боится?

АРИНА РОДИОНОВНА. Мало ли чего: слыхала я, резвыми вы, сударь, стали, потихоньку бы жили... По-нашему, тихие-то счастливей живут!

АЛЕКСАНДР (*отпрынув*). Счастливей? Машенька вон иль не тихая?

АРИНА РОДИОНОВНА. Уж чего — и тихая, и кроткая.

АЛЕКСАНДР. А счастливая она?

АРИНА РОДИОНОВНА. Да ну уж, где ее счастье? — чужую собаку щекотать?

АЛЕКСАНДР. А вы говорите — у кроткого счастье. Вот и петли вы спутали, дайте я сызнава счет-то начну.

Александр берет спицы, начинает вязать какой-то паголенок, что вязала его няня.

АРИНА РОДИОНОВНА. Аль не забыл, батюшка? Поменьше-то были, все бывало: дай-ко, дай-ко я, нянюшка, чулок тебе свяжу аль варежку. И руки-то у вас были с терпением, как крестьянские, и сами-то были совсем еще в малолетстве.

АЛЕКСАНДР. А я на старости лет мужиком стану либо инвалидом — и буду жить тогда в будке при дороге...

АРИНА РОДИОНОВНА. Да чего уж так, батюшка! — говоришь невесть чего, как Машка наша.

АЛЕКСАНДР. А правда, матушка. Бог весть, что будет-то.

АРИНА РОДИОНОВНА. Бог весть, милый мой.

На дворе громко и весело брешет изгнанная собака.

ДАША. Ишь ты, повеселел кобель-то!

АРИНА РОДИОНОВНА. Пусть его! Пусть его там мороз пощекочет.

АЛЕКСАНДР. Пусть ему — царской собаке. (*Передает няне вязание.*) Седьмую петельку, нянюшка, ты пропусти, там узелок я завязал...

МАША (*к Пушкину*). Я тебе цветы собирала, собирала, а они потухли... А зачем меня Дашка облила водой? — я мокрая была, мне холодно было...

АЛЕКСАНДР. Ты сама цветок, вот зачем. А цветы всегда поливают водой.

МАША (*довольная*). Я сама цветок! — вот зачем, я так и знала... А когда я буду счастливой? — ты говорил — я буду.

АЛЕКСАНДР. Когда?.. А тогда же, когда и я, — мы с тобою вместе будем счастливыми! Ах ты, душенька!

АРИНА РОДИОНОВНА. Да живи хоть ты-то, батюшка, счастливым.

АЛЕКСАНДР. А вы?

АРИНА РОДИОНОВНА. А мы и без счастья привычные.

АЛЕКСАНДР (*гневно*). Без счастья можно, нянюшка, а без вольности нельзя!

ДАША. Без вольности нам нельзя!

АРИНА РОДИОНОВНА (*Александр*). Нельзя, мой дружок, — без вольности и былинка вянет. Да глупому-то и без воли живется.

МАША. Я былинкой буду, а глупой Машкой не хочу! Я умру тогда.

АЛЕКСАНДР. Как грустно ты сказала, бедная Машенька...

МАША. А что вольность? — ты говорил.

АЛЕКСАНДР. Прелесть, — такая же, как ты.

АРИНА РОДИОНОВНА (*с живостью*). А я без воли век прожила... Как во сне, батюшка, как в дреме ушли мои годы...

АЛЕКСАНДР (*грустно*). Как во сне... (*К Машеньке*.) А ты будешь вольной, и ты проснешься, бедная умница...

МАША. Я буду прелесть, — ты говорил.

АРИНА РОДИОНОВНА. Да ну уж, — где она, воля и прелесть... Сколько я детей выходила... И сестрица ваша, Ольга Сергеевна, и вы, Александр Сергеевич, не миновали моих рук. Как их минуешь-то! Не сплю, бывало, любуюсь младенцем-то и думаю: может, вот оно, вырастет Божье дитя, — всему свету на радость, а я тоже не лишняя, я у сердца грела его. Может, думаю, отогрею того, кто каждой душе будет в утешение и покой века всем надобен, — стало быть, и я не напрасно жила-горевала... А кто ж его знает!

АЛЕКСАНДР. А кто ж его знает!.. (Обнимает няню.) Вырастила ты нас, а вдруг — мы балбесы!

АРИНА РОДИОНОВНА. Нету, не должно быть, нету! (Она припадает к руке Александра, но тот не дает свою руку.)

Из господских горниц появляются Василий Львович, Ольга Сергеевна, гости Ольги Сергеевны: дама с усами, старый человек — без усов и без волос на голове — посол датского короля, музыкант со скрипкой, которого ведет об руку Василий Львович.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Он тут, он здесь — я так и знал! Саша, я тебя ищу: я поэт, а ты еще в задатке, в темной натуре. Натура же — это страсть, а поэзия — трезвость. Кто ты такой, Саша? Ты мой племянник — всего и дела, Саша... Ты племянник!

АЛЕКСАНДР. Племянник. Зато у какого дяди!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ну верно, ну верно!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Сашенька, нам скучно без тебя...

В Лицее ты один и здесь без нас.

АЛЕКСАНДР. И здесь Лицей, сестрица.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Здесь, — в людской?

АЛЕКСАНДР. Здесь, в людской.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Чему же ты здесь учишься? И мы хотим поучиться.

АЛЕКСАНДР. Чему в Лицее, сестрица, не учат.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Чему же?

АЛЕКСАНДР. Не знаю чему, потому и учусь.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Ну-ну... Ах, Саша! Ведь скоро мы снова будем в разлуке...

АЛЕКСАНДР. Скоро, скоро... А что разлука! — душа моя будет с тобою...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Брат мой милый... А ты не забыл, что сегодня я именинница?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Кстати, да, именины... Зачем я вас попросил сюда? А затем, что и здесь дом Пушкиных, и здесь существуют служители муз, а может быть, живут и сами музы, но в тайном виде, в смиренном жилище — на печке, за печкой, в сенях, где лешие, где тараканы... Саша! Ты увидишь сейчас зрелище небывалое!

АЛЕКСАНДР. А все уже бывало, дядя.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ах ты, старик!.. Даша, Глаша, ты где? Ты тут? Нет, не все еще бывало! Прошу вас, господа, — внимание! Потом мы будем танцевать — здесь тепло, здесь огонь в русской печи, здесь хорошо, как в деревне... Даша!

ДАША. Чего? Я давешь тут...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Даша! Даша, я попрошу вас — произнесите стихотворение, что вы читали здесь...

ДАША. А я и другое знаю!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Боже мой! А сколько вы знаете стихов?

ДАША. Все.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Как — все? И мои знаете произведения?

ДАША. Нету, ваших не знаю. Ихние знаю, Александра Сергеевича.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Так-с. Это не вполне-с все! Читайте, однако, что помните.

ДАША. Я все помню... *(Босая, наивная и доверчивая, но сохраняя полное достоинство, она выходит на середину людской, в то время как гости располагаются вокруг Даши, и воодушевленно декламирует, вся отдавшись произведению Пушкина и своему воображению.)*

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи

На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи.

В седом тумане дальний лес;

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы.

Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,

И тихая луна, как лебедь величавый,

Плывет в серебристых облаках.

В начале ее декламации Василий Львович, Александр и Ольга Сергеевна весело улыбаются, следя за телодвижениями Даши, которыми она сопровождает декламацию; послон и дама с усами остаются надменно бесстрастными; затем Василий Львович и Ольга Сергеевна продолжают улыбаться, но Александр Пушкин делается серьезным и погружается в задумчивость; музыкант со скрипкой, которого привел Василий Львович, отходит к рампе, обращается

лицом к зрителю и начинает играть импровизированное музыкальное сопровождение к стихам Пушкина.

Плывет — и бледными лучами

Предметы осветила вокруг.

Аллеи древних лип открылись пред очами,

Проглянули и холм и луг;

Здесь, вижу, с тополем сплелась младая ива

И отразилась в кристалле зыбких вод;

Царицей средь полей лилея горделиво

В роскошной красоте цветет.

С холмов кремнистых водопады

Стекают бисерной рекой,

Там в тихом озере плескаются наяды

Его ленивою волной;

А там в безмолвии огромные чертоги,

На своды опершись, несутся к облакам.

Не здесь ли мирны дни вели земные боги?

Не се ль Минервы русской храм?

Не се ль Элизиум полнощный...

Не управляя своим вдохновением, Даша подымает руки, делает резкое движение и вдруг закрывает лицо руками во внезапной застенчивости и убегает на время за печку. Ольга Сергеевна улыбается, Василий Львович хохочет и аплодирует, посол и усатая дама крайне шокированы и морщатся, Маша, Арина Родионовна и Александр серьезные, у Александра катятся слезы по грустному лицу, слезы идут и по лицу музыканта, продолжающего играть свою мелодию.

МУЗЫКАНТ.

Не се ль Элизиум полнощный,

Прекрасный Царскосельский сад,

Где, льва сразив, почил орел России мощный

На лоне мира и отрад?

Потрясенный Александр целует Дашу, затем бросается к музыканту.

АЛЕКСАНДР (музыканту). Вы брат мой!..

ПОСОЛ (вставая). Сие ужасно! А где мой дог? — кобель по-русски!

МАША (указывая рукой на двор). Тамо... Он там ухмыляется...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Великолепно! Bravo, bravo, русский народ! Прелестно, прелестно!

УСАТАЯ ДАМА. Что здесь изящного? Дворовые люди смеются над нами!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (*успокаивая гостью*). Что вы, дорогая! Это все очень мило и от чистого сердца...

УСАТАЯ ДАМА. Вы так думаете? А я не думаю. И кто написал эти стихи, — я не слышала автора, — в них нет истинной гармонии...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*в сторону*). Ах ты, устерса, гада морская! Поди прочь от нас, от Пушкиных!..

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (*гостье, холодно*). Судить всякий, сударыня, может, а понимает лишь вдохновенный!

УСАТАЯ ДАМА. Бог мой! Значит, ваша девка обладает вдохновением, а я его не имею.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Да, сударыня.

УСАТАЯ ДАМА. Простите, у меня не дворовый вкус.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Я об этом сожалею...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*Александру*). Ты мне необходим. Я прочту тебе новые стихи: я создал их в чистом вдохновении, — поверь, ей-богу, Саша! Но чур не подражай!

АЛЕКСАНДР. Если стерплю, то воздержусь.

ПОСОЛ. Сие ужасно, сие ужасно!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*беря об руку гостью с усами*). Прошу вас. Здесь мало изящного, уверяю вас, и пахнет чем-то посторонним.

УСАТАЯ ДАМА. Ах, вы насмешник — и вредный! Знаете, мне что-то нехорошо...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Это вы проголодались, сударыня. После стихов я всегда мясным бульоном питаюсь и жареной говядиной по-английски...

Посол берет об руку Ольгу Сергеевну — и все уходят, последним идет музыкант, который идет вослед Александру; в людской остаются Арина Родионовна, Даша и Маша.

МУЗЫКАНТ (*обернувшись к Даше, делает ей рукой знак прощания*). Прощайте, Дарьюшка, нимфа моя!

ДАША. Прощай, ладно уж! Чего мало сыграл? — еще играй!

МУЗЫКАНТ (*делает жест в направлении ушедших вперед*). Я там в оркестре надобен: солист! (*Уходит.*)

АРИНА РОДИОНОВНА (*вздыхнув*). Ушел наш Сашенька... Ложитесь спать, девки, чего глаза таращите, ночь давно на дворе.

ДАША. И то, бабушка. Нам пора.

МАША. А я усну — и сны буду видеть...

Они уходят за печь, там разбираются, готовятся на сон грядущий; несколько позже они обе лежат на русской печи, и две их внимательные головки, четыре широко открытых глаза следят оттуда, что делается в людской.

Является Александр.

АЛЕКСАНДР (*застенчиво*). Нянюшка, я опять пришел.

АРИНА РОДИОНОВНА. Иди, иди ко мне, — чего ты как сиротка стоишь... Ведь я-то к тебе не смею ходить...

АЛЕКСАНДР. Няня, расскажи мне сказку...

АРИНА РОДИОНОВНА. Сказку?.. А я тебе их все уже небось рассказала, покуда растила тебя.

АЛЕКСАНДР. А еще — одну.

АРИНА РОДИОНОВНА. Которую же, голубчик, — и не помню я ничего.

АЛЕКСАНДР. А ты вспомни — как встарь люди жили-были... Как ты давно-давно мне рассказывала...

АРИНА РОДИОНОВНА. Да ведь вы тогда еще Сашенькой были, Александр Сергеевич, — вам что ни расскажи, все на сердце ложилось... А теперь вы сами разумные стали — чего я вам расскажу...

АЛЕКСАНДР. А ты помнишь, няня, ты сказывала мне одну сказку — давно-давно — она была самая добрая, самая хорошая, да я забыл ее.

АРИНА РОДИОНОВНА. И я, родной, позабыла. Которая же это?

АЛЕКСАНДР. Я вспомню ее, няня. И та сказка, — ты знаешь что, — та сказка скоро будет правдой! Я знаю!

АРИНА РОДИОНОВНА. Да уж пора бы... Да сбудется ли, милый, чтоб сказка правдой стала?

АЛЕКСАНДР. Сбудется, нянюшка, — я чувствую, ты увидишь.

АРИНА РОДИОНОВНА. Мне что же, я старая, я уже при смерти живу, а людям нужно...

АЛЕКСАНДР. И тебе нужно, няня, и всем, всем нужно, кроме злодеев...

АРИНА РОДИОНОВНА. Так что же это будет-то, батюшка?

АЛЕКСАНДР. Вольность! Святая вольность будет, няня! Ты никого не будешь бояться и станешь жить со мною, как мать.

АРИНА РОДИОНОВНА. Аль правда твоя?

АЛЕКСАНДР. Правда, правда, так будет, нянюшка моя...

ДАША (с печки). Правда!

МАША. Правда. Я вижу.

АРИНА РОДИОНОВНА. Ин, видно, так и быть должно, а без того вся жизнь неправда.

АЛЕКСАНДР. Ты постарела от рабства, няня!

АРИНА РОДИОНОВНА. Доживи хоть ты, сударь мой, до той поры, и себя не погуби. Вольность-то, слышно, никому даром не дается.

АЛЕКСАНДР. Дается!.. Государь не потерпит более рабства!

АРИНА РОДИОНОВНА. А кто ж его знает: цари молча живут.

АЛЕКСАНДР. Я вспомнил, это ты про вольность сказку мне говорила...

АРИНА РОДИОНОВНА. Да ведь в сказках правда спит, Сашенька, — а кто ее пробудит?

АЛЕКСАНДР. Мы, нянюшка, мы, бедная моя!

АРИНА РОДИОНОВНА. А кто вы-то?

АЛЕКСАНДР. Да мы!

АРИНА РОДИОНОВНА. Да кто ж такое вы-то, сиротка ты моя, — аль ты всех крепче? Ты тоже умрешь, сердечный мой, как мы все...

АЛЕКСАНДР. Пусть я умру, няня. А когда я живу, смерти нет, я чувствую прелесть в сердце!

ДАША. И я чувствую!

МАША. И я!

АЛЕКСАНДР. И она чувствует! И Маша!

АРИНА РОДИОНОВНА. Люди же они, батюшка, — вот и чувствуют.

АЛЕКСАНДР. Значит, это правда... Я вижу, что правда.
Из горниц заглушенно слышится музыка.

АРИНА РОДИОНОВНА. Ты все видишь, милый мой...
Страшно мне, что разумом ты резвый такой!

АЛЕКСАНДР. А вы не бойтесь, нянюшка. Пусть другим
будет страшно!

*Приходит кухарка; она кланяется Александру и ставит
на стол перед Ариной Родионовной простой ужин, кото-
рый она принесла на жестяном подносе.*

КУХАРКА. Ужинай, Родионовна, да и спать пора... Мне-
то нынче не спать — гости небось до утра будут, одной по-
суды сколько перемыть надо... Ешь, Родионовна, — тут ба-
рыня тебе ломоть пирога своими руками отвалила: пусть,
говорит, няня покушает. Вот он — тута, с начинкой!.. Мо-
жет, и вы, батюшка, Александр Сергеевич, с нянюшкой по-
кушаете, — я вам отдельно принесу!

АЛЕКСАНДР. Спасибо, Семеновна... Отдельно мне не на-
до, а дай ложку!

КУХАРКА. А ложка тут есть, — тут их три, вот они, ба-
тюшка. Кушайте.

*Кухарка уходит. Александр садится с няней за стол, бе-
рет себе ложку и хлебает с няней похлебку из одной ми-
ски. Музыка из господских горниц утихает; слышно глу-
бокое дыхание Маши и всхрапывание Дарьи, уснувших
на печи, — с лицами, по-прежнему обращенными сюда,
к няне и зрителю.*

*Из господских горниц появляется П. Я. Чаадаев, уже оде-
тый в дорогу, в офицерской бекеше.*

ЧААДАЕВ (Александру). Ты здесь? Едем в Царское. Я в полк
еду — мне пора.

АЛЕКСАНДР. Едем. И мне пора.

ЧААДАЕВ. Сбирайся! Здравствуйте, Арина Родионов-
на!

АРИНА РОДИОНОВНА. Здравствуй и ты, батюшка. Садитесь
кушать, а я встану.

ЧААДАЕВ. Зачем вам вставать? Ах, рабство, дикость ка-
кая!

АРИНА РОДИОНОВНА. Аль вы там, что ль, откушали?

ЧААДАЕВ. Нет, ничего я там не кушал...

АЛЕКСАНДР. Так садись сюда, тебе и ложка есть!

ЧААДАЕВ. Нет, не хочу. Горек здесь хлеб. А впрочем, — всюду он горек. Разве только в хижине земледельца он чистен и сладок...

АЛЕКСАНДР. А отчего?

ЧААДАЕВ. Ты должен это знать... *(Он отходит к спящим на печи Маше и Даше — и, сняв перчатку с руки, осторожно, нежно гладит их русые головки.)* Какие прелестные чистые лица у этих рабынь! Какая кротость у этого рабства, будь оно проклято! *(Обращается к Александру.)* А ты ложку взял, — ты меч возьми!

АЛЕКСАНДР *(бросает ложку)*. Ты прав!

АРИНА РОДИОНОВНА. Кушайте, сударь. Без еды и гнева не будет. Поешьте — и гневитесь.

ЧААДАЕВ. А ведь это правда, Арина Родионовна. Из хлеба гнев!

АРИНА РОДИОНОВНА. А откуда же: все из него берется, из черного хлебушка!

Чаадаев отламывает кусок хлеба, жует, но есть не может и выкладывает жеваный хлеб обратно в горсть.

АЛЕКСАНДР. Тошнит?

ЧААДАЕВ. Тошнит.

АЛЕКСАНДР. И меня стало тошнить.

ЧААДАЕВ. В нем нет чистого зерна... В нем кровь, пот и слезы земледельца. Он замешан на черном гное рабства, в нем темная душа русского невольника! Отсюда хлеб наш горек и не имеет питания...

АРИНА РОДИОНОВНА. А вы пирога откушайте...

ЧААДАЕВ. Пирога? В нем вовсе отравы, матушка; я не ем ядовитого...

АРИНА РОДИОНОВНА. Какая отравы? Он сдобный да сладкий, и в него яблочная начинка положена: пирог добрый вышел.

ЧААДАЕВ. Эта сладость из слез русского народа. Ах, и вы рабыня, Арина Родионовна...

АЛЕКСАНДР *(в гневе)*. Она матушка моя!

АРИНА РОДИОНОВНА. Чего вы, сударь! У вас своя, родная матушка есть.

АЛЕКСАНДР. Ты мне родная матушка — мать!

ЧААДАЕВ. Так чего же ты родную мать в рабстве содержишь?

АЛЕКСАНДР (*в исступлении, близком к слезам*). Не будет моя мать рабыней!

ЧААДАЕВ. Успокойся, успокойся, эфиоп! Ты дашь ей вольную, и она не будет рабыней. Но только она одна! Что толку? А вокруг океан рабства!

АЛЕКСАНДР. Да нет же, нет, — ты честен не один! Вся отчизна будет свободной!

ЧААДАЕВ (*он приблизился к Александру и затем обнял его*). Вся отчизна, Александр!

АЛЕКСАНДР. Вся! Я тоже раб, и ты раб!

ЧААДАЕВ. Ты не раб.

АЛЕКСАНДР. А кто же?

ЧААДАЕВ. Не знаю... Родила тебя Россия от своего горя и себе в утешение...

АЛЕКСАНДР. Когда же сбудется что-нибудь в России?

ЧААДАЕВ (*касаясь рукой кудрявой головы Александра*). Все сбудется! Она уже сейчас прекрасна, а счастливой будет... Нам пора, Александр.

АЛЕКСАНДР. Нам пора... Прощайте, матушка Арина Родионовна. (*Припадает к ней.*) Поцелуйте нас.

Арина Родионовна целует в лоб Александра, затем Чаадаева и крестит их.

АРИНА РОДИОНОВНА. Бог вам в помощь.

АЛЕКСАНДР (*к няне*). Я тебя люблю, а ты помни меня...

АРИНА РОДИОНОВНА. Упомню, упомяну, родимый мой, — как тебя забыть!.. А ты возьми, возьми-ко, Сашенька, пирожка в дорогу-то. Я тебе его в чистую холстинку положу...

ЧААДАЕВ. Излишен, матушка, твой пирог; обмерзнет он в дороге.

АРИНА РОДИОНОВНА. А вы тут, вы со мной его покупайте, родные мои: не побрезгуйте старухой...

ЧААДАЕВ. Простите нас, Арина Родионовна...

Арина Родионовна своими руками отламывает на столе кусок пирога; этот кусок она делит еще пополам и подает Чаадаеву и Александру; затем Арина Родионовна берет щепоткой совсем маленький кусочек пирога — для себя; и все трое они истово вкушают пищу.

АЛЕКСАНДР (*счастливо смеясь*). Теперь хорош, сладок пирог и не горек, отравы в нем нету!

ЧААДАЕВ (*серьезно*). Это матушка твоя, Арина Родионовна, своими руками его освятила.

Чаадаев и Александр уходят.

Арина Родионовна осталась одна; пауза; на печи сладко спят Маша и Даша; вьюга во дворе; затем — вскоре — близко, здесь же во дворе, живо звенит колокольчик под дугою коренного у тройки лошадей, и этот колокольчик рванулся вдруг в резком звуке, лошади понеслись, и колокольчик однообразно залился.

АРИНА РОДИОНОВНА. Не надобно, ничего не надобно мне, сынок мой нареченный! Дозволь только жить при тебе, чтобы от скорби, от печали тебя оборонить и от ранней кончины...

Колокольчик еще звенит и постепенно затихает вдали.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комната Александра Пушкина в Лицее. Комната у него угловая, последняя по коридору; в комнате большое окно, открытое в так называемый Елизаветинский сад (царскосельский сад состоял из двух садов: Елизаветинского и Екатерининского; Елизаветинский был более старый и запущенный); из окна видны старые, столетние деревья, за деревьями долина, то есть пустошь, и там же пруд — зеркало воды, сияющее в тишине под поздней луною. На берегу пруда — античные и римские статуи. Стоит весна. Окно Александра открыто настежь. Открыта и дверь в коридор. У двери, в коридоре, спит на табуретке лицейский дядька, старый Фома; он дремлет и, чтобы не заснуть, время от времени нюхает табак. Александр спит на кровати, укрывшись одеялом с головой. Вначале тишина, сияние весны за открытым окном. Виден волшебный мир, на который никто не смотрит.

Фома нюхает табак, чихает, затем чихает еще раз и еще — все более громко.

ФОМА (*чихая раз за разом*). Скажи, пожалуйста, — табака не терплю! (*Давая в нос свежую понюшку*.) Не терплю, да и только! (*Оглушительно чихает*.) Натура стареет, не терпит. Привыкнет, однако! (*Чихает*.)

Александр поворачивается под одеялом, не открывая головы.

Голос лицеиста В. Кюхельбекера издалека, из своей комнаты.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Фома! Не чихай на заре!

ФОМА. Не буду, Вильгельм Карлович, я более не буду! Мало ли что бывает, а потом и не бывает. (*Чихая вновь*.) Натура не держит!

ГОЛОС КЮХЕЛЬБЕКЕРА. Убейте кто-нибудь Фому! Я не выплусь — мой рассудок не отдохнет!

ГОЛОС ДЕЛЬВИГА. А как встать из-под одеяла — кто первый?

ЕЩЕ ГОЛОС. Я не встану!

ЕЩЕ ГОЛОС. Я тоже, — холодно!

ГОЛОС ДЕЛЬВИГА. Пусть Саша, ему ближе!

Стук в стену от соседа Александра — Ивана Пущина.

ГОЛОС ПУЩИНА. Ты спишь? Саша, ты спишь? Здравствуй, Саша!

Молчание.

Саша!

ФОМА. Александр Сергеевич спят: они чоха не боятся.

ГОЛОС АЛЕКСАНДРА (*из-под одеяла*). Не боюсь. Чихай, Фома!

ФОМА. Сейчас, Александр Сергеевич. Сейчас! (*Чихает*.) Раз! (*Чихает*.) Раз! Раз!.. Трижды кряду, Александр Сергеевич!

АЛЕКСАНДР. Будь здоров, Фома!

ГОЛОС ПУЩИНА. Саша! Это ты там?

АЛЕКСАНДР. Нету, не я!

ГОЛОС ПУЩИНА. А кто же ты?

АЛЕКСАНДР. Пушкин, бедный человек.

ГОЛОС ПУЩИНА. А отчего ты бедный?

АЛЕКСАНДР. Инвалид.

ГОЛОС ПУЩИНА. А инвалид отчего?

АЛЕКСАНДР. От тебя — ты стучишь, мне спать не даешь, и я слабею... Фома, дай я понюхаю — что такое! Может, это хорошо.

ФОМА. Это хорошо, Александр Сергеевич. Весь рассудок очищается, а что лишнее — прочь в ноздрю вылетает.

Дает Александру понюшку. Александр нюхает; ожидает, что будет с ним; размышляет; ничего с ним, однако, не случается, он даже не чихает.

Малолетний вы еще, вам едкость, стало быть, не нужна.

АЛЕКСАНДР. Обожди. Сейчас чихну.

ФОМА. Ну-ну, сударь. Вы постарайтесь, вы потрудитесь. Зря чоха не бывает.

АЛЕКСАНДР. Нету!.. А может — твой табак мне слаб.

ФОМА. Ого! Этот табак-то слаб! От этого табака, сказывают, сам государь как чихнет, так аж подскочит.

АЛЕКСАНДР (*сев на постели, обрадованно*). Ну? Это славно, пусть он чихнет да подскочит, чихнет да подскочит! А вдруг у него весь рассудок с чохом в ноздрю выскочит! Может, выскочил уже? — ты не видал, Фома?

ФОМА (*официально, громко обращаясь как бы ко всем лицеистам*). Опять пошли говорить да заговариваться!.. Время не вышло — побудки нету. Ночь идет. Спать всем пора! Спать — я говорю, как быть должно!

Тихо. Тикают большие стенные часы в коридоре.

Фома дремлет на своем табурете. Александр лежит, открыв лицо наружу; он не спит.

ГОЛОС ПУЩИНА. Саша! Ты забыл меня?

АЛЕКСАНДР. Забыл.

ГОЛОС ПУЩИНА. Забудь! Но помни: быть может, некогда восплачешь обо мне...

АЛЕКСАНДР. Нет, Жан, нет; это не я, а ты — быть может, некогда восплачешь обо мне!

ГОЛОС ПУЩИНА. Нет, ты скорее восплачешь!

АЛЕКСАНДР. Нет ты, нет ты! Вот увидишь, что вскоре ты восплачешь обо мне!

ГОЛОС КЮХЕЛЬБЕКЕРА. Ложь! Весь мир восплачет обо мне, а об вас он плакать не будет!

ФОМА. Где шум? Слышу — доносится. Спите, господа, — чтоб вас не было, — дайте мне, человеку, покой...

ГОЛОС ДЕЛЬВИГА. Дайте Фоме, человеку, покой!

ЕЩЕ ГОЛОС. Покой человеку!

ЕЩЕ ГОЛОС. Вечный покой!

ГОЛОС ДЕЛЬВИГА. Спите, орлы России!

АЛЕКСАНДР. Фома! Угомони своих птенцов!

ФОМА (*привстав с табурета*). Опять там шевеленье!
Спите, ангелы, демон вас возьми!

Молчание. Тишина. Сон Лицея на заре. Один Александр не спит.

Он встает (он одет в ночную пижаму, то есть в закрытую куртку и брюки), садится в постели, берет альбом со стола и, открыв его, задумывается, — в то время как за большим окном, в садах Лицея, медленно разгорается утренний рассвет.

Александр не пишет; он смотрит в утренний мир, и по лицу его проходят чередою то улыбка, то печаль, то тайная мысль; при этом лицо Александра кажется лицом уже вполне зрелого человека, старше своих лет, и игра чувств и мысли на нем, озаренном зачинающейся зарею, делает его прекрасным.

На берегу пруда, где стоят греческие и римские статуи, является забредшая туда, нездешняя видимо, старушка. Она в нищей одежде, согбенная, по внешнему виду, по старости и кротости она отдаленно напоминает Арину Родионовну. Согбенная старушка находится в полном противоречии с обстановкой, в которой она очутилась. В руках у нее кошелка; она собирает в нее павшие ветви и прошлогодние листья; остановившись, она внимательно смотрит на белую равнодушную греческую богиню, — и проходит далее.

Гортанным голосом вскрикивают в глубине природы пробудившиеся птицы. Александр подходит к открытому окну, смотрит на старушку.

АЛЕКСАНДР. И там то же самое, что есть и во мне, что сам я чувствую... И там Пушкин, и здесь Пушкин. Вон Муза моя! (*Улыбаясь.*) Которая же, брат Пушкин! Там и старушка, там и Киприда! Там лебеди на лоне вод, и вижу — там воробьи... И повсюду, в каждом из них, моя Муза; она, долж-

но, и в радости, и в печали, она в юной прелести и в добром старчестве, но она в них безмолвна, она будто мертва; живит одна ее поэзия...

Александр пишет в альбоме гусиным пером; очиненные перья стоят в деревянном стаканчике на столике. В природе разгорается утро.

Снова по лицу Александра проходят тени его чувств, превращаясь в одно радостное состояние поэзии. Фома, задремавший на табурете, уснул теперь глубоко, и, дышавший вначале неслышно, он постепенно расхрапелся; под конец он храпит во всеуслышание.

Александр бросает гусиное перо на пол, к ногам Фомы.

Фома! Слушай, я стихи тебе прочитаю.

Фома (пробуждаясь, подбирает с пола гусиное перо, пробует его ногтем). Опять иступили!.. Мой дед тоже грамоте знал, так ему одного пера на всю жизнь достало, а вам, сударь, и на сутки мало...

АЛЕКСАНДР. Мало! Слушай, Фома!

ФОМА. А чего слушать, сударь! Слово — не предмет, от него пользы нету!

АЛЕКСАНДР. Нету?

ФОМА. Так точно: нету!

Александр задумывается. Медленно бьют большие настенные часы.

Пора будить. Сейчас у них самый сон, а по уставу надо будить! Эх, жизнь-служба!..

Фома пошел будить лицеистов; слышен его стук в комнаты спящих и оклики: «Очнитесь, сударь, — пора», «Господин Дельвиг, время, — и под подушкой не спят, вставайте без обмана!», «Вильгельм Карлыч, господин Кюхельбекер, подымайтесь по малости!», «Сами поднялись: спасибо, сударь!». Александр слушает, затем читает, что он написал, вырывает лист из альбома и комкает его.

АЛЕКСАНДР. Плохо. Пользы нету!

Слышатся легкие приближающиеся шаги. Стук тростью об пол: просьба о разрешении войти.

(Настораживаясь.) Кто там?

Входит В. А. Жуковский.

ЖУКОВСКИЙ. Не рано ль я к тебе?.. Здравствуй, друг мой!

АЛЕКСАНДР *(весь оживляясь, бросается к Жуковскому)*. Здравствуйте, здравствуйте, Василий Андреевич!.. Не рано, не рано, а поздно — я уже давно не сплю! Садитесь здесь, нет — лучше тут! *(Александр суетится, усаживая гостя и оправляя постель.)*

ЖУКОВСКИЙ. Сочинял?

АЛЕКСАНДР. Плохо. В душе было прекрасно, а в стихах вышла гадость... Василий Андреевич, отчего это бывает?

ЖУКОВСКИЙ. Покажи, дружок.

Александр подает скомканный лист. Жуковский читает, добрая улыбка радости является на его лице. Александр стоит перед ним смущенный, в ожидании приговора. Жуковский тщательно разглаживает измятый лист бумаги.

Ты ничего не понимаешь!

АЛЕКСАНДР. А чего я не понимаю?

ЖУКОВСКИЙ. Себя не понимаешь — значит, ничего не понимаешь... Я бы не сумел сочинить таких стихов, как эти твои, — ни теперь, да и прежде. Может быть, один Гаврила Романович сумел бы, и то — не знаю, нет, не знаю...

АЛЕКСАНДР. Державин и вы лучше всех!

ЖУКОВСКИЙ. Не знаю. Теперь я не знаю... Ах, драгоценный ты мой! Какой в тебе дар!.. Ты мучаешь меня, я тебя боюсь, как видения из того дальнего мира, из лучшего мира, чем наш... *(Жуковский подходит к окну.)* Вот дивная природа, — гляди, она прекрасна, но и она только дорога наша в мир еще более прекрасный... мы все туда стремимся, а ты пришел к нам оттуда...

АЛЕКСАНДР *(озадаченный)*. Я там не был!

ЖУКОВСКИЙ *(убежденно)*. Был. В том есть достоверность моей души, а это самая точная достоверность, и вот *(предъявляя Александру лист со стихами)*, вот твоя подорожная оттуда.

АЛЕКСАНДР. А я там не был! Нигде я не был, я тут.

ЖУКОВСКИЙ. Был!.. Ты был там! И я пришел к тебе затем, чтобы напомнить, кто ты таков!

АЛЕКСАНДР. Кто я таков? А вот... *(Он вынимает из стола тетрадь, подает ее Жуковскому.)* Здесь известно, кто я таков.

ЖУКОВСКИЙ (*читает в тетради*). «Шалун!» Написано, что ты — шалун! — и заверено: учитель чистописания Федор Калиныч. (*Возвращая тетрадь*.) Хоть глуп ваш Федор, а правду написал... Вот именно: шалун ты, братец! И шалун ужасный, но про то ваш Федор еще не знает... (*Жуковский вынимает из внутреннего кармана листки со стихами, показывает их по очереди Александру*.) Кто это сочинил?

АЛЕКСАНДР (*улыбаясь*). Я!

ЖУКОВСКИЙ. А это?

АЛЕКСАНДР (*задумчиво*). Тоже я!

ЖУКОВСКИЙ. Тоже ты... А вот это?

АЛЕКСАНДР (*смотрит в листок и поникает в грусти*).

И это я.

ЖУКОВСКИЙ. И это ты... (*Прячет листки обратно к себе*.) Я знаю, что ты... Дало тебе небо дар великий, а ты его расточаешь напрасно. А какое ты имеешь право так делать, Александр Сергеевич, кто ты таков? Не твой это дар, что носишь ты в себе, он для всей Руси нашей дан, он добро всех обездоленных... Ты молод еще, но разум твой созрел, и ты должен иметь истинное понятие.

АЛЕКСАНДР. А истина, она где?

ЖУКОВСКИЙ. В тебе, Александр Сергеевич, а вокруг тебя Русь!..

АЛЕКСАНДР. В ней грустно, она несчастна.

ЖУКОВСКИЙ. Вокруг тебя Русь, я говорю, — ее нужно одушевить добром, ей нужно дать понять, чтоб она сама себя осознала, что она существует. Иначе ее как бы нет!

АЛЕКСАНДР (*машинально*). Ее как бы нет!

ЖУКОВСКИЙ. Гаврила Романыч стал ветхим, он ушел от дел. Я слаб. Другие ложны или бесчестны. А в тебе есть, что надобно нашему отечеству: в тебе пребывает одухотворение всех бедных сердец живою прелестью. Прелесть же есть не забава, а сила и государственная польза... Так почему же ты уничтожаешь свою силу во зло!..

АЛЕКСАНДР. А пусть зла лучше не будет!

ЖУКОВСКИЙ. А что зло?.. И государь тебе не по нраву, и в знатных вельможах ты видишь лишь глупость и недостатки природы... Без них, однако ж, отечество наше состоять не может, — тому и примера нигде нету.

Александр вдруг громко рассмеялся, и вот уже опять умолк и со вниманием глядит на Жуковского.

Это что же с тобой? Что смешного в правде?

АЛЕКСАНДР. Я нечаянно...

ЖУКОВСКИЙ. Что нечаянно?

АЛЕКСАНДР. Это мне нечаянно стало смешно... Я вспомнил, как один генерал растолстел от славы и еле пролез в триумфальную арку, ему там узко.

ЖУКОВСКИЙ. Ты это государя имеешь в виду?.. Фу, гадость какая, — мерзость и клевета! Тебе не стыдно, Пушкин?

АЛЕКСАНДР (*опять рассмеявшись*). И теперь надо ту арку рубить прочь! Пусть ее рубит Аракчеев!.. Василий Андреевич, а вы сами знаете, ведь Аракчеев глупый и злой, — почему без него отечество наше не может состоять? Почему нету вольности и есть рабство?

ЖУКОВСКИЙ. Вольность — дар величайший, к ней надо воспитать русский народ... В диком же сердце вольность взрастет лишь злодеянием и гибелью, она погубит того, кто ее недостоин... Твоя сила другая. Ты одушевляй добром и небесной прелестью поэзии темные сердца, — может быть, ты призван быть душой России! Так будь ею! А ты, ты идешь в бунт, в злое раздражение, ты идешь в погибель, и твоя Муза плачет... Разве ты не волен, — какая тебе нужна вольность?

Молчание. В природе сияет утро.

АЛЕКСАНДР. Вольности никто не знает, ее нету...

ЖУКОВСКИЙ. Так не тревожься о ней прежде времени.

АЛЕКСАНДР. А я чувствую, Василий Андреевич, я чувствую — вольность и поэзия одно и то же, и душа России вольность.

ЖУКОВСКИЙ. Нет, Александр Сергеевич, нет! Вольность лишь жизнь людей на земле, а поэзия сообщает наши души с вечным небом. Поэзия превыше вольности.

АЛЕКСАНДР. Нет.

ЖУКОВСКИЙ. Да, Александр Сергеевич. Это правда.

АЛЕКСАНДР. Нет, это неправда, Василий Андреевич... Неправда! Все небесное должно стать земным, — к чему тогда небо! В том и поэзия!

ЖУКОВСКИЙ. Ты рассуждаешь, как крепостной человек... Гляди, Александр Сергеевич, твоя Муза — богиня, а ты презреешь ее, и она станет черной бесплодной нищенкой.

АЛЕКСАНДР. А пусть... Пусть моя муза будет не дочерью богов, а дочерью Кузьмы и Акулины, Машкой или Дуней. Пусть она будет бедной, но с честью на челе, тогда она будет божеством...

ЖУКОВСКИЙ. Как грустно, Пушкин! Мне жалко, что ты родился надеждой России, и вот эта надежда опять не исполнится. И опять не одушевится наша бедная земля светлым духом, и тогда она омертвеет надолго... Надолго, а может быть — навсегда!

Молчание. Александр неподвижно смотрит на Жуковского.

А ты желаешь уйти с пути славы и величия, с пути своего счастья, ты желаешь уйти на путь своей гибели... Боже мой, сколь охотно идут туда люди, — бесцельно, безжалостно к себе, без смысла для государственной пользы...

АЛЕКСАНДР. И среди них прекрасные, возвышенные души! Сколь я ничтожен пред ними, Василий Андреевич...

ЖУКОВСКИЙ. О чем ты сожалеешь? Ты не ровня им, ты выше их всех, а они ничтожны... Зачем тебя влечет к разбойникам? Бог привел тебя к нам и указал твое призвание, так слушайся его веления... Не мне, не нам тебе напоминать! Но ты слаб к рассеянной жизни, слаб к заблуждению... Я должен тебя удержать, я должен помочь тебе советом и вижу — не могу помочь. Слаб я пред тобою... Но если ты не послушаешься, так я буду молить тебя внять моим словам. Не веришь мне, поверь России, ее же ты чувствуешь и любишь...

Александр бросается к Жуковскому и обнимает его.

АЛЕКСАНДР. Я не буду, я больше не буду!

ЖУКОВСКИЙ (*прижимая к себе Александра*). Чего, чего ты не будешь?

АЛЕКСАНДР. Не буду обижать добрых.

ЖУКОВСКИЙ. А государь, а граф Аракчеев, — поверь, они тоже добрые!

АЛЕКСАНДР. Они — нет! За ними рабство!

ЖУКОВСКИЙ. И что тебе — ты разве им судья? Оставь их... Не будешь более?

АЛЕКСАНДР. Буду!

ЖУКОВСКИЙ (после краткой паузы). Погибнешь, Пушкин!

Гортанным долгим голосом вскрикивает птица в лицейском саду.

АЛЕКСАНДР. Кто это?

ЖУКОВСКИЙ. Лебедь... Это лебеди на озере.

АЛЕКСАНДР. А ведь они свободнее людей, Василий Андреевич, им лучше!

ЖУКОВСКИЙ. Они свободны, но они неразумны.

АЛЕКСАНДР. Мы не знаем их разума... Хорошо бы, чтобы все шло скорее!

ЖУКОВСКИЙ. Что — скорее, что это значит, какой в том смысл?

АЛЕКСАНДР. Мы все томимся, Василий Андреевич... Может быть, и государю плохо. Мы томимся и самое важное дело откладываем на будущий день... Мы думаем — вот наступит будущий день!..

ЖУКОВСКИЙ. Какой будущий день?

АЛЕКСАНДР. Когда наступит вольность! А прежде нее лишь томление...

ЖУКОВСКИЙ (*сдерживая глубокое чувство*). Ах, не будь ты ничем, Александр Сергеевич, — ни поэтом, ни мудрецом, ни вельможей, но живи с нами долго-долго, живи незаметно и кротко и не оставляй нас!..

АЛЕКСАНДР (*улыбаясь*). Я так и хочу жить, Василий Андреевич. Я смиренно буду!

ЖУКОВСКИЙ (*с нежностью касается плеча Александра, прощаясь с ним*). С нас и малости сей достаточно. А там видно будет.

Является Энгельгардт, директор Лицея. Позади Энгельгардта присутствует Фома.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Здравствуйте, Василий Андреевич, здравствуйте, батюшка!

ЖУКОВСКИЙ. Здравствуйте, здравствуйте, почтенный Егор Антонович!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Как одолжили нас, как одолжили, что почтили своим посещением! Как одолжили, сударь мой, Василий Андреевич!

ЖУКОВСКИЙ. Чем же я одолжил вас, Егор Антонович? Скорее, я сам одолжен здесь...

Энгельгардт здоровается с Александром, по-отцовски обняв его.

У вас в Лицее цветет юность, надежда отечества. Созерцать юность — наслаждение, поэтому, пребывая у вас, я сам одолжаюсь, мне же здесь никто не обязан.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Как можно, как можно так говорить, Василий Андреевич! Вы Жуковский, вы первейший источник духовного питания нашего юношества, вы зодчий их нравственного благообразия...

ЖУКОВСКИЙ. Зодчий нравственного благообразия — это уж вы, Егор Антонович. Без ваших забот и самая звучная лира не достигнет глубины юного сердца. Вы здесь поводырь и первый наставник.

ЭНГЕЛЬГАРДТ (*старчески благодушно*). А что ж, это правда, Василий Андреевич, это правда. Я здесь поводырь у Музы Поэзии... Как это вы истинно возвышенно обращались к его превосходительству, первому наставнику Московского университета Михаилу Матвеевичу Хераскову, — в ту пору, когда ему пожалован был орден Святой Анны:

Еще, Херасков, друг Минервы!

Еще венец ты получил!

Сердца в восторге пламенеют

Приверженных к тебе детей,

Которых... которых... —

ах, не помню дальше, Василий Андреевич, забвение нашло на память...

ЖУКОВСКИЙ.

Которых нежною рукою

Ведешь ты в храм святой наук...

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Вот именно, вот именно! Я вспомнил:

И здесь и там нас ждет награда:

Здесь царь венчает, а там — Бог!

Александр громко рассмеялся и умолк.

ЖУКОВСКИЙ. Ты чего?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Что с вами, сударь?

АЛЕКСАНДР (*указывая в окно*). Это я на него!

Жуковский и Энгельгардт оборачиваются к окну и наблюдают.

ЖУКОВСКИЙ. Никого нету!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Пустынно совершенно!

АЛЕКСАНДР. Он спрятался.

ЖУКОВСКИЙ. Кто?

АЛЕКСАНДР. Неизвестно. Глупец какой-то.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Какой глупец? Ах, сударь, не следует вам хотя бы и чувством подчиняться глупцу.

АЛЕКСАНДР. Я не буду.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Не следует, не надо, милый.

ФОМА. Они малолетни еще!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Это хорошо, что малолетний. Малолетство — юность!

ФОМА. А что́ хорошо: от малолетства и глуп. Пусть скорее растет — образумится. Я видел — дурака снаружи не было, а он смеется, — чему такое?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Да, чему такое?

ЖУКОВСКИЙ. Глупец был здесь. Это он на меня смеялся, моим плохим стихам... Правда, Пушкин?

АЛЕКСАНДР. Правда...

В сильном смущении он закрывает лицо руками.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Неправда, не верю: стихи прекрасны и благородны!

АЛЕКСАНДР. Я не мог овладеть своим чувством.

ЖУКОВСКИЙ. А и не надо. Ты прав.

Хрипят, должны бы ударить, но не бьют лицейские стенные часы.

ФОМА. Гляди-ко, завтракать в Лицее пора, да и заниматься время тож!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Пора, пора... Эко время идет, Фома!

ФОМА. Идет, Егор Антонович, идет... Как кульер бежит: проживешь — и не выспишься — некогда!

Жуковский прощается с Александром и уходит; за ним уходит и Энгельгардт.

АЛЕКСАНДР. Фома!

ФОМА. Чего, сударь?

АЛЕКСАНДР. Принеси мне булку от завтрака.

ФОМА. Чего же одну булку!.. Можно и кофею принести, и масла, и сыру, — что вам полагается.

АЛЕКСАНДР. Одну булку давай!

ФОМА. Помягче?

АЛЕКСАНДР. Черствую!

ФОМА. К чему так — черствую?

АЛЕКСАНДР. Зубы хочу точить!

ФОМА. А пить чего будете?

АЛЕКСАНДР. Вон там — в озере у лебедей напьюсь.

ФОМА. Как вам желательно! (*Уходит.*)

Вдали слышится духовая военная музыка; затем — дробь барабана. Это развод караулов в Царскосельском дворце. Тишина. Слышится хруст робких шагов по гравию за окном, — и за окном появляется старуха с кошелкой, собирающая по саду сор и сухую листву, — это Фекла, которую видно было вдали в этом действии.

Фекла, увидев Александра, наблюдающего ее, кланяется и уходит в сторону.

АЛЕКСАНДР. Бабушка!

ФЕКЛА (*снова кланяясь*). Здравствуйте, батюшка-сударь! Здравствуйте, благодетель!

АЛЕКСАНДР. Ты чего ходишь, бабушка?

ФЕКЛА. А я не даром хожу, батюшка: я тут в должности состою. Видишь, я в саду прибираю.

АЛЕКСАНДР. Ты бедная, бабушка?

ФЕКЛА. Нету, нету, — отчего я бедная? — дома в деревне я сыто жила.

АЛЕКСАНДР. А зачем ты из дома ушла?

ФЕКЛА. Душа велела уйти. Тут я при могиле живу.

АЛЕКСАНДР. При могиле живешь?

ФЕКЛА. При могиле. Истинно так.

Фекла приближается к окну, Александр склоняется к ней навстречу через низкий подоконник.

АЛЕКСАНДР. Расскажи мне, бабушка...

ФЕКЛА. А чего сказывать-то, родной?

АЛЕКСАНДР. А скажи, что у тебя на сердце лежит!

ФЕКЛА. А на сердце у меня сын родной лежит... Был у меня сын-первенец, да один он и был. Взяли его в службу царскую — собой он большой, видный был, на разум понят-

ливый, — взяли его в царский полк. Осьмнадцать лет прослужил, на девятнадцатом его палками насмерть забили...

АЛЕКСАНДР. А за что его палками?

ФЕКЛА. Сказывали, пред царем провинился...

АЛЕКСАНДР. А правда провинился?

ФЕКЛА. Чего — правда? Пред царем правда, а пред матерью другая. Да мать-то не спросили — и палками его насмерть...

АЛЕКСАНДР. И ты терпишь — живешь?

ФЕКЛА. Терплю... Вон там он и схоронен, близу села Павловского, там его и могила... На вечер-то я каждый день туда хожу. Приду и песню ему спою, побаюкаю его, чтоб спал он смирно и кости его битые отдохнули. Пусть покоится!

АЛЕКСАНДР. Ты баюкаешь его?

ФЕКЛА. Баюкаю, родной, баюкаю... Как в детстве его, бывало, когда он еще в младенчестве был, колыхала я его зыбку и песню ему колыбельную певала, — так и нынче тую же песню ему напеваю... Да допрежде-то у меня голос чистый был, а тепер я шепчу ему, — думается только, что пою... Евсеём Борисевкиным его звали, Миронов сын, может, слышали такого?

АЛЕКСАНДР (*изменившийся в лице*). Евсей Борисевкин, Миронов сын?

ФЕКЛА. Он, батюшка!.. Вы-то не глядели, как его насмерть убивали? Не запомнили?

АЛЕКСАНДР. Нет...

ФЕКЛА. А люди видели... Спрашиваю, хожу, да не сыщу никак того, кто видел-то...

АЛЕКСАНДР. Я сыщу тебе того...

ФЕКЛА. Сыщи, батюшка!

АЛЕКСАНДР. Я сыщу того, кто велел его убить.

ФЕКЛА. И того сыщи!

АЛЕКСАНДР. Возьми деньги, помяни своего сына.

ФЕКЛА. Спасибо, батюшка, благодарствую, — ничего нам не надобно. Я и свое-то добро, что было, людям раздала. Ты живой, ты купи себе на деньги, чего нужно. А мы — так.

АЛЕКСАНДР. Пойдем сейчас к нему, пойдем к твоему сыну. Спою ему песню.

ФЕКЛА. Тепер не время. Вечером надо, на долгую ночь.

Фекла уходит от окна. Александр бросается на постель вниз лицом.

АЛЕКСАНДР. Убегу! (Вскакивает и зовет.) Фома! Фома! А где моя одежда, куда я ее ввечеру положил?

Является Фома с булкой на тарелке.

ФОМА. Отойти нельзя. По ночам не спят, по утрам не умываются, не завтракают... Покою нету... Чего вы, сударь?

АЛЕКСАНДР (нашедши верхнюю одежду). Ничего.

ФОМА. Кушайте, а то науками заниматься пора.

АЛЕКСАНДР. Я все знаю. Я убегу, Фома!

ФОМА. Куда?

АЛЕКСАНДР. По делу.

ФОМА. Эх, сударь, накажут вас... По первости — словом обидят, потом и розгой могут, а в конце и кандалы оденут.

АЛЕКСАНДР. Кандалы я прочь разорву!

ФОМА. Разорвет он! А кузнецы-то у нас, даром, ого, что ль, они хлеб казенный едят?..

Являются Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер; каждый из них несет по тарелке, на которых разложен завтрак Пушкина.

ПУЩИН. С добрым утром, Саша! Ты опять недоволен?

ФОМА. Опять!

ПУЩИН. Чем ты недоволен, Саша? Кто к тебе утром приходил?

АЛЕКСАНДР. Я доволен... У меня Муза была.

ПУЩИН. Муза? Откуда же она явилась?

АЛЕКСАНДР. Оттуда.

ПУЩИН. Как же она прошла сюда, — в Царском — часовые!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Музы — мнимость. Духовные твари должны быть невидимы.

ДЕЛЬВИГ. А какова собою она, Саша, — мила, прелестна?

АЛЕКСАНДР. Нет, она нехороша.

ДЕЛЬВИГ. Слушай, Саша! А нельзя было ее в мешок поймать — пусть она за нас стихи пишет!

ФОМА. Никто не являлся. Тут посторонних не бывает, я гляжу.

ПУЩИН. С добрым утром, Саша! Отчего ты меня не замечаешь?

АЛЕКСАНДР (*веселя*). С добрым утром, друзья... Спасибо вам, не забыли меня, старика!

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Комната в квартире Чаадаева. Весна. Чаадаев ходит по комнате из угла в угол строгим учебным шагом. Затем делает пустыми руками артикул и внешне успокаивается.

ЧААДАЕВ. Учебный шаг, учебный шаг, церемониальный марш... Простое дело будто, первейшее неперменное обучение войска, наряду с прочим обучением. Так оно и есть, да не у нас. У нас этим учебным шагом чуть было не затоптали насмерть Россию. У нас только и был учебный шаг, а к нему ничего более. Из него шла вся мудрость государственная. И еще — церемониальный марш! Костями клали солдата ради него!.. Тяжко, однако, жить лишь размышлением, и напрасна мысль у нас... А в сражениях что было? Ведь в сражениях действует не столько солдат, сколько человек, и человек высокий и духовный, любитель своего отечества. Спасибо Михаилу Илларионовичу Кутузову — и вечная ему слава. Он понял русского человека и не помешал ему. Однако же истинное руководство не в том, чтобы не помешать герою, а быть умом и предвидением впереди него — и не расточить попусту ни силы его, ни жизни... Ах, сколь бесплодно размышление, сколь полезно действие! (*Чаадаев пребывает в томлении и в одиночестве; он подавляется грустью; вынув саблю из ножен, он глядит на нее и, вздохнув, молча кладет на стол.*) Сирота наша Русь, круглая сирота... И царь у нее есть, да не отец он для России, а отчим, и Русь ему — чужая падчерица. Но не оставим мы свою любовь, своими слезами и своею силой сию бедную и добрую, сию прекрасную Русь! (*Чаадаев хватает обнаженную саблю и вновь кладет ее, слышав стук в дверь.*)

Входит Варсонофьев. Он здоровается с Чаадаевым — сначала как военный, затем целует Чаадаева в щеку, и Чаадаев ему отвечает тем же.

ВАРСОНОФЬЕВ (*усевшись в кресло*). Прощай, Петр! В Париж еду с особым поручением!.. Чего прикажешь привезти? — духи, белье, сушеные фрукты из Индии, вино...

ЧААДАЕВ. Спасибо. Я ни в чем не нуждаюсь.

ВАРСОНОФЬЕВ. К родной капусте привык! Может, новейших книг?

ЧААДАЕВ. И книг не надо...

ВАРСОНОФЬЕВ. Что так? Сам умен — да? Ах, Петр, Петр — ты гвардии мудрец!

ЧААДАЕВ. В нынешних книгах нет ответа на сокровенные вопросы человечества... Я их читал.

ВАРСОНОФЬЕВ. Нет ответа на вопросы... А ты не имей вопросов, забавней будет жить!.. Слушай, едем со мной!

ЧААДАЕВ. Что говоришь! Я на службе!

ВАРСОНОФЬЕВ. К чему тебе служба? Бежи ее!

ЧААДАЕВ. Ты глуп, Василий Прохорович!

ВАРСОНОФЬЕВ. Слышал, слышал уже, да я не верю, не верю, Петр Яковлевич... А ежели и правда, — так я глуп да весел, а что в твоём уме? — печаль да скука! Но неужели в печали истина? Нет, мудрость, по мне, дело веселое, — ну, вроде, как бы тебе сказать...

ЧААДАЕВ. Вроде французского кордебалета...

ВАРСОНОФЬЕВ. *(смеясь)*. Так точно, так точно! Ах, Франция! Я там буду!

ЧААДАЕВ. Ничего там существенного нету.

ВАРСОНОФЬЕВ. Как ничего нету? А где же тогда что-нибудь существенное?

ЧААДАЕВ. Нигде... Лишь у нас, на Руси есть нечто существенное, и я за честь считаю быть ее сыном, — но спит Россия...

ВАРСОНОФЬЕВ. Пробуди ее, и я никуда не поеду!

ЧААДАЕВ. Бессмысленный ты человек.

ВАРСОНОФЬЕВ. А начальство меня ценит: говорит, к службе горазд и отечеству храбрая сабля.

ЧААДАЕВ. Начальство не равно отечеству.

ВАРСОНОФЬЕВ. А ты полагаешь, должно, что ты равен России и один за нее думаешь?

ЧААДАЕВ. Я равен рабу, как и она.

Является Александр. Он встревожен и обеспокоен.

АЛЕКСАНДР. Здравствуйте!.. Здравствуйте, Петр Яковлевич, и вы — я забыл, я вспомню, — здравствуйте, Василий Прохорович!..

ВАРСОНОФЬЕВ. Верно, верно! Здравствуй, Алеша!

АЛЕКСАНДР. А я не Алеша!

ВАРСОНОФЬЕВ. А все равно! Значит, ты Павел или Володя!

АЛЕКСАНДР. Нет, нет! *(Смеется.)* А все равно!

ВАРСОНОФЬЕВ. Все равно, Николай, все равно.

АЛЕКСАНДР *(хохочет)*. Опять я не он — я не Николай!

ЧААДАЕВ. Это Пушкин! Неужто не слышал?

ВАРСОНОФЬЕВ. Пушкин? — Сроду не слышал!.. Здравствуй, Пушкин!

АЛЕКСАНДР. Здравствуй, Прохоров Василий!

ВАРСОНОФЬЕВ. Правильно: по отцу я Прохоров.

АЛЕКСАНДР. Петр Яковлевич!.. Петр Яковлевич, а у вас в полку был такой солдат, звали его Евсей Миронов Борисевкин?

ЧААДАЕВ. Борисевкин, Евсей Миронов... Не помню. Нет, такого не было, я бы помнил его.

ВАРСОНОФЬЕВ. Евсей Борисевкин?.. Как же не помнить! Это же нашего полку старослужащий солдат, он в моей роте служил...

ЧААДАЕВ. И что с ним случилось?

ВАРСОНОФЬЕВ. А ничего — помер солдат.

АЛЕКСАНДР. Его убили!

ЧААДАЕВ. Кто убил?

АЛЕКСАНДР *(на Варсонофьева)*. Они!

ВАРСОНОФЬЕВ. Над тем рядовым Борисевкиным была произведена экзекуция, никаких нарушений от установленных правил не было...

ЧААДАЕВ. Кто руководил той экзекуцией?

ВАРСОНОФЬЕВ. Командир роты, где служил Борисевкин, — так предписано положением, и в присутствии...

ЧААДАЕВ *(перебивая)*. А командир роты — это ты?

ВАРСОНОФЬЕВ. Я, несомненно.

ЧААДАЕВ. Вот что... Так не в печали, ты говорил, истина, а в веселье, — и к службе ты горазд, и отечеству храбрая сабля... Ты не сабля, а палка — смерть солдатская! Пошел вон отсюда!

ВАРСОНОФЬЕВ *(в гневе)*. Что такое?

ЧААДАЕВ. Вон!

АЛЕКСАНДР. Вон отсюда!

ВАРСОНОФЬЕВ (*инстинктивно хватаясь за свое личное оружие*). Не касаться меня!

Александр в ответ хватается за саблеобразную обнаженную саблю, лежавшую на столе.

Не прикасайтесь ко мне, я говорю!

ЧААДАЕВ. Уходи прочь! Мы не будем мараться об тебя!

АЛЕКСАНДР. Он трус!

Варсонофьев уходит, держась за свое оружие, но не обнажая его. Чаадаев отбирает у Александра саблю и кладет ее.

(*В благородной ярости.*) Я рассечь его хотел — какое это счастье!

ЧААДАЕВ. Да, это счастье — рассечь мучителя и палача. Я вижу, ты можешь быть и воином.

АЛЕКСАНДР. Могу, — и я им буду... Если б он не струсил, я бы ударил его!

ЧААДАЕВ. Ударишь затем, еще будет время.

АЛЕКСАНДР. Нету времени!.. Я его догоню сейчас и изрублю! Дай мне твой пистолет!

ЧААДАЕВ. Нельзя, нельзя. Успокойся, дорогой... Будет время!

АЛЕКСАНДР. Когда будет время? Не будет его, нужно сразу!..

ЧААДАЕВ. Что нужно сразу?

АЛЕКСАНДР. Все!

ЧААДАЕВ. Что все?

АЛЕКСАНДР. Все, а то не будет нам ничего.

Александр вынимает из кармана сухую булку, что принес ему в Лицее Фома, разломал ее пополам, подвинул половину Чаадаеву, а другую половину начал грызть сам.

ЧААДАЕВ. Погоди... От такого хлеба у тебя во рту сухо.

АЛЕКСАНДР. Не сухо, я сгрызу.

Чаадаев выходит в кухню и приносит оттуда кувшин с молоком и одну чашку.

Александр ест булку, запивая ее молоком.

ЧААДАЕВ. Крестьяне тоже хлеб сухой едят, его съедаются меньше.

АЛЕКСАНДР. Они черный едят, они живут в рабстве.

ЧААДАЕВ. В рабстве, Александр...

АЛЕКСАНДР. А когда вольность будет? Нужно, чтобы она сразу была!

ЧААДАЕВ. Нельзя сразу... Но тебе лучше думать о Музах, Александр. Иди к Музам, там ты встретишь свободу.

АЛЕКСАНДР. Не пойду... Пусть Музы приходят к нам. Нынче утром Муза приходила ко мне...

ЧААДАЕВ (*заинтересованный*). Какая Муза? Я никогда не видел Муз и не увижу, — и есть ли они?

АЛЕКСАНДР. Есть, я видел.

ЧААДАЕВ. Какова же она? Что она говорила, — или она молчала?

АЛЕКСАНДР. Она бедная, грустная, она была русская Муза. Она говорила... она говорила мне... (*Лицо Александра покрывается внезапными слезами, и он опускает голову на стол.*)

ЧААДАЕВ (*как бы про себя*). Вон какая Муза являлась к тебе!.. Такую Музу и я видел, пожалуй!.. Прекрасный мой, не волнуйся, не волнуйся более. То была у тебя истинная Муза! Ты радуйся!

АЛЕКСАНДР. Я не волнуюсь, все прошло.

ЧААДАЕВ. Что она сказала тебе, или она безмолствовала?

АЛЕКСАНДР. Она сказала, сын ее убит.

ЧААДАЕВ. Как можно так, я и мысленно не представляю! Камена — замужняя, у Камены дети? Разве Музы семейные? Ты шутишь, но ты плакал... Ты сумасшедший, Пушкин!

АЛЕКСАНДР. Ты сам сумасшедший!

ЧААДАЕВ. Почему я сумасшедший?

АЛЕКСАНДР. Ты понимаешь рабство, а сам в рабстве живешь!

ЧААДАЕВ (*задумываясь*). Отсюда ты прав: я сумасшедший.

АЛЕКСАНДР. Она безумная, она поет колыбельные песни умершему сыну, она баюкает мертвых на долгую, вечную ночь!

Молчание.

ЧААДАЕВ. Говори мне далее.

АЛЕКСАНДР. Она безумная и нищая от рабства, она скоро умрет. Ты понимаешь меня?

ЧААДАЕВ. Я понимаю.

АЛЕКСАНДР. Я не могу более ничего сочинять, когда она нынче горестна и безумна, а завтра будет мертва. Я сам безумен буду!

ЧААДАЕВ. Да, но зачем нужна вольность твоей безумной Музе?

АЛЕКСАНДР. Какая Муза! Она не Муза, ее зовут Фекла... Ко мне нынче поутру приходила старуха, мать солдата Борисевкина...

ЧААДАЕВ. Вот что было!.. Она возвышенной и священнее всех этих Муз!

АЛЕКСАНДР. Возвышенной и священнее всех Муз — это правда, я видел ее... И верно, ей вольность уже не нужна, она вскоре умрет... Но она оттого безумна и оттого умрет, что не сбылась у нас вольность. И все мы бесчестны!

ЧААДАЕВ. Вольность есть призвание России и главная ее обязанность! А мы бесчестны, пока рок рабства мешает отечеству исполнить его высшее призвание...

АЛЕКСАНДР. Ты умный, я люблю тебя.

ЧААДАЕВ. Я люблю тебя еще более, чем ты.

АЛЕКСАНДР. Нет — я! Нельзя более меня! А то я тебя...

ЧААДАЕВ. Что ты меня?

АЛЕКСАНДР. А то я тебя ударю!

ЧААДАЕВ. Ну хорошо... Не бей только! Пиши, Пушкин! Пиши свои стихи, в них уже есть тайная музыка свободы...

АЛЕКСАНДР. А как писать, я не могу их писать: у нас все Музы умирают!

ЧААДАЕВ. Умирают?

АЛЕКСАНДР. Да, они умирают, их не будет...

ЧААДАЕВ. Но все одно — ты и по нечаянности будешь сочинять.

АЛЕКСАНДР. Я и по нечаянности буду... А сколько было бы лучше, если бы я мог сочинять по свободе и по размышлению!

ЧААДАЕВ. Это будет при вольности.

АЛЕКСАНДР. Тогда всякий будет поэтом, тогда Музы будут жить в русских избышках, а в деревянных колодцах забьют касталийские родники!

ЧААДАЕВ. А я и тогда не стану поэтом...

АЛЕКСАНДР. А кем будешь? Дельвиг будет лодырем, он говорил.

ЧААДАЕВ. Я буду, кем был, — буду солдатом. Я боюсь за вольность, пожрут ее.

АЛЕКСАНДР. А кто пожрет?

ЧААДАЕВ. Неизвестно, а может так статься...

АЛЕКСАНДР. А ты сторожи!

ЧААДАЕВ. Хорошо, я буду сторожить... Ты, может быть, еще кушать хочешь?

АЛЕКСАНДР. Не хочу. Я к тебе по делу!

ЧААДАЕВ. Сказывай свое дело... А то скушай яичницу, тебе надо кушать.

АЛЕКСАНДР. Не надо, мне некогда... Петр Яковлевич, устрой вольность на Руси!

ЧААДАЕВ. Как можно — так вдруг?

АЛЕКСАНДР. А все бывает вдруг! Зачем томиться?.. Ступай к государю — скажи ему. Ты ведь офицер!

ЧААДАЕВ. Ты наивен, милый мой друг, сердце твое доверчиво и чувствует просто... Государь казнит меня!

АЛЕКСАНДР. Тогда ты возьми власть над государем — и объяви вольность.

ЧААДАЕВ (*улыбаясь*). Да, это легко и приятно!

АЛЕКСАНДР. Нет, это страшно! Но зато легче, чем жить в рабстве. А то жизнь будет потеряна даром...

ЧААДАЕВ. Как ты сказал? Да, жизнь может быть потеряна даром...

АЛЕКСАНДР. А государь трус, и они все трусы, ты их не бойся.

ЧААДАЕВ. Умолкни! Я сам знаю, что мне делать.

АЛЕКСАНДР. Я хочу иметь высокую цель жизни! Скажи, что я правду говорю, мне будет легче жить.

ЧААДАЕВ. Так... Так слушай: я сам изберу первый час вольности, я знаю срок ее рождения. А сейчас ей времени еще нету!

АЛЕКСАНДР. Ты трус!

ЧААДАЕВ (*разгневанно*). Молчать!

АЛЕКСАНДР. Трус!

ЧААДАЕВ. Ты безумец!

АЛЕКСАНДР (*в ярости*). А ты враг отечества, ты лишь его рабство! Есть в доме пистолеты?

ЧААДАЕВ. Есть!..

АЛЕКСАНДР. Давай стреляться!

ЧААДАЕВ. Ты молод еще, чтобы оскорблять и стреляться!

АЛЕКСАНДР. Молчать!

Чаадаев бросает на стол два пистолета.

ЧААДАЕВ. Жребий будем тянуть?

АЛЕКСАНДР. Нет. Я вызываю вас. Ваш выстрел первый!

ЧААДАЕВ. Хорошо. Ваши условия?

АЛЕКСАНДР. Любые, которые вы мне поставите!

ЧААДАЕВ. Отлично. По одному выстрелу, — в этой комнате, дистанция — расстояние меж двух противоположных углов.

АЛЕКСАНДР. Согласен. Скорее!

ЧААДАЕВ. Становитесь!

Противники становятся на свои позиции — в противоположные углы комнаты.

Александр стоит спокойно, с опущенным пистолетом в руке. Чаадаев медленно наводит свой пистолет на Александра, нацелился — и держит пистолет на линии выстрела; кладет палец на спусковой курок; Александру надоело ожидать: он отворачивается, глядит рассеянно в весенний день за окном, затем опять спокойно, неподвижно смотрит на Чаадаева.

Чаадаев быстрым движением прикладывает дуло пистолета к своему виску.

Александр одно мгновение следит за Чаадаевым огненным взором — и враз, роняя свой пистолет, бросается на Чаадаева; с ловкостью и могучей силой Александр хватает правую руку Чаадаева и скручивает ее — дуло пистолета в этот момент случайно обращается прямо в лицо Александра. Чаадаев разжимает пальцы, пистолет падает на пол.

Чаадаев в изнеможении садится. Александр смущенно протягивает ему руку. Чаадаев, взяв руку Александра, приближает его к себе и целует Пушкина.

Не надо так... обижать меня... Я тоже бедный человек.

АЛЕКСАНДР. Прости меня... я больше никогда тебя не обижу...

ЧААДАЕВ. Не надо больше... В тебе сердце и во мне сердце...

АЛЕКСАНДР. Я теперь один добуду вольность, никого не стану просить.

ЧААДАЕВ. Как же... каким средством ты добудешь вольность один?

АЛЕКСАНДР. Сейчас не знаю, но я выдумую средство.

ЧААДАЕВ. Выдумаешь? Как же ты его выдумаешь?

АЛЕКСАНДР. Не знаю... Я буду биться в неволе...

ЧААДАЕВ. Трудное твое средство!

АЛЕКСАНДР. Трудное... Но пока живой, я буду биться в неволе.

ЧААДАЕВ. Другие не бьются, а порхают в клетке, — подлецы!

АЛЕКСАНДР. Подлецы!

Стук в дверь. Является Дельвиг.

ДЕЛЬВИГ. Здравствуйте, господа... Здравствуйте, Петр Яковлевич! Я к месту или нет?

ЧААДАЕВ. Садись, садись, Антон Антонович, — честь и место, честь и место.

ДЕЛЬВИГ (*поднимая с пола пистолеты*). Кто дрался? — Пушкин! — С кем?

АЛЕКСАНДР. С противником.

ДЕЛЬВИГ. А где он?

АЛЕКСАНДР. Я его к тебе послал — занять денег и купить вина.

ДЕЛЬВИГ. Значит, мы с ним разминулись, — как жалко: я бы вызвал его!.. Зачем ты дерешься, Саша, с кем попало? Дерись со мной, я тебя давно прошу.

АЛЕКСАНДР. Зачем с тобой драться?

ДЕЛЬВИГ. Я уже говорил, — я буду постоянно при тебе в должности трупа.

ЧААДАЕВ. Ах, Дельвиг, вон вы какой!

ДЕЛЬВИГ. Какой? Я сам себя не вижу.

ЧААДАЕВ. Вы славный, Дельвиг... Я второй день постничаю, давайте поедим немного.

АЛЕКСАНДР. Горького хлеба?

ЧААДАЕВ. Нынче хлеб наш сладкий, — мы этот хлеб отработаем.

АЛЕКСАНДР. Как мы его отработаем?

ЧААДАЕВ. Честью сердца, может быть — жертвой своей жизни.

АЛЕКСАНДР. Давай тогда его кушать!

ДЕЛЬВИГ. Саша, завтра у нас экзамены!

АЛЕКСАНДР. Пусть!

ДЕЛЬВИГ. Что — пусть? Слышно, Державин будет. Что ты прочтешь из русской словесности? Прочти стихи самого Державина.

АЛЕКСАНДР. Я свои стихи прочту.

ДЕЛЬВИГ. Которые, Саша?

АЛЕКСАНДР. Новые стихи, я их сочиню нынче в ночи. Я давно их задумал — стихи о вольности...

ЧААДАЕВ. Не надо, не надо, Пушкин! Сочини эти стихи после экзамена.

АЛЕКСАНДР. Я хочу сочинить их нынче.

ДЕЛЬВИГ. Прочитай что-нибудь прелестное и тихое.

АЛЕКСАНДР. Иди ты прочь!

ЧААДАЕВ. Прочитай им «Воспоминания в Царском Селе». В нем сокрыта слава русского народа, там поминается Державин, там музыка великой нашей мощи...

В дверь слышится слабый стук; его не слышат действующие на сцене лица.

АЛЕКСАНДР (*улыбаясь*). А правда, там есть мощь России против ее врагов:

Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыпят огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Входят Пушин, за ним Кюхельбекер.

ПУЩИН.

И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца...

Можно к вам, господа?

Все здороваются и приветствуют друг друга. Чаадаев похолостяцки, то есть небрежно и быстро, собирает на стол угощение, доставая кое-что из скудных своих запасов.

КЮХЕЛЬБЕКЕР (*Александр*). Скажи мне, как ты соединишь в стихах своих силу с музыкой?

АЛЕКСАНДР. Не знаю.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Лжешь! Как же ты пишешь, когда не знаешь? Так не бывает!

АЛЕКСАНДР. А ты узнай, брат Кюхля, может, бывает.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Я узнаю... Я десять раз переписал эти твои стихи, чтобы узнать.

ПУЩИН. Узнал, Вильгельм?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Ничего не узнал. Я еще перепишу!

АЛЕКСАНДР (к Пущину, с нежностью). Ну как, Жан? Ах ты, Жан!

ПУЩИН (сияя от дружеского счастья). Ах ты, Саша, Саша! Брат мой милый, — скучно мне без тебя! — Не живет и не учится...

АЛЕКСАНДР. А со мной?

ПУЩИН. А с тобой... С тобою мне всегда хорошо и все можно стерпеть.

ДЕЛЬВИГ. Даже взор ее можно стерпеть!

АЛЕКСАНДР. Чей взор?

ДЕЛЬВИГ. Ее!

ПУЩИН. Я не знаю, как ее зовут. Антон, ты видел ее?

ДЕЛЬВИГ. Конечно. Прелестное создание природы и духа!

АЛЕКСАНДР. Скажите скорее, кто она, кого вы видели?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не говорите ему! Мы одни видели ее, когда шли сюда!

ДЕЛЬВИГ. Я видел ее прежде вас всех! Вон там она проходила... (Указывает за окно в парк.)

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не говорите ему!

АЛЕКСАНДР. Молчи, Кюхля! Скажи мне, Жан, скажи, Антон! А ты, Кюхля, молчи лучше!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. А что — ты вызов бросишь? Я давно хочу увидеть своего покойного родителя.

АЛЕКСАНДР. Успеешь, успеешь еще. Живи, брат мой...

ДЕЛЬВИГ. Без Кюхельбекера — Россия сирота.

КЮХЕЛЬБЕКЕР (серьезно и гневно). Врешь, брат! Это Кюхельбекер сирота без России.

ЧААДАЕВ. Успокойтесь, Вильгельм Карлович... Не шутите, господа! Сей Вильгельм любит Россию не меньше любого Ивана и Петра! Прошу к столу, — чем бог послал...

Гости Чаадаева усаживаются к столу, но тут же встают, ходят, опять садятся вкушать чего-либо и т. д. Внешне нет никакого порядка, но за этим беспорядком идет действительный порядок свободных чувств и слов этой дружественной компании.

АЛЕКСАНДР. А кто же это она, — ну скажите мне, а то я...

ДЕЛЬВИГ. Я знаю — кто она! Она прекрасна, как Муза, и добра, как материнское сердце!..

АЛЕКСАНДР. Мне имя ее нужно! А то я вас...

ДЕЛЬВИГ (*перебивая*). А то ты что? Ты жуй — отощешь!

АЛЕКСАНДР. Не скажешь?

ДЕЛЬВИГ. Нет!

АЛЕКСАНДР. Не скажешь?

ДЕЛЬВИГ. Нет!

АЛЕКСАНДР. До трех считаю! — Раз!.. — Два!.. — Дважды!.. — Три!

Александр хватает Дельвига, подымает его и размахивает его туловищем, собираясь выбросить его в окно.

ДЕЛЬВИГ. Ты умертвишь меня!

АЛЕКСАНДР. А ты скажи!

ДЕЛЬВИГ. Не убивай меня! Я тебе ее покажу... Она — Карамзина...

Александр оставляет Дельвига.

АЛЕКСАНДР. Я думал, правда, явилось что-нибудь никому не известное.

ЧААДАЕВ. Да, в Царское прибыл Николай Михайлович Карамзин, с женой и семейством...

АЛЕКСАНДР. Она, должно, старуха?

ДЕЛЬВИГ. Так вот, господа... Аракчеев умер!

Общее движение и восклицания.

Нет, он не умер, а он...

Шум и смех.

Кюхельбекер близок к обмороку; Чаадаев его поддерживают и дает ему вина.

Он умрет еще, надейтесь, господа!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Ты, Антон... У меня сердце могло разорваться от радости, я был способен умереть.

ДЕЛЬВИГ. А теперь, Вильгельм, а теперь?

КЮХЕЛЬБЕКЕР (*грустно*). Теперь у меня опять целое сердце.

ПУЩИН. Друзья, чтобы наш Вильгельм не умер от радости, следует беречь Аракчеева!

ДЕЛЬВИГ. Обождите! Аракчеев не умер, а он...

АЛЕКСАНДР. А он?

ПУЩИН. А он?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. А он жив!

ДЕЛЬВИГ. Не вполне! Его изувечила собственная кухарка!..

АЛЕКСАНДР. Прелестная кухарка!

ДЕЛЬВИГ. А государь об этом узнал и поглядел на Аракчеева косо — вот так! *(Показывает косой взгляд.)* Аракчеев слег и объявил себя при смерти, и у него еще началась изжога!

ПУЩИН. Да здравствует изжога!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Изжога в желудке тирана!

АЛЕКСАНДР. И кухаркина тяжкая длань!

ЧААДАЕВ. Выпьем, друзья, за могучих кухарок, в руках которых больше разума, нежели в головах иных философов!

Смех, общее оживление.

АЛЕКСАНДР. Это правда, это правда! *(Указывает на Чаадаева, упираясь в него пальцем.)*

Чаадаев грустно улыбается.

ДЕЛЬВИГ. А еще говорят...

ПУЩИН. Кто говорит? Один Дельвиг Антон!

ДЕЛЬВИГ. Э-э... говорят еще, в Неву кит приплыл, его ищет полиция, чтобы арестовать и выяснить его личность...

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Полиция кита не увидит!

ПУЩИН. Никогда! Во веки веков!

АЛЕКСАНДР. Она съест его!

ДЕЛЬВИГ. На нем уже, говорят, катаются верхом ребятишки, и солдаты кормят его сухими щами!

Приходят Василий Львович Пушкин и с ним гвардейский офицер Захарий Петров. Приветствия и восклицания. Оживление увеличивается.

АЛЕКСАНДР *(к Василию Львовичу)*. Дядя, правда, кит в Неве?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Конечно, натурально! К нам всякая пакость плывет, бежит и едет. Порядочное к нам не прибывает, а киты, акулы, змеи, ехидны — сколько угодно, сколько угодно!

АЛЕКСАНДР. А ты видел кита?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Зачем мне глядеть на всякое чудовище, на всякую гадость! Я избегаю сего зрелища!.. *(К Ча-*

адаеву.) Петр Яковлевич, Петр Яковлевич, а стол у тебя того — убог, батюшка, убог... Где же яства?

ЧААДАЕВ. Здесь юность, она же есть лучшее яство для души...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Для души! Ах так, — верно и справедливо... А ведь у каждой души, ниже ее, живот есть! Вот, батюшка, — я поэт, а рассудком здрав!

АЛЕКСАНДР (к Петрову). Захарий! Иди сюда, Захарий... Ешь сыр со мной. Где ты был, Захарий, я соскучился...

ЗАХАРИЙ. Служил, Саша, — царю служил...

АЛЕКСАНДР. И что получилось?

ЗАХАРИЙ. Да ни черта!.. А ты кому служил — Музам? Ну как они?

АЛЕКСАНДР. Они, Захарий, старушки!

ДЕЛЬВИГ. А еще, господа, говорят, что это...

ПУЩИН. Подожди, Антон!

ДЕЛЬВИГ. Мне некогда... Говорят, звезда на землю летит — и нам всем гроб!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Если не встрянет человеческий разум, нас поглотят роковые силы, — так полагал и Жан-Жак Руссо, и сам Бернарден де Сен-Пьер!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Бернарден де Сен-Пьер?.. Ого! Сурьезно!..

ПУЩИН. Прекрасно! Звезда — молодец: сколь негодяев погубит!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Однако ж и тебя, Жан, и меня!..

ПУЩИН. Да, тебя мне жаль, это напрасно...

АЛЕКСАНДР. А самого себя, Жан, а самого себя?..

ПУЩИН. Самого себя не жаль, Саша... Придется, пожалуй, жить с честью, и тогда все равно погибнешь. Ты знаешь!

АЛЕКСАНДР. А так не надо! Пусть гибнут одни негодные... Не грусти, Жан!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Я поспешаю, я поспешаю!..

ЧААДАЕВ. Куда, куда, Василий Львович?

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. На месте, на месте... Я сочинил поэму о деяниях Петра... Я хочу вас ознакомить, господа, с новым своим сочинением, ведь здесь присутствуют поэты, мои земляки с Парнаса...

КЮХЕЛЬБЕКЕР. И я прочитаю! И у меня есть поэма в кармане — и также о Петре.

АЛЕКСАНДР. Друзья, нам гроб!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Ты что?

АЛЕКСАНДР. Нам гроб, — звезда падучая, лети на нас скорее!..

Смех. Дельвиг открывает крышку фортепьяно, бренчит на клавишах.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*несколько обиженный*). Вы монстры и курьезы!

ЧААДАЕВ (*к Василию Львовичу*). Извините их... Юность свободна, с ней трудно нам, старикам.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Сыграйте марш «На взятие Парижа».

ЧААДАЕВ. Не стоит... А вот — песню пастушка. (*Играет старинную песнь пастушка, простую тихую мелодию.*)

АЛЕКСАНДР. Захарий! Ты воин: когда же ты завоеешь нам вольность?

ЗАХАРИЙ. Да когда хочешь, Саша, — хоть сейчас!

АЛЕКСАНДР. Ты шутишь со мной?

ЗАХАРИЙ. Я люблю тебя, Саша...

АЛЕКСАНДР. Правду говоришь?

ЗАХАРИЙ. Правду!

АЛЕКСАНДР. А почему вольности все нету и нету?

ЗАХАРИЙ. За дело никто не брался. Надо было взяться как следует, взяться круто, по-солдатски, — и дело выйдет!

АЛЕКСАНДР. И один ты можешь взяться за дело?

ЗАХАРИЙ. Могу! А другие после явятся.

АЛЕКСАНДР. Возьмись, Захарий!

ЗАХАРИЙ. А зачем, Сашенька, зачем?.. Царем придется стать, а я не хочу!

АЛЕКСАНДР. Почему? Побудь царем, Захарий!

ЗАХАРИЙ. Лишнее, лишнее, Саша! Я не хочу быть царем, я с вами хочу быть — запросто, весело, счастливо... Здесь и есть отрада жизни, а другой нету. Она в дружбе, Сашенька! А станешь царем — друзей не будет!

Александр обнимает Захария.

А вольность я тебе добуду. Только ты не суйся — боже избавь! Для этого дела нужен наш брат!

АЛЕКСАНДР. А я и без тебя могу ее добыть!

ЗАХАРИЙ. Ишь ты! Ах, милый мой... Я знаю, ты все можешь!

Чаадаев с песни пастушка перешел на застольную песню, играет ее.

*Все собираются вокруг стола, берутся за руки в счастли-
вом дружелюбии.*

ДЕЛЬВИГ (поет; все движутся вокруг стола).

Друзья, досужный час настал;

Все тихо, все в покое;

Скорее скатерть и бокал!

Сюда, вино золотое!..

Под стол холодных мудрецов,

Мы полем овладеем;

Под стол ученых дураков!

Без них мы жить сумеем...

Все подпевают Дельвигу.

(Протягивая руки к Александру.)

Приблизься, милый наш певец,

Любимый Аполлоном!

Воспой, властитель всех сердец

О дружбе тихим звоном...

Запойте хором, господа,

Нет нужды, что нескладно;

Охрипли... это не беда:

Для дружбы все ведь ладно...

Все тесно окружают Александра.

Александр берет Кюхельбекера за руки.

АЛЕКСАНДР.

Брат Кюхля, за мои грехи,

Ты с виду всех трезвее;

Вильгельм, прочти свои стихи.

Чтоб нам заснуть скорее...

Кюхельбекер и все другие друзья охватывают Пушкина и разом обнимают его.

В это время — несколько ранее — мимо окна, снаружи, проходит Фома; он даже приостанавливается у окна и глядит, что делается внутри комнаты. Фому никто из комнаты не видит, кроме Пуштина, который мгновение глядит на него в окно.

Раздается грубый стук в дверь.

Все замирают.

ПУЩИН. Фома идет!

Александр первым вырывается из рук друзей, бросается под стол и прячется там, занавешенный скатертью. Все его друзья, даже Василий Львович, поступают вслед Александру таким же образом, попрятавшись где кто сумел. Остается один Чаадаев за фортепьяно.

ЧААДАЕВ. Прошу вас!

Входит Фома.

ФОМА. Здравия желаю! Дозвольте сказать...

ЧААДАЕВ. Говори, друг!

ФОМА. Егор Антоныч велели сказать: экзамен завтра, господа!

ГОЛОС КЮХЕЛЬБЕКЕРА. Что?

ФОМА. А слухай: экзамен завтра, господа!

ЧААДАЕВ. Хорошо. Ступай!

Фома топчется на месте и кричит. Чаадаев встает, наливает ему стакан вина и подносит.

Фома выпивает, крикает, берет крошку с края стола, бросает ее в рот.

ФОМА. Покорно благодарю!

Фома опять топчется и кричит.

ЧААДАЕВ. Ступай, ступай! Нету вина! (Фома вздыхает и уходит.)

Первым вылезает Дельвиг. Он протягивает руку под стол и тащит оттуда Александра.

ДЕЛЬВИГ.

От смертных восхитит бессмертного

Аполлон на Олимп торжествующий!

Все спрятавшиеся выбираются наружу.

АЛЕКСАНДР. А я думал...

ЧААДАЕВ. Что ты думал, Александр Сергеевич? Ты думал — это кто?

АЛЕКСАНДР. Я думал... я забыл, что думал.

Все смеются.

Робкое, осторожное постукивание в дверь. Все напрягаются. Чаадаев отворяет дверь. За дверью стоит Екатерина Андреевна Карамзина, прелестная

зрелая красавица. Александр глядит на нее, замерши на месте.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Простите, я, кажется, ошиблась...

ЧААДАЕВ (*слегка теряясь*). Прошу вас, прошу вас, сударыня... Чем могу служить?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (*входя*). Я вам помешала...

ЧААДАЕВ (*смущенно*). О нет, сударыня, о нет! Это мы вам помешали! А вы — отнюдь! Прошу вас, прошу вас...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (*с интересом наблюдая вытянувшихся перед нею офицеров — Чаадаева и Петрова, замерших, пораженных лицеистов и лишь одного равнодушного — Василия Львовича*). Я хотела спросить... Меня направили сюда...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Здравствуйте, матушка моя, Катерина Андреевна!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Ах, это вы здесь! Как я рада, как я рада, Василий Львович, — здравствуйте, здравствуйте, наш милый поэт!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Готов служить вам, Катерина Андреевна! Готов служить, — а чем, не знаю!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А мне нужно найти комендантского адъютанта, — если не запомнила, штабс-капитана Петрова. Нам отвели на жительство китайские домики, я бы хотела их осмотреть...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*на Захария Петрова*). Да вот он, балбес!

ПЕТРОВ. Штабс-капитан Петров, — к вашим услугам, сударыня!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Помогите мне... (*Делает общий поклон, Петров берет ее об руку, Василий Львович берет ее под другую руку, все трое уходят.*)

Краткая пауза.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Кто же это такое?

ПУЩИН. А мы с тобой уже видели ее!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Видели! Значит, я тогда не успел наглядеться на нее.

ПУЩИН. А теперь нагляделся?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Нет еще. Завтра пойду, где китайские домики, и погляжу снова. Это вдохновение!

ДЕЛЬВИГ. Саша, это она. Теперь ты знаешь ее имя.
Пушкин молчит.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Январь 1815 года.

Зала в Лицее, где идет публичный экзамен. Экзаменационный длинный стол под бархатом; за столом сидят директор Лицея Е. А. Энгельгардт, преподаватели Лицея, министр просвещения Разумовский, приглашенные лица — генерал, высшие чиновники, в центре ветхий Г. Р. Державин.

В публике сидят сановники, родители и родственники лицеистов, гости. Среди публики мы видим и знакомые лица: сестру Александра — Ольгу Сергеевну, Василия Львовича, Екатерину Андреевну, Петрова, Чаадаева, датского посла, даму с усами.

У входной двери стоит лицейский сторож Фома и сторожит порядок.

Идет экзамен. У стола стоит Кюхельбекер. Он только что промолвил последний свой стих:

Ревет и плещет и шумит могучий океан, —
Всего лишь сила он, а нам судьбою гений дан!

ЭНГЕЛЬГАРДТ (*к Державину*). Гаврила Романович, ваше суждение в сем предмете непререкаемо...

Державин смотрит дремлющими глазами, молчит.

Размер стихов соблюден правильный, и каждый стих отягощен мыслию... Однако же судить о всех таинствах поэзии я, Гаврила Романович, не смею... (*К другим членам экзаменационной комиссии.*) Прошу, господа, высказать ваше мнение.

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. В присутствии их превосходительства Гаврилы Романовича Державина наше суждение недостаточно, Егор Антонович.

2-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Есть погрешности противу точности рифм, но сии погрешности терпимы.

ЭНГЕЛЬГАРДТ (*к генералу*). Ваше превосходительство, вы имеете мнение?

ГЕНЕРАЛ. Гм... Имею! В сочинении этого... как его...
(К Кюхельбекеру.) Как вас зовут?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Кюхельбекер Вильгельм Карлович!

ГЕНЕРАЛ. Отчества не надо — вам рано носить отчество!.. В сочинении Кюхельбекера Вильгельма я не чувствую — как бы сказать? — я не чувствую чувства! — Вот именно: я не чувствую чувства!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. В этом моем сочинении чувства нету — в нем есть разумение.

ГЕНЕРАЛ. Как-с?.. Что вы изволили сказать?

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Я сказал — в сем своем произведении я не чувствовал, а мыслил о строении и судьбе вселенной.

ГЕНЕРАЛ. Гм... Дерзновенно!.. Однако мысли быть не воспрещается.

ЭНГЕЛЬГАРДТ (к Державину). Гаврила Романович, мы осмелимся вас просить...

ДЕРЖАВИН. Еще! Еще!

ЭНГЕЛЬГАРДТ (к Кюхельбекеру). Еще прочтите!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Что прочитать?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Читайте, что считаете достойным.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. А я читал уже, Егор Антонович...

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Что такое? Вы где находитесь, Кюхельбекер?

ДЕРЖАВИН. Не затрудняйте его, не обижайте поэта.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Гаврила Романович!.. Мы вас утомили?

ДЕРЖАВИН. Нету, нету... Я слышу, я все слышу! Ах, юность, юность, — нельзя на нее наглядеться!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Нельзя, Гаврила Романович, нельзя, это истинно. Я сам постоянно наслаждаюсь наблюдением ее...
(К другим.) Не будет ли высказано ваше мнение, господа?

2-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. В стихах господина Кюхельбекера я не чувствую достаточного одушевления.

ГЕНЕРАЛ. Согласен, согласен... И какова в них польза отечеству?

ДЕРЖАВИН (оживляясь). Ах, господа! Не разлучайте юность с поэзией, — пусть они вместе будут, вот вам и польза!

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (к Державину). Они и неразлучны, ваше превосходительство, они неразлучны! В стихах Кюхельбекера Вильгельма есть достойная прелесть!

ГЕНЕРАЛ. Нету ее! Гм... Нету, говорю я, в них прелести. Ничего-с! Одна бесчувственность!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Есть в них прелесть!

ГЕНЕРАЛ. Нету, любезный!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Странно... Почему же я чувствую и мыслю ее, прелесть поэзии?

ГЕНЕРАЛ. Нету, я говорю!

ДЕРЖАВИН. А что есть прелесть, генерал?

ГЕНЕРАЛ. Прелесть, ваше превосходительство, это есть такая особая существенность!

ДЕРЖАВИН. Существенность!.. Ах, да, существенность!

ГЕНЕРАЛ. В сочинении сего Кюхельбекера я не чувствую благодарности Создателю со стороны низшей твари!

ДЕРЖАВИН (*генералу*). Ах, вы так! Ах, вы этак его! А как вас зовут? Я забыл. Я не слышу, ничего не слышу!..

ГЕНЕРАЛ. Неужели запамятовали, Гаврила Романович?.. Генерал от кавалерии службы Его Величества Геннадий Петрович Савостьянов.

ДЕРЖАВИН. Вот вы кто, вот вы кто! Так-так-так! Не знаю вас, не помню, не помню... А я поэт — вы слышите?

ГЕНЕРАЛ. Так точно!

ДЕРЖАВИН (*на Кюхельбекера*). И он поэт, и Кюхельбекер этот поэт! Мы оба с ним поэты — вот мы кто!.. А вас не помню, — забыл, совсем забыл! И упомнить нельзя, нельзя упомнить... Михайлу Илларионовича помню! Но Михайла Илларионович не слушал стихов, а слушая, молчал-с: говорил, не понимаю, ничего не понимаю. И молчал-с!

ГЕНЕРАЛ. Гм... Так точно!

ДЕРЖАВИН. Что? А Бонапарта победил, — истребил и победил! А стихи и тогда были, только Михайла Илларионович не читал их, однако, — я его спрашивал, — и моих стихов не читал!.. Добрейший человек был, воин Божьею милостью! И все понимал, все разумел, да не сказывал, и стихи понимал...

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Это правда, Гаврила Романович!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Гаврила Романович, у вас будут еще вопросы к Кюхельбекеру Вильгельму?

ДЕРЖАВИН. Нету, нету, — какие вопросы? У меня и не было вопросов! Не надо, ничего такого не надо, не утомляйте детей!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Кюхельбекер, вы свободны.

Кюхельбекер выходит из зала.

(Листая классный журнал.) Что же... теперь что же... Теперь далее мы пригласим Дельвига Антона... Дельвиг, пожалуйста, сюда! Пригласите Дельвига!

Фома приглашает Дельвига.

2-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Разве ныне не будем придерживаться порядка алфавита, Егор Антоныч!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Нет! *(Тихо.)* Гаврила Романович может утомиться, поэтому спервоначала будем вызывать наших поэтов.

Перед столом является Дельвиг.

Дельвиг Антон... Вот Дельвиг Антон, господа, — прошу задать ему ваши вопросы в предмете российской словесности.

ГЕНЕРАЛ. Дельвиг, Антон!.. Ага! Отлично: пусть он будет.

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Может быть, из прозы Карамзина на что-либо... Дельвиг, вы знаете прозу Карамзина?

ДЕЛЬВИГ. Знаю всю!

ДЕРЖАВИН. Ах, проза! Не надо прозы! Пусть будут стихи — короче, явственней...

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Вот именно: стихи, короче и явственней.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Было бы приятно, если бы Дельвиг прочел нам свои собственные сочинения.

ДЕРЖАВИН *(оживленно)*. Читайте, читайте нам, друг мой, свои стихи... И я тоже, и я читал свои стихи когда-то... *(К Дельвигу.)* Читайте, друг мой, свои стихи.

ДЕЛЬВИГ. Свои стихи я читать не могу, я не буду их читать!

ДЕРЖАВИН. Отчего же, дружок, отчего, любезный, — утешьте нас!

ДЕЛЬВИГ. Я не могу... Я плохой поэт!

ДЕРЖАВИН. Как вы сказали? Я ослышался!

ДЕЛЬВИГ. Я плохой поэт...

ДЕРЖАВИН. Какое правдивое сердце! Такое сердце равно таланту... Ан нет, возвышенной, пожалуйста! Как вы полагаете, дорогой генерал?

ГЕНЕРАЛ. Возвышень..ей, возвышенной!.. Талант, — что талант? У меня в гарнизоне был солдат: полпуда хлеба и полведра щей с говядиной в сутки съедал! Талант был, ваше превосходительство!..

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (*Дельвигу*). Читайте, что знаете твердо.

ДЕЛЬВИГ. Я все знаю твердо! (*Произносит стихи.*)

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?..

Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!..

ДЕРЖАВИН (*слушавший с большим вниманием; под конец чтения от волнения вытер платком глаза*). Прекрасно, вдохновенно!.. Что это? Чьи стихи? (*К Дельвигу.*) Поздравляю вас, друг мой, поздравляю!..

Краткое затруднительное молчание.

ДЕЛЬВИГ. Это не мои стихи! Это ваши стихи!

ДЕРЖАВИН. Как?.. Что он сказал?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Это ваши стихи, Гаврила Романович, — ваше произведение!

ДЕРЖАВИН. Мои стихи?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Ваши, ваши, Гаврила Романович. Вы их сочинили.

ДЕРЖАВИН. В давности, в давности, должно быть. Забыл уже, забыл, совсем забыл... Старость, господа, старость пришла ко мне. А сердце, однако, горит, — как в юности горит! Ах, боже мой, боже мой! (*Впадает в сонную задумчивость.*)

ГЕНЕРАЛ. Превосходные стихи!

1-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Дивная поэзия!

2-й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Божественный глагол, воистину божественный.

ЭНГЕЛЬГАРДТ (*тихо*). Есть, господа, вопросы к Дельви-гу? Прошу вас.

РАЗУМОВСКИЙ. А вот-с, Егор Антонович, у меня есть один вопрос.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Прошу вас, прошу, ваше превосходитель-ство.

РАЗУМОВСКИЙ. А вот что... А вот что, — скажите-ка нам, любезный Дельвиг Антон, — как вы понимаете это превос-ходное творение Гаврилы Романовича: то есть — аллегорич-ески или же натурально, как бы воистину?

ДЕЛЬВИГ. Воистину и натурально!

ГЕНЕРАЛ. Позвольте, позвольте, — как это воистину? Как это натурально?

ДЕЛЬВИГ. Как сказано в стихотворении... В поэзии же истина.

РАЗУМОВСКИЙ. Неужели вы полагаете, Дельвиг Антон, что и вправду — Восстал Всевышний Бог, да судит Земных богов во сонме их? — Это же суть лишь вольная аллегория, а истины или земного предмета здесь нет. Вы не совсем точ-но изъясняете себе смысл поэзии.

ГЕНЕРАЛ. Дельвиг! — Что означает «восстал всевышний Бог» и что такое «земные боги»?

ДЕЛЬВИГ. Всевышний Бог — Бог истинный, а земные боги — это цари и государи, они ложные боги...

ГЕНЕРАЛ. Гм... Не то, не то, однако, братец!

ДЕРЖАВИН. Ах, отпустите юношу, он знает достаточ-но. У кого вы спрашиваете, господа, — вы спросите у меня, у старого грешника. Это я думал тогда, по младости лет, — я думал тогда, что поэзия есть глас небес и непременный суд Божий... А теперь я не знаю, теперь я давно не слышу сего небесного голоса...

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Так-с... Благодарю вас, Гаврила Романо-вич... Идите, Дельвиг, идите...

Дельвиг уходит.

Пригласите Пушкина Александра!

Является Александр.

Господа... Пушкин Александр Сергеевич!

ГЕНЕРАЛ. Они у вас с отчеством! Не рано ли?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Иные, ваше превосходительство, рождаются с отчеством, а иные умирают с прозвищем.

ГЕНЕРАЛ. Бывает, бывает...

ЭНГЕЛЬГАРДТ (*Державину*). Пушкин, Гаврила Романович.

ДЕРЖАВИН (*очнувшись*). Ах, Пушкин! Здравствуй, друг мой, здравствуй, Пушкин! Это вы — Пушкин?

АЛЕКСАНДР. Здравствуйте, Гаврила Романович. Это я — Пушкин.

Пушкин кланяется Державину глубоким поклоном.

Затем окидывает взором весь зал.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Читайте, Пушкин!

АЛЕКСАНДР. Что я должен читать?

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Свои стихи читайте.

ДЕРЖАВИН. Свои, свои... Моих не надо, более не надо... Новые стихи читайте!

АЛЕКСАНДР. Новые? У меня есть новые...

ДЕРЖАВИН. Вот их, вот их читайте... Какие же новые, Пушкин?

АЛЕКСАНДР.

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи

На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи,

В седом тумане дальний лес;

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,

Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,

И тихая луна, как лебедь величавый,

Плывет в серебристых облаках.

По мере чтения вдохновение Пушкина увеличивается, глаза его блистают; вслед за ним, как связанная с ним душа, Державин все более возбуждается, лицо его преображается и приобретает черты юности; привстав с места, он всматривается в Пушкина и проникновенно слушает его.

Плывет — и бледными лучами

Предметы осветила вокруг.

Аллеи древних лип открылись пред очами,

Проглянули и холм и луг;
Здесь, вижу, с тополем сплелась младая ива
И отразилась в кристалле зыбких вод;
Царицей средь полей лилея горделива
В роскошной красоте цветет.

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой,
Там в тихом озере плескаются наяды
Его ленивою волной;
А там в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы русской храм?

Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчались те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминая прежних лет...

Александр останавливается, он обводит взором зал, не видя никого.

ДЕРЖАВИН (в восторге). Еще, еще! Далее...

ФОМА. Это у нас такие учатся, — больше нигде. Орлы!
АЛЕКСАНДР.

Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;

Их смелым подвигам страшась, дивился мир...

Здесь, по признанию А. С. Пушкина, голос его «отрочески зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом».

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Державин выпрямляется и протягивает руки к Пушкину.

И ты промчался, незабвенный!

И вскоре новый век узрел

И брани новые, и ужасы военны;

Страдать — есть смертного удел...

В зале движение публики; большинство присутствующих встанут, ими овладело общее чувство, и люди хотят лучше видеть Пушкина.

Страшись, о рать иноплеменных!

России двинулись сыны;

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,

Сердца их мщеньем возжены...

О вы, которых трепетали

Европы сильны племена,

О галлы хищные! И вы в могилы пали. —

О страх! о грозны времена!..

В Париже росс! Где факел мщенья?

Поникни, Галлия, главой...

Александр делает движение к Державину.

О скальд России вдохновенный,

Воспевший ратных грозный строй!

В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,

Взгреми на арфе золотой!

Да снова стройный глас герою в честь прольется,

И струны трепетны посыпят огонь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнется

При звуках бранного певца.

Державин последние части стихотворения слушает стоя, и слезы текут по его старому, одухотворенному восторгом лицу. При последних словах Державин с живо-

стью молодой силы бросается к Пушкину, но Александр, сам потрясенный, убегает из зала и исчезает.

Одновременно за экзаменационным столом происходит следующее: Державин, не успевши приблизиться к Пушкину, чтобы обнять его, возвращается на свое место.

ДЕРЖАВИН. Где же он? Где он есть? Ах, резвый, резвый мой! (Утирает лицо большим платком.)

ГЕНЕРАЛ. Да он там вот, ваше превосходительство! Он там! Да нету уж однако, — нету его там! Эк бойкий какой!

ДЕРЖАВИН (всматриваясь туда). Я не вижу! Сыщите, сыщите мне его!

ФОМА. Да разве сыщешь его! — поди сыщи!

ЭНГЕЛЬГАРДТ (сияющий от радости за своего питомца). Мы найдем его, Гаврила Романович!..

ДЕРЖАВИН. Обязательно сыщите... Я поцелую его!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Я сейчас же прикажу сыскать его!

ДЕРЖАВИН. Нельзя, нельзя — не беспокойте его: он дитя. Я еще приеду к вам.

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Просим вас, просим вас, Гаврила Романович!

ДЕРЖАВИН. Приеду, приеду... Я без него теперь не могу, не могу...

РАЗУМОВСКИЙ. Это все стихи! Стихов в Лицее, я слышу, много, их каждый сочиняет. Однако отечеству нашему нужна также и проза, поскольку проза для разума более питательна! Из того, я полагаю, не следует ли образовать сего Пушкина в прозе, тогда бы и пользы ожидать от него можно много больше.

ДЕРЖАВИН (резко). Оставьте его! Пусть будет поэтом!

ЭНГЕЛЬГАРДТ. Не прикажете ли, Гаврила Романович, сделать полуденный отдых? У нас приготовлен и завтрак. Осчастливьте нас, Гаврила Романович...

ДЕРЖАВИН. Благодарствую, благодарствую... Ничего не надо. Скучно стало без Пушкина. Я пойду.

Подымается, берет свою палку, медленно, старчески осторожно идет. Все встают — и публика в зале, и члены экзаменационной комиссии. Слышны удаляющиеся неправильные шаги Державина и затихающий стук его

палки о паркет. Краткая пауза. Издали, заглушено слышится мелодия одного из волшебных вальсов восемнадцатого века, который танцевал и Пушкин в своей юности.

ПЯТОЕ ДЕЙСТВИЕ

1 - я картина

Гостиная в доме Ольги Сергеевны в Петербурге, скромно убранная комната; стоит небольшой застекленный книжный шкаф.

Весна 1820 года, май месяц.

По комнате ходит Ольга Сергеевна; она печальна и от печали невнимательна и небрежна: если столкнет нечаянно книгу или другой предмет со столика, то не поднимает его, не замечая происшествия. На диване сидит Василий Львович, внимательно рассматривающий большую книгу.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А не могут все же услать Сашу за границу? Слух был об Испании... Это так худо, так худо, боже мой. Пусть лучше Сибирь, но чтоб была Россия.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*смотря в книгу*). Эх его как! Эх его как! Хе-хе-хе, премудро, премудро! (*К Ольге Сергеевне.*) Это я не к тебе, это я сюда! (*В книгу.*) Забавно, забавно!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Дядя, отчего вы бесчувственны! Ведь Сашу, нашего Сашу, Александра Пушкина, посылают безвестно куда, а он ведь еще мальчик, он еще и не вырос, он маленький...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Маленький-то он маленький... А черт, говорят, тоже маленького роста.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Дядя, поезжайте вы домой!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Прости, прости, — это я сказал неуместно, неуместно... (*В книгу.*) Эх его: так-так-так!.. (*Захлопывает книгу.*) Как глупо и как прелестно!..

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Дядя, вас ждут дома!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А пусть, а пусть, пусть ждут... Говорил я ему — не послушался!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Все ему говорили — не вы один!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Я как дядя ему говорил и как старший поэт! Остерегись, я говорил, Саша, остерегись, друг мой... А он не чувствует! И вот — в ссыльные арестанты попал...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Но куда же, куда же ушлиот его... Неужели в далекую чужую страну? — он там умрет от тоски... Он ведь русский!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. В чужую страну? — Нет, никогда, государь того не позволит. Он молод, он мал еще, чертенок, а уж Россия без него не может остаться...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Это мы так думаем, а они думают во все не так.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Кто думает не так?

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А те, кто возле государя.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А кто возле государя? — К государю сам Николай Михайлович Карамзин пошел, государь не оставит его просьбы о Пушкине.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Не знаю... Не знаю, что говорил Карамзин с государем. Карамзин бережет свою семью, свое значение для государства... Если бы жена его, если бы Катерина Андреевна попросила милости у государя...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Прекрасная, волшебная женщина, — и с чудным разумом!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Саша ее любит больше меня. Он называет ее своею старшей сестрой. Я заметила, у него слезы бывают на глазах, когда он глядит на нее.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Она достойна поклонения...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. И у нее отважный характер... Если бы она обратилась к государю, она бы думала только о Саше и спасла его. Но это невозможно, невозможно, поздно уже, и нельзя женщине в ее положении...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А государь, слышно, сильно рассердился на Сашку.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А она бы могла... Она любит Сашу, как сына, и скрывает свою нежность к нему.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Нет, никуда не ушлиот Сашку из России... Чаадаев говорит: России без него нельзя...

В комнату быстро отворяется дверь, из-за двери показывается лицо Даши, она окидывает взором присутствующих и сейчас же скрывается.

Боже мой, хоть бы Катерина Андреевна скорее приехала. Она еще вчера обещала заехать и рассказать, что ответил государь ее мужу. Ведь это она упростила мужа идти к государю и молить за нашего бедного Сашу...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Она ангел!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Она старшая сестра, она лучше меня... И правда, она старшая, она делает Саше больше добра, чем я... Может быть, она спасет Сашу!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Спасет!.. Она спасет! И Сашка это чувствует; он весел и спокоен. А мы плачем о нем!.. Эх, пороть бы, пороть бы его непрестанно надо было, да уж опоздали теперь, уведят его от нас в арестанты... Срам, срам, — всему роду Пушкиных срам от него!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Не всему роду! Я тоже Пушкина — и срама от брата не чувствую!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А что ты чувствуешь, — честь?

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Уходите вон, дядя!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Нет, ты рассуди сама — кого он только не обидел, — этот наш обезьяний царь! — Аракчеева оскорбил, преосвященного Фотия то же самое, князя Голицына сюда же давай и даже любезнейшего Николая Михайловича Карамзина воздел на перо... А меня, а меня! — и меня тоже хлопнул эпиграммой, невежа этакий! И еще скольких! — А теперь что? — из чего мы теперь все мучаемся? — Зачем объявил он эту проклятую оду «Вольность»? И тут же вдобавок стихи к этому Чаадаеву и еще всякое прочее!..

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Перестаньте, дядя!.. Вас он обидел! Он государя не побоялся обидеть...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Да, да — я и забыл, я и забыл... Не послушался он меня! Я говорил ему: уведет тебя твоя «Вольность» к неволе, — и увела!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Ах, что говорить теперь напрасно!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А пусть его помучается, умнее станет!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А отчего же вы, дяденька Василий Львович, не помучили себя в молодости? — Вы жили всегда себе в удовольствии!..

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А зачем? — зачем мне мучиться надо было, сударыня моя? — Чтобы поумнеть? — Так я глупцом никогда не был!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Василий Львович!.. Я хочу остаться одна!

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Да пожалуйста, пожалуйста... Мы, Пушкины, все своенравны! До свидания, голубушка... Я пройду, я дойду до кондитерской и вскорости же наведаюсь к тебе обратно.

Василий Львович уходит. Ольга Сергеевна одна.

Она прижимает платок к глазам и беззвучно плачет. Из-за окна доносятся слова и звуки уличной жизни Петербурга того времени: кричат продавцы сбитня и бубликов, мягко стучат копыта извозчичьих лошадей по древесной торцовой мостовой, проходящая солдатская рота поет походную песню суворовских времен.

В наступившей затем краткой тишине слышится голос Арины Родионовны — из людской или со двора: «Даша, глянь-ко в горницы: не явились еще Александр-то Сергеевич?» Голос Даши в ответ: «Нету-ти, нету-ти, я уж глядела!» Арина Родионовна: «А ты еще погляди!» — Даша: «Не надобно! У ворот Филька-дворник стоит, он мне свистнет, когда Александр Сергеич-то явятся, а я тебе скажу, матушка Арина Родионовна!» — Арина Родионовна: «Ну, ин, так, что ли!»

Ольга Сергеевна невольно прислушивается к этим голосам.

Слышатся тихие медленные шаги. Стук в дверь. Является Екатерина Андреевна Карамзина. Ольга Сергеевна идет к ней навстречу и обнимает ее. Обе женщины стоят одно мгновение, прижавшись друг к другу.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Что сказал государь? Что будет с Сашенькой?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Все будет хорошо... Успокойтесь, успокойтесь, милая, бедная моя... *(Но сама она не в силах сдержать слез и, стыдясь их, продолжает быстро говорить.)* Успокойтесь, успокойтесь, не надо, не надо...

Ольга Сергеевна вновь обнимает ее.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Говорите мне скорее, говорите всё!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Его ушлют на юг, где живут колонисты...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Где колонисты? А где они живут?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не знаю, милая...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. И я не знаю...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Я спрошу у мужа.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Навсегда его, навечно ушлют?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Нет, нет, не навсегда... Там генерал Инзов живет, говорят, он добрый человек. Он будет там недолго, он вернется сюда.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Откуда вы знаете? Это государь так сказал?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Нет... Я сама так думаю...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А где юг, где эти колонисты?.. Боже мой, как грустно, как это ненужно...

Ольга Сергеевна открывает книжный шкаф, вынимает оттуда альбом с картами и картинками. Склонившись вместе над альбомом, Ольга Сергеевна и Екатерина Андреевна листают альбом, рассматривают картинки.

Вот Таврида — это Крым...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Это Крым! Он будет там жить.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Там тоже колонисты?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Там тоже... Видите, как там — красиво и пустынно...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Там грустно...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. И здесь грустно!

Движимые одним чувством, они обнимают друг друга в общей печали.

Снаружи раздается свист Фильки-дворника.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А когда ему ехать нужно?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Немедля, милая, — государь приказал, чтоб ехать ему немедленно...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА *(в испуге)*. Так, может, он уехал уже?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не простившись? Нет, он добр и чувствителен...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Я пойду искать его!

Отворяется дверь, входит Александр, одетый в дорожную одежду. Александр, против прежнего, возмужавший юноша.

АЛЕКСАНДР *(весело)*. Еду!

Две женщины в изумлении глядят на него.

Здравствуйте!.. Сестрица моя! (*Целуется с Ольгой Сергеевной.*) Здравствуйте, Катерина Андреевна.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Куда? Куда ты едешь, Сашенька? (*Плачет.*)

АЛЕКСАНДР. Сам не знаю: далеко-далеко...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. И жил ты как сирота, и в арестанты едешь один...

АЛЕКСАНДР. Я не сирота. У меня сестры есть! (*Глядит на Екатерину Андреевну сияющим взглядом. Катерина Андреевна берет руку Александра в свои руки и гладит ее.*)

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А у нас брат есть... младший, и самый любимый...

АЛЕКСАНДР. Мне пора!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Куда ты спешишь? Подожди еще, побудь с нами...

АЛЕКСАНДР. Пора! До вечера я далеко-далеко уеду отсюда и не знаю, где буду ночевать...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А куда ты едешь, где тебе назначено жить?

АЛЕКСАНДР. Далеко, сестрица... Я тебе напишу. Я увижу всю Русь, я увижу теплый край, полуденную землю!..

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Успел бы еще увидеть их! Что тебе Русь?

АЛЕКСАНДР. Добрее Руси, говорят, земли нету, и всякой сироте она матушка.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. А ты будешь ехать по ней как невольник!

АЛЕКСАНДР (*смеясь*). Это мне полезней. Я лучше разгляжу ее, я побираться буду в деревнях: подайте, православные, узнику на пропитание...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Это печально и страшно!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Никуда не уходи! Я соберу тебе вещей в отъезд и на стол подать прикажу...

АЛЕКСАНДР. Не надо мне вещей!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Так я же знаю, у тебя нету ничего...

АЛЕКСАНДР. Нету!.. А понадобится, мне люди подадут!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Да что тебе — нищенствовать охота!

АЛЕКСАНДР. Охота! Нищий видит много добрых людей...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Дитя ты еще! *(Она уходит.)*

Краткое молчание.

АЛЕКСАНДР *(смущенно)*. Я заезжал к вам. Я хотел поблагодарить вас...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. За что?

АЛЕКСАНДР. Вы хлопотали за меня, вы беспокоились... Не надо было, я не боюсь: и в арестантах люди живут.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Я ничего не сделала, нам не удалось. Я хотела, чтоб дело было предано забвению и вы стали опять свободны. Но государь вас не простил.

АЛЕКСАНДР. Я бы на его месте тоже не простил.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Кого бы не простили?

АЛЕКСАНДР. Пушкина не простил бы.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А как бы вы поступили?

АЛЕКСАНДР *(смеясь)*. Я бы его повесил, этого Пушкина! — Ишь, какой!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А я бы простила: Пушкин еще очень молод и уже несчастлив!

АЛЕКСАНДР. Молод? А усы с бородой отрастают, — вот они, — для каторги он созрел.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Саша, Саша, младший мой брат... В народе говорят: для тюрьмы и смерти всякий годится...

АЛЕКСАНДР *(задумчиво)*. Народ наш часто от горя говорит, а не от правды.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Я хочу, чтобы вам не было грустно.

АЛЕКСАНДР. Смотрите — мне теперь не грустно! *(Напряженно улыбается; Екатерина Андреевна берет руки Александра, приближает его к себе; Александр в ответ припадает к ее руке, и она гладит его курчавые волосы.)*

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Мы будем помнить вас. А вы не забудьте, не забудьте, кого вы здесь оставили, и берегите себя в чужих людях... Пожалейте тех, кто любит вас.

АЛЕКСАНДР. А вы могли бы быть мне матерью?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА *(чуть смутившись)*. Могла бы...

АЛЕКСАНДР. Как жаль!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не жалейте... Я буду вам как самая старшая сестра.

АЛЕКСАНДР. И лучше, вы лучше сестры!.. Почему, когда я вместе с вами, мне более никого не нужно?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не знаю...

АЛЕКСАНДР. И я не знаю... Я боюсь, что отъеду одну версту, заплачу и вернусь назад.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Боже избавь, Саша! Не возвращайтесь, вас тогда сильно накажут. Не надо! Вспомните, что и мы в тот час будем плакать по вас...

АЛЕКСАНДР. Не плачьте. Я стерплю слезы, я не вернусь...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не возвращайтесь... Привыкайте к терпению, к долгому ожиданию, к простой и трудной жизни.

АЛЕКСАНДР. А я привык уже!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Нет еще, нет еще, не привык...

АЛЕКСАНДР. Поедьте со мной!..

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Что вы, — что вы говорите! У меня дети есть, как им без матери!

АЛЕКСАНДР. А как мне — без матери, без сестры, безо всех?..

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Вы знаете, я хотела вовсе избавить вас от разлуки, от страдания...

АЛЕКСАНДР. Я знаю! А от страдания избавиться нельзя...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Я думала — можно. И вас мне так жалко, вы мне так дороги...

АЛЕКСАНДР. Поедьте! Возьмите с собою детей и мужа, — и поедьте все со мной!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА *(улыбаясь)*. Куда же? — С детьми ехать в ссылку!..

АЛЕКСАНДР. И с детьми, и со мной!..

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Нельзя... Этого я не могу.

АЛЕКСАНДР. А я думал — можно... Я бы уехал с сестрой, если б сестру мою усылали... Я сел бы с ней и в тюрьму.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А я не могу. Я здесь дождусь своего меньшего брата... Время минует, и он скоро вернется домой.

АЛЕКСАНДР. А где мой дом будет, когда я вернусь?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Ваш дом? Как где ваш дом?

АЛЕКСАНДР. Да, — где тогда будет мой дом?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Ваш дом везде, где вас любят.

АЛЕКСАНДР. А где меня любят, — в каком сердце?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. В моем... Так любить, как я вас люблю, вас никто любить не может, — как мать и сестра...

АЛЕКСАНДР. Вы любите еще и детей своих, и еще кого-нибудь.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. И детей своих люблю!.. А вам что — вам от них тесно в моем сердце?

Александр обиженно молчит.

(Улыбаясь.) Вы бы хотели там быть один?

АЛЕКСАНДР. Один...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Ах вы...

АЛЕКСАНДР. А кто я?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Вы маленький еще.

АЛЕКСАНДР. Я уже большой.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Вы будете еще большим.

АЛЕКСАНДР. Когда? Когда, по-вашему?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Когда я старая стану, когда я, может быть, уже умру.

АЛЕКСАНДР *(в волнении)*. Не умирайте! Не умирайте никогда!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Почему же? Я состарюсь и умру, как все.

АЛЕКСАНДР. Вам нельзя! Вы после меня умирайте, когда меня не будет.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Нет, нет, — вы после меня. Так должно быть!

АЛЕКСАНДР. Не должно так быть! Без вас пусто будет мое сердце...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Вспоминайте меня там, где вы будете один...

АЛЕКСАНДР. Я не боюсь неволи, но без вас я там умру...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Опомнитесь, Саша! Маленький мой брат... Что же нам делать?

АЛЕКСАНДР. Хорошая моя сестра!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. А хотите...

АЛЕКСАНДР. Что?

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Я поеду с вами!

Дверь открывается, оттуда показывается лицо Даши, — увидев Александра, Даша ухмыляется и исчезает обратно.

Дети мои выросли, муж не осудит, а я сберегу вас в чужом краю...

АЛЕКСАНДР (*потрясенный, он задумывается, лицо его меняется и делается словно старческим*). Нельзя, Катерина Андреевна... Живите дома, в семействе.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Вы тоже мое семейство...

АЛЕКСАНДР. Нельзя, я говорю! Нельзя вам ехать! Зачем вместо одного сердца будут грустить и мучиться еще сердце матери и сердца ее детей... Я сам снесу свою участь, и так каждый должен.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Бедный мой брат! — Вы дороже мне всех, и дороже моих детей... Боже мой, что я говорю! Вы можете меня возненавидеть, — простите меня!

АЛЕКСАНДР. Спасибо вам, спасибо вам, сестра моя.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Забудьте... Забудьте эти мои слова!

АЛЕКСАНДР. Никогда их не забуду! Прощайте... Мне пора!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Не пора еще...

АЛЕКСАНДР. Пора!

Входят Ольга Сергеевна и Василий Львович — у последнего в руках упакованный в коробку и в бумагу пирог.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ (*к Екатерине Андреевне*). Здравствуйте, душа моя! Рад вас видеть! Премного благодарны ото всех Пушкиных за ваши хлопоты, за ваши заботы о нашем младшем потомке...

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Пустое, Василий Львович, — ничего я не сделала, что сделать должна...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Саша, покушать надо в дорогу. Пойдемте к столу!

АЛЕКСАНДР. А я не хочу есть!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. Не обижай меня!

АЛЕКСАНДР. Некогда, мне дальняя дорога...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А вот, Саша, — пирожок тебе в дорогу... Лучший сорт, — знаешь французскую кондитерскую Жана... С начинкой из печени разнообразных птиц!

АЛЕКСАНДР. А я люблю с капустой и с грибами...

Отворяется дверь, в дверях стоит смущенная наивная Маша, теперь она из подростка-отроковицы превратилась в красивую девушку. Она низко кланяется всем.

МАША. Батюшка, Александр Сергеевич! По тебе матушка наша Арина Родионовна скучает, аль ты забыл ее?

АЛЕКСАНДР. Здравствуй, Машенька! Ишь, красавица какая стала! Зачем она послала тебя? — Она обидела меня! Разве я забуду ее, родимую!

МАША. Она не посылала, и ты ей не сказывай... Это я сама пришла — на тебя поглядеть. Уедешь ты — помру, не увижу...

АЛЕКСАНДР. Спасибо, Маша... Знать, и ты мне сестра! *(Берет ее руку в свою.)*

2-я картина

Людская в доме Ольги Сергеевны — та же, что и в 1-м действии. Но время прошло, и люди изменились. Арина Родионовна сильно постарела и согнулась, а Даша, как и Маша, из подростка расцвела в красивую девушку.

Стоит теплое время (май месяц). Дверь открыта настежь, наружу. За дверью видны крыльцо и дорога, уходящая в русскую провинциальную даль.

Арина Родионовна сидит одна на лавке и вяжет спицами теплую зимнюю варежку в трясущихся руках. Теперь она уже носит очки, а прежде их не было.

Слышно, как где-то в глубине двора ямщик готовит лошадей в дорогу и разговаривает по своим делам. Иногда позванивает дорожный колокольчик, уже подвешенный, вероятно, на пристяжную лошадь.

ГОЛОС ЯМЩИКА. Стой смирно! Стой, говорю! Ногу дай! Ногу! А ты куда, ты куда, Абракадабра!.. Чухайся, чухайся тут! Филипп, Филипп! Филька! — кого я зову! Давай сюды молоток и гвоздей не бери, — что они тебе — казенные? — в избу-от чего их тащишь? И топор, — от втупор же

тут был! — а и где теперь? — волоки враз к месту назад! Эк, народ балованный какой на готовых харчах! С такого посто́я без колес уедешь, и лошадей раскуют... Чего ты, чего ты Зорьку кусаешь, — душегубка вредная этакая! Право что Абракадабра! И верно, что Абракадабра! — вот ведь лошадь какая, да матка еще! Эх ты, супротивщица, сухое колесо! В корень бы тебя надо, да глупа ты, дурная губерния!

АРИНА РОДИОНОВНА (*откладывая готовую vareжку и спицы*). Управилась... Лето у нас скорое, лето пройдет, а там опять зима... Вот, гляди, и годятся ему vareжки-то, хоть руки будут в тепле...

Со двора является Даша.

ДАША. Тута!.. Он тута! Я сама его видела!

АРИНА РОДИОНОВНА. Знаю уж! Слыхала, — мне Филька давеча сказывал.

На пороге появляется ямщик.

ЯМЩИК. И где вода у вас? Лошадей поить пора!

ДАША. Тамо, в речке... А к нам из колодца водовозы возят!

ЯМЩИК. Эк, какая!.. Мое дело конное, я господ по службе вожу! Достань мне воды к экипажу!

ДАША. Куда тебе воды?

ЯМЩИК. К экипажу, говорю, где я нахожусь.

ДАША. Сычас, сычас, батюшка, доставлю!

ЯМЩИК. Доставь, дочка... Чья сама-то будешь?

ДАША. Мы-то? Мы сироты были — ничьи...

ЯМЩИК. Не в утехе, стало быть, росла, а выросла как раз в пользу...

АРИНА РОДИОНОВНА (*ямщику*). Иди, батюшка, иди к своему делу, — у нас своя забота есть.

ЯМЩИК. Забота всем полагается... А Филька ваш мошенник!

АРИНА РОДИОНОВНА. Знаем уж, давно знаем, — к чужим мошенник, а своим слуга. Ступай, батюшка!

ЯМЩИК. Слуга, говоришь, своим-то? Да то-то!.. А мешка у вас лишнего нету?

АРИНА РОДИОНОВНА. Нету, нету... — Ступай, тебя лошадь зовет, ишь звонит...

ЯМЩИК. Лошадь умна, она обождет. Лошадь тварь. (*Уходит.*)

АРИНА РОДИОНОВНА (*Даше*). Глянь-ко, варежки какие я Александру Сергеевичу связала... Теплы ли будут и впору ли придутся?

ДАША (*примеряя варежку на свою руку*). Теплы, матушка, да и впору, — а не впору, так потянутся.

АРИНА РОДИОНОВНА. А я все сумлеваюсь... Да ты не тяни их и рукою не марай — сними прочь!

ДАША. А у меня руки чистые!

АРИНА РОДИОНОВНА. С чего они чистые? — аль ты без дела сидишь?

Прибегает Маша.

МАША. Сейчас придут... Они меня своей ручкой тронули и назвали сестрой!

ДАША. О! Аль правда?

АРИНА РОДИОНОВНА. Добр мой Сашенька-то и милостив... А ты на людях-то молчи — мало ли что!

МАША (*в испуге*). А я вам только сказала! — бабушка, иль опять я дурочкой стала?

АРИНА РОДИОНОВНА. Иль ты и вправду одурела? — Его, слышно, сам царь боится, а тебя он сестрой назвал, — какая же ты дурочка? — тебе нельзя!

МАША. Мне нельзя, я у Пушкина младшая сестра!..

АРИНА РОДИОНОВНА. А кто сестра ему, та умница.

МАША. И правда, бабушка!

АРИНА РОДИОНОВНА. И-их! У тебя-то и прежде добра в сердце занять можно, кому нужно было. Беда, что разум твой неприметный, да Александр Сергеевич, вишь, заметил его и в родню к себе взял...

МАША. И тебя... Он тебя родимой зовет.

АРИНА РОДИОНОВНА. А то как же! Сейчас небось явится... (*Причитает по старинному обычаю.*) Голубчик ты наш — и за что тебя казнят, почему не милуют! Чем ты кого прогневил; а кого прогневил — так пусть смилостивится, окаянный!.. И в силу-то он еще не вошел, и кость его не окрепла, а что речь его кому неудобна, так он с малолетства смысленый! И ты-то, царь-батюшка, чего детей от родителей отымаешь да разлукой казнишь, — аль остатнее время настало?..

МАША. Бабушка Арина, бабушка Арина, ты не плачь, бабушка! — Александр-то Сергеевич веселый, а вы причитаете, — иль он помер?

АРИНА РОДИОНОВНА. Ему что! — мал еще, он не понимает, оттого и веселый.

ДАША. Александр Сергеевич все чисто понимает! Чего ты, бабушка, говоришь такое!

АРИНА РОДИОНОВНА. А знаю, чего говорю... Он-то умник, а я — иль глупая! — Ступайте по делу, не стойте у меня на глазах!

ДАША. Батюшки, воды-то лошадям надобно! *(Уходит во двор.)*

МАША *(тихо и таинственно)*. Бабушка, я пойду гляну!..

АРИНА РОДИОНОВНА. Кого?

МАША. А опять его!

АРИНА РОДИОНОВНА. Я тебе гляну! Стало, дело у него там, — потерпи еще!

МАША. Я потерплю, бабушка, — и ты тоже потерпи.

АРИНА РОДИОНОВНА. Потерпи, потерпи, и я потерплю.

МАША. Мы с тобою вместе будем терпеть.

Маша усаживается на лавку рядом с Ариной Родионовной, складывает руки на коленях и так «терпит». Во дворе позванивает время от времени дорожный колокольчик, что привязан, должно быть, к шее пристяжной лошади. Входит ямщик со двора.

ЯМЩИК. Запрягать-то не пора еще? — время, гляди, за полдень! Ты бы, бабушка, наведалься к господам да спросила — ямщик, мол, Кузьма, там думает.

АРИНА РОДИОНОВНА. Чего тебе? Не кличут — сам не называйся. Иди, иди к своему месту!

ЯМЩИК. А ты бы спросила... Я-то не один ведь человек, нас трое — две лошади со мной, управься поди!

АРИНА РОДИОНОВНА. Ступай прочь, ступай прочь, — наш-то, я слыхала, может, завтра поедет!

Несколько ранее из двери, что ведет в господские горницы, является Александр, одетый в дорогу. Он улыбается и глядит с порога на свою няню, слушая, что она говорит.

АЛЕКСАНДР. Нынче, нынче, матушка!

Александр обнимает Арину Родионовну; Маша стоит возле, глядя на Александра сияющими глазами.

ЯМЩИК. Нынче-то способней; завтра, глядишь, дождь, глядишь, ветер...

АЛЕКСАНДР. Запрягай!

ЯМЩИК. И то, барин! *(Уходит.)*

АРИНА РОДИОНОВНА *(вглядываясь в Александра, словно в первый раз видя его)*. Пришел, батюшка... Пришел ко мне!

АЛЕКСАНДР. Прости меня, матушка... Гневил я тебя и непокорным был...

АРИНА РОДИОНОВНА. Бог тебя простит... А что гневил, так я к тебе гнева не знала. Далече ли, батюшка, едешь-то?

АЛЕКСАНДР. Далече... Далече, матушка.

АРИНА РОДИОНОВНА. Знать, и вернешься не скоро?

АЛЕКСАНДР. Не скоро, матушка...

АРИНА РОДИОНОВНА. Увижу ль я тебя, нет ли?.. Ан увижу, без тебя не помру. Я жить буду долго, тебя ожидаючи... Машенька!

МАША. А!

АЛЕКСАНДР. Ах, Машенька! Совсем невестой стала, и прелесть какая!

АРИНА РОДИОНОВНА. Не хвали, не хвали ее даром, с похвалы девка портится...

АЛЕКСАНДР. Машеньку испортить нельзя... Был бы я волен, уехал бы с Машенькой да с вами, матушка, в деревню, стал бы мужиком, двор бы постоянный открыли...

МАША. А Дашу тоже бы взяли?

АЛЕКСАНДР. И Дашу взяли бы.

АРИНА РОДИОНОВНА. Машенька, ты бы на стол собрала... У нас лапша с грибами... Поел бы, батюшка, в дорогу.

АЛЕКСАНДР. Не буду я кушать... Я хочу с вами разговаривать, а у меня лапша будет во рту, — так нельзя!

АРИНА РОДИОНОВНА. Возьми-ка, родной, варежки, я тебе связала, руки не озябнут, и меня вспомнишь...

АЛЕКСАНДР. Спасибо вам, матушка... Да там тепло, там и зимы нету.

АРИНА РОДИОНОВНА. А кто сказывал-то?.. У нас зима, а там нету! Того не бывает: везде одинаково. Бери-ко да спрячь подальше.

МАША (*вдруг — в печали*). А как же мы-то одни тут останемся!..

АЛЕКСАНДР. И я один буду, Машенька!

МАША. А нам страшно! Не уезжайте от нас!

АРИНА РОДИОНОВНА (*на Машу*). Да ты уж — чего думаешь!.. Я сама к царю пойду, — ишь, чего вздумал: детей губить!

АЛЕКСАНДР (*смеясь*). Куда вы пойдете, к какому царю? Нету царя!

АРИНА РОДИОНОВНА. Я пойду, мне надобно к нему!.. Неужли у нас и царя нету, а один Аракчей остался! Так я и к Аракчею дойду! У меня право есть, я тебя в люди выходила, а они чего! — кто у дитяти хозяйка-то, царь или я?

МАША. Заколдуй их, бабушка, пусть они обомрут!

АРИНА РОДИОНОВНА. По нужде и заколдую, коли сами не опомнятся!

МАША. Заколдуй!

АЛЕКСАНДР. Терпи, матушка, как я терплю... Сам государь велел мне уехать, к кому же ты пойдешь?

АРИНА РОДИОНОВНА. Стало, дела у них нету, что тобою занимаются...

АЛЕКСАНДР. У них балы с праздниками, матушка...

АРИНА РОДИОНОВНА. Горе наше, горе наше, бедный мой... Со двора на пороге появляется конвойный солдат с ружьем, за ним стоит Захарий Петров в старой солдатской шинели, одетый как рядовой и в арестантской шапке. Петров выходит вперед сопровождающего его солдата.

ПЕТРОВ. Могу я видеть господина Пушкина? — Доложите господину Пушкину, что я Петров Захарий!

МАША. Тута, он тута, — Пушкин!

АЛЕКСАНДР (*навстречу Петрову*). Ты кто? Это ты, Захарий? Здравствуй, Захарий!

ПЕТРОВ. Это я! Здравствуй, Саша!

АЛЕКСАНДР (*обнимая Петрова*). Ты что?

ПЕТРОВ. Ничего. Был в каземате, в другой ведут, потом в каторгу.

КОНВОЙНЫЙ СОЛДАТ (*мешает им*). Не велено, не велено...

АЛЕКСАНДР. Прочь!.. За что тебя?

ПЕТРОВ. Говорят, царем хотел стать.

АЛЕКСАНДР. Кто царем?

ПЕТРОВ. Я!

АЛЕКСАНДР. Ты?

ПЕТРОВ. Я!

Оба весело смеются. Дают друг другу руки. Конвойный разлучает их.

КОНВОЙНЫЙ СОЛДАТ. Не велено, не велено...

АЛЕКСАНДР. Ты — царь?

ПЕТРОВ. Я царь! А ты?

АЛЕКСАНДР. А я раб... Меня гонят...

ПЕТРОВ. Куда?

АЛЕКСАНДР. Не знаю! Куда велено...

КОНВОЙНЫЙ СОЛДАТ (*Петрову*). Пошел, пошел... Нельзя, тебе говорят!

ПЕТРОВ. Прощай, Пушкин! Прощай, раб!

АЛЕКСАНДР. Прощай, царь! — Ты и вправду царь, а они нарочно!

ПЕТРОВ. А что царь? — Царь — старший урядник. А ты Пушкин!

КОНВОЙНЫЙ СОЛДАТ. Не велено, не велено... (*Толкает Петрова.*)

АЛЕКСАНДР. Захарий, Захарий! Не бойся — мы их одолеем...

ПЕТРОВ. Одолеем, Саша! Мне жалко их было, я дрогнул, а теперь — они тебя тронули, я не дрогну!

КОНВОЙНЫЙ СОЛДАТ. Иди, иди...

АЛЕКСАНДР (*беря варежки со стола, отдавая их няне*). Отдай ему!..

АРИНА РОДИОНОВНА (*подходя к Петрову*). Возьми, бабюшка, вспомнишь Сашу.

ПЕТРОВ (*беря варежки*). Спасибо, мать! (*Целует ее в лоб*). Прощай, Саша! Мы с тобой увидимся!

АЛЕКСАНДР. Прощай, Захарий, милый мой друг!..

Конвойный солдат уводит Петрова.

АРИНА РОДИОНОВНА. И его в неволю, Захария-то?

АЛЕКСАНДР. И его...

АРИНА РОДИОНОВНА. Уж лучше бы он помер. Бог бы его прибрал.

АЛЕКСАНДР. Тогда и я умру, — я люблю его...

АРИНА РОДИОНОВНА. А чего ему жить? Без воли, как без души, — кто уж лишил его воли, тот и жизнь его взял...

На пороге появляется ямщик. На дворе позванивают дорожные колокольцы, теперь их два — слышно два разных звука, напряжены две лошади.

ЯМЩИК. Лошади готовы... Прощайтесь, батюшка!

Ямщик уходит. Во дворе через крыльцо видно, как ходит туда и сюда Даша, укладывая вещи в возок. Туда же выходят Ольга Сергеевна, Екатерина Андреевна, Василий Львович.

Арина Родионовна садится на лавку, рядом с нею садится и Пушкин; тут же сидит и Маша. Все они сидят в молчании перед разлукой.

Со двора слышен голос Василия Львовича, видна и его фигура.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. Лицей не виноват, сударыни мои, Лицей не виноват. В Лицее злу не учат! И позвольте сказать, он там все равно ничему не учился...

ГОЛОС ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ. Неправда, дядюшка, неправда...

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ. А все к лучшему — теперь ему вся Россия Лицей.

ГОЛОС ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВНЫ. Да где же он есть?

Звон колокольчиков на лошадях.

ГОЛОС ЯМЩИКА. На месте! Стой на месте, зверь! Опухли с кормов-то!

Во дворе появляются Кюхельбекер, Пущин и Дельвиг.

АЛЕКСАНДР (*вставая с лавки*). Прощай, матушка... Не горюй по мне!

АРИНА РОДИОНОВНА. Прощай, сыночек мой... Да сыт ли ты? А одет-то ладно? — постой, огляжу-ко я тебя... На тебе денежку в дорогу.

Достает денежку из ларца на полке и подает Александру.

АЛЕКСАНДР (*пряча денежку*). Спасибо, мать, — себе бы берегла... (*К Маше.*) Расти, Машенька, сестренка моя... (*Целует ее в лоб.*)

Затем Александр обнимает Арину Родионовну; дрожащими руками няня водит по спине Александра поверх одежды. Оставив няню, Александр быстро уходит во двор.

Согбенная Арина Родионовна смотрит ему вслед. Маша неподвижно стоит, как оставил ее Александр, поцеловав в лоб.

Со двора слышен шум и голоса людей, позванивают колокольчики. Но вот уже колокольчики ударились в такт, забились и зазвонили на удаление. Пушкин уехал.

Колокольчики бьются все далее и далее, но звон их не умолкает вовсе, а лишь делается все более мелодичным, как бы волнообразным, и словно превращается в музыку, заполнившую все русское пространство, куда уехал Пушкин.

Арина Родионовна надевает на голову платок.

МАША. Ты куда уходишь? И я с тобой!

АРИНА РОДИОНОВНА. К царю!

МАША. У нас нету царя!

АРИНА РОДИОНОВНА. А ты знаешь?.. К Богу тогда пойду!

МАША. А где Бог?

АРИНА РОДИОНОВНА. Я сыщу их! А ты дом карауль!

Со двора входит Кюхельбекер.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Здравствуйте, Арина Родионовна...

АРИНА РОДИОНОВНА. Здравствуй, батюшка... А что — ты знаешь небось, где царь-то живет!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Знаю, Арина Родионовна, всякий знает.

АРИНА РОДИОНОВНА. Отведи меня к нему, мне по делу надобно.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. И мне к нему надо, давно надо. Пойдемте, Арина Родионовна.

Он осторожно берет под руку согбенную Арину Родионовну — и они уходят.

Пушкин уехал далеко. Стало совсем тихо. Маша одна в людской избе.

МАША (улыбаясь и яснея лицом). Я не чужая ему, а сестра, и он мне брат!

Вдалеке возникает звон колокольчиков и умолкает в большом удалении.

Конец

НЕОКОНЧЕННОЕ

<ИЗБУШКА БАБУШКИ>

Действующие лица

ДУСЯ, сирота
ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, родная тетка Дуси
АРЧАПОВ АРКАДИЙ, муж тетки
МИТЯ, сирота
ДЯДЯ МИТИ
Девица, подруга дяди

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина

Горница в небольшом старо-мещанском доме. Комод, над ним фотографии родственников хозяев, на комодке ветхие сувениры и безделушки 19-го века; мебель, полученная еще в приданное хозяйкой — истертые плюшевые диваны и стулья; сундук; стол, покрытый скатертью; одно или два окна, с занавесками, фигурно вырезанными из бумаги; на подоконниках цветы в плошках; зеркало на комодке, — и прочее убранство жилища пожилых экономных людей. Из горницы дверь открыта в кухню — там виден выскобленный кухонный стол, посуда, угол русской печи.

Арчапов сидит за столом в горнице и питается из чашки. Его жена, Татьяна Филипповна, находится на кухне; она оперлась на печной рогач и смотрит оттуда на мужа.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Наелся, что ль?

АРЧАПОВ (утерев усы). Добавь.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. А не хватит ли?

АРЧАПОВ. Жидко наливаешь, погущей дай.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Да мне что, ешь досыта, только ты обопьешься потом.

АРЧАПОВ. Самовар поставь.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. А ты чаю напьешься — не вспотеешь? Пропотеешь, а потом остудишься...

АРЧАПОВ. Выздоровлю, не горюй.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Ну что ж, ешь, пей, — с тобой все равно уж ничего не накопишь, не припасешь: ишь прорва какая! Крышу починить не на что, а говядину каждый день едим... *(Татьяна Филипповна утирает слезы концом фартука.)*

Стучит щеколда в двери, ведущей из кухни в сени.

АРЧАПОВ. Открой свои ворота-то?

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Успеется. Может, это нищенка...

АРЧАПОВ. Какая тебе нищенка — в нынешнее время.

Татьяна Филипповна отворяет задвижку и засов в кухонной двери.

Входит Дуся. Татьяна Филипповна равнодушно и нерадостно оглядывает простоволосую, босую Дусю.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Ты что сюда явилась?

ДУСЯ. Мне мать велела к тебе идти, когда умирала. А отец теперь тоже умер, тетя, а я одна живу... Тетя, у меня никого теперь нету!

Татьяна Филипповна подымает конец фартука и утирает им глаза.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Наша родня вся недолговечная. Я ведь тоже, — только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет, не жилица!..

Пауза. Татьяна Филипповна плачет. Дуся кротко глядит на нее.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Ну иди уж, посиди тут на кухне. Вон селедка на блюде лежит — поешь возьми.

Дуся берет кусочек селедки с деревянного блюда и робко съедает его. Татьяна Филипповна выходит к мужу, в горницу.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает. Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

АРЧАПОВ *(угрюмо)*. Изволь радоваться!

Дуся входит из кухни в горницу.

ДУСЯ. Меня кормить не надо, я наелась. Я только спать хочу.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. А спать хочешь, так спи ложись, вон сундук-то... Отца-то когда ж похоронили?

ДУСЯ. Седьмой день миновал.

Дуся ложится на сундук, лицом к стене; она свернулась потеснее собственным телом и одернула на себе платье, из которого она несколько выросла. Арчапов постукивает пальцами по столу и глядит на стенные часы.

АРЧАПОВ. Жрать давай, мне на работу скоро ехать пора.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Обождешь! (Более тихо.) Может, она уснет сейчас, погоди маленько.

АРЧАПОВ. А мне то что! Это твоя родня, а мне чтоб дома покой и порядок был.

Татьяна Филипповна уходит на кухню, вынимает из печки горшок и кастрюлю, режет свежий хлеб, приносит хлеб к столу, отправляется обратно, ходит и мечется взад-вперед между печкой и мужем, подавая на стол по отдельности — то солонку, то вилку, то кусок хлеба — и в это время говорит.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбочке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, скоро подохнете, — дядя с тетей, — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пуцую!.. Ну уж, милая, пускай черти крошечные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься! Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня...

Краткая пауза. Арчапов ест. Татьяна Филипповна в раздражении подбегает к сундуку, на котором в прежней позе, лицом к стене, лежит Дуся.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Ишь ты, разнежилась как!..

Краткая пауза.

ДУСЯ (не оборачиваясь). Я не сплю. Я вас слушала.

Краткая пауза.

Дуся подымается на сундуке.

ДУСЯ. Я сейчас пойду, я у вас не останусь .

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА (вздыхая). Что ж, иди. Значит, тебе есть куда идти...

ДУСЯ. Есть. Я пойду в Советский Союз Республик.

АРЧАПОВ. Полностью надо говорить: в Союз Советских Социалистических Республик.

ДУСЯ. Вам полностью не надо.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА. Ишь ты, характерная, вредная какая! Обиделась!.. Ступай и живи, где хочешь, — у нас не постоянный двор и не республика.

Дуся молча уходит, не посмотрев на дядю и тетю.

Вторая картина

Квартира в небольшом доме. Обычное убранство жилища рабочей или служащей семьи. Два больших окна на тихую провинциальную улицу. За окнами — свет солнечного дня, вдалеке — два-три дерева и чистое синее поле. В простенке между окнами (против зрителя) большой портрет молодой улыбающейся женщины; портрет убран хвоей и окружен черным крепом. На полу комнаты постелен коврик, на этом коврике сидит и играет в игрушки мальчик Митя. Всюду тихо — в комнате и вокруг дома, лишь слышно как сопит Митя в напряженном занятии своей игрой. Вдруг вдалеке заиграла торжественная музыка — идут где-то красноармейцы или пионеры. Митя перестает играть, медленно, неслышно плачет и трет руками свои глаза, сидя на ковре в одиночестве. Заплаканный, он подымается на ноги, подходит к простенку, глядит на портрет молодой женщины и говорит, обращаясь к ней:

МИТЯ. Мама, зачем ты умерла?.. Отец ушел на работу, бабушка Пованна живет далеко в избушке, она лежит больная, никак не умрет, а я один сижу и плачу по тебе... Мама, приходи опять жить с нами — тебе там скучно с одними мертвыми людьми. Я опять буду с тобой, буду тебя слушаться, а когда я вырасту — ты опять тогда умрешь, и мы тебя с музыкой похороним. А лучше никогда не умирай. Приходи сейчас к нам хоть на минуточку, потом опять уйдешь.

Краткая пауза.

МИТЯ. Нет, я знаю — ты никогда не будешь со мною. Глаза твои закрылись, ты ослепла и всех позабыла. А я один тебя помню и не забуду никак.

Митя склоняет голову под портретом матери и беззвучно плачет.

За окном появляется Дуся. Она останавливается против окна, затем приближается к окну, прижимается лицом к оконному стеклу и робко стучит пальцем по раме, но Митя, опустив голову на стол, что стоит под портретом матери, погруженный в свое горе, не слышит стука. Дуся поводит глазами и останавливает их на мальчишке, — она видит его сквозь одинарное стекло, и она стучит громче. Митя поднимает голову, идет к окну и смотрит на Дусю (спиной к зрителю).

ДУСЯ. Дай напиток, я селедку ела.

МИТЯ. У нас вода простая — ты пей с сиропом.

ДУСЯ. Давай с сиропом.

МИТЯ. Сироп на углу в будке продают — ты походи купи и напейся.

ДУСЯ. У меня денег нету.

МИТЯ. Ты бедная?

ДУСЯ. Бедная.

МИТЯ. Ты врешь: бедных нету. Мы тоже были бедные, теперь — нет: мясо и молоко едим.

ДУСЯ. Дай напиток из кружки. Отвори мне дверь.

МИТЯ. Я живу запертый. Меня отец на ключ запирает. Он на один день по службе уехал — на кирпичный завод, а я один живу, мне скучно... В детский сад меня не берут, у них места нету, народу рождается много, а садов мало. У нас были вредители и шпионы — пополам!

ДУСЯ. А если дом загорится — ты ведь сгоришь, ты же маленький!

МИТЯ. Не сгорю. Я окно открою и убегу. Меня отец всему научил.

ДУСЯ. Открой мне окно.

МИТЯ. Я боюсь: ты чужая.

Дуся сильно прижимает свое лицо к стеклу, ее лицо сплющивается, искажается и делается смешным; вдобавок она высовывает язык. Митя смеется на нее.

ДУСЯ (*отстранившись от окна*). Отвори, я умиралась. Я тебя убивать не буду.

МИТЯ. А ты тоже мама чья-нибудь?

ДУСЯ (*медленно вода пальцем по стеклу*). Нет, я так себе, я не мама. А моя мама умерла.

Краткая пауза.

МИТЯ. У меня тоже мама умерла... Только моя мама была не такая, как твоя.

ДУСЯ. Твоя лучше?

МИТЯ. Моя лучше. Твоя старая старуха была, ты сама скоро старой будешь. Моя мама умерла — не болела: она отравилась и сразу умерла. Только мучилась, и то мало. Теперь она лежит и не мучается.

Пауза.

Митя влезает на подоконник и с трудом отворяет шпингалет и крючок в оконной раме. Окно открывается.

Дуся влезает в комнату через окно. Митя подает Дуся кружку с водой. Дуся пьет воду. Митя немного испуганно смотрит на нее.

МИТЯ. Вещи наши не бери себе.

ДУСЯ (*удивляясь*). Нет. Кто тебя научил этому? Разве я воровка?

МИТЯ. Меня дядя всему научил. Я знаю.

Дуся садится на ковер среди комнаты и раскладывает игрушки в порядок. Митя садится возле Дуся «на чачочки» и смотрит за гостьей.

ДУСЯ. Дурак твой дядя. А отец твой где?

МИТЯ. Отец с другой толстой теткой ушел от нас. Мама говорила, что отец полюбил чужую тетку, потому что она толстая, и уехал с нею в далекие края. А маму отец перестал любить. Ты мешанка, сказал он маме, я нашел свое счастье в другом, нежном и прекрасном человеке, а мы с тобой характером не сошлись, сказал отец и ушел от нас. Он положил в свой чемодан пальто, пиджаки и штаны, носовые платки и все, и пепельницу — пепел на пол высыпал, ему подметать не надо — и все деньги взял из стола, потом опять вернулся и сказал, чтоб мама отдала ему сберкнижку, мама отдала, и отец ушел от нас. Он сказал мне: прощай, Митя, учись на отлично, будь пионером, слушайся вожатого, будь

комсомольцем, будь активистом, будь честным гражданином, читай каких-то классиков и не кури.

ДУСЯ. А ты ему что сказал?

МИТЯ. Я ему сказал — папа, лучше ты сойдишь опять с мамой характером.

ДУСЯ. А он?

МИТЯ. Он сказал: нет, мы теперь с ней чужие. А я ему: ну тогда иди к толстой тетке и сойдишь с ней характером, возьми свою книжку «Краткий курс», за целый год два листика прочел, а всем говорит, что глубоко изучает, а я ее уже всю по складам прочел.

Краткая пауза.

ДУСЯ. А мама твоя долго жила, после отца, когда он ушел?

МИТЯ. Недолго. Он ушел, а мама упала и заплакала, она все равно любила отца и сошлась с ним характером... Мама всегда стала молчать, только со мной тихо говорила, больше ни с кем, потом она умерла.

ДУСЯ. Как же она умерла?

МИТЯ (*отчужденно*). Она моя мама, а не твоя. Я один знаю, как она умерла, тебе нечего узнавать.

ДУСЯ. А отчего она умерла?

МИТЯ. Отраву съела. Папу любила и забыть не могла, во сне кричала и звала его.

Дуся берет и сажает Митю к себе в колени.

ДУСЯ. Твоей маме нельзя было умирать — она тебя не пожалела и оставила жить одного.

МИТЯ. Не твое дело. Напилась и вылезай в окно назад. (*Подымается с коленей Дуси и отходит от нее.*)

ДУСЯ. Твоя мама себя и своего жениха — твоего отца — любила больше тебя.

МИТЯ. По очереди. Больше всего отца, потом меня, а себя меньше всех.

ДУСЯ. А надо, чтоб она тебя любила больше всех, тогда бы она умирать не стала.

МИТЯ. Лучше б ты умерла, а не мама.

ДУСЯ (*вставая с ковра*). Лучше... Давай я тебя умою, ты на трубочиста похож.

МИТЯ. Ты нянькой и кухаркой у нас будешь?

ДУСЯ. Там видно будет.

МИТЯ. А гулять потом пойдешь со мной?

ДУСЯ. Пойду.

МИТЯ. Я скажу дяде, чтоб в няньки тебя нанял. А то он ищет-ищет, нету никого. Все кухарки — гадюки, говорит, в летчики и ученые учиться пошли.

Дуся выходит в это время в дверь (направо или налево) — на кухню и приносит оттуда таз с водой, мыло, мочалку и полотенце. Она ставит таз на стул или табуретку, быстро нагибает голову Мити над тазом — моет и мылит ее.

МИТЯ. Вода холодная. Что ж ты, гадюка, не согрела на примусе. Тебя в летчики не приняли.

ДУСЯ. Не очень холодая. Ничего. Потерпишь, потерпишь... Дядя-то когда придет домой?

МИТЯ. А почему я знаю. Либо вечером, либо завтра. Еда на кухне стоит — и обед, и ужин. Я тебя угощу.

ДУСЯ. Спасибо.

МИТЯ. Не карябай голову ногтями своими! Смывай мыло, тебе говорят!

ДУСЯ. Смываю. Кто твой дядя?

МИТЯ. Дурак, ты сама сказала. С разными тетками водится, хочет мне новую мать привести. Как приведет, так я уйду из дома в приют. Возьму один мамин портрет и уйду... В глаза попало, (хрипло) безрукая, чума тебя забери!

ДУСЯ. Сейчас-сейчас. Сейчас все кончится. Как тебя зовут?

Митя. Димитрий Авдотьич.

ДУСЯ. Такого отчества нет.

Митя. По матери: я по отцу не зовусь.

ДУСЯ. Твоя мать мне тезка.

Митя. Она мыла голову — когтями не карябалась.

ДУСЯ. Больше не буду. Все.

Дуся вытирает полотенцем голову Мити.

МИТЯ. Давай обедать. Ты будешь есть?

ДУСЯ. Сначала ты, потом я.

МИТЯ. Что останется.

Митя идет в кухню и приносит оттуда кастрюлю и две ложки в ней, торчащие черенками вверх, и ставит кастрюлю на стол под портретом матери.

МИТЯ. Давай кашу есть. Бери ложку. Я один есть не буду.

Митя и Дуся едят кашу из кастрюли.

Природа за окнами изменилась за время действия, наружи стало вечереть.

МИТЯ (*показывая ложкой на окно*). Там моя бабушка в избушке живет. Больше всех она любила маму, а теперь меня. Пусть живет.

ДУСЯ. Старая?

МИТЯ. Сто лет.

ДУСЯ. Она скоро умрет.

МИТЯ. Нет, ей умирать нельзя. Ей пора, а она не может.

ДУСЯ. Отчего — не может? К ней смерть не приходит?

МИТЯ. Приходит, а бабушка боится меня одного на свете оставить — как я буду жить? — и не умирает. Она ждет, когда я вырасту, стану старым, приду к ней жить в избушку, тогда уж она и помрет. Она велела мне глаза ей закрыть. Я закрою.

За окнами жилища свечерело вовсе, — синие поздние сумерки; запели сверчки в окрестности.

МИТЯ (*указывая в даль за окном*). Вон там моя бабушка живет: далеко-далеко. Я не вижу.

В дали, в синей тьме вспыхнул одинокий скромный огонек.

МИТЯ. Это бабушка лампу зажгла. Она прийти ко мне не может — у ней ноги не идут.

Вдалеке, где засветился огонек, постепенно проявляется избушка с крыльцом, покрытая щепой или тесом; в ней два окна, освещенные изнутри; возле избы — две склонившиеся старые ракиты.

МИТЯ. Я к бабушке пойду. Сейчас компот поем и пойду.

Митя приносит из кухни горшок с компотом; ставит горшок на стол.

ДУСЯ. Тебе хорошо, тебя бабушка любит, она не умирает из-за тебя.

МИТЯ. Я тоже не умер из-за нее... Когда мама умерла, я тоже хотел лечь к ней на стол и больше не дышать, потому что она тоже не дышит. Потом мне бабушку жалко стало — ей без меня скучно будет.

Дуся (*задумчиво*). А где моя бабушка живет?

Краткая пауза.

МИТЯ. Пусть моя бабушка будет с тобою пополам.

Вечер потемнел в ночь, но свет избушки в далеком поле горит более ярко во тьме и свет из ее окон, а также сияние звезд сделали еще более явственным видение дальней избушки и двух ракушек, дремлющих возле нее.

У открытого окна показались двое людей: Дядя Мити и с ним Девушка.

ДЯДЯ (*возбужденный и веселый*). Митя! Соскучился? Сейчас я тебя отопру и гулять выпущу. Я тебе новую маму привел!

Слышно как отмыкается дверь снаружи; дверь отворяется; входят Дядя и Девушка.

ДЯДЯ (*показывает на улыбающуюся Девушку*). Вот тебе, Авдотыч, новая мама, лучше твоей старой, она с нами будет жить, а ты слушайся ее, а то — знаешь! (*Вглядывается в Дуся.*) А это кто тут?.. Погоди-погоди! Не шевелись никто! (*Переводит свой взор на Девушку и обратно на Дуся: сравнивает их.*) Стой! Теперь понятно! (*К Девушке.*) Ошибка вышла. Ступай, моя душка, назад обратно.

ДЕВУШКА. Хам какой! Да я сама за вас за такого нипочем не выйду. Я сама по себе гражданка — четыреста рублей в месяц получаю на легкой работе! А за обман, за обольщение маломощных женщин у нас знаешь что бывает? (*Хватает с этажерки хрупкую вещь, бросает ее на пол, вещь разбивается.*) Я тебя научу, как женщин надо уважать! (*Садится на стул.*) Вот не уйду отсюда, да и только! Привел меня — теперь терпи до самой своей смерти! Я тебя враз организую иотрегулирую! Я тебя навсегда смирю!

Митя прижимается к Дусе. Дуся берет его за руку.

ДУСЯ. А я... Я уже вышла замуж. У меня дядя и тетя есть. На мне не надо, нельзя больше жениться!..

ДЯДЯ. Чего ты поспешила-то? Подождала бы!

МИТЯ. Она моя мама теперь!.. (*Сжимает руку Дусе своими обеими руками.*) Убежим к моей бабушке.

ДУСЯ. Пойдем, Дмитрий Авдотыч!

Дуся берет на руки Митю и влезает с ним через открытое окно.

Митя. А компот! Возьми компот в горшке – мы не доели!
Дуся опускает Митю на землю – уже за окном – и возвращается одна обратно в комнату, через тоже окно, берет горшок с компотом и ложки и выбирается назад через окно.

И Дуся, взяв на руки Митю, которому предварительно она дала в руки горшок с компотом, уходит в направлении светящейся избушки бабушки.

ДЯДЯ. Бабушка Митьки далеко живет. (В этот же момент гаснет свет в избушке бабушки; за окнами жилища — непроглядная тьма.) Не дойдут.

ДЕВИЦА. А тебе-то что: дойдут иль не дойдут. Хорошо, что избавились! (И Девушка расшнуровывает ботинки, разуваясь.)

Занавес

НОВЕВ КОВЧЕГ (КАИНОВО ОТРОДЬЕ)

КОМЕДИЯ

Действующие лица

ШОП ЭДМОНД, ученый, руководитель американской археологической экспедиции.

ЕВА, глухонемая, 20 лет.

СЕКЕРВА ИЕЗЕКИИЛЬ, член экспедиции, разведчик.

ПОЛИГНОЙС ГЕНРИ, инженер экспедиции, радист и буровой мастер.

ИАКОВ, брат Иисуса Христа, брат Господень.

АГАСФЕР, Вечный жид.

КЛИМЕНТ, нунций папы римского.

ЧЕРЧИЛЛЬ.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН.

БЕРНАРД ШОУ.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН.

МАРТА, голливудская кинозвезда.

ДЕЙПОН, миллиардер.

ИВОННА, международная проститутка.

ШНАПХАУ, министр.

АПИСОН, кинооператор.

МАРГАРИТА ОССКАЯ, разведчица всех государств.

СИМОНЯН, председатель колхоза «Арагат» из Армянской ССР.

ПЕТРОВ, советский корабельный инженер по монтажу ковчега.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Гора Арарат. На склоне палатка американской археологической экспедиции. С большой высоты видно пространство мира, видно небо. Палатка открыта в сторону зрителя. В палатке научные инструменты и бытовая

утварь для долгой комфортабельной жизни; тут же радиопередатчик и радиоприемник.

На сцене Шоп и Ева. Шоп глядит в бинокль по очереди в разные страны света. Ева стоит на земле на коленях и рассматривает там что-то, занимается чем-то: крошит крошки, трогает пальцем на земле какое-то маленькое, невидимое существо.

ШОП. В Армении пашут... В Иране — там богу молятся, народ нищенствует у мечети... А в Турции что? В Турции люди волнуются — вон движется целая толпа в той деревне; землю делят или хоронят кого. А черт с ними: мне забота!.. (Оставляет бинокль.) Обедать пора! (Подходит к Еве, глядит, чем она занимается.) Ева, ты что делаешь? Зачем ты скорпиона кормишь, зачем ты гладишь его? (Шоп, отстранив Еву, растаптывает скорпиона толстой подошвой башмака.) Ведь это же скорпион, он гад! Корми лучше фалангу. Вот она, фаланга, — она добрее скорпиона. (Шоп целует в лоб Еву, затем нежно гладит ее волосы; для Евы, видимо, привычны ласки людей, она к ним равнодушна.) Корми фалангу!.. Ах, Ева, Ева, — кто ты такая, прелесть ты наша!

Ева быстро копается в земле: образуется маленький могильный холмик, в него Ева втыкает крестик из двух связанных палочек. Шоп следит за ней.

Это ты скорпиона похоронила и крест ему поставила?.. Ева, ты добрее самого бога! Бог лишил тебя языка, лишил слуха, а ты гадов его любишь!

Появляются Секерва и Полигнойс с легкими геолого-разведочными и рекогносцировочными инструментами. Полигнойс дарит Еве апельсин, Секерва — цветок.

(К ним.) Все в порядке?

СЕКЕРВА. Конечно — да! Ведь нам нужно немного, начальник!

ШОП. Я знаю. Нам даже ничего не нужно.

СЕКЕРВА. Возможно, что так. Нам нужно сверить данные об Арарате, которые у нас были, с натурой и кое-что выяснить более точно.

ШОП. И что же? Нам теперь все ясно?

СЕКЕРВА. Я думаю, — да, я предполагаю, что так, я предвижу — именно так: нам все ясно! Эта гора Арарат вполне

пригодна для создания в ее недрах современной сверхмощной американской крепости, неуязвимой для противника и постоянно громящей его всеми видами оружия.

ШОП (*к Полигнойсу*). А вы как думаете?

ПОЛИГНОЙС. Я думаю так. Он прав, Иезекииль Секерва. Но он и не прав...

ШОП. Это очень хорошо!.. То есть, я хотел сказать, это очень интересно. Продолжайте!

ПОЛИГНОЙС. У Арарата всегда будет одна слабость... Когда он станет нашей крепостью или мощным дотом, то ведь он будет так же далек от Америки, как и сейчас далек... В этом будет слабизна крепости!

ШОП. Неужели? Что вы говорите?!

СЕКЕРВА. Конечно — нет! Американская крепость и на краю света неуязвима! А вот что Генри Полигнойс уязвим для большевизма, так это конечно — да!

ПОЛИГНОЙС (*к Секерве*.) Как вы смеете?

СЕКЕРВА. Америка все смеет!

ПОЛИГНОЙС. Но вы не Америка!

СЕКЕРВА. Я почти она! А вы, конечно, нет!

ШОП. Стоп! Мы на работе, а не в баре! Кроме того, зачем вы берете на себя обязанности президента? Охота вам! И вот еще что — день кончается. Не пора ли нам поехать вниз и доставить себе какое-либо удовольствие? Что такое американец без удовольствия? Нужен ли он кому-нибудь и самому себе?

СЕКЕРВА. Это изменник!

ШОП. Правильно! Умываться мы не будем...

СЕКЕРВА. Не будем, нет. Здесь не Америка!.. (*К Полигнойсу*.) Генри, вы, конечно, будете дуться?

ПОЛИГНОЙС. Да нет, не буду. Деваться все равно некуда. Да я и не знаю, прав я или нет.

ШОП. И отлично! Вы обратили внимание на духан турка Селима, он как раз у нашего четвертого репера? У Селима неплохое вино, а еще лучше две его турчанки-помощницы. Вы обратили внимание?

СЕКЕРВА. Мы уже обратили внимание. Конечно — да!

ПОЛИГНОЙС. А как Еву оставим? Может быть, прислать сюда наших рабочих?

ШОП. Ничего, она не скучает. Она живет сама по себе. Мы ей привезем снизу сладостей и подарков. *(Напевает.)*

Весь мир — трактир,

Веселые мы янки.

Пропьем мы мир,

Пропьем его до дыр!

Идем мы к вам, прекрасные турчанки!

Резко стучит радиопередатчик, работающий на прием, сверкает сигнальная лампа вызова.

ПОЛИГНОЙС. Внимание! Там Америка! *(Он подходит к аппарату, принимает передачу.)*

ШОП. Интересно! Пустяки какие-нибудь! Нам некогда...

ПОЛИГНОЙС. Нет, не пустяки. Или пустяки! Я не понимаю... *(Читает радиотелеграмму.)* Шеф просит профессора Эдмонда Шопа ответить — есть ли возможность отыскать на горе Арарат останки Ноева ковчега. Их следует искать, начиная с высшей точки горного пика, а также и ниже, имея в виду сползание останков Ноева ковчега под действием собственного веса и других естественных причин. Обратитесь к первоисточнику — Библии и собственному религиозному чувству. Шеф пишет далее: этим делом интересуется Вашингтон. Что ответить шефу, профессор?

ШОП. Вашингтон интересуется! Вашингтон!.. Отвечайте: американская палеонтологическая экспедиция на горе Большой Арарат открыла останки ковчега нашего праотца Ноя, некогда спасшего человечество от Всемирного потопа! Высотные отметки расположения останков: 1412, 1632 и 644,2 метра над уровнем Черного моря. Все! Добавьте, уточните: главная масса останков ковчега находится под 39° 40' северной широты и 61° 56' восточной долготы от Гринвича. Вы передаете?

ПОЛИГНОЙС. Нет еще, профессор... Разрешите сказать: ведь это ложь, мы не искали Ноева ковчега и не нашли его. Да его и нету! Его и быть не может, профессор! Дерево не сохраняется четыре-пять тысяч лет. Вы сами это знаете... Весь мир будет смеяться, нам стыдно будет, пожалейте нашу родину Америку!

СЕКЕРВА. Я вас, конечно, понимаю, профессор Шоп... Это великое научное открытие, это будет новая гордость Аме-

рики! Это не менее, чем атомная бомба! Конечно, это так, конечно — да! Но ведь ничего же нету у нас! Где эти останки Ноева ковчега, я пока их не вижу! Я не вижу их пока!

ШОП (*Секерве*). Вы что, вы тоже болван?.. Полигнойс, передайте нашему шефу в Америку то, что я вам продиктовал...

Полигнойс начинает работать на передатчике.

Неужели вы не понимаете: в самом вопросе было желание положительного ответа, а в желании было приказание, а приказание мы должны исполнить!

ПОЛИГНОЙС. Но позвольте!.. Я не понимаю!..

ШОП. Стучите ключом, Полигнойс. Умрете — поймете! Или поезжайте в Америку и там скучайте об Арарате... Боже, как можно быть счастливым среди глупцов! Невозможно!

СЕКЕРВА. Я уже понял! Я уже понял! Конечно, я понял. Я вам сказал: я пока их не вижу, останков ковчега! Пока! Но они будут, они будут! Раз они нужны, они будут! Такова воля Америки! Они там вон лежат, где обрушилась древняя скала, — я их, кажется, уже вижу! По-моему, это бушприт ковчега!

ШОП. Поглядите внимательней: вы и камбуз увидите. Вы жить хотите — вы правы. (*К Еве.*) Ну, что ты тут делаешь, моя радость?.. Дай я тебя в лобик поцелую. Освежи меня от этих чертей! Погляди на меня своими глазами!.. Что ты здесь сотворила? Целый мир из камешков, из глиняных комочков, целый мир тишины и детской истины. А могила скорпиона цела? Ага, вот она! Ишь ты как убрала ее! Помолимся за вечное упокоение души безыменного неведомого раба божьего скорпиона, из тьмы пришедшего и во тьму ушедшего! (*Крестится, кланяется. Ева смотрит на него и повторяет его действия: крестится и кланяется до земли.*)

СЕКЕРВА (*вдруг — к Шопу*). Обождите, профессор, обождите! Я прошу вашего внимания!.. Ведь можно и так подумать! Конечно, можно! — А не будет ли это в пользу русских?

ШОП. Что в пользу русских? — Ноев ковчег, что ль?

СЕКЕРВА. Ну да, ну да! Наше великое всемирное открытие останков ковчега, — не пойдет ли большевикам на пользу?

ШОП. Пойдет! Наверно, пойдет!

СЕКЕРВА (*постепенно приходя в неистовство*). Ах, пойдет! Ага, пойдет!.. Так зачем же нам открывать, чего нету?

Зачем? Я вас спрашиваю, профессор, — отвечайте мне, или вы ответите за свою ложь, за свой этот Ноев ковчег в Америке, — ответите в худшей, в суровой обстановке, уверяю вас! Конечно, и так точно — да!

ШОП (*как бы про себя, лаская Еву как дочь*). Зачем мне нужен весь этот штат, целая экспедиция, большие затраты? Мне нужна только Ева! Всю работу я сделаю один, потому что и работы нет...

СЕКЕРВА. Отвечайте мне, профессор! Оставьте Еву прочь, в стороне! Отвечайте мне, отвечайте, я говорю как честному американскому гражданину, дрожащему за судьбы Америки! Я не могу оставаться в этом сомнении как в мешке!

ШОП. Вы про русских? Им ковчег на пользу.

СЕКЕРВА. Тогда — нету его! Видите — нету?

ШОП. Есть!

СЕКЕРВА. Нету!

ШОП. Есть!

СЕКЕРВА. Нету! Скажите — нету, дайте радио в Америку: нету! — или вас самого не будет!

ШОП. Отойди от меня, болван! Отойди на четыре метра!.. Ты должен знать, что русским все на пользу. Будет здесь ковчег или не будет, — им одинаково выгодно. Русским теперь все на пользу! В этом, дураки, великая тайна нашего века, и в чем разгадка этой тайны — я не знаю... Полигнойс, вы готовы? Едемте обедать!

ПОЛИГНОЙС. Я давно готов. Надо там выпить немножко...

СЕКЕРВА (*пытаясь понять и размыслить*). Ну да, если так, конечно, тогда так точно! Если буду я сегодня обедать — русским хорошо, не буду обедать — русские все равно сыты. И так хорошо, и наоборот приятно. Это им, а не мне! Я понимаю. О, я все понимаю, пока мне ясно!

ШОП. Секерва! Обедать к Селиму! В Америке давно пообедали!

СЕКЕРВА (*взглянув на часы*). Верно, верно! Это нехорошо, нехорошо с нашей стороны!.. Америка везде заботится о своих сынах. — Обедать!

Сигнал — вызов радиопередатчика: звук зуммера, свет сигнальной лампы. Полигнойс принимает депешу.

ШОП. Опять Америка! Когда же обедать!

ПОЛИГНОЙС (*читая постепенно ленту телеграммы, по мере передачи*). Профессор, шеф в восторге от нашего открытия. Он жмет всем нам руки и целует нас. Он считает открытие останков ковчега великим всемирным научным событием, более важным, чем все открытия Шлимана и Эванса. Шеф пишет: это величайший факт культурно-исторического и религиозного значения, это сущий след божий на грешной земле...

ШОП (*прерывая*). Какой след?

ПОЛИГНОЙС. Сущий...

ШОП. Благодарю вас. Продолжайте.

ПОЛИГНОЙС. Шеф считает открытие останков Ноева ковчега несравнимым даже с открытием атомной энергии. Оно более значительно, чем атомная бомба, оно есть новое торжество американского гения, великое деяние самого мирного, самого боголюбивого народа на земле...

ШОП. Дальше... Что им нужно? Опасно, когда начальство много болтает. Сейчас оно требовать будет.

ПОЛИГНОЙС. Уже требует... Шеф считает необходимым восстановить часть огромных расходов Соединенных Штатов, вложенных в создание системы обороны, путем небольшой оплаты другими народами тех величайших культурных ценностей, которые им дарит Америка...

ШОП. Понятно... Следует строить военные базы за счет прочих государств. Крепость должна быть на самоокупаемости.

СЕКЕРВА. Так на так! А как же? Это разумно-правильно и правильно-разумно! Точно так, а не иначе! Это правильно, как Америка!

ШОП. Неправильно: так на так — этого мало!

СЕКЕРВА. Мало, пожалуй! Лучше — больше!

ШОП. Лучше, чтоб и чистый доход еще был: хотя бы шесть процентов годовых. Наш шеф — великий коммерсант.

СЕКЕРВА. Великий вполне!

ШОП. Под землей крепость, а на земле бал-маскарад и каска наша.

ПОЛИГНОЙС (*продолжает прием*). Американская академия наук готовит поздравительное послание... Шеф ожидает предложений профессора Шопа в отношении наилучшего,

экономически целесообразного использования открытых мировых ценностей...

ШОП. Сам он и думать не хочет... Даже продать товар поручает мне... Копеечник он, сукин сын! Нет, мы продадим своей товар дорого, очень дорого. Правда, Ева? *(Он гуляет по нагорью, обняв за плечи Еву.)*

ПОЛИГНОЙС. Какой товар, профессор?

ШОП. Ноев ковчег... Ева, тебе скучно с нами? Скучно... Я вижу, что скучно. Терпи, терпи еще немножко... Мы тебя танцевать научим, ты вино будешь пить — хорошее только, нарядим тебя, замуж отдадим... Что еще тебе нужно?

Ева кротко улыбается.

Подарить-то тебе нечего! Ноев ковчег? — Это человечеству, тебе он не нужен!.. А вот развлечь тебя нужно! Ты ведь живешь в вечной тишине, грустны, наверно, твои мысли, а душа твоя почему-то прекрасна!.. Ты только видишь: тебе надо показать взрыв атомной бомбы, — там много света, тебя это может развеселить.

ПОЛИГНОЙС. Шеф ожидает вашего ответа, профессор. Что следует сообщить?

ШОП. Сейчас... Пусть обождут. Я сейчас. *(Шоп идет с Евой по нагорью, останавливается вдалеке, но еще видимый зрителю. Свистит, засунув два пальца в рот; хлопает несколько раз в ладоши, зовет.)* Джоржи! Джоржи!

ГОЛОС ДЖОРЖИ *(снизу)*. Я здесь, шеф!

ШОП. У тебя мотоцикл на ходу?

ГОЛОС ДЖОРЖИ. Всегда, шеф.

ШОП. Свистни вниз — пусть там звонят во все колокола! Понятно?

ГОЛОС ДЖОРЖИ. Нет, шеф. Сейчас пойму!

ШОП. Свистни вниз... Там есть чья-то церковь, — армянская, что ль, — на ней колокола, большие и маленькие... Пусть звонят во все, в маленькие и в большие, — у нас сегодня большой праздник. Свистни им, американцы велят.

ГОЛОС ДЖОРЖИ. Есть, шеф! Слушайте колокола!

ШОП *(возвращаясь, к Полигнойсу)*. Отвечайте... Отвечайте так. «Благодарим за приветствие. Останки корабля нашего праотца Ноя открыты нами, американцами, не случайно. Не случайно! — отнюдь нет! Они есть знак и прямое,

руководящее указание бога на пути Америки. Америка, подобно Ноеву ковчегу, должна вторично спасти человечество от потопа большевизма, уничтожающего радость, удовольствие, всю светлую, легкую сущность жизни...» Передали?

ПОЛИГНОЙС. Одну минуту... Зачем я работаю, не понимая, что делаю? Что я такое?

ШОП. Ничто. Передавайте. Итак, «если бы останки ковчега имели только культурно-историческое, научное и религиозное значение, они были бы вечно-священными реликвиями человечества; в одном этом отношении ценность их бесконечно велика. Однако останки имеют еще современное политическое боевое значение; останки могут воодушевить цивилизованное человечество на борьбу против большевизма и обеспечить нам победу. Поэтому, если ценность останков и без того бесконечно велика, все же она должна быть удвоена...» Передали?

ПОЛИГНОЙС. Есть! Странно...

ШОП. Потерпите. Скоро поедем обедать. Прекрасное вначале странно. Заканчивайте. Приобрести останки может лишь правительство Соединенных Штатов, беднякам это имущество не по карману...

ПОЛИГНОЙС. Правительство не купит этот хлам...

ШОП. Купит... Сейчас купит... Необходимо теперь же, немедленно, на горе Большой Арарат, под этими вечными снегами, в этой вечной точке человечества...

ПОЛИГНОЙС. Скучно тут... Что дальше?

ШОП. Необходимо созвать всемирный культурно-религиозный чрезвычайный конгресс всего цивилизованного человечества, на который прибудут все лидеры современной цивилизации, все отцы церкви — и папа римский, и вселенский патриарх, и цадик, и прочие могучие старики... Конгресс соберется вокруг останков ковчега, а обсудит всю судьбу нашего мира. За это вот наше правительство дорого заплатит! Понятно? Останки как цемент нашей цивилизации! Этого не передавайте. Все!.. Пусть приедут сюда разные люди, это любопытно. Еве будет интересно, она очень умна и наблюдательна, а мы ей надоели.

СЕКЕРВА. Так нужно Америке, а не Еве! Что такое Ева! Кому нужна Ева?

ШОП. Вам нужна, мне нужна, всем!

СЕКЕРВА. Необходимости нет! Не вижу, нет!

ШОП. В ней первая необходимость! Для чего вы дома держите собаку? У вас есть собака?

СЕКЕРВА. Дог, профессор. Дог! У меня дог есть, жена есть, недвижимое имущество...

ШОП. И жена есть! Так зачем вам собака? Пусть жена будет другом!.. Однако вам мало жены, нужна и собака! Зачем?

СЕКЕРВА (*искренно удивляясь*). Зачем?

ШОП. Затем, чтобы остаться немного человеком. Вот для чего нужна собака человеку, а нам нужна Ева. Без нее мы сопьемся, порежем друг друга...

Снизу раздается торжественный колокольный благовест: звонят все колокола церкви под горою Арарат.

СЕКЕРВА. Это в нашу честь! Вот она, Америка! Всюду Америка!

ПОЛИГНОЙС. Далее... Что еще передавать?

ШОП. Обождите... Нам давно пора обедать!

СЕКЕРВА. Давно пора! Служишь-служишь родине, обещать некогда!

ШОП. Поглядите в справочник, нам нужна фирма, которая делает эти...

СЕКЕРВА. Ковчеги?

ШОП. Что-нибудь подобное... Что-нибудь родственное... Поглядите!

СЕКЕРВА (*листая толстую книгу*). Вот! И вот! «Анонимное общество Иван Ной и Компания. — Древние вещи. Реликвии. Реставрация. Любые заказы на уникальные предметы, по предметам в возрасте от ста до ста тысяч лет».

ШОП. Подходит! Полигнойс, давайте заказ этой фирме. Предмет заказа: останки Ноева ковчега. Исполнение срочное, доставка самолетом, расчет франко, гора Арарат.

ПОЛИГНОЙС. Есть! Живем дальше! (*Работает на передатчике.*)

ШОП. И хватит. Пусть все отправляются к чертовой матери!.. Обедать к Селиму! Кончайте, господа, — и поехали!..

Колокольный благовест стихает; теперь он звучит еле слышно, работают только маленькие колокола.

СЕКЕРВА. Обедать! Прекрасна жизнь, Америка всеильна!

Из-под горы медленно появляется брат Господень.

ШОП. Это что еще за черт! Нам некогда!

Ева первой подходит к брату Господню, здоровается с ним, брат берет ее за руку, несколько позже опускает ее.

СЕКЕРВА (к брату). Американец?

БРАТ. Нет.

СЕКЕРВА. А тогда вообще зачем ты? Здесь запретная зона! Кто такой — я спрашиваю!

БРАТ. Брат Господень.

СЕКЕРВА. Кто? — не слышу!

БРАТ. Я Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, только я порочного зачатия.

СЕКЕРВА. Порочного?

БРАТ. Порочного.

ШОП. А разве был брат у Иисуса Христа? И главное — Иаков, порочного зачатия?

СЕКЕРВА. Да, наверно, был, — черт его знает, — раз вот он есть.

ШОП. Но позвольте, позвольте... Сколько же вам лет, брат Господень?

БРАТ. Я немного моложе Бога. Мне тысяча девятьсот сорок восемь лет, девятый пошел. Я чуть-чуть моложе его.

ШОП. Правда, вы моложе. Но вы-то не бог?

БРАТ. Нет.

ШОП. Почему?

БРАТ. Я простой человек.

СЕКЕРВА. Он простой человек!.. А брат у него — бог!

БРАТ. Бог. Так точно.

СЕКЕРВА. А может быть братом у бога простой человек? Это ведь вопрос!

ШОП (брату). И неужели вы не приобрели себе солидного положения? Вы могли быть императором, папой римским, акционером всех церквей, миллиардером. А кто вы такой?

БРАТ. Нищий.

ШОП. Ну вот. В брата пошли?

БРАТ. В брата.

ШОП. Жаль. Но это ваше дело.

СЕКЕРВА (*отводя Шопу; брат отходит от них к Еве и занимается с нею*). Что вы думаете, шеф?.. Этот брат — разведчик, ясное дело.

ШОП. Конечно.

СЕКЕРВА. А чей?

ШОП. Этого сам черт сразу не узнает.

СЕКЕРВА. А вдруг он наш — от Федерального бюро расследований? Это его за нами следить прислали. Разведка за разведкой, крест на крест, так вполне бывает.

ШОП. Ну?

СЕКЕРВА. Бывает. А за ним, за братом, тоже следят, а за тем, кто за ним, тоже... Это великая система!

ШОП. Так ведь не поймешь тогда ничего!

СЕКЕРВА. Не поймешь — не надо!

ШОП. Верно! — понимать не надо, жить надо. Нам что! Мы научная экспедиция. Пред нами факт неизвестного значения: брат Иисуса Христа. Скажите Полигнойсу, — пусть он запросит богословское отделение Американской академии наук: как быть?

СЕКЕРВА. Совершенно верно, и мы будем ни при чем. Пусть Академия отвечает за бога.

ШОП. Академия должна дать нам инструкции... А когда же мы обедать поедем?

ПОЛИГНОЙС. Я кончил...

СЕКЕРВА. Не кончили. (*Отходит к Полигнойсу.*) Исполняйте свой долг — трудитесь для отечества. Успеете нажраться. Передайте, что сказал шеф.

ПОЛИГНОЙС. Я слышал. Я напиться хочу... А вдруг он большевик! Интересно! (*Работает на радиопередатчике.*)

ШОП. Кто? Этот? А пусть!

СЕКЕРВА. То есть как это пусть? Как это пусть? Он замыслы наши узнает. Это нетерпимо!

ШОП. А какие у нас замыслы? — Всем по зубам и всё — весь замысел! Его и воробьи знают.

СЕКЕРВА. Пусть так, пусть не так, — но что он будет делать у нас?

ШОП. Работа найдется. Я его назначу капитаном ковчега. Брат бога — капитан Ноева ковчега. Это нормально!

СЕКЕРВА. Пожалуй, да, это нормально.

БРАТ. А обедать когда? Обедать будем? *(На Еву.)* Она есть хочет и я!

ШОП. Вы правы, брат Господень! Сейчас! Надо свистнуть вниз, пусть Селим сюда принесет.

СЕКЕРВА. А ей-богу, он простой человек, брат Господень. Он есть хочет, он с Евой играет, другой бы брат бога говорить с нами не стал.

ШОП. Жулик, должно быть. Ну как все, конечно, иначе бы он умер.

Благовест утих; слышится приближающаяся торжественная музыка оркестра на местных национальных инструментах.

Не дадут нам сегодня пообедать! Сколько работы!

БРАТ *(поглядев под гору)*. Турки обед несут!

ШОП. Разумно! *(К брату.)* Вы какой марки предпочитаете вино? У нас есть «Мельбурн» — три звезды. Рекомендую — нечто загадочное, но приятное.

БРАТ. Мне хлебного...

ШОП. Разве есть такая марка — хлебная? Не пробовал! Очень жаль! Это что — виски, шнапс, водка?

БРАТ. Оно.

Являются Селим и две его помощницы, девушки-турчанки. Они несут судки и различную посуду с пищей. Селим несет большую суповую вазу на голове, Ева и Брат быстро собирают обед на походном разборном столе; им деятельно помогают Селим и его турчанки.

Одновременно на радиопередатчике сверкает лампа, звучит зуммер, Полигнойс манипулирует там.

ПОЛИГНОЙС. Внимание! Прием! Слушаю Америку!

ШОП. Потом, потом... *(Садится за стол.)* Мы умрем с голоду!

ПОЛИГНОЙС *(читает ленту)*. «Богословское отделение Академии извещает вас, что второй сын богоматери Марии по имени Иаков родился от плотника Иосифа, то есть он является простым человеком и зачат обычным нормально-порочным путем...»

БРАТ *(разливая половником суп из вазы-миски по тарелкам, которые подает ему Ева)*. Я забыл, а они помнят!

ПОЛИГНОЙС (*продолжая чтение ленты*). «Иакову, брату Господню по матери, исполнилось ныне от рождения одна тысяча девятьсот сорок восемь полных лет, два месяца, одиннадцать дней...»

БРАТ (*разливая суп по тарелкам*). Они знают! Мне тысяча девятьсот сорок девятый пошел...

ПОЛИГНОЙС (*продолжая чтение*). «Установите эти факты в открытом вами человеке. Независимо от окончательных выводов науки сохраните брата Господня, младшего брата Иисуса Христа, в здоровом неизменном виде: в нем, возможно, сокрыта неизвестная истина, — Передняя Азия полна древних тайн. За президента доктор протопресвитер Феофилакт Смит...»

БРАТ. Слыхали?.. Садитесь есть, малолетние! Потом опять шалить будете!.. Играйте, турки, музыку! Турки!

Ева садится на колени к брату, они едят с ним из одной тарелки. Все обедают. Селим и две турчанки пляшут и поют под музыку местного оркестра, скрытого за сценой.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Место 1-го действия, но иначе установленное и теперь более украшенное. Прямо перед зрителем, выше американского лагерь, останки Ноева ковчега. Это, как можно догадаться, несколько бесформенных, неопределенных предметов, вроде лесного бурелома или домашних поваленных стульев, покрытых золоченой церковной парчой, огороженных посеребренными столбиками с цепью из разноцветных ярких звеньев. На одном столбике табличка с надписью: «Священно. Не прикасаться».

Невидимый оркестр играет религиозную мелодию; на протяжении действия музыка звучит или утихает, соответственно смыслу и ходу действия. Сейчас из-под горы слышится временами шум голосов, игра оркестров, гудки машин и крик ослов. Предстоит торжество. На сцене сейчас одна Ева. Она подметает листвяным веником дорожку к ковчегу. Затем она скрывается на минуту в палатке и волочит оттуда пустой ящик. На ящике

прочитывается надпись: «Секретно. Срочно. Самолетом. Арарат — профессору Шопу. Киль ковчега. Не кантовать. Не бросать. Анонимное общество. США».

Ева устанавливает ящик плашмя перед останками ковчега; сдергивает с ковчега один кусок золоченой парчи, покрывает им ящик с надписью. Ковчег теперь немного обнажен: оттуда высовывается ветхое бревнышко. Ева принимается украшать ящик цветами, выкладывает на нем горные камешки, занимается своим хозяйством. Появляются Шоп, Секерва, Полигнойс.

ШОП. Господа! Усилия наши увенчались всемирным успехом! Я доволен, я доволен... Я чувствую необходимость немедленно доставить себе какое-либо удовольствие. Иначе я не могу. Мне нужно утешить чем-нибудь самого себя. Я этого заслужил и вы заслужили. Вы чувствуете это?

СЕКЕРВА. Я чувствую это. Я давно это чувствую. Я всю жизнь сам себя хочу поцеловать.

ПОЛИГНОЙС. А я думал, вы Америку хоть немного любите. А вы любите только самих себя.

ШОП. И что же! Я же часть Америки! Как вы не понимаете? Я обязан себя любить! Самого себя!

СЕКЕРВА. Он не понимает! Надо любить себя как часть Америки! А он не понимает!

ШОП. Да, да, это необходимо! Нужно ценить и уважать себя, я немедленно должен доставить себе радость... Но мне некогда! Нам некогда наслаждаться — вот в чем драма жизни! Вся забота о всем мире лежит на нас! Прошу, господа, не упустить чего-либо из виду: сейчас начнется всемирный религиозно-культурный конгресс... Будьте на своих постах! Прибыл Конгрессмен!

За сценой усиливается шум голосов, раздаются звуки торжественного оркестра.

ПОЛИГНОЙС. Он болван!

СЕКЕРВА. Не забывайтесь, Полигнойс! Конгрессмен есть частица правительства Америки! Вы клеветник!

ПОЛИГНОЙС. А он болван, хоть и частица! Он частица и болван.

Является Конгрессмен.

КОНГРЕССМЕН (Шопу). Это вы здесь?

ШОП. Это мы здесь!

КОНГРЕССМЕН. Где сие?

ШОП (указывая на ковчег). Здесь сие!

Конгрессмен направляется к ящику, у которого одиноко играет Ева.

КОНГРЕССМЕН. Убрать девчонку!

ШОП (Секерве). Убрать девчонку!

СЕКЕРВА. Убрать девчонку! (Он хватается за руку Еву и отталкивает ее.) Прочь, девчонка!

КОНГРЕССМЕН (он становится на ящик, покрытый парчой; достает из внутреннего кармана маленький портативный флаг Соединенных Штатов; снимает шляпу и трижды подымает флаг вверх). Ура! Ура! Ура!

Надевает шляпу; складывает флаг и прячет его в карман. Брат Господень, спавший в палатке, просыпается от шума, выходит наружу.

(Сойдя с ящика.) А где здесь он?

СЕКЕРВА. Кто, ваше превосходительство? Кто есть он?

КОНГРЕССМЕН. Этот!

СЕКЕРВА (указывая на брата). Вот этот — брат Господень? Вот он!

КОНГРЕССМЕН. Да, конечно! Это он. (К брату.) Отвечайте, как он смел, этот мерзавец, ваш отец?

БРАТ (кротко). Не знаю.

КОНГРЕССМЕН. А надо знать, спросить надо было! Как он смел, этот мерзавец, ваш отец, какой-то плотник-старик, жить с богоматерью и рожать от нее детей, — вас, например? Как вы смели родиться?

БРАТ. Не знаю. Дело было не мое.

КОНГРЕССМЕН. Не знаете? Две тысячи лет живете, ничего не знаете! Зачем живете?

БРАТ. Не помирается. Хлеб-соль-кипяток бесплатно. Живи, говорят. Я живу.

КОНГРЕССМЕН. А кто вам говорит — живи?

БРАТ. Начальство говорит.

КОНГРЕССМЕН. Начальство? А кто твое начальство?

БРАТ. Вы! Кто же теперь?

КОНГРЕССМЕН. Мы?.. Ну конечно! Это хорошо, это правильно. Живи пока.

БРАТ. Спасибо, не помру.

КОНГРЕССМЕН. Живи, живи, — это ничего, это пока можно допустить — жизнь. А там мы посмотрим. *(Всем другим.)* Позовите сюда всемирный религиозно-культурный конгресс! *(Поглядев на часы.)* У меня в четырнадцать десять самолет.

ШОП *(свистнув сначала, кричит вниз)*. Джоржи!

ГОЛОС ДЖОРЖИ. Есть, шеф!

ШОП. Давай конгресс!

ГОЛОС ДЖОРЖИ. Есть конгресс!

Являются папский нунций Климент; за ним вослед: герцогиня Винчестерская, 75 лет, в шлеме и полном костюме летчика, она только что из самолета, которым, видимо, управляет сама; Кнут Гамсун; еврейский цадик Саул Абрагам; Черчилль; Сукегава, японский православный священник; супруга Чан Кайши; Марта Такс, кинозвезда; Агнесса Тевно, международная старуха; Алисон, кинооператор; Леон Этт, урод-карлик-вундеркинд, универсальный мудрец. На втором плане являются другие члены конгресса: ученые старики, священники, красавицы, старухи, молодые люди, журналисты и другие; среди них находится и Грегор Торг, вор.

КЛИМЕНТ *(становится на ящик, на золоченую парчу, делает жест рукой, благословляющий всех, произносит речь, которая доносится до слушателей как звуки, то поднимающиеся до рева, то снижающиеся до шепота)*. Ва-вв! Доворивалиум-стеввервим! Ориховарим! Аливан-тево-эрго-гориум! Э-э-эвмвм! Тиво-ливайе, тиво-мерханто, тиво-рекугейро, э-э-эйвем! Анстун-анстун-алейво, инстерей-берейро-квоок! Сихон-теос-альбиги-шпо-фоорх! Ище-кве, ище-хве, элентоманиарум-гвак!..

(Сходит с ящика, идет вокруг ковчега, освящает его; на ящик всходит Конгрессмен.)

ЧЕРЧИЛЛЬ *(к брату Господню)*. Что он сказал?

БРАТ. Что нужно! Элентоманиарум-гвак: слушайте бога!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Он глупец?

БРАТ. Кто же еще? Должно быть!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Так. А вы кто?

БРАТ. Я кто? Я брат бога.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Так. Ясно.

Вслед за нунцием Климентом, освящающим останки ковчега, идут чередою вокруг ковчега все члены, все гости конгресса; кинооператор Алисон снимает конгресс, вопрошая: «А где брат? Где брат Господень? Дайте мне брата Господня!» — Черчилль, взяв брата под руку, идет с ним вслед за другими.

КОНГРЕССМЕН (*говорит с ящика*). Господа! От лица Америки приветствую вас в сей великий торжественный час! Почему именно Ноев ковчег и почему именно Америке он дался в руки? Вот вопрос! А что нам вопросы, когда у нас на все есть ответы? Велика Америка, велика, все у нас есть. А чего у нас нету, то нам не нужно, только потому его и нету. Одного у нас не было, одного не хватало: вещи или предмета бога, какого-либо имущества прямо из библейского хозяйства, из божьего инвентаря. А эта вещь нам необходима! Так вот она, эта вещь бога, вот факт — сейчас она в моих руках! (*Конгрессмен выхватывает бревнышко-головешку, торчавшую из-под парчи останков, и показывает его всем.*) Вот она — божественная штука! Наука открыла нам ее в сей древней горе! Слава науке, открывающей все, что нам нужно. А почему именно Ноев ковчег? А потому, что это есть знак и прямое указание бога Америке, бог говорит: Америка, строй новый ковчег, спасай человечество! Это всем понятно!.. А если бы бог думал что-нибудь не то, то он бы дал нам в руки что-нибудь другое, а отнюдь не останки Ноева ковчега, отнюдь нет!

ГОРГ (*он очутился вблизи Конгрессмена, почти вплотную к нему*). Что же именно?

И отбирает у него из рук останок ковчега; Конгрессмен машинально отдает ему этот останок; Горг мгновенно, с неуловимой, почти невидимой ловкостью прячет останок к себе, внутрь сюртука.

КОНГРЕССМЕН. Это богу известно. Одно ясно: бог говорит с Америкой! Он говорит ей: собери человечество в один ковчег, спасай его от врага!

ЧЕРЧИЛЛЬ. От какого врага? Кто враг?

КОНГРЕССМЕН. Богу и Америке известен сей враг, и каждый простой человек знает его. Только один человек не зна-

ет его. Это вы — господин Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль его не знает?

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. А разве здесь Уинстон? Это удивительно! Он всюду, наш Уинстон, — где бог и где дьявол! Где вы, Уинстон? Подойдите ко мне!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Я приветствую ваше высочество! Как вы путешествовали, какова была погода на трассе?

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Ах, что мне теперь погода? У меня ракета, скорость шестьсот!.. А зачем вы сюда явились, старый большевик? Что вам здесь надо среди нас, простых религиозных людей? Вы же друг генерала Сталина, вы его старый боевой конь! Так точно, не правда ли? Думаете, мы не знаем! Вы хитрейший большевик! Подите же прочь от меня, уйдите отсюда, со святого места!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Благодарю вас, ваше высочество!

АГНЕССА ТЕВНО (*свирепо*). Пустите меня! Пустите меня вперед! Где большевики? Где они, я спрашиваю!

КОНГРЕССМЕН. Пропустить старуху вперед!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Я здесь, старуха!.. Ах, это вы! Пожалуйте, мадам Тевно!

ТЕВНО (*подойдя к Черчиллю*). Да какой же это большевик? Это Черчилль-старичок! Он притворяется большевиком! Я видела большевиков, — они совсем другие мужчины! Пустите меня отсюда в Москву! В Москву меня, я в Москву хочу! Я бомбу брошу в нее, — мне бог велел!

КОНГРЕССМЕН. В Москву старуху!..

ШОП. Она вооружения требует — бомбу.

КОНГРЕССМЕН. Невооруженную! Не вооружать старух!

ТЕВНО. Я здоровее бываю, я моложе себя чувствую, когда вижу большевиков и ненавижу их. Я в Москву хочу! Помогите мне уничтожить их, а не поможете — я одна их разможжу. Вперед! Вперед!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Вперед, сударыня!

Конгресс к этому моменту превратился в парад людей, которые заняты тем, что показывают себя друг перед другом или любуются сами собой; они разбрелись по горе Арарат и забыли, зачем они здесь присутствуют; ковчег им уже не нужен, да и ничего им не нужно, кроме того, что обещает им личное удовольствие или наслаждение.

Явившийся Селим и его помощницы обслуживают делегатов религиозно-культурного конгресса: они продают им напитки, сласти и легкую пищу. Ева вынимает из-за пазухи Горга украденную им частицу ковчега. Горг не обижается: он целует Еву в лоб. Затем тут же выхватывает частицу ковчега и подает ее Агнессе Тевно.

ГОРГ. Возьмите вещь бога! Возьмите ее себе на помощь!
Сокрушайте врага!

ТЕВНО. Где эта вещь? *(Хватает ее из рук Горга.)* А как она действует?

ГОРГ. Бог сам научит вас. Осторожно! Это сильнее атомной бомбы!

ТЕВНО. Отлично! Мне годится!

КЛИМЕНТ *(резко)*. Энтимпаторум-гвак-энтимпаторум-гвак!

КОНГРЕССМЕН. А? Ну да! Конечно! Это... Ясно, это гвак, это, конечно, гвак и кощунство! Откуда она взяла кусок ковчега? Отымите его у старухи! Это кощунство!

ГОРГ. Вы сами держали его в руках!

КОНГРЕССМЕН. Так это я! Я держал и буду держать! Ковчег наш, а не твой. Откуда эта лишняя старуха?

ШОП. Из Европы. Это знаменитое международное существо! Мы сами себе враги — и от этого погибнем.

КОНГРЕССМЕН. Прочь старуху в Европу!

СЕКЕРВА. Прочь старуху в Европу!

АЛИСОН. Где старуха? Дайте мне старуху! *(Снимает Тевно киноаппаратом.)*

Общий шум. Горг бросается к Тевно, пытается отнять у нее частицу ковчега. Тевно бьет Горга по голове частицей. Горг вырывает у Тевно частицу. Все присутствующие направляются к Тевно, окружают ее как центр скандала. Горг, когда внимание всех сосредоточено на старухе Тевно, исчезает из толпы. Вот он у останков ковчега, где сейчас никого нет. Он вползает на четвереньках под золотую парчу — и выползает оттуда, держа в охапке все останки ковчега. Скрывшись на мгновение, он является вновь. Теперь у него в охапке вместо останков камни. Он их складывает под парчу и накрывает, как прежде было. Потом вмешивается в общую толпу.

ГОРГ (*как нунций Климент, тем же тоном*). Энтимпаторум-гвак! Энтимпаторум-гвак! Мы победим! С нами бог и вещи его!

Конгресс снова приобретает вид парада эгоистов.

ЧЕРЧИЛЛЬ (*прогуливаясь об руку с братом и Кнутом Гамсуном, продолжает разговор с братом*). Вы подумайте, я не тороплю вас. Вы нам необходимы, именно сейчас, в тяжелые опасные годы! Вы понимаете меня?

БРАТ. Нет, ничего не понимаю.

ЧЕРЧИЛЛЬ. А ведь это же ясно. Я вам говорю ясно, дорогой мой. Вы брат Иисуса Христа, вы родственник нашего господя бога! (*Мелко скороговоркой крестится.*) Да святится имя твое, да будет воля твоя, яко на небеси, тако и на земли... Раз ты брат господя бога — этого нам достаточно. По этой причине ты величайший авторитет современного мира. Понятно теперь?

БРАТ. Нету!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Вы будете императором земного шара: всякому болвану понятно. Вот он, всемирный император Иаков!

ГАМСУН. Ах, прекрасно, прекрасно: император! Это великолепно: император! Тогда будет всемирный очаг, а у очага один хозяин — старик, брат бога. Это хорошо. Это превосходно! А где я? А я тогда буду возле вас, я буду советником всемирного императора. Порядок, тишина, девушки в белых платьях, сосновая хижина и мы с вами — два старика! Утром мы будем есть хлеб с молоком, а вечером хлеб с молоком и сыром...

ЧЕРЧИЛЛЬ (*брату*). Соглашайтесь на императора! Это вам прилично.

БРАТ. А большевики! Они не любят всемирных императоров: они мне голову оторвут. (*Пробует руками свою голову и поворачивает ее.*)

ГАМСУН. Бог сильнее большевиков, господин брат бога по матери!

БРАТ. Да ведь забот будет много — с этим человечеством. Надоест оно мне.

ЧЕРЧИЛЛЬ. А я! Я где же! Я буду при вас! С человечеством я один управлюсь. Вам ничего не надо будет делать. Будете чувствовать одно удовольствие.

БРАТ. Неохота... Подумаю, однако.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Не спешите, подумайте... Может, папой римским решитесь быть? Вам это вполне к лицу. А мы устроим.

ГАМСУН. Папой римским! Великая мысль! Так он уже есть римский папа! Самый лучший наместник Христа — это брат самого Христа. Вот и все! Он — папа!

ШОП (*он подходит к Черчиллю под руку с кинозвездой Мартой Такс, отвлекает Черчилля в сторону*). Господин Уинстон! Простите меня, но я надеюсь, вам ясно, какой он брат Господень! — вы понимаете меня?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Я понимаю. Вы же, однако, открыли останки ковчега! — вы понимаете меня?

ШОП. Понимаю, господин Черчилль.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Мы идем с вами к одной цели — к истине. Не правда ли?

ШОП. Это правда, господин Черчилль.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Продолжайте свой путь, господин ученый!

ШОП. Куда?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Туда же.

ГАМСУН (*Шопу*). Приветствую великого ученого и сердечно, вдохновенно поздравляю с мировым открытием, — поверьте, я желаю вам личного счастья и славы.

ШОП. Благодарю вас, искренно благодарю.

МАРТА ТАКС (*отойдя с Шопом*). Кто это? Такое знакомое лицо!

ШОП. Божий племянник.

МАРТА. А кто? Он смотрел куда-то ниже меня. Как его зовут?

ШОП. Он на ваш таз смотрел, он понимает в женском инвентаре. Это Кнут Гамсун, дорогая, он пишет книги посредством лирического расслабления желудка.

МАРТА. Фу! Все янки — грубияны! Они умываются кое-как, едят руками, говорят чепуху... А что делать! С кем нам водиться?

ШОП. Со мной! Утешьте меня, дорогая, доставьте мне радость. Я так много добра сделал человечеству, я так устал, что мне теперь необходимо счастье, просто для здоровья необходимо.

МАРТА. Да пожалуйста, — а в чем ваше счастье?

ШОП. В возвышенном! В чем-то возвышенном!

МАРТА. Как жаль!.. Как жаль, что я не могу вам помочь!

ШОП. Помогите! Помогите мне скорей! Утешьте меня, ради бога! Я не могу оставаться без удовольствия. Чего ради!

МАРТА. Я понимаю вас. Только во мне нет ничего возвышенного, есть одно низшее только. Что поделаешь!

ШОП. Я добрый. Давайте низшее. Следуйте за мной.

МАРТА. Куда, дорогой мой?

ШОП. В уединение. Скорее!

МАРТА. Скорее? А что там?

ШОП. Там что? А там любовь! Вы глупы, что ли? Вы немка?

МАРТА. А любовь что?

ШОП. Щекотка!

МАРТА (*гневно, в другой игре*). Отойди от меня, отойди, негодяй! Тебе страдать нужно, а не наслаждаться, пошлая тварь!

ШОП (*в раздражении*). Тише ты, животное! Здесь всемирный конгресс, здесь ковчег стоит! (*Хватает ее за руку.*) Успокойся — и за мной!

МАРТА (*толкает его в грудь с большой силой*). Не прикасайся! Здесь ковчег стоит... Молись!

ПОЛИГНОЙС (*подбегая*). Держитесь, шеф!

ШОП (*еле удерживается на ногах*). Это не считается. Она дура!

ПОЛИГНОЙС. Как не считается? — Она бьет умело. Считается!

Внимание некоторых лиц привлекается в сторону Марты. Марта закрывает лицо рукою.

Успокойтесь, успокойтесь. Что вы хотите?

МАРТА. Я хочу... Я хочу ударить его еще раз. Ах, как жить стало скучно, как подло!

ПОЛИГНОЙС. Ого! Да вы человек! Слава богу!

Ева подходит и обнимает Марту. Марта обнимает ее в ответ.

МАРТА. Милая моя... Ты кто? Как тебя зовут? Я тебя видела где-то, давно когда-то, и забыла... Забыла я самое лучшее!

Ева стелает в ответ, словно стараясь сказать что-то.

Я поняла, я поняла... Прекрасная моя! Прости меня, прости меня. *(Целует Еву в губы.)*

ЦАДИК *(подходя к Марте)*. Кого вы ударили — это главный, нет ли?

МАРТА. Главный! Нет, я не знаю.

ЦАДИК. Главный, главный! Он свободный, нахальный человек, — значит, главный. Я прав.

ШОП *(цадику)*. Что вам угодно? Скорее говорите, времени нет. Видите, времени нет.

ЦАДИК. Вижу, конечно, — времени нет. Дайте мне, пожалуйста, кусочек ковчега, — нашему государству!

КОНГРЕССМЕН *(подходя к Шопу)*. Он и у меня просил кусочек. Дать ему или нет — вы подумайте.

ШОП. Подумал: нет! Гнать его к черту! А за что ему давать?

ЦАДИК. А за то — мы евреи и Ной есть наш родной еврей. Весь ковчег наш, а я прошу кусочек. Поймите меня — кусочек!

ШОП. Это ложь и старомодная чепуха! Ной — американец! Экспедиция Боба Спринглера доказала в тридцать втором году, что Ной был живой американец. Вы помните, господа, эту экспедицию? Ее организовала компания машиностроительных заводов — «Бабкок и Вилькос».

ЦАДИК. Не помню. Я этого не помню. А Ной — еврей!..

ШОП. Американец!

СЕКЕРВА *(внезапно явившись)*. Американец! И наш президент верит так, а не иначе: Ной — американец!

ЦАДИК. И я также верю! Ну маленький дайте кусочек! Один маленький: больше не надо, будет уже много!

СЕКЕРВА. Идите и слушайте! Не раздражайте наше руководство!

ЦАДИК. Тогда парчу подарите. Парчу с ковчега!

КОНГРЕССМЕН. Парчу можно. Пусть берет, и у них государство.

ШОП. После конгресса только... После конгресса пусть сдернет с ковчега.

ЦАДИК. Я сдерну! Парчу я сдерну!

КЛИМЕНТ *(возглашает с ящика-трибуны)*. Гирги-горги-георгиорум!

ШОП. Хочется мне чего-то!.. Полигнойс!

ПОЛИГНОЙС. Шеф! Я вас слушаю!

ШОП. Полигнойс! Закажите для меня телеграфом фирме «Зигфрид» вечерние полуботинки типа «альфа» уфиолевого оттенка, вне сорта и стандарта, мой номер сорок два.

ПОЛИГНОЙС. Я исполню, шеф.

ШОП. Легче стало!

ПОЛИГНОЙС. Я все исполню. *(Про себя.)* Хорошо, что будет война. Пусть поразят нас большевики. *(Уходит к радиопередатчику.)*

СУКЕГАВА *(с ящика-трибуны)*. Я православный священник святой церкви... Я верю в бога как русский человек. Русский человек говорит: тело у него большевистское, а дух у него божий. Он говорит: не надо ему тела, пусть умрет на войне, а надо ему один дух божий, больше ничего ему не надо!..

БРАТ *(к японцу Сукегаве)*. Слушай — ты чей? Ты откуда?

СУКЕГАВА. Мы японский православный священник токийской епархии. А вы?

БРАТ. А мы — брат Божий. Сходи прочь!

СУКЕГАВА. Не буду сходить!

БРАТ. Врешь — сейчас сойдешь!

СУКЕГАВА *(к ближним, слушавшим его)*. Как мне быть?

КОНГРЕССМЕН. Брат Господень авторитетней вас — уходите!

Сукегава исчезает с трибуны.

СУПРУГА ЧАН КАЙШИ *(появляясь на трибуне)*. Человечество! Я к тебе обращаюсь, человечество! Вели отдать моему супругу Китай! Его у нас взяли неправильно, мы думали — так не может быть! Отдайте Китай моему супругу, а мы его больше никому не отдадим!

КОНГРЕССМЕН. Ладно! Пожалуйте, Леон Этт!

ЭТТ *(с трибуны)*. Господа! Я хочу возвестить вам: что будет завтра с миром и людьми...

ГОЛОСА. Что же? Ну говори! Пожалуйста, скажите нам! Отчего раньше не говорил?

ЭТТ. Господа! Завтра будет война. Большевики нападут на нас!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. А где мы тогда будем?

ЭТТ. Герцогиня! Мы будем там же, где бывает мясо, по-
жранное псом, где сейчас находится мясо, скушанное вами
вчера.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. В желудке? Пса?

ЭТТ. Дальше, герцогиня, после желудка!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Не понимаю. Где даль-
ше, где после?

ЭТТ. Простите, герцогиня... Итак, господа, завтра, воз-
можно ранее полудня или позже него, начнется мировая
война.

ТЕВНО. Старо, глупо, господин профессор! Завтра — зна-
чит никогда.

КОНГРЕССМЕН. Глупо! Прошу вас, мистер Уинстон!

ЧЕРЧИЛЛЬ (*появляется на ящике-трибуне; Этт исче-
зает*). Правильно, мадам Тевно: завтра — значит никогда;
война теперь начаться не может, она уже началась... Леди
и джентльмены, господа! Все мы — дети единого небесного
бога-отца, — да святится имя его! — но непослушные дети.
Бог дал нам в руки атомную силу, сказав этим: приведите
жизнь на земле в порядок, — а мы не послушались его!..

КЛИМЕНТ (*ставши на ящик рядом с Черчиллем, про-
возглашает в подтверждение*). Энтимпаторум-гвак!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Бог указал нам на блоху как на смертонос-
ного солдата, — и мы опять не послушались его...

КЛИМЕНТ. Энтимпаторум-гвак!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Ныне бог в третий раз обратился к нам с пря-
мым своим словом. Дав нам открыть сокровенную тайну
святой древности — Ноев ковчег, — бог явственно говорит:
спасайтесь немедля, спасайте тех, кто должен быть спасен,
а врагов утопите в бездне...

КЛИМЕНТ. Энтимпаторум-гвак!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Гибель миру, если мы не услышим последне-
го слова божия!

КЛИМЕНТ. Энтимпаторум!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Война начнется не завтра и не сегодня,
а раньше: она началась вчера! Большевики нас бьют!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Так что же нам делать,
Уинстон! Чего вы медлите? У вас есть атом, блоха и ков-
чег, — и с нами еще бог! Достаточно! Чего вы боитесь?

ГОЛОСА. Так что же нам делать? Боже, спаси нас!

КЛИМЕНТ. Энтимпаторум!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Я вас спасу!

ШОП. Пусть лучше бог!

КОНГРЕССМЕН. Или мы — Америка!

СЕКЕРВА. Лучше мы — Америка!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Не сумеете... Большевиков надо уничтожить трижды, чтобы они погибли один раз. Я знаю, как это делать. Я знаю большевиков, я научился у них отваге, а ненависть у нас своя. Нет лучшей жизни, как их смерть, их горе; их кровь, последний возглас их потомков! Боже, дай нам их теплые трупы! Боже, бей их!

Черчилль зашелся в крике; искусственная челюсть вылетела у него изо рта; находившаяся поодаль Ева увидела упавшую возле нее челюсть, подняла ее, оглядела, подержала и равнодушно забросила в горную пропасть.

КЛИМЕНТ. Гвак-гвак-энтимпаторум!

ЧЕРЧИЛЛЬ (*шипит беззубым ртом*). Восславим бога перед битвой! Объединимся вокруг святыни!

КОНГРЕССМЕН. Ура!

Делегаты конгресса берутся за руки и идут хороводом вокруг останков ковчега; одна Ева занимается камешками в стороне, и Полигнойс сидит один у радиоаппарата.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (*к нунцию Клименту*). Святой отец, разрешите приложиться к святыне.

КЛИМЕНТ (*с разрешающим жестом*). Энтимпаторум!

КОНГРЕССМЕН. Это можно. Снимите покрывало!

ЦАДИК. Это я! Я сдерну!

Он сдергивает парчу; под парчой горка голых камней. Цадик быстро сворачивает парчу в трубку и берет ее себе под мышку.

КОНГРЕССМЕН. А где ж ковчег? Где святыне останки?

ЦАДИК. Это святотатство!

ГОРГ. Это кощунство! Большевики украли ковчег!

ШОП. Несомненно, несомненно. Они похитили великое открытие.

КЛИМЕНТ (*в неистовстве, взойдя на ящик-трибуну*). Гирги-горги-гвак-гвак! Эмфалисто-стеворвариум!

КОНГРЕССМЕН (*ко всем*). Ну кто взял — отдайте! Ведь это действительно империализм! Отдайте, пожалуйста, Ноев ковчег!

Всеобщее молчание; пауза.

(*К нунцию Клименту.*) Отец, прокляни тогда всех к черту, пусть земля сейчас содрогнется, а то мне одному придется отвечать! Проклинай!..

КЛИМЕНТ (*подняв очи к небу*). Антремовельтано, интремовеле, жау-жау-зорх!

БРАТ (*поглядев на небо*). Боже, дай им!

КОНГРЕССМЕН (*брату*). Проклинай сильнее! Бог вас не слышит!

БРАТ. Боже, дай им как следует: мошенникам, убийцам, обманщикам, мучителям и прочим всем разнообразным стервецам. Боже, дай им скорее гневной рукой!

Волны ослепительного разноцветного света, в том числе и черного света, содрогаясь, побежали по небу. Возник тихий вначале, далекий звук; вот он усилился до страшного вопля и постепенно спал до безмолвия. Но волны разноцветного света по-прежнему бегут по небу. Все люди на сцене в ужасе пали ниц, даже Полигнойс. Лишь брат остался стоять на ногах как был. Теперь он взял за руку Еву и держит ее, чтобы она не боялась. Пауза. Первым поднимается Горг. Он уходит со сцены; возвращается с охапкой останков ковчега и кладет их на прежнее место; никто не интересуется действием Горга. Вторым очнулся Полигнойс. Он настраивает радиоприемник.

РАДИО. Бук-бук-бук! Где твой зад, где перед? Вот и муж твой идет! Привет, идиот! Бук-бук-бук!..

Полигнойс переключает радио.

...вительственное сообщение. Правительство Соединенных Штатов передает для всеобщего сведения. С целью показать пример разоружения правительство решило уничтожить свой запас атомных бомб. Уничтожение бомб производится в международных водах Атлантики. Впредь до указания всем самолетам и кораблям Атлантического бассейна не начинать рейсов во избежание возможной гибели или повреждения. Самолеты и корабли, находящиеся в движении, прекращают рейсы и заходят в ближайшие базы и порты.

Правительство Соединенных Штатов призывает человечество к спокойствию.

КОНГРЕССМЕН. Ура! Вставайте, господа! Жизнь идет нормально!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Не совсем. Это война, господа. А где моя чепуха?

БРАТ (к Еве, прижавшейся к нему). Чего ты? Неба боишься? Не бойся, не бойся, сирота.

ШОП. Полигнойс! Вы исполнили мое поручение?

ПОЛИГНОЙС. Да. Башмаков уфиолевого цвета фирма временно не изготавливает. Я заказал цвета Индийского океана.

ШОП. Прекрасно. Я стерплю этот цвет, я стерплю! (Напевая.) Бук-бук-бук, бук-бук-бук! Вот и муж твой идет... вот и муж твой идет...

ПОЛИГНОЙС. Привет, идиот.

МАРТА. Опять война... На небе фейерверки, на земле мины. Как интересно, черт вас возьми!

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

То же место на горе Арарат. Тот же американский лагерь. Но теперь все пришло в другой вид: все обветшало, изношено, постарело, одичало — люди и предметы. Люди находятся здесь явно вынужденно, над ними грозное бедствие. Кроме американской палатки теперь здесь много землянок, шалашей, временных убежищ. На сцене те же действующие лица, что и во 2-м действии; теперь их, однако, словно стало еще больше. Ева, Гамсун и Горг вешают два котелка, разводят под ними из нескольких щепок костер. Другие люди тоже занимаются хозяйственным бытом. Конгрессмен и нунций Климент стоят на кучах житейского мусора и алчно обгладывают мясо с костей. Количество людей меняется на сцене, — они уходят по другую сторону горы, затем возвращаются; они занимаются житейскими делами.

На заднем плане, как и во 2-м действии, лежат останки ковчега, теперь открытые.

ШОП. Когда же придут за нами корабли?

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (*Конгрессмену*). Неужели мы здесь погибнем? Неужели вы не можете устроить нам спасения? Зачем тогда вы хвастались — мы, Америка! мы, Америка! — при нас, когда у руля стояла Великобритания, подобного безобразия не было... Ах, где мой самолет? — улетела бы я отсюда на своей ракете!

КОНГРЕССМЕН. Утешьтесь, ваше высочество! Вместе с нами погибнут и большевики! Это прекрасно!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (*к Черчиллю*). Уинстон! По-моему, он глупец!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Это естественно, ваше высочество. Задача в том, чтобы погибли только одни большевики, а мы должны процветать!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Ну конечно! Ну конечно! Вообще, по-моему, вся ихняя Америка — это, как бы так ясно, популярно сказать?..

ГОРГ. Шпана, ваше высочество! Популярно!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Шпана? — я не понимаю — это что. Но возможно, это правда: Америка — шпана!

ТЕВНО. Ясно, шпана! И стрелять они не умеют. Попали в земной шар — и раскололи его, вода потекла. Вот большевики стрелять умеют! Те бы не промахнулись!

СЕКЕРВА. Америка сразу во всех бомбой попала. Вот она — Америка!

ПОЛИГНОЙС. И в себя тоже попала!

ШОП. Скучно, Полигнойс! Когда же придут за нами корабли?

Брат Господень приносит охапку кустарника и опускает топливо около Евы, возле тлеющего костра. Ева, Гамсун, брат и другие стараются разжечь принесенные прутья, но они не горят.

ЧЕРЧИЛЛЬ (*Полигнойсу*). Радист! Дайте Москву! Что думают сейчас большевики?

ПОЛИГНОЙС. Трудно, господин Черчилль, но я попробую. Америка забивает все станции, она слушает только самое себя.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Это обычно, это стало нормальным: всякий слушает самого себя. Но вы настройтесь на другого. Попробуйте.

Полигнойс работает у радиоаппарата.

Слышите кого-нибудь?

ПОЛИГНОЙС. Слышу вопль! Москвы не слышу.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Ищите Москву... Интересно и странно. Но этого даже я не понимаю. Почему большевики совершенно спокойны, когда весь мир гибнет и они тоже?

ПОЛИГНОЙС. Стоп! Нет, опять исчезло.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Москва? Кто там?

ПОЛИГНОЙС. Три баянистов: Кузнецов, Попков и Данилов... Опять все исчезло...

ЧЕРЧИЛЛЬ. Нужнее всех нам сейчас Москва, нужнее всех Москва. Баянистов не нужно.

БРАТ (*у костра*). Не разгорятся! Одна вода. А что же? Всюду сыро стало, грунт насквозь промок.

ГОРГ. А мы сейчас сухим подожжем.

Берет одно бревнышко из останков ковчега, зажигает его. К костру подходит нунций Климент.

Отец, мы вам кофе варим. Не обижайтесь, а то помрем скоро — свободная вещь!

КЛИМЕНТ (*берет из останков другое бревнышко и подает его Горгу*). Надо больше огня!

ЧЕРЧИЛЛЬ (*подходя к костру*). А мне готовите что-нибудь?

БРАТ. Вам кашку и лапшичку такую приготовим. Чего же беззубому человеку...

ЧЕРЧИЛЛЬ. Можно кашки, можно лапшички.

ГОРГ. Оно бы лучше бекон, бифштекс, а коньячком бы заправить!

ЧЕРЧИЛЛЬ. О, да! О, да!

ГОРГ. Да где же взять? Папский нунций сглодал последний мослак.

БРАТ. Вот до чего добаловались: сами империалисты не евши живут, и курить нечего! Горе!

ПОЛИГНОЙС. Господин Черчилль! — Москва!

РАДИО. Американское правительство решило ужаснуть социалистические нации массовым взрывом атомных бомб, чтобы затем атаковать эти нации и поработить их. Как известно, в результате разрушительного взрыва атомных бомб в базальтовой оболочке земного шара образовались сква-

жины и трещины. Через них из глубочайших недр Земли начали фонтанировать могучие извержения девственных вод. Наступил всемирный потоп. Низменные части материков уже покрываются первым слоем воды. Расчет показывает, что через месяц вода достигнет вершины таких гор, как Альпы, Арарат и им подобных. Советское правительство направляет свои корабли и продовольствие в районы наибольшего бедствия. Советское правительство примет решение, направленное к спасению человечества, в том числе и американского народа.

Молчание. Общая пауза. Многие молятся.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Какое же решение примут большевики? Такого решения нет, и его не будет. Всему должен быть конец; хорошо, что весь мир кончается при мне, на моих глазах...

ПОЛИГНОЙС. Неужели мы такие?.. Неужели я должен стать изменником?

СЕКЕРВА. Вы что там, Полигнойс? Вы что такое сказали там в двух смыслах? — и даже в трех? Отвечайте!

ПОЛИГНОЙС. Ничего... Мне стыдно жить!

СЕКЕРВА. С кем, где, когда вам стыдно жить? — говорите с точностью!

ПОЛИГНОЙС. С тобою, стервец!

КОНГРЕССМЕН. Прекратить разложение! Мы еще в опасности, мы еще не спасены! Радист, дайте нам голос родины!

ПОЛИГНОЙС. Даю!

РАДИО. Бук-бук-бук! Бук-бук-бук! Где твой зад, где перед?..

КОНГРЕССМЕН. Другую станцию!

РАДИО. Век-пек-интержек! Иря-иря-бирьбирьбош...

КОНГРЕССМЕН. Третью!..

РАДИО. Выясняется, что значительное количество воды, затопляющей весь мир, обладает щелочными, лечебными свойствами; она может быть использована для лечения желудочных и нервных заболеваний...

ПОЛИГНОЙС (*прервав радио*). Вот она — Америка, жирная дура! Лечите понос водой всемирного потопа!

КОНГРЕССМЕН. Радист Полигнойс! Вы арестованы с исполнением служебных обязанностей! Вы близки к измене Америке, мерзавец! Я чувствую это!

ПОЛИГНОЙС. Ладно. Мне теперь утопать неохота! Мне жить надо, чтобы все негодяи погибли, при мне погибли — и не жили больше никогда!

ШОП. Господа, отложим этот вопрос... Вода подымается выше! Когда же придут корабли?

КОНГРЕССМЕН. В свое время, в свое время, профессор! Америка знает, когда нас спасать.

СЕКЕРВА. Она все знает, Америка!

ШОП. А когда будет свое время? Смотрите, лягушки, жабы, змеи — все лезут к нам на гору. И сколько бабочек на вершине! — бедные прелестные твари!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Бедные, но прелестные! В раннем детстве, помню, я тоже хотел стать бабочкой. Да как-то не вышла, как-то не вышла из меня бабочка!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Не надо, Уинстон, вам не надо быть бабочкой... Уинстон, спасайте нас, наконец! Неужели я умру от сырости, в какой-то щелочной, в содовой воде? Что думают ваши большевики в Москве?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Они не думают утопать в потопах, ваше высокочество. Им не хочется.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Очень хорошо. Молодцы — большевики! И я не хочу утопать.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Но большевики утонут, сударыня.

КОНГРЕССМЕН. И отлично!

ЧЕРЧИЛЛЬ. И мы все утонем.

КОНГРЕССМЕН. Большевики сказали, вода к нам подыметя через тридцать дней. Это же не скоро, господа! Америка вполне успеет нас спасти. А мы пока будем отдыхать на горном воздухе. Отдыхайте, господа.

ЧЕРЧИЛЛЬ. А курить будем что? Нас никто не спасет. Чудес нет.

МАРТА. Чудес нет, а разум вот, наверное, есть. Без него почему-то нельзя.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Где же он, сударыня?

МАРТА. Не знаю... Где-нибудь он должен быть. Неужели есть только одна глупость и смерть? Как вы думаете?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Спросите у большевиков.

МАРТА. Хорошо, я у них спрошу... Старый вы тюлень!
(К Полигнойсу.) Радист!

ПОЛИГНОЙС. Я вас слушаю, сударыня!

МАРТА. Сообщите в Москву... Напишите так, только лучше: «Москва, господину Сталину, — извините нас и спасите».

КОНГРЕССМЕН. Не смей! Это измена!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. А почему — не смей? Как вы смеете при мне кричать?

КОНГРЕССМЕН. А я здесь главный, я из Вашингтона! Вам понятно?

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Замолчать! Я герцогиня, а вы мошенник... (К Черчиллю.) Уинстон! Послушайте, обратитесь вы к генералу Сталину, в самом деле. Ведь он вас прекрасно знает. Объясните ему наше положение, это просто невозможно. Как вы думаете, мадам Тевно?

ТЕВНО. Конечно — и немедленно! Большевики даже обязаны нас спасти. Пусть они теперь за все отвечают. Сейчас же пусть шлют сюда корабли и продовольствие! Это безобразие!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Вы слышите, Уинстон? Вам ведь курить нечего, — большевики должны прислать вам табак.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Должны, должны, ваше высочество.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Так действуйте! Я вот уверена, что большевики не утонут, они слишком коварны, они и природу обманут. Ну что ж! На это время мы ухватимся за них и тоже не утонем. Действуйте, Уинстон!

КОНГРЕССМЕН. Без меня действовать запрещается! Я сказал, а вы слышали! Америка помнит своих детей, и они не утонут. А вот те сукины дети, которые забыли Америку, тех мы и после потопа утопим.

СЕКЕРВА. Есть таковые!

Являются Селим со своими двумя турчанками и еще несколько турок; они несут, держа их на головах, гробы и небольшие новые лодки; каждый гроб и лодку несут двое людей. Всего приносят два гроба и две лодки. Они ставят свой товар на землю, устроив небольшой базар.

БРАТ. Турка! Почему гробы?

СЕЛИМ. Один доллар, один доллар, — всего только. Хороший гроб, всякому покойнику полезен.

БРАТ. А лодки почему?

СЕЛИМ. Одна лодка — сто тысяч долларов.

ГОРГ. Сколько?

СЕЛИМ. Сто тысяч. Бери! Жить будешь во время потопа, плавать будешь, а кругом все утонут. Не за лодку беру деньги — за жизнь: недорого! Покупай и живи!

ГОРГ. Значит, гроб — один доллар, а лодка — сто тысяч долларов?

СЕЛИМ. Так — верно!

ШОП. Что это за турецкая торговля? Что это за корабли?

СЕЛИМ. Турецкая, турецкая... Бедному человеку тоже купить что-нибудь надо. А что он купит, когда всемирный потоп? Ему гроб надо! А другому человеку и на потоке жить нужно, он купит себе лодку, и с него за жизнь сто тысяч долларов. А сколько жизнь стоит? Купите ее дешевле?

БРАТ. Обожди, турка. Значит, богатому жизнь, бедному гроб.

СЕЛИМ. А что? Так, конечно! А турку деньги!

БРАТ. А турку деньги! А турку деньги, ты говоришь?

ПОЛИГНОЙС. А турку убыток! Турку будет убыток!

Полигнойс приподымает гроб за один конец, брат за другой — и они бросают его в пропасть. Горг и Абрагам помогают им в этой работе, и весь турецкий товар летит в пропасть.

СЕКЕРВА. Так, Полигнойс! А ты немножко американец! Молодец!

КОНГРЕССМЕН (*Селиму*). Базара нет. Уходи прочь отсюда, уходи вниз!

СЕЛИМ. Там сыро стало, там вода!

КОНГРЕССМЕН. Утопай!

ШОП (*Селиму*). Разве так торгуют кораблями во время потопа?

СЕЛИМ. А что не так?

ШОП. Во-первых, дешево. Во-вторых, недемократично: богатых и бедных нет; это тайна, дуралей.

СЕЛИМ. Это правда. Твоя правда, что дешево. А во-вторых, гробы были сшиты прочнее лодок, на них тес суше. Лодки сразу бы утонули на воде, богатый жил бы в лодке минуты две или четыре, только всего; за это — сто тысяч долларов, и вышло дешево; надо мне думать лучше, плохая голова у турка. Иди домой!

ШОП. Подожди, Селим... Достань там, обжарь и принеси, знаешь, такой тентерь-вентерь с хлебом и луком.

СЕЛИМ. Какой тентерь-вентерь? Нету тентерь-вентерь, помирай!

ШОП. Шашлычок, шашлычок — мясная, печеная жизнь на длинной такой железке!

СЕЛИМ. Нету шашлыка, и лука нет, и хлеба нет, и табаку нет. Одна вода есть, — сам хотел, пей воду! Селим пошел.

ШОП. Ступай к черту.

Селим уходит, и за ним уходят все турки и турчанки.

ЧЕРЧИЛЛЬ (*Шопу*). Шашлычок хорошо покушать. И суп мясной хорошо покушать — густой чтоб был. Вспоминаете, профессор?

ШОП. А какие были соусы, кремы, напитки, вина из виноградных гибридов Зондского архипелага!

ЧЕРЧИЛЛЬ. А печень! Печень тихоокеанского кашалота!..

ШОП. Да, велика земля, а жрать нечего!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Уинстон, я кушать хочу!

ТЕВНО. Кормите нас, мерзавцы, или сейчас же обращайтесь к большевикам! Я супа хочу!

БРАТ. У большевиков всегда щи мясные!

ТЕВНО. И нам щи мясные!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Молитесь богу, сударыня!

КОНГРЕССМЕН (*Клименту*). А чего ты тут без дела ходишь? Ты зачем сюда явился? Это ты «гвак» кричал?

КЛИМЕНТ. О, это я! Я прибыл сюда на религиозный всемирный конгресс, здесь был наш праотец Ной в ковчеге.

КОНГРЕССМЕН. Какой Ной? А где же он?.. Вот что, ты свяжись с богом. Можешь?

КЛИМЕНТ. Могу, конечно. Я архипастырь!

КОНГРЕССМЕН. Свяжись с богом, архипастырь! Пусть он накормит людей чем-нибудь — супом, хлебом, фасолью, чем хочет! Можешь?

КЛИМЕНТ. Я помолюсь.

КОНГРЕССМЕН. Да нет, что там молиться! Это долго: туда-сюда, пока ответ придет. Ты свяжись по радио. Пусть папа римский свяжется, ты его попроси, если бог тебя не примет.

КЛИМЕНТ. Я обращаюсь к святейшему отцу.

КОНГРЕССМЕН. И еще так сделай. У нас здесь есть люди старые, больные и прочие разные, которым давно пора на тот свет. Ведь на этом свете потоп, ты сам видишь, тут деваться некуда! Чего их задерживать! Отведи их туда! Рай там есть?

КЛИМЕНТ. Есть, конечно.

КОНГРЕССМЕН. Уведи их в рай, я тебе список дам, кого увести. И сам туда с ними. Понятно тебе?

КЛИМЕНТ. Непонятно. Нет. Мне непонятно. Мне нельзя сейчас в рай, мне некогда, я здесь в командировке. Мне отчет надо сделать святейшему отцу.

КОНГРЕССМЕН. В рай ему не хочется, а жить не евши хочется, — ишь ты гвак какой! Не веришь ты в бога! Ну, займи всех молитвой, чтоб я вас не слышал никого... Мне некогда! Гвак!

СЕКЕРВА (*Клименту*). Молись, тебе говорят! И всем вообще молиться, делом заниматься, а не болтаться, не разлагаться: глядите, я вас вижу, Америка все учтет!

КЛИМЕНТ (*провозглашая*). Элимпаториум!..

Опускается на колени в молитве. За ним опускаются на колени и молятся Сукегава, Этт, Абрагам и другие.

КОНГРЕССМЕН. Полигнойс! Работайте на Америку! Вызывайте Вашингтон: я прошу прислать за нами миноносец! Конгрессмен и Полигнойс работают у радиоприемника.

ТЕВНО. Ваше высочество, неужели этот дурак поумнел? Он вызывает корабль!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. От страха, мадам. От страха умнеют иногда, только на короткое время.

БРАТ (*у костра*). Лапшичка готова!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Давай, давай, брат Господень! Не остыла бы она, лапшичка!

Брат снимает с костра два котелка; один подает Черчиллю, другой оставляет себе; из одного котелка едят брат, Ева, Горг, Гамсун, к ним втискивается со своей ложкой и Секерва; Черчилль садится на землю несколько в отдалении от них и начинает есть один из своего котелка.

ЭТТ (*подползая на коленях, — он молится, — к котелку брата*). А мне дадите ложечку? Я говорил, что будет война!

БРАТ (*вытерев свою ложку концом своей бороды, ударяет ею Этта по лбу и отдает ему ложку*). Ешь молча!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ и ТЕВНО (*одновременно*). А нам?

ЧЕРЧИЛЛЬ (*поспешно подходя к ним с котелком*). Простите, ваше высочество! Простите, мадам! Я увлекся!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Чем, чем вы увлеклись? Ах, Уинстон, Уинстон! Дайте нам...

ТЕВНО. Ложки!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Ложки!

(*Обе вместе.*) Ложки давайте!

ЧЕРЧИЛЛЬ (*к Марте Такс*). И вам ложку?

МАРТА. Нет, благодарю. Я лапшу не люблю. Я мясо люблю, у меня зубы есть.

ЧЕРЧИЛЛЬ. И я, и я мясо люблю, — превосходная вещь, полноценный белок!

В это время Черчилль ставит котелок с лапшой возле Тевно и герцогини и приносит им от брата две ложки. Старухи жадно, быстро едят.

БРАТ (*Черчиллю*). Мясной навар я тебе сделаю. Будет вроде густого говяжьего супа, и вкус будет.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Свари, пожалуйста, мне нужен говяжий суп.

БРАТ. Сними один башмак!

Черчилль снимает правый башмак, отдает его брату.

Австралийская кожа! Эта подойдет, — живи пока в одном башмаке. А на правую ногу портянку накрути. Дай я тебе покажу. Вот так нужно, — и ходи! Мягко?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Мягко, удобно.

БРАТ. Ходи спокойно.

Черчилль ходит; одна нога обута в башмак, на другую накручена портянка. Брат режет башмак Черчилля на мелкие ломти. Резко стучит радиоаппарат.

ПОЛИГНОЙС. Принимаю Америку!

ШОП. Читайте вслух, Полигнойс. Когда там пришлют за нами корабли?

ПОЛИГНОЙС (*читает ленту радио*). «Уполномоченный президента выражает осуждение всем американцам, которые находятся за пределами отечества и требуют для своего спасения корабли. Все означенные американцы должны лю-

быми средствами приобрести, построить или конфисковать за границей корабли и немедленно направить их в Америку без лишних пассажиров — для спасения цвета нашей нации. Американцев за границей должно призвать к самопожертвованию, помня, что каждый может освободить место на корабле для спасения своего соотечественника и тем увековечить свое имя как герой. Президент помолится о них. Лицам неамериканского подданства спасение обеспечивают правительства по принадлежности».

ЧЕРЧИЛЛЬ. Хорошо!

КОНГРЕССМЕН. Хорошо! Отлично!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Не Америка нас, а мы все должны спасать Америку. Это мудро!

СЕКЕРВА. А то как же! У нас в Америке так! У нас мудро!

ПОЛИГНОЙС. Слушай, Секерва. Хочешь быть героем?

СЕКЕРВА. А ты?

ПОЛИГНОЙС. Я хочу... Пожертвуй собою, освободи место на корабле! Ты не бойся!

СЕКЕРВА. Ишь ты! А как пожертвовать?

ПОЛИГНОЙС. Это не больно. Ты не бойся. Я тебе покажу. Это не страшно.

СЕКЕРВА. Покажи!

Полигнойс и Секерва идут на край пропасти.

ПОЛИГНОЙС. Я тебе покажу.

СЕКЕРВА. Покажи. Ты не бойся. Зато польза будет отечеству, — как ты думаешь? Полигнойс. Польза будет отечеству.

Полигнойс бьет мощным ударом Секерву в спину; тот летит в пропасть.

Не страшно и полезно...

КОНГРЕССМЕН. А где Секерва?

ПОЛИГНОЙС. Пожертвовал собою, освободил одно место на корабле. *(Садится за радиоаппарат.)*

КОНГРЕССМЕН. Отлично! Это отлично! Ура! Сообщите сейчас же об этом в Вашингтон. Скажите, чтобы Секерву этого наградили чем-нибудь и увековечили его, сообщите — у нас уже освободилось одно место на корабле. Вот уже я кое-что сделал!

МАРТА. Скажите, а на каком корабле у вас освободилось место? Я займу его!

КОНГРЕССМЕН. Сударыня, чем задавать вопросы, жертвуйте лучше собою! Не будьте эгоисткой!

МАРТА. А я не американка, я эгоистка.

ШОП. Тем лучше, тем выше ваш подвиг: швыряйтесь в пропасть, мадам. Не придут за нами корабли!

КОНГРЕССМЕН. Правильно, профессор. Жертвуйте собою все, господа, всякая национальность может жертвовать собою. Кто еще желает пожертвовать собою? — тех я запишу в особый список. Записывайте, Полигнойс!

ПОЛИГНОЙС. Открываю запись жертв в пользу Америки. Первый был Секерва, кто — второй?

Общее молчание. Пауза.

КОНГРЕССМЕН. Никто... Сукины вы дети!

БРАТ (*он варит на костре суп в котелке, суп из башмака Черчилля*). А может, так, начальник, сделаем, — так оно еще лучше будет...

КОНГРЕССМЕН. Как? Говори, старик!

БРАТ. А так! Ты первый кидаешься в пропасть, — ты нам будешь в пример, — а мы все туда же за тобой. Кувырк — и нет задачи!

КОНГРЕССМЕН. Кувырк — и ты дурак!

БРАТ. Ну? Иль правда?

КОНГРЕССМЕН. Это глупая мысль старика. Как государственный человек, я должен сперва организовать всеобщее самопожертвование. А себя принести в жертву последним.

БРАТ. Вот тебе раз! Тогда-то к чему же? Тогда уж живи один, как гад.

КОНГРЕССМЕН. Глупый старик не понимает интересов Америки.

БРАТ. А она понимает: весь мир топит и себя самое. Эко дура, откуда такова?

КОНГРЕССМЕН. Молчать, а то кувырк в пропасть головой!

МАРТА (*напевает и танцует*).

Кувырком-кувырком

Темечком о камень.

Хорошо лежать ничком

В бездне под волнами.

Хорошо себя убить
И Америку любить;
Плохо, жить вот хочется,
Жить мне, сладко жить мне хочется!

КОНГРЕССМЕН. Надо в пропасть броситься!

МАРТА (*механически повторяя*). Надо — в пропасть броситься...

ШОП. Песня хорошая, исполнение хуже, артистка толста. А где нам достать корабль? — миноносец, линкор, крейсер, дредноут, авиаматку, плот, плашкоут, шхуну, — что-нибудь! Вода, господа, подымается.

КОНГРЕССМЕН. Корабль? Сейчас мы организуем корабль! Позвать ко мне турок! Мы их день и ночь заставим строить корабли...

ЧЕРЧИЛЛЬ. Турки? Им топор не по руке. Этот народ живет для отдыха.

КОНГРЕССМЕН. А персы? Пусть персы работают...

ЧЕРЧИЛЛЬ. Еще курды есть... Это несерьезно, господа. В Шотландии наш король был посажен на бриг при поддержке артиллерийского огня с берега, но вскоре король был сброшен за борт. Вы слышали вчера сообщение. Вот что означает сейчас корабль... Есть один народ; он злодей, но он работник; может, он вам сделает корабль.

КОНГРЕССМЕН. Кто? Где этот работник-злодей? Пусть работает сейчас же, мы ему за это простим кое-что. Кто это?

ЧЕРЧИЛЛЬ. Большевики. Прощать их не надо.

КОНГРЕССМЕН. Не надо. А корабли пусть делают, мерзавцы.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Конечно. Они же добра хотят человечеству. Пусть делают добро.

КОНГРЕССМЕН. Пусть делают! А то мы бомбой по ним!

ЧЕРЧИЛЛЬ. Естественно.

ШОП (*смотря в бинокль*). А большевики пашут! — представьте себе, господа! Пашут по взгорью.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Пашут? Во время всемирного потопа пашут? Удивительно, что я не могу понять их поведения. Неужели пашут?

ШОП. Что поделаешь, пашут... Я вижу. Крестьянин сидит за рулем трактора и курит трубку.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Курит трубку? (*Грызет пустую трубку.*) Пусть бы только пахал. Зачем же он еще курит?

БРАТ (*кладет в костер последнюю часть останков ковчега*). Садись под дым. Подыши!

Черчилль садится на корточки за костром; брат раздувает костер; дым идет на Черчилля, тот усиленно вдыхает и выдыхает дым, засовывая его через свою пустую трубку.

АЛИСОН (*являясь из-за горы с киноаппаратом*). Господа, разрешите мне погибнуть последним. Мне нужно заснять самый последний момент жизни человечества, последний взор последнего человека. Вы понимаете? Это великолепно, этому кадру цены нет! Можно?

БРАТ. Можно, это допускается. А кому ты продашь свой последний кадр?

АЛИСОН. Да, — это вопрос!.. Может, большевикам?

КОНГРЕССМЕН. Большевикам? Так, значит, они уцелеют, болван?

АЛИСОН. Не знаю. А пожалуй, уцелеют! С ними это бывает.

МАРТА. Без них просто нельзя.

БРАТ. Без них куда же... (*Черчиллю.*) Пospel твой суп.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Густой, наваристый, питательный, мясной, — да?

БРАТ. Сейчас попробую. (*Пробует суп на вкус.*) Хорош! Бери, питайся, — не спеши, не обожгись...

Черчилль жадно питается.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. А нам? Уинстон, я слышу аромат мясного бульона... Правда ли это? Почему же нам давали пустую похлебку?

ЧЕРЧИЛЛЬ. А суп, ваше сиятельство, в Америке, вон там!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (*к Конгрессмену*). Послушайте, как вас? Подайте нам супу, или нет — лучше бульона!.. Только навару не снимайте, пусть он уж остается...

КОНГРЕССМЕН. Старухи! Вам умирать пора. К богу обращайтесь, к архипастырям, к святым отцам, они здесь. Америка отдала им весь суп, весь навар и бульон, — на небо! Ступайте, ешьте!

ЧЕРЧИЛЛЬ (*наевшись*). Прекрасно, отлично!.. Еще несколько дней — и ни одного большевика не будет на свете!

Итак, оправдался смысл моей жизни, брат Господень, — полностью оправдался!

БРАТ. Через несколько дней никого не будет... Так что же это значит? — Чтоб убить большевиков, нужно всех людей убить?

ЧЕРЧИЛЛЬ. О, да! О, да! Лучше у бога в могиле, чем на земле у большевиков. Понимаешь?

БРАТ. Не понимаю. Ты бы попробовал, потом говорил! Это ты накурился, наелся — и опять ошалел, озверел...

МАРТА. И я не понимаю... Ах, нет, — я теперь понимаю! Теперь понимаю!.. Большевиков захотели одних погубить, а погибает человечество. Они в середине жизни. Вот что такое!

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (к нунцию Клименту). Архипастырь, это так или не так?

КЛИМЕНТ. Гвак!

МАРТА (на нунция). Отойди прочь. Мне некогда! Радист, дайте Москву!

ПОЛИГНОЙС. Кому Москву?

МАРТА. Мне!.. Зачем спрашиваете?

ПОЛИГНОЙС. Простите... Что передать?

КОНГРЕССМЕН. Ничего!

МАРТА (радисту). Приготовьтесь!

КОНГРЕССМЕН. Не смей!.. Кому ты нужна там? Разве будет тебя слушать Москва? Ты подумай!

МАРТА. Будет!

КОНГРЕССМЕН. Дурочка! Меня, федерального конгрессмена, государственного деятеля Соединенных Штатов, слушают уже не все, — а тебя? Как ты сюда попала?

МАРТА. Не помню... Я иду! Я не хочу умирать, мое сердце полно силы, оно может чувствовать счастье...

КОНГРЕССМЕН. Слушайся меня! Попала ты сюда просто за хорошее телосложение, мы подумали — это для Ноева ковчега кстати, и ты артистка, на вид не совсем дурна, а так ведь ты дурочка. Это хорошо, однако!

МАРТА. Это правда. Я дурочка. Мы все бедные, дурные и умираем от вас... Радист, пусть из Москвы пришлют мне корабль!

ШОП. Ну и глупа!

МАРТА. Уже нет, не глупа!

ШОП. Простите!

МАРТА. Прощаю... Мне пришлют корабль. В Москве любят кино, а я артистка, во мне есть талант. Если я не утону, я покажу им всю человеческую душу, я в одном образе сыграю целое умирающее человечество, чтобы его не забыли, — и большевики будут смотреть меня. А вам не дадут корабля! Кто вы такие? Конгрессмены, нунции, архипастыри, ученые мошенники, шпионы, политики, и все вы одно и то же — убийцы, теперь ясно! Ах, боже мой, зачем, зачем мы доверили вам жизнь?.. Большевики ничего вам не дадут, а нам дадут, мне и ей! *(Она берет за руку Еву, привлекает ее к себе.)* И ей дадут! А конгрессменов, политиков, нунциев из кого угодно можно сделать, вы — пустяки! — и шпионов можно. Я сама была шпионкой! Пишите, радист...

Полигнойс стучит ключом.

КОНГРЕССМЕН. Стоп! Прекратить самовластие! Здесь я, а не вы!

ШОП. Здесь вы, шеф, конечно, вы! Но можно попробовать. Это не вполне глупо.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Можно в виде опыта... Ничего не значит.

МАРТА. Глупцы! Я на борт вас возьму. Черт с вами! А то не стану звать Москву!.. Жить с вами еще в будущем — неохота!

КОНГРЕССМЕН. Ступай, зови! Попробуем в виде опыта. А корабль я угоню в Америку. Ступай!

МАРТА. Сейчас!

КОНГРЕССМЕН. Ну ступай. Иди, тебе говорят, к передатчику.

МАРТА. Ну я иду.

КОНГРЕССМЕН. Ну иди! Ты иди бегом! Опять ты дурой стала!

МАРТА. Опять... *(Полигнойсу.)* Пишите так. *(Бормочет Полигнойсу, тот стучит ключом.)*

ПОЛИГНОЙС. И все?

МАРТА. Все. Подпишите: Ева и я. Марта.

ПОЛИГНОЙС. Надо сказать, что вы знаменитая артистка.

МАРТА. Не надо. В Москве хвастаться ничем нельзя.

Нарастает вопящий звук летящего предмета. Все замирают. Затем все действуют соответственно своему характеру. Горг свистит. Архипастыри падают на колени. Все стараются прижаться к земле, убежать, скрыться от опасности. Некоторые остаются в спокойствии: брат, Ева и другие.

КОНГРЕССМЕН. Бомба!

КЛИМЕНТ. Большевицкая!

ТЕВНО. Большевицкая, атомная! Вот она! Вот она! На нас идет!

(Визжит — и ей вторит герцогиня Винчестерская.)

БРАТ *(глядит на небо)*. И где? Нету!

Шоп отталкивает Еву от Марты, обнимает Марту.

МАРТА *(борясь с Шопом)*. Что вам нужно? Идите прочь!

ШОП. Мы умрем сейчас. Отдайтесь мне. Я не могу.

МАРТА. У меня нет ничего! Что вам отдавать?

ШОП. О, дура!

МАРТА. Нас видят.

ШОП. Не важно. Они все сейчас будут покойники.

МАРТА. Мы не успеем.

ШОП. Успеем. Бомба еще летит. Пока она взорвется, пока волна ее нас достигнет, пока мы умрем, туда-сюда... Успе-ем!

Звук летящего предмета то словно приближается, то сразу удаляется, многократно отражаясь в горных пропастях.

МАРТА. Я боюсь!

ШОП. Бойся! Только молчи!

БРАТ. Обождите! Опомнитесь!

Звук теперь явно и быстро удаляется в гулкой горной пропасти. Все прислушиваются в надежде, хотя испуг никого еще не оставил.

И брызги грязные откуда-то сверху летят!

ЭТТ. При атомном взрыве всегда дождь идет!

БРАТ. Молчи, специалист...

Звук замирает вдали. Тишина.

СЕЛИМ *(голос его — сверху)*. Эй, нижние! Кто там есть? Америка, ты там?

КОНГРЕССМЕН. Америка здесь! А ты кто, — отвечай!

СЕЛИМ. А мы турки. Мы здесь выше живем, тут суше будет. Потоп сначала вас утопит, Америку, а до нас не дойдет, пожалуй, мы выше, — как вы думаете?

ЧЕРЧИЛЛЬ (*забывшись*). Молчать, мерзавец! Открыть по ним артиллерийский огонь!

КОНГРЕССМЕН (*также забывшись, командует*). Огонь!
Краткая пауза.

СЕЛИМ. А огня нету, пожалуй! Ну вот, опять нету!.. Америка, слушай меня, Америка! У нас железная бадья сорвалась, отдай назад!

БРАТ. С чем твоя бадья была?

СЕЛИМ. С чем была, того не отдавай. В ней хозяйственная, житейская жидкость была, нам ее не жалко.

ЧЕРЧИЛЛЬ (*Конгрессмену*). Америка! Твой спутник молится на тебя! Орошает тебя помоями.

КОНГРЕССМЕН. О, изменники! Эх, если бы не надо было нам утопать! Мы бы тогда показали всему этому миру, стервецу! Теперь нам ясно!

В это время из-за другого склона Арарата тихо и неожиданно подходит глубокий, однако быстрый на походку, привычный к ходьбе, старик.

Ты кто? Откуда явился?

АГАСФЕР. Агасфер.

КОНГРЕССМЕН. Кто?

АГАСФЕР. Вечный жид, говорю тебе: Агасфер!

КОНГРЕССМЕН. Это вот туда иди — к тому. Он заведует загадками природы и истории.

АГАСФЕР (*к Шопу*). Низом ходить сыро стало, земля замочла. А ноги старые, больные, ведь сколько лет земля меня держит... Мне бы сухих портянок в запас, шерстяных чулок можно, белья теплого, варежки, два свитера и еще что у вас есть.

ШОП. А у тебя что есть?

АГАСФЕР. У меня список есть, что мне нужно. Я хочу...

ШОП (*конгрессмену*). Шеф! Нам Агасфер, Вечный жид, нужен сейчас?

КОНГРЕССМЕН. Это ваше дело. Годится он для славы Америки, можно из него что-нибудь сделать?

ШОП. Не сейчас... Сейчас он едок, сейчас он шерстяное белье просит и все, что есть у нас... Курящий?

АГАСФЕР. Курящий.

ШОП. Значит, и табак ему нужен.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Мерзавец! Шпион! В пропасть его!

КОНГРЕССМЕН. В пропасть его! Откуда он взялся среди потопа?

СЕЛИМ (*голос его сверху*). Эй, Америка! Слушай меня, Америка! Отдай нам старичка! Мы его покормим чуть-чуть, а он нам сказки будет рассказывать. Нам сказки надо.

КОНГРЕССМЕН. Бери его, бери его к черту отсюда скорее! (*Агасферу.*) Ступай кверху, там тебе суше, теплее... Пошел вон, — в пропасть сброшу!.. Откуда берутся негодяи, когда ничего нету? Что?

АГАСФЕР. Я молчу.

КОНГРЕССМЕН. Нет, ты говоришь, мерзавец!

АГАСФЕР. Я говорю: считай себя покойником! (*Уходит.*)
Раздаются позывные радиоприемника.

ПОЛИГНОЙС (*у аппарата*). Это Москва!.. Москва, господи!.. Телеграмма для Евы, для Марты Такс. (*Пауза. Полигнойс принимает телеграмму.*)

МАРТА (*в волнении*). Боже мой, боже мой!.. Неужели жизнь прекрасна?

ПОЛИГНОЙС. Сейчас увидим... Кажется, прекрасна! «Местным советским властям дано указание смонтировать у подножья Арарата для вас и ваших спутников корабль на сто пассажиров с запасом продовольствия. Желаю Еве и Марте долгой счастливой жизни. Сталин».

Всеобщее безмолвие. Все опустили глаза, словно великий стыд охватил всех.

МАРТА (*обняв одною рукою Еву, она стоит с нею на коленях на земле*). Я уже счастлива. Я уже долго-долго прожила в эту минуту. На земле живет человек, которого можно любить бесконечной любовью; теперь я счастлива, потому что узнала его, а раньше я думала, таких людей нет, и погибала... Ах, Ева, услышь меня, что я говорю!

КОНГРЕССМЕН (*Черчиллю*). Вас я возьму, конечно, на борт. Еву эту и Марту мы возьмем временно, Америке они не нужны.

ПОЛИГНОЙС. Как временно? Что значит, вы возьмете их временно?

КОНГРЕССМЕН. Я им разрешу совершить подвиг самопожертвования, когда мы будем в океане. Корабли должны теперь приходить в Америку пустыми, — таков приказ правительства. Вы слышали?

ПОЛИГНОЙС. Слышал. Но этот корабль советский, он для Евы и Марты...

КОНГРЕССМЕН. Он советский, пока его нет. А потом он сразу будет американский, и еще с запасом продовольствия. Отлично!

ПОЛИГНОЙС. Нет, он не американский! Он русский! Зачем ты из Америки, из моей родины, делаешь воровку, убийцу?..

КОНГРЕССМЕН. Молчать, изменник!

ПОЛИГНОЙС. Пусть теперь с тобой расправится мое сердце! Вы отняли у меня радость жизни, возьмите и мою ярость...

Он наносит сильный удар Конгрессмену. Тот припадает на мгновение к земле, подымается, сбрасывает пиджак, Полигнойс делает то же самое, начинается жестокая драка. В драке они двигаются, проходят по тропинке над пропастью, скрываются по ту сторону Арарата.

ШОП (вынимая из бумажника деньги, кладет их на землю под камень). Сто долларов на Полигнойса против шефа. Шеф будет на земле.

КЛИМЕНТ. Сто, говорите? Гм, гвак! Двести за шефа против радиста.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ. Учтите пятьдесят моих за радиста!

ТЕВНО. И я! И я! Десять за того, кто помоложе.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Пятьсот! За нашего великолепного шефа!

Другие также держат пари, складывая деньги под камни. Шоп записывает ставки. Из-за той стороны горы показываются Полигнойс и Конгрессмен. Они идут в драке по тропинке над пропастью. Конгрессмен хватается Полигнойса поперек туловища, приподымает его над пропастью с торжествующим лицом; Полигнойс обхватывает шею Конгрессмена, рвет его на себя — и оба летят в пропасть.

ШОП. Господа! Выигравших нет. Возьмите свои ставки.

СЕЛИМ (*голос его сверху*). Кто же теперь у вас будет Америка?

ШОП. Я, очевидно. Очевидно, я. А тебе что нужно, Селим?

СЕЛИМ. Ничего не нужно, ничего... Две Америки у вас погибли. Одну мне жалко, другую нет. Жалко мне одну Америку, ах, как жалко! А другую нет, не жалко почему-то. Эх вы, железопрокат, Форд и компания, патефоны и зажигалки... Дедушка, брат Господень, иди к нам по делу.

БРАТ. Чего тебе? Скажи отсюда.

СЕЛИМ. Иди, дедушка... Я тебе два хлеба дам. Покушайте хлеба, помяните души погибших.

Брат встает. Ева подает ему руку. Они медленно идут к Селиму вверх.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Арарат. Та же обстановка, что и в предыдущих действиях; но есть и разница. Люди повеселели. Слышится непрерывная смешанная музыкальная мелодия от птичьих голосов, жужжанья жуков, звука стрекоз, кузнечиков, стрекотания незримых насекомых. Все эти твари поднялись сюда, кверху, на сухое место, чтобы спастись от потопа, и здесь существуют, занимаясь жизненными обычными делами. Это создает праздничную обстановку. И люди выглядят теперь более счастливыми. На сцене та же американская палатка. Но нет общего запустения, что в 3-м действии. Людей мало: они расселись по горе со всех ее сторон; по временам слышны их голоса. Невдалеке, чуть ниже под горою, слышно, как горят дрова в походной кухне и как жарится мясо на сковороде. Изредка доносятся звуки автоматических молотков, шипенье газовой сварки — работа над монтажом большой металлической конструкции. К этим звукам более всего и прислушиваются действующие лица.

На сцене: Селим, две турчанки и Шоп. Затем — другие.

На переднем плане нечто подобное ресторану на открытом воздухе: два-три столика под белыми скатертями,

на столиках — накрытые салфетками яства, у столиков работают Селим и его две помощницы-турчанки; они ставят кушанья.

ШОП. Тише вы там гремите посудой!

СЕЛИМ. А что, шеф? А почему нельзя греметь тарелкой, чашкой, ложкой? Ведь тут у нас пища, яство, счастье, жизнь! Это прекрасно!

ШОП. Пусть советская власть гремит и стучит, — ты слышишь?

СЕЛИМ. О, я слышу, шеф! Я все слышу и все понимаю!.. Пусть стучит советская власть! Пусть большевики делают нам корабль. Ведь надо жить, а то потоп. Тонуть нам некогда.

ШОП (*прислушиваясь*). Тонуть, конечно, нам некогда... А большевики стучат! Хорошо, превосходно! Пусть стучат!

СЕЛИМ. А расчет со мной в два с четвертью раза! Меньше мне нельзя. Вы помните?

ШОП. Мы помним.

СЕЛИМ. Значит, так. Я вам один килограмм мяса, — один! — а вы мне два килограмма с четвертью, — два с четвертью! Я вам литр вина, а вы: Селим, получай два с четвертью литра! И за соль, и за сахар — мне в два с четвертью раза больше. Так или не так?

ШОП. Так, Селим, так, мошенник.

СЕЛИМ. Зачем мошенник? Жизнь — мошенство, я тоже. Мы тут жили на горе — худо, а сухо! А вы прилетели — вам надо всемирный потоп. А турка что может? — он Америке не ровня. Турка берет в два с четвертью раза больше за все, — а потом он еще набавит, он будет постепенно...

ШОП. А мы потом взорвем атомную бомбу в потоке и сварим суп из турок.

СЕЛИМ. Хорошо. Это будет потом. А кто мне теперь заплатит в два с четвертью раза больше? — такой вопрос!

ШОП. Большевики, конечно. Из запасов на корабле.

СЕЛИМ. Это я знаю. А где тут большевик, или — пусть — хозяин: кто платит, кто умный?

ШОП. Хозяйки у нас две: Марта и Ева. Сталин им подарил корабль, а мы у них гости. И запасы продовольствия,

которые погрузят на корабль, это их добро! С них и получай.

СЕЛИМ. Ты не знаешь. Марта уже назначила главным капитаном на корабле Якова — брата Господня, у него и хлеб будет, и говядина, и консервы. Ты не знаешь.

ШОП. Получай с брата.

СЕЛИМ. Получу, получу, сполна получу! Старик — справедливый человек.

ШОП. А ты с утопающих проценты берешь! Откуда ты взял эту цифру — в два с четвертью раза?

СЕЛИМ. Как откуда?.. Ваш главный шеф, господин Конгрессмен, сказал, что наши турчанки в два с четвертью раза — как раз ровно так! — лучше и красивей американок!

Турчанки слышат и повизгивают от удовольствия.

Отсюда я и взял курс вашей валюты. Наша фондовая биржа вот где — в женщинах.

Являются Конгрессмен и с ним Сильвестр Чадо-Ек.

КОНГРЕССМЕН (*Селиму*). Накормите его... И покруче, погуще ему что-нибудь: это наш солдат-космополит, бесстрашный солдат, новый человек всемирной американской нации.

ЧАДО-ЕК. Керь-герь-герь! (*Подпрыгивает в судороге, а затем сразу усаживается за столиком — и ест и пьет с большой жадностью и скоростью.*)

ШОП. Шеф! А они стучат!

КОНГРЕССМЕН (*прислушиваясь*). Стучат! Отлично! Пусть стучат! Вот скажут теперь в Вашингтоне: неглупый, скажут, наш Конгрессмен на Арарате. Эх, скажут, великий там существует старик: большевиков заставил корабли строить для спасения американцев!

ШОП. Это неглупо! Весьма и весьма неглупо! Может, и в самом деле вы старик великий!

КОНГРЕССМЕН. Конечно, я старик великий! Это видно! Не спасти ли мне человечество от потопа?

ШОП. Охота вам! Нам и на корабле будет неплохо, а вода когда-нибудь сама высохнет.

КОНГРЕССМЕН. Неверно говоришь, это мне в убыток! Тут дело, тут карьера! Упустить всемирный потоп мне нельзя, как бы он не просох, я что-то должен получить за него...

Это так! Однако пусть меня запросит Вашингтон: как спасти человечество? А я отвечу. Это будет солидной!

ШОП. Это солидной, шеф.

КОНГРЕССМЕН. Я тоже думаю: солидной.

СЕЛИМ. А слушайте меня: где я буду, если буду?

КОНГРЕССМЕН. Буфетчиком.

СЕЛИМ. Подумаем, ответим позже... Угощайтесь, господа, — кушайте в долг! Пицца моя, но большевики отвечают в два с четвертью раза. Турка согласен.

ШОП (*в счастливом настроении*). А там стучат! Вот-вот и корабль готов!

КОНГРЕССМЕН. А там стучат! Большевики работают! Это отлично!

ШОП. Отлично! Они готовят нам жизнь.

СЕЛИМ. Они дадут нам жизни! Факт будет!

КОНГРЕССМЕН. Но ими надо руководить!

Все садятся и кушают.

ЧАДО-ЕК. А сколько там большевиков — на сборке корабля?

СЕЛИМ. Сорок шесть! Сорок шесть! Там два инженера-женщины, они собою хороши, как наши турчанки! Обратите внимание! Только не чешись, американец!

ЧАДО-ЕК (*судорожно зачесавшись всем телом*). Сорок шесть! Это мне мало!

СЕЛИМ. А для чего мало?

ЧАДО-ЕК. Это пока не твое дело, турка!

Появляются Черчилль, Герцогиня Винчестерская, Полигнойс, брат Господень — он в фуражке морского командира.

ГЕРЦОГИНЯ ВИНЧЕСТЕРСКАЯ (*возбужденно — к Черчиллю*). Нам теперь надо обедать с утра и здесь же ужинать. Это естественно. Ведь потоп усиливается, вода может подмочить продукты, как вы не понимаете, как вы управляли страной!..

ЧЕРЧИЛЛЬ (*ко всем*). Господа! Потоп усиливается. Прибыль воды увеличилась в пять раз. (*К брату.*) Капитан! Когда большевики соберут корабль?

БРАТ. Кто ж их знает? Через неделю, должно бы! Да они могут и скорее, у них все зависит от них же.

КОНГРЕССМЕН (*брату*). Прикажите им свинтить, склепать, сколотить, оснастить, запустить корабль немедленно — раз! Выдать пищу пассажирам вперед в сухом и твердом виде — два!

БРАТ. Это я сам соображу — как быть.

ПОЛИГНОЙС. Я запрошу Москву.

БРАТ. Не нужно. Москва сама помнит... Вот идет хозяйка.

Являются Тевно, за нею Марта с Евой.

ТЕВНО. Я говорю — пусть лучше они отдадут нам корабль! Мы поплывем на нем. Ведь он только немножко недостроен. Это ничего! И продукты в трюм положите. Смотрите не забудьте чего-нибудь от страха! Где мои вещи? Что за безобразие, жить нельзя стало!

МАРТА. Подайте ей кушать!

ТЕВНО. Да, и кушать подайте, конечно! Вот сюда подайте, вот сюда.

МАРТА. Не волнуйтесь, господа! Большевики следят за потопом, нам корабль подадут вовремя! Кушайте и не сердитесь!

БРАТ (*к Чадо-Еку*). А ты откуда явился и чужое ешь?

ЧАДО-ЕК (*снисходительно подавая документ*). Вам это нужно? Вы верите в бумагу и печати?

БРАТ. Верю, когда она грамотная... Возьми. Кто ж ты таков, Чадо-Ек номер 101?

ЧАДО-ЕК. А ты кто?

БРАТ. Я брат Господень.

ЧАДО-ЕК. Ага! Ясно! (*Вскакивает в конвульсии, содрогается и успокаивается.*) Значит, ты то же самое, что я. Брат Господень! Привет! Это хорошо: керь-герь-герь!.. А я спецчеловек Соединенных Штатов Америки, воин авангарда, космополит земного шара и новый человек будущего мира. Тебе понятно теперь? (*Изводится.*)

БРАТ. Понятно... Полигнойс!

ПОЛИГНОЙС. Я вас слушаю, капитан!

БРАТ. Кто этот Чадо-Ек? Может быть, это новое научное явление: ишь, его блохи грызут.

ПОЛИГНОЙС. Не знаю, капитан. Мы спросим у профессора.

ШОП. Этот? А это солдат-блоха. Он полон блох. На нем специальная герметическая одежда, и блохи вылезти отсюда не могут. А блохи заражены новой смертной болезнью... быстрой смертью.

ЧАДО-ЕК. Так-так, именно так! А дальше не знаешь?

ШОП. Не помню. Сейчас много в Америке таких изобретений.

ЧАДО-ЕК. Я откармливаю своей кровью насекомых двадцать четыре дня, сегодня прошло двадцать три. А потом иду в район противника, отмыкаю одежду, пускаю насекомых на волю, одежду закапываю в землю, а сам домой. Врагу смерть, мне награда.

БРАТ. А тебя самого блоха не трогает?

ЧАДО-ЕК. Трогает. Вот сейчас она жрет меня. *(Изводится и стонет.)* Но я терплю, я герой. Так надо, блоха растет и размножается. А умереть я не могу от блохи, у меня есть прививка.

БРАТ. Вот ты кто!

ЧАДО-ЕК. Я спецчеловек. Все будут такие!

БРАТ. А сам ты — американец?

ЧАДО-ЕК. Нет. Отец из Сирии, мать — неизвестно. *(Он снова изводится; однако все время алчно ест; турчанки меняют ему блюда.)*

БРАТ. Не хватит тебе жевать?

ЧАДО-ЕК. А блох кормить чем?.. Однако надо пойти повоевать. Дайте мне проводника в район противника. *(К брату.)* Пойдем со мной, старик! Это интересно. Были большевики — и вдруг не будет! Керь-герь-герь!

ЧЕРЧИЛЛЬ *(жуя)*. Разумно! Идите, Чадо!

БРАТ. Нельзя! Большевики нам строят корабль, они кормят нас. Куда нам деваться без них?

ЧАДО-ЕК. Старик — идиот. Три зла, три удара сильнее одного! Или ты изменник, — так я тебя блохе отдам! *(Изводится.)*

ПОЛИГНОИС *(в размышлении, про себя)*. Неужели, что бы быть человеком, надо быть убийцей?

БРАТ *(к Марте)*. Хозяйка! Чадо-Ек — американский спецсолдат. У него приказ — убивать большевиков блохою.

МАРТА. Разве?.. А вы кто здесь?

БРАТ. Я кто? Я здесь капитан корабля, я комендант Ара-
рата...

МАРТА. Я вас смещу с должности, капитан!

БРАТ. Действовать, что ли?

МАРТА. А то как же! Нельзя кушать даром большевист-
ский хлеб.

Чадо-Ек быстро собирает продукты в дорогу, укладывая их в вещевой мешок. Брат подходит к нему, подобрав по дороге добрый камень. Марта и Ева садятся кушать.

БРАТ. Подыми руки вверх!

ЧАДО-ЕК (соображая). Что ты? Я занят!

Быстро шарит по своей одежде, ища оружие, выхватывает маленький пистолет. Однако рука его с пистолетом уже находится в руке брата, и брат подымает ее вверх; другую руку, в которой камень, брат заносит над головой Чадо. Брат скручивает руку Чадо, пистолет его падает на землю. Брат бросает свой камень и свободной рукой вздергивает над головой Чадо-Ека и другую его руку.

БРАТ. Ты арестован!

ЧАДО-ЕК. А ты убит! Я блоху выпущу!

БРАТ. Селим, Полигнойс, Шоп... вяжите его! Вяжите его втугую, чтоб он не чесался.

Селим, Полигнойс, Шоп, герцогиня Винчестерская и сам брат скручивают Чадо ремнями, которые подали им турчанки из инвентаря ресторана.

КИНОСЦЕНАРИИ

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

ЛИБРЕТТО

Две курсистки астраханских педагогических курсов — Мария Никифоровна Нарышкина и Гюлизар — сидят обнявшись на койке в общежитии, смеются и раскачиваются. У Марии Никифоровны простое, красивое от молодости, напряженное лицо. У ее подруги, туземки дикого кайсакско-калмыцкого племени, резкое измученное восточное лицо — стоячие, любопытные и внимательные глаза. Говорит Нарышкина.

На черных волосах Гюлизар отсвечивает через окно высокое летнее степное солнце. Его свет есть и на полу, но он перебивается тенями летящих в воздухе птиц.

— Где твоя родина, Гюлизар? Есть у тебя там любимое дерево? — спрашивает Нарышкина.

Гюлизар, обмакнув палец в рот, чертит на полу круг. Нарышкина удивляется и не понимает. Гюлизар рассказывает.

— У нас нет родины! Наша родина — путь в пустыне по кочевому кольцу.

Нарышкина нечаянно нащупывает в кармане яблоко, вынимает, откусывает кончик и дает откусить подруге. Гюлизар продолжает.

— Кочевое кольцо есть у каждого племени! Только у моего оно засыхает от песков.

Гюлизар, увлекаясь, говорит о силе пустыни, иногда по привычке закрывая лицо рукой до глаз: она не так давно сняла чадру. Тогда сияют ее глаза, глядящие мимо Нарышкиной. Гюлизар встала, но ходит мягко и несмело. Нарышкина сторожит ее слова и возбуждается.

— А где твое кочевое кольцо? — спрашивает Нарышкина.

— В Кара-Кумской пустыне, в самых песках, на тоненькой полоске редких трав и водопоев!

Отворяется дверь. Входит человек — Мемед, брат Гюлизар. Высокий, сухой, сильный мужчина, в костюме своего племени. Глаза почти неподвижны, как у сестры. Есть что-то в жестах и улыбке от иронии и затаенного отчаяния. Некоторое время он молча стоит и слушает. Девушки его замечают. Гюлизар бросается к нему.

— Мемед! Брат мой! Как давно я тебя не видела!

Мемед целует Гюлизар в щеку. Мягкий почтительный привет Нарышкиной.

Начинают беседовать. Мемед сидит на противоположной койке и коротко отвечает. Чаще за него отвечает сестра. Спрашивает Нарышкина. Она чуть смущается. Мемед говорит сестре, что он приехал за ней, Гюлизар отвечает, что занятия на курсах затянулись и кончатся через неделю.

— Я не скоро вернусь! — говорит Гюлизар. — Возвращайся один!

Мемед думает и улыбается, глядя на сестру. Он не понимает.

— Мы с ней поедem учить детей! — показывает Гюлизар на Нарышкину. — А потом в Москву — учиться больше!

Мемед застенчиво смотрит на обеих. Ему странно, что говорит сестра.

Он дик и чужд в этом месте, ему жалко себя. Он встает и подходит к сестре. Та обнимает его и объясняет свое желание. Мемед говорит, что в племени осталось 200 человек, когда уезжала Гюлизар, было 250 человек.

— Жива Зегидэ? — спрашивает Гюлизар.

— Нет.

— А Фатьма?

— Лежит в песке у Мертвого колодца!

Гюлизар молчит.

— Что же ты будешь делать там теперь? — спрашивает Гюлизар. Ей стыдно.

— Искать траву и спасать людей. Мы думали, ты будешь с нами — ты училась, тебе весь свет видней.

Еще говорят. Главное — тоску о сестре, наверное, навсегда покидающую родное племя, — вождь оставляет внутри себя. Но ее видно.

Входят несколько курсисток. На курсах начинается лекция. Мемед уходит. Сестра его зовет прийти еще вечером.

Вечер. Южный летний город. Простой сад педагогических курсов. Много курсисток лежат на траве, сидят на лавочках. Читают. У них скоро зачеты. Отдельно в траве сидят Нарышкина и Гюлизар. Они тоже занимаются. В сад входит

Мемед и ищет сестру. Спрашивает у одной курсистки. Та показывает. Мемед подходит и стоит перед подругами.

Все трое гуляют по аллеям. Выходят на конец сада — оттуда виден город и далекая сухая степь, вся в огне вечернего солнца, вся в томительном раздраженном зное. Молча стоят. Мемед машет рукой в степь и говорит. Нарышкина и Гюлизар мучительно слушают его. Им, видно, отчего-то хорошо.

Вечер уже перекрывается ночью по-южному быстро. Последний момент вечера — на границе ночи, когда еще светится степь, — фантастичен. Бесконечность чувственно увлекательна, воздух осязается, почти сразу открываются взору живые горячие звезды.

Нарышкина, Гюлизар и Мемед уходят по косогору в город. Провинция. Заборы. Дома. Хаты. Небольшие сады. Скамейки, на них отдыхающие люди.

Керосиновые лампы в окнах. Группа рабочих с гармоникой. Люди поют и проходят.

Степь. Три фигуры людей. Пустыня ночью как отвлеченное видение. Только трое людей в ней реальны. Они беседуют. Нарышкина веселая. Она заставляет Мемеда взять Гюлизар и себя под руку.

Мемед не умеет. Потом берет и идет среди двух девушек, смущенный и неловкий.

Они возвращаются к дому общежития курсов. Прощаются. Все трое горят молодостью, возбуждением.

— Едем в кочевье! — обращается к обеим Мемед. — Там ветер, говорят, как друг и сердце, всегда свободно! Я вас подожду!

Подруги смеются и уходят.

Выпускной день курсов. Актный зал, 30—40 курсисток. 3—4 педагога. Зав. Губ. Отд. Народного образования и представитель комитета партии. Говорят приветствия. Представитель комитета партии говорит, рубя рукой, грубо и жарко. Зав. Губ. ОНО приветствует умирительно. Типы глубокой провинции: коммунист военного образца, тощие просвещенцы, люди неизвестного назначения.

Курсистки не слушают говорящих, увлеченные ожидающей их судьбой, о которой они гадают друг с другом.

Закат солнца. Из ворот курсов выходят курсистки. Некоторые уже с вещами — уезжают домой или на работу. К калитке подходит Мемед. Встречный поток девушек не дает ему войти. Он ждет в стороне. Выходит Нарышкина. Здравуются. Идут рядом по улице.

— Уговорите сестру ехать в пустыню! И сами поезжайте с нею и со мной!

Нарышкина слабо отрицает головой и молча идет. Мемед вздрагивает и напрягается. Он мучается, теряя сестру и Нарышкину, к которой уже потекла вся его кровь.

Улица безлюдна. Ранние звезды светят близко. Одна звезда падает и сечет небо медленно угасающей чертой, от которой в человеке возбуждается страх и радость. Мемед грубо и нежно хватая Нарышкину за полную девичью руку, а сам уже беспомощен и жалок от любви к ней.

Нарышкина кричит и закрывает лицо. Подбегает Гюлизар.

— Что с вами случилось? Я вас искала по всему саду!

Она догадывается и следит за братом. Тот уже совершенно владеет собой. Нарышкина хитро по-женски маскирует событие и, улыбаясь, как бы продолжает с Мемедом равнодушную беседу. Гюлизар говорит:

— Я получила назначение в Сафуту! Даль страшная — отсюда двести верст! Два года надо прослужить, а потом в Москву пошлют! А ты, Муся, куда?

Нарышкина еще не знает — куда.

Мемед начинает прощаться. Подруги удивляются: чего он спешит?

— Я ночью уезжаю на кочевье!

Мемед ласково целуется с сестрой и расстается с Нарышкиной так печально и учтиво, как будто просит у нее прощения и забвения совершившегося.

Он уходит в ночь — один, прямой и твердый, привыкший нападать на пустыню и оставаться живым, напавший на женщину и побежденный.

Подруги глядят ему вслед.

Две подводы едут из города. На одной Нарышкина, а на другой Гюлизар. Степь, столб. Дорога раздваивается. Начало пустыни. Подруги целуются и расстаются. Нарышкина

едет одна. Ей долго видна Гюлизар на все более отклоняющейся другой дороге.

Возница Нарышкиной — старик полумертвый и тихий, как пустыня. Вот они в глубине песчаной степи. Далеко дымятся барханы от окрепшего колкого ветра.

Песок начинает метаться совсем близко. Разрастается буря. Яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Гюлизар переживает такую же бурю на другом краю пустыни.

Нарышкина въезжает в село Хошутово, куда она назначена учительницей. Хошутово почти совсем занесено песком. На улице целые сугробы его. Им замечены крестьянские усадьбы. Песок доходит до подоконников домов. Около хат стоят лопаты. Растет редкий кустарник у колодцев. Школа. К ней подъезжает Нарышкина. Кругом молчаливая бедность и смиренное отчаяние. На деревенских дворах сложены кизяки и кучки коровьих лепешек — топливо.

Встречные мужики равнодушны, лица истощены. Редкие дети на улице не бегают, а молча сидят на песке, почти не играя, и лицом похожи на пожилых людей.

Нарышкину встречает сторож — хлопотливый, ослепленный человек, будто он Нарышкину только и ждал всю жизнь.

На другой день на дворе школы Нарышкина собирает сход крестьян. Крестьяне выглядят как больные люди. Нарышкина им говорит о школе, об ученье детей. Ее напряженно слушают, но на лицах крестьян видно разочарование.

Выходит один крестьянин — он и вначале выделялся из всех: рослый, мускулистый, но тоже истощенный; лицо умное, некрасивое, но привлекательное скрытой силой.

Он говорит:

— Барышня, граждане, это умная женщина. Но только я так полагаю, нас пески замучили. Вон Хатьмы хутора вчистую на мокрые земли сбежали. Школа, конечно, добро — кто скажет? Но и по песчаному делу нам наука и техника нужна! Вот где, я соображаю, будет для нас удовольствие! А грамота — она только при хлебе роскошь, а без хлеба все одно — мученье! Я, конечно, извиняюсь, но песчаную науку надо в школе

поставить на престольное место, а то мы вон сажаем шелюгу, а она сохнет, а по-научному видно будет — как и что!

Сход кончается. Нарышкина долго сидит на крыльце школы и думает. В руке у нее книжка. Видна пустыня, видно безлюдное малое село. В Нарышкиной тяжелая дума и борьба. Она видит Мемеда закрыв глаза, а открыв их, видит нищее село. Среди дороги сидит в пыли мальчик, грязный, голый, со старыми белыми, как бы отсутствующими глазами. Нарышкина кричит его. Мальчик, подумав, не спеша подходит, но садится в отдалении и смотрит испуганно и бессознательно.

Нарышкина быстро уходит в школу и выносит оттуда булку мальчику. Тот берет ее, но не ест, а разглядывает и высыпает ее песком, как игрушку.

Нарышкина снова в городе — в губернском Отделе Народного образования. Она говорит с заведующим о необходимости преподавателя в Хошутове песчаной науки.

Ее слушают и вежливо иронически улыбаются.

— Что вы предлагаете, Мария Никифоровна?

— Туда нужен агроном сначала, а не учитель. Там ни хлеб не рождается, ни воды нет. Без победы над песками и суховеями там мне делать нечего.

— А вы сами попробуйте преподавать песчаное дело, Мария Никифоровна, — книг мы вам дадим! А когда трудно будет, агронома к себе из участка тащите!

Нарышкина смеется: агроном живет за полтора верста и никогда в Хошутове не бывает.

Начальник улыбается и жмет ей руку в знак конца беседы и прощания.

Нарышкина в Хошутове. Усердная общественная работа: идет посадка шелюги и деревьев. Крестьяне руют землю, другие возят посадочные черенки, третьи носят ведрами воду. Дело происходит на краю села. Нарышкина работает с лопатой, изредка отрываясь для указаний. Рядом с ней Николай Кобозев, тот самый, что говорил на первом сходе, и еще один мужик Никита Гавкин, жадный до работы человек.

После работы, под вечер, Нарышкина с Кобозевым и Гавкиным ходит по селу. Гавкин зазывает ее к себе на двор

и показывает хозяйство — бедное, но рачительное, чистое, умное и даже изящное. Кобозев — председельсовета. Днем, а иногда и ночами, в одиночку он работает на посадке больше всех.

Ночью Нарышкина и Кобозев едут через пустыню на дальний питомник за посадочным материалом. Пустыня тиха, холодный месяц над неостывшим песком. Нарышкина рассказывает Кобозеву о Пушкине, Ленине, Эдисоне, Амундсене и об Америке. Кобозев слушает завороченный. Лошадь утомилась; Кобозев распрягает ее и дает корм. Путники ложатся в телегу и понемногу засыпают. Холодает. Это заставляет их прижаться друг к другу и спать обнявшись. Под телегой проползла черепаха.

Степь стоит невнятная и сказочная, окружив сияющим лунным воздухом двух спящих людей.

Кобозев ночью просыпается. Заботливо укрывает Нарышкину своим халатом и подходит к лошади. Нарышкина сладко и блаженно спит, раскрасневшаяся и приоткрыв от усталости полные губы. Кобозеву чудится в лунной пустыне цветение миллионов растений. Далекое пространство наполнено людьми и городами. А женщины, как родные сестры, все похожи на Марию Никифоровну.

Кобозев и Нарышкина въезжают в Хошутово на возу шелогуемых прутьев и черенков фруктовых деревьев. Вечереет. Мужики сидят на завалинках. Ребятишки играют в догонялки. Нарышкина прыгает с воза и вступает в игру с детьми. Никто ее не может догнать. Вступают взрослые, но тоже не могут поймать Нарышкину. Красная и веселая, она носится по песчаной пыли в туче оживших ребятишек.

Когда она идет домой, один старик шутит:

— Марь Никифоровна, бери в мужья Ермошку Кобозева: мужик ходкий и свежий! Зажили бы во как, пра!

Нарышкина в ответ беспомощно молчит и краснеет до блеска серых глаз, походя на мальчика.

Прошло два года. Хошутово изменилось. Усадьбы в зелени. Дома заютились. В степи на большом пространстве ровные культурные зеленые посадки. Поля охвачены квадратными полосами кустарника и молодых деревьев. Растет хлеб. Огороды. Есть пруд.

Большой синей лентой уходят насаждения в степь, отрезав у пустыни возделанные земли.

У ворот усадеб сидят бабы, мужики, ребяташки. Плетут из шелюговых прутьев корзины и несложную мебель. Готовая мебель стоит тут же. Народ посылел и повеселел.

На дворах, где раньше были кизяки, лежит хворост. У колодцев молодые принявшиеся деревья. Молодые сады.

Резкий контраст Хошутова с пустыней. Живой зеленый оазис в безграничной тихой горячей пустой степи.

Нарышкина чуть пополнила и еще больше заневестилась лицом. Она стоит на околице с Кобозевым. С ними старик — овечий пастух.

Нарышкина смеется, потому что Кобозев ей говорит, что советская власть была мертва для народа, а потом стала живой писаной красавицей, когда приехала Мария Никифоровна.

Пастух глядит на солнце, и у него от света мочатся глаза. Все стоит в золотом свете, в трепещущем воздухе, туго насыщенные жизнью.

Старик говорит:

— Штой-то кочуёв нету. А должны быть — старуха моя померла тому шестнадцать годов! А кочуй свой срок не упустят!

Нарышкина внимательно прислушивается.

Ей объясняет Кобозев:

— Я мальчиком был, помню, встали утром, а колодцы сухие. Огороды, бахча, поле — все вытоптано. Ночью нашли кочуй, нагнали скота — все поели и воду выпили. Говорят, каждые пятнадцать лет тут проходят по кочевому кругу — когда степь отдохнет и разродится!

Нарышкина задумывается. Кобозев удрученно молчит.

— Все равно придут — беда будет! — говорит пастух.

По песчаной пустыне кочует племя. Лошади, скот, люди — смертельно истощены. На коне едет Мемед — он вождь. Он озабоченно советуется с соседом на коне. Мемед худ, оброс бородой, глаза неистово и печально глядят. Он ищет исход из бедствия. Изредка попадаются травинки, кустики и следы погибших растений. Женщины и дети их откапывают и жуют.

Тихо бредет усталый народец.

Вдали звенит и сверкает живая синяя родящая земля. Мемед и спутники останавливаются и долго всматривают-

ся. Несколько всадников дико бросаются на далекое зеленое видение. Мемед скачет за ними и возвращает всех обратно. Племя делает ставку.

Хошутово. Овечий пастух стариковской рысью спешит по деревне и стучит по окошкам и ставням.

— Кочуй прискакали!

Народ высыпает на улицу. Пастух подбегает к школе и почтительно постукивает в дверь. Выходит Нарышкина. Пастух испуганно говорит. На горизонте пылится степь от топота стад кочевников.

Простоволосая Нарышкина бежит впереди пастуха. В деревне на улице народ. Кобозев в чем-то убеждает крестьян. Крестьяне сумрачны и недоверчивы: они не верят, что можно своей силой отбить кочевников. Нарышкина волнуется. Советуется с Кобозевым и другими крестьянами.

Кобозев исчез, потом явился на лошади верхом.

Нарышкина просит его. Кобозев уступает ей лошадь. Нарышкина садится верхом и галопом скачет в степь.

Несется по степи. Ее скоро нагоняет Кобозев — на хорошем коне. Едут вдвоем.

Ставка кочевников. Нарышкина и Кобозев ищут того, с кем следует говорить. На них испуганно смотрят кочевники и показывают.

Мемед спит, уткнувшись в ветхую кошму. Его облепили мухи. Нарышкина не узнает его и начинает расталкивать. Кобозев стоит тут же с хворостинкой, которой он погонял лошадей.

Мемед вскакивает и дико поражается.

Нарышкина тоже вздрагивает от знакомого почти родного лица.

— Мемед!

Кобозев зло и подозрительно смотрит на обоих.

Мемед владеет собой и мягко, почти счастливо улыбается. Но Нарышкина тоже быстро оправляется — она молода и злобно ревнива за свое двухлетнее дело в пустыне. Лицо ее противоречиво: две разные силы бьются в ней — женское столкнулось с человеческим.

— Мемед! — говорит она нежно и мучительно.

Нарышкина просит Мемеда не трогать оазиса, не травить зелени и поскорее уходить прочь от этого места.

Мемед слушает ее молча и покорно. Те же силы борются в нем, что и в Нарышкиной.

Сам бы он умер в песке, не тронув травинки, посаженной Марьей Никифоровной.

Но есть у него родное племя — Мемед глядит сейчас на него. Там уже ненавидят вождя за непонятное поведение, за продолжение голода — на самом виду травы и воды. Там люди тихо волнуются и шепчутся.

Мемед приходит к внутреннему решению.

Он уже строг и заботлив. Говорит чуждо, потому что его слышат кочевники.

— Травы мало, а людей и скота много, нечего делать, барышня! Если в Хошутове будет больше людей, чем нас, они нас прогонят в степь на смерть — и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы! Кто-нибудь умирает и ругается!

Нарышкина понимает его намерение и сразу примиряет свое внутреннее противоречие на ненависти к Мемеду.

— Все равно вы негодяй! Мы работали три года, а вы поправите нам все в один час! Смотрите, я буду жаловаться советской власти и вас будут судить!

Кобозев кое о чем догадался. Злоба на Мемеда как на будущего разрушителя хозяйства Хошутова помножилась в нем на ревность к Марье Никифоровне. Он жует скульями и наливаются неастраченной кровью — даже шея его потолстела.

— Степь наша, барышня! — холодно и достойно говорит Мемед. — Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

— Стало быть, вы нынче всё Хошутово сожжете? — спрашивает Кобозев, забывая себя от сладостной ненависти.

Мемед тихо наклоняет голову, как бы подтверждая слова Кобозева.

Кобозев туго и с размаху бьет Мемеда по лицу прутом. Мемед круто рвет голову, сжимается всем телом и готовится к прыжку, но его глаза встречаются со взглядом Нарышкиной. Та смотрит на него в этот миг со старой нежностью, участием и испугом.

Мемед сразу останавливается, скорбно улыбается и закрывает рукою кровь на лице.

Нарышкина энергично укоряет Кобозева и безнадежно глядит на Мемеда, утрачивая его навсегда.

Нарышкина и Кобозев обратно скачут в Хошутово. Им след наблюдает Мемед.

Бледная летняя ночь в пустыне. Племя дремлет в кошаре. Спят полураздетые худые женщины. К ним приникли тощие дети, они водят тонкими руками в бреду. Валяются полу-мертвые животные.

Мемед бродит по ставке один. Укрывает костлявые синие ноги спящих женщин и смотрит на детей в тряпках, старчески дремлющих с полуоткрытыми невидящими глазами.

Изредка поднимается какой-нибудь человек и, невнятно пробормотав, не просыпаясь, валится вновь.

Ползет черепаха. Мемед ее берет. Вытягивает голову из-под панцыря и душит пальцами. Потом швыряет прочь.

Мемед мучается. Выходит за ставку племени и долго глядит в сторону Хошутово, где клубится печной дым.

В мареве светлой ночи маячат две фигуры, идущие из Хошутова.

Мемед ждет. Подходят два кочевника. За плечами у них по мешку картошек. Они говорят:

— Мемед, чего мучаешь весь род — пора начинать! Тебе барышня нужна — иди к ней или садись на коня и берем у русских траву и хлеб!

Мемед молчит и отходит от них.

Ранняя заря. Мемед мечется вокруг ставки. К нему подходит группа кочевников. Они злы и нетерпеливы:

— Говори слово, Мемед!

Мемед смотрит в обратную сторону. Потом оборачивается и утвердительно машет рукой.

Дико и весело скачет сотня всадников. За ними отстают на худых лошадях кибитки, потом топчется голодное стадо скота.

Хошутово ближе и ближе.

Видна яркая рослая зелень искусственных насаждений. Полосы хлебов и огороды. Десятки десятин шелюги. Приветливые колодцы. Курятся дымом хаты. Полосы молодых деревьев, уходящие далеко в степь.

От кочевников пыль и звон.

Утро поджигает воздух зарей и сушит блеск росы на хошутовском оазисе.

Всадники врезаются в насаждения и исчезают в их глубине. Туда же проваливается все племя — кибитки и скот. Над зеленью поднимается пыль и окутывает ее. На огородах, на хлебах — жадные стада.

Нарышкина — запыленная, в платочке, печальная, жалкая — въезжает в город.

Она у Зав. Губ. Отделом Народного образования. Ожесточенно убеждает начальника. Тот покорно и умно слушает. Потом говорит:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, в Хошутове теперь обойдутся и без вас!

— Это как же? — изумляется Нарышкина.

— А так. Население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу садить снова! А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Там же Гюлизар! — говорит Нарышкина.

— Гюлизар умерла от чумы — три месяца в Сафуте нет никого!

Нарышкина вскакивает на ноги и преображается от горя:

— Гюлизар теперь нет?

Заведующий подтверждает головой и наблюдает за Нарышкиной.

Нарышкина берет себя в руки.

— Что это за Сафута? — невнимательно спрашивает она.

— Сафута — тоже село. Только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся и двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать!

— А при чем тут я? — спрашивает Нарышкина. — Что я вам — укротительница кочевников, что ли? — Нарышкина возмущена и легкой походкой носится по комнате.

Заведующий терпеливо возражает.

— Если кочевников обучить культуре песков, они сядут на оседлость и не разбегутся! Остальные кочевники тоже не удержатся долго в пустыне и либо вымрут, либо заживут

оседло! Все реже и реже будут истребляться посадки русских поселенцев!.. Заместительницу Гюлизар найти невозможно: глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите, Марья Никифоровна?

Нарышкина мучительно задумывается. Личное вновь в ней борется с общественным: неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелуговом кустарнике, считая это полумертвое дерево лучшим для себя памятником и высшей славой жизни. А где же ее муж и спутник?

В воображении ее — пустыня, нищие мужики сажают деревья, следом кочевники их топчут конями. И оба — кочевник и русский крестьянин — лежат мертвыми на поваленном обглоданном деревце.

— Ладно... Я согласна... Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы, дожидайтесь!

Заведующий в удивлении и в радости подходит к ней. Улыбаясь, Нарышкина смотрит ему в глаза.

Снова степь. Нарышкина едет среди барханов. За барханами бесконечный ровный гнетущий ландшафт. Нарышкина говорит с возницей.

Тот ей лукаво что-то рассказывает. Нарышкина хохочет.

То же племя. Медленно пробивается сквозь песчаную бурю. Мемед среди всадников. Племя еще более ужасно по виду людей. В кибитках кучи больных женщин и детей. Многие — совсем голые. Костлявые желтые грязные тела. Отдель — позади — повозка, в ней мертвые люди и дети — под ковром. Беспомощно мотаются холодные почерневшие ноги. Седой старик бредет рядом и поправляет свалившиеся тела. Одна мертвая женщина сползла и упала. Старик не сразу это заметил, потом оглянулся, пошел к ней. Повозка с умершими отъехала от него. Старик сел возле мертвой и так остался:

— Айша моя! Любимая моя жена!

Его заволакивает мечущийся песок.

Племя продолжает ход. Сломленное ураганом, рвущим кибитки, оно останавливается.

Собираются мужики и совещаются. Мемед среди них.

— Сначала похороним своих родных! — говорит он.

Нарышкина въезжает в Сафуту. Бедная маленькая деревня. Есть зеленые насаждения, но их мало, гораздо меньше, чем в Хошутове. Ей попадаются встречные — не русские мужики, а оседлые кочевники. Они робко и почтительно глядят вслед телеге Нарышкиной.

В начале улицы шелюга посажена в круг. Посреди круга высокая клумба в редких засохших цветах. Нарышкина соскакивает с повозки и подходит.

Клумба — могильный холм. Стоит низкий холмик с доской. На доске кривая надпись красной краской: «Учительница ГЮЛИЗАР. Померла от болезни чумы».

Нарышкина стоит спиной.

Племя. Совещается несколько человек и Мемед. Буря стихла.

Пожилой кочевник говорит:

— Тут близко Сафута. Там наш народ — лучше места нету. Мы помираем — пойдем в Сафуту в совет и возьмем оседлость. Степь больше травы не дает, колодцы наши мертвы!

Мемед думает. Другие говорят меж собой.

Тот же пожилой кочевник предлагает:

— Иди, Мемед, в Сафуту в совет — проси оседлость! Ты говорил — там есть твоя сестра Гюлизар!

Мемед берет коня и скачет в Сафуту по степи. Мемед от голода, горя и забот выглядит совсем стариком. Он оборван, страшен и мчится почти в беспамятстве.

Сафута. Встречается оседлый кочевник.

— Где школа? — кричит Мемед.

Встречный показывает рукой на большую хату. Мемед подъезжает, сходит с коня и, качаясь, идет к окну. Стучит и зовет:

— Гюлизар!

Потом подходит к двери и ждет. Никто не выходит. Мемед мрачно озирается и вновь зовет:

— Гюлизар!

Выходит Нарышкина.

Мемед весь слабеет и глядит на нее, как бы не узнавая.

Нарышкина стоит на крыльце и с робкой нежностью видит Мемеда.

Конец

МАШИНИСТ

ЛИБРЕТТО

Действующие лица

МАШИНИСТ.

ДЕВУШКА.

КУЗЬМА.

АКТИВИСТ.

СЕРЕДНЯК.

ТУЧНЫЙ БЕДНЯК.

ЖЕНИХ ДЕВУШКИ.

ЛОШАДИ, ПЕТУХ, ТАРАКАНЫ.

Второстепенные персонажи.

Машинный зал электростанции. Два турбогенератора. Распределительная вертикальная панель с приборами. Красные лампы над включенными автоматами. Под лампами циферблаты амперметров. Таблички «литейный», «сборный», «кузнечный», «колесный», «токарный». Вращающиеся коллекторы генераторов (динамо-машин). Из-под токособирательных щеток брызжет огонь. Стрелки циферблатов амперметров подрагивают близ красных черточек, указывающих предельную нагрузку.

Машинист стоит у турбогенератора. Турбина слегка парит через клапаны регулятора. Жарко. Машинист отирает с лица пот обтирочными концами. По лицу Машиниста ползет масляная грязь. Он смотрит на приборы. Стрелки трепещут. Коллекторы динамо-машин искрят еще сильнее. Машинист берет наждачный лист и, прижав его к вращающемуся коллектору, уменьшает пламя, бьющее из-под щеток. Коллектор натерт до блеска.

Станция везет свою предельную нагрузку.

Электрическое сверло вонзается в котельный лист. Сверильный прибор грудью прижимает котельщик. Из-под сверла бьет пламя, несмотря на струю воды, которая охлаждает сверло. Резец гонит стальную стружку с обтачиваемого паровозного бандажа.

Фасад электростанции. Черная доска на фасаде. На доске написано:

«Наш завод работает на плюху. За полугодие промфинплан выполнен на 85%. Здесь делают узкое место и организуют социалистическое горе».

Снова машинный зал электростанции. Машинист чистит наждаком коллектор. Щетки искрят сильнее, чем раньше, и Машинист не может их сбить. Стрелки амперных циферблатов перешли за красные черты пределов нагрузки и подрагивают на новых местах.

Из корпуса второго генератора показывается дым. Машинист оглядывается на него. Взрыв напряженного синего (если можно это сделать) пламени. Машинист подбегает к распределительной панели и выключает всю нагрузку сгоревшего генератора. Затем закрывает вентилем паропровод в турбину, которая вращала выбывший генератор. Весь турбогенератор останавливается. Теперь работает только один турбогенератор.

Стрелки циферблатов «токарный», «котельный», «литейный» падают на нули. Эти цеха вез сгоревший генератор.

Ранее показанное электрическое сверло вновь показывается. Оно теперь останавливается. Резец, гнавший стружку с бандаж, также перестает работать. Котельщик, что работал сверлом, а затем токарь произносят движением уст некоторые слова и плюют на железо с такой яростью, что из железа от их плевков показывается ржавь.

Электростанция. Машинист тоже плюет на корпус работающего генератора. Слюни его кипят на теле машины и вмиг исчезают.

Машинист нажимает кнопку, около которой написано «котельная».

Котельная. Батарея котлов. Над одной топкой загорается красная лампа. Она освещает табличку: «Держать предельное давление».

Два кочегара. Они в одних штанах, без рубашек. Они подходят под непрерывно льющийся душ, обдаются водой, затем открывают дверцу топки и начинают бросать в нее, навстречу выбивающемуся дымному огню, полные лопаты угля.

Машинный зал электростанции. Машинист глядит на единственно работающий турбогенератор. Машинист говорит генератору:

«Держись, бедняк!»

Подходит к распределительной панели. Включает автомат: переводит всю нагрузку завода на уцелевший турбогенератор. Моментально, вслед за движением руки Машиниста, включившего автоматический рубильник, из-под щеток генератора, вместо искр, стали бить целые молнии.

Стрелки циферблатов — «токарный», «котельный», «литейный» — трогаются с нулей, показывают нагрузку.

Сверло котельщика завращалось. Резец снова взял сталь. Турбогенератор работает с громадным перенапряжением, он даже дымится. Пластины предохранителя нагреты до красна (сделать это натуральным цветом, если можно), затем они делаются накаливаемыми добела и так остаются белыми.

Весь машинный зал электростанции наполняется газом тлеющего генератора и паром из неплотностей турбины. Машинист открывает двери электростанции, через дверь виден летний день и покоящиеся без ветра деревья. Машинист снимает пиджак и ложится на корпус генератора с наждаком в руках. Он хочет потушить молнии на коллекторе — и трет его наждаком. Все движения Машиниста не поспешны, но чрезвычайно экономны и поэтому кажутся быстрыми. Ему лет 30.

Из котельной входит кочегар. Он равнодушен.

«Что у тебя тут газует?»

Осветительные лампы припогасают в тумане газа. Машинист отвечает с машины:

«Ступай баланс нажми. Видишь — напряжение тает. Твой пар мою вертушку не берет — давай мне давление!»

Кочегар уходит. Котельная. Котел форсированно работает: из предохранительного клапана бьет вихрь пара. Кочегар залезает по лестнице на котел. У него в руках ключ. Он поворачивает ключом гайку клапана. Пар перестает бить из клапана. Кочегар сходит с котла.

«Жги воду с форсом», — говорит он второму кочегару. Второй кочегар открывает дверцу топки. Оттуда свет-

ся длинное пламя. Вдвоем они начинают загрузку топки углем.

Машинный зал. Машинист лежит на генераторе. Входят двое: директор завода и секретарь партколлектива. Они осведомляются — в чем дело. Стоят у генератора. Смотрят на трепещущие стрелки приборов. Пауза.

«Пронесемся или сгорим?»

Машинист сползает с машины. Рубашка на его животе истлела, пока он лежал, и он взмок от пота.

Взрыв синего пламени из генератора. Одновременно — вихрь пара из клапана турбины. Машинный зал от дыма и пара делается невидимым.

Котельная. Кочегар натягивает рычаг гудка. Тревожный гудок. К электростанции подъезжает пожарный паровоз.

Кочегар направляет струю брандспойта в чад машинного зала. Чад несколько рассеивается. Около генератора навзничь лежит машинист. Он показывает на свой голый черный живот. Кочегар направляет струю воды на живот машиниста. Машинист встает.

«Брось меня в топку, такого стервеца!»

Кочегар поливает водой директора и партийного секретаря, которые также лежат опрокинутыми. Кочегар кладет брандспойт на пол и закручивает вентиль еще вращающегося турбогенератора. Все стрелки циферблатов показывают нули. Кочегар говорит:

«Ты думаешь, промфинплан теперь споткнулся. Пускай споткнулся — мы его подыдем, и он опять пойдет!»

Ночь. Звезды. Завод во тьме. Здание электростанции. Окна ее слабо светятся. Там горят керосиновые лампы. Два десятка монтеров сидят на полу: они перематывают якоря генераторов и разбирают турбину. Машинист повис на цепи недействующего электрического крана. Ему помогают другие мастеровые. От их общего веса кран начал действовать — он приподымает деталь генератора, зацепленную за другой конец крановой цепи.

Стоит очередь больных паровозов — иные без дышел, иные без тендеров и т. д. Мимо паровозов идет девушка с узелком. Она подходит к электростанции. Входит в машинное помещение. Видит машиниста; тот сползает с крановой

цепи. Девушка дает ему узелок с едой. Машинист сразу ест. Девушка опечаленно стоит против этого грязного полуголого человека. Она говорит:

«Я не знаю, зачем я ношу тебе еду и зачем тоскую, когда мы никогда не будем женаты».

Машинист жует.

«Уж скоро, Маша, будет социализм. Ты подожди чуть-чуть».

Девушка идет обратно мимо больных паровозов. В ее руке пустой узелок. Она прислоняется к цилиндру холодного паровоза и стоит в слабой ночной тьме. Затем идет дальше. Очередь паровозов длится мимо нее. Девушка идет все более быстро. Бежит. Паровозы не кончаются. Она хватается за колесо паровоза и останавливается в недоумении.

Общее собрание рабочих завода. Собрание происходит в цехе. Трибуна — тендер паровоза. На трибуне — Машинист электростанции, директор завода, секретарь партколлектива и предзавкома. Собрание взволновано.

«Кто сжег генератор? Какой полугад остановил весь завод на 14 часов? Показать его на усмотрение масс!»

Тысячное собрание настроено тревожно и угрюмо.

Машинист встает:

«Я».

Секретарь партколлектива встает:

«Мы».

Собрание сразу умолкает. Кто сидел, тот встает. Общее молчание. Видно, как по лицам мастеровых невозбранно ползают мухи.

Секретарь, директор, предзавкома и машинист медленно сходят с тендера. Идут сквозь строй рабочих. Их оставляют без внимания. Машинист идет сзади всех; его лицо выражает спокойствие, а не огорчение. Секретарь, предзавкома и директор уже вышли из массы. Но двое задних мастеровых протягивают руки и задерживают Машиниста:

«А ты оставайся, черт беззаветный! Опять пойдешь в сборку — паровозы гонять».

Заболоченная долина большой реки. Испарения болот застыт солнце. Осока, камыш, топь, бездорожье и глушь бесприютного местожительства. Бедная деревня на острове —

среди мокрой поймы. Утро. Тишина. При въезде в деревню вывеска — «Колхоз имени Генеральной Линии». Около некоторых изб стоят прислоненные новые тесовые гробы. У других изб мужики только делают гробы. Недалеко от деревни видна железнодорожная дамба, пересекающая всю речную пойму поперек*.

На дамбе неподвижно стоит крестьянин. Он бос и плохо одет. Он глядит в даль пустыми, выцветшими глазами, едва ли что соображая. В колхозе звонит колокол на работу. Крестьянин автоматически идет с дамбы в колхоз.

Среди колхоза большой двор. На воротах вывеска — «РСФСР. Организационный Двор». На том Дворе собрались крестьяне, по виду и настроению подобные первому, которого мы назовем Середняком: он становится в ряд со всеми. Из дома Оргдвора появляется на крыльце Активист. Он говорит всем:

«Зачем готовите гробы? Или полагаете, что этот свет наш, а тот — будет вашим? Упреждаю, что тот свет будет организован по одному началу с этим: деваться вам некуда, хотите живите, хотите кончайтесь».

Около Активиста труба радиогромкоговорителя. Активист включает радио. Труба начинает играть, Активист же дирижирует звуками. Мужики разбредаются по Организационному Двору, соблюдая некоторый такт, соответственно музыке и движению дирижирующих рук Активиста. Одни крестьяне подбирают палочки и соломинки и складывают их в кучи среди Оргдвора; другие — укрепляют плетни; третьи — просто топчутся. Действие происходит в тумане болот и точно во сне всех действующих. Середняк мнет глину ногами в углу Оргдвора. Белые глаза его равнодушны и почти мертвы.

Активист прекращает управление радиомузыкой.

Мужики враз замирают на своих местах.

«Снабжение энтузиазмом закончено».

Активист делает жест всеобщего устранения. Крестьяне оставляют Оргдвор. Середняк снова на дамбе и глядит в даль.

* Съемку вести в пойме р. Тихой Сосны, близ г. Острогужска и Коротояка, Центр <ально>-черно-зем <ная> область.

«В ожидании спуска дальнейших директив».

Готовые гробы крестьяне волокут с улицы во дворы: ставят их в глушь бурьяна и ложатся в них.

Середняк стоит один на высоте дамбы вдали. Активист выходит на крыльцо Оргдвора и смотрит на сторожевого Середняка в бинокль.

Общий скотный двор. Беспризорными стоят десять-двадцать лошадей. Они ржут без пищи и питья и оглядываются в мучении. Затем идут всем табуном на водопой. Возвращаясь с водопоя, выдирают зубами солому из крыш, рвут траву по дороге, собирают отдельные пучки сена — и все это несут в зубах на общий скотный двор. Здесь они сваливают весь самовольно собранный корм в кучу и только теперь начинают коллективно есть.

Деревенская площадь. На ней собралась стая грачей. Стая поднялась и улетела.

Плетень. На плетне воробьи. Они также поднимаются и улетают в даль — за колхозную деревню.

Колея дороги на выезде из деревни. По этой колее ползет длинная череда тараканов, покидающих колхоз.

Активист идет по пустынному колхозу. В руках у него бумажные таблички и номерки. Активист заходит во дворы и в избы. В одном дворе он видит бочку. Прикрепляет к ней бумажку с надписью: «Бочка № 49. Емкость 200 литров». Подходит к плетню. Вешает на него тоже ярлычок: «Временная единоличная огорожа № 73. На учете топливного утиля».

Видит петуха, поглядывающего на активиста из-за лопуха. Бросается на петуха. Петух бежит от Активиста. Активист мчится за петухом через дворы, плетни и гумна. Петух взлетает и летит как форменная птица. Активист смотрит на полет петуха в бинокль.

Активист входит в избы. Внутренность избы — голая и чистая, как больница. На лавках лежат женщина, мальчик и крестьянин: все вниз лицом и совершенно неподвижны. На стене — обычные часы с маятником и гириями. Маятник не качается, часы стоят. Активист смотрит на часы. Пускает их в ход, покачнув маятник своей рукой. Маятник, сделав несколько ходов, вновь останавливается. Активист выходит из избы.

Со середины улицы Активист смотрит на сторожевого Середняка, что стоит на дамбе.

К Активисту подходит истомленный, еле одетый человек — бедняк Кузьма.

Активист говорит ему, не отрывая взора от бинокля:

«Беги в луга и ликвидируй там петуха».

Кузьма делает ему удар в ухо. Но сытый, твердый Активист не чувствует боли, так как удар истомленного человека слишком слаб и бессилен. Это бедняк Кузьма сам зашатался от своего напряжения, тогда как Активист остался неподвижен. Кузьма ложится в дорожный прах.

«Где же ты, партия?»

Середняк машет с дамбы руками. Активист трогается в направлении — на дамбу. Кузьма подымается и идет за ним.

Вдалеке виден быстро мчащийся паровоз. (Показать работающий паровоз вблизи — на всем ходу. Паровоз не окрашен, на цилиндрах нет покрышек — смазочные трубки обнажены; вообще, многие внутренности паровоза наружи, как обычно бывает на паровозах, вышедших из капитального ремонта и работающих для испытания.) На тендере паровоза написано крупно мелом: «Проба».

Из окна паровоза выглядывает машинист, тот самый, что был раньше на электростанции. Он видит вдалеке, на линии, человека — Середняка. Машинист дает долгий свисток. Середняк не уходит с рельс. Паровоз уже почти настигает его. За Середняком виден тупик — деревянный упор. Машинист резко закрывает пар и поводит ручкой автоматического тормоза до отказа. Середняк мчится от паровоза прямо по линии, между рельсов, не соображая, что надо оставить путь в сторону. Лицо Середняка не выражает испуга — он бежит автоматически и наблюдает опустевшими, ясными глазами окружающий солнечный мир.

Тормозные колодки паровоза настолько сильно сжимают колеса, что из-под колодок брызжет огонь. Колеса перестают вращаться. Паровоз проползает несколько метров юзом и останавливается. Середняк садится на деревянный упор тупика и смотрит на паровоз.

Активист и бедняк Кузьма взбираются по насыпи к паровозу. Машинист сходит с паровоза.

Активист спрашивает у Машиниста сумку с директивами. Машинист не понимает. Активист настойчиво требует — он вынимает карандаш, чтобы расписаться в получении документов.

Машинист вытирает руки паклей. Чтобы отвязаться от Активиста, он проводит по лицу Активиста грязной паклей. Активист молча утирается.

Кузьма просится на паровоз. Средняк стоит тут же, но не смеет ничего сказать. Кузьма входит на паровоз. Паровоз уезжает задним ходом.

Активист и Средняк уходят на колхоз.

Средняк доходит до своего дома. Входит в избу. В избе его висят остановившиеся часы и лежит старик с обомлевшим лицом. Средняк берет лукошко с печки, выходит на двор и посыпает мусор из лукошка по земле, как раньше он сыпал зерно курам. Но никакой птицы нет. Солнце пустынно освещает дворовую землю. Тогда Средняк прислоняется к молодому деревцу и так стоит. Но с улицы, поверх плетня, на него смотрит лицо Активиста. Активист показывает ему жестом головы и руки, что деревцо надо вырвать.

Средняк целует ствол дерева, затем изымает его с корнем из земли и несет Активисту. Активист направляется по улице. Средняк идет за ним с деревцем на плечах. Оба они входят на Организационный Двор, и Активист показывает место у крыльца, где нужно вновь посадить это дерево. Средняк бездушными медленными руками начинает рыть ямку для корня.

От одного края колхоза начинается болото. Среди болота виден плот. На плоту — люди и костры. Из крайней бедной хаты медленно выходит тучный, рыхлый крестьянин; одет он плохо и на лицо худ.

Активист выглядывает из ворот Оргдвора и замечает того тучного мужика. Активист поспешно достигает его.

«Ты чего не являлся на раскулачиванье? Ты отчего не выселился?»

Тучный крестьянин устало глядит на Активиста.

«А я ж тихий бедняк!»

Активист пробует рукой живот этого крестьянина.

«А отчего ты тучный?»

Бедняк поднимает рубаху на своем животе:

«Это не жир, а сырость — у меня водянка и я вскоре скончаюсь!»

Активист берет готовый гроб, что стоит прислоненный к соседней избе. Затем Активист вынимает свисток и свистит в него. Из Оргдвора выглядывает Середняк. Активист показывает Середняку на гроб и на плот, который виден на болоте. Середняк зашпешил куда-то с Оргдвора.

Середняк подводит лошадь к пустому гробу. Привязывает лошадь упрощенным способом к гробу.

Активист сажает тучного мужика в гроб и трогает лошадь в воду. Тучный бедняк кричит в пространство из гроба:

«Где ты, Козьма! Я ж сырой бедняк, а не кулацкий класс!»

Лошадь без сопровождения поволокла гроб по болотной мели — в направлении видимого плота. Тучный бедняк еще кричит оттуда что-то, но Активист смотрит на него в бинокль, и бедняк прячет лицо внутрь гроба, боясь вылезти из него.

«Раз ты тучный, то езжай на плот в кулацкий класс! Бедняк пухлым быть не должен».

Лошадь уволакивает гроб с бедняком. Активист и Середняк стоят на болотном берегу.

Паровоз едет по дамбе, лежащей поперек заболоченной долины. Кузьма и Машинист глядят из окна на болота. Кузьма показывает рукой на всю окрестность:

«Когда я был мальчишкой, кулаки за великие деньги продали землю инженер-буржуям под эту дамбу. А река загородилась и умерла — и стали мы гибнуть в болотах. Но теперь мы кулаков посадили на бревна и отправили жить на середину болот».

Паровоз переходит на главный путь и исчезает с полным паром.

Активист сидит на берегу и смотрит в даль болот. Середняк неподвижно стоит около него, опустив руки. К берегу приближается лошадь. Она волочит обратно по болотной мели пустой гроб.

В гроб садятся Активист и Середняк. Лошадь волочит их на Организационный Двор. Активист входит на крыль-

цо дома, что на Оргдворе, и протяжно свистит в свой свисток.

Из гробов, поставленных в бурьян на разных дворах, поднимаются равнодушные мужики и бредут к Оргдвору.

Собрание на Оргдворе. Стоят несколько десятков крестьян против крыльца. Активист включает радио. Прислушивается. Выключает.

«Оно играет не то. Я вам сейчас сыграю на губах организационный танец, а вы пляшите под него всем темпом своих туловищ».

Видно, как уста Активиста играют танец. Мужики с мертвыми лицами топчутся по-лошадиному. Активист перестает играть. Он недоволен.

«Темпу больше, а то раскулачу!»

Мужики танцуют и кружатся несколько быстрее. В общем танце мужики обертываются лицами в противоположную от Активиста сторону. Активист кричит им:

«Взором ко мне!»

Крестьяне враз оборачиваются к нему. Все лица танцующих покрыты слезами.

Активист замечает это.

«Ликвидировать кулацкое настроенье!»

Слезы на всех лицах моментально обсыхают — и мужики усиленно организуют радость и улыбку на своих лицах.

Паровоз въезжает в ворота паровозоремонтного завода.

Паровоз останавливается. С паровоза сходят Машинист и Кузьма.

Партийный комитет завода. Машинист и Кузьма входят в дверь комитета. В комитете заседание. Все члены комитета — простые рабочие. Машинист просит, чтобы комитет дал Кузьме право сказать свое слово. Большевики соглашаются. Кузьма садится на стул посреди комнаты.

Телефон звонит. Секретарь комитета слушает телефон. Он говорит затем:

«Через полчаса общее собрание. Сейчас явится секретарь обкома».

Общее собрание рабочих завода в цехе. На трибуне Кузьма. Он говорит наглядно. Представляет Активиста. Показывает омертвевший образ Середняка и т. д.

Уже темнеет. Ночь. Тот же паровоз стоит близ цеха. Кочегар бросает уголь в топку. Машинист, Кузьма и еще пятнадцать мастеровых выходят из цеха. Влезают на паровоз. Паровоз сразу берет хороший ход. Выезжает за ворота завода. Около ворот стоит с узелком невеста Машиниста. Она видит Машиниста и кричит ему. Машинист машет ей рукой приветствие, но паровоз уходит все более быстро. Машинист снимает фуражку и бросает ее своей невесте. Девушка подбирает фуражку и стоит с ней и своим узелком. Задний фонарь паровоза уменьшается и делается вовсе невидимым. Паровоз исчез.

Ночь. На высоком шесте горит красный фонарь над колхозом. Дальше — над кулацким плотом — горит фонарь желтый.

Оргдвор. Среди Оргдвора стол. На столе большая тарелка, в которой горит сало. За столом сидит Активист и пишет ведомость. Ночной ветер колеблет листы его ведомости.

Середняк проходит мимо Оргдвора и стучит сторожевой колотушкой.

По железнодорожной дамбе, которой сейчас не видно, мчатся три огня паровоза. Огни летят выше уровня колхоза и земли, в полной тьме — точно по небу.

Активист слышит шум какого-то движения и смотрит на небо. На небе — звезды. Активист склоняется над ведомостью и снова пишет. Огонь в тарелке колеблется.

Активист трудится с крайним усердием и углубленностью. Он не слышит, как к нему подходят Кузьма и Машинист. Кузьма без всякого предупреждения делает Активисту удар в голову, но попадает только косвенно, почти промахивается, и сам падает на землю от своего измождения. Машинист тогда бьет Активиста ровным ударом в лоб. Активист валится, но во время падения выхватывает револьвер и стреляет вверх. Освещенный паровоз стоит на дамбе. После выстрела с паровоза раздается тревожный, длинный гудок: видна струя пара, бьющая из сирены.

Поднявшись, Активист видит, что на Оргдворе кроме Машиниста и Кузьмы стоят десять-двенадцать рабочих. Он смотрит на дамбу. Там гудит паровоз.

Активист прыгает через плетень. Рабочие оставляют его без внимания. Активист подбегает к берегу болота и бежит по воде по направлению к кулацкому плоту, над которым горит желтый фонарь.

По темным дворам мужики поднимаются из гробов. Лошади трогаются с обобществленного скотного двора табуном. Люди и лошади идут на Оргдвор. Позади всех шествует петух — тот, который некогда улетел от Активиста.

Кузьма, Машинист и все прибывшие рабочие сидят за столом. Их окружают крестьяне и лошади.

Утренний рассвет. Около дамбы находится все население колхоза: крестьяне, лошади, петух, воробьи, старики, несколько женщин и т. д.

Все рабочие, и Машинист, входят на паровоз. Кузьма остается в колхозе. Он новый председатель колхоза. Паровоз дает продолжительный гудок и отъезжает. Все население колхоза бежит вослед паровозу, но паровоз уже скрывается на полном ходу.

Паровозоремонтный завод. Главные ворота. На воротах громадный плакат:

«Товарищи! Сегодня начинается сверхурочный добровольный труд для постройки землечерпательной машины, чтобы осушить болота в подшефном колхозе имени Генеральной Линии».

Машинный зал электростанции.

Входит Машинист. Дежурный машинист передает нашему Машинисту свою работу. Машинист расписывается в книге.

Котельная. Кочегар тянет рычаг гудка. Гудок: конец рабочего дня. Открываются проходные будки. Из будок никто не выходит. Один мастеровой подошел к доске с номерами. Вешает свой номер. Сторож глядит на него — и смеется. Мастеровой снимает свой номер назад и уходит обратно в цех. Новый гудок к началу работы. Проходные будок закрываются.

Машинист нажимает кнопку. В котельной на котле зажигается красная лампа над табличкой: «Держать предельное давление».

Из-под щеток коллекторов бьют искры и молнии. Машинист, как прежде, начинает борьбу с перегруженными ма-

пинами. Он трет коллекторы наждаком. Плюет на корпус машины. Слюни кипят. Он снимает рубашку. Мочит ее под краном. Выжимает из нее лишнюю воду. Потом накладывает влажную рубаху на корпус машины. От рубахи идет пар. Так же поступает Машинист со штанами и с нижним бельем. Всей своей одеждой, намоченной и выжатой, он покрывает горячие машины. Сам остается голый. Лишь через чресла обвязывает себя веревкой.

В машинный зал входит девушка — невеста Машиниста. Она лучше, чем прежде, одета и не имеет в руках узелка с едой.

«Я тебе ничего не принесла: принесу, когда социализм наступит».

Машинист рассеянно глядит на нее, потому что все время чутко слушает работу машин.

«Ладно, Маша, как социализм доделаем, так я тебя враз полюблю. А ты пока походи походи».

Маша стоит и плачет. Машинист целует ее и, обернувшись, плюет на свою рубашку, лежащую на машине. Рубаха тлеет. Сплюнутая влага вскипает. Девушка уходит. С порога она оборачивает свое плачущее лицо:

«У Карла Маркса жена была, у Ленина была, а у тебя все нет и нет».

Машинист озадачен. Но машины дымятся. Он вновь мочит свою одежду, выжимает ее и расстилат по корпусам машин.

«Проходит месяц».

Едут товарные платформы. На платформе ящики с частями машин. На ящиках написано: «Экскаватор. В колхоз Генеральная Линия». На одной платформе сидят Машинист и пятеро мастеровых.

«И еще проходит неделя».

Плавучий экскаватор стоит собранный на воде. Труба его дымится. Ковш поднят.

Лето. Высокий день. Чаща осоки, кустарника и болотная топь окружают экскаватор с трех сторон. Экскаватор поворачивается рабочей стороной к заросшему болоту. Ковш опускается под воду. Ковш извлекает грунт и относит его в сторону. Экскаватор вгрызается в болотную чашу. Его

ковш корчует чашобу, заросли, рвет из-под воды залежалые деревья, мечет грунт. Машины экскаватора работают ураганным темпом. При больших напряжениях, когда ковш экскаватора цепляет под водой глубокие корни, понтон экскаватора накреняется, через него хлещет вода. Тысячи лягушек, спасаясь, бросаются на экскаватор; другие тысячи их облепляют грунт берегов роемого канала.

Вода мутными потоками кружится вокруг напряженной, трепещущей машины. Как трактор борозду, машина роет новую реку. Среди вечной неподвижной девственности, в окружении диких прекрасных цветов — экскаватор рвет землю и поднимает кверху железной рукой букеты подводных нежных растений, а затем бросает их прочь. Машинист, облитый маслом и потом, с радостной яростью работает рычагами управления.

Позади экскаватора уже образовалось прямое и точное русло новой реки. Экскаватор работает дальше — вперед, окутанный дымом и паром.

Болото близ колхоза. Под руководством Кузьмы все члены колхоза работают по живот в воде. Колхоз роет лопатами подводный грунт и накладывает его в корзины бабам, которые выносят грунт в корзинах на берег. Грунт — жидкий; по женщинам, когда они уносят корзины, течет грязь. Мужики, роющиеся в болотной жиже, тоже все в грязи. Заросли рвут руками. Миллионы комаров и мух неподвижными тучами стоят над тружениками. Бабы ходят с корзинами из болота на берег и возвращаются обратно. Колхозники копают. Они потеют даже в воде: соляные пятна слившегося пота блестят на их голых телах.

Колхоз углубляет русло по направлению к далекой непроходимой чаще, что стоит стеной вдальеке.

Из-за той чащи показывается дым работающего экскаватора.

Весь водяной колхоз обращается взором в то направление. Кузьма выходит на берег. За ним выходят все.

Экскаватор бьется уже в последней болотной чаще — от колхоза отделяет его уже небольшое пространство негустого болота.

Кузьма уводит всю артель в деревню.

Колхоз. По улице ходят куры. Горой лежат пустые гробы. Кузьма входит в избу. Висят остановившиеся часы. Кузьма толкает маятник. Часы идут. С пола на стену поднимаются тараканы. Кузьма моет руки, достает из сундука чистую рубашу.

Улица колхоза. Бабы и мужики вышли из изб со свежей одеждой и переодеваются на воздухе.

Экскаватор уже пробился сквозь чащи и работает на виду колхоза, оставляя за собой след в виде новой, геометрически точной реки.

Экскаватор приближается к берегу колхоза.

По берегу к остановившемуся экскаватору идет колхоз. Впереди шествия флаг. Близ флага — Кузьма. Под флагом два колхозника несут на носилках рупор радио-громкоговорителя и все принадлежности для радиоприема. Задние несут на шедах антенну. Баба волочит по береговой воде провод заземления. Позади колхозных людей идут общие лошади, петух, грачи, воробьи и одна собака.

Шествие останавливается на берегу против экскаватора. Кузьма пускает радио. Радио играет музыку. Все члены колхоза дирижируют руками в такт музыке. Экскаватор дает гудок. Ковш опускается под воду. Ковш поднимается, наполненный грунтом. Ковш относится в сторону и сгружает подводный грунт на берег. Движения машины сложны и сознательны.

Середняк находится близ Кузьмы. Он поет от оживления и движется на месте.

«Чья ж теперь машина?»

Машинист отвечает с борта экскаватора:

«Ваша».

Услышав это, весь колхоз в новой одежде с берега бросается в воду. Достигнув экскаватора, люди хватаются за него и с жадностью держатся за причальные брусья. Лошади также подходят вброд к машине. Петух перелетает воду и садится на площадку понтона.

Колхозники влезают на экскаватор. Трогают детали машины, гладят железо, глотают слюни от жадности к новой собственности. Кузьма и Середняк обнимают котел.

Середняк наклоняется ртом с борта, моет губы, вытирает их начисто исподней рубашой и подходит к Машинисту. Целует Машиниста.

«Мы уже теперь в колхозе не расстанемся. От такого имущества у нас будет покладная душа!»

Некоторые колхозники пошли и поплыли в даль — по новому каналу. Из деревни в канал ручьями тронулась стоячая дотоле вода.

Машинист бросается в одежде в новый канал, чтобы вымыться.

Станция железной дороги — недалеке от колхоза. К станции подходит пассажирский поезд. С поезда сходят несколько рабочих семей с паровозоремонтного завода. Невеста машиниста, празднично одетая, также сходит с поезда. Ее сопровождает молодой человек — ее новый жених.

Снова экскаватор. Середняк, Кузьма и Машинист пляшут на понтоне под аккомпанемент прерывистого гудка, рукоять которого дергает один мастеровой.

На берегу появляются люди с поезда. Бывшая невеста Машиниста идет под руку со своим новым женихом.

Для приезжих с экскаватора на берег выкладывается мостик.

Плот с классом кулаков. Меж ними несколько бедняков, в том числе Тучный бедняк, а также Активист. Они видят экскаватор и происшествия на нем. Жердями они подталкивают плот в направлении экскаватора, пробираясь сквозь болотные заросли. На понтоне экскаватора совершается свидание семей рабочих с колхозниками. Бывшая невеста Машиниста представляет ему своего нового жениха:

«Это мой будущий муж».

Машинист радостно пожимает руку этому мужу:

«Здравствуй. Значит, ты с ней будешь работать в котел нашего класса: все равно!»

Кузьма отзывает машиниста к котлу экскаватора и открывает дверцу топки: там погасает огонь. Но колхозные ребяташки под командой Середняка уже подволокли к экскаватору поезд связанных между собой пустых гробов. Гробы раскалываются и идут в топку экскаватора.

К экскаватору подплывает кулацкий плот. Машина сифонит — из дымовой трубы вырываются языки огня.

Машинист и колхозники глядят на кулацкий плот. Кулаки глядят на экскаватор.

Машинист обращается:

«Вы кто?»

Кулак отвечает с плота:

«Мы — как класс».

Машинист пускает в ход экскаватор. Ковш приближается к плоту, цепляет его за край и волочит вокруг экскаватора — из камышей на чистый поток. Тучный бедняк кричит с плота. Кузьма объясняет Машинисту Машинист освобождает ковш от плота и приспускает ковш к Тучному бедняку. Бедняк забирается в ковш; с ним садятся еще двое бедняков. Кроме них за борт ковша уцепился Активист. Ковш поднимается над водой. Затем останавливается в воздухе. Машинист двигает одним из рычагов, ковш сотрясается, Активист падает в воду. Троих бедняков ковш опускает на берег.

Затем ковш энергично подталкивает плот вперед; плот увлекается течением потока и уплывает в даль, в вечерний сумрак. Девушка подходит к Машинисту.

«А если б я стала ждать тебя?»

Машинист думает.

«Зачем? Твой жених — тоже мастеровой а мне еще много надо земли рыть».

Невеста опускает голову.

Середняк подходит к ней.

«Записывайся к нам в колхозные матеря!»

Девушка глядит на Середняка, на Машиниста и на своего жениха (простого мастерового человека) и легко улыбается

Трое людей — Машинист, жених и Середняк — склоняются к лицу девушки и одновременно целуют ее. Кузьма тоже пытается пролезть между склонившимися туловищами — для дачи своего поцелуя — но не управляет.

(Обращаю внимание, что этот поцелуй качественно другой, чем знаменитый концовочный поцелуй. Если постановщикам сделать этот поцелуй качественно другим не удастся — тогда не делать поцелуя вовсе. Задача в том, чтобы поднять «поцелуй» из позора и сделать его свежим, социально-художественным явлением.)

Конец

ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Главные действующие лица

ЕВСТАФЬЕВ, пожилой машинист с усами.

АРЧАПОВ, ровесник Евстафьева, машинист.

АРФА (Марфа), дочь Евстафьева, лет 17—18.

ФЕДОР, машинист, лет 24, муж Арфы.

ИНЫХ, начальник дороги.

КОРЧЕБОКОВ, толкач, служащий человек, отправляющий грузы для командировавшей его организации, использующий все обстоятельства для выполнения своей миссии; затем — он же железнодорожный агент.

МАЛЬЧИК НА ПЕРЕЕЗДЕ, лет 8—10.

МАЛЬЧИК С ГУБНОЙ ГАРМОНИЕЙ, лет 5—6.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, получатель корреспонденции.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, его подруга или жена.

ЛИДА, девушка, подруга Арфы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СУДА.

ПОЖИЛОЙ ЧЛЕН СУДА (пожилой человек).

МОЛОДОЙ ЧЛЕН СУДА (молодой человек).

МАНИКЮРША.

ТЕЛЕГРАФНАЯ СЛУЖАЩАЯ.

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (Федора).

ПОЧТАЛЬОН.

НОСИЛЬЩИК-УБОРЩИК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АГЕНТ.

Звуки твердых шагов по щебеночному балласту. По железнодорожным путям идет Федор — его голова забинтована, одна рука на перевязи, одна нога обута в сапог, другая в калошу, он без шапки, но в толстом пиджаке машиниста, пиджак распахнут, видна толстая цепочка от больших карманных часов, лежащих в жилетном кармане; рядом с Федором идет сестра милосердия, она несет железный сундучок машиниста (для пищи и туалетных вещей); позади их, несколько отступя, идет твердым шагом стрелок железнодорожной охраны с обнаженным револьвером.

Федор пошел тише, стрелок подошел к нему сзади и почти вплотную, сестра милосердия с недоумением глядит на Федора и берет его за свободную здоровую руку.

Федор садится на рельс, сестра не выпускает его руку из своей; Федор говорит сестре:

— Позовите жену. Мне скучно стало... Мучают меня неизвестно за что!

Сестра ставит сундучок на землю, уходит.

Сундучок поднимает конвоир, он стоит около Федора в ожидании.

Федор встает, идет вперед; конвоир за ним.

Затемнение.

Трое людей за столом: морщинистый, выбритый пожилой человек, время от времени почесывающий большим пальцем правой руки левую ладонь, а потом этой левой ладонью бережно поглаживающий себе подбородок; человек средних лет с огоньком сугубой бдительности в глазах («знаю я вас, контрреволюционеры — сукины дети»); молодой человек, в лице которого есть наивное недоумение, заинтересованность и в слабой, бессознательной степени сочувствие Федору — этот человек еще нерешенных вопросов. Председатель — человек средних лет — в штатской форме, остальные двое — в железнодорожной. Перед ними стоит Федор. Повязка у него теперь лишь на руке, голова без повязки. За Федора держится Арфа: она как бы и защищает его и сама ищет помощи у него. Человек средних лет (председатель) говорит Федору:

— Сядьте: вы давно стоите.

Федор садится. Арфа остается около него в прежней позе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вам придется поехать поработать на дальнюю дорогу. Условно мы вас пока что освобождаем.

Федор молчит.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*в скрытом восторге*). А здорово ездил! Земля гудела...

МОРЩИНИСТЫЙ, ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК (*равнодушно констатирует*). Аварийщик. Скакун. Пауза.

АРФА (*в сердечном нетерпении*). А почему, когда он ехал, то колхозники шапки снимали и ура кричали?!

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК. Культработа слаба среди них, вот почему.

Внезапно появляется Евстафьев, берет зятя за плечо:

— Пойдем, Федя, прочь отсюда... Нам уголовный суд, а им страшный будет!

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК. Вы тоже паровозный артист?

ЕВСТАФЬЕВ. То же самое!.. Ну скажи, пожалуйста: стрелки пляшут, буксы горят, шейки прочь отлетают, — тут паровозу делать нечего. Вы глупцы безрукие, вам на телеге ездить пора. А мы не можем технику срамить — мы люди одушевленные!

Пауза.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это кто же: глупцы безрукие? Мы?

ЕВСТАФЬЕВ. Нет! Не вы одни.

Пауза.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*радостно*). Вот интересно!

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК (*совсем хладнокровно*). Будет интересно — тогда и перестроимся. Сейчас не разрешено.

Евстафьев уводит Федора. Вслед за ними уходит Арфа, она внимательно смотрит на тройку за столом, на ее лице выражение любопытства, подозрительности и удивления, но не злобы, и ожесточения. Она глядит все время, обернув лицо назад, пока не скрывается за дверью.

Оставшиеся трое смотрят несколько мгновений друг на друга.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*удовлетворенно*). Все нормально!

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК. Вполне!

Молодой человек с горьким, рассеянным лицом смотрит в стол.

Краткая пауза.

Отворяется дверь (не та, через которую ушел Федор и другие) — входит начальник дороги — Иных.

Члены суда встают: два члена суда (кроме молодого) взмахивают руками как для аплодисментов и, не доведя ладонь до ладони на несколько сантиметров, остаются в этой позиции, затем медленно поднимают руки «под козырек», отдавая честь.

Иных здоровается с людьми и садится против суда. Члены суда также медленно опускаются против него.

ИНЫХ. Какие дела, товарищи?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Хорошие, товарищ начальник. Была тут одна авария, но мы уже осудили механика...

ИНЫХ. Как же вы его осудили?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Гуманно, товарищ начальник — исключительно для воспитания масс...

ИНЫХ. А вы сами были на аварии?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Никак нет... Нам командировочных средств не отпускают...

ИНЫХ (*вставая*). Едемте со мной.

Железнодорожная линия. Нарастающий шум приближающейся моторной дрезины.

Проносится моторная дрезина: на ней стоит Иных и сидят, сжавшись от ветра скорости, три члена суда и моторист.

Аварийное место. Паровоз «ФД» и три большегрузных четырехосных вагона за ним (остальные вагоны вне экрана). Тендер вдвинулся в будку механика. Первый вагон — вслед за паровозом — стоит почти вертикально (градусов 60—70), точно он стремился забраться на тендер паровоза; оба передних ската этого вагона вырвались из тележки; один скат лежит на самом тендере, другой на будке механика, глубоко погрузившись в нее сквозь крышу. Второй вагон сжат между двумя соседними вагонами стенка в стенку — в упор — но относительно здоров. Третий сильно осел, накренился на одну тележку и выпятился корпусом на сторону.

Подъезжает моторная дрезина с Иных и прочими людьми.

Иных и его спутники идут с головы паровоза параллельно составу.

Тележка третьего вагона, давшая крен вагону.

У этой тележки появляется Иных; его спутники останавливаются близ начальника дороги.

Иных садится на корточки около этой дефективной тележки, ощупывает руками и осматривает детали тележки.

ИНЫХ. Нужно поднять на домкраты.

Четыре слесаря поднимают вагон над тележкой на домкраты. Кроме них в кадре никого нет.

ОДИН СЛЕСАРЬ (*выползая из-под вагона*): Готово, начальник!

Появляется Иных и за ним его спутники.

Иных снова садится на корточки к тележке у одной буксы.

Иных берет гаечный ключ, к нему подходит один из слесарей с инструментом — и оба вместе они быстро разбирают то, что осталось от буксы, подшипника и прочих ближайших деталей.

Обнажается блестящий стальной срез осевой шейки — по самую ступицу, а самой шейки нет.

Слесарь вскрывает соседнюю деформированную буксу: там шейка цела, но она состругана, надломлена и висит книзу на последнем маленьком сечении.

ИНЫХ (к членам суда). Видите, где у нас болит?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА. Видим, товарищ начальник...
Машинисты ездят шибко, вот и шейки летят!

МОЛОДОЙ ЧЛЕН СУДА. Надо буксовое хозяйство наладить; машинисты не виноваты...

ИНЫХ. Вы так думаете!

МОЛОДОЙ ЧЛЕН СУДА. Да, товарищ начальник!

ИНЫХ. Вы правы. Спасибо, что вы можете думать...

(К двум другим судьям.) А вам я советую завтра же поступить в школу смазчиков — вы видите: у нас с буксами неладно, нам нужны смазчики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА. Спасибо, начальник. Мы будем смазчиками.

ПОЖИЛОЙ ЧЛЕН СУДА. Извиняюсь... А может вы передумаете, товарищ начальник дороги!

ИНЫХ. Нет, не передумаю!

ПОЖИЛОЙ ЧЛЕН СУДА. Ну тогда придется быть смазчиком: государство велит!

Председатель суда и пожилой член суда садятся на корточки к буксам и начинают их пробовать руками и копать там с преувеличенным, показательным усердием.

МОЛОДОЙ ЧЛЕН СУДА (к Иных). Если бы, товарищ начальник, механик не дал экстренного торможения и контрпара, он бы весь состав разбил, а так — два вагона. На полном ходу у него срезались вагонные шейки, и он заметил. Он молодец!

Иных берет молодого члена суда под руку и уходит с ним с экрана.

Председатель суда и пожилой член суда копаются в буксах у вагонной тележки.

ПОЖИЛОЙ ЧЛЕН СУДА. А он ничего — начальник нашей дороги! Он старается!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА. Да ведь с нами иначе нельзя! С нами надо строго поступать!

Затемнение.

Смутный экран. Сирена быстро удаляющегося поездного паровоза, долго поющая на расставание в открытом пространстве.

Железнодорожная даль: прямой главный путь, хвостовой вагон уходящего, проваливающегося в сумрак пассажирского поезда.

Открытый перрон вокзала, снятый низко, немного выше уровня перрона. Две одиноких полных женских ноги в бедных туфлях, нижний край дешевого плаща.

Сор подлетает к этим ногам.

Швабра, метущая этот сор прямо на неподвижные, спокойные ноги.

Ноги неуверенно отступают.

Почтовый ящик на стене вокзала: фасадом к зрителю.

Со стороны зрителя — спиной к нему — к почтовому ящику подходит женщина: Арфа.

Рука женщины гладит почтовый ящик.

Две ноги ее.

Сор опять подбегает к этим ногам.

Швабра останавливается невдалеке от ног. Пение далекой (гораздо более далекой, чем в прежнем кадре) сирены паровоза, постепенно смолкающей от слишком большого, быстрого удаления поезда.

Ноги женщины и швабра около них. За шваброй — сапоги уборщика. Несколько крупных капель слез падают в сухую мякоть пыли около швабры.

МУЖСКОЙ СТАРЫЙ ГОЛОС УБОРЩИКА. Не сорите, гражданка!

МОЛОДОЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Я не сорю.

УБОРЩИК. Плачешь, что ль? Ну, плачь: мочить можно!

Одна женская нога быстро откидывает от себя сор и разметывает его. Швабра отступает.

Летний вечер. Прямая улица с новыми домами, окрашенными в светлые тона. По белым стенам домов медленно шевелятся тени древесных листьев. (Просьба попытаться дать ослепительную призрачность летнего вечера, время накануне ночи, пустоту воздуха, всеобщую световую паузу.) Посреди улицы, по дороге, удаляется одинокая фигура женщины — видно по ногам и по фигуре, что она та самая, которая была на перроне: Арфа.

Возвышенность в железнодорожной полосе отчуждения. Обычный ландшафт: телеграфная линия, пачки снеговых щитов. Тонко скулит телеграфная линия, печально гудят телеграфные столбы, давая понятие о долготе времени и величине пространства.

На одном месте этой возвышенности, на бугре в полосе отчуждения, сидит Евстафьев; он в рабочем толстом пиджаке, в круглой шапке (вроде папахи, но меньше ее) со значком паровоза. Рядом с ним железный сундучок, крышка сундучка открыта. Евстафьев таскает рукой из сундука кусочки какой-то пищи и ест их, напряженно наблюдая линию железной дороги.

Слышится быстрая, тяжкая отсечка пара паровоза и рокот идущего поезда. По лицу Евстафьева идут слезы. Он жует, плачет, улыбается и утирает усы. Поезд, судя по звукам, уже прошел: бегущие вагоны умолкают вдали.

Гул мотора низколетящего самолета. Евстафьев глядит вверх. Он улыбается, он снимает шапку; затем хватается в воздухе как бы рули управления самолета и надувается в энтузиазме, в воображении, в остервенении — до того, что темнеет лицом от прилива крови.

Самолет утихает. Внутренняя поверхность крышки сундука выстлана газетой с портретом Кагановича. Евстафьев берет ломоть хлеба из сундука, касается хлебом портрета, жует, обсуждает:

— Ты теперь хозяин?.. Ну ладно — старайся: рабочий класс тебя одобряет. Я тоже рабочий класс — только в отстав-

ке, в гонении... Сам понимаешь — я теперь ничто, ты уж без меня обходись!..

Евстафьев жует хлеб. Быстро нарастающий гул подходящего поезда.

Евстафьев сразу выплевывает хлеб изо рта; с крайним напряжением, с блестящими глазами смотрит на линию. С воем, в задыхающейся отсечке, с долгим, разрываемым ветром скорости сигналом, просящим сквозного прохода, проносится поезд (невидимый для зрителя).

Евстафьев вскакивает на ноги. Он в слезах и в восторге. Он делает жесты руками, он повторяет некоторые манипуляции машиниста (например, открывает в воздухе регулятор на все клапаны, тянет поводок сирены, поворачивает штурвал реверса и т. п.).

Ходовые части товарных вагонов в хвостовой части идущего поезда. Одна бунда сильно стонет, воем, из нее длинным шарфом идет дым. Поезд кончается, пробегает.

На тормозной площадке заднего, сильно раскачиваемого вагона дремлет кондуктор.

Евстафьев на своем прежнем бугре: он зорко вглядывается в поезд; его лицо теперь сухо и жестко.

Уходящий последний вагон товарного поезда болтается от скорого хода. Еле видна фигура хвостового кондуктора, обволакиваемая дымом и пылью.

Евстафьев грозит кулаком в хвост поезда.

Мгновенно сбегает с бугра вниз, на линию, бежит по шпалам вслед поезду.

Хвост поезда окончательно исчез вдали; даль свободна.

Евстафьев бежит. Перед ним (от зрителя — за ним) переезд и путевая будка.

Босой деревенский мальчик, лет 8—10, стоит с развернутым (красным) флажком и машет им. Другой флаг (зеленый) валяется у его ног.

Евстафьев подбегает к нему, хватая его к себе на руки.

МАЛЬЧИК (*испуганно*). Дядя, там бунда горела!..

ЕВСТАФЬЕВ. Ты бы сильнее махал флагом, стервец!.. Дай напиток.

Мальчик сполз с рук Евстафьева, он сворачивает флаг и засовывает его в кожаную трубку, висящую на его вере-

вочном поясе; другой флаг он поднимает с земли и тоже прячет этим же способом.

МАЛЬЧИК. Ступай скорей по телефону на станцию позвони, мне веры нету: голос тонкий. А пить сейчас некогда!

Евстафьев бросается в путевую будку, мальчик бежит за ним.

Внутренность путевого сторожевого дома. На стене телефон.

Евстафьев хватается за трубку:

— Алла!.. Закройте проход четыреста десятому. У него букса горит, стружку гонит, отвалится!..

Мальчик подносит Евстафьеву кружку с водой. Евстафьев пьет. Ставит кружку на лавку. Вешает трубку телефона.

ЕВСТАФЬЕВ. А отец с матерью где?

МАЛЬЧИК. Кума в колхозе померла. Гулять поехали.

Евстафьев опускается на корточки перед ребенком, берет его правую руку в свою.

— Прощай пока. Гляди тут за поездами, а то, знаешь, опасно...

МАЛЬЧИК. Ничего: я погляжу за ними.

Евстафьев сидит на прежнем месте, на бутре, около своего сундучка. Он вынимает карманное зеркало и поправляет перед ним усы.

Краткий вопль сирены мчащегося паровоза. Евстафьев бросает зеркало, мгновенно воодушевляется, он свирепеет, бормочет, скрипит зубами и начинает икать.

Он вскакивает на ноги; кричит на линию:

— Продуй цилиндры! Закрой песок! Сифон!

Сирена поет на бегущем паровозе. Евстафьев вдруг меняется в лице, — он делается печальным и беспомощным, энергия сочувствия и воображения исчезает в нем.

Несколько скатов бегущих колес товарного поезда. Еле висит тормозная колодка.

Колодка отваливается, ложится на рельсу.

На колодку набегает колесо, хряпает ее с резким треском — и колесный скат подпрыгивает.

Колодка перекашивается на рельсе, она уже полураздроблена. На нее набегает следующий скат, он хряпает по колодке и тоже подпрыгивает.

Лицо Евстафьева; оно сейчас почти равнодушно. Вторично проецируется (звуком) двух- или трехкратный резкий, раздраженный треск дробящейся колодки. Он спокойно говорит:

— Они паровозную трубу скоро потеряют.

Евстафьев клонится к земле, опирается руками и ложится в слабости и в изнеможении горя.

— Я скоро умру.

Сзади подходит к нему дочь, Арфа. Она закрывает правой ногой отверстую крышку сундучка; садится на корточки у головы лежащего отца, кладет руку на его шапку и говорит:

— Папа...

Евстафьев молчит. Арфа замыкает сундук на большой вишечий замок и поднимает его с земли; она говорит:

— Тебя ведь уволили из депо! Зачем ты ходишь плакать сюда?.. Пойдем домой, здесь комары кусаются...

Евстафьев медленно поднимается. Арфа берет его за руку.

АРФА. Ты теперь безработный — один на весь эс-эс-эр. Героев Советского Союза — и то много, а ты — один. Ты — реже всех!..

Евстафьев молчит. Дочь уводит его за руку, неся железный сундучок отца.

Ночь. Путевое развитие станции. Мерцающие сигналы стрелок. Изредка стоят группами вагоны. Три прожектора издали, с высоты темной башни, освещают станционную сеть путей. Несколько удаленно от аппарата, спиной к нему, идет одинокий человек — в железнодорожной шинели, в фуражке: Иных.

Он приостанавливается на стрелочном переводе, рассматривает его, нагибается, пробует что-то там рукою. Съемка ведется в ночном, неотчетливом свете. Но сеть путей должна быть велика и пустынна; человек совершенно один, лишь вдали — невидимо где — однотонно сипит паром паровоз.

Иных нагибается, пролезает к сцепным приборам между двумя вагонами — и выходит оттуда.

Тускло горит сигнальный фонарь на одном стрелочном переводе: огня почти не видно — туманное пятно.

Силуэт начальника дороги подходит к фонарю. Иных вынимает платок, протирает стекло фонаря: свет горит теперь ярко.

Большегрузный вагон. Силуэт Иных наклоняется к буксе; сидит перед ней на корточках, роется в ней рукою, выкидывает оттуда что-то на землю.

Поднимается на ноги, вынимает из кармана шинели кусочек мела, пишет на вагоне над буксой, прячет мел обратно, уходит.

Поверхность вагона над буксой (близкий план), на вагоне написано мелом:

«В буксе грязь и песок. Промыть, сделать новую набивку. Н-Иных».

и меловая нарисованная линия-стрела, идущая от надписи до самой буксы и кончающаяся на ней.

Под буксой — на земле — горка грязи, черного, переработанного трением, песка, куски набивки, — вся отвратительная нечистота, изъятая из буксы Иных.

Силуэт Иных вдали на путях; человек согнулся, идет медленно. (Тихо сипит паром какой-то паровоз: это мелодия всей сцены.)

Неопределенное — отчасти грустное, отчасти злобное — бормотание. Сзади, «из аппарата» выходит — спиной к зрителю — Евстафьев с железным сундучком в руках, в старой рабочей одежде машиниста.

Евстафьев идет вслед Иных, продолжает бормотать, потом говорит явственно:

— Ходят-бродят, а дела не знают... Эх, вы, — начальники!

Вдалеке — силуэт начальника дороги. Ближе — спина Евстафьева. Тревожные, далекие сигналы поездного паровоза, просящего входа на станцию.

Евстафьев останавливается перед вагоном, где Иных чистил буксу; глядит на меловую надпись на вагоне; ставит свой сундучок на землю, около буксы, поспешно уходит в сторону, поперек пути. Иных больше не видно вдали.

Радио играет танец. Девичья комната Арфы. Репродуктор радио. Беспорядок и нежность, ненужность многих вещей: цветы, пучки травы, пустые кувшины, заменяющие урны,

тарелки и картинки на стенах, собрание старинных фотографий над столом, электрическая лампа горит под цветным платком; картинки мрачных красавцев и красавиц. Арфа босая — в короткой юбке (раньше она была ей впору, а теперь Арфа из нее выросла), голенастая, еще неуклюжая от возраста юности, — стоит среди комнаты.

— Довольно вам играть пустяки — тоска все равно не проходит.

Букса, которую чистил Иных. Около нее сидит на корточках Евстафьев и кончает заправку буксы. На земле стоит бидон, масленка, лежит куча новых концов. Евстафьев уже закрывает буксу и встает в рост; он говорит:

— Километров тысячу пробежит.

Берет комок концов и стирает надпись Иных.

Радио играет танец в затемненном экране. Слышно грустную песню вполголоса, которую напевает Арфа. Стук в дверь. Арфа напевает по-прежнему. Стук настойчиво повторяется. Арфа умолкает, звук выдергиваемой штепсельной вилки — радио прекращается.

Экран проясняется. Арфа у двери комнаты.

АРФА. Алло. Ну, что такое?

ГОЛОС ИНЫХ. Отец дома?

АРФА. Нету. Он спать пошел на холодный паровоз.

Пауза.

ГОЛОС ИНЫХ. Впустите меня. Я не обижу, я начальник дороги.

Арфа закрывает лицо руками и остается так во все время диалога.

— Я босая, я не могу... Я некрасивая. Приходите завтра, товарищ начальник, тогда отец будет дома и я печенье куплю...

Пауза.

ГОЛОС ИНЫХ. Отец не работает?

АРФА. Нет, его прогнали. Он очень быстро и хорошо ездил, а надо помаленьку, надо похуже. Он интриги с политикой не знал...

Пауза.

ГОЛОС ИНЫХ. До свиданья, дочка.

Арфа стоит с лицом, закрытым руками. Звуки удаляющихся шагов начальника дороги за дверью.

Арфа отнимает руки от лица.

Подбегает к окну. Раскрывает его настежь, в ночь, свешивается наружу, говорит туда (не очень громко, почти тихо, стеснительно):

— Товарищ начальник, обождите!.. Я забыла вам сказать — да здравствует товарищ Каганович! Вы там передайте ему!..

Арфа прыгает с окна обратно в комнату. Закрывает лицо руками. Долгий торжественный сигнал поездного паровоза на отправление.

Два холодных паровоза на деповском пути (паровозы обязательно «ФД»). На один из них влезает по ступенькам трапа Естафьев с железным сундучком.

Он показывается в окне из будки машиниста, мужественно, напряженно смотрит вперед, точно готовый в дальний путь.

Машина паровоза: с ведущих колес сняты дышла, их нет.

Евстафьев скрывается в будку, делает там манипуляции по управлению паровозом и снова выглядывает наружу, бдительный и торжественный.

Проходная будка у входа в депо; сторож спокойно курит у своей будки — лицом к зрителю. Горит небольшая лампочка над дверью. Под лампочкой висит портрет Кагановича, портрет Иных и еще двух местных ударников.

Перед сторожем — спиною к зрителю — стоит силуэт Иных.

Сторож говорит:

— Сказал уж, гражданин, — не могу без пропуска, не уполномочен...

ИНЫХ (*тихо*). Так я же начальник дороги, я только документы забыл взять...

СТОРОЖ. Я вижу. Вы — вон у меня где! (*Показывает на портреты под лампой — над дверью в будку.*) Мало ли что! Мы за порядочек стоим, — вы нас научили!..

Стрелка. На балансире стрелки, под тусклым тендерным фонарем, сидит, согнувшись, силуэт Иных. Вдали горит слабый огонек над проходной будкой в депо.

Забор вокруг депо. Забор ветхий, многих досок нет, некоторые стойки накренились. За забором сипит паровоз, испуская пар в воздух. Около забора пробирается силуэт Иных.

В заборе большое отверстие. Иных пролезает в это отверстие.

Паровоз без дышел.

Внутри паровозной будки сидит на своем сундуке Евстафьев, немного согнувшись, локти его лежат на коленях, а кисти рук устало висят между колен.

Этот же паровоз в некотором отдалении, причем он снимается под некоторым углом к продольной линии котла. На котле — застывшие потоки грязи, словно ручьи пота. Иных «из аппарата» идет ближе к тому паровозу, лицом к нему.

Не доходя нескольких шагов до паровоза, Иных останавливается. Машина и человек стоят друг против друга. Пауза.

ГОЛОС (*гулкий, спокойный, но вместе с тем и вполне человеческий, происходящий точно из большого живота паровоза*). Ко мне пришел?

ИНЫХ (*тихо*). К тебе.

Пауза.

ГОЛОС. Ты не горюй...

ИНЫХ. А возить будешь?

ГОЛОС. Дело не во мне.

ИНЫХ. А в ком же?

ГОЛОС. В тебе.

Силуэт Иных подходит к машине паровоза, к его колесу, трогает его, прислоняется к колесу (диаметр которого у «ФД» равен росту человека) — и стоит, сжавшись в шинели, с поднятым воротником.

ГОЛОС. Ты что? Озяб?

ИНЫХ. Да, я давно не спал...

ГОЛОС. Иди ко мне, я еще теплый.

Из окна будки показывается Евстафьев.

Силуэт Иных идет вниз, мимо машины и топки паровоза — к будке машиниста.

Иных поднимается по лесенке (трапу) в будку.

Иных посередине трапа: сверху — из прохода в будку — навстречу начальнику дороги протягивается на помощь рука. В проходе сидит на корточках силуэт человека — Евстафьев.

Иных берет его протянутую руку. Поднимается в будку паровоза, скрывается там.

Комната Арфы. Окно открыто в ночь. За окном темные спящие деревья. Какие-то птицы напевают понемногу слабыми голосами дремлющие песни. Изредка трещит кузнец. Раз или два поет вдалеке сирена бегущего поездного паровоза — на расставание и удаление. Арфа стоит лицом к зрителю, спиной к окну, касаясь руками подоконника. По лицу ее текут крупные, редкие слезы.

Играет детская губная гармоника наверху, над потолком, на следующем этаже — невинную, кроткую песенку младенчества.

Арфа подымает лицо, глядит на потолок.

Гармоника вдруг умолкает. Арфа стоит одна, беспомощная и небольшая женщина — ее освещенное лицо на фоне черной ночи за окном. Она ожидает музыку сверху.

АРФА. Играй еще! Что ж ты не играешь?

Быстро оборачивается лицом к зрителю, лицом в ночь за окном.

Купе жесткого вагона; верхняя полка — на полке спит Федор, его лицо спокойно, губы чуть приоткрыты; в оконное стекло извне бьет ветер и песок — большая скорость; купе раскачивается.

Вдруг Федор встает и садится, согнувшись, на полке.

Он идет в чулках по проходу вагона, мимо высунутых ног спящих пассажиров, удерживаясь за предметы по сторонам, потому что вагон качается.

По ступенькам из тамбура вагона спускается Федор. Ночь. Ветер. Поезд на большом ходу.

Федор обнимает железный прут — поручень вагона и стоит, удерживаясь за него; мимо него — почти у его ног — проносятся огни стрелок попутной станции, где поезд не останавливается.

Опять наступила тьма. Федор стоит на нижней подножке на ходу, на ветру скорости.

Рой огней возник вдруг далеко под ним, в глубокой долине.

Огни поднимаются выше к его ногам. Свет несется полосами мимо него — какие-то блестящие оранжереи, светлые сооружения, волшебный мир, хор людей на платформе; все это — больше видение, чем реальность.

И опять сразу тьма.

Федор поднимается на свою полку в купе вагона, ложится.

Фигура женщины, спящей под легким одеялом на полке, противоположной Федору. Она покрыта одеялом до самого лба.

Федор поправляет сползший край одеяла, подтыкает его под спящую.

Одеяло от мероприятий Федора немного сползает с лица женщины. Ее глаза открыты, она смотрит на Федора. Федор укладывается на своей полке.

Женщина оправляет на себе одеяло сама, откинув его дальше от лица, и закрывает глаза.

Федор пристально смотрит на нее, приподымается на полке, смотрит еще более внимательно и затем сразу поворачивается лицом к стенке и закрывается одеялом.

Высокая грудь спящей женщины; на груди — орден.

Комната Арфы. Арфа одета в пиджак (наверно старый, отцовский), в валенки (даже при летней натуре), в шапку, на руках рукавицы. Тушит свет. Уходит.

Здание клуба или дворца культуры извне, ночью. Разные афиши, рекламы. Одна из афиш: «Хор затейников из кондукторского резерва. Бой цветов. Вихрь конфетти и серпантин. Танцы и пляски народов». Освещенный вход в клуб. Из клуба сначала доносится невнятный шум, затем шум превращается в ясно различимую песенку хора затейников, которая занимает этот и несколько последующих кадров:

Ах ель, что за ель!
Ну что за шишечки на ней!..
Ту-ту-ту-ту: паровоз,
Ру-ру-ру-ру: самолет,

Пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол!
Вместе с нами нагибайся,
Вместе с нами подымайся,
Говори — ту-ту, ру-ру,
Шевелися каждый гроб,
Больше пластики, культуры,
Производство — наша цель!

Одновременно с пением слышится ритмическое движение группы людей, занимающихся пластикой под эту песню.

Во время песенки хора затейников перед клубом появляется Арфа с лопатой на плече. Арфа останавливается.

Вслушавшись в песню, она входит в ее ритм и, отойдя в тень, ходит там с лопатой на плече взад-вперед, робко повторяя ритмические движения.

Песня в клубе кончается. С удара, враз начинает играть танец джаз-оркестр. Арфа несколько в стороне от входа в ликующий клуб; находясь в затененном месте, она, робко оглядываясь все время, танцует с лопатой танец, но так скромно и пугливо, что это походит на конвульсии.

Из боковой тьмы показывается фигура Корчебокова. Он притаился на мгновение.

Является перед Арфой. Отбирает и откидывает прочь ее лопату.

Обнимает Арфу, танцует с ней. Арфа сразу попадает в такт музыки и танцует с полным умением, с воодушевлением и искренности.

Корчебоков загадочно и дико наблюдает в упор лицо Арфы. Сам Корчебоков танцевать почти не умеет, но он из тех людей, которые от нужды решаются на все. Движения Корчебокова по существу чудовищны, пародийны, но Корчебоков легко покрывает эти дефекты наглой жизнерадостностью. Он танцует все же почти неплохо, с удивлением наблюдая пластическое вдохновение Арфы; Корчебоков еще не привык к искренности и серьезности. Корчебоков целует в губы Арфу.

Арфа вытирает губы рукой:

— Не надо: я замужняя.

КОРЧЕБОКОВ. Я по-отцовски, я не всуерьез.

Джаз-оркестр умолкает в клубе. Корчебоков берет Арфу под руку.

— Душка... Отведите меня к начальнику станции — умоляю вас...

Арфа пугается, тащит свою руку из-под руки Корчебокова:

— Я его не знаю...

Корчебоков, откидываясь от Арфы и снова налезая на нее:

— Но ведь вы его свояченица... Ну, душка!

Арфа отходит от Корчебокова.

— Нет... Там есть другая девушка, она маникюршей на вокзале служит. Я в темноте на нее похожа.

Корчебоков поднимает с земли лопату Арфы, подает ее Арфе, по-джентльменски приподымает фуражку, удаляется во тьму достойным и поспешным шагом.

Арфа кладет лопату на плечо.

В клубе оркестр заиграл вальс. Арфа идет мимо клуба в сторону — в валенках, в отцовском пиджаке, с лопатой на плече.

Из вестибюля клуба на освещенный выход выбегает девушка в бальном платье, в туфлях, она вращается и напева-ет несколько секунд одна, замечает Арфу и зовет ее:

— Арфочка! Маленькая! Иди сюда, — я тебе капот дам и полуботинки, ты станешь танцевать...

Арфа останавливается:

— Неохота. Пойдем шлак копать... Мужа угнали — я ведь теперь сознательная!..

Девушка (Лида), подтанцовывавшая вальсу все время на пороге вестибюля, подтанцовывает все более медленно и — замирает вовсе.

ЛИДА. Быть может — да, быть может — нет, — и убегает в вестибюль клуба.

Арфа уходит.

Дамский зал парикмахерской на вокзале (через стекло). Маникюрша делает маникюр посетительнице. Маникюрша быстро-быстро, страстно и невнятно шепчет посетительнице, надраивая ей в то же время ногти; дама-посетительница ворит ей с тою же страстью сплетни.

В дамский зал входит Корчебоков. Он кланяется, что-то нежно восклицает, садится (съемку сцены лучше вести через стеклянную перегородку).

Посетительница встает. Корчебоков является перед маникюршей. Протягивает ей пальцы обеих огромных, нечистых, изуродованных рук.

Маникюрша, рассматривая его пальцы:

— Голубчик, но у вас и ногтей-то нет! Бедный вы труженик!

КОРЧЕБОКОВ. Неважно... Умоляю вас!

Маникюрша принимается за работу над пальцами Корчебокова.

Корчебоков приближает свое лицо к уху маникюрши, шепчет ей; маникюрша, работая, делает отрицательное движение головой.

Корчебоков отстраняется от нее, снова склоняется через столик, шепчет ей под прическу.

Маникюрша делает любезное, эффектное, но изумленное лицо.

Корчебоков целует ей руку (у него жесткие усы).

Маникюрша с гримасой боли отдергивает свою руку из-под усов Корчебокова: он ее уколол.

Корчебоков целует ей вторую руку.

Маникюрша отдергивает и свою вторую руку из-под колких усов Корчебокова.

КОРЧЕБОКОВ. Я вас умоляю! Вы — его свояченица: вам ничего не стоит!

Маникюрша, напудривая себе руки в местах поцелуев Корчебокова:

— Все нет, дорогой! Я ему совсем-совсем чужая.

КОРЧЕБОКОВ. Мы все немного чужие, а все-таки — братья: мне ведь только четыре вагончика нужно, можно даже платформы... Завод стоит...

Корчебоков вскакивает, хватается за голову, — он в привычном трагическом пафосе:

— Завод стоит. Дайте мне колеса, а паровоза не надо, — я сам укачу вагоны на завод! Там цеха стоят, там убытки, я премии не получу, у меня ишиас и дочь невеста: ей пальто надо купить!..

Он хватается руку маникюрши:

— Вы здесь в штате, вы культработница; познакомьте меня с товарным кассиром. Я вас уже люблю...

Маникюрша делает задумчивое, томное лицо; Корчебоков снова хочет припасть к ее руке, но маникюрша нежным жестом отстраняет его лицо, а другой рукой берет маленькие ножницы и подстригает Корчебокову усы. Корчебоков держит теперь лицо перед ней с готовностью, с блаженством. Подстригая ему усы, маникюрша медленно говорит:

— Надо подумать... Надо немножко подумать!..

Корчебоков не имеет возможности открыть рот, потому что маникюрша сжала обе его губы своими пальцами и подстригает ему усы и бороденку, но он просовывает между прижатых губ язык и шевелит им, касаясь пальцев маникюрши, стеная от благодарности, от удовольствия, от готовности на все.

МАНИКЮРША. Вам только четыре вагона нужно?

Корчебоков хватается одну ее руку и целует ее несколько раз.

Маникюрша протягивает ему и другую руку (с ножницами).

Корчебоков, окончив целовать ей руки; смахивает ей пылинки с коротких рукавов платья, прибирает вещи на маникюрном столе, наводит там порядок, берет маникюрный инструмент — пытается делать им маникюр самой маникюрше, затем вынимает из кармана две коробки: одна с конфетами, другая с дорогими папиросами, угощает маникюршу, садится — теперь уже в довольно небрежной позе. Вынимает третий предмет — дешевую пачку папирос, и закуривает сам.

— Ну, душечка, давайте погрузим уж восемь вагонов — четыре я вчера отправил...

Маникюрша, нежно беря за руку Корчебокова:

— Ну, милый, послушайте: погрузите мне завтра немножко багажа...

Корчебоков свободной рукой берет со столика коробку конфет, коробку папирос, бросает их обратно в свой емкий карман, изымает другую руку из рук маникюрши. Уходит.

— Багаж?! Привет, душка! Я думал — вы свояченица...

Затемнение.

Кричат паровозы; они кричат группами — по две, по три, по четыре машины сразу — во все свои сирены, просясь на экипировку. Паровозы то скулят в тонкую сирену, то ревут второй могучей сиреной-октавой; то один паровоз, то несколько — хором. Экран еще затемнен.

Аппарат берет по очереди паровозы, с хвоста их очереди: первый, второй, третий, пятый. Это «ФД», — они стоят в затылок на одном пути; ветер, скорость, напряжение долгого труда оставили следы на их теле, в виде потоков грязи, переработанного масла и пр. Очередь вопящих паровозов кончается.

Последний (пятый) паровоз; он освещает своим прожекторным фонарем шлаковую яму, наполненную дымящимся шлаком до полна. На шлаке сидит Арфа и быстро, спеша, кидает шлак за борт платформы, стоящей на параллельном пути. Паровозы угрожающе, требовательно ревут над маленькой, поспешно работающей Арфой. Появляется Лида с лопатой на плече; она одета теперь не в бальном платье, а в грубую куртку, в сапогах, в шапке, в рукавицах. Паровозы затихают.

Лида и Арфа работают вдвоем в шлаковой яме. Они погрузились в нее уже до колен: шлака стало в яме меньше.

Паровозы закричали опять. Арфа и Лида работают, освещенные прожектором ближайшего к яме паровоза. Женщины измождены, густой пот катится по их лицам.

Длинные тени двух людей приближаются к шлаковой яме.

ГОЛОС КОРЧЕБОВА (в обычной для него ажитации).
У меня завод стоит!.. Дайте моему поезду паровоз, а то я сам его возьму!

ДРУГОЙ ГОЛОС. Вы — арап...

ГОЛОС КОРЧЕБОВА. Ну правильно... А вы — начальник станции!

Тени останавливаются. Закричали два паровоза. Арфа вдруг садится на край ямы, — рукоятка лопаты, которую держит Арфа, теперь выше ее головы. Арфа закрывает глаза.

Стонущий крик стоящих возле ямы паровозов переходит в приглушенную мелодию поездного, мчащегося паровоза. Купе жесткого вагона. На верхней полке навзничь спит Федор.

Коридор этого же вагона. По коридору идут проводник и агент НКВД. Они внимательно разглядывают спящих пассажиров, не находя, кого нужно.

Спящий Федор. Проводник и агент останавливаются у его ног.

Проводник осторожно берет Федора за ступню ноги и покачивает ее.

Федор сразу вскакивает и ударяется головой о третью полку.

Агент подымает руку под козырек и задает Федору вопрос.

Федор отвечает, вынимает документ, показывает его агенту.

Агент, бегло поглядев в документ, подает Федору телеграмму, и оба они — агент и проводник — по-военному прощаются с Федором и удаляются.

Федор вскрывает телеграмму, читает ее.

Телеграмма:

«ВОЗВРАЩАЙСЯ РАБОТАТЬ ДОМОЙ СУД ОШИБСЯ
ПРОСЬБА ИЗВИНИТЬ НАРКОМПУТЬ КАГАНОВИЧ».

Федор прыгает с полки на пол.

Ночь. Поручни из тамбура вагона. Поезд идет быстро. Слышна работа паровоза.

Рука Федора хватается за поручень,
показывается сам Федор,
он спускается по ступенькам вниз, в руках у него маленький железный сундучок-чемодан,
он задерживается на мгновение на нижней ступеньке
и прыгает во тьму.

Корчебоков бешено работает, выкидывая шлак из ямы на платформу вагона. На краю ямы сидят Арфа и Лида; они едят конфеты из коробки Корчебокова, которая стоит открытой между женщинами.

Корчебоков останавливается работать. Считает пальцами конфеты в коробке: их осталось мало. Корчебоков закрывает коробку, бросает коробку в пасть кармана, разверстную как чрево портфеля.

Арфа и Лида берут лопаты, спрыгивают в яму — на работу.

Паровоз без дышел — тот, где находятся Евстафьев и Иных: Евстафьев стоит на земле, наливает в чайник воду из нижнего, последнего крана тендера.

Голос начальника дороги из паровозной будки:

— Почему же вы, товарищ Евстафьев, могли ездить хорошо, а другие нет?

Пауза.

В чайник льется вода. Евстафьев поворачивается лицом в экран, ласкает свои развитые усы.

— Потому что я, знаете ли, человек с усами.

ГОЛОС ИНЫХ. На усах не ездят.

ЕВСТАФЬЕВ. Усы — рисовка. Ездить надо на своем сердце, на машине и на совести...

Чайник налит. Евстафьев запирает кран, поднимается с чайником в кабину машины, скрывается там.

Безлюдный холодный паровоз извне. Диалог невидимых людей в паровозной будке.

ЕВСТАФЬЕВ. Человек остывает, товарищ начальник, и человек согревается... У тебя какая рука — горячая или холодная?

Пауза.

ИНЫХ. Теплая... Завтра поедешь?

Пауза. Евстафьев продолжительно сморкается, потом говорит:

— Подумаю...

(Слышно, как издали кричат паровозы — те, у которых работают Арфа, Лида, Корчебоков.)

Затемнение.

Комната Арфы. Утро. Арфа спит на кровати. Выражение ее лица меняется, точно по нем плывут сновидения.

Над нею, на верхнем этаже заиграла детская губная гармоника — ту же младенческую песенку, что и вчера.

Арфа открывает глаза, смотрит вверх, где играет музыка.

Голос отца из другой комнаты:

— Марфуша, убери меня.

Арфа лежит, слушая музыку, не отвечая отцу.

Губная гармоника умолкает. Входит Евстафьев — полуодетый, босой, но важный. Он подходит к кровати дочери.

Арфа привстает было на постели в белье, но затем быстро натягивает на себя одеяло.

Она застегивает отцу верхние пуговицы на рубашке, повязывает тонкий шарф вокруг горла, причесывает волосы, вырывает ему лишние волосы из ноздрей, потом из ушей.

Отец морщится, терпит. Послюнявив палец, Арфа направляет этим пальцем густые брови отца.

Отец гладит рукою через одеяло спину дочери.

Арфа вдруг припадает к отцу в своем горе.

Отец кладет ее в постель, накрывает одеялом с головой и с достоинством удаляется.

Станция. Товарный состав. Смазчик заправляет буксы. Около смазчика — Корчебоков. Он помогает смазчику: густо заливает подшипники — масло льется через край буксы. Затем Корчебоков пробует и гладит рукой рессоры, заглядывает даже под вагон. Долгое торжественное пение паровоза — на отправление.

Паровоз (желательно «ФД»). Из окна машиниста глядит вперед, натягивая левой рукой поводок сирены, Евстафьев.

Машина трогается. Евстафьев оправляет усы.

Состав натягивается, разгоняется, быстро ускоряя ход. Корчебоков стоит и провожает идущий мимо него поезд; он машет фуражкой в сторону машиниста — в знак приветствия и доброго пути.

Бугор в полосе отчуждения, на котором сидел Евстафьев. На бугре сидит Арфа. Музыкально, ритмически, шелестящим шагом приближается поезд.

Арфа встает на ноги.

Паровоз Евстафьева: прекрасным ходом, на мягкой, но большой отсечке блестящая машина тянет состав. В окне машины — фигура Евстафьева.

Арфа машет рукою отцу.

Отец отвечает ей одним жестом: ладно, дескать, — ты видишь: некогда.

Арфа кричит отцу:

— Папа, нажимай сильнее!

Мальчик стоит на переезде (тот, с которым уже знаком Евстафьев) с высоко поднятым флажком. Гул поезда. Паровоз. Бешеный такт бегущих вагонов. Пыль и песок летят в лицо мальчика. Он не прячет лица, он держит его высоко, повернув слегка в сторону паровоза.

Поезд прошел. Мальчик выходит на путь, становится между рельсами, обращается лицом к ушедшему поезду (спиной к зрителю), держит развернутый флаг. Сор, песок и бумажки пляшут на рельсовой колее.

Почта и телеграф на вокзале. Окошко «ВЫДАЧА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ». Арфа спрашивает в окне. Уходит ни с чем.

Другое окно «ВЫДАЧА ТЕЛЕГРАММ». Арфа подходит к этому окну. Девушка за окном, не справляясь о прибывших телеграммах, глядит на Арфу и отрицательно качает головой: ничего нету.

В волнении, в энтузиазме, в бешенстве появляется Корчебоков, запускает руку за телеграфное окно, хватая там телеграфные бланки:

— Я с товарищем начальником дороги и уполномоченным НКВД познакомился!

Быстро пишет на бланке у окна. Телеграфная служащая высовывается оттуда. Арфа говорит Корчебокову:

— Здравствуйте!

Корчебоков, не узнавая Арфу, не сознавая обстановки, в искреннем восторге:

— Да здравствует товарищ Корчебоков!

ТЕЛЕГРАФНАЯ СЛУЖАЩАЯ. Это вы?

КОРЧЕБОКОВ. Да, я — это он: товарищ Корчебоков!

и дает ей написанный бланк, вместе с деньгами.

Замечая Арфу, Корчебоков вытаскивает из пасти своего кармана постоянную коробку конфет, сует ее Арфе:

— Ешь... Теперь я все равно уже фигура.

ТЕЛЕГРАФНАЯ СЛУЖАЩАЯ. Простой отправить?

КОРЧЕБОКОВ (*орет*). Молнией!

Корчебоков икает, потом вдруг яростно скрипит зубами в недержании возбужденных чувств.

Телеграфная служащая, держа телеграмму Корчебокова, невинно:

— А тут пустяки написаны: вы жене хвалитесь!

Корчебоков не слышит служащую; он издает неопределенные восклицания, вроде: пык-рык — и уходит.

Показывается почтальон. Он проходит мимо Арфы с полной сумкой.

Арфа останавливает его; роется в его сумке, читает адреса на письмах. Почтальон улыбается и сожалеет, что нет для барышни письма.

Затемнение.

Вечер. Комната Арфы. Она пудрится, мажет губки перед ручным зеркалом.

Играет губная гармония на верхнем этаже. Арфа кладет зеркало на стол, слушает, кротко улыбается.

Садится, снимает туфли, стирает ладонью пудру с лица и краску с губ, задумывается.

Губная гармония перестает играть. Арфа поднимает голову, выжидающе смотрит на потолок.

Пауза. Арфа снова надевает туфли, снова мажет губы.

Стучат в дверь. Арфа открывает дверь.

Почтальон. Он глядит доброжелательно. Арфа хватает его за сумку.

ПОЧТАЛЬОН. Да нету, дочка, ничего. Пришел тебе сказать, что нету — не пишут тебе...

АРФА. А у вас пропадают письма?

ПОЧТАЛЬОН. Да ведь сама знаешь... Не шумит ведь народ, что Наркомсвязь, дескать, дюже хороша, значит — пропадают...

АРФА. Ну, ступай отсюда. Не прогуливай время.

Почтальон удаляется. Арфа смотрит на потолок, надевает шапочку, опять глядит на потолок:

— Играй еще!

Молчание. Арфа прощается движением руки с потолком и выходит.

Музыка — вальс (или фокстрот). Зал клуба. Танцуют: две-три пары. Один — без партнерши — танцует как умеет (т. е. фантастически) Корчебоков: он в прежнем костюме командировочного, нечистоплотного, вокзального человека, но на голове теперь уже надета поношенная железнодорожная фуражка.

В зал входит Арфа. Она останавливается у стены.

К ней бросается Корчебоков. Он приглашает Арфу танцевать. Арфа немного жеманничает: она все-таки замужняя женщина.

Они танцуют. Корчебоков почти кладет голову на прическу Арфы.

Музыка сгущается в энергию печали и вечной разлуки; Арфа все ближе и ближе припадает к груди, к рубашке Корчебокова, меж расстегнутыми бортами его пиджака.

Вот она почти лежит на его груди, ее затылок гораздо ниже подбородка Корчебокова. Корчебоков с удовольствием наблюдает прильнувшую к нему женщину и озирает публику — создается ли у народа какое-либо впечатление о его дополнительных достоинствах.

Вдруг Корчебоков близко склоняется к головке Арфы. Музыка сразу умолкает. Корчебоков и Арфа останавливаются в объятиях.

КОРЧЕБОКОВ. Вы плачете, душка?

АРФА. Немножко.

КОРЧЕБОКОВ. Не стоит. Я вас еще могу полюбить.

Зазвучала двойная плачущая сирена паровоза — заунывно и просяще. Корчебоков враз отстраняет от себя Арфу и напряженно, бдительно слушает пространство. Арфа стоит теперь с открытым заплаканным лицом. Несколько ближайших с ним людей хотя и глядят на Арфу, но без внимания, — люди отвлечены тревожным сигналом паровоза.

Арфа идет одна с заплаканными глазами мимо людей, стоящих у стены, к выходу.

Корчебоков, сугубо задумчивый, стоит на месте, подняв голову, слушая тревогу паровоза.

Вдруг Корчебоков бросается вслед за Арфой.

Паровоз умолкает. Корчебоков сразу останавливается. Паровоз дает два коротких спокойных сигнала. Корчебоков улыбается. Тишина. Пауза. Слышны одинокие удаляющиеся шаги.

Арфа идет одна, уже вдалеке, по коридору клуба.

Корчебоков. Он делает жест по направлению к оркестру (оркестр тоже виден):

— Продолжайте нашу программу!

Затемнение.

Утро. Улица. С огромной, переполненной почтовой сумкой быстро идет Арфа.

Большой дом в несколько этажей. Арфа входит в подъезд.

Коридор внутри дома. Двери направо и налево. Арфа спешит по коридору. Стучит в одну дверь.

Дверь отворяется. Мужчина в пижаме, усы завернуты в бумажку. Арфа подает ему бандероль, открывает разносную книгу, чтобы получатель расписался.

Мужчина, расписываясь в книге, томно наблюдает Арфу — прямо в лицо:

— Замуж не хотите?

АРФА. Я подумаю.

МУЖЧИНА. Хорошо. Я подожду.

Арфа у другой двери. Дверь открывается. Там ребенок в рубашонке, лет 4—5. Он протягивает руку. Арфа дает ему конверт. Ребенок берет и тут же бросает конверт и снова протягивает пустую руку. Арфа вынимает шпильку из волос и дает ребенку. Ребенок зажимает шпильку в руке и затворяет дверь.

Арфа нажимает кнопку звонка на парадном крыльце. Растворяются сразу обе створки дверей. Молодой, изящно одетый человек. Он низко кланяется.

Арфа подает ему два конверта, бандероль, газету.

Молодой человек почтительно принимает эти дары. Он берет Арфу под руку, уводит ее почти принудительно в квартиру.

Прекрасно оборудованная комната. Стол в цветах, в убранстве, полный яств. За столом сидит женщина с прелестным вдохновенным лицом. Сонная улыбка, блаженство жизни, свободное счастье запечатлены на ее лице.

Входит молодой человек об руку с Арфой; он подводит Арфу к незнакомой женщине.

Женщина здоровается с Арфой, встает, обнимает Арфу и целует ее в губы.

Молодой человек наливает три бокала шипучего вина. Дает бокал Арфе — она отказывается.

Молодой человек и женщина пьют вино, Арфа бережно берет одну конфетку из вазы.

Молодой человек целует Арфу в лоб,

хватает из сосуда букет цветов и засовывает его в почтальонскую сумку.

Молодой человек жадно ищет глазами по столу, по стенам, по мебели. Незнакомая женщина стоит около Арфы. Арфа подает руку женщине на прощание.

На шее молодой женщины висит мелкий медальон.

Молодой человек мгновенно снимает медальон и подает его Арфе.

Арфа берет медальон, сует его обратно за лифчик хозяйке, хозяйка смеется,

смотрит себе под ноги — на пол, расставляет ноги, медальон падает между ее ног.

Арфа выскакивает из подъезда, она без почтовой сумки; за нею выходит молодой человек — на нем надета теперь почтовая сумка.

Он снимает с себя сумку, вешает ее на дерево и, улыбаясь, приветствуя Арфу рукой на прощанье, скрывается обратно в доме.

Отбежавшая Арфа возвращается к сумке.

Вечер. Улица. Тот же свет, призрачность, пауза природы, как в час возвращения Арфы с вокзала, когда она проводила мужа. Арфа идет одна с пустой почтовой сумкой, она не спешит — почта вся уже доставлена, письма от мужа нет.

Вот она ближе к зрителю. Лицо ее в ожидании, оно насторожено, точно Арфа ожидает страшного и неизвестного ей события или удара в голову. Она часто, испуганно дышит, ускоряет шаг, исподволь осматривает пустую сейчас улицу.

Арфа удалилась от аппарата, она почти бежит. Улица пуста.

Арфа еще дальше. Она бежит.

Арфа кричит поющим воплем и падает на землю.

Краткая пауза. Арфа шевелится на земле, борясь со своим обессилевшим сердцем, со своей печалью и беспомощностью.

Четверо ребятишек бегут к лежащей Арфе из переулка. Показываются двое взрослых.

Арфа с усилием поднимается на ноги. Стоит некоторое время, принаравливаясь ногами и телом к движению, борясь с собственным внезапным бессилием.

Обнимая сумку, точно держась за нее, она побежала, от людей на удаление.

Чистое поле. Арфа лежит на земле вниз лицом. Тощая сумка находится несколько на отлете от нее, но лямки сумки по-прежнему на плечах Арфы; два жалких письма наполовину высунулись из скважины сумки.

Арфа встает и садится, она держится рукою за грудь. Лицо ее сухо. Она слабо улыбается. Она говорит:

— Мне опять хорошо стало: мое сердце прошло.

Встает на ноги, поправляет сумку, оттирает лицо, к которому пристала трава и земля, и уходит в сторону.

Слышна сначала частая, тяжкая отсечка паровоза; эта отсечка однако делается все более редкой и еще более тяжелой по звуку — паровоз берет в упор на подъем тяжеловесный состав и быстро теряет скорость. Тормозная площадка товарного движущегося вагона. На этой площадке, свесив ноги на ступеньку, сидит Федор. В одной руке палка с привязанным к ней букетом полевых цветов.

Федор привстает и высовывается далеко вперед — в направлении паровоза. Он прислушивается к работе паровоза в голове поезда. Паровоз (звук) вдруг забился в учащенной отсечке, как в истерике: машина буксует.

Федор соскакивает с тормозной площадки на землю.

Федор бежит параллельно медленно идущему составу, обгоняя вагоны.

Отсечка на редком, тяжком ритме. Передняя часть паровоза, работающего в напряженном режиме с дутьем во весь сифон. Впереди паровоза нешибко бежит по рельсовой колее Федор, он пригибается, берет песок из балластного слоя и сыпает им рельсы.

Другая позиция съемки. Правое крыло машины. Из окна будки машиниста глядит Евстафьев. Впереди паровоза по-прежнему трудится Федор. Паровоз работает на спокойном, тяжком ритме (это слышно по сифону, по отсечке, видно по работе паровой машины, по вздрагиванию отсвета пламени в поддувальных дверцах, — наконец, что бывает редко, но допустимо: это видно по мгновенному пламени, которое выбирают бандажи сцепных колес из рельс, что дает наиболее эффектное зрительное впечатление о могущественном напряжении машины). Лицо Ев-

стафьева спокойно и вдохновенно. Он вдруг исчезает из окна,

тотчас же в окне появляется его помощник, а Евстафьев сбегает по трапу на землю,

он у работающей правой машины, — берется рукой за машущий узел дышлового сочленения и водит рукой вслед за движением механизма, спеша ногами за ходом паровоза.

ЕВСТАФЬЕВ. Сыпь побольше, Федя, погущей, поровней...

ФЕДОР (*не отрываясь от своей работы*). Арфа жива или нет?

ЕВСТАФЬЕВ (*щупая другие детали машины, например — крейцкопф*). Не знаю: приедем — поглядим.

Федор забрасывает палку с привязанным к ней букетом цветов на передок паровоза — на эстакаду под передней топкой. В этот момент он не сыплет песка на рельсы.

Бешеное, внезапное буксование машины. Евстафьев враз отскакивает от механизма и взбегает по трапу на паровоз.

Евстафьев снова на своем месте — в будке, у окна, за управлением. Машина прекратила буксование.

ЕВСТАФЬЕВ (*Федору*). Песку давай, сопляк!

ФЕДОР (*он опять сыплет песок на рельсы*). Ты ездить не умеешь, старый сыч!

ЕВСТАФЬЕВ. Старайся молча там, муж моей девчонки!

Федор бросает работать, вскакивает по подвеске к передней топке паровоза, подымает там свою палку с цветами. Сильное буксование паровоза.

Федор пробегает со своей палкой по боковой эстакаде паровоза, влезает по поручням на тело котла, к песочнице.

Буксование прекратилось. Паровоз тяжело отсекает пар, идет медленно, еле-еле. Федор помещается около песочницы, он устраивается около нее (садится верхом на котел либо на выступ котла), открывает песочницу, шурует в ней палкой.

Выходной конец песочной трубки — у головки рельса, около бандажа сцепного колеса. Из трубки пошла струйка песка.

ФЕДОР (*Евстафьеву*). Давай полную отсечку!

Евстафьев увеличивает отсечку. Паровоз пошел несколько быстрее и уверенней. Евстафьев, манипулирующий в будке, и Федор на котле, точно погоняющий паровоз палкой через

песочницу, — сразу видны зрителю оба. Вдруг Федор перестает работать в песочнице.

Конец песочной трубки. Песок не идет.

Буксование машины.

Федор быстро сходит с котла.

Евстафьев в окне будки, кричит:

— Ты что ж, сукин сын?

Федор (он на эстакаде у котла). Буксование прекратилось, паровоз опять ползет еле-еле, на полуоткрытом регуляторе, на сокращенной отсечке.

Федор и Евстафьев в будке у окна.

ФЕДОР. У тебя песку нету, там глина одна!..

ЕВСТАФЬЕВ (*кратко*). Состав, Федя, дюже велик.

Резкое буксование машины.

Федор манипулирует реверсом и регулятором. Буксование прекращается.

ФЕДОР. У тебя усы велики... Ступай на песок, я сам поведу.

Евстафьев сбегает по трапу на землю.

Он впереди паровоза на балласте. Сыплет вручную песок на рельсы.

Федор в окне паровоза. Он манипулирует регулятором и реверсом. Тяга машины увеличивается, могучая отсечка ускоряется.

ФЕДОР. Давай, давай, старик! Усы береги, не пачкай!

Евстафьев работает все более поспешно. Машина идет ему в затылок, Евстафьев сыплет песок на рельсы бегом.

Федор открывает регулятор больше. Отсечка резко ускоряется, скорость паровоза сразу увеличивается.

Евстафьев уже бегом сыплет песок на рельсы. Но машина уже почти вплотную настигает его.

Евстафьев сбегает с колеи на сторону, кричит Федору:

— Федор Матвейч, давай на весь клапан!

ФЕДОР (*у окна*). Не учи меня теперь, Нефед Степанович!

ЕВСТАФЬЕВ (*он бежит параллельно паровозу*). А кто же тебя ездить научил, стервец?

ФЕДОР. Ты. Спасибо. Садись.

Евстафьев вскакивает на трап машины.

Федор делает движение левой рукой для открытия регулятора на всю дугу.

С высшей частотой забилась отсечка пара в трубу. Машина паровоза уже на большой скорости. Полный ход.

Федор натягивает поводок сирены. Сигнал на проход — долгий, один короткий. Около Федора — Евстафьев. Машина ведет Федор. Евстафьев ласкает свои усы:

— Здравствуй, Федь. Марфушка твоя ничего: жива пока.

Подает руку Федору (снимать можно извне, тогда действие это наблюдается в окне паровоза, или с тендера паровоза, изнутри).

ФЕДОР. Ладно. Отвыкай ездить на усах.

Машина извне на большом ходу проносится мимо переезда. В окне будки паровоза два человека глядят вперед — Федор и Евстафьев. Паровоз в этот момент проходит по переезду и исчезает.

На переезде стоит женщина, держа в вытянутой руке флажок. За ее юбку держится мальчик — тот, который имел деловые отношения с Евстафьевым, когда его родители уезжали в колхоз. Мимо них с воем и дрожью мчатся вагоны. Где-то, наверно в железнодорожной путевой будке, играет гармоника.

Мальчик оставляет мать, приседает на корточки и смотрит бдительно на ходовые части вагонов. Поезд прошел.

По железнодорожной колее — вдали — идет Иных (спиной к зрителю).

Он приостанавливается, смотрит вниз — на стык или может быть на негодную шпалу, — наклоняется, пробует рукой,

идет дальше.

За Иных — еще дальше него — возникает маленькая фигурка мальчика; он сидит верхом на рельсе и забивает что-то (костыль) молотком.

Иных останавливается около работающего мальчика. Мальчик доколачивает костыль и поднимает лицо на Иных.

Иных подает мальчику руку. Мальчик подымается на ноги и протягивает руку в ответ.

Две фигуры удаляются: Иных и мальчик с молотком на плече. Вдали — за ними — железнодорожная путевая будка.

Иных берет мальчика на руки. Мальчик очутился теперь наполовину поверх плеча начальника дороги, лицом к зрителю, молоток по-прежнему у него на плече.

Иных и мальчик (он на руках у начальника дороги по-прежнему). Они находятся (более близко к зрителю, чем в предыдущих кадрах) около усадьбы железнодорожного путевого дома. В усадьбе или в доме играет гармоника, слышны буйные голоса веселящихся людей.

ИНЫХ. Там отец с матерью твои?

МАЛЬЧИК. Они. Дядя с раскулачки вернулся, теперь гуляют. *(Задумчиво.)* Пускай гуляют, все равно скоро помрут...

Иных медленно опускает мальчика на землю.

Мальчик стоит около начальника дороги, подняв к нему лицо. Иных снимает с руки часы. Подает часы мальчику:

— Они помрут, а ты вырастешь и часы тебе годятся.

Мальчик, беря часы:

— Годятся.

Иных берет мальчика подмышки, приподнимает его, целует в лоб, опускает обратно. Гармоника в доме играет «Бедная, бедная, бедная я, бедная, горькая участь моя...» — и женские голоса воют соответственно этой песне.

Прямая железнодорожная колея. Вдалеке на ней — фигура удаляющегося начальника дороги. Мальчик стоит близко к аппарату, он смотрит время на подаренных часах, потом глядит вслед Иных, оборачивается, чтобы уходить:

— Пойду отца с матерью ругать.

Вечер. Комната Арфы. Окно открыто наружу. Тишина. Трещат кузнечики. Арфа одна, она у рупора радиоприемника:

— Ну скажи мне что-нибудь.

Включает радио. Радио: «А вот, товарищи, гражданин Подсекайло, Иван Миронович, спрашивает нас, где достать куб для горячей воды, — мы отвечаем ему...»

Арфа стоит с печальным лицом, глаза ее дремлют; она переключает радио на прием другой станции:

— Ты не то говоришь.

Радио: «Кенаф, клещевина, соя, кендырь, куяк-суюк...»

Арфа переключает радио. Радио: «А сейчас оркестр деревянных инструментов исполнит совхозную симфонию на

дровах» — и раздаются несколько глухих, мрачных звуков вступления в эту симфонию.

Вдруг одновременно со звуками вступления в симфонию на дровах — играет детская губная гармония. Арфа поднимает голову к потолку, прерывает радио.

Арфа одна. Она садится по-детски на пол. Трещит кузнец из открытого окна. Губная гармоника играет наверху.

Открывается без стука дверь. Входит Федор, в руках у него старая палка и привязанный к ней пучок цветов. Гармоника наверху издает несколько последних звуков и умолкает.

Арфа встает. Федор обнимает ее. Арфа вынимает из-за кофты конфету — которую она взяла из вазы в квартире молодого человека, получателя корреспонденции — и подает ее Федору, а сама берет себе с палки Федора цветы.

Они стоят в скромных объятиях.

АРФА. Федя, зачем ты вернулся: тебя в тюрьму возьмут.

ФЕДОР. Я по тебе соскучился.

Арфа берет лопату в углу комнаты.

— Я шлак пойду копать, а то нам нечего будет есть и ты меня разлюбишь.

Арфа кладет лопату на плечо. Федор берет ее за руку, чтобы удержать жену при себе. Арфа убирает свою руку, производит:

— Ложись спать. Снимай штаны и подштанники, я приду их заштопаю.

ФЕДОР. Не ходи никуда. Я теперь прощенный.

Он показывает Арфе телеграмму.

Арфа читает телеграмму — и сразу веселеет, меняется, целует Федора.

— Вот хорошо-то. Я тебя сейчас еще больше люблю, я ведь карьеристка!..

Возвращая телеграмму Федору, Арфа задумывается:

— А все равно ведь зарплату ты не скоро получишь, я пойду немножко потружусь!

И она уходит.

Федор кладет конфету Арфы на стол и ложится на постель вниз лицом, нераздетый. Губная гармония заиграла наверху, над Федором.

Затемнение.

Негромкое тревожное пение нескольких паровозов. Просвещение экрана. Дверь в кабинет начальника станции. Около этой двери вращается в нетерпении, в беспокойстве Корчебоков. Пение паровозов продолжается с редкими перерывами.

Этот же кабинет снаружи, например, с платформы перрона. За окном свет, силуэты людей (собрание). К окнам подсакивает Корчебоков; он прислушивается; он поднимается на носках к открытой форточке; отскакивает; бесится; разбегаются; лезет в форточку; выпадает оттуда обратно, говорит (почти кричит):

— Они зашились, товарищ начальник дороги, — это пробка с сургучом. Дайте я по благу транспорт разошью, раз они по закону не могут.

ГОЛОС ИНЫХ (как бы в спину Корчебокову):

— Попробуйте, Корчебоков!

Корчебоков мгновенно, судорожно оборачивается в другую сторону, во тьму, бросается туда, почти падает.

Две фигуры — Иных и Корчебоков — идут по платформе.

КОРЧЕБОКОВ. А мне ничего не будет?

ИНЫХ. Если у вас ничего не выйдет?

КОРЧЕБОКОВ. Наоборот, если выйдет. Скажут: ты победил неправильно, не по науке и закону, ты арап и нахал, иди канал кончать — и дадут мне лопату.

Иных бьет Корчебокова по плечу и громко смеется.

Корчебоков оглядывается во все стороны:

— Почему сейчас никто не смотрит на меня? Это убыток!.. Товарищ начальник дороги, ударьте меня по плечу публично, чтобы все командиры видели! Я вас очень прошу!

Иных и Корчебоков проходят по коридору в кабинет начальника станции.

Кабинет снаружи (через освещенные окна). Силуэты людей встают все враз. Аплодисменты. Громкий, глубокий, печальный голос начальника дороги, заглушающий аплодисменты:

— Кончайте, товарищи, шутить со мной! Не заглушайте мне паровозов.

Аплодисменты робеют и стихают. Плачущее пение паровозов.

Паровоз Евстафьева снаружи; машина стоит у семафора или светофора. Семафор закрыт (на светофоре красный сигнал). В конце машины помощник Евстафьева; он потягивает сирену, паровоз дает заунывные сигналы с просьбой о проходе. Около паровоза сидит на земле и прикуривает от факела Евстафьев; он говорит:

— Кончай, Васька. Станция забита, зря спешили-ехали...

Помощник перестает потягивать сирену. Сразу глубокая тишина, и другие дальние паровозы тоже молчат.

ЕВСТАФЬЕВ. Василий. Давай на скрипке учиться играть.

Утро. Комната Арфы. На кровати лежит в прежней позе (вниз лицом) Федор. Арфа сидит в его ногах, она одета в рабочую одежду, она испачкана, она вернулась с работы, лопата ее стоит прислоненной к спинке кровати. Арфа снимает старые разбитые башмаки с ног Федора, просит медленно и жалостно:

— Ну Федя... Вставай жить, становись героем — я ведь тоже счастья хочу, а то скучно... Лучше бы ты не женился на мне!

Арфа прилегает к Федору. Детская гармоника наверху делает несколько жалобных тактов.

Дверь отворяется. Входит Евстафьев с ночной работы, с сундучком, как есть. Он подходит осторожно, на носках к Арфе и Федору.

Шепчет Арфе на ухо.

Арфа садится на постели:

— А у меня угощения нету!

Евстафьев открывает сундучок, вынимает и кладет оттуда на подоконник кусок хлеба, огурец, пучок лука, кусок сахару.

Арфа берет со стола конфету, которую она же подарила Федору, и добавляет ее к закуске отца на подоконнике.

Затемнение.

У подоконника на табуретках сидят спиной к зрителю три человека: Иных, Евстафьев и еще один старый маши-

нист Арчапов. У них на подоконнике стакан с чаем для начальника дороги. Машинисты пользуются железными кружками, Федор заново, но не богато одетый сидит на постели. Арфа стоит с большим железным чайником позади отца и гостей. Гости едят пищу, пьют чай.

АРЧАПОВ (*жуя пищу*). Ни хрена не выйдет, товарищ начальник...

ИНЫХ. А ведь вот люди говорят — у большевиков всегда все выходит!..

АРЧАПОВ. Нет, это брешут... Расшибете стрелки, поломаете путь, пожжете паровозы — и станете навеки...

Пауза.

Иных встает с табуретки (оставаясь спиной к зрителю):

— Я поеду сам.

Евстафьев и Арчапов встают, берут начальника дороги за руки в чувстве и удивлении; оба:

— Товарищ начальник...

Арфа ставит чайник на пол. Берет платок, покрывает его на голову.

Федор встает в сильном, сдержанном волнении; он открывает рот для слова — и молчит от робости.

АРФА. Я тоже поеду.

Хлопает дверь за ушедшим начальником дороги. Арфа уходит следом за ним.

Трое: Евстафьев, Арчапов и Федор. Губная гармоника начинает играть наверху. Евстафьев, подняв голову к потолку:

— Замолчи там, стервец!

Гармоника сразу умолкает и слышно стало, как заплакал ребенок.

АРЧАПОВ (*к Федору*). Ну скажи, пожалуйста: вывези ему сразу пять тысяч тонн, а потом семь...

Федор молчит; он надевает старый пиджак, берет шапку, снаряжается.

Евстафьев и Арчапов стоят в оцепенении.

Федор показывает им телеграмму Кагановича. Старые машинисты читают ее.

ЕВСТАФЬЕВ. А чего ж молчал сидел, нахал!

ФЕДОР. Я еще молодой машинист, начальник дороги меня не знает... Я стыдился.

ЕВСТАФЬЕВ. Фу, хулиган!..

Федор молча уходит.

ЕВСТАФЬЕВ (*Арчапову*). Хочешь я тебе сейчас в глаз дам?

АРЧАПОВ. Эх, ты, сукин сын с усами!

И уходит вон;

за ним поспешно выходит и Евстафьев.

Корчебоков в полной новой железнодорожной форме у селектора:

— Готово?.. Что?.. Сейчас я это скомандую лично.

Корчебоков с энергией энтузиазма, четким быстрым шагом выходит прочь. На лице его — огромное достоинство.

Сцепление паровоза с первым вагоном-платформой. Центра вагона высоко подняты над центрами паровоза.

Голос Корчебокова:

— Безрукие!!! Безграмотные!! Догрузить платформу балластом, — рессоры сядут, и сядут центра!

Паровоз («ФД»). Около кабины. Внизу стоит одинокая Арфа в ожидании.

Этот же паровоз спереди, но — вдали. Из аппарата к паровозу идет по пути Федор, он посыпает рельсы песком, беря его из балластового слоя.

Федор около Арфы у кабины паровоза.

Появляется Иных; он берется за поручень траповой лестницы паровоза.

Федор поднимает руку под шапку — отдает честь.

Начальник дороги подымается на несколько ступеней по трапу и приостанавливается, слушая Федора.

Съемка ближе; группа людей дается со спины.

ФЕДОР. Товарищ начальник! Можно еще тонн пятьсот, но дайте толкач тронуть с места.

ИНЫХ (*в сторону*). Корчебоков!

ГОЛОС КОРЧЕБОВОКОВА. Есть, товарищ начальник дороги товарищ Иных!

ИНЫХ. Пятьсот тонн в хвост. И толкача до выхода!

КОРЧЕБОВОКОВ. Есть пятьсот тонн в хвост, товарищ начальник дороги! Я уже их раньше прицепил — я догадался!

Федор поднимается по трапу мимо начальника дороги;
за ним пробирается наверх Арфа.

Иных спускается с трапа. Паровоз сильно засифонил.

Сцепление паровоза с передним вагоном: центра вагонов садятся — видно на глаз.

Появляется Корчебоков, измеряет пальцами, кричит куда-то:

— Еще чуть-чуть! Скорей!! Шевелись!

Иных стоит у паровоза на земле, лицом к машине. В окне кабины — Федор.

Начальник дороги быстро поднимается по трапу;
он в кабине — и целует Федора.

Иных в проходе кабины (ближе к тендеру); за начальником дороги Арфа, она приподымается к его лицу;

Иных целует ее в лоб,

спускается по трапу вниз.

Перрон вокзала. У перрона свободный путь. Группа железнодорожников на перроне. Впереди группы — дежурный по станции и Корчебоков.

Шум идущей моторной дрезины. Мимо платформы быстро проезжает открытая дрезина: на ней фигура начальника дороги и еще один человек — моторист.

Дежурный подымает сигнал отправления.

Корчебоков снимает фуражку; опомнившись, надевает ее снова, берет под козырек,
и вдруг убегает в сторону.

Кабина паровоза. Окно. Федор. Он дает сигнал отправления, затем два коротких гудка: прислушивается. Издали эти (точно такие же) сигналы повторяет второй паровоз.

Играет нестройная, неумелая музыка. Вокзальный садик за низкой изгородью у перрона. В этом садике самодеятельный оркестр: кондуктора со старинными служебными лицами, пионеры, уборщицы и др. Оркестр играет марш, и от неслаженности он звучит жалко, а Корчебоков дирижирует оркестром с вдохновенным, с высшим художественным выражением в лице.

Окно в кабине паровоза. Федор. Стонущий мелодический звук клапана баланса.

Машина паровоза. Дышла делают четверть оборота и приостанавливаются в растяжке. Стонущий, мелодический звук клапана баланса усиливается.

Кабина. Федор. Он дает два коротких жалобных сигнала. Краткая пауза. Далекий паровоз отвечает ему такой же парой сигналов.

Федор плавно и далеко открывает регулятор.

Машина. Дышла медленно трогаются и проворачивают колеса.

Мгновение — и бешеное буксование машины, дышел почти не видно, из-под бандажей ведущих сцепных колес летят искры и пламя огня, вырабатываемое могущественным усилием машины.

Кабина. Федор. Он манипулирует реверсом. Слышится пара жалобных сигналов далекого паровоза.

Машина. Буксования нет. Дышла медленно проворачивают колеса. Слышится мелодичное пение самого усилия гармонично работающей машины, слагающееся из звуков напряженных, динамических деталей.

Под кабиной, по земле бежит без фуражки Корчебоков. Он плачущими глазами смотрит вверх на Федора, он хватается рукой за поручень трапа.

Машина несколько издала. Колеса проворачиваются все более быстро, тяговое усилие и скорость нарастают каждое мгновение, почти толчками, это видно по ходу дышлового механизма.

Корчебоков бежит, упираясь в поручень трапа, точно помогая паровозу.

Лицо Федора в окне кабины. Оно в поту и вдохновении.

Продувка: из кранов цилиндра вихри пара.

Корчебоков стоит на месте. Перед ним с могучим ускорением — все быстрее и быстрее — бегут вагоны состава. По игре и по звуку стыков слышна и видна их скорость. Вагоны (платформы) нагружены самым разнообразным богатством: уголь, тракторы, автомобили, огромные ящики, контейнеры, комбайны, фермы мостов, чудовищное оборудование для металлургических заводов на специальных многоосных платформах и т. д. и т. п. Этой мизансценой можно сразу и мощно охарактеризовать могучее творчество страны.

Корчебоков корчится, приплясывает, кричит, хватается песок и ест его, плачет, падает на землю.

Мимо с нарастающей скоростью бегут и бегут вагоны и число их не кончается: нужно пропустить 100—120 вагонов.

Наконец, — проносится с полной отсечкой пара паровоз-толкач.

Кабина толкача (извне). Из окна глядят два механика: Евстафьев и Арчапов.

Место толкания паровоза-толкача: диски буферов толкающего паровоза начинают отставать от дисков-буферов заднего вагона.

Кабина толкача: Евстафьев и Арчапов. Далекое пение сирены ведущего паровоза Федора — на удаление. Евстафьев и Арчапов бдительно прислушиваются. Евстафьев манипулирует реверсом и регулятором.

Место толкания. Паровоз-толкач уже отстал от заднего вагона примерно на 1 метр.

Он приближается на полметра и остается на этой дистанции — т. е. толкач работает вхолостую.

Евстафьев и Арчапов. Евстафьев утирает слезы:

— Прощай, Федька!

И потягивает поводок сирены на три коротких сигнала, закрывает пар, машина сокращает ход. Далекое однократное ответное пение сирены ведущего паровоза.

В кабине. Евстафьев берет из инструментального ящика кусачки, дает их Арчапову:

— Захарка, сбрей мне усы!

АРЧАПОВ. Давай!

Берет кусачки и враз — почти начисто — откусывает Евстафьеву сначала один ус, потом другой и вышвыривает их прочь.

Евстафьев стоит без усов. (Арчапову):

— Теперь дай мне по морде!

АРЧАПОВ. Погоди, я пока не в состоянии — я расстроен!

ЕВСТАФЬЕВ. Ну давай я тебе!

И бьет Арчапова по лицу.

Ведущий паровоз Федора. Плечи и голова Федора, глядящего вперед, — за ним видна дрезина, убегающая от па-

ровоза, — на дрезине фигура начальника дороги, стоящая в рост. Иных смотрит назад, т. е. на паровоз.

Съемка изнутри кабины. Машина работает на высшем темпе. Несмотря на работу стоккера, открыта и шуровка — в топке видно напряженное пламя. Арфа сидит на ящике, ближе к тендеру. Кочегар загружает топку через шуровочное отверстие.

Вдруг раздается резкий стук где-то в глубине машины.

Федор отбрасывается из окна внутрь машины.

Он глядит отвлеченными глазами.

Бросается на сторону помощника (левую). Стук усиливается.

Федор рядом с помощником.

ПОМОЩНИК. Остановливай! Запорем машину!

Левая галерея машины (около котла). Из кабины высккивает на эту галерею Федор. (Резкий стук происходит все время.)

Федор добегают до передней топки.

Он становится на колени, ложится, свешивается (примерно над цилиндром или над бегающим крейцкопфом, где у паровоза закреплена приводная штанга к самосмазу — лубрикатору).

Штанга порвана. Один ее конец бегают вместе с крейцкопфом. Другой конец, ведущий к самосмазу, висит в воздухе. Федор хватается погнутый, оборванный конец приводной штанги (что висит беспомощно в воздухе), склоняется ниже к работающей, пульсирующей машине, висит над машиной, натягивает свободный конец штанги, — но приладить ее на ходу машины нельзя.

Одновременно со стуком начинает слышаться мучительное пение, почти визг, изнутри машины. Федор бросается к самосмазывающему аппарату (он виден зрителю).

Федор начинает качать ручную приводную рукоятку самосмаза. Сразу приутихает мучительное, раздраженное пение в теле машины.

Впереди паровоза видна дрезина начальника дороги. Дрезина теперь ближе, чем раньше. Иных стоит на ней и смотрит на паровоз.

Федор бешено качает ручку самосмаза: стук немного уменьшается, делается не столько резким.

Дрезина Иных еще ближе к паровозу. Федор смотрит на дрезину, работая на самосмазе, потом кричит (обернувшись к кабине):

— Арфа!

Открывается дверь из кабины, оттуда выбегает Арфа. Она пробегает по боковой галерее к Федору. Стук к этому моменту уменьшился еще более.

ФЕДОР (*Арфе*). Качай масло!

Арфа склоняется к самосмазу и начинает качать рукоятку изо всех сил.

Федор спешит обратно в кабину.

Кабина изнутри. Появляется Федор. Оглядывает приборы. Шуровка закрыта.

ФЕДОР (*помощнику и кочегару*). Пар садится!.. Грузи топку в две руки — давай весь форс!

Помощник открывает весь вентиль сифона, кочегар открывает шуровку с бушующим пламенем.

Помощник берет шуровочный инструмент (вроде длинной кочерги), кочегар вручную грузит в топку уголь лопатой.

Арфа согнулась на коленях у самосмаза и интенсивно качает рукоятку. Стука нет.

Съемка с места машиниста (скажем, из-за плеч Федора). Видна бегущая дрезина начальника дороги; однако она еще более близка, чем в предыдущих кадрах. Федор потягивает поводок — долгий, торжественный сигнал сирены. Иных машет рукой вперед: дескать, давай, давай, давай за мной.

Арфа — грязная, черная, небольшая — качает самосмаз изо всех сил.

Из-за плеч Федора: дрезина Иных; она (дрезина) быстро сокращает ход и быстро, поэтому, приближается к паровозу. Иных, склонившись, разглядывает паровоз — он смотрит туда, где работает Арфа.

Федор дает тревожные гудки. Одна его рука уже на тормозном кране машиниста. Дав сирену, он кладет левую руку на реверс.

Дрезина Иных еще ближе.

Федор дает три гудка остановки. Закрывает пар, вращает реверс, двигает кран машиниста.

Съемка извне. Паровоз на сокращенном ходу, дрезина в нескольких метрах впереди паровоза. На дрезине стоит Иных лицом к паровозу. У самосмаза усердно работает Арфа.

Дрезина едет вплотную к паровозу, их скорости сравнялись. Иных берет за передний поручень паровоза и вскакивает на переднюю площадку паровоза.

Дрезина тотчас же ускоряет ход и отходит от паровоза.

Из кабины, со стороны помощника, на мгновение показывается Федор.

Иных склоняется к Арфе, берет рукоятку самосмаза, Арфа отползает немного назад. Иных качает рукоятку самосмаза. Сигнал сирены на отправление (паровоз вообще не останавливался, он лишь сдал ход на время посадки начальника дороги). Полный сифон. Пар во всю отсечку и на все клапана. Дышловой механизм мощно, в ускоряющем темпе прокручивает колеса.

Съемка извне, издали. Экран еще пуст, виден путь, обычный ландшафт. Слышится импульсивная отсечка, приближается поезд.

На большой скорости входит в экран паровоз. На левой галерее Иных качает самосмаз. Около него (позади) сидит на корточках Арфа.

Затемнение.

Паровоз стоит у низкой платформы. Из кабины выходит Федор. На платформе стоит дежурный. Он смотрит на свои карманные часы, говорит:

— Вовремя. Сколько осей?

ФЕДОР. Двести сорок.

ДЕЖУРНЫЙ. Брось арапа заправлять!

Федор молча показывает рукой в голову паровоза. Дежурный смотрит туда, мгновенно меняется в лице, берет под козырек, направляется туда.

В голове паровоза — Иных работает около крейцкопфа, прилаживая оборванную штангу. Арфа, находясь вверху у самосмаза, вытирает обтирочными концами аппарат самосмаза.

Иных протягивает руки, чтобы помочь ей сойти; Арфа идет сверху на руки начальника дороги.

Иных берет ее к себе на руки

и уносит ее на своих руках, как маленькую уставшую девочку.

Позади начальника дороги, несущего Арфу на руках, идет дежурный и держит руку под козырек, по-служебному.

Чумазое лицо Арфы обращено назад — через плечо Иных — на дежурного; она глядит на дежурного и показывает ему язык.

Затемнение.

Комната Арфы. Утро. Окно открыто в природу. Пусто.

В комнату входит Корчебоков — одетый франтом, со значком железнодорожного комсостава в петлицах, с огромным букетом дорогих цветов, с коробкой торта гигантских размеров. Он ставит эту роскошь на стол в удобных, наглядных позициях. Вынимает из кармана коробку с духами, мылом и пр. — и ставит ее в открытом виде на окно.

Извлекает из бокового кармана флакон с духами, поливает ими сам себя и прячет флакон обратно.

Входит Евстафьев (он без усов теперь), — в калошах, надетых на чулки, в жилетке.

КОРЧЕБОКОВ (*Евстафьеву*). Вам придется потрудиться съездить в Москву...

Корчебоков вынимает из бокового кармана листик телеграммы и подает ее Евстафьеву.

Евстафьев берет и читает; прочитал; хмуро:

— Орден мне что дают?.. Давно пора!..

Стоят оба в паузе.

ЕВСТАФЬЕВ. А я усы себе оторвал!..

КОРЧЕБОКОВ. Оторвите мне, пожалуйста, несколько ног, — это не убыток, но дайте ваш значок на грудь!

ЕВСТАФЬЕВ. Ну ты же ведь сукин сын, ты на бровях проживешь... Давай выпьем!

Корчебоков изымает из бокового кармана флакон духов, которыми только душился:

— Одеколончик, — больше пока нечего!

Евстафьев, беря флакон:

— Давай, любую жижку.

Нюхает флакон, потом прячет его к себе в жилетный карман:

— Я его дочке подарю. Пойдем ее встречать: пора!
Уходят оба.

Комната пуста. За окном, во дворе (а не вверху, как прежде) играет детская губная гармоника и умолкает.

На подоконник влетает воробей; издав восклицание и пробормотав что-то по-рабочему, он улетает обратно. Падает лепесток с розы из букета, принесенного Корчебоковым, тикают часы-ходики.

Отворяется дверь — в комнату входит Арфа, она поворачивает выключатель, хотя стоит светлое время. Арфа стоит в удивлении, не узнавая своего жилища. На вещи, принесенные Корчебоковым, она не обращает внимания и не трогает их.

Пауза.

АРФА (*тихо говорит кверху*). Ну, играй опять. Что же ты не играешь?

Краткая пауза. Арфа ждет.

Тихо начинает играть губная детская гармоника — за окном, на дворе. Арфа идет к окну, ложится животом на подоконник.

Сарай. Около сарая бревно. На бревне сидит мальчик лет 5—6, без штанов, в одной рубашонке. Свет вечера.

Мальчик играет на губной гармонике.

Арфа из окна третьего этажа глядит на мальчика, Арфа зовет оттуда:

— Мальчик! Иди ко мне в гости!

Мальчик отнимает гармонию ото рта, вытирает ее о подол рубашки, говорит:

— Сейчас!

И встает с бревна.

Комната Арфы. Арфа лежит животом на подоконнике, спиной к зрителю.

Краткий стук в дверь. Дверь открывается, в комнату входит железнодорожный агент — носильщик (тот же уборщик, который некогда мел сор под ноги Арфы); он говорит, беря под козырек:

— Товарищ Корчебоков просит вас сейчас же явиться! Там ждут вас все — и начальник тяги и ваш папаша!..

Арфа в прежней позе; она глядит на двор.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АГЕНТ. Алла! Гражданка!

Арфа сползает с окна и оборачивается к прибывшему.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АГЕНТ. Товарищ Корчебоков будет произносить вам приветствие. Это хорошо!

АРФА (улыбаясь). Это хорошо. Я люблю славу — пойдете!

Берет носильщика-уборщика за руку и они удаляются.

Комната пуста. Пауза. Второй лепесток падает с розы, принесенной Корчебоковым. Второй раз влетает воробей через открытое окно; попрыгав несколько на подоконнике, он перелетает на торт и клюет его, жадно питаясь.

Слышатся шаги босых, скромных ног, — отворяется дверь, робко входит мальчик с губной гармонией в руке.

Он озирается — один посреди пустой комнаты, ища хозяйку,

прогоняя воробья, прилипшего к тарту.

Подвигает табуретку к столу с тортом, забирается на табуретку и начинает есть торт обеими руками.

Другая позиция съемки. Торт и мальчик. Большой торт в коробке наполовину съеден.

Мальчик-музыкант кладет губную гармонию внутрь полупустой коробки с тортом, закрывает коробку крышкой, сползает с табуретки, берет всю коробку с тортом себе подмышку.

Мальчик у подоконника. Там стоит открытый футляр с духами, мылом и прочим.

Мальчик берет себе оттуда мыло с картинкой, красивый пузырек с духами

и, нагруженный всем этим добром и угощением, медленно удаляется из гостей.

Комната снова пуста. Падает лепесток из цветка, что стоит в букете. Стучат часы-ходики. Далеко заиграла торжественная музыка и запел паровоз. Вблизи, на дворе, детская губная гармония начала играть свою обыкновенную младенческую песню.

Конец

ОТЕЦ

Главные действующие лица

ЖЕНЯ, лет 22—24, помощник паровозного машиниста.

КАТЯ БЕССОНЕ-ФАВОР, лет 20—21.

ТРАМВАЙНАЯ КОНДУКТОРША, лет 25—30.

СТЕПАН, мальчик лет 8—10, на вид ему меньше.

ИВАН БЕЗГАДОВ, 26—28 лет, директор кинотеатра.

КОНСТАНТИН НЕВЕРКИН, 22—23 лет.

ПОЧТАЛЬОН, лет около сорока.

ЛЮСЬЕН, негр, паровозный машинист.

СЛЕПОЙ СТАРИК.

Его ПОВОДЫРЬ, мальчик лет 5—6.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЖАЩИЙ ЗАГСА.

Поздняя ночь. Московский бульвар (на кольце «А», например). Редкие фигуры людей.

Пустой трамвай едет по уличному проезду за деревьями бульвара.

В прицепном вагоне одна кондукторша.

Этот трамвай останавливается.

В прицепной вагон входит один пассажир.

Трамвай поехал.

Огни окон его освещают бегущими полосами почти пустой бульвар: стволы деревьев, скамейки, дорожки, будки напитков, «Эскимо», редкие парные фигуры.

В заднем тамбуре быстро едущего прицепного трамвайного вагона пара людей: почтальон и кондукторша.

Пассажир-почтальон нежно кладет руку на плечо кондукторши.

Другой рукой он гладит ее сумку с деньгами.

Бежит свет окон по бульварной изгороди: трамвай мчится.

Слабо освещенное место бульвара: стоят мужчина и женщина.

Мужчина целует женщину.

(Усиливающийся шум приближающегося трамвая.)

Мужчина не отрывается от женщины.

Полосы трамвайного света бегут по ним: по одежде и лицам. Трамвай остановился за бульварной изгородью — против целующихся на бульваре.

В тамбуре заднего прицепного вагона почтальон целует кондукторшу.

Извне — с другой точки зрения — трамвайный поезд стоит.

Выглядывает вожатый назад: пустая улица.

Вожатый скрывается на свое место.

Бульвар с прежними фигурами мужчины и женщины, стоящими в объятиях.

Виден трамвай против них: сцена в тамбуре прицепа.

Задний тамбур прицепа: пассажир, прильнувший к кондукторше, поднимает левую руку.

Дергает бечеву звонка.

Трамвай трогается.

Мужчина на бульваре отклонился от женщины.

— Ура! — кричит он и машет рукою приветствие в сторону проехавшего трамвая.

Трамвайный тамбур с двумя фигурами быстро помчался вдале, звеня своими звонками.

Бульвар. Две прежние фигуры.

— Ура, товарищ! — кричит человек с бульвара.

ЖЕНЩИНА. Иван, не безобразничай. Брейся чаще, если хочешь целоваться. Ты колешься.

МУЖЧИНА. Терпи. Женою будешь.

Он берет ее под руку.

ЖЕНЩИНА. Не будешь бриться, я губы краской мазать буду, ты отравишься.

МУЖЧИНА. Ничего, я потом отплююсь.

Они пошли по бульвару, удаляясь.

Они идут по тротуару, мимо домов.

Гортанный, долгий голос мучающегося человека, похожий и на плач ребенка.

Вывески: «ВЕНЕРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА». «НОЧНОЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ».

Фасад большого дома. Палисадник.

Второй этаж: открыты окна, свет из окон падает на девственную зелень кустов палисадника. Из этих окон звучит страдающий голос.

Мужчина (Безгадов) и женщина (Женя) останавливаются у фасада с вывеской.

Страдающий голос в окне профилактория немного утихает.
Другой спокойный голос (врача) говорит:

— Кричи, кричи еще... Ну! Что же ты не кричишь?

Голос страдальца:

— Сейчас... А нет у вас обезболивающей медицины? Ох, жалко! Больно, опять больно! *(Кричит по-прежнему.)*

Голос врача:

— А любить, а целоваться хорошо было? Хорошо? Пой теперь, пой! Во-от, вот-вот-вот!..

Женя и Безгадов на площади.

Развороченная мостовая. Траншея. Прожекторы над ней. Грузовики. Рабочие.

ЖЕНЯ. Это что — он кричал. Ему вроде аборта делают?

БЕЗГАДОВ. Вроде него.

ЖЕНЯ. А тебе никогда не делали?

БЕЗГАДОВ. Нет. Я роженица.

ЖЕНЯ. Наш дом пополам режут.

БЕЗГАДОВ. А где мы жить будем, когда женимся?

ЖЕНЯ. У нас же. Наша половина остается. Жалко: кого выселяют, тем квартиры в новых домах дают. Я даже плакала, что нас не выселяют.

Полдома. Другая половина лежит в руинах.

Женя и Безгадов показываются издали по тротуару.

Из уцелевшего подъезда полдома выходит ребенок: на вид ему лет шесть-семь. (На нем калоши на босу ногу, штаны об одной пуговице, рубашка.)

Мальчик глядит в одну сторону улицы, противоположную той, откуда идут Безгадов и Женя.

Там безлюдье. Горят фонари. Блестит чистота.

МАЛЬЧИК. Налопались харчей, теперь спать легли до завтрашнего дня.

Глядит в сторону идущих — Безгадова и Жени.

МАЛЬЧИК. Двое идут. Пускай идут. Не те люди ходят.

Женя и Безгадов идут; их видно сзади; за ними — впереди них — фигура ребенка.

Женя говорит:

— Вот мальчик стоит. Как он поздно не спит, жалкий чертенок!

БЕЗГАДОВ. Он мать дожидается... Женя, значит, завтра мне бриться?

ЖЕНЯ. Да придется! Завтра ведь у нас что?

БЕЗГАДОВ. Завтра у нас свадьба с тобой, завтра в загс пойдем.

ЖЕНЯ. Ах, да!

Безгадов целует ее на ходу.

ЖЕНЯ. Это что такое? У меня экзема пойдет.

Мальчик вынимает из штанов милицейский свисток.

Свистит.

Безгадов и Женя подходят к мальчику.

Безгадов вынимает бумажник и три рубля.

— Возьми, бригадмил, на конфеты.

МАЛЬЧИК. Проходите, гражданин. Я не побираюсь, я сирота.

И отворачивается.

Женя садится перед ребенком на корточки.

— Что же ты не спишь так поздно?

МАЛЬЧИК (*не глядя на нее*). Свое дело есть.

ЖЕНЯ (*вставая*). Какой мальчик чудный! Я обязательно рожу такого же.

Безгадов и Женя уходят в подъезд.

МАЛЬЧИК (*один*). Ступай рожай. Вам хорошо целоваться, а мне жить потом приходится.

Большой коридор. В конце его горит ночная лампочка. Тишина. Пустота.

Внутренность хорошо убранной комнаты: на стене — около большого окна — портреты Сталина и Пушкина, а между ними фотография Жени.

Тумбочка с телефоном. Шкафы. Прочая мебель.

Большая кровать. На ней спит одна Женя, выставив из-под одеяла наружу лицо, открыв полудетский рот.

Дверь из этой комнаты в кухню.

Кухня: газовая плита; на этой плите, на сложном постельном сооружении, спит Безгадов.

Около плиты на стене часы-ходики. На них часа три.

Сумрак. Тишина. Тикают ходики.

Далекий робкий стук.

Пауза.

Стук повторяется в другом месте.

Безгадов спит.

Женя спит.

Идет кто-то небольшими шагами где-то по коридору, шлепают калоши по полу.

Пауза.

Стук в дверь в комнату Жени.

Женя приоткрыла один глаз, но глаз ее бессознательный и спящий.

Опять стук в дверь — довольно сильный.

Женя приоткрывает другой глаз, но не просыпается.

Пауза.

Те же шаги по коридору, их удаляющийся звук.

Пустой коридор. По нему удаляется мальчик, шлепая калошами.

Женя смеется во сне; она шепчет что-то неслышно.

Она говорит вслух:

— Ты мой мальчик из отрезанного дома... Довольно. Мне плохо, мне стыдно... Брейтесь все, вы колетесь своей щетиной...

Звонок телефона на тумбочке.

Женя открывает глаза и вновь закрывает их.

Звонок телефона повторяется.

Безгадов просыпается.

Трогает пальцами стрелки часов-ходиков.

— Четвертый час. Какой это ангел блуждающий звонит?

Звонок телефона.

Женя вскакивает из-под одеяла, сонная и непонимающая.

Берет трубку.

— А! Тебе чего?.. Это ты, Ваня? Сказала, что завтра. Я сплю, я устала.

Безгадов улыбается в кухне на плите.

Женя молчит, прижав к уху трубку.

— Я вас не понимаю...

Пауза.

— Я Женя. А ты?

Пауза.

— Я не мама.

Пауза.

Женя улыбается.

— Вспомнила, вспомнила... Иди скорее греться ко мне в кровать, ты застыл ведь... Квартира двадцать семь. Двадцать семь, третий этаж. Не шуми только...

Женя кладет трубку.

Повертывает ключ и приоткрывает дверь в коридор.

Прячется под одеяло.

Безгадов то садится, то снова ложится на кухонной плите; лицо его печальное.

Он пальцем останавливает маятник часов.

Открывает и закрывает газовый кран плиты.

Находит свой пояс от брюк.

Делает из него петлю. Примеряет на свое горло.

Вестибюль этого дома. Телефон-автомат. Мальчик вешает трубку:

— Насилу дозвонился.

Та же квартира.

Утро. Свет в окне.

Кровать Жени. Женя и мальчик спят под одним одеялом.

Около кровати стоят калоши ребенка. На стуле лежат его штаны и рубашка.

Безгадов, уже одетый, делает завтрак на очищенной от постели плите: жарит колбасу на сковороде.

Похохатывает и прохаркивается.

Гладит свой живот.

В животе у него бурчит; Безгадов слегка наклоняется и говорит себе в живот:

— Сейчас, сейчас, фашист, сейчас наешься: не мешай думать уму.

Гладит живот.

Голос Жени из комнаты:

— Ваня, с добрым утром!

БЕЗГАДОВ. А, невеста! Ну что ж: с добрым утром!

ЖЕНЯ. Ты сейчас не брейся, а то к вечеру опять отрас-
тешь. Лучше попозже.

БЕЗГАДОВ. Я два раза побреюсь, я ведь усердный.

Комната Жени. Женя, Безгадов и мальчик завтракают за
столом.

Мальчик ест бережливо и осторожно.

Колбасы берет мало, хлеба много.

ЖЕНЯ. Как же ты мой телефон узнал?

МАЛЬЧИК. На дверке прочитал. Я ведь к тебе стучался.
Ты спишь крепко — сопела.

БЕЗГАДОВ. А ты чей?

МАЛЬЧИК. Я ничей, я отца-мать хожу ищу.

БЕЗГАДОВ. Жулик-беспризорник, что ль?

МАЛЬЧИК. Нет... Меня тетка загрызла, я хлеба много ем
и портки протираю. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю:
никто их не знает.

БЕЗГАДОВ. Кого?

МАЛЬЧИК. Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по
морде костяной рукою бьет.

ЖЕНЯ. А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?

МАЛЬЧИК. Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать.
Может, — есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли
и забыли.

БЕЗГАДОВ. А почему ты в детском саду не живешь?

МАЛЬЧИК. Говорю же тебе, отца-мать хожу ищу. Детских
садов много — туда я успею.

ЖЕНЯ. Ну живи пока у нас. Я найду тебе отца с мате-
рью.

МАЛЬЧИК. Потерпим.

Женя глядит на свои ручные часы.

— Мне пора.

Она встает. Надевает плащ, прилаживает на голову ша-
почку с техническим значком — паровозом набоку, берет
чемодан — железный сундучок.

БЕЗГАДОВ. Женя, вечером наша свадьба.

Женя прощается с мальчиком, дает руку Безгадову.

Она говорит:

— Нет, я еще подумаю.

Уходит.

Вечер на улице Горького.

Идет празднично одетый Безгадов с покупками.

Рядом с ним мальчик, одетый наново, с букетом цветов, завернутых в бумагу.

Безгадов приседает около мальчика.

— Как морда?

Мальчик пробует его щеки и подбородок:

— Гладкая.

БЕЗГАДОВ. Спроси у милиционера, где ближний загс. Я знаю где, но мы лучше проверим.

Безгадов останавливается на тротуаре.

Мальчик сходит с тротуара на проезд.

Милиционер-женщина среди улицы.

К ней подходит мальчик.

Милиционерша отдает ему честь.

Мальчик говорит.

Милиционерша не слышит.

Она приседает к нему.

МАЛЬЧИК. Где тут свадьбы записывают?

Милиционерша отвечает ему, показывая жестами: прямо, направо, налево, направо...

МАЛЬЧИК. Я найду... Гляди, вон дорогу переходят: сви-сти скорей... Забываешь!

Милиционерша вскакивает.

Безгадов и мальчик идут снова рядом по тротуару.

Квартира Жени.

Она одна: убрана как невеста.

Стук в дверь.

Входят Безгадов и мальчик.

ЖЕНЯ. Я готова.

БЕЗГАДОВ. Пошли поскорей, чего терпеть-то?

ЖЕНЯ. Ты подожди. Мы сначала с ним вдвоем пойдем. Ты придешь через час.

Безгадов удивлен: у него вырывается звук, похожий на короткую икоту.

Женя берет мальчика за руку.

Идет с ним к выходу.

Оборачивается и показывает язык.

Уходит.

Безгадов открывает настежь окно на улицу.
Отходит от него в противоположный конец комнаты.
Разбегается.

Добежал до подоконника,
вскочил на него,
побалансировал руками, стоя на подоконнике.
Возвращается обратно в другой конец комнаты.
Разбегается снова и,
пробегая мимо стола,
хватает кусок колбасы,
садится на подоконник,
ест колбасу.

Загс. Внутреннее убранство. Счастливый служащий за столом.

К столу подходят Женя и мальчик.

Счастливый служащий встает им навстречу (он счастлив от воображения чужой любви, как бы организуемой им посредством документа).

Женя с мальчиком у стола.

— Я хочу усыновить этого ребенка.

Счастливый служащий жмет ей руку.

Подает руку и мальчику.

— Очень рад. Добра Советская страна! Позвольте ваш документик.

Женя дает ему паспорт.

Счастливый служащий берет паспорт,
садится,

высовывает влажный язык, наслаждающийся при исполнении служебных обязанностей (когда он пишет, язык его делает те же примерно движения, что и его перо).

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЖАЩИЙ. Имя ребенка? Сколько лет?

Женя в недоумении.

Она глядит на мальчика.

Мальчик садится в кресло.

МАЛЬЧИК. Если б были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как. Я все позабыл.

Служащий прячет язык.

— А вы согласны усыновляться?

Пауза.

МАЛЬЧИК. Приходится.

СЛУЖАЩИЙ. Как же позволите записать?

МАЛЬЧИК. Пиши меня Степкой.

СЛУЖАЩИЙ (*высовывая язык*). Степан?! Звучно ли это? Как вы находите?

ЖЕНЯ. По-моему, звучно.

Служащий страстно пишет, работая в такт высунутым языком.

— А лет сколько?

МАЛЬЧИК. Пиши десять, одиннадцатый. Скорее в Красную Армию пойду.

Все стоят.

Служащий прощается со Степаном.

ЖЕНЯ (*Степану*). Ступай, позови сюда отца. Я здесь подожду.

Степан уходит.

СЛУЖАЩИЙ. Ах, у него и отец есть?

ЖЕНЯ. Сейчас будет.

Садится в кресло.

Служащий уходит из-за стола.

Возвращается с небольшим букетом цветов.

Подает цветы Жене.

— Это вам от нашего государства.

Пустая комната Жени.

Обильно накрытый стол.

Голоса и звуки шагов за дверью — в коридоре.

Входит Женя.

Входит Безгадов со Степаном на руках.

ЖЕНЯ (*снимая синий плащ*). Ну, вот у нас с тобой сразу готовый сын, сразу эпоха освоения.

Безгадов издает икающий звук.

Ссаживает Степана с рук.

Отряхивается.

— Лучше б сначала было строительство тяжелое, потом легкое, потом уж освоение.

СТЕПАН. Мама! Довольно вам глупости говорить, а то я вас брошу.

Женя хватает Степана на руки,
прижимает его к себе
и целует.

Безгадов издает икающее восклицание, оперирует руками вокруг Жени:

— Рук некуда приложить.

Звонок телефона.

ЖЕНЯ. Обождите... Гости на свадьбу идут...

Спускает Степана с рук,
хлопочет у стола.

СТЕПАН. Будет вам задаваться своей свадьбой-то! Форсуны!

Степан берет подушку с постели.

Идет с подушкой в кухню.

Кладет подушку на газовую плиту.

Снимает кастрюльки, сковородки с плиты.

Комната Жени.

Женя и Безгадов.

Голоса за дверью.

Стук нескольких рук.

Затемнение.

Тишина. Сумрак.

Комната Жени.

Стол с истраченной закуской, с пустыми бутылками вин, обычный беспорядок после гостей.

Кровать Жени, на ней тесно спят трое — Женя, Степан и Безгадов — мальчик посредине, муж и жена по краям.

В окне — заря ясного будущего дня.

Безгадов шевелится во сне и
вываливается из-под одеяла на пол.

Лежит в белье на полу, не проснувшись.

Спит.

Затемнение.

На кровати спит один Степан.

Около кровати маленький столик: на нем готовый детский завтрак — булка, масло, бутылка молока, стакан кофе; на этом стакане листок бумаги — записка.

Стучат в дверь.

Степан спит.

Стучат второй раз.

Дверь приоткрывается.

Заглядывает почтальон.

Осторожно входит.

Кладет газету на стол.

Видит спящего ребенка.

Подходит к постели.

Осторожно гладит его рукой по голове.

Берет записку со стакана.

Читает.

Записка печатными буквами:

«МИЛЫЙ СТЕПА! ЕШЬ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЗАХОЧЕШЬ
ЕЩЕ — НАЙДЕШЬ В ШКАФУ. МЫ НА РАБОТЕ. ПРИНЕСУ
КНИЖКИ И ИГРУШКИ. СХОДИ ПОГУЛЯЙ НЕМНОГО.
ТВОЯ МАМА ЖЕНЯ».

Кладет записку обратно.

Берет бутылку молока.

Пьет половину бутылки.

Ставит ее обратно.

— Ужасно много оставляют ребенку. Обкармливают детей!

Вынимает из закоулков сумки старые, погашенные марки. Кладет их на столик, где завтрак.

— Пускай играет — ум развивает. По маркам все видно: где фашизм, где коммунизм, где посредственно.

Уходит.

Вестибюль кинотеатра: кассы, очередь людей за билетами, рекламные афиши, дверь в кабинет директора, окошко администратора.

Среди публики группа: Катя Бессоне-Фавор, Константин Неверкин и еще трое их товарищей: двое юношей, одна девушка.

Между ними какое-то разногласие:

Катя Бессоне и Неверкин спорят и ссорятся.

Катя отходит от Неверкина.

Она становится к окну администратора — спиной к зрителю.

Говорит туда.

Отходит.

Стучит в дверь директора.

Входит в его кабинет.

Кабинет директора кинотеатра изнутри.

За столом директора — Безгадов.

К столику подходит Катя Бессоне.

— Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, билет.

БЕЗГАДОВ (*рассеянно*). Билет в кассе... А вы кто будете?

КАТЯ. Да просто так — никто. Я девушка.

БЕЗГАДОВ. Девушка! Смотря какая — знатная или нет?

КАТЯ (*печально*). Нет, я обыкновенная.

БЕЗГАДОВ. Обыкновенная?! Что же так — пора уж знатной быть!

КАТЯ. Я хотела, но не велят. Я хотела прыгнуть с десяти тысяч метров, только у меня сердце болит. Раньше оно не болело.

Пауза.

Безгадов сосредоточенно, даже глубокомысленно занимается.

Катя стоит, затем —

берет со стола бланки пропусков,

рассеянно отрывает один бланк,

держит его в руке.

БЕЗГАДОВ (*вспомнив о посетительнице*). Сердце болит?! Пусть перестанет и не болит.

КАТЯ. Не может. Оно любит и ослабело.

Безгадов, кратко икнув:

— Любит? Напрасно. Кого?

КАТЯ. Так — одного. А он нечаянно разлюбил меня.

Садится у стола.

Бойтся заплакать: морщит лицо в усилии, чтобы оставить его равнодушным.

Безгадов протягивает к ней руку через стол: не достает.

Берет линейку.

Линейкой дотягивается и гладит ей волосы этой линейкой.

Стук в дверь.

БЕЗГАДОВ (*рассеянно*). Да, да!

Бросает линейку.

Показывается Константин Неверкин.

Является к столу.

НЕВЕРКИН. Товарищ директор! Там билеты все проданы, остались одни откидные стулья, — скажи, пожалуйста, чтоб их продавали.

КАТЯ (*кратко*). Костя! На тебе контрамарку.

Отдает ему листок из рук.

НЕВЕРКИН (*беря контрамарку*). Четыре же нужно!

КАТЯ. Пять! Я — пятая.

БЕЗГАДОВ. Глазами поморгать захотели? Ступайте — моргайте! Кино — для моргающих!

У Кати льются слезы,

но она храбро глядит на Безгадова преувеличенно открытыми, точно ничего не случилось с ней, глазами.

Неверкин стоит с чуждым, равнодушным видом.

КАТЯ. Товарищ директор! Это — Костя: он меня не любит.

НЕВЕРКИН. Нет, нипочем!

БЕЗГАДОВ. А почему?

НЕВЕРКИН. Вопрос! Мировоззрением не сошлись.

БЕЗГАДОВ. Дайте пропуск: я напишу два места.

КАТЯ. Нам с Костей?.. Спасибо!

Неверкин дает листок.

Безгадов берет и пишет.

— Не с Костей, а с Ваней: со мной. Мне нравится ваше мировоззрение.

Отдает пропуск Кате.

Та берет его.

БЕЗГАДОВ. Ступайте в зал. Я сейчас приду. Особо не моргайте!

Катя встает.

Неуверенно движется к двери,

быстро пудрит личико,

уходит.

Безгадов закрывает стол ключами.

Неверкин стоит озадаченным, напрягая лицо и лоб для размышления.

Безгадов выходит из-за стола,
берется за выключатель.

НЕВЕРКИН. А я?

БЕЗГАДОВ. А вы завтра на дневной сеанс придете.

Тушит свет.

Уходит.

Остается силуэт Неверкина.

НЕВЕРКИН. Ну и гад!.. Во картина — боевик в одной серии!

Затемнение.

Ночь. Из московского кинотеатра выходит поток людей.

Из потока отделяется Безгадов под руку с Катей.

Они уходят по тротуару.

Безгадов низко склоняется к лицу Кати.

Из подъезда дома, где живут Безгадовы, выходит Степан с маленьким чемоданом в руках.

Глядит направо-налево по улице.

Направляется по тротуару, мимо сотен спешащих людей.

Он идет медленно.

Останавливается.

Внимательно всматривается в лица всех пожилых людей — мужчин и женщин:

— Все чужие ходят: отца-матери нету. Беда да и только!

Идет неуверенно далее.

ГОЛОС ЖЕНИ:

— Степа!

Она бежит через дорогу.

Степан останавливается.

Свистки милиционера.

Бегут два милиционера к Жене.

Женя хватает на руки Степана.

Милиционеры подбегают к матери и сыну.

Женя стоит, держа на руках Степана.

Милиционеры останавливаются около нее, улыбаются и отдают честь.

Женя несет Степана на руках.

ЖЕНЯ. Ты куда собрался?

СТЕПАН. По своему делу.

ЖЕНЯ. По какому своему?

СТЕПАН. Отца-мать искать.

ЖЕНЯ. Зачем? Ведь я твоя мама.

Степан молчит, потом:

— А отец где? Одной матери мало.

ЖЕНЯ. Он на работе, скоро придет... Ты что? — Ты со-
скучился, ты плакал по мне?

СТЕПАН. Ничто не плакал. Я чемодан в дорогу собирал...
Харчи накладывал туда.

Дом Жени.

Около подъезда стоит одна Катя Бессоне.

Женя опускает сына на тротуар.

Степан смотрит на верхние этажи дома.

Свет в окне на третьем этаже.

СТЕПАН. Отец пришел. Свет горит, а я потушил.

Степан входит в подъезд.

Женя идет за ним.

Свет в окне на третьем этаже.

Свет гаснет.

Катя прохаживается по тротуару.

Из подъезда поспешно вырывается Безгадов, в то время
как рука Жени удерживает его

и на мгновение показывается сама смеющаяся Женя,

и затем она скрывается в подъезде.

Безгадов идет рядом с Катей, тяжело дышит, говорит Кате:

— Я обязан был мамочке сказать, что я еще погуляю.

КАТЯ (*беря Безгадова под руку*). А может, детишкам?

БЕЗГАДОВ. Не надо пошлости!

Идут под руку.

Безгадов вдруг освобождает свою руку от Кати.

Сует руки в карманы.

— Я, кажется, спички забыл.

Темное окно на третьем этаже.

Вспыхивает свет.

Катя и Безгадов.

КАТЯ. Вы же не курите!

БЕЗГАДОВ. Ах да! Я ведь бросил.

Освещенное окно третьего этажа.

В окне появляется лицо Степана.

Степан озирает улицу.

Появляется фигура Жени в окне.

Женя отворяет окно.

Женя и Степан, улегшись на подоконнике, глядят на улицу, вослед Безгадову и Кате.

Степан кричит (видно по движению рта) неслышные слова — «папа, иди домой, стервец!»

Безгадов и Катя в лицо.

Безгадов слышит слова, падающие на него из воздуха: «папа... стервец!»

Катя не слышит или не понимает этих слов.

Вдали — позади идущей пары — видны две головы — Жени и Степана, глядящие вслед Кате и Безгадову с высоты третьего этажа.

Безгадов, освобождая руку от Кати:

— Пойду вернусь за спичками, я опять захотел курить.

КАТЯ. Вредно же. Потерпите, пока меня провожаете. Неужели трудно?

БЕЗГАДОВ (*мужественно*). Нет, легко.

Проходят, не оборачиваясь.

Новый дом. Цветник, освещенный откуда-то электричеством.

Стоят Катя и Безгадов. Он держит ее руки в своих.

КАТЯ. Значит, вы меня так сразу и полюбили?

БЕЗГАДОВ (*убежденно*). Враз.

КАТЯ. Ну ладно, любите, не забывайте! Спокойной ночи.

Вырывает свои руки.

Бежит в подъезд.

БЕЗГАДОВ. Подождите. Когда же мы с вами встретимся... Катя!

КАТЯ (*оглянувшись*). Когда-нибудь. Когда в кино приду.

Исчезает в подъезде.

БЕЗГАДОВ (*один*). А жизнь ведь неплохая!.. Протерпим!

Трамвайная остановка поздно ночью.

Стоят несколько пассажиров — среди них Безгадов и почтальон с пустой, худою сумкой.

Подходит пустой трамвай.

Пассажиры, кроме Безгадова и почтальона, садятся в моторный вагон.

Безгадов входит в прицеп, где лишь одна кондукторша.

За ним — почтальон.

Трамвай поехал.

Безгадов вынимает пять рублей, дает кондукторше.

ПОЧТАЛЬОН. Сдачи нет, гражданин, перейдите на остановке в моторный вагон.

КОНДУКТОРША. Сдачи нет, гражданин.

Безгадов глядит на них обоих,

а они — на него, как невинные: это те же лица, которые Безгадов видел с бульвара, когда целовался с Женей.

БЕЗГАДОВ. У меня мелочь есть.

Роеется в кармане.

Дает кондукторше деньги.

ПОЧТАЛЬОН. Тьфу ты, случайность какая! *(И, перехватив деньги из рук Безгадова, считает их.)* Здесь только девять копеек! Ступай гражданин, на мотор, не утомляй сам себя и кондуктора.

Трамвай останавливается.

Почтальон отдает деньги Безгадову.

БЕЗГАДОВ *(почтальону)*. Жене изменять пришел?

ПОЧТАЛЬОН. Дура! Здесь любовь, а не измена. *(И осторожно обнимает кондукторшу.)*

Через переднюю площадку входит вагоновожатый:

— Что ж, мы будем до утра здесь стоять?! Или как?!

ПОЧТАЛЬОН. Трогай! *(И дергает бечеву звонка.)*

Вожатый уходит.

Почтальон достает из кармана монету,

дает ее Безгадову:

— На тебе копейку, возьми билет. Ты нам безразличен: не фигура!

Трамвай поехал.

Безгадов бросается в задний тамбур и соскакивает на ходу.

Темная комната Жени.

Отворяется дверь.

Входит на носках Безгадов.

Включает свет.

На кровати спят, обнявшись, Женя с сыном, беспомощные и бессознательные.

На столе, на чистом полотенце — котлета, бутерброд, стакан молока: ужин, оставленный для Безгадова.

К короткому диванчику приставлен стул и сделана постель.

Безгадов берет котлету,
сжевывает ее сразу всю,
выключает свет: тьма.

Утро. Безгадов лежит на коротком диванчике. Около него стоит Женя.

ЖЕНЯ. С кем ты вчера был?

БЕЗГАДОВ (*устало*). А!.. Да это двоюродная сестра тут очутилась.

ЖЕНЯ (*счастливо улыбаясь*). А я подумала... другое. Приведи ее к нам.

БЕЗГАДОВ (*зевая*). Ладно... Надоест еще.

Женя надевает пальто, шапочку,
берет чемодан — железный сундучок,
целует спящего Степана.

Целует Безгадова.

Знак прощания рукой,
уходит.

Безгадов закрывает глаза.

Стук в дверь.

Безгадов спит или дремлет.

Дверь приотворяется.

Показывается лицо почтальона.

Он кладет газету на стул, ближайший к двери.

Глядит, узнавая, на лицо Безгадова.

Безгадов открывает глаза,

видит почтальона,

вскрикивает:

— Ведь ты же сон, дьявол!

Голова почтальона исчезает.

Безгадов садится на диване.

— Или не сон!

Смотрит в сторону спящего Степана.

Степан спит.

Безгадов встает,
идет к постели Степана,
становится перед его кроватью на колени,
наблюдает спящего ребенка.

Затем осторожно целует его в щеку.

Степан ворочается, говорит:

— Папа, разбуди меня...

Безгадов расталкивает Степана.

Тот открывает глаза, просыпается,
глядит на отца, понимает обстановку, говорит:

— Папа?! Ты тут? А я страшный сон сейчас посмотрел!

Опять нету никого — ни отца, ни матери, один я живу и еще тетка...

Безгадов поглаживает ребенка через одеяло.

Степан успокаивается.

Безгадов садится к нему на кровать, вынимает его из-под одеяла, сажает себе на колени...

БЕЗГАДОВ. Ты должен теперь всех теток позабыть!

СТЕПАН (*перебирая рубашку отца*). Да... А сам вчера с чужой теткой под ручку шел... Ты люби одну маму, а теток не надо.

Пауза.

БЕЗГАДОВ (*кратко икнув*). Больше не буду...

Степан сходит с рук Безгадова.

Надевает штаны, рубашку,

Безгадов помогает ему.

СТЕПАН (*протяжно*). Давай жить смирно... Давай с тобой трудиться, будем маму ждать...

Безгадов начинает прибирать постель,
он суетится по комнате в хозяйском усердии.

Степан ест булку, пьет молоко за столом,
глядит на отца, затем говорит ему:

— Старайся, старайся, гуляй поменьше...

Затемнение.

Удаленная мелодия напряженно работающей машины,
затем эта мелодия приближается и —
вплотную звучит с экрана.

Товарный большой паровоз на большой скорости идет в экран.

Правая сторона паровозной будки: из окна глядит вперед черный машинист.

Левая сторона машины: из окна следит за работой ведущего механизма чумазая Женя, помощник машиниста.

Левая машина в форсированной работе.

Женя: она делает движение рукой в механизме управления внутри будки — поворачивает штангу сифона.

Паровоз начинает энергично сифонить.

Паровозная будка изнутри: справа машинист, слева Женя, между ними механизм управления машиной.

Машинист напевает.

Паровоз идет.

МАШИНИСТ (*в сторону Жени*). Джина! Кран!

Женя открывает кран продувки цилиндров.

В будку находит извне пар; окутывает фигуры людей.

Женя закрывает кран, пар рассеивается.

МАШИНИСТ (*глядя вперед, тревожно*). Джина! Джина!..

Машинист резко закрывает регулятор левой рукой, другой рукой дает три гудка,

кран тормоза ставит в положение экстренного торможения, вращает реверс обратного хода.

Женя далеко высовывается в окно, глядит вперед.

Путь, бегущий навстречу паровозу.

Вдали — высокий человек с длинной палкой неуверенно пробует этой палкой рельсу, сам находясь у откоса балластного слоя песка.

Его тянет за полу армяка вперед через рельсы совсем маленький ребенок, на вид лет трех-четырёх.

Человек с палкой вступает вслед за маленьким поводырем на рельсы и опять ориентируется палкой вокруг себя.

Тройной сигнал паровоза.

Поводырь глядит в сторону паровоза, оставляет высокого человека одного на рельсах, а сам перебегает путь —

и прячется в траве, растущей по кювету (водосточной канаве).

Долгий, прерывистый сигнал (сирена) паровоза.

Высокий человек, ориентируясь палкой, вращается вокруг самого себя.

Он делается в экране все более крупным — от приближения к нему точки съемки — идущего на него паровоза.

Высокий человек — старик с бородой, в темных очках — он слепой; он находит палкой свободное пространство между рельсами.

Сигнал паровоза.

Слепец бросается бежать между рельсами в сторону от паровоза,

бежит по шпалам,

на бегу он пробует палкой то правый, то левый рельс и —

Сигнал паровоза.

Будка паровоза.

МАШИНИСТ. Кран!

Женя открывает кран продувки цилиндров.

Женя кричит машинисту:

— Давай полный назад!

Машинист двигает рычаг регулятора до середины дуги.

Машина паровоза: из-под цилиндра — из кранов — вырываются воюющие вихри пара.

Из-под тормозных колодок сверкает и брызжет огонь.

Будка паровоза. Женя ведет регулятор по сектору дуги до отказа.

Машина паровоза: из-под цилиндра вырываются еще более ожесточенные вихри пара.

Из-под тормозных колодок — огонь.

Сигнал паровоза.

Слепец мчится между рельсами от паровоза.

Будка паровоза.

ЖЕНЯ. Не удержим! Надо края закрыть!

МАШИНИСТ. Нет. Сломаем машину. Опасно будет!

Женя выглядывает в окно на путь.

Слепец бежит близко.

В стороне, параллельно ему, бежит изо всех сил мальчик-поводырь.

Женя берется за края цилиндров.

МАШИНИСТ. Джена! Не надо!

Женя закрывает кран.

— Уже!

Машина паровоза: вихри пара из-под цилиндра.

Они сразу прекращаются.

Одновременно с этим: дышла перестают вращать колеса, замирают неподвижно,

но паровоз по-прежнему движется вперед: он ползет юзом.

Буферная сцепка паровоза (тендера) с составом: диски буферов — паровоза и переднего вагона — сжали пружины до отказа — состав жмет с могучей инерцией.

Будка паровоза.

ЖЕНЯ. Давай песок!

Машинист открывает песочницу.

Женя, высовываясь из окна, склоняя голову к машине:

— Песок не идет!

Машина паровоза в прежнем положении; около бандажа колеса конец трубки — из него ничего не сыплется.

Будка паровоза. Женя хватает большой гаечный ключ.

Открывает из будки дверь на котельную галерею паровоза.

Выбегает на эту галерею.

Поперек котла идет из песочного ящика сверху вниз — под колеса — трубка.

Женя стучит по этой трубке гаечным ключом.

Слепец бежит.

Мальчик-поводырь бежит изо всех сил в стороне параллельно с ним.

Сигнал паровоза.

Поводырь бросается на рельсы — к слепцу.

Котельная галерея паровоза. Женя бьет ключом по песочной трубке.

Будка паровоза. Мокрый черный машинист манипулирует рычагом регулятора.

Слепец бежит.

Мальчик-поводырь бежит за ним в упор — так же, как и слепец, между рельсами.

Совсем близкий сигнал паровоза.

Поводырь с разбегу вскакивает на спину слепца,

ухватывается за его плечи,
взбирается на него,
садится верхом на плечи (вокруг шеи).
Старик слепец шатается,
сокращает бег,
бросает палку.
Паровоз идет почти вплотную за его спиной.
Поводырь хватает слепца за уши,
поворачивает ему голову влево.
Женя — у котла на галерее паровоза.
Машина паровоза в прежнем мертвом положении, а паровоз идет юзом.
Песочная трубка у бандажа колеса паровоза.
Из нее пошел песок.
Дышла паровоза, висевшие неподвижно, тронулись назад.
Они (дышла) вращают колеса паровоза в сторону, обратную движению всего паровоза.
Это вращение ускоряется,
из-под бандажей паровоза, трущихся о рельсы, брызжет огонь.
Мальчик верхом на еле бегущем слепце.
Мальчик сворачивает ему за уши голову налево по ходу бега.
Слепец сворачивает налево.
Спотыкается о рельс.
Падает вместе с поводырем за линию балластного слоя; катятся оба в канаву, заросшую травой.
Паровоз извне: он стоит; по машине, по котлу текут капли масла, воды, жидкой грязи. Машинист и Женя возле него. Они ощупывают машину, гладят бандажи, осматривают детали.
Слепой лежит на откосе канавы; он тяжело дышит, по лицу его из-под темных очков текут ручьи грязного пота и слез.
Из бурьяна выглядывает лицо ребенка-поводыря; его черные глаза смотрят с крайним любопытством.
Женя: она сидит на корточках против поводыря, спрятавшегося в бурьян.
Пауза.
Женя и мальчик рассматривают друг друга.
ЖЕНЯ. Ну здравствуй, человек!

ПОВОДЫРЬ. Здравствуй.

Женя протягивает руку поводурию.

Паровоз извне.

Мальчик ведет слепца за полу армяка, подводит к лесенке (трапу) паровоза.

За ним — Женя.

Она подсаживает, помогает взобраться на паровоз новым пассажирам.

ЖЕНЯ. С нами скорей доедете.

Все трое входят по лесенке в будку паровоза и скрываются там.

Товарная станция в Москве.

Стоит паровоз.

Около паровоза — Женя, слепец с поводурием, машинист, дежурный в красной фуражке. Машинист пишет в книге, которую перед ним держит дежурный по станции. Женя пишет в своей маленькой записной книжке, затем вырывает листок и подает его мальчику-поводурию:

— Вот... Там написано, где я живу. Приходите обязательно ко мне в гости.

Поводырь берет листок

Уводит слепого за собой.

Книга дежурного по станции закрывается.

Дежурный и машинист делают друг другу под козырек.

Дежурный уходит.

Из тендерного крана льется вода;

Женя возле него вытирает лицо полотенцем — она теперь стала белая, чистая.

Подает мыло машинисту.

Закопченный машинист умывается из-под крана, с него ручьями льется грязь, но он остается черным, он — негр.

Женя дает ему полотенце, улыбаясь:

— Такой же черный!

МАШИНИСТ. Джена, ты шовинист, ты против негра.

ЖЕНЯ. А ты за кого?

МАШИНИСТ. Я за тебя, за вас.

ЖЕНЯ. Люсьен! У меня сын дома есть. Отведи сам машину в депо, а я пойду.

МАШИНИСТ ЛЮСЬЕН. Олл райт, Джена! Ну пожалуйста.
ЖЕНЯ. Спасибо, Люсьен...

Прощаются.

Женя уходит с сундуком-чемоданчиком в руках.

Люсьен один: он смотрит вслед ушедшей Жене.

Склоняет голову,

смотрит себе на грудь.

— Сердце захотело полюбить Джену!

Бьет себя кулаком по груди:

— Нельзя! Финиш! Люби паровоз.

Москва. Под вечер. Фасад того дома, где живет Катя Бесоне.

Прохаживается Неверкин,

глядит по этажам вверх,

свистит губами трижды.

В окне на четвертом этаже открывается форточка,

оттуда высовывается рука,

рука машет приветствие,

и затем кисть руки складывается в кукиш.

Неверкин глядит туда,

напевает тихо «Как родная меня мать...»,

а конец куплета поет громко, поднимая лицо вверх — к окну:

— Без тебя большевики обойдутся!

Катя высовывает голову из форточки; она стоит за стеклом ногами на подоконнике, кричит оттуда:

— А ты — тоже без меня обойдешься?

НЕВЕРКИН. Ну конечно! Какая разница!

КАТЯ. погоди, не обходишь! Я сейчас выйду к тебе!

НЕВЕРКИН (*самодовольно*). Да то-то!

Катя и Неверкин сидят на скамейке, около цветника.

Светит вечернее солнце на небе и освещает щеку Кати и ухо ее, в котором висит небольшая золотая серьга с синим камнем.

Катя печальная.

Неверкин держит одну ее руку.

КАТЯ. А тебе они очень нужны?

НЕВЕРКИН. Вопрос! Терпенья нету — вот как нужны!

КАТЯ. Тогда бери...

Приближает к Неверкину свое лицо.

Неверкин вынимает из ее ушей маленькие золотые сережки.

Катя медленно говорит Неверкину:

— Ведь это твой подарок... Я любила их...

НЕВЕРКИН. Обойдешься так! Люби меня духовно...

Прячет серьги к себе в карманчик пиджака, завернув их в бумажку.

Катя молча следит за ним, потом:

— Ты их другой невесте подаришь!

НЕВЕРКИН (*вставая*). Вопрос! А хотя бы и так... Ну пока!

Уходит, не подав руки.

Катя остается сидеть одна на скамье.

Она глядит вслед Неверкину пустыми глазами.

В глазах ее скапливаются слезы; она борется с ними, морща лицо.

Невдалеке от нее на дорожке появляются почтальон и кондукторша без своих сумок; они идут под руку, прогуливаясь.

Они против скамьи, где сидит Катя.

Почтальон бдительно разглядывает Катю.

ПОЧТАЛЬОН. Горе есть на свете: надо меры принимать...

Проходят оба.

Катя одна; она как спящая с открытыми глазами.

Она пробует мочки своих ушей, где висели серьги.

Она встает,

глядит на небо, —

там белые горы облаков, освещенные вечерним солнцем, простое голубое пространство.

Катя идет по садовой дорожке.

На выходе из сада — лоточница; в лотке, в сладях роятся почтальон и кондукторша.

Появляется Катя.

Почтальон видит ее.

Катя равняется с ними.

ПОЧТАЛЬОН (*Кате*). Обсохни глазами, дочка...

Катя останавливается и смотрит на почтальона.

ПОЧТАЛЬОН. Пойдем с нами в кино улыбаться...

КАТЯ (*равнодушно*). Пойдемте,
Шагают трое: почтальон посередине ведет под руки двух дам.

Вестибюль кино: многолюдство, касса, на кассе надпись — «Билеты остались по 4 рубля».

Группа — почтальон, кондукторша, Катя.

Почтальон роется в кошельке, считает свои деньги, говорит:

— Не хватает.

КАТЯ. Я сейчас...

Быстро отходит от них.

Кабинет Безгадова. Безгадов за столом.

Стук в дверь.

— Войдите.

Входит Катя.

Безгадов встает.

— Опять вы?! Вы эту картину уже видели...

Катя молча стоит.

Редкие слезы выходят из ее глаз и текут по лицу.

КАТЯ. Мне интересно...

БЕЗГАДОВ. Пожалуйста.

Подает ей пропуск.

У Кати льются слезы.

БЕЗГАДОВ. Что с вами?

Катя закрывает лицо руками.

Безгадов бросается к ней.

КАТЯ. У меня серьги вынули из ушей...

Безгадов гладит ее по голове, утешает:

— Я вам другие куплю.

Обнимает ее.

Катя, держа руки на лице, раздвигает пальцы — таким образом, что может глядеть, и глаза ее видны; она смотрит на Безгадова.

КАТЯ. Вы меня правда сразу тогда полюбили?

Он слегка раздвигает ей кисти рук на ее лице и целует в губы.

КАТЯ. А я сразу не могу, я постепенно...

Дверь тихо приотворяется,

появляется Степан,
за ним почтальон (почтальон остается в дверях наблюдателем).

Безгадов и Катя стоят в объятиях.

СТЕПАН. Папа! Это чья тетка?

БЕЗГАДОВ (*опомнясь, отстраняясь от Кати*). Ты зачем сюда пришел?

СТЕПАН. Кино смотреть по блату. Дай мне билет без денег.

Безгадов пишет ему пропуск.

Катя пытается погладить Степана по голове,

Степан отводит ее руку.

ПОЧТАЛЬОН. Фу ты, странность какая!

Безгадов в ужасе глядит на почтальона:

— Ты кто?

ПОЧТАЛЬОН. Да тут в Наркомате одном незначительном работаю: служащий связи, член профсоюза...

Скрывается за дверью.

Степан уходит, взяв пропуск.

КАТЯ. Это... ваш сын?

БЕЗГАДОВ. Нет, так... один чужой чертенок! От меня не бывает.

Катя садится на стул.

— Скучно... Хочется чего-то...

Безгадов, подходя к ней, кладя ей руку на плечо.

— Ну, чего же?

Катя, сразу припадая к нему, пряча лицо:

— Вечной любви...

БЕЗГАДОВ (*невнимательно лаская ее*). Это можно.

Пустая комната Жени.

Звук поворачиваемого ключа в дверном замке.

Дверь открывается. Входит Женя — с тем ручным чемоданчиком-сундуком, с которым она ушла с паровоза.

Женя кладет чемодан на стул,

берет записку со стола,

читает ее.

Записка детскими буквами:

«МАМА Я В КИНЕ К ОТЦУ ПОШЕЛ ПО БЛАТУ А В ОПЩЕМ ДО СВИДАНИЯ СТЕПАН».

Женя улыбается,
прячет к себе записку,
берет сумочку,
вынимает оттуда зеркальце,
пудрится,
надевает другую шапочку
и уходит.

Фасад вечернего, яркого кинотеатра.

Публика. Вход в театр.

Появляется Женя, входит в театр.

Вестибюль. Дверь кабинета директора.

Из кабинета выходят Безгадов и Катя.

Безгадов запирает на ключ кабинет.

Женя в вестибюле; она видит их.

Безгадов берет Катю под руку.

Женя отворачивается к стене,

в смущении гладит стену ладонью.

На нее смотрит публика.

Безгадов идет с Катей к выходу.

и они уходят.

Жалкая и печальная Женя робко пробирается среди публики к выходу.

Окно-витрина ювелирного магазина.

Безгадов и Катя рассматривают вещи в витрине.

Фигура Жени стоит в темной нише — около этого окна, в нескольких шагах от Кати и Безгадова.

Безгадов и Катя вблизи.

КАТЯ (показывая пальцем на серьги в окне). Вон какие были у меня: не очень хорошие.

БЕЗГАДОВ. Будут лучше. Завтра куплю.

Московская ночь. Блестит вымытый асфальт почти пустой улицы: вдаль идет пара — Безгадов и Катя. Ближе к зрителю осторожно идет Женя, вслед уходящей паре.

Фасад дома, где живет Катя Бессоне.

Парадная дверь с улицы.
Появляются Безгадов и Катя.
Входят в эту дверь.
В экране — дверь с улицы. Пауза. Никого нет.
К двери подбегает Женя.
Отворяет ее, исчезает за дверью.
Полутемный, смутный тамбур парадного входа.
В тамбуре прячущаяся фигура Жени; издали слышится неразборчивый разговор Безгадова и Кати: одни голоса.
Голоса умолкают. Пауза. Женя стоит в безмолвии.
Звук отчетливого двухкратного поцелуя.
Краткий вопль Жени.

Пустая, блестящая искусственным светом ночная улица.
Женя бежит одна, в плаще, без шапочки, волосы ее пришли в беспорядок.

Темный кадр. Звук ключа в двери.

Свет: вошедшая Женя зажгла электричество в своей комнате.

На кровати спит одетый Степан.

Женя осторожно разувает его, расстегивает ему пуговицы, покрывает одеялом.

Тушит свет.

Утро в комнате Жени: на кровати спят Женя и Степан.

Звук ключа в двери.

Осторожно, испуганно входит Безгадов.

Женя открывает глаза, встает и садится на постели.

ЖЕНЯ. Уходи от нас.

БЕЗГАДОВ. А в чем дело?

Женя сходит с кровати, идет в ночном белье к шкафу, отворяет его, роется там, вынимает коробочку, открывает ее — в коробочке большие серьги.

ЖЕНЯ (Безгадову). Подари ей.

Подает ему коробочку.

Безгадов берет коробочку, глядит на серьги, кладет коробочку на стол.

БЕЗГАДОВ. Ухожу...

Вытаскивает чемодан из-под дивана, открывает его, бросает туда носки, галстуки, книжки и пр.

Женя сидит на кровати.

Она будит Степана.

Тот просыпается, смотрит внимательно на мать и отца.

ЖЕНЯ. Вставай, Степан, отец уходит от нас.

Степан садится в кровати.

— Папа, ты куда? — К тетке в кино?

БЕЗГАДОВ (*укладывая вещи*). Да, Степан. Теперь прощай...

СТЕПАН. А зачем ты обнимаешь свою тетку? Любил бы лучше одну маму.

БЕЗГАДОВ. Вырастешь, узнаешь, Степан.

Степан задумчив и печален:

— Я жду, когда только вырасту... А тогда искалечу тебя!

БЕЗГАДОВ (*напряженно*). За что?

СТЕПАН. Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить... Пускай у них будет отец, а то у меня нету...

Пауза.

Безгадов оборачивается, глядит на Женю и Степана, тихо:

— Женя, можно я останусь?

ЖЕНЯ. Не забудь свой второй чемодан взять... Хочешь, я тебе помогу скорее собраться и уйти?

БЕЗГАДОВ (*мрачно*). Не надо. Сам управлюсь.

Стук в дверь.

Дверь открывается.

Почтальон: он протягивает газету.

БЕЗГАДОВ (*на почтальона*). Вот еще черт явился! Обожди, я с тобой пойду.

Почтальон вошел в комнату, вынул часы.

— План я перевыполняю: можно обождать.

Степан, сидящий на кровати рядом с Женей, опускает голову на спинку кровати.

Безгадов закрывает два чемодана.

Один дает почтальону.

— Помоги вынести!

Почтальон берет чемодан.

Безгадов поднимает чемодан,

молча уходит с ним за дверь.

Почтальон — направляется за Безгадовым, в дверях он оборачивается;

Степан поднимает лицо со спинки кровати: оно у него заплакано.

Почтальон ставит чемодан на пол,
возвращается,
вынимает из закоулков своей сумки и подает мальчику почтовую марку:

— Африканская. Страна Абиссиния: вообрази ее в уме — и плакать перестанешь.

Степан берет марку.

Почтальон уходит, взяв попутно чемодан Безгадова.

Женя вытирает полотенцем лицо Степана от слез.

— Ну что ты! Не плачь, не надо...

СТЕПАН. Да, не надо, а отца опять нету!

ЖЕНЯ (*лаская его*). У тебя мама есть...

СТЕПАН. Да, мама... Нужно, чтоб двое были — отец и мать, одна мать — половинка.

Степан опять кладет голову на спинку кровати.

Женя встает с кровати,

быстро надевает халат,

проходит в кухню;

в кухне на газовой плите лежат мужские подтяжки, забытые Безгадовым.

Женя берет их, держит в руках, разглядывает.

На полу валяется грязная фотография.

Женя поднимает ее.

На фотографии изображены Женя и Безгадов в нежной позе влюбленных.

Женя вытирает фотографию рукавом своего халата, рассматривает ее с выражением воспоминанья о давнем времени.

Берет чистый лист бумаги и

завертывает в него подтяжки и фотографию.

Комната Жени. На кровати лежит, накрывшись одеялом с головой, Степан.

Женя подходит к нему,

склоняется, приоткрывает конец одеяла:

— Я скоро на работу пойду. Вставай!

СТЕПАН (*из-под одеяла*). Не буду вставать.

ЖЕНЯ. Завтра я тебе няню приведу, потом в детский сад будешь ходить, потом в школу...

СТЕПАН. Там видно будет.

Женя одета на работу: в плащ, в шапочку с паровозным значком, в руках у нее железный сундучок-чемодан; на столе завтрак, комната прибрана; Степан по-прежнему лежит укрытый с головой на кровати.

ЖЕНЯ. Значит, ты сегодня не будешь вставать, пока я не приду?

СТЕПАН. Там видно будет...

Женя подходит к нему, приоткрывает одеяло и трижды целует сына в лоб.

— Ну оставайся!.. Не надо горевать.

Комната пуста. Лежит один Степан. За окном слышны ход автомобилей, пение их сирен, стук молотков и визг пил на ближайшей постройке, вдалеке долго и тревожно гудит паровоз.

Степан садится на кровати (он в длинной детской ночной рубашке).

Медленно обводит глазами весь окружающий его комнатный мир,

сходит на пол;

портреты Сталина и Пушкина на стене.

Степан одно мгновение глядит на портреты Сталина и Пушкина (меж этих портретов фотография Жени).

(Из-за закрытого окна глухо слышится приближающаяся пионерская музыка с барабаном.)

Степан открывает шкаф, берет там лист бумаги, чернильницу, ручку,

садится к столу, пишет.

(Пионерская музыка, судя по дребезгу оконного стекла, проходит мимо самого дома.)

Степан встает из-за стола, идет к окну, становится на подоконник, открывает оконные шпингалеты,

сходит с подоконника,

отворяет обе створки окна настежь наружу.

(Пионерская музыка зазвучала теперь громко, но все же слышно, что она удаляется, затихает.)

Степан вытаскивает из-под кровати маленький чемодан — тот, с которым он уже уходил однажды, когда Женя его встретила на улице, —

открывает его,

кладет туда свою верхнюю одежду, лежащую на стуле около кровати, и старые калоши из-за шкафа, а сам остается по-прежнему в ночной рубашке.

Запирает чемодан,
несет его к платяному шкафу
и прячет туда, тщательно закрыв шкаф.

(Пионерская музыка к этому времени вовсе замолкает вдали.)

Степан уходит в открытую дверь на кухню;
несет оттуда небольшую лестницу,
приставляет лестницу к стене в комнате — к большой фотографии Жени (по сторонам этой фотографии висят большие портреты Сталина и Пушкина);

убирает постель, взбивает подушки, аккуратно покрывает постель одеялом;

берет щетку из-за шкафа,
метет ею пол,
ставит щетку на место,

берет со стола конфетку из оставленного матерью завтрака,

снимает с конфетки бумажку,
конфетку кладет в рот,

но сейчас же вынимает ее изо рта обратно и кладет на блюдечко,

а бумажку-обертку рассматривает, потом бросает и бумажку.

— Неинтересная.

Берет книжку с тумбочки,
открывает, листует ее,
бросает:

— Скучные буквы...

Поднимает трубку телефона.
Краткая пауза.

— Отчего к нам никто не звонит?..

Краткая пауза.

— Я мальчик... Отчего по телефону к нам не говорят?..
Пусть скорей говорят, а то я жду.

Кладет трубку.

Садится с ногами на стул около тумбочки.

Ждет.

Пауза.

Соскакивает со стула.

Лезет по лестнице к фотографии Жени.

Добирается. Целует Женю на фотографии.

Опускается по лестнице на две перекладины.

Останавливается в раздумье.

Опять идет наверх.

Целует Сталина на портрете (слева от фотографии).

Целует Пушкина на портрете (справа от Жени).

Спускается вниз на несколько перекладин.

С перекладины лестницы переступает на подоконник открытого настежь окна.

Стоит мгновение на подоконнике спиной к зрителю.

Делает шаг поперек подоконника — на улицу.

На втором шаге исчезает: проваливается на улицу.

(Обычный сложный гул улицы, звучавший из раскрытого окна все время, вдруг — на несколько секунд — умолкает, потом опять возобновляется.)

Комната пуста. На полу — бумажка от конфеты, брошенная книга, сор, сметенный в угол.

Стук в дверь.

Стук повторяется.

Почтальон приоткрывает дверь, заглядывает:

— Вторая почта. Заказное письмо.

Протягивает письмо.

Входит.

Кладет письмо на стол.

— Расписаться даже некому. Распишусь сам.

Открывает разносную книгу.

Расписывается тем же пером, каким писал Степан.

Берет записку Степана. Читает ее.

Звонит телефон.

Почтальон берет трубку.

— Алло! Это я! Нет, не Степка... Сейчас, сейчас...

Вытирает глаза.

— Я вам письмо заказное принес... От меня: от почтальона!.. Я сам от себя без марки принес...

Краткая пауза. Почтальон слушает телефон.

— Вы его мать? Тогда приходите домой: он сейчас покойник...

Кладет трубку.

Письмо Степана:

«ДОРОГАЯ МАМА ЖЕНЬЯ ТЫ НЕ МАМА А НЕ ПРАВДА ОТЕЦ НАС БРОСИЛ ПОЛЮБИЛ ЧУЖУЮ, ЯЖИТЬ СОСКУЧИЛСЯ А РОЖАТЬСЯ НЕ ХОТЕЛ НИКОГО НЕ ПРОСИЛ, Я ЗНАЮ КАК НУЖНО УМЕРЕТЬ ВЗЯЛ И УМЕР В ОПЩЕМ МЕНЯ НЕТУ И ПРОЩАЙ СТЕПАН».

В комнате стоит один почтальон.

Он садится на кровать.

Резко стучат в дверь.

Почтальон не шевелится.

Затемнение.

Утро. Свет играет по стенам на лестничной клетке.

Катя и Безгадов спускаются по лестнице вниз.

КАТЯ. Ты врал! Ты знал все. Ты сволочь!

БЕЗГАДОВ (*ожесточаясь*). Да замолчи ты наконец, паршивка!

Катя, приостановившись, бьет Безгадова по лицу.

— На, гад!

Безгадов хватается за свое лицо и отворачивается от боли и для самосохранения.

КАТЯ. Не спекулируй своими детьми, не ври на постели... У тебя дети погибают, а ты с бабой живешь, ты меня целуешь!..

Катя прислоняется лицом к стене.

Безгадов быстро сбегает вниз, прочь.

Затемнение.

Больница снаружи. Вход в нее.

Появляются негр Люсьен и Женя; Люсьен ведет Женю под руку, в другой руке он несет маленький букет цветов и коробку подарков.

Они поднимаются по дорожкам входа.

Из больницы открывается дверь — оттуда выходят на встречу почтальон и кондукторша.

Все взаимно раскланиваются.

ЖЕНЯ (*с тревогой*). Вы от него? Ну что он?

ПОЧТАЛЬОН. Великолепно! Одной ножки только не будет. Но сейчас же техника работает: приделают! Нога — ничто!

КОНДУКТОРША. Он здесь пополнил, такой лежит умный и хороший...

ПОЧТАЛЬОН. Мыслимое ли дело! С третьего этажа! У нас бы он не прыгнул...

ЖЕНЯ (*не понимая*). Что?

ПОЧТАЛЬОН (*сурово*). Ничего!.. Не удержала ребенка! Ну в общем до свиданья!

Раскланивается и уходит с кондукторшей.

Женя стоит растерянная. Ее осторожно поддерживает Люсьен.

Они входят в больницу.

Затемнение.

Комната Жени. Сидят одетыми Женя и Люсьен. Пауза.

ЛЮСЬЕН (*робко*). Джена...

ЖЕНЯ. Ну что?

Люсьен дотрагивается до ее руки, но сразу же оставляет ее и теряется.

— Вы... писем не читаете и газет...

На тумбочке, где телефон, лежат стопка газет и несколько запечатанных конвертов.

ЛЮСЬЕН. Почтальон просит ответа... Он два месяца ждет ответ...

ЖЕНЯ. Я знаю... Он говорил мне. Он просит, чтобы я отдала ему мальчика на усыновление. Он женился, и жена его тоже просит.

Люсьен вопросительно и нежно смотрит на Женю.

ЖЕНЯ (*беря руку Люсьена*). Я соглашусь, наверно, я во всем виновата перед мальчиком...

ЛЮСЬЕН. Вы не виноваты... Вы благородны.

ЖЕНЯ. Нет, я не знала, как надо его любить... Наверно, надо сначала самой рожать детей...

ЛЮСЬЕН (*глядя руки Жени*). Надо рожать, чтоб любить...

ЖЕНЯ (*отдергивая свои руки*). Что вы говорите?.. Я хочу любить всех детей, не одних своих...

ЛЮСЬЕН (*целуя руку Жени*). Будем... Будем всех...
Женя с печальной улыбкой трогает волосы Люсьена свободной рукой.

Стучат в дверь.

ЖЕНЯ (*освобождаясь от Люсьена*). Да...

Быстро входит Катя Бессоне.

КАТЯ. Простите... Это вы — Женя...

ЖЕНЯ. Я.

Катя обнимает Женю, целует ее в щеки и в шею.

Женя смущена и пытается освободиться.

КАТЯ. Простите меня... Я была женой вашего мужа, Ваньки Безгадова...

Женя освобождается от Кати.

КАТЯ. Не обижайтесь на меня: я узнала, что случилось с вашим мальчиком, и развелась с Безгадовым.

ЛЮСЬЕН (*вставая*). Разводиться нехорошо.

КАТЯ (*разглядывая Люсьена*). А я ему дала по лицу и разошлась.

ЖЕНЯ (*улыбаясь*). Вы милая...

КАТЯ. Ничего. Я пришла просить прощения у вас... А где мальчик — он выздоровел уже?

ЖЕНЯ. Нет. Завтра приходите, завтра его выпишут из больницы.

КАТЯ. Хорошо, я приду. Давайте водиться и будем по-другими.

Целует Женю.

Женя целует Катю.

Прощаются.

Катя уходит.

Пауза.

ЛЮСЬЕН. Джена!

ЖЕНЯ. Что, Люсьен?

ЛЮСЬЕН. А ты Ваньку Безгадова не будешь опять любить?

Женя смеется:

— Едва ли...

И она кладет руку на плечо Люсьена.

ЛЮСЬЕН (*печально, не замечая руки Жени на своем плече*). Я черный человек...

ЖЕНЯ (*держит свою руку на плече Люсьена*). Разве?..
Я это нечаянно забыла...

ЛЮСЬЕН (*улыбаясь, беря обе руки Жени в свои руки*).
Я вас серьезно благодарю.

Отворяется дверь без стука.

Женя и Люсьен оставляют друг друга.

Приходит почтальон.

ПОЧТАЛЬОН (*сразу*). Ну как, хозяйка, — надумала: отдаешь сироту?

ЖЕНЯ. Приходите завтра, поговорим еще.

ПОЧТАЛЬОН (*недовольно*). Опять тебе завтра — почтовый человек хочет сидеть, а не ходить!..

Уходит.

Пауза.

Люсьен осторожно стряхивает невидимую пыль с рукава Жени.

Женя повертывается перед ним, и

Люсьен стряхивает ей также пыль со спины.

Затемнение.

Осенняя растительность в усадьбе больницы. Аллея.
В глубине ее — крыльцо и вход в больницу.

Из больницы отворяются двери.

Выходит сначала Женя; она осторожно выводит под руку Степана; мальчик идет, опираясь на костыль. Правая нога у него немощно висит.

Женя держит Степана под левую руку, они спускаются по ступенькам.

Идут по дорожке. Степан побледнел против прежнего, голова его забинтована.

Они крупно в экране.

ЖЕНЯ. Соскучился лежать?

СТЕПАН. Ничего. Жить еще скучней было.

ЖЕНЯ. А теперь тебе лучше стало?

СТЕПАН. Обтерпелся помаленьку...

Степан оглядывает мир повсюду вокруг себя.

— Мама, купи мне птицу в клетке. Я буду думать, что она маленький человек... Вон тоже хромая собака идет по дорожке.

Пытается указать костылем вперед (по дорожке на трех ногах, волоча четвертую, плетется маленькая собака),
и теряет устойчивость, падает,
но мать удерживает его,
подымает к себе на руки.
несет на руках (костыль Степан положил матери на плечо).

Комната Жени. На столе — пирожное, конфеты, цветы, коробка с игрой мекано. В комнате сидят в ожидании: празднично одетый почтальон, явно беременная кондукторша, убранный Люсьен, элегантная Катя Бессоне-Фавор.

Почтальон встает и прохаживается, говоря:

— Интересно теперь стало существовать: каждый день тебе приходится какое-нибудь счастье. Вчера цены на пищу снизили, сегодня я сына принимаю, завтра — глядишь — стратостат полетел.

Робкий стук в дверь. Все умолкли в напряжении.

Отворяется дверь. Появляется мальчик — поводырь слепого, за ним входит сам слепой старик.

Они останавливаются в стеснении, не проходя дальше.

Мальчик-поводырь показывает записку:

— Нам тетя велела в гости прийти...

Люсьен берет у мальчика записку,
подает ему руку:

— Здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста, идите сюда!

Люсьен усаживает к столу мальчика-поводыря и рядом с ним сажает слепого старика,

а мальчика угощает конфетами.

Повторяющийся стук вдалеке по коридору — за дверью. Слышны шаги, перебиваемые жестким неопределенным стуком.

В комнате все безмолвны.

Странные шаги — в три ноги — приближаются, в такт им жестко и мертво стучит дерево по дереву.

Шаги останавливаются у двери.

Дверь отворяется.

Входит Степан, стуча по полу своим костылем.

За ним входит Женя.

Степан оглядывает людей,

смотрит на портреты Сталина, Пушкина и Жени на стене, ничего не говорит.

ПОЧТАЛЬОН. Ну что же, граждане, давайте радоваться...

Пауза. Все молчат. Женя, присев перед мальчиком-поводырем, здоровается с ним.

ПОЧТАЛЬОН. Ага! Ну не надо!.. Степан, давай собираться: теперь я твой отец... *(К Жене.)* А вы, гражданка, берите свой документик — мы заодно в загс зайдем, чтоб у вас сына зачеркнули...

Пауза.

СТЕПАН. Мне отца больше не надо.

КАТЯ *(наклоняясь к Степану)*. А мать хочешь?

СТЕПАН. Не хочу — я отвык.

Женя, не слушая никого, равнодушная к гостям, берет Степана к себе на колени и начинает сматывать с его головы бинт.

ПОЧТАЛЬОН. Как же так! Что за хамство такое! Я койку для него уже купил и щегла в клетке...

(На всем продолжении этой сцены Степан подчиняется Жене, но как бы не чувствуя, не замечая ее; Женя также совершенно равнодушна к словам и поведению Степана, — она делает с ним, что хочет, перебинтовывает, осматривает ногти, смотрит в уши, протирает глаза, и он не сопротивляется, покоряясь ей бессознательно.)

СТЕПАН. Возьми себе другого — вон другой сидит. *(Показывает на поводыря.)*

Почтальон бдительно глядит на поводыря.

Кондукторша тоже.

КОНДУКТОРША *(почтальону)*. Личико у него умное.

ПОЧТАЛЬОН. Ничего; прыгать из окон, наверно, не будет — не псих.

СТЕПАН. Кто псих?

ПОЧТАЛЬОН. Ты. А вон тот человек *(жест к поводырю)* не псих, тот гражданин хороший...

Степан бросает в почтальона пирожное; оно ему попадает в лицо около рта.

Почтальон облизывает и сжевывает крем, что попал ему вокруг губ, затем вытирает лицо концом скатерти,

Почтальон поднимает поводыря со стула себе на руки.

— Пойдем отсюда.

КОНДУКТОРША. Да и правда... Что тот, что этот, все равно мальчик...

Протирает поводырю глаза концом своего платка и обтирает все его лицо.

ПОВОДЫРЬ. А кто дедушку будет водить?

КАТЯ (улыбаясь). Я... У меня дома четыре кошки есть, я теперь их прогоню, буду жить с дедушкой...

СЛЕПОЙ. А где ты, дочка?

Катя подходит к слепому, и слепой начинает водить своими пальцами ей по лицу, по волосам,

потом сжимает ей щеки между своими ладонями и целует ее.

Почтальон уносит на руках поводыря.

и им вслед уходит озабоченная кондукторша.

Катя сговаривается со слепцом.

Прощается с Люсьеном,

прощается с Женей (у Жени по-прежнему на руках Степан, она ему уже сменила бинт на голове, сделала все остальное и теперь посадила на кровать и переодевает).

ЖЕНЯ. Вы серьезно старика берете к себе?

КАТЯ. Конечно... Я привыкла, чтобы со мной был человек. Сначала был мой жених — он меня бросил. Потом ваш муж — я его сама прогнала... И теперь я совсем одна, с кошками... Мне некуда сердце девать!

Катя берет под руку слепого, слепой кланяется в пространство, они уходят.

Степан дремлет.

Женя осторожно кладет его голову на подушку.

Люсьен стоит около кровати.

Женя и Люсьен наблюдают за Степаном. Пауза.

Мальчик спит.

ЛЮСЬЕН. Джена... Я хочу быть его отцом.

Женя молчит.

Без звука, сразу отворяется дверь.

Является Безгадов со своими двумя чемоданами; он одно мгновение наблюдает обстановку; ставит чемоданы на пол.

БЕЗГАДОВ (*кратко*). Женя... Я вернулся...

ЖЕНЯ. Куда? Наш дом ломают, и мы переезжаем отсюда...

БЕЗГАДОВ. Кто уезжает?

ЖЕНЯ. Мы, все трое...

Она обнимает Люсьена и звонко целует его.

Безгадов, кратко икнув, наклоняется к своим чемоданам.

— На черный хлеб перешла!..

Поворачивается, толкает ногой дверь, уходит.

Пауза.

СТЕПАН (*во сне*). Мама... Пусть отцом будет Сталин, а больше никто.

ЖЕНЯ. Хорошо, хорошо...

СТЕПАН (*во сне*). Ступай женись.

ЖЕНЯ. Сейчас, сейчас пойду...

Женя прилегла к Степану.

Счастливый Люсьен молча стоит над их постелью.

Перспектива московской красивой улицы. Немного пешеходов.

Почтальон быстро идет с ребенком-поводырем на руках, рядом с ним спешит кондукторша.

Они удалились, но еще видны.

Катя Бессоне ведет под руку слепого старика.

и они медленно удаляются.

На ближнем плане — через дорогу — мчится Безгадов с двумя чемоданами в руках.

БЕЗГАДОВ. Деться некуда — на одной шестой суши!

Хватает чемоданы.

— Муть!

Исчезает.

Конец

НЕРОДНАЯ ДОЧЬ

Действующие лица

ОЛЬГА, девочка-сирота, 14—15 лет.

ТЕТКА ОЛЬГИ, родная сестра ее отца.

АРЧАПОВ, машинист паровоза, муж тетки Ольги.

ИВАН ИВАНОВИЧ ИНОЗЕМЦЕВ, машинист-наставник.

ЮШКА, младший сын И. И. Иноземцева.

СЕРГЕЙ, старший сын И. И. Иноземцева, лейтенант Красной Армии.

ИВАН ПОДМЕТКО, механик паровоза.

ЛИЗА, механик паровоза.

ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ.

ФЕЛЬДШЕР.

ВРАЧ.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.

1

В маленьком железнодорожном поселке стоит небольшой деревянный дом со ставнями; снаружи дома — палисадник. К этому дому медленно, неуверенно подходит робкая девушка и останавливается у его калитки. Над калиткой фонарь с надписью под ним: «Улица 9-го января. Дом № 11. А. Н. Арчапов». Ольга — так зовут девушку — отворяет калитку и входит во двор, заросший густою травой. Подождав немного у двери, ведущей в сени, она стучит щеколдой. Из-за двери сеней слышится шлепанье босых ног, затем недовольное, почти злобное бормотанье. Дверь сеней отворяется. Тетка Ольги — равнодушно и нерадостно оглядывает Ольгу.

— Ты что сюда явилась?

— Мне мать велела к тебе идти, когда умирала, — произнесла Ольга. — А отец теперь тоже умер, тетя, а я одна живу. Тетя, у меня никого теперь нету!

Тетка подняла конец фартука и вытерла им глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала тетка. — Я ведь тоже — только на вид здорова, а сама не жилица. И-их, нет, не жилица!

Высморкавшись, тетка говорит:

— Ну иди уж, посиди на кухне. Там селедка на блюде лежит — поешь возьми.

Тетка и Ольга входят в кухню.

Дверь из кухни открыта — видна горница, стол, а за столом — Арчапов.

Ольга берет кусочек селедки с деревянного блюда и жадно съедает его. Арчапов, услышав, что вошел кто-то посторонний, быстро проглотил какую-то пищу со стола и смахнул крошки в горсть, а из горсти высыпал крошки в рот и подозрительно и ревниво посмотрел в сторону вошедших.

В горницу входит тетка. Ольга стоит в кухне, опустив руки от смущения.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — заговорила тетка. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!

— Изволь радоваться! — угрюмо и недовольно выразился Арчапов.

Ольга входит в горницу.

— Меня кормить не надо, я наелась, — говорит она. — Я только спать хочу.

— А спать хочешь, так спи, ложись, вон сундук-то, — указала тетка.

Ольга легла на сундук, лицом к стене, свернулась потеснее собственным телом и одернула на себе платье.

Арчапов постукивает пальцами по столу, глядит на часы на стене.

— Жрать давай, мне скоро ехать пора, — говорит он жене.

— Обождешь! — отвечает жена, и более тихо:

— Может, она уснет сейчас, погоди маленько.

— А мне-то что! — говорит Арчапов. — Это твоя родня, а мне чтоб дома покой и порядок был.

Тетка уходит на кухню, вынимает из печи горшки и кастрюли, режет хлеб, приносит хлеб к столу, отправляется

обратно, ходит и мечется взад-вперед между печкой и мужем, подавая то одно, то другое к обеду — и в это время рот ее не умолкает:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданным замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я — босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти крошечные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься! Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут — на тебе, приехала, на все готовое: любите, питайте меня.

Ольга лежит неподвижно на сундуке — лицом к стене.

— Ишь ты, разнежилась как! — в раздражении подскочила к ней тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга, не оборачиваясь. — Я вас слушала.

Краткое молчание; затем Ольга подымается на сундуке:

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — говорит она.

Тетка довольно улыбается.

— Что ж, иди, — вздыхая, говорит тетка. — Значит, тебе есть куда идти...

— Ишь ты, характерная какая! — говорит Арчапов Ольге. — Обиделась! Ступай и живи, где хочешь, — у нас не постоялый двор.

Ольга молча уходит из горницы, не посмотрев на дядю и тетю.

2

Квартира в небольшом доме. Здесь живет Иван Иванович Иноземцев, паровозный машинист-наставник. Два окна на тихую провинциальную улицу. За окнами — свет солнечного дня. В простенке между окнами большой портрет молодой улыбающейся женщины; портрет убран хвоей и окру-

жен черным крепом. На полу комнаты постелен коврик, на этом коврике сидит и играет в игрушки мальчик Юшка. Всюду тихо — в комнате и вокруг дома, лишь слышно как сопит Юшка в напряженном занятии по складыванию кубиков. Вдруг вдалеке поет сирена поездного паровоза. Юшка перестает играть, прислушивается, трет руками глаза и медленно, неслышно плачет, сидя на ковре в одиночестве.

Заплаканный, он подымается на ноги, подходит к простенку, глядит на портрет матери и говорит ей:

— Мама, зачем ты умерла?.. Отец ушел на работу, бабушка уехала, а я один сижу и плачу по тебе... Мама, приходи опять жить с нами — тебе там скучно с одними мертвецами.

Юшка склоняет голову под портретом матери и беззвучно плачет, вытирая глаза руками.

За окном появляется Ольга. Она останавливается на улице против окна, приближается к окну, прижимается лицом к оконному стеклу и робко стучит пальцем по раме; но Юшка, опустив голову на стол, что стоит под портретом матери, погруженный в свое горе, не слышит Ольги. Ольга поводит глазами за стеклом и останавливает их на мальчишке, — она видит его сквозь одинарное стекло, и она стучит громче.

Юшка поднимает голову, идет к окну, становится на стул и смотрит на Ольгу.

ОЛЬГА. Дай напиток!

ЮШКА. У нас вода простая — ты пей с сиропом!

ОЛЬГА. Давай с сиропом.

ЮШКА. Сироп на углу в будке продают — ты пойдди купи, напейся и мне принеси.

ОЛЬГА. У меня денег нету.

ЮШКА. Ты бедная?

ОЛЬГА. Ага.

ЮШКА. Ты врешь: бедных нету.

ОЛЬГА. Есть одна я. Дай напиток из кружки. Отвори мне дверь.

ЮШКА. Я живу запертый. Меня отец на ключ запирает. Он на паровозе уехал, а я один живу, мне скучно.

ОЛЬГА. А если дом загорится — ты ведь сгоришь, ты же маленький.

ЮШКА. Не сторю. Я окно открою и уберу. Меня отец научил.

ОЛЬГА. Открой мне окно.

ЮШКА. Я боюсь: ты чужая.

Ольга сильно прижимает свое лицо к стеклу, ее лицо сплющивается, искажается и делается смешным; вдобавок она высовывает язык. Юшка смеется на нее.

Ольга, отстраняясь лицом от окна, грустно говорит:

— Отвори, я утомилась. Я тебя не трону.

ЮШКА. А ты тоже мама чья-нибудь?

Ольга, медленно водя пальцем по стеклу, сообщает ему:

— Нет, я так себе, я не мама. Моя мама умерла.

ЮШКА. У меня тоже умерла. Моя мама там вместе с тобой живет.

Пауза.

Юшка влезает на подоконник и с трудом отворяет шпингалет и крючок в оконной раме. Окно отворяется, и Ольга влезает в комнату.

Юшка подает Ольге кружку с водой.

Ольга жадно пьет.

3

Вечерняя степь. Круглое солнце на горизонте. По степи — из отделения — идет поезд.

На паровозе зажигаются три передних прожекторных фонаря, их ослепительный свет бежит далеко вперед и гонит сумрак впереди себя. В окне паровозной кабины — И. И. Иноземцев и еще второй механик. За паровозом состав пассажирского поезда.

Он быстро проносится по степи. Поет паровозная сирена.

Перрон вокзала. Паровоз тяжело дышит паровоздушным насосом. У машины — помощник машиниста и машинист. Помощник с горящим факелом в руках. Иноземцев осматривает и пробует дышловые сочленения машины. По платформе перрона — мимо паровоза — проходят пассажиры.

Один пассажир останавливается на перроне — против машины — и смотрит на Иноземцева, машиниста и помощника. Это Сергей Иноземцев, сын И. И. Иноземцева, лейтенант. Он опирается на палку-трость, у него была ранена в бою нога; в другой его руке — чемодан.

— Отец! — говорит Сергей.

Иноземцев оборачивается от машины, влезает на перрон; в одной его руке обтирочные концы. Отец молча обнимает сына, сын прижимается к отцу. Отец гладит сына по спине робким движением руки, в которой зажаты концы. Затем он отворачивается от сына и утирает глаза обтирочными концами. Вдруг резко ударяет паром предохранительный клапан на котле паровоза. Иноземцев поворачивается к паровозу.

— Алеша, качни воду! — говорит он людям у паровоза.

Отец и сын идут по вечерней улице поселка. Отец ведет под руку хромящего сына и несет в другой руке и подмышкой свой железный сундучок и чемодан сына.

— Как теперь твоя нога — поправилась? — спрашивает отец.

— Залечили, — отвечает сын. — А было плохо, хотели совсем отрезать. Поэтому и на похороны мамы я не мог приехать.

— Я понимаю, — говорит отец. — Давай отдохнем, а то ты ногу натрудишь!

Отец и сын садятся на скамейку около палисадника у небольшого выбеленного домика.

— Ты что же: в отпуск теперь? — спрашивает отец.

— Пока в отпуск, а там видно будет, — отвечает сын, и молчит немного. — Эх, отец, что ж ты мать для меня не сберег...

— У нее, Сережа, рак ведь был. Трудно ей было жить. Я лечил ее, но наука пока не достигает... Пойдем домой, там Юшка один запертый сидит.

Отец и сын подымаются и медленно идут.

В комнате сумрак позднего вечера. Тихо дышат спящие на кровати Ольга и Юшка.

Входят отец и сын; они зажигают свет.

В комнате прибрано, игрушки на ковре сложены в порядок. На кровати спит Ольга; рядом с нею лежит Юшка, — он

обнял Ольгу за руку выше локтя и тоже спит, прижавшись к Ольге.

Отец подходит к постели и удивленно глядит на Ольгу и Юшку. Старший сын, Сергей, остановился против портрета матери и смотрит на мать.

Отец наклонился к Ольге и осторожно шевелит ее за плечо:

— Ты кто такая?

Ольга открывает глаза:

— А ты?

ОТЕЦ. Я здешний.

ОЛЬГА. А я нет, я чужая. Я сейчас посплю и встану. А потом уйду, вы не бойтесь.

Ольга закрывает глаза и как бы спит. Отец семейства в недоумении стоит около кровати.

— Надо бы Юшку накормить. Разбудить его, что ли?

Ольга, не открывая глаз:

— Я уже накормила его. Мы кашу ели, мясо и компот. И я вымыла его в железном тазу. Ему теперь хорошо.

Сергей подходит к Ольге; он садится у кровати и наблюдает спящего брата и девушку. Ольга осторожным движением оправляет на себе юбку, из которой она несколько выросла. Отец вынимает из шкафа одеяло, покрывает им спящих и садится рядом с Сергеем у кровати.

— Пусть теперь спят в тепле, — говорит отец.

— Это кто: ты няньку для Юшки нанял? — спрашивает Сергей.

— Чума ее знает — кто она, — отвечает отец. — Няньки нету, не найду ее никак. Теперь они в летчики учиться ушли. Уезжаешь в поездку — и сердце болит: Юшка-то ведь один остается.

СЕРГЕЙ. А ты бы в детский сад его определил.

ОТЕЦ. У нас при депо его нету. А в чужих садах своих детей достаточно — не берут. Народу много рождается.

Сергей кладет руку на голову Юшки и гладит лоб спящего брата.

Отец стелет другую большую кровать, на которой он, видимо, спал когда-то с покойной женой.

Та же комната, снимаемая теперь с другой позиции.

Ольга и Юшка спят по-прежнему и на прежнем месте. На большой кровати спит Сергей. На полу, около этой кровати, лежат постилка, подушка и одеяло, где должен спать сам Иноземцев, но он сейчас на кухне. На кухонной плите горят два примуса: на них варится и жарится пища. Иноземцев орудует там по хозяйству: солит, перчит, пробует ложкой на вкус.

— Побольше, погуще, повкусней, посытней, — говорит он про себя. — Сережа приехал, его надо кормить хорошо.

Иноземцев вынимает часы из жилетного кармана, слушает их на ухо:

— Неужели четыреста десятый маршрутный еще не прибыл — ему пора уже быть!

Отворяет форточку и прислушивается. После краткой паузы — слышится пение сирены далекого паровоза.

Иноземцев спускает воздух из примусов, чтоб они не шумели и не мешали ему слушать паровоз, и вновь приближается к открытой форточке.

— Ага, вот он! — напряженно и тревожно говорит Иноземцев. — Давай, давай, Арчапов, натягивай, сейчас подъем на входе, — не становись в растяжку!

Прислушивается: слышна очень тяжкая и все более редкая отсечка пара: понятно по звуку, что машина сокращает ход, несмотря на все свое напряжение.

— Топить не умеете!.. — огорченно говорит Иноземцев. — Теперь уж не вывезешь. Учил-учил их, чертей, а они меня осрамили...

Опять запел тот же паровоз — теперь долго и тревожно.

— Заплакал, стервец! — говорит Иноземцев.

Он тушит свои примусы, быстро надевает рабочий пиджак, фуражку и поспешно уходит, на ходу поправив одеяло на сыне и на Ольге с Юшкой.

— Отдыхайте, пока я скоро вернусь! — тихо говорит он спящим на прощанье, и открывает дверь наружу.

Ночь. Большой паровоз идет со скоростью пешехода — паровоз берет в упор на подъем тяжеловесный состав.

Вдруг паровоз бьется в учащенной отсечке, как в истерике: колеса машины буксуют, —

и опять — тяжелый редкий ритм, почти звенящая от перенапряжения работы машины, еле заметная скорость, почти остановка.

Из окна кабины смотрит машинист Арчапов. На котле — у песочного ящика — сидит кочегар, Лиза; ящик открыт, Лиза шурует внутри его инструментом.

Арчапов говорит Лизе:

— Как там, деточка?

ЛИЗА. Здесь и песку не осталось. Тут глина одна!

Арчапов обращается к своему помощнику Ивану Подметко:

— Ты что ж, песок берешь — не смотришь: станем сейчас в растяжку — и будем стоять до утра без ужина!

ПОДМЕТКО. Это роса ночная на рельсах — склизко. А может — тормоза где прихватило.

Подметко берет рукою поводок сирены и дает два длинных гудка.

АРЧАПОВ. С такой ездой и на пенсию уйти нельзя: скажут — ездил плохо, и мало дадут.

ПОДМЕТКО. А чего тебе — иди на пенсию, жуй до гроба казенные харчи! Я б ушел!

АРЧАПОВ. Ну и слушай, паразит! А я еще старик свежий, я еще поработаю! Я хочу дослужиться до персональной пенсии, во как! Я на шкурки не проживу!

И Арчапов, трогая реверс, кричит Подметко:

— Держи пар до баланса, давай дутье во весь конус!

Колеса машины переходят в буксование.

Вихри пара вырываются из-под цилиндра —

и окутывают почти весь паровоз.

Пустой путь впереди паровоза.

На пути, навстречу паровозу, появляется И. И. Иноземцев.

Он останавливается, смотрит мгновение на машину, затем поворачивается и нешибко идет впереди машины, делая в это время следующее: он пригибается, берет песок из балластного слоя и посыпает им рельсы.

Из окна будки машиниста смотрит Арчапов. Впереди паровоза трудится Иноземцев. Паровоз работает на спокойном,

тяжком ритме (это слышно по сифону, по отсечке, видно по работе машины, по вздрагиванию отсвета пламени в поддувальных дверцах — наконец, что бывает редко, это видно по мгновенному пламени, которое выбивают бандажи сцепных колес из рельс. Создается впечатление могущественного напряжения машины). Лицо Арчапова улыбается. Он вдруг исчезает из окна,

тотчас же в окне появляется удивленный Подметко, а Арчапов сбегает по трапу на землю;

он у работающей правой машины — берется рукой за ма-
шущий узел дышлового сочленения и водит рукой вслед за движением механизма, спеша ногами за ходом паровоза.

АРЧАПОВ. Сыпь побольше, Иван Иванович, погущей, по-
ровней...

ИНОЗЕМЦЕВ. Пошли сюда Лизу или Ваньку с машины.

Арчапов кричит Лизе, уже спускающейся с котла по ле-
сенке:

— Дочка, иди сюда поскорее, пожалуйста!

Лиза идет впереди паровоза и сыплет песок на рельсы.

Иноземцев подымается на паровозе: он теперь ведет ма-
шину. Рядом с ним, несколько позади, — Арчапов.

Иноземцев манипулирует реверсом и регулятором.

Вдруг — резкое буксование машины, из-под бандажей —
огонь; Лиза отбегает в сторону от машины.

Буксование прекращается.

ИНОЗЕМЦЕВ (*Арчапову*). Что ж ты с плохим песком
едешь?

АРЧАПОВ. Да, песок ничего, это состав, Иван Иванович,
дюже велик!

ИНОЗЕМЦЕВ. У тебя усы велики. Ступай на песок, я сам
поведу, а девочку сюда пошли.

Арчапов обегает по трапу на землю.

Он впереди паровоза на балласте. Сыплет вручную песок
на рельсы.

Лиза в кабине паровоза — она открывает шуровку (двер-
цу в топку) и загружает туда топливо.

Иноземцев осторожно манипулирует регулятором и ре-
версом.

Паровоз извне. Тяга машины увеличивается, могучая отсечка ускоряется.

Подметко, показываясь рядом с Иноземцевым в окне кабины, кричит Арчапову:

— Давай, давай, старик! Усы береги, не пачкай!

Арчапов работает все более поспешно. Машина идет ему в затылок, Арчапов сыпает песок на рельсы почти бегом. Иноземцев открывает регулятор больше. Отсечка резко ускоряется, скорость паровоза сразу увеличивается.

Арчапов уже бегом сыплет песок на рельсы. Но машина уже почти вплотную настигает его.

Иноземцев — к Подметко:

— А теперь ты ступай на песок — поучись бегать, потом ездить научишься.

Подметко, сбегая по трапу с паровоза:

— Да это я научусь, я ко всему привык. Я такой человек! Напряженная работа дышлового механизма.
Затемнение.

5

Утро в квартире Иноземцева. На ковре посреди комнаты сидят и занимаются в игрушки Юшка и Ольга. Из кухни выходит, слегка хромая, Сергей; он утирается полотенцем и смотрит на Юшку и Ольгу.

Ольга со стесненным сердцем спрашивает у Сергея:

— Мне пора уже уходить — или нет?

СЕРГЕЙ. Нет. Посидите, чего вы спешите. Побудьте у нас в гостях.

Юшка интересуется тем, что было на войне:

— А на озере Хасан вода глубокая?

СЕРГЕЙ. Есть глубокая, есть мелкая.

ЮШКА. На глубокой воевать лучше, страшнее.

ОЛЬГА (Сергею). А воевать вам интересно было?

СЕРГЕЙ. Ничего. Но мы их били не в полную силу.

ЮШКА. Одной левой рукой!

ОЛЬГА. Одной левой! —

и она хватает Юшку на руки и сажает его себе за спину — и носит его за своей спиной по комнате, придерживая ноги мальчика руками, а Юшка держится за шею Ольги.

ЮШКА (*сидя у Ольги*). А отец где? Давайте обедать!..

Ольга спускает на пол Юшку и уходит на кухню. Сергей берет Юшку к себе на колени.

Отворяется дверь. Приходит отец — Иноземцев — и с ним Арчапов.

Ольга смотрит из кухни на Арчапова, потупляет взор, вытирает руки о подол юбки, снимает чайник с горящего примуса и ставит его опять; движения ее робкие и неуверенные. Арчапов недовольно глядит на Ольгу. Ольга говорит Арчапову:

— Здравствуйте! — и повязывает платок на голову, собираясь уходить.

— А ты зачем сюда явилась? — спрашивает Арчапов. — Скажи пожалуйста, проворная какая!

ОЛЬГА. Я воды напиться — и, сказав еще, уже обращаясь ко всем,

— «до свиданья» — Ольга вышла вон.

ИНОЗЕМЦЕВ (*раздеваясь*). Это кто?

АРЧАПОВ. Племянница моя. Отец ее путевым обходчиком был, а теперь помер, а матери у нее давно нету... Чаем-то угостишь, что ль?

Арчапов почтительно здоровается с Сергеем.

ИНОЗЕМЦЕВ (*Арчапову*). Обожди чай пить. А дальше что?

АРЧАПОВ. А дальше — ничего. Баба моя выгнала ее, чтоб рта лишнего в доме не было, и все. Ты знаешь, какая у меня баба! — Стерва! Это целый дипломат-англо-француз!

Юшка, все время внимательно слушавший взрослых, соскакивает с коленей брата и исчезает за дверью.

Всем неловко; Иноземцев идет на кухню и возится там по хозяйству. Сергей задумался и молчит. Арчапов ласкает свои усы.

ИНОЗЕМЦЕВ. А ты дома не хозяин, что ль, — ты там посторонний человек?

АРЧАПОВ. Да, пожалуй, что и не хозяин. Я дома вроде нахлебника, Иван Иванович!

ИНОЗЕМЦЕВ. Гляди, как бы ты и на паровозе чужим нахлебником не оказался!

АРЧАПОВ (*смущенно*). Ну, это, Иван Иванович, нипочем! Я ведь понимаю кое-что, мало немного.

Входит Юшка. Он ведет за руку Ольгу.

Ольга останавливается в дверях.

Сергей привстает, подвигает свободный стул, чтобы Ольга села,

и Ольга неуверенно садится.

Иноземцев-отец выносит из кухни хлеб, масло, нож, посуду и ставит около Ольги, подразумевая в ней хозяйку.

Ольга встает, режет хлеб, расставляет тарелки, сосчитав сначала пальцем, сколько людей есть налицо.

Все сидят у стола — закусывают и пьют чай. Юшка на коленях у Ольги. Иноземцев пьет чай из железной кружки. Он говорит Ольге:

— Будешь у нас жить пока. Гляди за Юшкой. Потом учиться поступишь.

Молчание.

СЕРГЕЙ. За Юшкой я буду смотреть. Делать мне все равно нечего, я в отпуске.

ИНОЗЕМЦЕВ. А она что?

ЮШКА. Папа, пускай она будет у нас неродная дочь: ведь мы зажиточные, ты сам говорил!

ИНОЗЕМЦЕВ. Мне нянька нужна.

СЕРГЕЙ. Пока я буду нянькой. А Ольга пусть поступает учиться, а жить ей можно здесь.

Пауза. Все молча едят. Ольга мало, Арчапов мажет масло на громадный ломоть белого хлеба.

ИНОЗЕМЦЕВ. Мне помощники машинистов нужны. У нас на курсах есть девушки и женщины, — кто обучился, тот ничего ездит. (*К Ольге.*) Пойдешь к нам учиться?

ОЛЬГА. Пойду. Я семь классов уже кончила. Я люблю машины.

ИНОЗЕМЦЕВ. Как станешь хорошим машинистом, сочту тебя дочерью.

АРЧАПОВ. Да это и я, Иван Иванович, не прочь тогда ее себе в дочери записать.

ИНОЗЕМЦЕВ. Тогда — поздно будет. (*К Ольге.*) Иди ко мне.

Ольга опускает с коленей Юшку. Несмело подходит к Иноземцеву и стоит перед ним. Иноземцев берет ее за обе

руки, потом гладит ее по голове, наклоняет к себе, целует в лоб:

— Живи с нами, сиротой не будешь.

Ольга по-детски обнимает Иноземцева за шею и прижимается к нему как дочь. Юшка подходит к отцу и Ольге и держит Ольгу за юбку:

— Пусти, ты... Я главней тебя!

СЕРГЕЙ (*строго*). Юшка, так противники наши говорят, а не красноармейцы.

Юшка испуганно и удивленно глядит на старшего брата:

— Ты думаешь, я — шпион?

Арчапов захохотал с полным ртом и подавился едой.

Затемнение.

6

Станционные пути. Стоит паровоз. Лиза обтирает сверху тело котла. На траве невдалеке от паровоза лежит Арчапов. Иноземцев ведет за руку Ольгу по путям; Ольга одета в железнодорожную куртку, в фуражку, в тяжелые башмаки. В одной руке у Иноземцева его обычный железный сундучок. Лиза поздоровалась с Иноземцевым, и машинист-наставник вместе с Ольгой поднялись на паровоз. Из тендер-паровоза торчат ноги Подметко.

ИНОЗЕМЦЕВ (*к Подметко*). Спал, что ль?

ПОДМЕТКО (*вылезая из тендера*). Ничуть: это я дремал.

Играет рожок сигналиста вдалеке. В кабину паровоза подымается Арчапов и приходит Лиза из боковой галереи машины.

Иноземцев, представляя Лизе Ольгу:

— Вот тебе новая подруга — будущий механик. Учи ее, как я тебя учил. Посредством чего должен ездить настоящий механик?

ЛИЗА (*четко*). Посредством силы пара, умноженной на свою душу!

ПОДМЕТКО. И еще разделенной на большие усы.

Арчапов гневно поглядел на Подметко и его усы зашевелились от ярости.

ИНОЗЕМЦЕВ. Сегодня мы поведем тяжеловесный состав. Я тоже поеду с вами. Оля, становись около меня, клади свою руку на мою.

Сигнальный рожок играет вновь. Иноземцев становится на место машиниста. Ольга рядом с ним. Иноземцев дает гудок, затем кладет руку на реверс — и Ольга кладет свою руку на руку машиниста-наставника.

Поле. Бугор в полосе отчуждения, близ железнодорожной линии. На земле сидят Сергей и Юшка. Юшка держит в руках трость Сергея.

СЕРГЕЙ. Брось палку, она мне надоела.

ЮШКА. Ты теперь не хромой, здоровый стал?

СЕРГЕЙ. Теперь здоровый. Скоро опять в армию.

ЮШКА. Я тоже скоро *(он швыряет палку далеко прочь)*.
У нас хромых нету!

СЕРГЕЙ. Нету. Пойдем домой — вояка.

Он берет Юшку на руки и тихо идет с ним по полевой земле.

7

Квартира Иноземцева. Спит Юшка в кровати. Горит одна настольная лампа. Ольга читает книгу за столом.

Юшка шевелится во сне.

Ольга подходит к его постели, смотрит на мальчика, трогает его лоб ладонью, поправляет одеяло и вновь садится читать к столу; затем она поднимает глаза от книги и слушает свисток далекого поездного паровоза.

Ольга встает из-за стола, подтягивает гирьку стенных часов-ходиков, затем отворяет шкаф, вынимает оттуда хлеб, отрезает кусок, вынимает колбасу, отрезает небольшой ломтик от нее. Открывает железный сундучок, стоящий на полу, — кладет туда эти харчи — хлеб и колбасу, надевает толстый пиджак, заводит большие карманные часы-луковицу, кладет их в карман — собирается на работу.

Отворяется дверь. Входит Иноземцев. Он подходит на носках сапог к постели сына.

— Спит? — спрашивает он.

— Спит, — говорит Ольга.

Ольга закрывает железный сундучок, поднимает его.

— Я пошла, — говорит она.

— Ступай. Тебе пора, — тихо произносит Иноземцев. — Погляди сальники в машине, чтоб больше они не парили, — увижу еще раз, уши нарву — и тебе и Подметке. Ишь, механики — сукины дети!

— Я их сейчас налажу, — говорит Ольга и уходит.

Затемнение.

8

Медленно светает в окнах. Наступает утро. На постели, положенной на пол, спит Иноземцев. В своей кровати спит Юшка. Разобрана и другая кровать, но в ней никого нет, она приготовлена для Ольги.

Стук в окно. Иноземцев подымается и отворяет дверь.

Входит железнодорожный посыльный; он подает Иноземцеву конверт и книгу для расписки. Иноземцев расписывается, берет конверт, рассыльный уходит.

Иноземцев вскрывает конверт и читает:

«ВОСЬМОГО, ПОСЛЕЗАВТРА, НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ РЕЗЕРВОМ ДВЕ ПОЕЗДНЫЕ МАШИНЫ СТАНЦИЮ ЗАПАД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОСТАВОВ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ БРИГАДЫ. ПРЕДУСМОТРИТЕ ЗАРАНЕЕ. НАЧ. ДЕПО ИЕВЛЕВ».

Иноземцев кладет записку на стол.

— Сам поеду, — говорит он. — Там профиль скверный, вагоны ставят, дьяволы, без автоматов. А на второй машине пусть Арчапов едет — не маленький.

Приходит Ольга с работы. Она ставит свой железный сундучок. Видит записку на столе и читает ее.

— Сами поедете? — спрашивает она.

— А то что ж? — говорит Иноземцев. — С Юшкой вот кто побудет, — не знаю!

— Восьмого я опять в ночь буду дежурить, — задумчиво говорит Ольга. — Я Лизу попрошу, она как раз сменится.

— Ну пускай Лиза, — соглашается отец. — Садись кушать, я тебе сейчас мясо разогрею, — и он идет на кухню.

Юшка встает в своей постели с заспанными глазами и смотрит на Ольгу:

— Иди ко мне, — говорит он. — Расскажи мне что-нибудь, чтоб я засмеялся.

Ольга улыбается ему и снимает с себя тяжелую куртку.

9

Надпись: «ТРУДНО ДЕЖУРИТЬ В ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ЧАСЫ».

Против перрона небольшого вокзала — на втором пути — тихо сипит небольшой одинокий станционный паровоз.

Смутный свет раннего утра. Подметко спит, положив голову на подлокотник в окне паровоза. Ольга читает книжку, держа ее у фонаря, что горит у водомерного стекла, на котле.

На перрон выходит дежурный по станции и смотрит в сторону, откуда он ожидает прибытия поезда.

ОЛЬГА (*с паровоза*). Кого ожидаете, Александр Петрович?

— Состав особого назначения, — отвечает дежурный, — Постой! Забудь, что я тебе сказал, это нельзя тебе знать.

Ольга смеется.

Подметко, просыпаясь, обращается к Ольге:

— Ступай за кипятком, что ль, сходи, и купи там в буфете пожевать что-нибудь, а то — спитесь!

Ольга берет чайник, сходит с паровоза, влезает на перрон и не идет далее, потому что раздался далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра свисток паровоза.

— У него тормоза не держат! — говорит Ольга и ставит пустой чайник на перрон. — Или нет: еще что-то...

Краткое молчание.

Дежурный меняется в лице от страха. Ольга в напряжении. Подметко кричит ей с паровоза:

— Иди за кипятком и за харчами! Плюшку купи!

И снова раздаются сигналы далекого еще, но быстро приближающегося паровоза, — сигналы о том, что состав оборван.

ОЛЬГА (*дежурному*). Вы слышите — у него состав оборван!

Дежурный понимает.

— Я слышу... Ну отчего все эти происшествия случаются обязательно в мое дежурство?

Ольга глядит с края перрона в сторону набегающей катастрофы. Дежурный смотрит туда же, на путь, уходящий на горизонт. Оттуда, очевидно с затяжного уклона, — идет грудью вперед паровоз, с открытым полным паром, на полной отсечке. Паровоз время от времени тревожно поет, то сигнала об обрыве, то прося сквозного прохода.

ДЕЖУРНЫЙ. Ведь это же воинский состав оборван! Надо поскорее принимать какое-либо решение!

ОЛЬГА. Командуйте!

ДЕЖУРНЫЙ. Сейчас... Сейчас мысль ко мне придет!

ОЛЬГА. Долго. Не надо, я знаю сама.

И она, меняясь, грозно кричит Подметко:

— Давай сифон, открывай шуровку!

Сонный Подметко (*равнодушно*):

— Ладно. Чайник не забудь.

Подметко поворачивает кран сифона, паровоз резко за-сифонил; затем он открывает шуровку и начинает кидать туда уголь полной лопатой. Языки пламени выбиваются из шуровочного отверстия внутрь паровозной будки.

Ольга прыгает с перрона вниз, перебегает пути в направлении к маневровому паровозу, ухватывается рукой за поручень паровозного трапа и оборачивается оттуда к перрону, к дежурному:

— Предупредите соседнюю станцию, пусть дают сквозной проход — сначала воинскому, потом мне! — и вбегает на паровоз.

Дежурный исчезает с перрона. Ольга спрашивает у Подметко, который грузит топку углем.

— Поедешь со мной?

— Куда, зачем? — рассуждает Подметко. — Да тут ты знаешь какой уклон-то: расшибемся вдребезги. А ведь у меня семейство есть — двое детей.

ОЛЬГА. Ну, тогда сходи живо. Береги своих детей.

Подметко удивленно вглядывается на Ольгу:

— А ты?

ОЛЬГА. Я бездетная.

ПОДМЕТКО (с внезапным гневом). Это ты что? Ты одна, что ль, человек, а я — скотина?! Детей государство прокормит! Я все понимаю! Трогай!!

ОЛЬГА. Обожди, —

и она внимательно оглядывает все приборы в машине.

Выходной семафор закрыт. Потом он медленно открывается. Аварийный поезд уже невдалеке: сигналы поездного паровоза слышатся совсем близко. На пустой перрон выходит дежурный. Он держит развернутый желтый флаг — почти торжественно. Грохот близкого тяжелого, товарного поезда. Кричит сирена паровоза и сам паровоз влетает на станцию: Арчапов, вывесившись из окна, швыряет на перрон жезл.

С воем и скрежетом, с игрою рессор пробегают закрытые вагоны, затем открытые платформы с пушками, покрытыми брезентом, около которых сидят по одному — по два красноармейца с винтовками, затем вагоны с настезь открытыми дверями — и в этих вагонах видны красноармейцы; они силою молодых рук сдерживают бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибают копытами доски из стен вагонов, так что видна свежая древесина на срезах досок.

Дежурный подымает жезл с перрона. Изымает из жезла записку и читает в ней:

«ОБОРВАНО 20—30 ВАГОНОВ. УХОЖУ ОТ ХВОСТА, ДАЙТЕ ПРОХОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВПЕРЕД. МЕХАНИК АРЧАПОВ».

Дежурный с запиской прыгает с перрона на путь. Он подбегает к маневровому паровозу и подает записку Ольге.

Видна линия на горизонте, откуда прибыл и промчался паровоз с головной частью поезда. Оттуда, с горизонта, без паровоза надвигается и сразу вырастает несущийся хвост поезда: сейчас видна лишь передняя лобовая часть вагона, тупая и слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, зажав во рту записку дежурного, быстро поворачивает несколько раз реверс, двигает регулятор, паровоз резко трогается вперед. Ольга доводит регулятор на всю дугу и паровоз на большой скорости уходит со станции.

Дежурный на перроне поднял красный сигнал (диск) остановки и другую, свободную, руку также поднял ладонью

к поезду, как заграждение. С вихрем и музыкой свободной скорости появляется хвост поезда в 20—30 вагонов — через полураздвинутые двери некоторых вагонов на мгновение видны красноармейцы, и хвост поезда исчезает. Дежурный закрывает лицо рукой.

Маневровый паровоз сильно качает от скорости. Ольга глядит наружу в правое окно, Подметко — в левое.

Подметко обертывается внутрь кабины и смотрит на приборы.

Ольга также обращается из окна внутрь кабины, взглянув на манометр и водомерное стекло.

ПОДМЕТКО. Не удержим состава. Придется погибать.

ОЛЬГА. Прыгай!

ПОДМЕТКО. А ты?

ОЛЬГА. Я останусь одна.

Подметко распахивает дверцу топки, хватая лопату: — И я с тобой! Справимся!

Он швыряет полные лопаты угля в топку, бушующую пламенем. Экстренно, на предельной скорости, бежит паровоз Ольги. Дышла машины поспешно вращают ведущие колеса небольшого диаметра. Сама Ольга — в окне машиниста. Позади паровоза мчится слепой, беспаровозный состав —

и расстояние между паровозом Ольги и передним вагоном того состава сокращается все более и более: скорость слепого состава заметно больше скорости паровоза, — состав нагоняет паровоз.

Ольга далеко высунулась из окна машины: она следит за нагоняющим ее составом.

Откидывается внутрь кабины — и улыбка появилась на ее лице, точно она обрадовалась чему-то.

На тормозной площадке одного из вагонов беспаровозного состава стоит, держась за стойку, Сергей Иноземцев; он напряженно глядит вперед — на паровоз Ольги. Тормоза под вагоном Иноземцева зажаты, слышно как скрежещут колодки на колесных бандажах и видны искры, летящие из-под колодок.

На паровозе Ольги — качка машины от скорости. Подметко шурует топку. Ольга глядит назад — на слепой состав.

Ольга — к Подметко:

— Уходи! — Нас расшибет сейчас!

Помощник, закрыв шуровку, дергает штангу крана продувки цилиндров:

— Надо воду выбить — шибче поедем...

Из-под цилиндров паровоза вылетают вихри пара. Слепой состав нагоняет паровоз почти в упор; на его переднем вагоне видно оборванное, развороченное сцепное устройство.

Подметко выглянул из машины назад, затем схватился за поручень трапа,

прыгнул с паровоза,

покатился вниз с насыпи

и сел в траве, в безопасности, ощупывая свои ноги и тело — цело ли оно?

Ольга откидывается из окна машины и оглядывает внутренность кабины — Подметко нету, Ольга одна. Она прислушивается к чему-то. Из воздуха слышен гармоничный стальной гул, все более нарастающий. — Ольга внимательно слушает этот гул, вырастающий до оглушающего рева.

— Не буду я умирать, — говорит она вслух. — Не хочется!

Удар переднего вагона слепого состава в тендерные буфера паровоза.

Паровоз Ольги как бы прыгает вперед от этого удара,

и между буферами вагона и паровоза образуется дистанция в 4—5 метров. Ольга в окне машины — она смотрит назад.

Второй громащий, тупой удар. Паровоз опять отлетает несколько вперед. Дистанция между буферами паровоза и вагоном — 2—3 метра.

Надпись: «СМЕЛЕЕ, БЕДНАЯ ОЛЬГА, И ПУСТЬ ПЕСНИ ПОЮТ БЕЗ ТЕБЯ!»

Ольга точно и мгновенно манипулирует управлением: закрывает регулятор, пускает песок под колеса, дает реверс назад, открывает регулятор на полный ход и ведет кран паровозного тормоза на все его открытие.

Машина на мгновение стала вмертвую, словно уперлась на месте.

Ольга отпускает кран тормоза и дает регулятор на себя и снова от себя, открывая полный пар.

Колеса быстро вращаются назад, истирая с огнем песок на рельсах.

Состав прет на паровоз в упор. Глухой грохот.

Тендер паровоза сдвигается с места и налезает на кабину паровоза. Кабина сплющивается, снимается.

Колеса паровоза перестают вращаться — и паровоз ползет немного юзом, бандажи его визжат от сухого трения по рельсам, из-под бандажей летят искры.

Клапан баланса на котле взрывается паром — и пар гремит наружу.

Все остановилось в покое. Передний вагон слепого состава, надавивший на паровоз, уцелел. У него лишь окончательно смято сцепное устройство и согнута передняя балка или брус рамы, которыми он налез на тендер; из тендера льется вода.

К паровозу подбегает Сергей Иноземцев и с ним группа красноармейцев.

В кабину паровоза войти нельзя: тендер вдвинулся в кабину и закрыл вход. С. Иноземцев сбрасывает с себя шинель на траву и влезает на будку через котел. За ним следуют двое красноармейцев.

Иноземцев и красноармейцы вскрывают крышу будки шанцевым инструментом

и сбрасывают железо крыши вниз.

Иноземцев спускается внутрь будки и

вскоре выбирается оттуда через крышу будки, прижав к себе Ольгу.

Два красноармейца подхватывают Ольгу из рук командира и

осторожно опускаются с ней через котел в боковую галерею машины.

Возле паровоза четверо красноармейцев держат в растяжку шинель.

Двое красноармейцев осторожно опускают Ольгу на шинель.

С. Иноземцев быстро опускается с паровоза и командует: — Фельдшера сюда!

Из группы красноармейцев выступает фельдшер.

С. Иноземцев предлагает ему:

— Окажите раненой помощь.

ФЕЛЬДШЕР. Есть.

Фельдшер склоняется над Ольгой. Красноармейцы помогают фельдшеру. Фельдшер быстро осматривает Ольгу, бинтует ей голову и руку.

ФЕЛЬДШЕР. Первая помощь оказана, товарищ лейтенант.

ИНОЗЕМЦЕВ. Что она, опасно покалечена, товарищ Евтушенко?

ФЕЛЬДШЕР. В полевых условиях трудно установить, товарищ лейтенант. Сердце у нее хорошего наполнения.

ИНОЗЕМЦЕВ. Хорошо.

И громко командует всем красноармейцам:

— Четверо остаются здесь, у паровоза! Остальные — бегом, назад, к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Всё.

Четверо красноармейцев, державших шинель с Ольгой, быстро пошли, унося забинтованную Ольгу в ту сторону, откуда приехали;

шаг их нарастает,

и вот они уже бегут легким, осторожным шагом, не трювожа Ольгу, не раскачивая шинели.

А впереди этих четверых красноармейцев видно, как быстро бегут вперед, удаляясь, растянутой цепью, еще человек двадцать красноармейцев,

но из этих удаляющихся красноармейцев через промежутки пространства отделяются по четверо людей, и эти четверо останавливаются в ожидании — для смены товарищей.

Первые четверо бегут с Ольгой, лежащей на шинели; рядом с ними бежит лейтенант Иноземцев, чутко следя за Ольгой.

Первые четверо красноармейцев добежали до новых четверых.

Новые четверо бегут несколько секунд параллельно первым четверым,

приноравливаются — и с ходу, с бегу перехватывают концы шинели у первых четверых, продолжая бег.

Лейтенант Иноземцев по-прежнему бежит со второй четверкой, наблюдая за Ольгой.

Перрон вокзала.

На перрон прибегают четверо запыленных красноармейцев, несущих Ольгу.

Появляется дежурный по станции, с ним врач и сестра.

Дежурный отворяет им дверь — врач и сестра проходят в комнату.

Приходит И. И. Иноземцев. Он обращается к дежурному:
— Это что?

ДЕЖУРНЫЙ. Происшествие. Аварийный состав вел механик Арчапов.

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ (*к сыну*). Сережа, она жива? Здравствуй.

С. ИНОЗЕМЦЕВ. Она дышит, отец. Здравствуй.

Они подают друг другу руки.

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ (*сам про себя*). Арчапов! Прочь с машины — и под суд! (*Молчит.*) — Это я виноват!

Дежурный думает иначе:

— Сами всех возить не управитесь, Иван Иванович. Чем вы виноваты? Никто не виноват!

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ. Врешь, виноватые найдутся! А возить есть кому (*жест в сторону закрытой двери*), — вот механик лежит!

Отворяется дверь, показывается медицинская сестра:

— Кто здесь Сергей Иноземцев?

С. ИНОЗЕМЦЕВ. Я.

СЕСТРА. Пожалуйста сюда.

С. ИНОЗЕМЦЕВ. Слушаю. (*И уходит за сестрой.*)

Диван в комнате. Около дивана сидит врач. На диване лежит Ольга. Голова ее забинтована свежим бинтом. Ольга покрыта одеялом до подбородка. Она улыбается навстречу Сергею и смотрит на него ясными глазами.

Она говорит:

— Здравствуйте, Сергей.

Сергей появляется у дивана, склоняется к Ольге и проносит:

— Здравствуйте, Оля. Вы хотели меня видеть?

ОЛЬГА. Да... Я хотела вас спросить — красноармейцы все живы?

СЕРГЕЙ. Все живы и здоровы и благодарят вас. Спасибо. Кого вы хотите еще видеть?

ОЛЬГА. Юшку. Приведите его.

СЕРГЕЙ. Слушаю, — и поворачивается, чтобы уйти.

ОЛЬГА. Обождите. Потом пойдете.

Сергей остается. Доктор встает.

— Сестра, — говорит врач, — вы побудете здесь, а я скоро вернусь. Я за своим инструментом домой схожу. Ничего опасного у нее нет...

Около закрытой двери стоят в ожидании И. И. Иноземцев, красноармейцы и дежурный.

Дверь открывается. Выходит врач.

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ (к врачу). Доктор, она будет жить?

ВРАЧ. Будет, конечно.

ИНОЗЕМЦЕВ. А сколько?

ВРАЧ. Что — сколько?

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ. Сколько, этого времени она будет жить — может, недолго?

Краткое недоумение. Врач удивлен, но он понял вопрос и улыбается.

— Она всегда будет жить, — отвечает он, и удаляется.

ДЕЖУРНЫЙ. Иван Иванович, а она вам кем же приходится?

И. И. ИНОЗЕМЦЕВ (угрюмо). Неродная дочь. Чужая. Никто.

Иноземцев поворачивается и медленно уходит:

— Мне к машине пора идти, — бормочет он.

Навстречу Иноземцеву появляется в дверях Иван Подметко:

— Я тебе говорил, Иван Иванович, что я героем могу быть, — обращается к Иноземцеву Подметко. — Так и вышло, только ребро, кажется, сломал.

— Заживет, — говорит ему Иноземцев и глядит на Подметко. — А машина как?

ПОДМЕТКО. В капитальный ремонт пойдет.

Иноземцев молчит немного времени.

— Ольгу на шинели принесли, паровоз искалечен, а ты, значит, герой! — произносит Иноземцев. — Да будь ты проклят! Пошел прочь от меня!

Старый механик вышел из помещения и направился к своему паровозу.

Конец

СЕМЬЯ ИВАНОВА

Действующие лица

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 лет.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, его жена, 32 лет.

СТЕПАН, 13 лет

ПЕТР, 10 лет

НАСТЯ, 6 лет

} их дети.

МАРФА НИКИТИШНА, бабушка, мать Иванова, 65 лет.

ПАШКОВ СЕМЕН ГАВРИЛОВИЧ, работник отдела кадров электростанции, лет 45.

СОФЬЯ ИВАНОВНА, лет 40, работница электростанции, обмотчица.

ГАБРИЭЛЬ, европейская девушка, 24 лет.

ИСАЕВ

МОРГУНОВ

БЕЛОЯРЦЕВ

Сестра.

Инвалид.

Безрукий инвалид.

Санитарка.

Ж.-д. машинист.

Старик с ребенком.

Красноармейцы.

Американские солдаты.

И другие — по ходу действия.

Ночная тьма. Затем вдалеке, — вначале очень далеко, — можно разглядеть точку света.

Свет приближается и приобретает более конкретный образ — сперва однако фантастический, словно дело происходит в другом мире, а не на привычной земле; веет метель-поземка, иногда она прекращается, и тогда видно звездное небо и окружающий ландшафт.

Свет вблизи: несколько сильных электрических светильников или два-три прожектора освещают небольшую территорию. На этой территории находится недостроенная, но уже действующая мощная электростанция, напоминающая организм без одежды и без покровов, у которого внутренние органы работают снаружи и на виду. Станция состоит из двух главных частей, соединенных меж собой: котельной и силовой установки; котельная представляет здание со стенами, далеко не доведенными под крышу, проемы окон закрыты матами, четыре низких дымовых трубы, выходящих из скелетообразного здания котельной, работают с дутьем; силовая установка имеет законченным только фундамент — сам турбогенератор закрыт комбинацией матов, щитов и прочих временных материалов, сквозь которые в яркие просветы частично видно туловище могучей машины. На территории станции много временных устройств, некие дебри обнаженной техники. На всех устройствах — следы стужи, ветров и мороза: огромные ледяные сосульки, полосы в мерзлом снегу, как роспись ветров. Слышен напряженный, высокий, непрерывный звук работающей станции, иногда заглушаемый шумом метели и затем вновь возникающий.

В краткий перерыв метели, когда делаются видными звезды на небе, виден также и окружающий ландшафт: силуэты гор справа и необозримая даль равнины, мерцающей снегом, прямо вперед и слева. Это Урал или Предуралье. Фантастичность и мощь пейзажа находится во внутреннем родстве с фантастичностью самой электростанции, работающей почти «голой» на открытом месте, как в таком же родстве находятся и звуковые элементы: завывающая поземка и высокая мелодия работающих машин станции.

Железнодорожная станция возле электрической станции. С мощным усилием паровоз везет состав с углем, пробивая грудью и светом метель, бьющую машине в лоб.

На станции меж путями и за ними — горы машин и механизмов, сваленных на землю, прикрытых брезентами и ничем не прикрытых. Горят костры, у костров греются рабочие, охраняющие машины; над огнем висят котелки, в которых варится пища.

Внутренность одного товарного вагона: посреди вагона раскаленная почти докрасна железная печь. К потолку вагона подвешены две детские колыбели-люльки. На нарах вагона спят люди; на полу их вещи и домашнее имущество; даже коза находится здесь, привязанная к железной скобе вагона; коза спит.

Нары этого же вагона. Спит женщина — Ольга Васильевна Иванова, справа и слева от нее спят ее дети: Степан, Петр и Настя, укрытые с головой. Ольга Васильевна и во сне продолжает обнимать меньших своих детей, Настю и Петрушку. Подле них сидит, согнувшись, бабушка; она в очках и штопает чулки или зашивает одежду.

В конце 1941 года.

Та же внутренность вагона. Слышно завывание метели за стенами вагона. Затем метель стихает на время, и слышно бормотанье беспокойно спящих детей, кашель взрослых и отдельные фразы сонных бредящих детей: «Мама, я домой хочу», «А где наша корова, ее немцы съедят», «Дай-дай-дай-дай!» — Голос женщины: «Чего тебе дать? Спи-спи!» — Голос ребенка: «Дай! сиську дай с хлебцем!» — Вне вагона раздастся песня, поют два голоса: «Широка страна моя родная»; голоса приближаются к вагону; голос пожилой женщины в вагоне: «Была широка, а теперь поужела!»

Дверь вагона раскрывается. В вагон влезает Пашков, за ним клубы морозного воздуха. На Пашкова шумят женщины: «Дверь закрой, полуночник!» — «Детей застудишь, куда лезешь, чертопхай!» — «Дров принеси, тогда и в гости ходи!» — И он прыгает обратно из вагона, закрывая дверь за собой.

Ольга сходит с нар, выходит на середину вагона, где топится печь, и подкладывает дрова в огонь.

Дверь вагона вновь раскрывается, появляется Пашков с охапкой дров, он бросает дрова в вагон и сам влезает в него.

ПАШКОВ. Здравствуй, старшая? Получай дрова на ночь! Недостанет — еще принесу, спите в тепле... Сами-то дальние?..

ОЛЬГА. Дальние... Из-за самой Москвы!

ПАШКОВ. Вон — как! Из-за самой Москвы: ишь где жили! И что же теперь делать будете? Сами-то семейные или нет? Квалификацию имеете или так: жили при муже?

ОЛЬГА. Трех детей растила, при муже жила...

ПАШКОВ. Так-так-так. Квалификации, стало быть, нету, одно материнство... А как здоровье? И детей сколько — душ-еждоков?

ОЛЬГА. А зачем вам нужно все знать?

ПАШКОВ. Значит, нужно. Видите, я ночью по морозу в темноте хожу: значит — нужно!

Бабушка, Марфа Никитишна, показывается, садясь на краю нар.

БАБУШКА. А зачем тебе нужно: сколько детей у бабы, да сколько ей лет, да откуда едешь и какая квалификация? Ты кто: шпион, что ль?

ПАШКОВ (*нисколько не обидевшись*). Здравствуйте, дорогая моя, спасибо, что голос подали, а я думал — вас тут нету, а вы здесь!

БАБУШКА. А где же мне быть-то?

ПАШКОВ. Квалификация у вас есть? И какой состав семьи: сколько вам нужно жилплощади? У нас возможности тут ограничены, но мы учитываем и идем навстречу.

БАБУШКА. Чего вы тут учитываете? Знаю я ваш учет: записал, пообещал и не сделал. Зачем мне тут жилплощадь — не останусь я тут нипочем, я дальше поеду!..

ПАШКОВ. А дальше ехать некуда, дорогая, здесь скоро Ледовитый океан будет — и все: конец света! (*К Ольге Васильевне.*) А вы как думаете быть?

ОЛЬГА. Я сейчас ни о чем не думаю... А когда подумаю, я сама тогда разберусь, как мне быть.

ПАШКОВ. Не думайте, не надо думать, я уже подумал за вас! Оставайтесь у нас — мы на руках вас будем носить: работа предоставляется по вкусу на любую профессию и без профессии, с дальнейшим повышением квалификации, обеспечивается жилплощадь, паек, усиленное питание, клуб, культобслуживание, библиотека-читальня, хор самодеятельности... У нас так и только так!

БАБУШКА. Эка, брешет, как наемный человек! Премию, наверно, получает за каждую нашу душу.

ПАШКОВ. А то как же, а то как же! За вас вот только премии не полагается: у вас души нет!.. Пойдемте со мной, вы поглядите, что делается. Здесь электрическая станция голая,

как скелет, стоит, а работает. Она пять заводов на оборону тянет, а на станции силы не хватает, народу нет. А вы говорите — я обманываю вас, я премию получаю!

ОЛЬГА. Не шумите: дети спят. Мы сами понимаем, мы останемся.

БАБУШКА. Ты за себя говори, а не за всех.

ПАШКОВ. Хотите я дров вам еще принесу — в запас? Теплей будет.

ОЛЬГА. Не надо, нам хватит. Зима долгая идет, паровозы потом топить нечем будет.

ПАШКОВ. Это правильно, это точно. Я чувствую, что у вас есть душа. Благодарю вас!

БАБУШКА. А где жить она будет, ведь у нее семейство! Ты думаешь — что говоришь?

ПАШКОВ. Обеспечим, обеспечим!..

ОЛЬГА. Не надо так говорить!.. Кто нас теперь обеспечит? Мы сами всех должны обеспечить.

ПАШКОВ. Вот это справедливо, это по-рабочему... А разрешите узнать — ни у кого тут супругов-мужчин нету?

ОЛЬГА. Нету. Мой муж на войне, у других — тоже.

ПАШКОВ. Сожалею, сожалею... Дорог нам сейчас работник-мужичок!

БАБУШКА. Ишь, чего захотел! Мужик и нам нынче дорог, да где ж его возьмешь... *(К Ольге.)* Ты бы взглянула пошла, как у них люди тут живут — может, квартиры теплые есть, иль хоть общежитие...

Ольга подходит к нарам вагона, где спят подряд трое ее детей. Она склоняется к ним и укрывает всех потеплее одеялом, а на себя надевает ватник и покрывает голову теплым платком, собираясь уйти из вагона с Пашковым.

ПАШКОВ *(к бабушке)*. Одумались теперь?

БАБУШКА. Молчи уж, демон!.. Иль я век, что ль, в вагоне несвоей жизнью буду жить!

ПАШКОВ. Приветствую вас! Квалификации никакой нету?

БАБУШКА. Как так нету! Я письмоносцем два года была, каждую зиму шубу и валенки получала!

ПАШКОВ *(записывает ее в свою книжку)*. Письмоносцы нам необходимы. Существовай!

Пашков замечает, что из-под одеяла высунулась пухлая детская рука Насти. Грусть проходит по лицу Пашкова. Он склоняется к Настиной ручке и осторожно гладит и ласкает руку ребенку; затем покрывает руку одеялом, чтобы она не зябла.

ОЛЬГА. У вас тоже были дети?

ПАШКОВ. Были... У меня тоже были дети. Целая семья была.

Он раскатывает дверь вагона, прыгает из вагона наружу — в ночь и поземку, освещаемые дальними огнями электростанции, — подает руку, чтобы помочь сойти Ольге, — и оба они оставляют вагон.

Они идут сквозь поземку к электростанции.

Угол строения рабочего деревянного жилища — барака, построенного начерно: необкоренные бревна, фундамент выложен из земляного грунта, крыша из досок-шелевок.

На углу жилища горит электрическая лампа, вывешенная наружу, и ветер раскачивает ее. Лампа освещает небольшое место, а вокруг ночь и смутная поземка. На жилище надпись — черной краской по доске: «Ново-Уральский проспект, дом 7/А».

Сюда появляются Ольга и Пашков, запорошенные снегом.

Они останавливаются под светом, продолжая говорить о том, что их волнует более всего.

ОЛЬГА. Я писем от него давно не получала. Я всего получила два письма, и больше не было...

ПАШКОВ. У вас есть надежда, вы можете получить письмо, а я никогда.

ОЛЬГА. А вы верно знаете, что случилось с вашей семьей? Может — ошибка и все живы будут!

ПАШКОВ. Нет, все они мертвые, дорогая вы моя душа. Я это верно знаю, я сам видел их смерть.

ОЛЬГА. Отчего же они умерли, как же вы смерть их видели и не спасли их?

ПАШКОВ. Мы ехали в поезде, нас эвакуировали и прилетели немцы... Сорок пять душ тогда погибло. Моих было пятеро — четверо детей и жена.

ОЛЬГА. Они не мучились? Хорошо бы — не мучились.

ПАШКОВ. Нет, они сразу скончались. Мы их зарыли всех в одну могилу, нельзя было везти мертвых и живых, это запрещается.

ОЛЬГА. Вы семью свою любили?

ПАШКОВ. И сейчас люблю, и еще сильнее люблю, чем раньше. Раньше все некогда было их любить, и я думал, что они подождут. Работы много было...

Пашков прислоняется к обледенелой стене жилища; редкие слезы текут по его лицу, но он старается совладать со своим горем и смотрит на Ольгу с доброй улыбкой.

Ольга приближается к Пашкову; сняв варежку со своей руки, она утирает ладонью лицо Пашкова и затем целует его в щеку, как сестра.

ОЛЬГА. Вы привыкли жить в семье...

ПАШКОВ. Я привык и трудно мне жить одному для себя. Я не могу и не умею, дорогая моя...

Ольга берет его под руку, они уходят в ночную тьму. Вспыхивает свет, освещается комната: в дверях стоят вошедшие в эту комнату Пашков и Ольга. Комната чисто убрана, будто здесь живет одинокая девушка, — но особенно заметны следующие детали комнатной обстановки: скамья, на скамье стоят четыре пары детских поношенных башмаков на возраст от пяти до пятнадцати лет, а на стене, за скамьей, аккуратно развешены двое штанов, рубашка, куртка для тех же детей; под скамьей — несколько игрушек: автомобиль, кукла, коробочка. Затем кровать, убранная словно для новобрачных; возле кровати стул, на стул повешено красивое женское платье, на стуле лежит дамская сумочка, под столом стоят стоптанные женские башмаки. А на полу у кровати лежит ковер-подстилка, на нем простое одеяло и смятая подушка, — это постель.

ОЛЬГА (*оглядывая убранство комнаты и замечая постель на полу, в то время как на кровати, очевидно, никто никогда не спит*). Это нам квартира?.. А кто здесь спит?

ПАШКОВ. Это я здесь сплю... А там нарочно живут мои дети, а там постель жены. Я сохранил их вещи, которые остались, и берегу их целыми. Так мне лучше.

Ольга берет со стула женское платье, рассматривает его.

ОЛЬГА. Оно старое уже. Здесь оно пылится висит и портится... Чего вам так жить — не надо!

Ольга осторожно складывает платье и ищет, куда его нужно спрятать.

ПАШКОВ. Пусть оно висит, как висело, пусть ветхое станет... Оно никому больше не нужно, никому не потребуются.

ОЛЬГА. Платье же — вещь, а вещь всегда может понадобиться...

Пашков открывает чемодан, стоящий на полу. Ольга укладывает туда платье, а затем сумку и башмаки покойной жены Пашкова.

ПАШКОВ. А может, и правда понадобится! Жизнь дело такое... Нет, на что ж понадобится?

ОЛЬГА. Может — не понадобится, а может — и годится!..

Ольга открыла крышку фанерного ящика или сундука и бережно складывает туда одежду детей Пашкова, их обувь и их игрушки.

ПАШКОВ. Зачем беречь игрушки?.. Мои дети играть не придут.

ОЛЬГА. Дети другие родятся. Им тоже нужно играть, а не в чего будет, им тоже нужны будут и штаны и башмаки...

ПАШКОВ. Разве что так!

Ольга, убрав вещи умерших, собирает кустарную одинокую постель Пашкова, что была на полу, сложив ее на скамью, и, отвернув одеяло на девственной кровати, где никто не спал, берет подушку с кровати и взбивает ее, показывая тем, что Пашков должен спать теперь на кровати, что приготовленное в память о мертвых должно быть обжито живыми.

Затем Ольга берет тряпку и вытирает пыль с вещей; берет веник и подметает пол. Пашков с удивлением и счастьем наблюдает, как Ольга приводит в обыкновенный, жилой порядок его комнату.

ПАШКОВ. Дорогая моя, задушевная... Обождите работать — вы жить будете не здесь...

ОЛЬГА. Я знаю. Я отвыкла от своего дома, так я хоть чужой приберу, и то мне легче.

И Ольга вешает на горящую голую электрическую лампочку лоскут материи, взятый ею здесь же в хозяйстве Пашкова, отчего вся комната меняется, словно из обнаженной и циничной превращается в одетую и застенчивую.

ПАШКОВ. Хотите чаю?

ОЛЬГА. Не хочу. Я уже согрелась... А где я буду жить с семейством?

ПАШКОВ. Площадь вы получите немедленно... Давайте чай пить! У нас круглые сутки есть кипяток, у нас это культурно. Крыша еще недостроена, а кипяток — круглые сутки и открыт заочный университет!..

Ольга надевает свой теплый платок на голову. Пашков быстро берет со стола сверток — очевидно, с каким-то пищевым продуктом — и пытается вложить сверток Ольге под мышку. Ольга кладет сверток обратно на стол. Пашков берет сверток к себе — за пазуху полушубка.

Общежитие. Дощатый коридор, плохо освещенный. В конце коридора — тамбур, ведущий наружу. Легкие двери тамбура содрогаются от ветра и отдельные снежинки влетают в коридор.

Входят Пашков и Ольга. Пашков отворяет одну из дощатых дверей в коридоре.

Подобие маленькой комнатки. Одна стена имеет окно; на подоконнике засохший цветок в глиняной плошке; три остальные стены построены из необработанных досок. Скамья, два табурета, железная печка для обогрева и приготовления пищи. Слабый свет проникает из коридора через стекло над дверью.

В комнате появляются Пашков и Ольга. Пашков включает свет в комнате. При этом ярком свете дощатая комната совсем уныла и жалка. Ольга садится на табурет. Пашков стоит. Краткое молчание.

ОЛЬГА. Это нам?.. Это нам здесь жить?

ПАШКОВ. Конечно, а что же! Здесь вполне прилично, а при вас будет еще лучше — вы здесь начнете свою новую жизнь!

ОЛЬГА (*задумываясь*). А я не хочу новой, я хочу жить старой жизнью. Я хочу, чтобы муж мой жив был и ко мне вернулся!

ПАШКОВ (*берет Ольгу за руку и осторожно гладит рукав ее пальто*). Я тоже вам этого хочу, ну а вдруг... вдруг так не выйдет!

ОЛЬГА (*с горестным ожесточением*). Выйдет! Вот увидите, что выйдет!

Ольга протягивает свои руки на холодную печь и кладет на них голову.

ПАШКОВ. Я тоже думаю, что выйдет, — я уверен, что выйдет! Это у меня не выйдет — ко мне никто не вернется. А у вас выйдет!.. Устраивайтесь пока, я завтра к вам наведаюсь. Я буду вам помогать жить в будущем — это моя должность, я из отдела кадров... Мне еще нужно двух кочегаров и одного химика по водоочистке отыскать. Спокойной ночи!

Пашков незаметно для Ольги оставляет сверток с продуктами на скамье, но сверток падает на пол, Ольга оглядывается, Пашков поднимает сверток, прячет его к себе обратно за пазуху и уходит.

Ольга одна. Она идет в сторону барака.

В окно видна работающая электрическая станция — тот же вид ее, что в первых кадрах, и пелена поземки постепенно застилает свет огней электростанции — темно за окном. Ольга глядит в темное окно.

ОЛЬГА. Алеша, где ты сейчас? Отчего ты не пишешь нам — что с тобой случилось? Алеша, ответь, что ты жив, а мы будем ждать тебя!

Ольга берет плошку с засохшим цветком и приближает его к своему лицу.

ОЛЬГА (*цветку*). Скажи мне, где Алеша... Ты в земле живешь — тебе видно: в могиле он, или живет еще на свете?.. Ты не знаешь, ты сам умер и молчишь. Ничего: будешь с нами теперь — может, отогреешься еще... Кто же знает, кто мне ответит, я больше уже не могу!

Ольга приникает лицом вплотную к холодному оконному стеклу, за которым виден лишь мрак —

и из глубины мрака возникает картина, в которую вглядывается Ольга: ночь, зимнее поле, освещенное ракетами; почти на открытой позиции стоит тяжелый пулемет, возле него находится расчет; у пулемета лежит командир взвода Алексей Иванов;

противник ведет обстрел артиллерией наших позиций: разрыв снаряда, еще разрыв — ближе предыдущего;

Иванов дает в свисток два коротких свистка: пулеметный расчет увозит пулемет (он на санках), меняя позицию;

на другой позиции — пулемет установлен за елью; у пулемета расчет и Алексей Иванов.

Вдали — по снежной дороге мчатся грузовики с немцами, снег метет из-под колес грузовиков и гусениц транспортеров. И дает один продолжительный свисток —

струя огня бьет из пулемета, и еще видны две-три струи долгих очередей из других наших пулеметов; бьет наша артиллерия через голову Иванова и его пулеметчиков; горят две машины противника, немцы бегут по снегу в свете своих горящих машин;

Иванов снова дает сигнал свистком — и три наших пулемета снова работают огнем.

Разрыв снаряда на экране —

нет ели, изувеченный пулемет молчит; из расчета подымается один боец и подходит к лежащему ничком Иванову. Красноармеец шевелит Иванова; Иванов беспомощным движением руки пытается передать пулеметчику свисток, привязанный цепочкой в глубине одежды. Боец дает сигнал — свистом, вложив два пальца в рот —

в ответ на эту команду лишь два наших пулемета открывают огонь.

Хромающая санитарка ведет по глубокому снегу Иванова, у Иванова перевязана голова; повязка темнеет кровью, Иванов слаб;

Иванов садится в снег и говорит санитарке:

— Ступай, дочка, одна, а то пропадешь. Я отдохну, потом приду.

— Нет, — говорит санитарка и садится в снег рядом с Ивановым. — Нога перестанет болеть, я тебя тогда понесу.

Иванов всматривается в санитарку почти бессознательными глазами:

— Покажи, что у тебя.

Санитарка снимает валенок; у нее перевязка на ноге под коленной чашечкой. По звукам — слышен близкий бой.

ИВАНОВ. Болит?

САНИТАРКА. Я стерплю. Отдыхай, потом я тебя понесу. Ты только не усни здесь... Ты живи!

ИВАНОВ. Одевай валенок! Пойдем!

САНИТАРКА. Сейчас! *(С трудом надевает валенок, подымается и сейчас же садится обратно в снег.)* Я сейчас! Там у меня осколок, он ворочается...

Иванов встает, берет санитарку под мышки, поднимает ее — она обхватывает ему шею руками, а Иванов устраивает ее у себя за спиной. И он несет ее по снежной целине, как носят детей, усадив позади за спиной.

ИВАНОВ *(спрашивая санитарку)*. Как нога — хуже или лучше?

САНИТАРКА. Теперь болит мало, совсем мало. Скоро я тебя понесу.

Иванов просветляется лицом от улыбки.

Слышен звук приближающегося, низко мчащегося самолета.

САНИТАРКА. Самолет!

Иванов терпеливо, как машина продолжает нести санитарку.

Свист пуль от пулеметных очередей самолета.

Иванов и санитарка падают сраженные.

Тьма за окном комнаты рабочего жилища. На подоконнике стоит прежняя плошка с комнатным засохшим цветком. Ольга поднимает плошку к своему лицу.

ОЛЬГА. Что же ты молчишь, и ничего мне не скажешь?.. Ничего мы не знаем с тобой!

Снежное поле. Едут сани, на них два красноармейца-санитара. Сани останавливаются.

В снегу лежат Иванов и рядом с ним санитарка. К ним подходит один санитар-красноармеец, что ехал на санях.

САНИТАР-КРАСНОАРМЕЕЦ *(зовя другого)*. Давай сюда, Фома!

Красноармеец осматривает Иванова и санитарку, пробует пульс Иванова и пульс санитарки.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Один еще теплый, а другая совсем остыла... Подворачивай сюда, Фома!

Палата в армейском госпитале.

На одной кровати лежит еле живой Иванов с закрытыми глазами.

К нему подходит сестра.

ИВАНОВ (*открывает глаза и спрашивает сестру*). Что такое сегодня, какое число и год?

СЕСТРА. Сегодня четырнадцатое декабря, а год старый еще идет — сорок первый. Как ваше самочувствие?

ИВАНОВ. У меня нет самочувствия, я без памяти был. Давно я у вас?

СЕСТРА. Недавно, месяц всего. Может быть, вы хотите письмо семье написать? Я вам помогу.

ИВАНОВ. Не надо. Чего писать? Если не умру — тогда напишу. А сейчас напишешь, что живой, а завтра умрешь — семья сначала понадеется, а потом что с ней будет! Жена от горя умрет... Пусть уж лучше привыкают, что меня нет, — на всякий случай.

СЕСТРА. Что вы говорите, родной! Разве можно так думать?

ИВАНОВ. Я знаю, что я плох. Выздоровлю, тогда напишу из части. А где та девушка-санитарка, которую я нес, у нее нога была подранена?..

СЕСТРА. Она скончалась, у нее полостное ранение и перелом позвоночника.

Молчание.

ИВАНОВ. А все боялась, что я засну в снегу, и все хотела нести меня на своих тонких ручках... А теперь сама уснула, моя добрая дочка.

СЕСТРА. Не волнуйтесь... Вы скоро поправитесь, вам опять будет хорошо.

ИВАНОВ. Я поправлюсь, чтобы опять воевать, а хорошо жить, хорошо жить мне не нужно, я не хочу... Я буду жить с Олей и детьми на берегу озера. (*У Иванова закрываются глаза и остаются полуоткрытыми, у него начинается бред.*) Дом на берегу озера, я буду там жить, в доме растет трава, вы не рвите ее...

Сестра склоняется к голове Иванова, опирается на локти и гладит ему лоб.

Ольга сидит у окна пустой дощатой комнаты — в прежнем положении. На подоконнике цветок. Ольга трогает рукой сухие стебли цветка.

ОЛЬГА. Как бы я хотела быть сейчас возле него — хоть недолго, хоть дотронуться только до его руки, до его лица... Что с ним сейчас, живой он или мертвый?.. Может быть, один холодный ветер касается его лица!

Ольга встает, полная ужаснувшего ее воображение образа мертвого мужа. Раздается протяжный гудок электростанции, и с краткими паузами он повторяется несколько раз. Ольга в тревоге прислушивается и выходит из жилища.

Дорога из поселка к электростанции. Слышен напряженный гул работающих котлов и турбогенераторов. По дороге идут люди, в полусумраке видны их силуэты — человек пять-шесть, все женщины, закутанные в шали и платки. Еще раз звучит протяжный, прерывающийся гудок электростанции.

На дорогу выходит Ольга. Она спрашивает у одной женщины — Софьи Ивановны, — идущей к станции:

— Отчего гудит гудок? На фронте что-нибудь случилось?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. А ты откуда сама-то? Только приехала, что ль?

ОЛЬГА. Приехала... А что случилось?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Если все будем только ездить взад-назад, да без дела мотаться, так оно всякое может случиться...

Ольга идет рядом с женщиной.

ОЛЬГА. Чего вы сердитесь, я только из вагона вышла...

СОФЬЯ ИВАНОВНА. А мужика-то при вещах, что ль, оставила? Где он у тебя, чего одна ходишь?

ОЛЬГА. А твой где — на печке лежит или в колхозе дояркой служит?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Эка, вострая!.. Мой — на фронте!

ОЛЬГА. Пишет чего?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Нету, перестал чего-то, давно писем уже не получали.

ОЛЬГА. И мой не пишет.

Ольга приостанавливается. Софья Ивановна, также приостановившись, берет Ольгу за руку и увлекает ее за собой.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Пойдем-пойдем. Уголь разгружать пойдем, слыхала — станция гудком народ звала.

ОЛЬГА. Слыхала... Я потом приду, я к детям сначала схожу.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Эва, откуда дура такая неладная к нам прибыла!..

ОЛЬГА. Сама ты неладная!..

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Машины-то встанут на станции, тебя ждать не будут! А от них и заводы встанут, а на заводах пушки, танки и пули делают, а ты письма ждешь!.. Нету тебе письма, и мне через тебя не будет! Побьют немцы наших мужиков, и нечем им оборониться!.. Иди теперь к семейству, сиди при нем сиднем, пока дети через тебя сиротами не станут!..

Софья Ивановна уходит прочь вперед и Ольга остается одна на ночной дороге. Протяжный гудок электростанции.

Ольга уходит в обратную сторону к своим детям.

Внутренность товарного вагона, теплушки. У горячей печки сидит бабушка. Вагон спит, дети бормочут во сне.

БАБУШКА. Ушла — и нету. Ушла — и нету... Эх, беззаботная головушка!

Из глубины вагонных нар выходит Степан и появляется возле бабушки, потягиваясь, гримасничая, делая те нелепые, наивные, очаровательные жесты и движения, которые свойственны его переломному возрасту, меж детством и юностью, — то есть, отдельные члены его тела — руки, ноги, голова, туловище — действуют и двигаются как бы не согласованно, а каждый сам по себе.

СТЕПАН. Бабушка, а где мама?

БАБУШКА. А демон ее знает — где мама твоя!

СТЕПАН. А демон где? Дай пожевать чего-нибудь! Скоро там утро-то будет?..

БАБУШКА. Вот утро будет, тогда и пожуешь... Ты вчера весь день жевал!

СТЕПАН. А ты вчера целый пузырь витаминов выпила!

БАБУШКА. Ну что ж — это лекарство такое... Ступай на станцию — посмотри, где мать заблудилась.

СТЕПАН. Ну — дай!

БАБУШКА. Я тебе дам вот, дам!

Петрушка и Настя выползают из яруса нар.

ПЕТРУШКА. Бабушка, ты чего ему даешь?

НАСТЯ. И нам кушать давай, мы тоже захотели... Бабушка, а где наш дом, я домой хочу!

БАБУШКА. Ну идите, идите все сюда... Иди, Настенька!..

Бабушка ласкает Настю.

БАБУШКА (*Степану*). Открой, что ль, банку с овощными консервами, пожуйте маленько.

СТЕПАН. Чего ее открывать — там витаминов нету. Лучше я сала отрежу.

Степан достает из-под нар чемодан, открывает его и начинает там орудовать, а Петр и Настя склоняются над чемоданом в детской алчности.

Раскрывается дверь вагона, и в вагон по стремянке поднимается мать — Ольга.

БАБУШКА. Дали квартиру-то?

ОЛЬГА. Дали, мамаша. Квартира хорошая. (*Сыну*.) Степушка, пойдем со мной, ты мне поможешь. Одевайся потеплее и меховые рукавицы возьми.

СТЕПАН. А куда? Я есть захотел...

ОЛЬГА (*сурово*). Скорее, я говорю! Потом поешь. (*К бабушке*.) Мама, уложи детей...

Степан стаскивает с нар свою куртку, недовольно бормоча на мать.

Мощный паровоз толкает сзади в упор состав с платформами, груженными углем.

Этот же состав стоит на подъездном пути возле котельной электростанции. Народ — женщины, подростки и старики поднимаются с лопатами на платформы.

На одну платформу залезает Ольга и ее сын, Степан. Виден фронт работ (или часть его), подсвечиваемый прожектором или сильными лампами, — пелена поземки то застилает фронт работ, то проходит и тогда ясно видны люди на платформах, быстро разгружающие уголь лопатами.

Платформа, на которой работают Ольга и Степан. Ольга работает неумело, ей непривычно, но трудится она со всем усердием и на лице ее печать удовлетворения.

Степан же работает лениво, он зеваает, ежится.

На соседней платформе работает Софья Ивановна. Она поглядела в сторону Ольги и узнала ее.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. А я думала — ты не придешь!

ОЛЬГА. Почему не приду?.. Одними слезами мужа не бережешь.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Вот это ты правду сказала!..

Платформа, где работают Ольга и Степан. Со Степаном происходит следующее: он работает, как мать, только медленнее ее; затем он закрывает глаза и работает как слепой; затем пробует скидывать уголь одной правой рукой, зажав ручку лопаты под мышку, а левая рука у него повисла.

СТЕПАН. Мать, у меня одна рука не действует.

ОЛЬГА. Отчего?

СТЕПАН. Она не хочет. И глаза сами спят.

ОЛЬГА. Ну, отца немцы убьют.

Степан открывает глаза и начинает быстро работать.

СТЕПАН. Ну да, убьют — я им убью!

Пелена поземки застилает платформы и людей на них.

Электростанция. Напряженный мелодичный гул работающих котлов и машин. Форсированное дутье низких дымовых труб. Зарево света на темном небе над электростанцией.

Еле видно другое зарево света вдалеке, на большом расстоянии отсюда, в самой глубине ночного мрака —

и опять такое же зарево у подножья мощного силуэта черной горы,

и еще одно зарево — уже столь далекое, словно само предприятие, излучающее свет, находится на небе,

и еще далее — созвездие электрических огней, рассеянных по всему кругу темной ночной земли.

Пелена поземки медленно затягивает эти далекие электрические огни.

Темно на экране.

На очень большом удалении — быстрые отсветы огня на небе: отражение артиллерийской стрельбы.

Отсветы затухают. Пауза. Заглушительный гул канонады. Деревянный коридор рабочего общежития (барака). Дверь в комнату семьи Ивановых. За дверью шум голосов членов семьи, больших и малых.

Из комнаты в коридор выбегает Петрушка. Он оглядывается по коридору, исчезает в его глубине и появляется отту-

да, волоча одной рукой табуретку, а в другой доску. В коридор входит Пашков и видит Петрушку.

ПАШКОВ. А доску зачем?

ПЕТРУШКА. На всякий случай. Она не ваша!

ПАШКОВ. Правильно, тащи ее ко двору.

Комната, куда вселились Ивановы. Все члены семьи, кроме Петрушки, здесь. На подоконнике прежний цветок в плошке, но комната уже преобразилась в жилой вид: в ней кое-какая утварь и вещи прибывшего семейства. На окне есть занавеска; на стене картинки из журналов; на столе скатерть, печь накрыта простыней, а на полу подстилка. Ольга привешивает к оголенной электрической лампочке ночной чепчик — и получается абажур. На Ольгу-мать печально смотрит ее дочка — Настя.

Маленькая дочка Ольги — Настя. Ольга приводит по ее лицу мокрым полотенцем — раз и два. И Настя из зачучканной, чумазой девочки превращается в чистого, прелестного ребенка, улыбающегося матери, словно в руках Ольги есть одухотворенная сила — то, чего касаются ее руки, превращается в другое, в более истинное и соответствующее своей природе.

Входят Петрушка с табуреткой и доской и Пашков.

ПАШКОВ. Ну — как жизнь?

ОЛЬГА. Здравствуйте. Мы живем, Семен Гаврилович.

ПАШКОВ. Ну а как же! Так и должно быть! Святое дело...

Пашков вынимает из карманов бутылку вина, сверток с закусками — и устраивает их на стол.

БАБУШКА. Погано тут! Разве мы так жили? У нас ведь квартира из трех комнат была, и ванна при ней...

Стук в дверь — входит Софья Ивановна. Она приносит горшок с цветком.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Разобрались, что ль!.. Веник-то есть у вас, а то я принесу... А детей-то где же спать укладывать будете? Может, одного я к себе возьму, у нас место есть...

СТЕПАН. Не надо, без вас обойдемся...

Софья Ивановна подает цветок Ольге.

ОЛЬГА (*берет свою плошку с цветком*). Спасибо. У нас есть цветы.

СОФЬЯ ИВАНОВНА (*щупая цветок Ольги*). А он усохший — какой это цветок, выкинь его!

ОЛЬГА. Нет, нельзя. Он у нас оживет. Мы его водой польем и теплом отогреем.

СТЕПАН. Мама, дай я на него дыхну.

ОЛЬГА (*подавая цветок Степану*). Подыши!

Степан берет цветок и дышит на него.

ПЕТРУШКА. И я хочу подышать!

НАСТЯ. И я!

Петрушка и Настя ухватывают руками плошку, которую держит Степан, склоняются над цветком, приникают к нему и дышат на него.

НАСТЯ. Мама, а когда у нас папа будет? Его все нет и нет...

БАБУШКА. Нету его, Настенька, нету моего сыночка, и-их нету!

ОЛЬГА. Дыши, дочка, дыши на цветок: когда он отогреется и зацветет, тогда и отец вернется...

Дети усиленно дуют, дышат на цветок, а Настя потягивает кверху его стебелек: пусть он растет скорее.

Пашков ставит к столу табуретку, принесенную Петрушкой, и второй табурет, что был в комнате, а затем кладет Петрушкину доску на два табурета.

ПАШКОВ. Хорошо жить в семействе... Можно я печку затоплю?

БАБУШКА. Чего же — затапливай! Вот дров-то нету у нас...

ПАШКОВ. Дрова доставим... Дрова будут сейчас — я принесу.

Пашков живо уходит.

НАСТЯ. Мама, чей он папа?

ОЛЬГА. Ничей, дочка. Он один живет.

НАСТЯ. Он плачет?

ОЛЬГА. Плачет.

БАБУШКА (*к Софье Ивановне*). Овощ-то здесь растет у вас?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. А то как же!

БАБУШКА. Да то-то... А шафрану нету?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Шафрану нету, не слыхала...

БАБУШКА. В шафране самая польза организму, в нем самый витамин и на вкус он хорош.

СТЕПАН. Витамин-витамин! Все тебе витамин... А чем жевать будешь — новую челюсть дома забыли.

БАБУШКА. Я старой буду жевать, не твоя забота.

СТЕПАН. Старую-то давно об еду истерла.

Ольга составляет со стола на подоконник бутылку и сверток Пашкова, переворачивает скатерть, отряхивает и стелет ее вновь, ставит на стол посуду и прочее.

ОЛЬГА. Садитесь, кушать будем.

Входит Пашков с охапкой дров.

ОЛЬГА. Семен Гаврилович, пожалуйста.

ПАШКОВ. Благодарю вас, Ольга Васильевна, я уже кушал. Разрешите, я буду только присутствовать, а кушать я не могу.

ОЛЬГА. Но почему же?.. Ну как вам угодно.

Вся семья садится за столом, и среди семьи так же гостя Софья Ивановна; все кушают в чинном порядке. Ольга сидит рядом с маленькой Настей. Один Пашков стоит отдельно от всех, прислонившись спиной к стене, и молча наблюдает чужую семью; на лице Пашкова выражение кроткой радости и затаенной грусти.

Настя оглядывается на Пашкова, берет что-то со стола, сходит со скамьи, подходит к Пашкову и протягивает ему пирожок.

Пашков, низко склонившись к Насте, берет от нее пирожок и, взяв ее ручку, хочет поцеловать руку ребенка,

но Настя тащит Пашкова за собой к столу,

Пашков движется за Настей к столу,

Настя указывает Пашкову свое место за столом, хлопая по скамье ладонью свободной ручки;

Пашков стоит в смущении, Настя забирается к матери на колени,

и тогда Пашков несмело садится на место Насти, стараясь не побеспокоить Ольгу.

И ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ — В ТРУДЕ, В ТЕРПЕНИИ И В НАДЕЖДЕ.

Обмоточный цех ремонтных мастерских электростанции. Ряд маленьких станков, похожих на токарные. За этими станками сидят, склонившись, женщины-обмотчицы, всего человек пять-шесть. И среди них Софья Ивановна и Ольга. Медленно вращаются катушки и соленоиды в станках, ра-

ботницы руками направляют провод, который сматывается с больших деревянных цилиндров, сделанных из планок, и наматывается на катушки; работа эта точная, тщательная и, поскольку она производится здесь полукустарно, требующая усилий от работниц, чтобы провод ложился в паз катушки плотно, ровно и столько витков, сколько требуется расчетом.

Ольга более близким планом. Руки ее стали черными, они в смоле от изоляции провода; одной рукой она туго правит провод в катушку, а другой усиленно жмет очередной виток в самой катушке, чтобы провод ложился плотно и прочно. Работает она с крайним напряжением, и на лице у нее выражение радости.

По соседству с Ольгой работает Софья Ивановна такую же работу.

Механический цех. У тисков работает напильником Степан. К нему подходит мастер-инструктор и смотрит на работу Степана.

МАСТЕР. Нежней надо! Ишь как нажал — больше расчета обдираешь, запорешь ты деталь. Нежней надо, это ведь металл, а не говядина. Это говядину — чем больше откусишь, тем лучше. Как я тебе показывал?

СТЕПАН. Я буду легче... А когда нам валенки дадут?

МАСТЕР. Когда всех красноармейцев обуют. У тебя где отец-то?

СТЕПАН. На войне.

МАСТЕР. Ты в цеху, а он в снегу...

Комната в почтовой конторе. Контора так же, как и все жилища и мастерские, помещается в строениях барачного типа, недоделанных и лишь кое-как приспособленных для своих целей. В этой комнате разбирается поступающая почтовая корреспонденция. За большим столом сидит в очках и в теплой шали на голове бабушка — Марфа Никитишна и раскладывает письма. Некоторые открытки она читает.

БАБУШКА. Все одно и то же пишут: жив-здоров, жив-здоров... Раз письмо написал, значит, жив, об этом и писать нечего. Вот мой Алеша ничего не пишет, должно и в живых

его нету... А от этих, от живых, каждый день писем не обещешься! Ишь пишут, ишь пишут, ишь пишут!

Марфа Никитишна резким сердитым движением руки разбрасывает письма по группам адресатов на столе.

Обмоточный цех. Ольга за работой.

И другие женщины, пять-шесть человек, также как и Ольга, сосредоточенно трудятся. Монотонно гудит маленький электромотор, вращающий через общий привод все станки. Женщины, самый характер их труда и обстановка обмоточного цеха похожи и напоминают работу крестьянок за прялками в долгий зимний вечер в большой деревянной избе...

Софья Ивановна без слов напевает, сначала она лишь вторит монотонной песне мотора, а затем она поет «Песнь вдов и солдаток» — и все ее подруги подпевают ей, и Ольга сперва несмело, а потом уверенно и громко поет вместе с другими. Песня будет написана позднее; слова ее могут быть те или другие, но тема, указанная в названии, должна быть сохранена, и в песне должно быть сказано, что эти женщины прядут победу и жизнь.

Комната, где живут Ивановы. В комнате Настя и Петрушка. Настя чистит картошки своими детскими руками, а Петрушка стругает ножом щепки от полена на растопку печи.

НАСТЯ. А цветок ты поливал водой? — мама велела.

ПЕТРУШКА. Без тебя знаю.

НАСТЯ. А щепки надо тонкие, а то они не загорятся, а ты — толстые.

ПЕТРУШКА. Лучше молчи, жаба! Это полено сухое... Занимайся делом, не гляди на меня.

НАСТЯ. Я не на тебя, я мимо гляжу.

Обмоточный цех. В безмолвии идет работа женщин, слышно лишь монотонное гудение электромотора как жужжание веретена.

Работающая Ольга. Она шепчет что-то, слышно, как она ведет счет виткам — оборотам обмотки:

— ...сто сорок семь, сто сорок восемь, сто сорок девять, сто пятьдесят, сто пятьдесят один... сто шестьдесят два. Сби-

лась! Алеша, не мешай мне, обожди! Это для моторов — они воздух в топки, в огонь подают... Сто пятьдесят четыре...

Но неотвязно работает воображение Ольги. Жужжит мотор, уста Ольги шепчут монотонный счет, а позади склоненной Ольги, в глубине экрана, дается картина ее воображения, причем Ольга одновременно находится на переднем плане в реальной обстановке, то есть за работой, и шепчет свой счет виткам провода. Соответственно картинам воображения лицо Ольги то печально, то счастливо, то по нему проходят слезы, то оно спокойно, а уста ее не перестают считать и руки напряженно работать. Воображение осуществляется на экране в видениях и образах: стоит деревянный крест на холме над ракитой, снежная метель сгибает раки-ту, трепещущие ветви раки-ты обнимают, как человеческие руки, одинокий неподвижный деревянный крест; идет взвод красноармейцев по дороге, впереди взвода идет командир Алексей Иванов, взвод поет боевую песню, и Алексей весело поет вместе со взводом; Алексей в гражданской одежде склоняется к Ольге и целует ее в висок; Ольга, смеясь, говорит: «Обожди, Алеша, опять я со счета собьюсь, ведь мы для вас работаем здесь!» Алексей в красноармейской шинели уходит по прямой лесной дороге, он оглядывается, улыбается, прощается рукой и уходит дальше, затем вновь оборачивается и снова улыбается, — на дорогу выходит с переднего плана Ольга, останавливается и зовет: «Алеша!» — но Алексей уходит и уходит не оборачиваясь, — «Алеша!» — вновь зовет Ольга, Алексей издали оборачивается и говорит: «Береги детей!». Ольга (та, что в воображении, вторая Ольга) опять зовет: — «Алеша!» — но Алексей уже еле виден вдали. — «Алеша!» — громко кричит Ольга и вскакивает с рабочего места...

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Что с тобой? Кого ты зовешь?

ОЛЬГА (*еще не опомнившись*). Алеша!

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Успокойся, успокойся! Это тебе почудилось — здесь никого нет!

То, что воображала Ольга, ступшевывается.

Ольга вновь сидит на рабочем месте и считает: «сто семьдесят семь, сто семьдесят восемь... »

ОЛЬГА (*про себя*). А что взаправду с ним — я не знаю!

Надпись: «СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ! ОГОНЬ!»

Глубокий снег на опушке соснового леса. В снежной яме лежит Алексей Иванов и рядом с ним телефонист с аппаратом; Иванов и телефонист в полном зимнем обмундировании.

Иванов прикладывает свисток ко рту, дает сигнал и, улыбаясь, привстает над снежным укрытием.

Опушка леса. Молчание — и вдруг враз многие пулеметы бьют струями огня.

Котельная электростанции. Фронт котлов. Открываются одно за другим шуровочные отверстия — в топках клокочет жесткое пламя.

Кочегары быстро загружают лопатами уголь в отверстие ревущей топки.

Комната Ивановых. В печке с треском горит огонь. Дверца печки открыта. На печке стоит чугунок с картошкой; Настя с засученными рукавами стоит у печи и поворачивает ложкой картошку в чугуне. А Петрушка сидит на корточках у открытой дверцы и кладет щепки в огонь.

ПЕТРУШКА. Варится картошка-то?.. А то мама придет, бабушка придет, Степка придет, они от работы есть захотят...

НАСТЯ. Мягкая стала... Ты дуешь в огонь изо рта!

Петрушка, раздув щеки, дует ртом в огонь.

Алексей Иванов в прежней обстановке — в снегу. Он кричит: «Огонь!» — и дает сигнал свистком, надувая щеки, как Петрушка.

Опушка зимнего леса. Пулеметы бьют длинной очередью — струями огня.

Зимний вечер; бегут тучи над электростанцией — на тучах дрожит зарево пламени.

Комната семьи. Петрушка и Настя у печки. Стук в дверь — входит Пашков.

ПАШКОВ. Сахар и вермишель дают по восьмому и двенадцатому талону — давайте я вам получу! Завтра селедку обещают выбросить.

Петрушка выдвигает ящичек из кухонного стола, вынимает оттуда сколотый булавкой пучок карточек и подает их Пашкову.

ПЕТРУШКА. Не потеряй их. Гляди!

ПАШКОВ. Целы будут, я погляжу.

ПЕТРУШКА. А отчего ты не на войне? Наш отец на войне.

ПАШКОВ. А?.. Да мне тут велят работать, не пускают.

ПЕТРУШКА. Тут мама работает и бабушка...

НАСТЯ. И Степушка!

ПЕТРУШКА. А ты трус!

ПАШКОВ. Я знаю, что трус... Подуй в огонь, а то потухнет! Дай я подую!

Пашков становится на колени и раздувает пламя в печи.

Поздний вечер. Петрушка и Настя собирают на стол еду: картошку, хлеб, консервы.

Приходит с работы мать — Ольга и с нею Степан. Степан сразу устремляется к столу, предварительно берет горячую картошку и проглатывает ее.

Ольга целует Петрушку и Настю и рассматривает их — все в них в исправности, тело и одежда; мать их целый день не видела и соскучилась.

Все трое детей уселись за стол и сидят в нетерпении перед пищей.

СТЕПАН. Мать, скоро есть-то будем?

ОЛЬГА. Когда бабушка придет, тогда и будем кушать.

Степан берет вилкой консервную рыбку и проглатывает ее, Петрушка хлопает Степана пустой ложкой по лбу.

ПЕТРУШКА. Не хватай! Мама не велела.

СТЕПАН (*Петрушке*). Ладно. Считай, что ты покойник!

Приходит с работы бабушка, Марфа Никитишна.

ОЛЬГА. Нету писем, мама?

БАБУШКА. А было б, так я тебе в цех принесла... Нет уж — видно, он нам не напишет: покойники грамоты не знают!

ОЛЬГА. Мама, зачем вы при детях...

БАБУШКА. Пусть привыкают правду знать... Мне-то больней, чем им или тебе, я его рожала, а не ты.

ОЛЬГА. Садитесь кушать, мама.

БАБУШКА. Накапай мне витаминов в столовую ложку.

ОЛЬГА. Сейчас.

ПЕТРУШКА (*подавая чайную ложку бабушке*). Я накапал уже. Глотай!

Марфа Никитишна берет чашку и выпивает витамины, затем она садится за стол, берет вилку —

и все дети враз, но вслед за бабушкой поднимают вилки и берут ими хлеб, картошку, консервы — всё, что стоит на столе. Однако каждый берет по-разному: Степан поспешно и все подряд, что стоит на столе; Настя не спешит, а Петрушка скромно берет лишь одну картошку и макает ее в соль.

Ночь. Спит бабушка, спят трое детей, тесно уложенные в комнате. Бабушка — на раскладной кровати; дети на двух мягких матрасах, постеленных на полу. Ольга одна сидит за столом и пишет письмо под лампой, занавешенной платком.

Шаги за дверью, дверь приоткрывается и входит Пашков. Он приносит два небольших свертка и кладет их на стол. Затем вынимает из-за пазухи продовольственные карточки и отдает их Ольге.

Ольга улыбается Пашкову, благодарит его и снова обращается к письму.

Пашков робко стоит у двери, в стеснении и неловкости, с печальным лицом.

Ольга поднимает к нему лицо от письма — в ожидании, что еще нужно Пашкову.

Пашков делает ей жест рукой, означающий: вы пишете, пишете, — и надевает шапку на голову.

Ольга снова пишет, шепча слова про себя, то улыбаясь, то задумываясь, а Пашков по-прежнему стоит в шапке у дверей и не уходит.

Ольга снова вопросительно глядит на Пашкова.

Пашков робеет и молчит.

Ольга приглашает его сесть на табуретку.

Пашков садится и снимает шапку.

ПАШКОВ. Я озяб, Ольга Васильевна.

ОЛЬГА. Грейтесь, отдохайте. Хотя у нас тоже не очень тепло, у нас дрова сырые.

ПАШКОВ (*помолчав*). Ничего — у меня вся душа продрогла, я совсем один. Я хоть возле ваших детей посижу, и мне лучше будет.

Ольга перестает писать и обращается к Пашкову со всем вниманием.

ОЛЬГА. Трудно вам, Семен Гаврилович?

ПАШКОВ. Можно... Можно, я буду к вам в гости ходить?

ОЛЬГА. Ходите, конечно. Покушайте чего-нибудь. Хотите сыру?

ПАШКОВ. Нет — зачем мне сыр!.. Я к вам и днем буду ходить, за детьми буду глядеть, когда они одни... У меня работа такая, я и днем могу прийти.

ОЛЬГА. Это хорошо. Приходите, пожалуйста... Обождите, я мужу письмо допишу.

Ольга пишет — и лицо ее меняется в зависимости от того, что она пишет: то улыбается, то делается грустным, то задумчивым, то напрягается в воспоминании.

Пашков осторожно, но внимательно следит за Ольгой — и лицо его отдаленно повторяет те самые чувства, которые теньями проходят по лицу Ольги. Пашков тоже сначала улыбается, затем погружается в печаль и в воспоминания, затем делается задумчивым.

ПАШКОВ. Вы письмо от мужа получили?

ОЛЬГА. Нет, я ничего не получала.

Спящие дети. Настя разметалась, одеяло сползло с нее.

Пашков замечает это. Он подходит к Насте и укрывает ее.

Ольга целует листок письма, затем вкладывает его в конверт и пытается заклеить конверт, но конверт не заклеивается.

Пашков приходит на помощь Ольге: он вынимает из внутренности своей одежды иголку с ниткой и быстро, аккуратно прошивает конверт насквозь, тем самым прочно закрывая его. Ольга благодарит Пашкова.

Пашков прощается с Ольгой.

— Я согрелся у вас, мне стало теплей, — говорит он и уходит.

Раннее утро в жилище Ивановых. Всякий занимается своим делом: мать замечает пол; Марфа Никитишна вытирает кухонную утварь возле печи; Петрушка сидит на корточках у печной дверцы и разжигает огонь в очаге; Настя сидит за столом и что-то рисует на бумаге; Степан медленно

одевается, потягивается, зевает, глаза его полузакрыты, он подымает себе веки пальцами, чтобы глаза глядели, но глаза его опять закрываются сами собой.

НАСТЯ. Мама, а тут солнце будет? У нас дома солнце было!

ОЛЬГА. Будет, будет... Время придет — и солнце будет!

НАСТЯ. А когда время придет?

МАРФА НИКИТИШНА. Да уж какое тут солнце — разве как у нас, что ли! Тут и солнце — на луну похоже, оно мерзлое...

ПЕТРУШКА. Мерзлое, я видел его!

Настя сходит со стула, берет большой жестяной чайник, идет с этим чайником к подоконнику, на котором стоит бедный, засохший цветок в плошке, нюхает цветок и поливает его из горлышка чайника.

Петрушка заглядывает в тетрадь Насти, в которой она рисовала.

Настя возвращается с чайником к столу.

ПЕТРУШКА (*Насте*). Ты чего рисуешь, солнце или цветочки? Мама тебе что говорила и я говорю — ты палочки пиши, ты в школу будешь ходить!

Настя садится за стол и пишет палочку в тетради.

НАСТЯ. Я одну палочку написала, больше не надо!

ПЕТРУШКА. Тыщу палок пиши!

Настя старается и пишет.

ОЛЬГА (*склоняясь над Настей*). И солнышко можно. Нарисуй солнышко — оно вот такое! (*Рисует в Настиной тетради.*) Ты забыла его?

НАСТЯ. Забыла и вспомнила.

Она берет у матери карандаш, высовывает язык и шевелит им, помогая языком движению карандаша.

Затемнение.

Подоконник в жилище Ивановых. На подоконнике цветок в плошке. Солнечный зайчик светит на подоконнике возле плошки. Зайчик движется — он перемещается на сухой поникший стебелек цветка и светит в него в упор.

К подоконнику подходит Настя и осторожно трогает пальцем солнечный свет.

НАСТЯ. Петрушка, смотри — время пришло, это солнце!

Петрушка выходит из сумрачной глубины комнаты к светлomu подоконнику; на Петрушке одет материн и бабушкин фартук, в одной руке его полуочищенная картошка, а в другой — нож. Петрушка трогает солнечный свет концом ножа.

ПЕТРУШКА. Тепла-то нету — какое это солнце? Это луна!

Солнце играет в небе над мрачными горами. Как бывает весной — на лице солнца меняется видимое световое напряжение (обусловленное потоками взволнованного воздуха в атмосфере), и солнце как бы «играет».

Потоки ручьев мчатся со взгорий. В природе шум весны.

Подоконник в комнате. У подоконника одна Настя. Световой зайчик сошел с цветка и светит на подоконнике. Настя кладет пальчик на световое пятно и нюхает цветок.

НАСТЯ. Петрушка! Он пахнет, он живой!

Петрушка появляется в фартуке, со сковородкой в руке. Он нюхает цветок.

ПЕТРУШКА. Не пахнет — он сохлый!

В комнату входит мать — Ольга. В комнате горит очаг.

ОЛЬГА. Ну, как вы тут?

НАСТЯ. У нас солнце было!

ПЕТРУШКА. Суп готов, картошку жарить надо.

ОЛЬГА. Давай я сама пожарю, и сразу обедать будем. Я вам колбасы принесла.

Приходит Степан. Раздевшись, он осмотрел, что варится на очаге.

СТЕПАН (*Петрушке*). Чего же ты? А второе где? У, со-пьяк!

ОЛЬГА. На второе колбаса будет...

СТЕПАН. Чего колбаса!.. Колбаса — сухомятка!

Входит Марфа Никитишна и сразу подает письмо Ольге, которое она несла в руке не пряча.

Ольга быстро читает письмо и, прочтя его, остается с за-каменевшим лицом.

Марфа Никитишна садится и вытирает глаза концом головного платка.

СТЕПАН (*весь изменившись, почти в слезах*). Отца убили?

Марфа Никитишна машет на него рукой.

БАБУШКА. Нету, нету, не убили пока... У него раны большие были, его из госпиталя в тыл увезли, и теперь справляются — неизвестно, где он.

Настя вытирает ладонью оконное стекло и глядит в окно.

В окно видны горы, весенние леса, свет солнца, освещающий природу.

НАСТЯ (*обращаясь туда, куда смотрит*). Папа, где ты?

ПЕТРУШКА. Отца не убьют!.. Мама, давай мне хлебные карточки на завтра и талоны давай на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару потребителя, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя!

БАБУШКА. Уймись ты, неладный!

ОЛЬГА. Чем он неладный? Чего вы, мама? Он, может, сирота уже, и он о нас заботится, завтра ведь нам тоже жить надо.

ПЕТРУШКА (*сурово*). Нам жить надо!

Семья за столом. Ольга наливает последнюю тарелку супа и ставит ее перед собой. Никто еще не кушает, ожидая хозяйку. Все молчат.

НАСТЯ. Мама, у нас солнце на цветочек светило.

Крупные слезы текут по лицу Степана; он поднял было ложку и кладет ее обратно на стол.

СТЕПАН. Не хочу я кушать!

ОЛЬГА. Как не хочешь кушать? Ешь, за отца ешь! Сегодня вечером субботник — как ты будешь работать?

Вечер. Железнодорожная линия. Быстро мчатся на зрителя горящие фонари паровоза.

Купе вагона. В купе вагона четверо пассажиров, все военные командиры. Трое играют в домино, — Исаев, Моргунов и Белоярцев, — четвертый глядит в окно — Алексей Иванов; но сейчас Иванов стоит спиной к зрителю.

Играющие колотят шашками домино и беседуют.

ИСАЕВ. Значит, мы все четверо из одного госпиталя и на один фронт?

МОРГУНОВ. Стало быть, так.

БЕЛОЯРЦЕВ. Может быть, все в одну часть еще попадем?..

ИСАЕВ. Все может быть — это как начальство.

Пауза.

ИСАЕВ. А как у тебя с семьей, Алексей Алексеевич? Так и нет следов?

ИВАНОВ (*не оборачиваясь*). Так и нет... Писал туда, где мы жили. А там немцы теперь, погибли, наверно, — и жена и дети...

ИСАЕВ. А может, уехали?

ИВАНОВ. Может быть... А где я их отыщу — у нас страна-то, ты погляди, велика, как небо! Но я их найду — живых или мертвых...

Вдалеке видно зарево над электрической станцией — и зарево приближается навстречу мчащемуся поезду. Иванов садится, оборачивается к своим товарищам и вновь пристально глядит в окно.

Электростанция вблизи. Идет субботник — строительные работы по окончанию здания станции. Работает подъемник. Идет разгрузка стройматериалов с вагонеток на подъемник. Ольга, Степан, Марфа Никитишна, Софья Ивановна, еще двое-трое людей разгружают кирпич и доски с вагонеток, укладывают их в подъемник. Слышен долгий свисток паровоза. Ольга и Степан оборачиваются в сторону звука и глядят туда.

Огни паровоза приближаются издали.

Ольга, Степан и все другие глядят на приближающийся поезд. Купе вагона. В окно пристально глядит Иванов — и перед ним проходит картина строящейся, но уже работающей электростанции; перед ним проходит фронт работ, освещенный прожекторами, где трудятся сотни людей, — и на то место, где работают его жена, мать и сын, — но это место, как и вся электростанция, не столь близко от Иванова, чтобы можно было разглядеть и узнать каждого человека в отдельности, — видны только фигуры людей и лица, обращенные к поезду, с неразличимыми чертами.

Иванов встает у окна и вглядывается, следя за зрелищем, которое поезд уже миновал.

Место, где работают Ольга и другие. Степан глядит во след поезду.

Хвостовые огни быстро удаляющегося поезда. Замирающий свисток паровоза.

Степан все глядит на ушедший поезд, потом неуверенно машет рукой на прощанье.

Купе вагона. Иванов глядит в оконное стекло назад — и машет в ответ рукой у стекла.

МОРГУНОВ. Кого ты там приветствуешь, Алексей Алексеевич? Кто ж тебя видит?

ИВАНОВ. Там человек был какой-то... Бросьте вы играть в эту чертову игру!

МОРГУНОВ. А что делать? О родных скучать? Ночь-то ведь долгая еще!

ИВАНОВ. Делать что... Делать есть что! Не знаю, что делать!

Иванов положил голову на столик под вагонным окном и умолк.

МОРГУНОВ. Опять, что ль, о семействе горюешь? *(И сильно машет шашкой домино.)*

ИВАНОВ. Опять горюю.

МОРГУНОВ. В сердце жарко стало?

ИВАНОВ. Помалкивай!

МОРГУНОВ. Я молчу... А все любовь-стерва! *(Хлопает шашкой.)*

БЕЛОЯРЦЕВ. Она! *(Хлопает шашкой.)*

ИСАЕВ. А то кто же! *(Также усиленно бьет плашкой домино.)*

ИВАНОВ. А вы что — безо всего, без сердца и без памяти живете?

МОРГУНОВ. Без. Мы холостые негодяи.

Иванов, быстро склонившись, дует на сложенную фигуру игры, и плашки домино беспорядочно рассеиваются по вагонной лавке.

Комната семьи Ивановых. Поздний вечер. Босой Петрушка моет пол, окуная тряпку в ведро и растирая ей на полу. Настя сидит на табуретке, поджав под себя ноги, и смотрит в книгу, читая: «мо-мо-мо...»

ПЕТРУШКА. Чего ты мокаешь? Ты буквы читай, буквы разные, а ты «мо» говоришь, одну букву!

НАСТЯ. А ты сам букв ни одной сам не знаешь!

ПЕТРУШКА. Мне их знать некогда, а то бы я знал.

Входит Пашков с мешочком в руках.

ПАШКОВ. Пшено у меня осталось. Боюсь мыши съедят. Куда его положить?

Петрушка показывает, куда положить: за печку. Пашков кладет туда мешочек. Затем он отходит к двери, садится там на лавку и робко сидит.

ПЕТРУШКА. В гости пришел?

ПАШКОВ. Нет, я так.

ПЕТРУШКА. Скоро мать придет, надо печку топить — ужин греть и чай кипятить.

ПАШКОВ. А ты растапливай печку-то!

ПЕТРУШКА. А пол кто будет мыть?

ПАШКОВ. А я!

Пашков разувает сапоги.

Петрушка разводит огонь в очаге, а босой Пашков моет пол. Пашков, наклонившись над ведром, выжимает тряпку и кашляет. Во время кашля у него выскакивает изо рта искусственная челюсть и падает в ведро.

Петрушка враз сует руку в ведро и вытаскивает оттуда челюсть.

ПАШКОВ (*шепелявя*). Отдай, пожалуйста!

Петрушка рассматривает челюсть; Настя также рассматривает и трогает челюсть.

НАСТЯ. Что это?

ПЕТРУШКА. Жевалка такая — сама жует.

ПАШКОВ (*шепелявя*). Ну, давай же, отдай мою жевалку...

Приходят с работы Ольга, Марфа Никитишна и Степан; все они устали после долгого труда.

Ольга берет из рук Петрушки челюсть Пашкова, обмывает ее из чайника над помойным ведром, затем подает Пашкову челюсть и чистое полотенце.

Пашков вытирает полотенцем челюсть, мгновенно глотает ее в рот, давится.

Петрушка и Настя с интересом наблюдают Пашкова.

Петрушка глядит на рот Пашкова, а когда Пашков подавился, переводит взгляд куда-то вниз, под него.

ПЕТРУШКА. А я думал, ты проглотил ее — и она выскочила из тебя!

ОЛЬГА. Обуйтесь, Семен Гаврилович, и оставайтесь ужинать с нами!

ПАШКОВ. А пол? Я полы сначала домою...

ОЛЬГА. Нет, что вы? Я сама...

Ольга быстро снимает с себя платок и ватник.

Ночь. Спит семейство Ивановых. За столом под занавешенной лампой сидят Ольга и Пашков. В глазах у Ольги стоят неподвижные слезы. Пашков внимательно глядит на Ольгу и слушает ее.

Ольга беззвучно шепчет устами.

Пашков вслушивается, приоткрыв рот.

ОЛЬГА. Он любил гулять со всеми детьми в свободное время; они уходили в поле, на луга, в траву и цветы... Он любил ложиться на пол и чтобы дети лазали по нем, ходили по нем ногами, садились на него и он возил их на четвереньках... Он любил, чтобы за обедом самый маленький сидел у него на коленях, а я сидела напротив, и он всегда глядел на меня и улыбался. И я понимала, что мы с ним и с детьми, что мы со всеми людьми живем на свете и лучше нам ничего не надо, лучше нет жизни и не бывает... Он любил кушать жареный картофель с подсолнечным маслом, лук, гречневую кашу и кисель клюквенный. Я всегда сама стряпала обед, он любил, чтобы кушанье готовили мои руки...

ПАШКОВ. А вас он сильно любил, Ольга Васильевна? Он говорил, как вас любит?

ОЛЬГА. Он не говорил, он любил. Он добрый был ко всем и сильный, другие были рядом с ним как маленькие, а он не понимал и считал всех важными и умными, он боялся, что я встречу кого-нибудь лучше его и уйду от него... Ах, какой он странный и простой, — если бы он узнал тогда всю тайну моего сердца, но я стеснялась ему говорить о своей любви, я молчала... Теперь бы я сказала!

Ольга улыбается, веселеет, воображение минувшего счастья проходит по ее лицу. Она встает.

ОЛЬГА (*положив свои руки на невидимые плечи любимого человека, слегка танцует возле стола*). Мы с ним часто танцевали, когда детей укладывали спать...

ПАШКОВ. А музыку кто играл — радио?

ОЛЬГА. Нет, мы без музыки, на что нам музыка!.. Мы слушали свое сердце.

В то время как повеселевшая Ольга танцует, глаза Пашкова наполняются неподвижными слезами. Он молча следит за Ольгой.

Ольга проводит рукой по волосам невидимого человека и целует его в невидимое лицо.

Пашков и Ольга по-прежнему сидят за столом, друг напротив друга.

ОЛЬГА. Что с вами?.. Вы о детях, о жене вспомнили? Вы сильно любили свою жену?

ПАШКОВ. Как мог, Ольга Васильевна... Как мог, так и любил.

ОЛЬГА. Расскажите мне о своей жене, а я о муже вам расскажу.

ПАШКОВ (*после молчания*). Моя жена была на вас похожа...

Пашков делает робкое движение рукой, лежащей на столе, в сторону Ольги.

Ольга берет его руку и осторожно откладывает ее от себя.

ОЛЬГА. А мой муж на вас непохож.

Пашков подымается, он осторожно берет свою куртку, которой были укрыты ноги спящего Петрушки, и надевает шапку.

Ольга достала из стола ломоть хлеба, намазывает его слюем варенья или повидла, накрывает сверху другим ломтем и подает бутерброд, завернутый в бумагу, Пашкову. Пашков берет, печальный и восхищенный.

Затемнение.

Яркий весенний день. Двор общежития, где живут Ивановы. Во дворе Петрушка копает большой лопатой землю под огород. Недалеко от Петрушки сидит на молодой траве Настя с книжкой на коленях, но смотрит она на него,

на плывущие облака, на летящих птиц; около Насти стоит знакомая нам площадка с цветком, на котором заметно, что вырос один листик. Поодаль видна электростанция; теперь здание ее достроено, фасад на три четверти уже выкрашен в светлую краску, сияющую на солнце, и сейчас фасад докрашивают маляры — видны их маленькие фигурки с большими кистями; со стороны станции доносится приглушенное расстоянием монотонное пение машин; изредка, на очень короткое время, из труб станции с большой скоростью вырывается черный дым, но сейчас же переходит в серый, в светлый и вновь делается невидимым.

ПЕТРУШКА (*не отрываясь от работы он следит за Настей*). Читай, читай буквы вслух — куда на небо глядишь, там нет ничего!

НАСТЯ (*читает по книге*). А-ба, ба-ба, ба-ня...

ПЕТРУШКА. А два да три — сколько?

НАСТЯ. Два да три? Раз, два, три потом четыре и пять. Пять!

ПЕТРУШКА. А три да еще семь!

НАСТЯ. Три да семь?.. Три да семь — девять!

ПЕТРУШКА. Это гривенник, дурочка... Дважды семь — сколько?

НАСТЯ. Дважды семь?.. Дважды семь — двадцать семь, вот сколько.

ПЕТРУШКА (*довольный*). Ну, правильно.

НАСТЯ. Нет — это еще сколько-то? Ты сам не знаешь.

ПЕТРУШКА (*сердито*). Знать ты должна, а не я. А я тебя проверяю.

НАСТЯ (*отгоняя мух от цветка*). Его мухи кусают. Ему больно?

ПЕТРУШКА (*усердно копая землю*). Пускай кусают, не помрет.

Появляется безногий инвалид, передвигается он, однако, самостоятельно, за спиной у него полный вещевой мешок. Инвалид останавливается возле детей; он широколиц, упитан и внешне добродушен.

ИНВАЛИД. Попить у вас найдется?

ПЕТРУШКА (*Насте*). Принеси ему воды в кружке.

Настя подымается, идет в дом за водой.

ИНВАЛИД. А кроме воды ничего нету — молочка нету?

ПЕТРУШКА. А ты откуда, ты на войне был?

ИНВАЛИД. А то где же, у тетки, что ль!

ПЕТРУШКА. Настя! Воды не надо — молока налей ему в кружку!

ИНВАЛИД. Полную.

ПЕТРУШКА (*Насте вослед*). Полную! А у нас отец тоже на войне.

ИНВАЛИД. Сейчас все там. А как его зовут-то?

Петрушка отвечает.

ИНВАЛИД. А по фамилии?

Петрушка отвечает подробно.

ИНВАЛИД. Ну все!

Петрушка вопрошающе, с безмолвной тревогой глядит на инвалида.

Петрушка, сообразив что-то, быстро убегает. Инвалид сорвал былинку, сжевал ее.

Петрушка возвращается с фотографией отца и показывает ее инвалиду. Инвалид взглянул на фотографию.

ИНВАЛИД. Все, малый!.. Ну ничего, и без отца можно жить!

ПЕТРУШКА. А я с отцом хочу!

ИНВАЛИД. Ишь какой! Стерпишь и без отца... У нас в батальоне этих Ивановых целых четверо было, все полегли, — что ж делать-то! А твой-то отец не на поле лег, я в одном госпитале с ним находился, и он все жив был, а уж потом должен скончаться: ранение большое у него, жить нельзя. Я правду тебе говорю!

ПЕТРУШКА. Врешь!

Настя подносит инвалиду кружку молока. Инвалид берет кружку и выпивает молоко.

Петрушка бросает лопату, хватает Настю за руку.

ПЕТРУШКА. Отец наш помер!

Петрушка увлекает за собою Настю, он бежит с нею прочь отсюда.

Инвалид утирает усы, становится пустую кружку на землю, глядит вслед детям.

ИНВАЛИД. Обвыкнутся!

И он уходит отсюда в свою сторону.

Улица в поселке. Петрушка и Настя, взявшись за руки, бегут по улице, падают, поднимаются и снова бегут.

Бабушка их, Марфа Никитишна, сидит за столом в почтовой конторе и раскладывает почту.

В контору к бабушке входят запыхавшиеся Петрушка и Настя. Бабушка смотрит на них через очки.

ПЕТРУШКА. Бабушка, а бабушка!

БАБУШКА. Чего вас сюда принесло? Дом-то пустой оставили?

Петрушка один подходит близко к бабушке и гладит ее рукав, а Настя забирается к бабушке на колени и прижимается к ней. Бабушка смотрит на них, еще ничего не понимая.

Пустая улица поселка.

На улицу входит (с переднего плана спиной к зрителю) группа — бабушка, Петрушка и Настя. Петрушка с одной стороны, а Настя с другой ведут бабушку за руки. Бабушка идет сейчас согбенная и она теперь чуть выше Петрушки. Группа идет медленно. Бабушка еле-еле шевелит ногами — и эта группа видна еще раз уже вдалеке.

Электростанция. Загудел обеденный гудок.

Проходная будка электростанции. Из проходной выходят работники и работницы.

К проходной подходят бабушка, Петрушка и Настя. Они останавливаются.

Из проходной выходит Ольга. Она приостанавливается, потому что видит свою семью, ожидающую ее не дома, а здесь.

ОЛЬГА. Мама! Письмо получила?..

Бабушка и внуки. По старческому лицу бабушки текут редкие терпеливые слезы, Ольга понимает; лицо ее принимает бессознательное дикое выражение; из уст ее раздается произвольный долгий гортанный вопль —

и толпа людей, вышедшая из электростанции, как один человек, оборачивается в сторону Ольги и сразу стремится к ней на помощь. Среди них мы видим и Софью Ивановну; Софья Ивановна первой бросается к Ольге, хватает ее сильными руками и прижимает к себе. Сквозь тесноту людей пробираются к матери Петрушка и Настя.

НАСТЯ. Мама! Мама!

ПЕТРУШКА. Отдайте нам нашу маму!

Комната Ивановых. На раскладной кровати лежит больная бабушка. У ее постели сидит Настя. Окно открыто наружу, во двор. Тишина.

К окну подходит Петрушка с лопатой.

ПЕТРУШКА. Настя, где ты? Налей бабушке витамину и белого хлебца отрежь, там есть начатый кусок.

БАБУШКА. Не надо мне, ничего мне не надо, Настенька.

НАСТЯ. А чего надо?

БАБУШКА. Алешу мне надо, отца твоего увидеть хочу, я обнять его хочу, хоть мертвого...

НАСТЯ. А какой он был, бабушка?

БАБУШКА. А ты что — ты забыла его?

НАСТЯ. Я забыла. А какой он? Он живой или мертвый?

Бабушка молчит и гладит головку Насти. Петрушка подходит к окну и опускает через него в комнату пустое ведро.

ПЕТРУШКА. Инвалид безногий, он брешет.

В комнату приходит серьезный, озабоченный Пашков с охапкой дров. Он складывает дрова, раздевается, затем подходит к бабушке и к ней. Бабушка дружелюбно глядит на него.

Пашков у окна. Он кличет Петрушку.

ПАШКОВ. Петрушка, иди мать с работы встречать, а я ужин буду готовить.

ГОЛОС ПЕТРУШКИ. А крупу ты получил?

ПАШКОВ. Ясно!

ГОЛОС ПЕТРУШКИ. Сковородку возьми чугунную, а не железную, на железной масло горит.

ПАШКОВ. Понимаю!

ГОЛОС ПЕТРУШКИ. Гляди там!

ПАШКОВ. Ладно, я погляжу.

Пашков накапывает лекарство из пузырька в чайную ложку и подает бабушке.

Бабушка покорно пьет лекарство.

Затемнение. Вой осеннего ветра, дующего с переменной силой — то громче, то тише, — но на заднем звуковом фоне осеннего ветра слышна равномерная напряженная мелодия работающей электростанции.

Во дворе, на своем индивидуальном огороде, Петрушка выкапывает поспевшую картошку и накладывает ее в мешок. Вокруг следы осени; летят былинки, сорванные ветром, дрожат голые ветви кустарника, ворона произносит невдалеке: кра-кра! Ольга ведет через двор Настю в школу; у Насти ранец за плечами.

НАСТЯ. Мама, пускай Петрушка теперь палочки пишет. Я его буду учить.

ОЛЬГА. Пускай... Петруша, ты за мамой посмотри, покушать ей подогрей.

ПЕТРУШКА. Я знаю. А она не ест ничего!

ОЛЬГА. А ты попроси ее.

Ольга и Настя уходят. Петрушка не прерывает работы.

Окно из комнаты Ивановых, видимое снаружи. На окне стоит плошка с цветком, снова увядшим. За окном сидит сильно постаревшая, вовсе ветхая, обессилевшая бабушка. Она глядит вдаль неподвижным взором. Капли дождя бьют по стеклу, стекают по нему и застилают образ бабушки, делают его невидимым.

Ветер сдувает с оконного стекла следы дождя — и снова виден образ бабушки, более смутный, чем прежде.

К окну подходит Петрушка и протирает стекло рукой.

ПЕТРУШКА. Бабушка, тебе кушать пора!

Бабушка отрицательно качает головой.

ПЕТРУШКА. А о чем ты думаешь?

Бабушка за окном старается подняться со стула, приподнимается немного и валится в сумрак комнаты.

Петрушка прильнул к окну.

ПЕТРУШКА. Бабушка, ты что! Бабушка, ты очнись, мы опять дома будем жить и отец к нам придет!.. Бабушка, бабушка, ты слышишь — я тебе говорю!

Петрушка пытается открыть окно; оно не открывается; тогда он бросается прочь от окна и бежит в комнату вокруг всего общежития.

Комната Ивановых. За окном снежная пурга. На кровати лежит умирающая бабушка. Возле кровати сидит Ольга на табурете. В комнате чисто убрано. Тишина, слышно,

как снег шуршит и скребется снаружи, по окну и по стене.

ОЛЬГА. Мама, вам плохо!

БАБУШКА. Мне хорошо, ты не понимаешь.

Пауза.

ОЛЬГА. Воды испить хотите или теплого молока?

Бабушка молчит.

ОЛЬГА. Мама, война скоро пройдет, мы поедем домой, мы опять будем жить все вместе.

БАБУШКА. С кем — вместе! Кто погиб, того с вами не будет.

ОЛЬГА. Мама... У вас есть внуки, они родились от Алеши, в них его кровь есть, вы для них должны жить.

Бабушка улыбается светлой спокойной улыбкой и внимательно глядит на Ольгу.

БАБУШКА. Ты глупая... Что ты меня жить уговариваешь, я сама жить люблю. Для меня и смерть хороша, как жизнь, раз сын мой умер.

Молчание.

ОЛЬГА. А он... он не мучился?

БАБУШКА. Нет... он знал, что его мученье всему народу нужно — какая же в том мука, это радость, и его смерть лучше жизни.

ОЛЬГА. А как же я буду, мама?.. Живите с нами.

Молчание.

БАБУШКА. Я бы пожила еще, Олюшка, я бы потерпела, а уж не могу, силы-мочи нету, дышу, как пустая вся...

Ольга берет тарелку со стола и пытается кормить бабушку с ложки.

ОЛЬГА. Давайте кушать, мама, хоть немножко, так нельзя.

БАБУШКА. Не порть доброго, Олюшка... А ты этим, Семеном-то Гаврилычем, не гнушайся...

ОЛЬГА. Я, мама, никем не гнушаюсь.

БАБУШКА. Может, нехорошо мне говорить, — а что делать, — и Алеша на меня не обидится...

ОЛЬГА. О чем вы, мама, Марфа Никитишна?..

БАБУШКА. Одна ты все равно не проживешь, и ребят у тебя куча, а Семен Гаврилыч хоть с горя, а любит тебя, и к детям он привык...

ОЛЬГА. Нет, мама... Я так проживу, я с детьми буду.

БАБУШКА. Алексея, что ль, любишь все?

ОЛЬГА. Люблю его, мама.

БАБУШКА. Что ж его любить тебе без ответа. Так не бывает... Дай мне Алешу поглядеть.

Ольга берет фотографию мужа со столика в углу подает ее бабушке.

Бабушка глядит на образ своего сына и кладет фотографию себе на грудь.

БАБУШКА. Не забыть бы мне сказать тебе, что нужно.

ОЛЬГА. Что, мама?

БАБУШКА. Обожди. Ты напомни мне. Ничего я тут не забыла?

Бабушка привстает и осматривает комнату и Ольгу уже отчужденными глазами.

Вокзал. Прибыл поездной состав того времени — с эвакуированными из тыла людьми и машинами: в голове поезда два мощных паровоза, за ними три холодных паровоза (с ведущих колес сняты дышла), затем платформы с тяжелыми механизмами разного рода, потом две-три теплушки с людьми, затем — опять платформы с машинами и цистернами, далее обыкновенный пассажирский вагон, вагон электрички, опять теплушки, маленький холодный паровоз-«кукушка», опять платформы и т. д. Самый вид такого поезда характеризует переживаемое время.

Мимо этого поезда медленно бредут Петрушка и Настя. Петрушка держит Настю за руку. Из вагонов выгружаются приехавшие люди с вещами.

У одной теплушки Петрушка и Настя останавливаются. Их спрашивает один человек:

— Ребята, вы здешние, что ль?.. Почем у вас молоко и мясо — не знаете?

ПЕТРУШКА. А инвалиды есть у вас?

ЧЕЛОВЕК. Инвалидов нету. Один псих есть. А картошка почем?

ПЕТРУШКА. Мы не знаем, у нас своя. Вы с войны приехали?

ЧЕЛОВЕК. Мы с войны, а она за нами. Скоро и тут будет война.

ПЕТРУШКА. Врешь... Насть, пойдем!

Сильно освещенный фасад электростанции. Петрушка и Настя идут мимо электростанции.

Внезапно гаснет весь свет на станции и раздается частый, прерывный гудок — сигнал воздушной тревоги; в наступившем сумраке, среди снегопада, Петрушка берет Настю на руки и поспешает с ней домой.

Комната Ивановых. В ней бабушка на постели, как была, и Ольга, стоящая на коленях у постели, прильнувшая лицом к бабушкиной руке, лежащей поверх одеяла. Фотография сына лежит, как прежде, на груди. Тишина.

ОЛЬГА. Мама... Мама, вы ничего не забыли нам сказать... Скажите мне!

Бабушка молчит. Ольга быстро встает на ноги.

ОЛЬГА. Мама, подумайте о нас, живите с нами!.. Вы о себе только думаете!

Слышится прерывистый гудок электростанции — сигнал тревоги.

Ольга автоматическим движением берет свой ватник и платок, потом кладет их обратно.

Дверь открывается, входит Софья Ивановна; она плачет.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Немцы, говорят, Волгу перешли, в Сибирь пошли и сюда идут.

ОЛЬГА. Кто вам сказал?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Эвакуированные приехали. В каждую комнату будут еще семейство вселять, и к вам вселят, — ко мне уж один приходил, глазами на площадь целился.

ОЛЬГА. Тише... Пусть вселяют, мы найдем место.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Да где ж у вас?

ОЛЬГА. Ничего, мы потеснимся, мы один народ.

Приходит Степан.

СТЕПАН (*недовольно*). Это учебная тревога... Я думал — и правда война! Мне велели у нашего дома дежурить, сказали — он объект. А какой он объект: сарай!.. Мама, дай пожевать чего-нибудь. А бабушка все спит?

ОЛЬГА. Спит.

СТЕПАН. Проснется.

Являются Петрушка и Настя.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Что же это будет с нами теперь?
И тут война настанет!

ПЕТРУШКА. Не бойтесь — там отец!

Настя подходит к матери, мать склоняется к ней, и Настя обнимает мать.

НАСТЯ. А тут с нами мама!

Ольга ставит Настю, подходит к бабушке и наклоняется к ней. Потом Ольга становится на колени и припадает устами к безжизненной руке бабушки.

ОЛЬГА. Мама... Алеша вернется, скажет — я вас не убе-
регла.

Степан первым подходит к матери — Ольге и обнимает ее, словно защищая.

Петрушка и Настя также приближаются к матери. Петрушка берет себе одну руку матери, но Настя тоже хочет взять эту руку себе, тогда Петрушка отталкивает Настю и Настя прикладывается к матери лицом.

СТЕПАН. Мама, бабушка глазами глядит.

Ольга покрывает лицо умершей кисеей.

ПЕТРУШКА. Старухи всегда помирают.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Обмыть ее надо, я воду согрею пойду... Все весточки от сына матушка ждала!

ОПЯТЬ ЗИМА, ВОЙНА И ТРУД — И ЛИШЬ ВПЕРЕДИ НАДЕЖДА.

Глубокий снег. Мороз. Мерцающий снег.

Круглое солнце на небе в морозной мгле.

В отдалении — в клубах пара, под низко нависшей тучей газа, выдуваемого трубами, освещенная изнутри, словно из мутного стеклянного шара, — работает электростанция.

Маленькое кладбище, где всего лишь несколько крестов.

Один крест более новый. У подножья этого креста, на могильном холмике, стоит знакомая нам площадка с замерзшим стебельком цветка.

Открытое степное место. Ж.-д. линия, занесенная перевалами (волнами метели) смерзшегося снега.

В экран вступает паровоз, работающий с предельной форсировкой котла; весь паровоз окутан паром; из поршне-

вых сальников, трубок и различных неплотностей пробивается пар, который в морозном воздухе приобретает гигантские объемы.

Паровоз движется медленно; на крюке тендера он тянет огромное количество груженных углем платформ.

Врезаясь в перевалы снега на пути, паровоз яростно сокрушает снег, точно распахивая целину, но скорость его движения при этом заметно снижается.

Круглое солнце на небе затуманивается и вовсе делается невидимым.

По земле идет пеленою метель-поземка.

Набежавшая снежная буря бьет в грудь паровоза; паровоз продолжает свою яростную работу вперед, извергая из трубы, как из вулкана, поток искр, дыма и пара.

Паровоз врезается в большой снежный перевал — и останавливается в нем, буксуя колесами.

Паровоз осаживает назад, приостанавливается, и снова берет ход вперед, с разгона врезается в прежний мощный снежный перевал и, работая в нем, исчезает из видимости, окутанный паром и дымом, заносимый плотным снежным ураганом.

Мутный несильный поток поземки. Из поземки слышны человеческие голоса.

Поземка разрежается, рассеивается и видно — по ж.-д. пути катится вагонетка, толкаемая руками людей. На вагонетке лежит рабочий инструмент: лопаты, ломы, кирки, целая поленица дров. На вагонетке стоит Пашков; он смотрит в сторону людей, следующих за вагонеткой. Здесь идут Ольга, Степан, Софья Ивановна и другие рабочие, работницы, подростки, девушки — всего человек 60, из них не менее сорока душ женщин.

ПАШКОВ. Не отставай! Грейся бегом и от сознания!

СТЕПАН. А какого сознания?

ПАШКОВ. Пользы дела!

СТЕПАН. А харчи будут?

Люди быстро идут чередой за вагонеткой.

Метель снова затягивает их пеленою.

Прежний поездной паровоз с составом угля. Паровоз до одной половины своей высоты врезался в сугроб смерзше-

гося мерцающего снега. Паровоз остыл; ледяные наросты и сосули образовались на его теле, на механизмах, на деталях.

Группа прибывших рабочих отрывает траншею в смерзшемся сугробе — спереди, по направлению к паровозу, — работая лопатами, а в обледенелых слоях кирками и ломачами.

Ольга со Степаном и Пашковым работает в другом месте, отрывая от снега и льда правую машину паровоза.

Правая машина открыта — она видна. Дышловой механизм, эксцентриковое парораспределительное устройство и прочие сочленения и детали — в наростах льда.

Ольга одна стоит в недоумении с ломом в руках, которым она до того обрубала лед возле паровоза, перед зрелищем точной, нежной, мощной машины, скованной теперь льдом и омертвевшей на ходу в разбеге.

Старый механик паровоза подходит к Ольге.

МЕХАНИК. Здесь осторожно надо, дочка... Оттаять бы надо, да нечем. А то вместе со льдом ты мне металл повредишь, тогда пропала машина...

Механик пробует рукой в варежке лед на деталях и уходит.

Ольга, внимательно выслушав механика, бросает лом и, подойдя вплотную к машине, начинает работать: она трет обеими своими руками ледяной нарост, который покрыл подвижную деталь машины, чтобы этот нарост разгорелся, она дышит в лед, близко принося к нему, и осторожно отделяет от металла ослабевающий, влажный лед. Ольга переходит на другую деталь, покрытую льдом сложной фигуры. Для ускорения работы Ольга снимает рукавицы и варежки и трет лед обнаженными руками и дышит на него изо рта; но лед и металл жжет ей руки, она дышит на руки, отогревая их, и снова собственным теплом рук и дыхания растапливает лед.

Пелена поземки, как облако, бегущее по земле, закрывает паровоз и место работы возле него.

Облако поземки прошло. Опять мерцает мерзлый снег. Ольга работает прежнюю работу; почти все детали машины очищены ото льда.

К Ольге подходит старый механик и наблюдает Ольгу.
МЕХАНИК. Вот ты как! Ты ни рук, ни сердца своего не жалеешь!

ОЛЬГА. А руки и растут для работы.

МЕХАНИК. Хватит тебе стараться, дай я сам, — ишь ты — осмысленная какая!

Механик сам берется за обледеневшие детали и рвет с них лед.

ОЛЬГА. Металл со льдом сползет. Не надо. Я сама.

Механик довольный, счастливо улыбается, оглядывая всю Ольгу.

Облако поземки закрывает на время весь этот видимый мир.

Издали. Труба паровоза дымит.

Ближе. Очередь людей стоит у тендера паровоза и на самом тендере — по живой цепи они подают на тендер ведра с набитым в них снегом и льдом; люди, стоящие на тендере, разгружают ведра в водоприемные люки тендера.

Комната Ивановых. Поздний вечер. Спят подряд на полу трое детей. Ольга стирает в корыте белье. Спящие дети. Степан и Настя спят крепко, но Петрушка, приоткрыв один глаз, спросонья смотрит на мать, потом он закрывает глаз и вновь открывает его, наблюдая работающую мать.

Ольга снимает мыльную пену — правой рукой с левой, левой с правой;

она склоняется к детям, укрывает их одеялом и целует их по очереди; Петрушка лежит с закрытыми глазами, но потом на мгновенье приоткрывает один глаз.

Ольга стоит над своими детьми, одетая в верхнюю одежду и повязав голову теплым платком; она глядит на них таинственным взглядом молодой матери, означающим и тревогу за детей, и нежность к ним, и готовность на любую жертву ради них, и собственную живую страсть, сдерживаемую заботой о детях, но которая не может утолиться одной этой заботой.

Освещенная вывеска на улице поселка, на деревянном домике: «Почта и телеграф».

Ольга появляется и входит в домик почты.

Пустая улица. Заунывно поют однообразную мелодию турбогенераторы электрической станции. Внутренность почты. Окошко: «Прием и выдача корреспонденции». За окном сидит девушка.

Ольга подходит к окошку. Не трогая писем, почтовая девушка, улыбаясь, делает отрицательный жест головой в ответ на вопрос Ольги.

Прежняя пустая улица.

Ольга выходит с почты.

Она стоит одна на крыльце почты; затем она идет одна по пустой ночной улице; и вот видно, что Ольга вдалеке и все более удаляется в ночную пустоту;

она останавливается; одна ее жалкая фигура стоит в поле зрения.

Ольга идет обратно.

Ее видно ближе; ватник она расстегнула, она идет нараспашку, и платок ее завязан, словно уже тепло на улице.

Катится круглый куст сухой травы — перекасти-поле — по дороге.

Ольга встречает его; она хочет взять перекасти-поле, но ветер относит его вперед, и Ольга, повернув в сторону, в переулочек, идет вслед за перекасти-полем.

Перекасти-поле под ветром быстро уходит вдаль, Ольга бежит за кустом растения и ухватывает его.

Она прижимает к себе перекасти-поле и спрашивает его:

— Ты везде ходишь, ты всю осень, всю зиму бежишь по земле: где ты родился и вырос, где ты ходил на свете? Может быть, ты видел его, — скажи мне, бедный мой!

Перекасти-поле молчит; Ольга прячет его себе за пазуху и застегивает ватник.

Поперек дороги, по которой идет Ольга, — выходит женщина; она везет согнувшись, как бурлак, перекинув лямку через плечо, санки с целой поленницей дров на них.

Ольга подхватывает веревку — позади напрягающейся женщины, — и обе они везут санки с дровами посреди пустой улицы, во тьме зимы.

Коридор дома. Женщина, везшая санки, несет в руках охапку дров; за нею, также с дровами на руках, идет Ольга.

В этом коридоре есть дверь, ведущая в комнату Пашкова, и Ольга, проходя с дровами мимо этой двери, узнает ее: она была здесь когда-то.

Комната Пашкова, — по-прежнему чистая, убранная, холодная, словно нежилая. Пашков сидит за столом, постеленным скатертью, на столе, среди прочих обычных предметов, стоит стакан и в стакане покоится искусственная челюсть, а Пашков сейчас с пустым беззубым ртом; он поет шепелявым фальцетом в одиночестве очередную арию, например: «Тебе единой посвятил рассвет печальной жизни бурной...»

И вдруг, встав сразу с места, Пашков произносит напевая, с ожесточением отчаяния и приплясывая при этом:

— А я старый и беззубый,
Одинокий человек —
Вот такой стервец на свете
Существует ничего, —
Что он любит, что он плачет —
Не узнает то никто!

Стук в дверь. Пашков враз выхватывает свою челюсть из стакана, засовывает ее в рот, а воду из стакана, поискав, куда ее вылить, и видя, что кругом чисто и прибрано, — плескает в потолок.

ПАШКОВ. Да, пожалуйста, прошу вас, входите, я здесь!

Входит Ольга. Она печальна и смущена. Пашков растроган визитом, которого он никогда не ожидал.

Пашков помогает Ольге снять ватник и платок, хотя Ольга не уверена — нужно ей снимать верхнюю одежду или нужно уйти. Ольга кладет в угол смятый куст перекати-поля.

Пашков подвигает стул Ольге. Ольга садится. Затем Пашков почти мгновенно, ловко суетясь, накрывает стол новой скатертью и уставляет стол закуской — консервами, колбасой, белым хлебом, ставит бутылку вина, — и он сидит против Ольги, удивленный ее посещением и счастливый, угощая ее изо всего усердия, со всей искренностью.

ОЛЬГА. Я ходила по делу, а на дворе вечер, я прозябла... Вы извините меня, Семен Гаврилович, что я нечаянно зашла к вам, я сейчас пойду, я ненадолго...

ПАШКОВ. Что вы, Ольга Васильевна, вы меня обидите, не надо — я умру без вас. Я сейчас печь затоплю, я вам патефон заведу.

Пашков поспешно наливает вино трясущимися руками, вино разливается на скатерть;

Пашков кладет угощение на тарелку Ольги;

Пашков поспешно глотает консервы.

ПАШКОВ. Я пробую — свежие ли! Кушайте лучше масло. А то, знаете, консервы из другой державы, они дальние...

ОЛЬГА. Нет, зачем вы! Я скоро пойду, у меня дети одни спят...

ПАШКОВ (*растерявшись*). Так я их пойду посторожу! А вы...

ОЛЬГА. А я одна буду?

ПАШКОВ. То есть нет... А что ж тогда нам делать?

ОЛЬГА. Не знаю. Я согреюсь и уйду.

ПАШКОВ. Не надо.

ОЛЬГА. Что не надо?

ПАШКОВ. Я говорю — не надо согреваться... Нет, — вы понемножку грейтесь, вы долго... (*Поднимает рюмку.*) За это — как сказать! — за добрые ваши руки и сердце — и за всю вашу жизнь!

Пашков, выпив, пытается поцеловать руку у Ольги.

Ольга прячет руки.

ОЛЬГА. Они у меня распухли и болят... Заведите мне патефон!

Пашков открывает чемодан, вынимает оттуда патефон, заводит его. Играет патефон на столе.

ОЛЬГА. Остановите, я не хочу.

Пашков снимает мембрану с поставленной пластинки. Ольга выпивает рюмку вина и закашливается.

ОЛЬГА. Гадость какая...

ПАШКОВ. Что вы!

Он выпивает.

ПАШКОВ. Правда, гадость: слабая.

В тоске, во внутренней тревоге Ольга встает, обходит комнату, трогает безделушки, напевает что-то и умолкает. Пашков следит за ней удивленными, внимательными глазами, пытаясь угадать состояние Ольги и помочь ей.

Он вынимает из чемодана хорошее платье, раскладывает его на краю стола и проводит по нему холодным утюгом.

Ольга отбирает у Пашкова утюг и начинает разглаживать платье сама.

ОЛЬГА. Кому это?

ПАШКОВ. Вам. Я хочу вам подарить.

ОЛЬГА. Зачем? Оно мне не пойдет. Я стала такая худая, страшная, у меня нищий милостыни просить не станет.

ПАШКОВ. А вы испытайте, испытайте его на себе... Я вас прошу!

ОЛЬГА. Хорошо. Может, мне легче станет.

Ольга уходит за ширму. Пашков берет чайник и выходит из комнаты. Ольга появляется из-за ширмы, переодетая в чужое платье; платье на ней хорошее, но оно принадлежало женщине высокого роста, и Ольга в нем выглядит как девочка, надевшая одежду своей тетки.

Приходит Пашков с чайником, полным кипятка;

он смотрит на Ольгу, приобретающую трогательный образ подростка в платье не по росту, и вновь хлопочет у стола, заваривая чай и прочее. Ольга стоит посреди комнаты беспомощная и немного смешная.

ПАШКОВ. А его можно уделать, ушить и укоротить.

ОЛЬГА. Нет, не надо ничего... Зачем вы хлопочете, я не хочу пить чай, я не хочу носить чужое платье, — я не тем больна.

ПАШКОВ (*рассеянно, желая угодить, чем только можно*). Может, давайте, мы будем танцевать!

ОЛЬГА. Мне не хочется.

ПАШКОВ. Так что же тогда, я не знаю.

Он устало садится один за стол и кладет голову на свои руки. Ольга подходит к нему и касается рукою его волос, слегка поглаживая голову человека.

ОЛЬГА. До свидания.

Пашков, не подымая своей головы, берет руку Ольги и прижимает ее к своей щеке.

ОЛЬГА. Я согрелась у вас, я отдохнула, до свиданья, я пойду.

Пашков сидит один за столом. Из-за ширмы выходит Ольга в прежнем своем платье. Пашков встает.

Ольга, одетая в верхнюю одежду. Она подает руку Пашкову.

ОЛЬГА. Вам плохо было?

ПАШКОВ. Нет, хорошо.

ОЛЬГА. Отчего — хорошо?

ПАШКОВ. От вас хорошо.

Ольга ушла. Пашков остался один.

ПАШКОВ. Непонятно, но факт!

Лето. Кладбище. На могилах густая трава. Ветер колеблет траву и листья на деревьях.

Крест, под которым похоронена бабушка. К кресту подходит Ольга, и с нею дети — Петрушка и Настя. Ольга и ее дети одеты в износившуюся одежду; Петрушка босой. Ольга становится на колени у могилы.

Петрушка рвет возле могилы траву, не подряд, а выбирая, которая ему нужна, и складывает траву в подол. Настя, глядя на мать, также стала на колени. Ольга приникает лицом к земле, и Настя поступила так же.

НАСТЯ (*подняв лицо от земли*). Бабушка! Бабушка, пойдём домой.

ПЕТРУШКА. Пускай лучше отец домой придет, отца нету. Бабушка и так долго жила.

НАСТЯ. Мама, а какой отец — как бабушка?

Ольга подымает лицо от земли и глядит на дочь.

ОЛЬГА. Как бабушка, он был похож на нее.

НАСТЯ. Как дядя Семен?

ОЛЬГА. А ты забыла отца?

Настя озадаченно думает.

НАСТЯ. А он какой?.. (*К Петрушке.*) Зачем ты траву рвешь? Тут бабушка живет.

ПЕТРУШКА. А это щавель. Из него щи можно варить.

ОЛЬГА. Обождите, не надо шуметь.

Шумит трава, шелестят листья на деревьях, идут белые облака по небу, — это работает ветер в мире и напевает за

своей работой. Ольга снова склоняется к могиле бабушки.

Дети садятся на траву. Петрушка застегивает пуговицу на платье у горлышка сестры и собирает травинки, приставшие к ее волосам.

НАСТЯ. Петрушка, а какой папа?

ПЕТРУШКА. Такой, — его нету.

НАСТЯ. А какой?.. Давай играть с тобой — нарочно ты папа, а я мама.

Петрушка подымается с травы.

ПЕТРУШКА. Нам некогда играть... Мама, я за хлебом пойду, а то мягкий разберут, нам черствый будет.

Ольга, поднявшись с могилы, отпускает детей.

ОЛЬГА. Ступай, и Настю возьми. Я скоро приду.

Петрушка берет Настю за руку, и они уходят. Ольга одна. Она начинает убирать могилу: обрывает бурьян и вкапывает старую плошку в землю до половины; в плошке теперь растет принявшийся и отросший за долгое лето цветок. Затем Ольга вновь становится на колени перед могилой.

ОЛЬГА. Мама, мне худо без вас... Говорят, все забывается, а я не могу забыть ни вас, ни Алешу. Где Алеша — с вами или со мной? Я не могу больше без него, я обмираю по нем, и дети меня не утешают, и от работы я не устаю...

Ольга идет по дороге, что пролегает через рабочие огоры, приближаясь на зрителя.

ОЛЬГА. Кто мне ответит, что делать моему сердцу?

Ольга останавливается.

ОЛЬГА. Я умру, а у меня дети... Алеша! Я и во сне теперь тебя не вижу, и в воображении ты не приходишь ко мне...

Ольга озирается в пустом светлом дне, но вокруг нее безлюдное поле.

ОЛЬГА. Неужели тебя нет, тебя нет нигде, и я люблю одно свое воспоминание?

Она продолжает идти, потом опять останавливается.

ОЛЬГА. Я не знаю, что мне делать, а я паровозы могу своим дыханием обогреть...

Ольга уходит по дороге, повернувшей в сторону, и экран пуст.

Поздний вечер в комнате Ивановых. Степан полураздетый спит на раскладной кровати, где раньше спала бабушка. Настя спит на подстилке на полу, постеленной кое-как. За столом под лампой сидит один Петрушка; он положил голову на руки, что лежит на столе, и дремлет.

Подняв голову, он осматривается в полусне, опоминается, лицо его морщится в страдании, и он утирает рукавом выступившие слезы: «Мамы нету!»

Комната Пашкова. Пашков лежит на кровати. Он читает книжку, а возле кровати на стуле стоит патефон; патефон играет музыку, но пружина ослабевает;

тогда Пашков, не прерывая чтения, одной рукой крутит рукоятку патефона.

В дверь стучат. Дверь отворяется. Входит Петрушка.

Пашков останавливает патефон и привстает на кровати.

Петрушка робко подходит к столу; на столе стоит стакан с искусственной челюстью; Петрушка берет челюсть и рассматривает ее, поворачивая и проводя по ней пальцами.

ПЕТРУШКА. Кости ей грызешь?

ПАШКОВ. Грызу, Петя.

ПЕТРУШКА. А мякоть? Глотаешь?

ПАШКОВ. Мякоть глотаю.

ПЕТРУШКА (*положив челюсть обратно*). Мамы нету... И на работу не ходила — прогуляла.

Пашков садится на кровати, он испуган.

ПАШКОВ. Где ж она? Пойдем искать. Что ж ты сразу не пришел ко мне?

Петрушка подает челюсть Пашкову; тот вставляет челюсть в рот.

ПЕТРУШКА. Покажи как: жевни чего-нибудь!

Пустая ночная улица.

На этой улице появляются Пашков и Петрушка. Пашков ведет за руку Петрушку, он его тащит за собой, они почти бегут, сначала приближаясь к зрителю, а затем остановившись в неуверенности, поворачивают в переулок и исчезают.

Внутренность деревянного, наскоро построенного вокзала. Много людей — преимущественно женщин, детей и стариков. У бревенчатой стены сидит возле своих вещей пожилой человек с большой длинной бородой; на руках у него малый ребенок: ребенок плачет, старик успокаивает его и баюкает на руках.

Появляется Ольга. Она тихо проходит среди массы людей и садится на краешек скамьи недалеко от старика с ребенком.

Старик разбирает одежду на ребенке и сажает его, держа на руках по нужде; затем старик вытирает зад ребенку концом своей бороды, заворачивает ребенка и, поместив его к себе на колени, выжимает конец бороды руками, а руки вытирает о волосы на своей голове.

Ольга глядит на этого старика, подымается, идет к нему и опускается возле него на вещевой мешок. Старик опять качает и баюкает ребенка, посматривая на Ольгу.

СТАРИК. Чья сама-то?

ОЛЬГА. Я здешняя...

Молчание. Старик склоняется к заснувшему ребенку и целует его в лобик.

СТАРИК. Мужняя жена — или так, вольная?

ОЛЬГА. А что вам?.. Покажите мне ребенка — пожалуйста.

СТАРИК. Бери. У меня уж руки отсохли. Своих-то чего не завела? Тебе уж пора.

Ольга взяла ребенка на руки и вглядывается в него любопытным, завистливым и нежным взором матери.

СТАРИК. Я тебе говорю — мужняя ты иль вдовица?

ОЛЬГА. Да что вам, какое дело? На что вам знать, вы ведь старый человек.

СТАРИК. Я-то? Эка дура, мне всего полсотни, и малый-то, что лежит у тебя на руках, — мой!..

Молчание.

СТАРИК. Жена вот у меня пропала по этой войне, плохо дело стало; дитя на руках и самому трудно в груди бывает: душа там есть, и она скучает.

ОЛЬГА. А вы давно жену потеряли?

СТАРИК. Да не так чтобы, а уж время прошло...

ОЛЬГА. Может, найдется еще.

СТАРИК. А все может быть, это как знать... Да мне сейчас уж очень женщина нужна-то была бы!

ОЛЬГА. Так вам старушку надо в няньки подыскать...

СТАРИК. Зачем старушку! Эка ты глупая какая, без мужа живешь! Мне супругу и хозяйку следует — вот кого... Отчего я тебя и спрашивал — может, ты за меня пойдешь!

Ольга отдает ребенка обратно старику и в страхе подымается на ноги.

СТАРИК. Чего обомлела?.. Выходи — не заскучаешь, а бороду я обрежу!

ОЛЬГА. Что вы говорите!

СТАРИК. Дело говорю. Мне малого надо сберечь и самому тоже не сплошать от безделья такого...

ОЛЬГА. А первая жена найдется!

СТАРИК. Дай бог. Явится, тогда и рассудим как быть. А то зачем же, чтоб всем плохо было — и ей там, и малолетку нашему, и мне.

ОЛЬГА. А я замужняя.

СТАРИК. Так чего же ты шатаешься, иди прочь отсюда — я думал ты неудельная бобылка. Мне бобылка нужна.

Ольга отходит от старика.

Ольга вдалеке от старика. Она оглядывается — и видит, как старый отец, склонившись, снова и долго целует своего ребенка, прильнув к его головке.

С Ольгой заговаривает пожилая женщина, за юбку которой держатся двое детей.

Комната Ивановых. Спят по-прежнему Степан и Настя, а за столом теперь сидят друг против друга Петрушка и Пашков. Они молчат. Петрушка дремлет.

Дверь отворяется. Входит Ольга. Пашков встает ей навстречу, радуясь ее приходу. Петрушка пробуждается.

ПЕТРУШКА. Загуляла... Где была? Вот тебе на работе достанется.

ОЛЬГА (*резко*). Не твое дело. Ложись спать — сейчас же ложись!

ПЕТРУШКА. Успеется...

Он медленно сходит со стула, еще медленнее начинает стелить себе место рядом с Настей и постепенно уклады-

вається, бормоча недовольства. Пашков собирается уходить.

ПАШКОВ. Ольга Васильевна... Я хотел вас спросить, что вам нужно что-нибудь или нет?

ОЛЬГА. Мне ничего не нужно.

Тихий стук в дверь. Дверь приотворяется, показывается голова Софьи Ивановны.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Чего же, ты, головушка горькая, на работу-то не вышла?

ОЛЬГА. Не ваше дело: не вышла — и все.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Как не мое дело! Так будем работать, когда ж мы воевать кончим!.. Что с тобой сделалось такое, ведь ты иная была!

ОЛЬГА. Ничего не случилось...

Голова Софьи Ивановны исчезает за дверью. Пашков тихо выходит.

Ночь. Все дети спят. Ольга подходит к Степану и гладит его голову. Потом принакает к спящим на полу меньшим детям.

Неслышно отворяется дверь и осторожно входит Пашков. Он кладет на стол кулек.

Ольга выходит к Пашкову.

ОЛЬГА. Что это?

ПАШКОВ. Сахар, Ольга Васильевна, это сахар... Я рафинад получил, он детям годится, я забыл его на стол положить.

ОЛЬГА. Возьмите его обратно и уходите вон!

Пашков опускается на колени и касается руками башмаков Ольги.

ПАШКОВ. Ольга Васильевна... Простите меня, Ольга Васильевна.

ОЛЬГА. Уходите домой.

ПАШКОВ. А чем же тогда, чем я могу объяснить вам, что я привык к детям, к Насте с Петрушкой, и к вам я привык, Ольга Васильевна, и дом ваш полюбил...

Ольга касается рукой непокрытой головы Пашкова и проводит по его волосам. Пашков встает с коленей и припадает к руке Ольги, затем к ее плечу. Ольга не снимает своей руки с его головы, и Пашков целует Ольгу в щеку. Сняв руку с го-

ловы Пашкова, Ольга внимательно смотрит на своих детей: спят ли они? Пашков неуверенно обнимает Ольгу.

Ольга без пренебрежения отстраняет его и отходит от него.

Затемнение.

Небольшой массовый сад для гулянья: местный парк культуры и отдыха. Вечер. Игрет музыка. Гуляют люди. Идут Ольга с Пашковым: Ольга держит за руку Настю, Пашков — Петрушку, а Степан идет в одиночестве. Настя и Петрушка одеты более чисто и тщательно, чем прежде, а Степан одет в просторный мужской костюм, и можно подозревать, что это костюм с плеч Пашкова.

Будка или открытый павильон, где продается разноцветная вода. К будке подходит Пашков и все Ивановы.

СТЕПАН. А с витаминами вода?

ПЕТРУШКА. А почему, почему?

НАСТЯ. Мне два стакана!

Ольга угощает детей водой и открывает сумочку, чтобы расплатиться, но Пашков опережает ее.

ПЕТРУШКА. За меня платить не надо! Я не стал пить: тут рубль стакан без сахара: обираловка!

СТЕПАН. Как не надо? А я твой стакан тоже выпил!

Деревянный кинотеатр. Самодельная афиша: «Кинофестиваль лучших детских кинокартин».

К театру подходит вся группа наших людей. Пашков в кассовом окошке покупает билеты. Степан говорит что-то с матерью. Мать его увещевает.

СТЕПАН. А какой я ребенок? Я не пойду — там курочек будут показывать и как умный мальчик колот дрова одной старухе, у какой сына не было... Я на танцы пойду глядеть!

ОЛЬГА. Ну как хочешь! Танцор еще!

СТЕПАН. А что? Я тоже буду. Ты с отцом не танцевала, что ль? Ага — отец мне все говорил.

Пашков приносит билеты. Их берет Петрушка.

ПЕТРУШКА. Один я продам. Насть, пойдём!

СТЕПАН (*забирая билет у Петрушки*). Мал еще. Я сам продам.

Петрушка и Настя направляются в кинотеатр, а Степан пошел в другую сторону. Ольга и Пашков остались одни. Пашков деликатно берет Ольгу под руку.

Комната Пашкова. Ольга сидит, а Пашков хлопчет у стола, где расставлена кое-какая пища и стоит бутылка наливки.

ПАШКОВ (*наливая две рюмки*). Ну, за что, Ольга Васильевна?

ОЛЬГА (*беря рюмку*). Не знаю. За наше прошлое счастье, за вашу жену и моего мужа.

ПАШКОВ. Хорошо, но печально!

Они выпивают.

Пашков заводит патефон. Бутылка на столе почти пуста. Патефон играет вальс. Пашков приглашает Ольгу, и они начинают танцевать.

Танец. Обняв Ольгу и водя ее в танце, Пашков целует ее во время танца в плечо, в щеку около уха. Ольга равнодушно танцует, и глаза ее глядят пусто и холодно.

Они сидят рядом на маленьком диване, тесно друг к другу. Пашков целует Ольгу в губы. Ольга не сопротивляется; она удивлена и несколько напугана. Пашков повторяет свой поцелуй.

ОЛЬГА. Я устала.

ПАШКОВ. Ну не надо, не надо. Я больше не буду. Я отвык от счастья, и вот забылся.

ОЛЬГА. Я в кино пойду, детей встречать.

ПАШКОВ. И я с вами, и я с тобой!

ОЛЬГА. Нет, я одна.

Ольга подымается. Пашков помогает ей собраться — подает шапочку, сумку, снимает пушинки с платья.

Потемневший вечер. Улица в поселке. Радиорепродуктор на столбе. Несколько человек слушают радио. К ним подходит Ольга и останавливается. Радиорепродуктор передает раскаты артиллерийского салюта в Москве. Затем радио начинает играть торжественную музыку.

ОЛЬГА. Что это?

ОДИН ИЗ СЛУШАТЕЛЕЙ ГРУППЫ. Салют в Москве, немцев погнали, скоро будет наша победа!

Ольга отходит. Она идет одна. Она останавливается.

ОЛЬГА. Почему я так обижена?

Двое детей приближаются к ней навстречу. Ольга ожидает их. Подходят Петрушка и Настя.

НАСТЯ. Мама, нам про победу говорили!

ПЕТРУШКА. Это наш отец там!

Ольга берет Настю к себе на руки и целует ее.

НАСТЯ. Петрушка, мама плачет.

Петрушка обхватывает мать руками и прижимается к ней. Затемнение.

Зимний день. Комната Ивановых. В ней много перемен, указывающих, что время идет. В комнате много новых предметов: шкаф, часы на стене и проч. Уже нет признаков того, что люди живут здесь временно, случайно, словно на привале в походе. Вся семья обедает. У Насти волосы заплетены в косички. У Степана пух над верхней губой. Петрушка в материнском фартуке разливает суп в тарелки; он почти не изменился. Печка прежняя. Мать в ватнике, в рабочей одежде. Пока Петрушка разливает суп, Настя взяла газету, надела бабушкины очки на нос и читает газету вслух: «Наши части с боями продвигаются вперед, в глубь Германии. За истекшие сутки взято пленных сорок одна тысяча восемьсот тридцать солдат и офицеров противника».

СТЕПАН. Во наши дают! Хорошо там!

ПЕТРУШКА (*снимая очки с Насти и бросая их прочь на кровать*). Чего глаза портишь? Будешь слепая — на пенсии жить!

Приходит Пашков. Он приносит и дарит: Насте — книжку, Степану — коробку папирос, Петрушке — одну калошу.

ПАШКОВ (*Петрушке*). А другую я тебе на базаре подыщу, одну я потерял.

ПЕТРУШКА. Вторую я сам найду!

ОЛЬГА. А зачем папиросы, он еще молод курить!

СТЕПАН. А работать не молод? Раз я рабочий класс — мне можно!

ПЕТРУШКА (*Пашкову*). Садись обедать — вон туда.

ПАШКОВ. Да я обедал уже!

Петрушка наливает Пашкову суп.

СТЕПАН. Харчись, дядя Семен. Жми!

Настя с книжкой в руках перебирается на колени к Пашкову. Пашков приголубливает Настю и ласкает — и они обедают вместе из одних тарелок, поставленных вплотную, и вся семья обедает.

НАСТЯ. Дядя-папа, а ты вечером придешь?

ПАШКОВ. Приду, Настя, приду.

НАСТЯ. А потом уйдешь?

ПАШКОВ. Потом уйду.

НАСТЯ. А ты не уходи, живи с нами, а то ходишь туда-сюда, нам скучно.

ОЛЬГА (*смущенно*). Кушай, Настя...

ПЕТРУШКА. Она болтать любит, а хлеб не разжевывает и глотает его как попало.

Стучат в дверь. Все поворачиваются к двери — в ожидании.

Пауза.

СТЕПАН. Иди сюда!

Дверь отворяется. Входит юная почтальонша, запорошенная снегом, и с нею сопровождающая ее Софья Ивановна, вся исполненная любопытства.

Почтальон подает пачку писем и сверху пачки она положила еще отдельное письмо.

Степан и Петрушка протягивают руки, но почтальонша подает письмо Ольге.

— Вам, — говорит почтальонша.

ПЕТРУШКА. Отец жив!

Почтальонша подает книжечку, чтобы расписаться. Ольга держит письма и не видит книжки.

Настя соскакивает с колен Пашкова и расписывается. Почтальонша уходит. Софья Ивановна остается.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Иль правда жив! Ведь сколько лет ни слуху ни духу!.. Да ты уж скажи мне, Олюшка, я уж с тобой порадоюсь.

ОЛЬГА. Я сама ничего не знаю.

Она сжимает все письма в обеих руках, встает из-за стола, подходит к окну и там прячет пачку писем к себе за ватник, за пазуху, в укромное место.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Ты хоть одно — верхнее-то письмо прочитай.

ОЛЬГА. Я боюсь... Ступайте, Софья Ивановна.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Ну ладно, поплачешь, потом скажешь.

Софья Ивановна уходит. Пашков подымается из-за стола, берет шапку, одевается, собирается уходить, но стоит на месте, не зная еще, как ему поступить.

Ольга выкладывает письма на подоконник и перебирает их не читая.

Настя подходит к матери.

НАСТЯ. Мама, давай я буду читать. Я вслух!

Она берет одно письмо, что почтальонша принесла отдельно.

ПАШКОВ. Вслух не надо!

НАСТЯ. А я в уме буду.

Настя садится за стол и читает письмо про себя. Все молчат. Ольга перебирает письма руками на подоконнике.

НАСТЯ (*среди чтения*). Мама, здесь плохо написано... Капитан Алексей Алексеевич Иванов ранен.

Настя читает про себя. Молчание.

НАСТЯ. А потом он не умер... «Мы просим вас, глубоко уважаемая Ольга Васильевна, навестить супруга в госпитале, потому что он сильно скучает. Жить ему еще долго, а он желает вас поскорее увидеть, как можно скорее. Кланяемся вам и шлем привет боевой подруге нашего героя-командира. Неизвестные вам и уважающие вас Исаев, Моргунов, Белоярцев».

Петрушка отходит в угол и, уткнувшись лицом в стену, плачет в одиночестве.

СТЕПАН. Дядя Семен, ты иди домой.

Пашков молча уходит.

СТЕПАН. Мама, пойдём на работу, нам пора.

ПЕТРУШКА (*в слезах*). Мама, не ходи!

СТЕПАН. Чего — не ходи! Знаешь ты! Мы бы не работали — отца совсем убили.

Ольга оборачивается от окна к детям. Она подходит к Насте и целует ее.

К матери подходят Петрушка и Степан, отталкивая друг друга.

Ольга снова целует Настю. После Насти она целует Петрушку и целует Степана. Лицо ее в слезах, но она улыбается в совершенном счастье, которое с трудом переносит ее сердце.

И Ольга вновь страстно целует всех своих детей, а дети прижимаются к ней и, слегка оттирая один другого, стараются, чтобы мать поцеловала каждого вне очереди и скорее.

Затемнение.

Платформа вокзала. Стоит пассажирский поезд. По платформе ходят пассажиры. В тамбуре вагона, у его открытой двери, стоит отъезжающая Ольга. Она смотрит на своих детей. Они все трое стоят на платформе, провожая мать. Позади детей, в отдалении от них и от вагона, стоит одинокий Пашков. Гудок паровоза. Поезд трогается.

Трое детей бегут рядом с поехавшим вагоном. Мать машет им рукой, высунувшись из тамбура.

Пашков, сняв шапку, остается на месте, молча наблюдая Ольгу, ее еле различимую фигуру, исчезающую вдалеке вместе с вагоном.

ДОЛГО ШЕЛ ПОЕЗД ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВА РОДИНЫ НА ЗАПАД.

Ольга в жестком вагоне сидит у окна. Ее сосед, сержант, играет на гармонии.

За окном — избушка на взгорье с журавлем у колодца.

За окном — дедушка и внучек идут по полю, на котором уже есть проталины, следы весны.

За окном — корова глядит добрыми глазами на проходящий поезд.

За окном — погорелое селение и мертвая роща с обугленными стволами деревьев. Ольга внимательно, не отрывая лица от окна, наблюдает видения, что проходят за стеклом.

За окном — маленькое военное кладбище: несколько деревянных (дощатых) пирамидок с деревянными же звездами наверху и несколько крестов. Ольга встает и провожает глазами исчезающее кладбище.

ГОСПИТАЛЬ, КУДА ПОЕХАЛА ОЛЬГА, НАХОДИЛСЯ НЕВДАЛЕКЕ ОТ ГОРОДА, ГДЕ ОЛЬГА РОДИЛАСЬ, ВЫШЛА ЗАМУЖ, РОДИЛА ДЕТЕЙ И ПРОЖИЛА ВСЮ ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ. ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ, ОЛЬГА СНОВА УВИДЕЛА СВОЙ ГОРОД.

Вдали видны руины разрушенного города. Ольга идет с чемоданом в руках по улице города, где все дома разрушены; она идет по тропинке, протоптанной среди кирпичной и каменной щебенки; общий ландшафт похож на то, что будто здесь прошла каменная метель, и она нанесла бугры, но не из снега, а из раскрошенного камня.

Стоит разрушенный взорванный дом. От него осталось полтора этажа. Со второго этажа — что видно в пустые проемы бывших окон и стен, — свешивается изуродованная железная кровать почти на весу держится шкаф, на стене (в интерьере) висят фотографии и картинки из детских журналов.

Ольга появляется из этого дома и стоит возле него, рассматривая его внутренность. Оставив чемодан на земле, она идет внутрь дома.

Ольга на втором этаже, где кровать, шкаф и фото с картинками на стенах.

Ольга снимает со стены фотографию: это семейная карточка — на ней Ольга с мужем и трое их детей: Степан, Петрушка и Настя. Ольга вглядывается в старую фотографию и берет ее с собой. Затем она проводит рукой по спинке кровати, по шкафу, готовому сорваться, по стенам. Она наклоняется и подымает детскую погремушку и мужской портсигар; эти вещи она также забирает с собой.

Ольга смотрит снаружи, с улицы, на свой разрушенный семейный очаг.

Она берет чемодан и уходит по тропинке среди холмов каменной щебенки.

В руинах стоит уцелевшая деревянная скамья. У скамьи лежит большое спиленное дерево, и пень этого дерева находится тут же.

Ольга подходит к этой скамье и садится на нее...

Она сидит одна в размышлении, в воспоминании.

Она берет чемодан и отходит в сторону, садясь там на камни, а скамья остается пустая. Ольга смотрит из отдаления на пустую скамью.

Спиленное дерево исчезает: оно живое, оно растет, как прежде, возле скамьи. Позади скамьи не руины, а целый населенный дом, и окна его светятся вечерним светом — электричеством и отражением летнего заката солнца на стеклах окон.

По летней улице, где растут деревья у тротуара, идут двое юных людей: Алексей Иванов в гражданском костюме и девушка Ольга в белом платье. Иванов ведет под руку свою невесту. Юные Алексей и Ольга садятся на скамью под живым, растущим деревом, на котором бормочут, шевелятся листья.

Алексей держит руки Ольги в своих руках и говорит ей что-то, а Ольга в ответ молча улыбается.

К ним подходит женщина-мороженщица с ящиком мороженого. Алексей вынимает деньги и уговаривает ее. Женщина снимает с себя ящик с мороженым. Алексей отдает ей деньги. Женщина ставит ящик на землю и уходит, Алексей, продолжая говорить с Ольгой, ставит ногу на ящик с мороженым, и Ольга также ставит свою ногу на тот же ящик.

Алексей склоняется к уху Ольги и шепчет ей свои слова; Ольга молчит; Алексей целует ее в висок. Юная Ольга слегка вскрикивает и закрывает лицо руками — и нынешняя Ольга, стоящая на камнях, повторяет ее жест.

Прежняя реальная картина, т. е. руины, пустая скамья, спиленное дерево.

Реальная, наша Ольга подходит к пустой скамье и гладит ее рукой, ласкает в воспоминании о прошлом.

Улица незнакомого поселка. Длинный деревянный дом. Над домом, над его крыльцом белый флаг с красным крестом.

Является Ольга со своим чемоданом и входит в этот дом, в госпиталь.

Внутри госпиталя. Приемная комната. Канцелярия. Сидит военнослужащая сестра. Она быстро перебирает выписки из историй болезней. Ольга стоит над ней в ожидании. Военнослужащая сестра находит нужный лист и читает его.

СЕСТРА. По выздоровлении — выбыл в свою часть.

ОЛЬГА. А где его часть? Куда же мне ехать?

СЕСТРА. Я вам могу сказать номер его полевой почты. Ищите по номеру.

ОЛЬГА. Я буду искать его, я его найду.

СЕСТРА. Ищите. Вы его жена?

ОЛЬГА. Да... А вы видели его?

СЕСТРА. Не помню. Их много у нас.

ОЛЬГА. Как же вы не помните?

СЕСТРА. Не помню, дорогая, не помню. Я устала. Сколько их было!

Ольга поднимает свой чемодан и уходит от сестры.

Блиндаж. Обычная обстановка. На столе горит свечильник, сделанный из сплющенной на выходном конце большой гильзы. В блиндаже майор Иванов, командир батальона, и еще три офицера: Исаев, Моргунов, Белоярцев; Моргунов — тоже майор, остальные капитаны, а по возрасту все они примерно ровесники; это те самые, немного знакомые нам люди, что ехали в одном вагоне, в одном купе с Ивановым. Иванов работает над картой.

ИВАНОВ. Ну, я расчертил — и маршруты для рот, и время их движения. Осталось согласование с соседями справа и слева.

БЕЛОЯРЦЕВ. Это мы сумеем — согласоваться нетрудно.

ИВАНОВ. Нетрудно? Это самое трудное и есть — думать не о себе только, а и о соседях.

ИСАЕВ. Ничего, Алексей Алексеевич, теперь воевать недолго осталось.

ИВАНОВ. Вот будешь думать — ничего да недолго — и будет долго и трудно, и семью не скоро увидишь.

Трое офицеров переглядываются меж собой. Моргунов, самый старший по возрасту и самый веселый по нраву человек с большими усами, откровенно хохочет.

МОРГУНОВ. И семью еще увидим, Алексей Алексеевич, и детей еще новых нарожаем на радость. Во как будет!

ИВАНОВ. Не знаю, не знаю... У меня семья далеко — на том свете, наверное.

МОРГУНОВ. А может, и ближе.

ИВАНОВ. Едва ли. За всю войну всего одно письмо недавно получил, и то от сорок третьего года.

БЕЛОЯРЦЕВ. Да вон мне и пишет жена, а какая радость: я ей не верю.

ИВАНОВ. Что — изменяет, что ль? Вот горе! Обидели его!

БЕЛОЯРЦЕВ. Да не очень обидели, Алексей Алексеевич, а все-таки неудобно себя чувствуешь: измена же не подвиг! А я уважал свою жену.

ИВАНОВ. Какая измена! Что она — родине, что ль, изменила? — ишь ты, я бы сам тебе изменил, будь я на ее месте!..

БЕЛОЯРЦЕВ. Это все так, но у меня тоже есть самолюбие, Алексей Алексеевич, и у вас оно есть, от него никуда не денешься!

ИВАНОВ. Самолюбие у тебя! Ага! А ты бы его чувствовал не теперь, а тогда, когда ты к одной Зое бегал, к регулировщице под Кромами, — помнишь иль забыл?

МОРГУНОВ. Он это слабо, он это слабо помнит, Алексей Алексеевич.

БЕЛОЯРЦЕВ. Почему? Помню.

ИВАНОВ. Так чего ж ты жену заочно подозреваешь?.. Я вот и сам еще не знаю, кто больше для родины и для победы сделал — я или моя жена. Скорее всего она.

ИСАЕВ. Ну, как сказать! Из вас, Алексей Алексеевич, одной крови сколько вышло, если считать просто на граммы...

МОРГУНОВ. Да пуда полтора, не меньше, ей-богу. Из меня от двух тяжелых ранений вышло семь фунтов, я считал. *(Он хохочет.)*

ИВАНОВ. А я не считаюсь здесь своей кровью, когда там у женщины и у подростка кости сохнут от работы круглые сутки, когда они там хлебом с картошкой не всегда наедаются...

Офицеры молчат.

МОРГУНОВ. Да, в тылу у нас тоже, выходит, богатыри.

ИВАНОВ. Наши жены там, наши советские женщины, наши дети и старики — вот какие там богатыри. Это они нас всю войну и кормят, и одевают, и оружие делают в достатке с избытком.

БЕЛОЯРЦЕВ. Это все совершенно верно, Алексей Алексеевич, и совершенно точно. Но я говорил, собственно, об одном частном случае, о любви...

ИСАЕВ. Вот это действительно частный случай! Как можно так думать! Пока этот частный случай существует, на земле всегда и счастье и надежда будут...

БЕЛОЯРЦЕВ. Разве? Ты так хорошо и подробно это знаешь. А что есть любовь?

ИСАЕВ. Точно не знаю, а приблизительно. Любовь — это значит вперед, это внутреннее движение человека, это атака будущего оружием сердец...

ИВАНОВ. Не знаю, верно это или нет, но это красиво...

БЕЛОЯРЦЕВ. Я о своей жене, а вы о человечестве.

МОРГУНОВ. Какая жена!.. Другая станет перед тобой — ну, скажем, туловищем или частично корпусом — и человечества тебе никакого из-за нее не видно... И будешь ты в тени в одиночку жить! *(Показывает игроу, как это получается, когда жена весь мир загораживает своим туловищем. Все смеются.)*

БЕЛОЯРЦЕВ. Опять вы не туда... Я просто сказал, что мне моя жена не нравится, потому что я здесь четвертый год под огнем, а она...

МОРГУНОВ *(смеясь)*. Ну а ей, допустим, — ты прости меня, — другой нравится и не под огнем... Сережа, ты не переживай, ты атакуй регулировщицу холодным оружием сердец! Вперед!

БЕЛОЯРЦЕВ. Ну хватит пошлости!

ИВАНОВ. Тут не пошлость... Пошлость в твоём подозрении жены.

БЕЛОЯРЦЕВ. Оставим жену. Это мое дело.

ИВАНОВ. Дело твоё, но нехорошо твоё дело.

БЕЛОЯРЦЕВ. Скажите, Алексей Алексеевич, а если бы ваша жена, работая инженером на заводе, сблизилась бы, скажем, с хлеборезом или шофером и сама бы вам о том написала, — как бы вы себя чувствовали?

ИВАНОВ. Не знаю, не переживал. Но ведь ты не знаешь, как жила твоя жена эти годы, а без точного знания такое дело не поймешь.

БЕЛОЯРЦЕВ. Все равно в проступке всегда есть вина.

ИВАНОВ. Чепуха! Есть проступки и даже преступления, где нет никакой вины и виноватых нету, а есть необходимость.

БЕЛОЯРЦЕВ. Нет преступлений без вины и нет у меня больше жены!

ИВАНОВ. Дурной ты и сердце у тебя маленькое... Твоя жена труженица, мученица, ты бы, может, с ума сошел на ее месте, если б поработал так, как она, а ты ее ненавидишь, что ее кто-то там в губы поцеловал.

БЕЛОЯРЦЕВ. А если больше?

ИВАНОВ. Что больше?.. Она мир спасла вместе с нашим бойцом, а ты ее в измене подозреваешь, в измене одному тебе!

ИСАЕВ. А все-таки тяжело узнать, что жена неверна.

МОРГУНОВ. Да ничего! Можно же растереть это дело: гулять, танцевать, ухаживать. Не надо только одному сидеть и скорбью надуваться.

ИВАНОВ. То есть как же это: значит, тогда в клубе надо жить! Эх ты, решил задачу!

ИСАЕВ. Скажи, Алексей Алексеевич, а если бы, допустим, что-нибудь случилось подобное с твоей супругой? Ты как тогда бы?

ИВАНОВ. Да я что!.. Я солдат, дорогой мой, а солдат и смерть стерпит, когда нужно. А раз я смерть прощаю, то и жену не обижу.

ИСАЕВ. А все-таки?

ИВАНОВ. Чего тебе — все-таки? Моя жена не железная копилка для добродетели... Все люди, брат, сейчас раненые, — зачем же упрекать жену, если ее поранила жизнь и судьба. Не одни же осколки и пули бьют человека.

БЕЛОЯРЦЕВ. Так-то оно так...

МОРГУНОВ. А сердце все же свербит! Сердце ведь сволочь!

Жужжит зуммер полевого телефона.

ИВАНОВ (*беря трубку*). Сосна слушает... Да... Он самый... Так точно... Есть. Посылаю связного. (*Кладет трубку.*) Ну, ребята, у меня работа, да и вам пора...

Все трое встают, прощаются как военные — дружелюбно и любезно, понимая, что каждое свидание может быть последним.

Весенний яркий день.

Вдали — западноевропейский город. В городе горит несколько зданий. Слышны раскаты удаляющейся, затихающей стрельбы.

По дороге мчатся вперед наступающие колонны наших войск. По другой дороге подтягиваются обозы. Идут грузовики. На одном грузовике, на котором едет группа красноармейцев, сидит и Ольга, глядя вперед, в пожар войны, сияющими глазами.

Двухэтажный дом в заграничном городе. Снаружи стоят два наших автоматчика. Связисты тянут линию. Невдалеке горит дом. Появляется Иванов с офицерами и двумя ординарцами. Очевидно, что они пришли с переднего края. Все они входят в дом. Недалеко от этого дома, по той же улице, остановились наши грузовики, и они разгружаются.

С одного грузовика сходит Ольга со своим чемоданом и не знает, куда ей идти. Она стоит. Артиллерийский огонь, стук автоматов, что слышались вдалеке, утихают.

Пауза. Издали доносится гортанный гул тысяч человеческих голосов, и среди этого гула можно разобрать слитный гром русского ура. Ольга замерла и слушает, стараясь понять обстановку.

С группой младших офицеров идет веселый Моргунов. Ольга несмело подходит к нему и спрашивает у Моргунова о муже. Моргунов вытягивается перед Ольгой, козыряет ей, берет у нее чемодан и приглашает ее следовать впереди себя, все время громко радуясь.

ОЛЬГА. Что вы? Я смешная?

МОРГУНОВ. Вы душка!

Издали слышится торжественная музыка. Ольга жадно слушает.

ОЛЬГА. Что это?

МОРГУНОВ. Сейчас узнаете.

Дом, где находится Иванов. Из дома быстро выходит Иванов с офицером связи.

Ольга издали видит мужа, стоящего на каменном крыльце дома. Она бежит к нему.

К крыльцу подходит «виллис»; Иванов и его сопровождающий быстро, почти на ходу, вскакивают в «виллис» — и исчезают. Вдалеке играет музыка.

Моргунов идет с чемоданом Ольги. К нему подходят две девушки (австрийки) и подносят ему два букета весенних цветов. Моргунов благодарит, он хочет поцеловать руку старшей девушке, но они обе подставляют ему щеки, и Моргунов целует их в щеки.

Ольга сидит на нижней ступени крыльца дома, откуда только уехал Иванов.

Моргунов подходит к ней и дарит ей оба букета цветов.

Прямая улица. На зрителя мчатся на большой скорости несколько «виллисов».

В переднем «виллисе» — Иванов с сопровождающим его офицером. Во втором «виллисе» американский офицер со своим адъютантом.

Иванов вглядывается вперед и даже привстает с сиденья.

Он видит: на крыльце его дома сидит его жена; Ольга в платке, в ватнике, в валенках, в чем выехала она из далекого дома.

Ольга вблизи. Подскакивает первый «виллис», за ним второй, третий. Ольга встает в смущении, — и она видит мужа, выходящего из первой машины.

Иванов подходит к Ольге. Она стоит в стеснении против него.

Иванов сразу подымает ее, берет к себе на руки, как ребенка, и уносит по ступеням в дом.

Американские офицеры, наблюдавшие эту сцену, аплодируют. К американцам подходит Моргунов; он представляется старшему офицеру, здоровается со всеми и каждому говорит что-то, затем приглашает их в помещение. Американцы, смеясь, обнимают Моргунова — и вся веселая группа офицеров подымается в дом.

Весенний вечер. Магазин женского готового платья.

Из магазина выходят с коробками покупок Моргунов, Исаев и Белоярцев.

МОРГУНОВ. Счастливые глупы и недогадливы!

БЕЛОЯРЦЕВ. Да, а я бы хотел быть сейчас таким глупым, как наш Алексей.

Вход со двора в тот дом, где находится Иванов. Появляются три наших офицера с покупками. Стучат в дверь. Дверь

отворяется, выходит Ольга. Офицеры ставят коробки у ног женщины.

ОЛЬГА. Кому это?

МОРГУНОВ. Вам, вам, душка вы наша. Примите и не обижайте нас, старых вдовцов и сирот.

Офицеры единовременно козыряют и поворачиваются налево кругом.

Поздний вечер. Играет музыка. Вестибюль большого ресторана, где происходит банкет для офицеров союзных армий. Русские и американские офицеры беседуют и курят в вестибюле.

И вдруг офицеры расступаются, давая дорогу. Появляется Иванов под руку с женой. Иванов в парадной форме и с орденами. Ольга одета в европейское весеннее платье, в лакированные туфли, голова ее причесана, как быть должно. Она выглядит теперь почти как девушка, и радость сделала прекрасным ее лицо. Позади них следует счастливый Моргунов. Зал ресторана. Посредине люди танцуют, у стен ужинают за столиками.

За одним столиком сидят Иванов и Ольга. Ольга находится в состоянии, близком к волшебному сновидению. Иванов время от времени трогает руку Ольги, проверяя, здесь ли она в действительности. Они молчат.

Американский майор обращается к Иванову — он просит разрешения пригласить Ольгу на танец.

Ольга танцует с американцем. Моргунов танцует с Габриэль. Музыка играет какой-то бушующий танец.

Усталая Ольга возвращается к мужу. Иванов улыбается; он доволен, что Ольге здесь хорошо; он угощает ее вином и фруктами.

ИВАНОВ. Дети там не забыли меня?

ОЛЬГА. Нет... Только Настя все спрашивает: а какой папа?

ИВАНОВ. Она маленькая крошка была...

ОЛЬГА. Она маленькая.

ИВАНОВ. А мама как?

ОЛЬГА. Я боялась тебе сказать... Мы берегли ее, но она все скучала по тебе, все тосковала, она думала — ты давно убит, и она умерла...

Молчание.

ИВАНОВ. Давно уже мамы нет?

ОЛЬГА. Давно, Алеша.

Моргунов, Белоярцев, Исаев и еще два офицера сидят за столиком. К ним подходит официантка с вазой, в которой лежат конфеты, шоколад, маленькие подарки; у официантки есть также цветы. Офицеры платят деньги официантке и говорят, куда нужно отнести цветы и то, что в вазе.

Официантка подносит подарки к столу Ивановых и с поклоном кладет на стол все, что было в вазе, и цветы.

Иванов и Ольга смотрят в сторону друзей-офицеров; друзья им кланяются издали и делают жесты сочувствия и дружелюбия. Моргунов подымает бокал, предлагая тост. Все пьют на том столе за их здоровье. Иванов и Ольга отвечают тем же.

ОЛЬГА. У тебя раны не болят, Алеша?

ИВАНОВ. Не болят, нет... Залечили крепко. Расскажи мне о себе, я думал — тебя нет в живых.

ОЛЬГА. А я думала — тебя нету... А я без тебя не могу, а у меня дети...

ИВАНОВ. Да, наши дети... Я бы Настю хотел сейчас на руках подержать. А Степан и Петрушка уже большие выросли?

ОЛЬГА. Они большие выросли, Алеша, и разумные стали.

ИВАНОВ. Я тебя поцеловать хочу, Оля. Спасибо, что ты детей сберегла, выкормила и вырастила. Четыре года я думал, когда прикоснусь к тебе, я и во сне тебя видел, в бреду с тобой говорил...

ОЛЬГА (*смушенная*). Не надо, Алеша, не надо меня целовать.

ИВАНОВ. Ты отвыкла от меня?

ОЛЬГА. Нет... Зачем мне подарили это платье, туфли, зачем ты меня шоколадом кормишь и вином? Мне не надо.

ИВАНОВ. Почему?.. Да тебя в золото надо одеть, пуговицы из бриллиантов сделать и всей этой Европе показывать, чтобы они руки тебе целовали.

ОЛЬГА. Алеша, я больше не могу... Не хвали меня, не люби меня. Здесь так хорошо с тобой!

Иванов ничего не понимает. Подходит Белоярцев и приглашает Ольгу на танец.

ИВАНОВ. Ей сейчас некогда. Ступай прочь пока.

БЕЛОЯРЦЕВ. Есть! Прошу прощения.

И Белоярцев отходит.

ОЛЬГА. Алеша, я не такая, какая была... Я не стерпела жизни и тоски по тебе, а если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети и я бы тебя никогда не увидела...

ИВАНОВ. Так что же было с тобой, милая, бедная моя?

ОЛЬГА. Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею...

ИВАНОВ. Подожди, не надо больше... У тебя что, у тебя человек был?

ОЛЬГА. Был, Алеша.

ИВАНОВ. А он что — он не обижал моих детей?

ОЛЬГА. Он их любил, Алеша, он добрый был, он пожилой уже.

ИВАНОВ. Пожилой уже?

ОЛЬГА. Пожилой, у него своя семья погибла...

Молчание. В зале веселое оживление. Музыка играет новый вальс.

К Ивановым подходит сразу группа офицеров: Белоярцев, Моргунов, Исаев, два американца. Еще несколько не дойдя до Ивановых, один американец надламывает спички, подает их своим спутникам, те берут спички, спичка с целой головкой достается Моргунову, — ему, следовательно, досталось право пригласить Ольгу на танец.

Моргунов увлекает Ольгу в танцующую толпу.

К оставшемуся в одиночестве Иванову подходит Габриэль и протягивает ему руку, приглашая танцевать, но Иванов отказывается. Габриэль с наивной алчностью глядит на уставленный стол. Иванов указывает ей на стул.

Габриэль садится охотно. Она сама наливает себе вина, выпивает, и жадно, не сдерживаясь, кушает пищу. Она ве-

селя и голодная. Иванов глядит на нее равнодушно, но он добр по привычке и подвигает ей различные яства.

Ольга и Моргунов возвращаются к столу Иванова.

ГАБРИЭЛЬ (*вставая*). Мерси! (*И уходит.*)

ОЛЬГА (*обращаясь к Моргунову*). Это кто?

МОРГУНОВ. Да так — неизвестно кто: местная обедневшая империалистка!

Моргунов кланяется, целует руку Ольге и уходит.

ОЛЬГА. Алеша, пойдем домой.

ИВАНОВ. А где мой дом теперь?

ОЛЬГА. Со мной, Алеша.

Она берет его за руку. Иванов встает, безвольный, как спящий.

Они подходят к тесной толпе танцующих. Им нельзя пройти между танцующими. Они останавливаются. Ольга кладет свою руку на плечо мужа, другой обнимает его и ведет его в танец, вписываясь в тесный круг танцующих.

Они удаляются среди танцующих; они у выхода наружу.

Улица чужого иноземного города. Горелые дома. Безлюдие. На проезде валяется битая немецкая техника — пушки, повозки, зарядные ящики, пустые автомашины, а также бревна, трупы лошадей и немецких солдат и прочее.

Ольга ведет за руку Иванова, как маленького, по этой улице. Иванов покорно идет.

Затем он вырывает свою руку от Ольги — и действует: хватает бревно, сворачивает его с дороги и отшвыривает, приподнимает за подножку малолитражную разбитую машину и опрокидывает ее, кантуя через крышу;

берет лафет у легкого орудия и волочит всю пушку в сторону; раскачивает наклонившийся столб с траверсами наверху и рушит его на землю; наклонившись, подымает за костеневший труп немца и бросает его от себя.

Действуя так, Иванов удаляется от зрителя, а Ольга тихо идет за ним. Уже не видно ясно и точно, что именно там сокрушает Иванов, только слышен гром его работы. Они вблизи. Ольга берет мужа за руку. Иванов глядит на нее одичалым и кротким лицом.

ИВАНОВ. Я утомиться, я измучиться хочу и не могу.

ОЛЬГА. А зачем? Ты успокоишься только со мной, больше ни с кем.

Иванов берет Ольгу на руки, несет ее вперед и сажает в пустую повозку, а повозку катит перед собою, упираясь в нее руками, сзади. Ольга, сидя в повозке, улыбается, глядя на мужа, и болтает ногами.

ОЛЬГА. Успокойся! Все ведь не так, как ты думаешь.

ИВАНОВ. Прочь уходи!.. Прочь ты от меня, пока я, пока мое сердце еще любит тебя!

Ольга прыгает с повозки — и уходит одна по дороге во тьму, а Иванов стоит неподвижно и смотрит ей вслед; он делает движение в сторону ушедшей — несколько шагов, и останавливается.

Затемнение.

Весенний день. Площадь того же иностранного города. Парад союзных войск. В отдалении стоят старшие офицеры — русские и американские, — принимающие парад. На одной стороне площади, на тротуаре, среди наших интендантов военнослужащих, стоит в качестве зрителя Ольга; она одета теперь в ватник, в валенки, в теплый платок — в ту одежду, в которой приехала; у ног ее стоит домашний чемодан. Музыка играет торжественный марш. По площади проходит американское подразделение.

Затем движется наша сводная рота; во главе ее идет Иванов; он идет точным шагом с обнаженной опущенной саблей; окаменевшее, словно мертвое лицо его смотрит прямо перед собой. Проходя мимо старших командиров, Иванов поднимает саблю в положение салюта — и у Ольги, следящей за мужем, катятся в этот момент слезы из глаз.

КПП на дороге за городом. Группа наших командиров, ожидающая машин. К этой группе подходит Моргунов, провожающий Ольгу.

МОРГУНОВ. Мало вы у нас погостили, Ольга Васильевна...

ОЛЬГА. У меня отпуск скоро кончается, а ехать нужно долго.

МОРГУНОВ. Жалко, жалко...

Подходит пустой грузовик. Пассажиры залезают в него; садится в кузов и Ольга; Моргунов подает ей чемодан, прощается с ней. Грузовик трогается и уезжает.

МОРГУНОВ *(один)*. Да, любовь существует. Жениться, что ль, после войны?.. Эх ты, пустое, вольное мое сердце!

Вечер в кафе в западноевропейском городе. Играет музыка. Разная публика населяет кафе: есть немного местной гражданской публики, но большинство — военные, наши и американцы. За одним столиком сидит одинокий Иванов и пьет вино. Несколько пар танцуют. В одной танцующей паре — Габриэль, она замечает Иванова — и подходит к нему.

ГАБРИЭЛЬ. Бон суар.

ИВАНОВ. Здравствуйте. Кушать хотите?

ГАБРИЭЛЬ. Нон.

ИВАНОВ. А пить? *(Иванов поясняет ей смысл слов жестами, но Габриэль немного и сама понимает по-русски.)*

ГАБРИЭЛЬ. Уй, конечно.

Она садится, пьет вино. Иванов вначале задумчиво и равнодушно глядит на Габриэль, но потом оживляется: Габриэль внешне хороша, она держится просто и откровенно, а Иванов хочет забытья с ней.

ИВАНОВ. Муж, муж есть у вас?

ГАБРИЭЛЬ. Мьюж, мьюж...

Иванов показывает на себя.

ИВАНОВ. Такой, как я?

ГАБРИЭЛЬ *(понимая)*. Нон, нон. Бон ами, бон ами...

ИВАНОВ. Ага. Жених, что ль?

ГАБРИЭЛЬ. Уи, уи, женьих! *(Она изображает жестами, какого он роста и что у него усы.)*

ИВАНОВ. А чего же ты здесь крутишься? Жених есть, выходи замуж!

ГАБРИЭЛЬ. Лё травай, лё травай...

ИВАНОВ. Что?

ГАБРИЭЛЬ. Лё травай... *(Показывает игрою рук.)* Тук-тук! Лё травай!

ИВАНОВ. Не понимаю... Ни дьявола не понимаю...

ГАБРИЭЛЬ *(думая)*. Трюдящи... Ту-тук!

ИВАНОВ. Ага, ты на работе!

ГАБРИЭЛЬ. Работ, работ.

ИВАНОВ. А жених знает, жених, я говорю, знает?

Иванов вынимает бумажник и показывает на него.

ГАБРИЭЛЬ. Уи, уи.

ИВАНОВ. И жених, бон ами этот знает, что ты... *(Делает поцелуй в воздухе. Показывает на бумажник.)*

ГАБРИЭЛЬ *(смеясь и понимая)*. Бон ами? Уи, уи.

ИВАНОВ *(размышляя, смущаясь)*. Как же так? Вот стерва-то! Да и жених стервец!

И далее Иванов показывает ей на себя — и заламывает для отсчета один палец на руке, — указывает на другого мужчину в кафе — заламывает другой палец, — на третьего — третий палец и т. д., до десяти на двух руках. Габриэль понимает и смеется; она так же считает на пальцах на своих руках и, когда пальцы на руках у нее все были уже заняты, она показала на свои пальцы на ногах — и рассмеялась еще веселее.

ИВАНОВ. И своему бон ами ты про всех говоришь, про всех про нас? *(Показывает ей игроу, что это значит.)*

ГАБРИЭЛЬ *(поняв)*. Нон, нон! *(Делает жест, как бы зачеркивающий пальцы на ногах, и разжимает пальцы на одной руке.)* Польовин!

ИВАНОВ. Половину только? Ясно!.. Да, баба ты миловидная, а не наша.

ГАБРИЭЛЬ. Экуа?

Иванов вынимает из бумажника деньги и подвигает их Габриэль. Габриэль мгновенно их прячет куда-то, неуловимо куда.

ИВАНОВ. Вот тебе экуа... Ступай домой отдыхать! Получай деньги за беседу!

Габриэль ничего не понимает. Поднявшись со стула, она берет Иванова за руки и пытается увлечь его за собою. Но Иванов машет рукой.

ГАБРИЭЛЬ. Оревуар?

Иванов подтверждает. Удивленная и недовольная Габриэль уходит. Но, отошедши, тут же возвращается, целует Иванова в губы, оставляет что-то на столе и исчезает.

ИВАНОВ (*взяв деньги, что оставила Габриэль*). Половину оставила обратно!.. Ах ты, лё травай, лё травай, бедная дочка!

Затемнение.

День в комнате Ивановых. Петрушка подметает комнату. В комнате кроме прежних предметов находится кровать, ковер-подстилка, два чемодана и несколько мелких вещей — из комнаты Пашкова. Всё это уставлено как следует, по-хозяйски и содержится в порядке.

ПЕТРУШКА. Мать приедет — оладьев напеку, компот сделаю, полы вымою — чего еще надо!.. Отец небось подарков нам пришлет: мне часы на левую руку, Степке и Насте — тоже чего-нибудь.

Приходит Софья Ивановна с телеграммой.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Гляди-ка, Петр, вам телеграмма: мать не нынче завтра будет.

ПЕТРУШКА (*отбирает телеграмму и кладет ее не читая*). Чего она раньше времени? — может, с отцом беда какая?

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Да ну уж какая беда, раз жив! Вот с моим беда — ни слуху ни духу!

ПЕТРУШКА. Да тебе чего — ты отвыкла. Вон тетка Марья из керосинной лавки вышла за инвалида, и ты женись на инвалиде, у кого вторая категория!

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Да ты найди хоть, а я погляжу да подумаю.

ПЕТРУШКА. Сыщу: давай ведро капусты.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. У, идол малолетний! (*Она уходит.*)

Внутренность жесткого вагона, густо населенного. На лавке сидит осунувшаяся Ольга. Против нее сидит одинокий инвалид; он кушает сало и яйца и угощает Ольгу. Она отказывается и, открыв свой чемодан, вынимает оттуда бутылку коньяку и ставит его инвалиду. Тот довольный, открывает бутылку, но вагон останавливается, инвалид берет чайник и уходит за кипятком.

Поезд стоит на небольшой станции. Вокруг лес, солнечный весенний день. Играет музыка из большого репродуктора над

зданием станции. На платформе станции танцуют друг с другом местные девушки-крестьянки. Все счастливы и веселы; и эти девушки, и местные колхозные старики, и станционные железнодорожники. Одни пассажиры, вышедшие из вагонов за кипятком и за продуктами, ничего не понимают.

Наш безрукий инвалид, что вышел с чайником, был окружен смеющимися, счастливыми девушками, одна из них обняла его и танцует с ним, а другая побежала с чайником за кипятком. Внутренность вагона, в котором сидит Ольга. Вагон трогается. Входит счастливый инвалид с чайником. Все обращаются к инвалиду.

ИНВАЛИД. Германия сдалась, и наша полная победа.

КТО-ТО ИЗ ПАССАЖИРОВ. Не пустое ли люди говорят?

ИНВАЛИД. Правда. Москва ликует, по радио слышать. Войны нету.

Инвалид глядит на Ольгу.

ИНВАЛИД. Не солдатка ли? Говорила, от мужа едешь?

ОЛЬГА. Солдатка.

ИНВАЛИД. И я, видишь, был солдат.

Ольга обнимает и целует инвалида несколько раз.

Лицо ее освещается всеобщей радостью.

За окном вагона — свет весны, зеленые сосны — и затем огромное ровное бесконечное пространство, состоящее лишь из неба, земли и света, но это наиболее простая и лучшая картина русской природы.

Раннее утро. Восходит солнце. Вокзал в том поселке, где живет Ольга. Слышна прежняя знакомая мелодия работающих агрегатов близкой электростанции. Возле путей стоят Петрушка и Настя. Петрушка обут в один валенок, и на другой его ноге калоша, подаренная еще Пашковым, подвязанная веревочкой. Настя одета чисто и аккуратно. Слышен звук подходящего поезда — работа паровоза.

Подходит поезд. Петрушка взял Настю за руку и побежал мимо поезда, заглядывая во все окна вагонов.

Появляется и заспанный Степан.

Из одного вагона выходит Ольга.

Ольга среди своих детей. Они окружили ее, обнимают и целуют ее.

СТЕПАН. А скоро отец-то приедет? Война уж кончилась!

ПЕТРУШКА. А раны у него заживели?

НАСТЯ. Мама, а папа любит меня?

Мать медленно идет с детьми через рельсы. Пустая комната Ивановых. Входит вся семья. Ольга оглядывает комнату и видит чужие вещи. Она узнает их.

ПЕТРУШКА. Это дядя Семен уехал.

ОЛЬГА. Куда же он уехал?

НАСТЯ. Мама, он мне сказал — неизвестно, далеко-далеко и навсегда. Так он сказал.

ПЕТРУШКА. А вещи он мне подарил. Он сказал: владей, Петрушка. Ему не надо! Теперь у нас хорошо стало!

Ольга садится среди детей.

ОЛЬГА. Скоро отец приедет, мы уедем домой.

Затемнение.

Ночь в комнате Ивановых. Петрушка спит на подаренной кровати. Степан на раскладной кровати умершей бабушки, а Ольга и Настя на полу. Ольга не спит; ее глаза открыты: в них блестят неподвижные слезы.

МИНОВАЛО МИРНОЕ ЛЕТО.

Осенний день. Кладбище. Могилы покрыты опавшими листьями.

На кладбище появляется Иванов: в руках у него чемодан; он в шинели без погон.

Он подходит к могиле своей матери. На деревянной доске, прибитой к кресту, обозначено ее имя. На могиле еще растут поздние цветы.

Иванов снимает фуражку, становится на колени у могилы и припадает к ней лицом.

На кладбище приходит Настя. Она несет в руках старую, давнюю плошку, в которую посажен теперь свежий цветущий цветок. Настя тихо подходит сзади к отцу, припавшему к земле, и стоит с плошкой в руках, не зная, кто это здесь у могилы.

Отец подымает лицо от земли и молчит, не видя Настю. Настя подходит к кресту, ставит под него плошку с цветком и обирает могилу от листьев. Отец молча глядит на дочь.

ИВАНОВ. Настя!

Настя приближается к отцу.

НАСТЯ. Я Настя Иванова, а вы папа — или нет?

Иванов прижимает ее к своей груди и целует ее ручки, ее лоб, ее уши и ее глаза.

Комната Ивановых. На горячей печке варится пища. Петрушка один. Он сидит за столом и читает по складам книгу:

— Мос-мос-ква-ква бело-бело-камен-ная.

Сорвавшись со стула, он помешал суп в горшке, попробовал его на вкус и опять стал читать.

Вошла Настя.

НАСТЯ. Папа пришел.

ПЕТРУШКА. Врешь! Смотри, я сам читаю...

Входит отец Иванов. Петрушка недоверчиво глядит на него.

ИВАНОВ. Здравствуй, Петр!

Петрушка припадает к шинели отца. Приходят с работы Ольга и Степан.

СТЕПАН (*серьезно*). Здравствуй, отец!

ИВАНОВ. Степан... Здравствуй, мой первенец! Здравствуй, большой!

Он целует Степана. Ольга стоит замерзшая у двери. Иванов целует ее холодно в лоб. Семья сидит за столом. Дети оживлены. Родители серьезные.

ПЕТРУШКА. Небось уморился, отец, на войне. Ты ешь говядину, мы ее получили.

ИВАНОВ. Немножко уморился. Ничего, теперь я отдохну... Вот завтра я в Москву поеду, а потом оттуда за вами приеду, все трое сразу поедимте со мной, мы там будем жить.

НАСТЯ. А мама?

ИВАНОВ. А мама — мама потом приедет.

Все умолкли.

ИВАНОВ. Кровать у вас новая, — по ордеру получили?

НАСТЯ. Это не наша. Ее дядя Семен подарил нам.

Все молчат.

ПЕТРУШКА. А мать где будет? Без матери нельзя.

ОЛЬГА. Я... А я здесь с бабушкой останусь. Я к ней пойду.

Ольга плачет, прикинув к кровати.

СТЕПАН. Отец, зачем ты мать пугаешь? Она и так, посмотри, худая, картошку без масла ела, а масло Настьке отдавала, она помрет скоро.

ИВАНОВ. А знаешь, что мать делала здесь, чем она занималась?

ОЛЬГА. Алеша!..

ПЕТРУШКА. Мы знаем... Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!..

НАСТЯ. Мама, это правда папа?

Ольга, вставши, берет Настю за руку и уводит ее из комнаты. Петрушка и Степан тоже уходят из комнаты.

Иванов один. Он одевает шинель, фуражку, берет чемодан. Приходит одна Ольга.

ОЛЬГА. Зачем так нужно было? Дети все поняли.

ИВАНОВ. А по-вашему как? Солдат умирай за других, солдат и жену отдавай другому, — и чтоб дети радовались?

ОЛЬГА. Нет. Вы бы сказали мне одной, я бы умерла, и дети никогда ничего не узнали и остались при вас.

ИВАНОВ. Так, значит, было что знать?

ОЛЬГА. Было, я вам говорила.

Иванов молча и сразу уходит.

Ольга одна. Возвращаются трое детей.

СТЕПАН. Мама, нам на работу скоро пора. Садись кушать, ты ничего не ела.

ОЛЬГА. Сейчас...

ПЕТРУШКА. А когда поезд в Москву пойдет?

СТЕПАН. А тебе зачем в Москву?

ПЕТРУШКА. У нас дело есть. Нам с отцом надо жить.

Вокзал. Стоит пассажирский поезд. В тамбуре вагона у открытой двери стоит Иванов.

Поезд трогается и уходит.

Дорога, выходящая из поселка. По этой дороге бегут из поселка к переезду Петрушка и Настя, но они далеко, их нельзя узнать из-за расстояния: видно только, что один из них побольше, а другой поменьше.

Петрушка, взяв за руку Настю, быстро увлекает ее за собой, а Настя хлопчет ножками за Петрушкой, и тогда Петрушка волочит ее за собой.

Переезд. Через него проходит поезд. В тамбуре вагона по-прежнему стоит Иванов и глядит перед собой.

Последний вагон поезда миновал переезд.

Двое детей добежали до переезда.

У переезда они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вслед за поездом, устремляясь вперед по песчаной дорожке, что рядом с линией. Одна нога Петрушки одета в валенок, а другая в калошу.

Петрушка поднимает левую свободную руку в сторону уехавшего отца и машет рукою к себе, чтобы отец возвратился.

Потом они бегут еще быстрее вслед поезду.

И тут они оба сразу упали на землю.

Иванов высунулся из тамбура и смотрит назад.

С точки зрения Иванова. Он видит Петрушку и Настю, все более отстающих от поезда и все еще бегущих — и дети снова упали. Иванов опускает свой чемодан с порожек вагона на землю и прыгает вслед за ним с поезда.

Затемнение.

Обмоточный цех. Группа работниц.

Ольга работает, считая вилки: семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...

В цех входит Иванов. Все работницы обращают на него внимание, и больше всех Софья Ивановна. Ольга одна работает сосредоточенно.

Иванов подходит к ней и кладет ей руку на голову.

Ольга поднимает голову.

ИВАНОВ. Здравствуй... Прости меня, я не мог тебя дождаться.

Он целует ее. Некоторые работницы растроганы и утирают слезы.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Здравствуйте, Алексей Алексеевич...

Иванов здоровается с ней и со всеми другими.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Ступай, Оля, отпросись, а мы твою норму себе возьмем. У тебя же великое дело: муж приехал. Я бы тут...

ОЛЬГА. А вы и так, Софья Ивановна, на обед сегодня не ходили.

СОФЬЯ ИВАНОВНА. Поужинаю два раза — забота какая. Иди.

ИВАНОВ (*кланяясь всем*). Спасибо вам!

СОФЬЯ ИВАНОВНА и другие. И вам спасибо... И вам!..
Отдыхайте теперь! Семейку свою растите!

Все подходят к Иванову и снова жмут ему руку, трогают его шинель, пожилые работницы гладят его по груди и целуют.

Иванов и Ольга уходят.

Иванов и Ольга стоят в уединении под старым лиственным деревом, шумящим на ветру.

ИВАНОВ. Оля, ты прости меня, что было.

ОЛЬГА. Не в чем прощать, Алеша, ты и тогда любил меня.

ИВАНОВ. Нет. Это я думал, что люблю тебя, а я любил самого себя.

ОЛЬГА. А теперь, Алеша, а теперь?

ИВАНОВ. Только теперь мое сердце пробилось к тебе, и это дети мои помогли мне...

ОЛЬГА. Ты славный, ты честный мой... Алеша, пойдём к нашим детям.

ИВАНОВ. Пойдём домой, Оля.

Иванов берет жену за руку, и они удаляются, они уходят по дороге в уже сияющий светом электрический городок.

Комната Ивановых. В комнате хлопчут Петрушка и Настя. Они уже разобрали кровать Пашкова на части — и Петрушка выволакивает прочь наружу разобранные части железной кровати; он уходит с одной частью, возвращается за другой, а Настя тем временем собирает мелкие вещи и безделушки, стоявшие некогда в комнате Пашкова, складывает их в корзину и корзину эту волочит прочь в дверь.

Ночь в комнате Ивановых. Горит свет, занавешенный самодельным абажуром — куском материи. В комнате прежняя обстановка, когда в ней не было вещей Пашкова. На раскладной бабушкиной кровати спит Степан; на полу спит Ольга, а справа и слева от нее лежат спящие Настя и Петрушка, положившие руки на мать, словно для ее защиты. На стене висит верхняя одежда Ольги — ватник, теплый платок, грубая рабочая юбка. Иванов сидит один на табуретке и наблюдает свою семью. Лица детей спокойны,

лицо Ольги истощено, закрытые запавшие глаза ее обведены черными кругами, но выражение его означает гордость и уверенность мощного существа. Тишина. Лишь слышится заглушенная мелодия машин вечно работающей электростанции.

Иванов подходит к одежде жены, трогает ее, касается лицом ватника и целует, приложив к лицу, рабочий теплый платок своей жены.

КОММЕНТАРИИ

Автор комментариев
Наталья Корниенко

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Архив — Архив А. П. Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Воспоминания — Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии / Составление, подготовка текстов и примечания Н. В. Корниенко и Е. Д. Шубиной. М.: Современный писатель, 1994.

ЗК — Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии / Публикация М. А. Платоновой. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Н. В. Корниенко. М.: Наследие, 2000.

Ноев ковчег — Платонов А. Ноев ковчег: Драматургия / Составитель А. Мартыненко. Ответственный редактор Е. Шубина. М.: Вагриус, 2006.

ЛГ — «Литературная газета».

ОР ИМЛИ — Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького (Москва).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

СФ—2000, 2003 — «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4—5. М.: ИМЛИ РАН, 2000, 2003.

ЦДТ — Центральный детский театр.

В настоящем томе представлена драматургия А. Платонова — пьесы и киносценарии 1920—1940-х годов. При жизни писателя ни одна из его пьес не была опубликована и поставлена в театре. Первый сборник пьес Платонова издан только в 2006 году. Киносценарное наследие писателя в настоящее время еще только начинает разрабатываться. Посмертные публикации пьес и сценариев Платонова шли так же сложно, как и его проза, и зачастую имели те же дефекты: тексты чистились от откровенных и двусмысленных политических реалий времени, излишней натуралистичности и стилевых излишеств.

ПЬЕСЫ

Дураки на периферии (с. 11)

Впервые: *Ноев ковчег*. Подготовка текста Е. Антоновой и Н. Корниенко.

Печатается по первой публикации.

Датируется сентябрем-октябрем 1928 года.

Об истории написания пьесы известно из интервью Б. Пильняка, опубликованного в журнале «Рабис» (1928, № 46):

«Поселился у меня, за неимением другой площади, Андрей Платонов <...> и естественно, что у нас образовалось много досугов, коротаемых вместе. Рассказал я ему однажды некий эпизод, действительный случай из провинциальной жизни, и решили вместе с ним облечь его в литературную форму. Тут же и решили, что ближе этот случай подходит к комедии, а не к повести. Правда, многие товарищи, которые слушали эту пьесу, говорят, что это повесть в сценах, а не пьеса. Я же думаю все же, что это пьеса. Притом могу утверждать, что пьесу для чтения или повесть в картинах, во всяком случае, мы написали хорошую. Какова вышла пьеса — судить не берусь. Так или иначе, пьеса “Дураки на периферии” должна быть нами еще обработана. Нам было указано на ряд недостатков в пьесе, которые мы в ближайшее время устраним, после чего отдадим пьесу в театр.

Два момента определили для нас создание этой пьесы. Первый — так сказать, студийного порядка: узнать на практике, что же такое драматургическое творчество (до сего времени мы были чистыми беллетристами). Второй момент — желание написать пьесу, которой еще нет пока на нашей сцене. За одиннадцать лет советской власти у нас отстоялся совершенно своеобразный быт со своими положительными и отрицательными чертами. Вот мы и решили написать сатирическую комедию, высмеять некоторые черты людей со всеми их слабостями.

Бюрократизм является злом не только социальным, но и биологическим: даже в своей домашней обстановке, в семье люди становятся бюрократами, так и живут. Вот такой-то бюрократизм мы и вывели в своей пьесе, которую назвали сатирической комедией, но в которой есть черты трагедии: кончается пьеса смертью ребенка. Словарь нашей пьесы — не заштампован: мы тщательно выкинули из нее все заезженные словечки и выражения. Правда,

нас упрекали и в том, что мы чересчур уж увлеклись словарем, беллетристы в нас вытеснили драматургов.

Тема нашей пьесы: заставь дурака бога молить, он и лоб прошибет. Вот на этом убеждении жителей уездного города Перечетска и основана вся интрига пьесы. В этом городе додумались до постановления, согласно которому рожать детей или делать аборт можно только с разрешения особой комиссии охматмлада. Бухгалтер Башмаков не может послушаться закона, «ибо таковы его политические убеждения, да и сократить могут», и жена его должна родить ребенка. Но Башмаков и так обременен семьей и, когда ребенок родился, требует через суд алименты с членов комиссии, запретившей его жене делать аборт: они, мол, члены комиссии, фактические отцы ребенка, и они должны его воспитывать.

Комиссия рассматривает вопрос о том, как воспитывать ребенка. Решено воспитывать мальчику коллегиально «на началах науки и техники». Таково содержание пьесы» (*Воспоминания*).

Пьеса читалась Пильняком и Платоновым в октябре 1928 года на собрании «Звена» и получила, как сообщал журнал «Читатель и писатель», отрицательную оценку большинства присутствующих: за растянутость действия, но главным образом — за «ее чрезмерную неправдоподобность и карикатурность в изображении обитателей периферии» (*Воспоминания*. С. 226—227). Оценок меньшинства журнал не приводил. Второй раз пьесу в октябре читал только Пильняк на вечере в писательском Доме Герцена. В отзыве об этом вечере «Вечерней Москвы» упоминалось, что пьеса написана соавторстве с Платоновым, однако подзаголовком «Новая пьеса Б. Пильняка» главным автором пьесы был назначен Пильняк, которому и были высказаны нелицеприятные оценки: «Первый опыт Б. А. Пильняка на поприще драматурга вызвал к себе со стороны слушателей резко отрицательное отношение. Выступавшие критики квалифицировали пьесу как едва ли оправданный “шарж на провинцию”, отмечали отсутствие в ней “художественной правдивости”, ее недоделанность, растянутость, многочисленные повторения, указывали на обилие нарочно смешных слов, которыми герои пьесы уснащают свою речь; советовали превратить пьесу в советский водевиль» (Там же. С. 227).

Однако отрицательные оценки Пильняка не остановили, и он начинает продвигать пьесу в печать. Скорее всего, о пье-

се, а не об очерке «Че-Че-О» идет речь в его письме к редактору «Нового мира» В. Полонскому от 5 ноября 1928 года: «Повести я не кончил, — шлю Вам “сцены”, — не пугайтесь их: поверьте мне, что они также значимы, как “Штосс”, и будет зря, если Вы не пустите в декабре. Рукопись шлю направленную... <...> Эту рукопись в набор не отдавайте. В набор — в четверг пришлю взамен другую» (*Пильняк Б. Мне выпала горькая слава... Письма. 1915—1937. М., 2002. С. 329*). «Сцены» на страницах «Нового мира» не появятся. Опубликованные за именами Пильняка и Платонова в журнале «Новый мир» (№ 12) «организационно-философские очерки» («Че-Че-О») представляют, как сегодня известно, отредактированный Пильняком текст Платонова: это подтверждает сличение текста автографа Платонова с опубликованным в «Новом мире». О том, что «Че-Че-О» писал он, а Пильняк лишь слегка редактировал очерк, Платонов открыто признавался в 1929 году в статье «Против халтурных судей» (См.: *Воспоминания. С. 252*). Совместная работа над пьесой, скорее всего, также ограничилась замыслом и редакторской работой Пильняка. В пользу авторства Андрея Платонова свидетельствует многое, прежде всего многочисленные переключки с такими его произведениями, как «Родоначальники нации...», «Рассказ о многих интересных вещах», «Экономик Магов», «Антисексус», «Эфирный тракт», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Чевенгур», «Государственный житель», «Че-Че-О», «Впрок» и др. То, что критики отдавали в 1928 году основное авторство Пильняку, вполне объяснимо. Пильняк — известный советский писатель, а Платонов только второй год в Москве и мало кем из столпов литературы замечен и отмечен. Примечательно, что вышедшие две книги его прозы — «Епифанские шлюзы» (1927) и «Сокровенный человек» (1928) — событием в литературной жизни тех лет не стали, а известность Платонову обеспечило имя Пильняка как соавтора очерка «Че-Че-О». В 1933 году Платонов вспомнит о сотрудничестве с Пильняком 1928 года, отдав их совместную работу героине пьесы «14 красных избушек» Интергом, написанной фельетонно-сатирическими красками: «...я три очерка уже написала и пьесу пополам!».

Сохранившаяся машинопись с правкой Платонова несет явную печать незавершенной работы над текстом пьесы: отсутствует первый лист с перечнем действующих лиц и указанием места дей-

ствия; принадлежность реплик указана инициалами или разными формами сокращений одного и того же имени; опечатки выправлены лишь частично; несколько страниц машинописи утрачено и т. п.

Главное действующее лицо пьесы — комиссия охматмлада — создана по модели всесоюзных комиссий, образованных решениями Всесоюзных совещаний по охране младенчества и материнства, регулярно проводившихся с середины 1920-х годов в связи с обсуждением и принятием нового закона о браке. Герои пьесы не раз ссылаются на разные пункты брачных законодательств, принятых в СССР: 1) декрет СНК «О расторжении брака» (от 29 декабря 1917); 2) декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении актов состояния» (от 31 декабря 1917; изъял из ведения церкви регистрацию актов гражданского состояния, с этого времени действительным признавался только гражданский брак); 3) «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» (от 16 сентября 1918). Кодекс законов о семье 1926 года упрощал процедуру заключения и расторжения брака, теперь развестись можно было по заявлению любого из супругов без объяснения причин. По этому закону (кроме Башмакова) в пьесе разводятся с мужьями жены членов комиссии охматмлада; на него ссылаются и крестьяне. Вполне резонны отсылки героев к суждениям одного из ведущих идеологов советского женского движения А. М. Коллонтай: в 1917—1918 — нарком государственного призрения, 1920—1923 — заведующая женотделом ЦК партии, автор культового романа о пролетарской любви и новой женщине («Свободная любовь (Любовь пчел трудовых)», 1923), широко и бурно обсуждаемых в то десятилетие статей и книг по вопросам коммунистической морали в области любви и брачных отношений. Коллонтай исповедовала идеи «крылатого Эроса» — «освобождения женщины», «революции чувств и революции нравов», выступала за отмену алиментов и других буржуазных семейных предрассудков. В обсуждениях Закона о браке 1926 года не раз упоминалась международная неомальтузинская лига контроля деторождения (1925), представители которой развивали идеи английского экономиста Мальтуса об ограничении рождаемости как единственном пути преодоления бедности. Их формулу «цвай-киндер-системе» (нем.) — «Два ребенка — системе» озвучивает в пьесе Башмаков.

Пьеса насыщена аллюзиями на кампанию борьбы за новую семью. Только перечислим их. Октябрины — по аналогии с крестинами, одна из форм «нового быта», наряду с «комсомольскими свадьбами» и «красными похоронами»; газеты широко пропагандировали октябрины; в тонких журналах («Работница», «Крестьянка», «Жизнь крестьянской молодежи», «Огонек» и др.) постоянно печатались методические разработки по проведению крестин (на роль «крестных» приглашались коммунисты и комсомольцы, обязательным было исполнение «Интернационала» и «Молодой гвардии»). Одной из примет времени было создание всесоюзных массовых обществ, пропагандирующих новую советскую цивилизацию, друзей: СССР, техники, радио, советской музыки, книги, советского кино («Радио — массам», «Техника — массам», «Музыка — массам» и т. п.); в 1925 году образован Союз безбожников СССР, занимавшийся борьбой с религиозными предрассудками масс и пропагандой безбожия; в мае 1928 года проводится Всесоюзный библиотечный поход «Книгу в массы» и т. п. Весной-летом 1928 года о реализации программы «нового воспитания ребенка» писалось много в связи с открытием в Москве Института санитарной культуры. Прогресс воспитания связывался с задачей быстро догнать западноевропейские страны в деле просвещения масс. В противоположность «крестьянским предрассудкам» воспитания детей, «коммунистический ребенок» (А. Коллонтай, «Любовь пчел трудовых») должен был воспитываться коллективом, в «опытных» домах, на «новых» сказках и «пролетарских» колыбельных и сам становиться воспитателем своих консервативных, «отсталых» родителей. Следствием утверждения в обществе революционной сексуальности и новых заповедей семейной жизни стали рост заболеваний венерическими болезнями, колоссальные масштабы детской беспризорности и преступности; сотни тысяч детей не знали, кто их отцы.

С «достижениями» в области строительства новой семьи рифмуется в пьесе отклик на возвращение М. Горького в СССР (28 мая 1928) и глобальные проекты «второй природы», которые писатель развивал в статьях, публикуемых в 1928 году на страницах центральных газет. 1 июля в статье «О наших достижениях» («Правда», «Известия») Горьким ставится вопрос о необходимости издавать журнал «Наши достижения», очерчен круг тем: борьба с мещанством; строители нового государства и их идеал — Ленин,

у которого необходимо учиться «искусству нарушения законов физики, да и вообще всяких законов старины»; неоспоримые достижения рабочего класса, и первейшее из них — «возбуждающая волю атмосфера всяческих дерзновений и даже безумств, которые вкрапляются в жизнь Страны Советов, быстро изменяя ее лицо»; «фантастические подвиги» строителей новой страны и т. п. 16 сентября в статье «О журнале “Наши достижения”» (Известия) Горький утверждает, что именно «строители нового быта» становятся главными героями и творцами создаваемого журнала: «Каждый человек, сделавший нечто социально полезное, должен найти свое имя на страницах журнала». Платонов был неплохо информирован о портфеле журнала «Наши достижения». Тема нового быта, «нового» воспитания детей и «новых» детей, борющихся с отсталыми родителями, широко представлена в первых номерах «Наших достижений» (журнал начал выходить в 1929 году). Из кампаний борьбы за новый быт в пьесу попали ставшие символом мещанства дорогие фильдеперсовые чулки (чулки из фильдеперса, крученной пряжи из хлопка, имеющей вид шелка), они закупались за границей и продавались в СССР только пайщикам епо (единое потребительское общество, входило в систему потребительской кооперации).

Из реалий, далеких от кампаний борьбы за новый быт, следует назвать упоминаемых в пьесе «крестьян-отходников»; рост «ходокского движения» приходится на 1928 год: крестьяне отправлялись в центр жаловаться на переобложение сельхозналогом; отмечались массовые случаи перегибов в политике штрафования (индивидуального обложения): за лишние пять фруктовых деревьев, за невнесение в налоговую карточку ранее проданного скота, за укрытие одной овцы или свиньи крестьянское хозяйство штрафовалось в десятикратном размере, и т. п. (см.: «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране. 1928 г. Т. 6. М., 2002. С. 432—433). Отхожие промыслы приобрели в России массовый характер с 60-х годов XIX века; тема крестьянского отхода — одна из центральных философско-исторических тем в повестях Платонова 1926—1927 годов и в романе «Чевенгур», над которым он работал во время написания пьесы. Со страниц жизни чевенгурской коммуны пришел в пьесу ее кульминационный эпизод — смерть ребенка.

Шарманка (с. 57)

Впервые в издательстве «Ардис» (США) в 1975 г.; в России — в журнале «Театр» (1988. № 1).

Печатается по: *Ноев ковчег*. Подготовка текста Н. Дужиной.

Датируется октябрем-декабрем 1930 года.

Написать комедию Платонову советовал М. Горький в конце 1929 года, после прочтения романа «Чевенгур»: «...о романе вашем говорил с Берсеневым, директором 2-го МХАТа. Возникла мысль — нельзя ли — не можете ли вы переделать часть его в пьесу? Или же попробовать написать пьесу на иную тему. Мысль эта внушена вашим языком, со сцены, из уст неглупых артистов, он звучал бы превосходно. О возможности для вас сделать пьесу говорит и наличие у вас юмора, очень оригинального — лирического юмора. <...> В психике вашей, — как я воспринимаю ее, — есть сродство с Гоголем. Поэтому: попробуйте себя на комедии, а не на драме. Драматическую — оставьте для личного удовольствия» (Литературное наследство. Т. 70. М.: Наука, 1963. С. 314). Платонов относил рукопись романа в театр и, как свидетельствует письмо из литературного отдела МХАТ-2 от 18 декабря 1929 года, делился с театральными деятелями замыслом новой пьесы: «Материал “Чевенгура” очень интересен, но это чисто беллетристический материал. Думается, что воспользоваться им для пьесы почти невозможно. Рукопись возвращаем. Ждем от Вас задуманной Вами пьесы» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 128, л. 14). Не исключено, что «Шарманка» создавалась именно для этого театра, и Платонов прислушался к совету Горького «попробовать себя на комедии», тем более что первую комедию он уже написал, «лирический юмор» и комедии Гоголя были близки его эстетике.

Лирическую тему в комедии ведут пролетарские дети Алеша и Мюд, путешествующие по провинции, чтобы собрать средства на строительство советского дирижабля. Агитбригады в деревню — одна из примет культурной жизни 1930 года (до октября); особенно много было ударных театральных бригад, призванных содействовать выполнению поставленных партией задач; вот лишь названия и лозунги журнала «Рабис» 1930 года: «Бригады в деревню» (№ 2. С. 11); «Рабис в деревне» (№ 4. С. 18); «Искусство в деревню» (№ 5. С. 1); «Социалистический город — деревне» (№ 6. С. 10); «Боритесь за культпятилетку», «Безбожный театр — в клубы», «Рабисники на деревенском фронте» (№ 17); «Деревенский сектор в пятилетке ис-

кусств» (№ 23. С. 2) и т. п. Ударные театральные бригады практиковали «кружечные сборы» во время спектаклей (см.: Рабисники в деревне // Там же. № 7. С. 18) и т. п. На праздновании 16-й годовщины МЮД (Международный юношеский день; ежегодно отмечался в первое воскресенье сентября, в 1930-м — 7 сентября) молодежь получила твердый наказ бороться с мировым капитализмом за выполнение планов индустриализации и коллективизации, «неуклонное проведение в жизнь генеральной линии нашей партии»: «Никаких колебаний! Открытая и жесткая борьба со всеми, кто помешает социалистическому строительству! Неослабная зоркость и классовая бдительность! Решительное вскрытие оппортунистических настроений и действий! Молодежь, — в первые ряды, в боевые шеренги» (XVI МЮД — праздник комсомольского энтузиазма // Вечерняя Москва. 1930. 5 сент. С. 1). Летом 1930 года объявляется еще об одном, до того небывалом мероприятии юношеского движения — проведении Международного слета детей (см.: Рабис. 1930. № 30 (22 июня). С. 3).

Социально-политическими реалиями, стоящими за маршрутом «бригады» детей и железного Кузьмы, Платонов не ограничился. Своеобразным лирическим камертоном пути детей по современной России выступает песенная традиция калик переходящих. Из «Чевенгура» перешли в пьесу некоторые песни и мелодии. Платонов знал пионерские песни и многочисленные «мюдмарши», созданные поэтами-комсомольцами и лэфовцами (в семье рос сын школьник); в 1930 году Первая Всероссийская музыкальная конференция выделила в самостоятельный блок материалы «За пролетарскую детскую песню», издав их отдельной брошюрой. Однако в пьесу включаются в основном традиционные, «задушевные» и «ветхие», мелодии: «грустная народная песня», вальс «На сопках Маньчжурии», «нежная музыка — вальс», городская «мещанская» песня Серены — «пессимистический фокстрот» (оксюморон-аллюзия на кампанию борьбы с буржуазной мещанской музыкой) и печальная песня странников «В страну далекую...», написанная самим Платоновым (см.: ЗК. С. 80, 349). Из «Чевенгура» пришла в пьесу жалостная песня чевенгурского «прочего» (с заменой «родитель» — на «товарищ»), которую исполняет Мюд, а потом под шарманку и все собрание.

Однако у шарманки, давшей название пьесе, есть и иной, прямо противоположный смысл, заключенный в выражении «кру-

тить шарманку» (см. в статье 1938 года «О “ликвидации человечества”» — «крутить шарманку цивилизации»). В этом значении шарманка появляется у любимого Платоновым Есенина: «Самая гнусавая шарманка // Этот мир идейных дел и слов» («Страна негодяев»). Это значение шарманки организует «идейные дела» и идейные «слова» освоенной Платоновым в мельчайших деталях жизни советской России лета-осени 1930 года. Практически все главные лозунги этого времени, а их было немало (периодика забита призывами к очередным кампаниям), озвучивает железный Кузьма: антипасхальная кампания (началась 15 марта); во второй половине марта по всей стране проходят демонстрации протеста против антисоветских заявлений «мирового мракобеса» папы Римского, выступившего с осуждением гонений на церковь, и др. Как показала Н. Дужина, восстановившая историю текста и составившая подробный реальный комментарий к ней (см.: *Дужина Н. Мелодии шарманки (Цитата и аллюзия в пьесе «Шарманка») // СФ—2003. С. 514—531*), время событий и время написания «Шарманки» практически совпадают. 10 сентября 1930 года в Москву прилетел немецкий дирижабль «Граф Цеппелин», газета «Правда» объявляет о сборе средств на постройку советского дирижабля, призыв главной газеты страны подхватывает «Крестьянская газета»; с 1 октября 1930 года во всесоюзную кампанию в директивном порядке включились кооперативы. Тема экзотической пищи, изготовляемой в кооперативе Щоева, комментирует продовольственный кризис в городах, который начался весной 1930 года. Летом объявлено о раскрытии ОГПУ контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия», руководителями которой названы экономисты и главные теоретики кооперативного движения (Н. Кондратьев, А. Чайнов). Вслед за этим политическим процессом фабрикуется новый — вредительской шпионской организации в сфере снабжения населения продуктами (из 46 обвиняемых 10 были расстреляны по приговору закрытого суда). В печати разворачивается активная пропаганда новых продуктов, прежде всего сои, призванной заменить традиционный хлеб. К пропаганде новых форм питания подключаются работники искусства, объявляется война комодам и буфетам (см.: *Татлин В. Проблема соотношения человека и вещи // Рабис. 1930. № 14 (март). С. 9*); чуть ли не классовым врагом объявляется примус, символ индивидуальной кухни

и «семейного уюта» (Адон. Оформление общественного питания // Там же. № 15 (апр.). С. 7): «Смотр общественного питания начался. Для рабисников-кочевников вопросы общественного питания являются вопросами первостепенной важности. Работники, активно участвуйте в смотре. Проверяйте работу кооперативов, столовых, фабрик-кухонь» (Там же. № 13 (24 марта). С. 10—11).

Идеологическая платформа политических процессов 1930 года была заложена решениями XVI съезда партии (26 июня — 3 июля), принявшего курс на ускоренное выполнение пятилетки и переход к построению социализма. Съезд выдвинул лозунги «Пятилетку в четыре года», «Наступление социализма по всему фронту» и одобрил курс на реконструкцию всех отраслей народного хозяйства на базе современной техники, ликвидацию кулачества и «правой» оппозиции. Среди «правых» уклонистов оказались руководитель профсоюзов Михаил Павлович Томский (исключен из Политбюро) и первый секретарь Московской парт-организации Николай Александрович Угланов (в пьесе они образуют собирательную личность Михаила Палыча Угланова). В ноябре начинается процесс по делу «Промпартии».

В «Шарманке» представлен срез состояния провинциальной России лета — начала осени 1930 года, когда в кооператив Щолева прибывает агитбригада Алеши, Мюд и Кузьмы. С октября культбригады уже отправляются главным образом на гиганты промышленности, на «борьбу с прорывами» на железнодорожном транспорте, заводах и фабриках. В ноябре, когда «Шарманка» в основном уже написана, в газетах пройдет сообщение, что в стране впервые будет отмечаться «День дирижабля» (назначен на 25 декабря), а сам советский дирижабль планируется построить к маю 1931 года (см.: Беседа с зам. председателя ЦК по дирижаблестроению т. Егоровым // Вечерняя Москва. 1930. 29 нояб. С. 3).

Издательская и театральная история «Шарманки» в настоящее время не документирована. Не вызывает сомнения, что Платонов предлагал пьесу не только в московские, но и в ленинградские театры. 26 июня 1931 года, отвечая на вопросы анкеты «Какой писатель нам нужен», он называет «Шарманку» среди написанных произведений (см.: *Воспоминания*. С. 286). Очевидно, именно о «Шарманке» идет речь в его письме редактору «Нового мира» В. Полонскому от 8 июля 1930 года: «Вяч. Павлович. Убедительно

прошу решить 9-го вопрос с моей пьесой. Я больше едва ли что принесу, т. к. вы не хотите решать (редакция в целом). Нужно решать. Если будет спор о мелочах, то я исправлю и улучшу спорные или сомнительные фразы. С приветом Андр. Платонов. 8/VII» (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 276, л. 4).

Высокое напряжение (с. 112)

Впервые: Современная драматургия. 1984. № 30.

Печатается по: *Ноев ковчег*.

Датируется 1931 годом.

Замысел производственной пьесы появляется у Платонова во второй половине 1930 года. Материалов у него было предостаточно, как литературных, так и собственно производственных. К этому времени он имеет патенты на технические изобретения, среди которых паровая турбина внутреннего сгорания, и продолжает изобретать; сотрудничает с Гостехконторой по рационализации промышленности; весной 1930-го бывает на Ленинградском металлическом заводе крупного машиностроения им. Сталина — «гиганте советского турбостроения», где в это время идет испытание и выпуск первой в СССР мощной турбины. Производственной теме в 1930-м дан зеленый свет, она имела массивную государственную поддержку. В сентябре 1930 года Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) принимает постановление о призыве ударников производства в литературу и показе ударника производства как «генеральной темы пролетарской литературы»; Федерацией советских писателей (ФСП) совместно с Госпланом разрабатывается план включения литераторов в работу виднейшихстроек; выдвигается лозунг освоения писателем второй профессии и т. п. «Бригады» деятелей культуры отправляются на предприятия электротехнической промышленности (декабрь 1930-го — десятилетие притятия плана ГОЭЛРО); массово издаются «производственные» книги о героях-ударниках первой пятилетки и т. п.

Осенью-зимой 1930 года производственная тема получает новый, после Шахтинского процесса (1928), соцзаказ — сфабрикованное ОГПУ дело «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря), судебный процесс над группой инженерно-технической интеллигенции по обвинению в создании антисоветской подпольной организации, осуществляющей акты вредительства и саботажа

в промышленности и на транспорте. Периодика заполняется сообщениями из зала суда и лозунгами: «Контрреволюционные агенты интервенции перед пролетарским судом»; «Кровавым псам империализма — смерть»; «Враг разоблачен — враг будет уничтожен» (перифраз названия статьи М. Горького «Если враг не сдается — его уничтожают», опубликованной 15 ноября в «Правде», статья призывала к репрессиям против крестьян, сопротивляющихся коллективизации); «Дело “Промпартии” вскрывает участие империалистов в подготовке интервенции»; «На скамье подсудимых в Москве сидят агенты и друзья международного фашизма» и т. п. (информация дается по газетам «Известия» и «Вечерняя Москва»). Судили дореволюционную техническую интеллигенцию, особо подчеркивалось, что среди привлеченных по делу ЦК Промпартии нет ни одного инженера или техника, начавшего свою работу при советской власти; в газетных фельетонах высмеивались отсталые рабочие и «спецеество» старых инженеров и т. п. Старая техническая интеллигенция широко представлена также в материалах дела «Центрального Комитета контрреволюционной вредительской организации “Трудовая Крестьянская Партия”» (обвинительное заключение утверждено 21 сентября 1931); правда, в отличие от процесса «Промпартии», этот процесс был закрытым. В газетах материалы судебных процессов перемежаются постоянными сообщениями и лозунгами с «фронта литературы и искусства» (постоянная рубрика в «Вечерней Москве»: «На фронте литературы и искусства»; информация дается по этой газете за ноябрь 1930 года): «Ударники — в драматургию!»; «Работы искусства — на передовую линию»; «Фронт ликвидации прорывов в промфинпланах. Писатели, поэты и артисты должны построиться в боевые фаланги за социалистические темпы»; «Писатели мобилизуются»; «Художественные бригады — на производство»; «Писатели на ликвидации прорыва» и т. п.

Как «человек технический» Платонов весьма скептически относился к разразившейся в советском искусстве производственной буре и отправившимся на стройки социализма «бригадам» деятелей культуры: «...нельзя командировочным, зрительным, сторонним путем приобрести необходимые для работы социалистические чувства: эти чувства рождаются не из наблюдения или изучения, а из участия, из личного, тесного, кровного опыта, из прямой производственной социалистической работы» (статья «Великая

Глухая», 1930 // *Воспоминания*. С. 289); «Можно ездить кратко- временно, если нельзя иначе. Но лучшая форма участия в соцстро- ительстве — прямая, тяжкая, ударная работа в качестве рабочего, специалиста-техника и т. д.» (Ответ на анкету «Какой писатель нам нужен», 1931 // *Воспоминания*. С. 286—287). Как специалист- техник Платонов начинает работать над киносценарием «Турбин- щики» о Ленинградском металлическом заводе (сохранившийся фрагмент опубликован; см.: Незавершенный заводской сценарий / Публикация А. Гущиной // *Архив*. С. 147—177). В начале 1931 года делается «сюжетный чертеж» (выражение Платонова) произ- водственной пьесы «Паровоз», действие в которой происходит на электростанции железной дороги; драматургический конфликт: столкновение «двух инженерных школ — большевистской и тра- диционной». Первую представляют бригада ударников во главе с Ольгой Безгубновой, вторую — три друга-инженера, получившие образование еще до революции. Платонов пишет и переписывает печальные монологи и диалоги трех инженеров — не без оглядки на чеховских «Трех сестер», на что указывают и чисто чеховские ремарки о музыке, что играет «в невидимом саду» и «вдалеке». Был ли завершен этот замысел, неизвестно. В марте 1931 года публику- ется повесть «Впрок» и сразу разворачивается кампания критики Платонова. В июне он отправляет письма с признанием допущен- ных им идеологических ошибок и уже в августе переписывает ма- териалы «Паровоза» в трехактную пьесу «Объявление о смерти» (опубл.: Первая редакция пьесы «Высокое напряжение: Объяв- ление о смерти / Статья и публикация Д. Московской // *Архив*. С. 178—236). Здесь нет только одного героя будущего «Высокого напряжения» — почтальона, по сути дела, прямого виновника ава- рии на заводе. Он появится при переработке текста и даст заглавие одной из редакций пьесы.

«Высокое напряжение» насыщено городскими реалиями эпо- хи «реконструктивного периода». Их открывает на первой стра- нице пьесы портрет Дзержинского, руководителя ОГПУ, а с 1924 года еще и председателя ВСНХ СССР. В рамках ОГПУ Дзержин- ским были созданы специальные подразделения, занимавшиеся привлечением в СССР зарубежных квалифицированных рабочих и инженеров, особо — из среды русских эмигрантов; властью активно использовался потенциал сменовеховства с его призывом возвращения на родину (сменовеховский комплекс идей нашел

отражение в рассказе Платонова «Война» и в очерке «Товарищ пролетариата», в пьесе эти идеи развивает инженер-эмигрант Абраментов). В черновиках пьесы сохранились наброски монолога героя «в портрет» Дзержинского: «Ты ругал меня в НКПСе, взял в ВСНХ, и там опять крыл»; «Ты меня ругал, я тебя уважал, в конце пятилетки я попрошусь к стенке» (Архив. С. 194, 195). Одной из примет времени были государственные займы, в подписке на которые признаются герои пьесы. Государственные займы в СССР проводились с 1927 года — на добровольно-принудительных началах; пик займов приходится на 1930 год. Платоновский герой, скорее всего, подписался на несколько займов: государственный внутренний займ индустриализации народного хозяйства (с 1927 года, ежегодно), займ содействия тракторизации (февраль 1930), «Пятилетка — в четыре года» (июль 1930). Платоновские инженеры, получающие «вкусные вещи» в закрытом распределителе, отмечают и новую (после «Шарманки») веху в решении продовольственного кризиса. В январе 1931 года постановлением «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам в 1931 году» официально вводится карточная система на основные продукты питания; инженерно-технические работники были отнесены к особому списку (группа «А») и снабжались через специальные закрытые распределители (см.: *Осокина Е.* За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927—1941. М., 1999. С. 84—136). Столь же реальны и страхи платоновских героев в связи с аварией — они выверяют возможные сроки наказания скорее даже не по «Уголовному кодексу РСФСР» (принят в 1927), а по материалам о «вредителях» на производстве: обвинительное заключение по делу «Контрреволюционной организации союза инженерных организаций (Промпартии)» печаталось в декабре 1930 года во всех центральных газетах; в каждой из областей СССР перепечатка материалов московских процессов дополнялась сообщениями о разоблачении местных вредителей на производстве.

Ко времени работы над пьесой Платоновым уже написаны производственные очерки, посвященные осмыслению социального и психологического феномена ударничества. Не выходящая из цехов по двадцать часов Крашенина ведет себя как и положено герою-ударнику, главной фигуре выполнения пятилетки в четыре (или даже в три) года. Подобными сообщениями о работе

ударных бригад переполнена периодика 1930—1931 годов; они имеются и в записной книжке Платонова 1930 года — времени командировки на Ленинградский металлический завод имени Сталина: «Комсомолец Забалуев работал 72 ч. подряд на ногах»; «Некоторые бригады по 34 часа не уходили с завода» (ЗК. С. 63, 342).

Одновременно платоновские инженеры ведут в пьесе несколько лирических тем и словно примеряют к себе определения, которыми совсем недавно был щедро награжден автор «Впрок». Они такие же, как он, «отставшие», «юродивые» и «дураки»; объясняются с современностью как старые интеллигенты из пьес А. Чехова и Л. Андреева — цитатами из Библии, Языкова, Тютчева, Вагнера, Шопена, городских песен и романсов; пародийно перепевают пионерскую и комсомольскую песню «Паровоз» («Наш паровоз вперед летит, / Коммуна — остановка...»). У насыщенной литературными и культурными цитатами жизни героев пьесы имеется свой литературный и шире — культурный контекст начала 1930-х годов. Так, тютчевские строки «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...» оттеняют тему первой природы, жестоко атакованной именно в эти годы: в дискуссиях о лирике 1930—1931 годов не раз утверждалось, что темы строительства исключают индивидуальное ощущение, лирическую поэзию, а имена Тютчева и Фета неизменно открывали галерею русских и советских поэтов, наиболее чуждых пафосу реконструктивного периода; РАПП выдвинет «задачу одемьянивания» поэзии (название статьи Ю. Либединского в первом номере журнала «На литературном посту» за 1931 год), и т. п. В сложнейшем полилоге драматургических событий пьесы чужеродная цитата указывает на философские подтексты темы «объявления о смерти» и реалистический финал пьесы: образец объективной лирики Тютчева всегда прочитывался как метафора пути человека, момент прощальной ясности и отдыха перед недалекой кончиной.

Интертекстуальное эхо песенно-музыкального ряда пьесы имеет также свой современный контекст: с лета 1930 года на страницах московских газет разворачивается «музыкальная дискуссия»: Всероссийская ассоциация пролетарских музыкантов (ВАПМ) выдвигает широкомасштабную программу «фронта борьбы с нэпманской музыкой». Необходимо было продолжить борьбу со старыми русскими песнями, русской классической

(«церковной») музыкой, в которой звучит колокольный звон (в 1930 году шла переплавка церковных колоколов на нужды индустриализации, а колокольный звон был запрещен по всему СССР), «церковно-мещанским эстетизмом» русского романса, «порнографией» в музыке, «кабацкой цыганщиной» городского романса, «разлагающей психику слушающего», и т. п. Шла борьба за «массовую пролетарскую песню», «пролетарскую оперу», «пролетарского исполнителя», пролетаризацию московской консерватории, «пролетаризацию» всех классических музыкальных жанров. Пролетарские композиторы пишут десятки «Ударных», «Песен чекистов»; создаются «Марш ударных бригад» (для хора с фортепьяно), «Марш чекистов» (голос с фортепьяно), «Пионеры» (сюита для трубы и фортепьяно) и т. п. (см.: Пролетарский музыкант, 1930, № 3; 7, 11). Платонов мог также встречаться на заводах с бригадами ВАПМа, которые, как и писательские, отправились в 1930 году на производство. Обыгрыванием строк популярного романса А. Вертинского («Где вы теперь? / Кто вам целует пальцы?..») Платонов откликается на кампанию борьбы с цыганщиной, где постоянно упоминалось имя эмигранта Вертинского: символ «музыкальных вкусов мелкой буржуазии», одно из проявлений «церковщины» в музыке, «символ эротики, религии и смерти» (Из доклада Л. Лебединского «Наш массовый музыкальный быт и задачи пролетарского музыкального движения», прочитанного в Институте литературы и языка Комакадемии // Пролетарский музыкант. 1930. № 9—10. С. 13—14). Реплики героев, объясняющихся с миром литературными и песенно-музыкальными цитатами, указывают на целый ряд полновесных текстов-прототипов для прочтения хроники жизни советского завода.

Летом 1931 года появились «условия» для написания оптимистического финала производственной пьесы. Они были сформулированы в речи Сталина на совещании хозяйственников (23 июня; опубликована в «Правде» 5 июля) в так называемом «пятом новом условии» хозяйственного строительства: «Если в период разгара вредительства наше отношение к старой технической интеллигенции выражалось, главным образом, в политике разгрома, то теперь, в период поворота этой интеллигенции сторону Советской власти, наше отношение к ней должно выражаться, главным образом, в политике привлечения и заботы о ней. <...> Итак, из-

менить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе — такова задача» (Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 73). В частности, из этого документа в пьесу вошли почти все «условия», включая «третье новое условие» — борьбу с «обезличкой», над феноменом которой размышляют платоновские герои.

В конце 1931 года работа над пьесой была завершена и Платонов отдает «Объявление о смерти» критику К. Зелинскому, который делал доклад о творчестве Платонова на вечере писателя 1 февраля 1932 года (См.: Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова во Всероссийском Союзе советских писателей // *Воспоминания*. С. 293—310). Производственная пьеса была предложена Платоновым как реальный материал, свидетельствующий о его перестройке после ошибочной колхозной хроники «Впрок». Внимательно прочитавший пьесу Зелинский так не думал, потому что не обнаружил в ней коренного мировоззренческого поворота Платонова: «В этой пьесе автор субъективно старался дать сущность социалистического строительства в этом заводе, его страшное напряжение, которое захватывает все силы у человека. Но эта нота какой-то жертвенности довлеет над всей пьесой. Это ее порок, основной идеологический порок. Рабочий класс нес большие жертвы, и в социалистическом строительстве он вовсе не ощущает, что был ущемлен, и что это есть такой груз, который лежит свинцом на плечах. <...> И рабочие у него получились тоже лишенные как раз тех качеств, которые характеризуют именно пролетариев, строящих социализм в нашей жизни, участников ударных бригад <...>. Есть нота известной пониженности, угнетенности труда, а не нота оптимизма» и т. п. (там же. С. 304—305).

Неизвестно, чья это была инициатива — обсудить производственную пьесу с представителями «рабочей критики», главными героями «Высокого напряжения» — инженерами и рабочими (подобные обсуждения вошли в литературную и театральную жизнь с конца 1920-х годов). Не исключено, что организовал встречу известный критик и заведующий литчастью Московского драматического театра (б. Корш) Давид Тальников (дружил с Платоновым, положительно отзывался о книге «Происхождение мастера»; его телефон встречается в записных книжках писателя 1930-х годов). 5 июня 1932 года Платонов присутствовал в Московском

драматическом театре на обсуждении пьесы «Высокое напряжение», в котором приняли участие рабочие и инженеры московских заводов. В отличие от литератора Зелинского, представители рабочей критики высоко оценили пьесу Платонова: «Вещь сильная, но необычная и сразу захватить ее трудно, не в пример другим пьесам. Это — уже будущее, социализм. Для постановки трудна. Здесь не только люди, но и вещи играют (пульт). Удастся ли, хватит ли сил у театра осилить эту пьесу» (Попов, завод им. Дзержинского); «Эта пьеса — настоящая, о ней заговорят, если театр ее поставит, о ней заговорит весь СССР» (Фрейдин, завод им. Дзержинского); «Это первая из всех читанных нами пьес, которая всех заинтересовала, очень и очень хорошая. В других театрах нет таких пьес о будущей технике и технич<еской> интеллигенции. <...> Многие выражения пьесы сделаются крылатыми» (Долгицер, завод Свара) и др.

Выступавшая второй писательница А. Караваева, также давшая самую высокую оценку «Высокого напряжения», высказала ряд сомнений и предложений, вокруг которых и развернется дискуссия: «Пьеса очень хорошо написана, прекрасным русским языком. Ее смысл: техническая интеллигенция хочет не только работать технически, но быть и братом пролетариату, подлинным товарищем. В пьесе есть разлом: 1-й акт (до пульта) — лирический, лирика Мешкова, Абраментова; здесь слово наиболее полно и звучит; когда пульт начинает действовать — впечатление раздваивается (технологический шум, светэффекты). Люди действуют сквозь технологический процесс. Технология во 2-м и 4 акте подавляет лирику, психологию. Крашенина очень интересный образ новой женщины, технологически в последнем акте засушена. Надо утеплить женщину. Нужно внести равновесие и стойкость в пьесу — не надо подменять человека машиной. Три интеллигента сливаются в один образ. Пьеса несравненно выше “Последнего решительного” Вишневого <...> В характеристике Мешкова (“мелкой мерой мерили” его) чувствуется скрытый упрек пролетариату в том, что он не во всем помогал интеллигенту. Гроба и пожар не нравятся. Театр этой пьесой возбудит много толков идейного интереса. <...> Театру эта интересная пьеса должна подойти».

Присутствовавшие представители технической интеллигенции и пролетарии не были согласны с главными тезисами Кара-

ваевой о технике, новой женщине и платоновских инженерах: «Не согласен с Караваевой — ее боязнью техницизма. В пьесе вовсе не видно преобладания техники над людьми. <...> Жесткая машинная действительность 2—4 актов очень хороша, она подавляет, как контраст, мягкую лирику 1-го акта. Очень хорошо, что Крашенина мало говорит — она вовсе не засушена, как думает Караваева; она работает, она новый человек. Инженеры все трое вовсе не сливаются в один образ, они различны, но у них много общего связующего — одна прослойка классовая» (Фрейд-дин); «Мешков — не просто образ пошлости: он не враг советской власти, но сознает себя пустяком, мертвецом. Нужно было бы выявить, что он хороший человек и близок рабочим. Смерть инженера и рабочего об руку друг с другом звучит символически интересно, но не нужно нагромождения ужасов» (Бокштейн, АМО) и т. д.

Разошлись рабочие критики во мнениях по отношению к «ужасам» (гробам): одни считали, что их нужно снять, другие — что «гробы необходимы» и поданы «без мрачной лирики, обычно кладбищенской», а также советовали Платонову поработать над убедительностью финала пьесы. Идеологических пороков в пьесе инженеры и рабочие не нашли. Подводящий итоги обсуждения критик Д. Тальников высоко оценил художественную ценность пьесы и представил, по сути дела, первое авторитетное суждение о специфике драматургического искусства Платонова: «Правильно было отмечено, что пьеса необычная. Она — пьеса условного реализма, не бытовая, но и не схематическая, что надо точно усвоить. Ее условные образы, вместе с тем, реалистические, полны художественной типичности и значимости идеологической. Это пьеса идей, идеологических образов-знаков, социально-обнаженных идей, показанных в экспрессионистическом напряжении. Идея основная пьесы — рабочий класс и интеллигенция в совместной товарищеской работе на строительстве социализма. Ведущую роль в пьесе играет не Мешков, конечно, как думает Никифоров (выступавший представитель профсоюзов. — Н. К.), а новый человек: он ведет жизнь через машину. Машина, высокое техническое напряжение строительства нашего — не есть обожествление вещи — машины, а только утверждение воли человека — Крашениной, Пужаковых, Абраментовых, воли классового человека, воли класса к победе. 4-й акт надо изменить, в нем падает высокое напряжение

всей пьесы. Пьеса дает целеустремленность. Пульг — это образ высокого напряжения всех наших путей, всего нашего строительства жизни, она дает пафос героики — отсюда ее идеологическое значение».

Выступление Платонова было самым кратким. Он уточнил тезис о технике будущего («Техника дана как проявление социального чувства»), напомнил, что изображенные в пьесе пульта и кольца напряжения не являются писательскими фантастическими образами, а имеются на заводах СССР, подчеркнул, что «автор пытался художественно изобразить» «условия Т. Сталина: овладение техникой, отношение к старой интеллигенции и использование новых кадров», а также обещал изменить последний акт. В итоговое обсуждение пьесы было внесено 2 пункта: «Пьеса голосованием принимается единогласно. Автор обязуется переработать 4-й акт». В конце стенограммы впечатан отзыв Л. Леонова, не сумевшего быть на самом обсуждении: «Всячески поддерживаю необходимость постановки пьесы А. Платонова. 26 июля 1932 г. Леонид Леонов» (Протокол заседания Худполитсовета // РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 128, л. 1—6).

Воодушевленный прошедшим обсуждением Платонов 21 июля отправляет пьесу Вс. Мейерхольду:

«Глубокоуважаемый тов. Мейерхольд.

По просьбе Д. Л. Тальникова посылаю Вам рукопись пьесы “Высокое напряжение”. Эта рукопись — один из 4-ех вариантов.

Желательно, чтобы Вы ознакомились с пьесой и возвратили ее мне в течение 3-х дней, т. к. после этого срока я уезжаю в командировку.

С глуб. уважением Андр. Платонов.

21/VII-32» (РГАЛИ, ф. 2208, оп. 1, ед. хр. 998).

Ответ Мейерхольда неизвестен, очевидно, пьеса Платонова его не заинтересовала; к тому же не было решения Главреперткома. С 1932 года Платонов регулярно отправлял в Главрепертком все редакции пьесы, но разрешения так и не получил.

12 июля он отсылает пьесу, приложив к ней копию положительной рецензии М. Горького, члену редколлегии журнала «Ленинград» М. Козакову с просьбой напечатать. В 1933 году он вновь предлагает разные варианты «Высокого напряжения» в альманахи и издательства. Практически все читавшие — «за», однако после высоких оценок («талантливо», «очень талантливо», «за печата-

ние») следуют множества «но» и требование переработки текста. Неприемлемым оказалось многое: «невозможно, чтобы Абраментов был бывшим белогвардейцем»; двусмысленный комический почтальон, которому «не мешало бы дать 10 лет» за катастрофу; «нудное философствование» и «“остранение” жизни людей»; «явный гротеск» и «комическое оформление» для трагической вещи и т. п. (см.: *Воспоминания*. С. 316).

Платонов продолжал работать над пьесой все тридцатые годы: дописывает и переписывает отдельные сцены и финал, делает одноактные редакции, пробует новое название («Огни пульта»), однако все тексты возвращаются автору. В марте 1934 года он заключает договор с ГИХЛ (см.: *РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 9) на издание пьесы. Пьеса предоставлена, однако не опубликована.

1 января 1935 года (перед второй поездкой в Туркмению) Платонов пишет письмо К. Зелинскому по поводу составленного сборника рассказов «Такыр», в который включена пьеса «Почтальон» (одно из названий «Высокого напряжения»): «В сборнике есть пьеса “Почтальон” — Вы ее знаете и Вам она не нравилась, но имейте в виду, что предлагаемый вариант в очень сильной степени разнится от того, который Вы знали. Я на днях уезжаю в Азию. Мне хотелось бы, чтобы по сборнику было уже решение Изд-ва до моего отъезда»» (*РГАЛИ*, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 775).

Но и эта попытка закончится ничем. Завершится история борьбы за публикацию «Высокого напряжения» 18 июня 1941 года лаконичной оценкой Комитета по делам искусства: «Идея пьесы — борьба новаторов на производстве — не раскрыта» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 25).

14 Красных избушек (с. 150)

Впервые: Грани (Германия. 1972. № 86); Волга, 1988, № 1. Под названием «14 Красных избушек, или Герой нашего времени».

Второе заглавие привнесено в 1970-е годы из одноактной пьесы, созданной Платоновым (не ранее 1936) на основе переработки первого действия трагедии.

Публикуется по: *Ноев ковчег*.

Датируется 1933 годом.

Первоначально пьеса мыслилась как комедия, первые наброски к пьесе появляются в записной книжке 1931 года; в черновых

записях и в первых пяти списках действующих лиц просматривается связь с «Шарманкой» (встреча двух миров: мира европейской культуры, с одной стороны, и советских инженеров и практиков колхозного строительства — с другой); здесь еще нет писателей и главной темы 4 действия — темы голода. Один из вариантов комедийного завершения пьесы связывался с провинциальным адептом идеи индустриализации и московской культуры Антошкой, изобретателем символа Эсесерши — избушки-тюрьмы, по которой надо пропустить электрический ток. Однако Платонов отбрасывает данный финал, отказывается от ряда комедийных диалогов Хоза и Антошки, вписывает на полях рукописи 4 действия: «Голод развить всюду» — и завершает пьесу о трагедии на берегу Каспийского моря, где согласно народным легендам должно быть сокрушено царство Антихриста, высокой эсхатологической интонацией «Котлована» (см.: Реконструкция черного автографа пьесы «14 красных избушек» / Статья и публикация Е. Рожenceвой // *Архив*. С. 270—365).

Основная работа над пьесой проходит в 1933 году. В сводке в секретный отдел ОГПУ от 20 октября 1933 года сообщается, что Платонов летом написал пьесу, проникнутую, по его собственному признанию, «философским пессимизмом», а в первом акте высмеивает «сов. писателей, в первую очередь — “Уборовка” <так!> — ПИЛЬНЯКА. П<латонов> считал это мало важным — “по пути разок смазал по морде”» (*СФ—2000*. С. 852).

На лето 1933 года есть множество прямых («шестнадцатый год» строительства коммунизма) и косвенных указаний в пьесе (подробно о 1933 годе см. комментарий к рассказу «Мусорный ветер» в томе «Счастливая Москва», с. 597—599). Дата имеет почти символический характер для двух противопоставленных в пьесе ареалов — писательской Москвы и провинции. Летом 1933 года в Москве готовились к Первому Всесоюзному съезду писателей; литературная общественность представлена в пьесе тремя именами, за которыми легко угадываются их прототипы: Уборняк (Б. Пильняк), Фушенко (П. Павленко), Жовов (А. Толстой). Советское правительство и лично Сталин оказывали Оргкомитету по подготовке писательского съезда исключительно широкую поддержку: выделяются 400 академических пайков, строится целый писательский дом в Лаврушинском переулке, дачный поселок в Переделкине, открываются клуб в Москве, дома отдыха... Писа-

тельское сообщество отвечает взаимностью: весной-летом 1933 года начинает оформляться грандиозный партийно-литературный проект «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»; коллективные писательские бригады отправляются во все концы страны, готовится «История фабрик и заводов» и т. п. Столь же широко в литературных кругах обсуждается и художественно осваивается программа новых достижений в области колхозного строительства, выдвинутая Сталиным на Первом съезде колхозников-ударников (19 февраля 1933 года) в концепции «второго шага»: «сделать всех колхозников зажиточными» (*Сталин И. С. Сочинения. Т. 13. М., 1952. С. 247*).

В центральных газетах не сообщалось о другом — страшном голоде 1932—1933 годов в СССР, масштабы которого превосходили катастрофу 1921-го, о которой знал весь мир. Голод начался зимой 1932 года, массовый характер принял весной-летом 1933 года, когда голодали миллионы (погибло около 8 миллионов). В СССР и советской литературе тема голода этих лет относилась к числу закрытых: объемные письма М. Шолохова 1932—1933 годов Сталину о голоде и терроре в Вешенском районе впервые были опубликованы только через 60 лет, в 1992 году.

Прототипом фигуры Хоза часто называется английский драматург Бернард Шоу, посетивший Советский Союз в 1931 году; этот приезд, который широко освещался в газетах, совпал с началом широкомасштабной кампании по разрушению московских храмов. На писательский съезд в Москву собирались многие известные зарубежные писатели, входившие в общество «Друзья СССР». Среди прототипов во многом собирательного образа Хоза необходимо назвать не только литературные имена (фамилия Хоз может быть прочитана и как сокращенное «хозяйственник»). Платонов безусловно знал материалы Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) (7—12 января 1933), посвященного итогам первой пятилетки. В первой главе доклада И. Сталина («Международное значение пятилетки») говорилось о «серии путешествий в СССР различных представителей всякого рода фирм, органов печати, обществ разного рода и т. п. с целью разглядеть своими собственными глазами, — что же собственно творится в СССР», а также приводился весьма обширный материал положительных откликов крупнейших деятелей капиталистического мира на итоги первой советской пятилетки (см.: *Сталин И. Сочинения.*

Т. 13. С. 163, 167). Характерно, что Хоза интересуется не литература и литераторы, а реальная действительность, и его первый вопрос («Ну как дела со второй пятилеткой? Надеюсь, четко?») связан с революционными темпами выполнения первой пятилетки и началом второй. 31 января 1932 года объявлено о выполнении заданий первой пятилетки за 4 года и 3 месяца (начало — 1 октября 1928 года, хозяйственный год начинался с октября). По этой логике для иностранца Хоза вторая пятилетка в СССР началась в январе 1933 года; одно из официальных названий второй пятилетки — «безбожная пятилетка» (предполагалось, что в наступающее пятилетие вопрос религии в СССР будет решен полностью и окончательно).

Столь же мотивирован и выбор главной героини — председателя колхоза Суениты. В речи И. Сталина на первом съезде колхозников-ударников (19 февраля 1933) особой строкой выделялся вопрос «о женщинах, о колхозницах»: «...колхозное движение выдвинуло на руководящие должности целый ряд замечательных и способных женщин» (Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 251). Суенита, приезжавшая в столицу «библиотеку в премию получать», скорее всего, отмечена премией именно за выполнение плана хлебозаготовок 1932 года (то есть она сдала государству практически весь собранный колхозом хлеб) и в целом ударную работу в годы первой пятилетки по раскулачиванию, которое она начала проводить «перед второй большевистской», то есть перед 1929 годом, официально названным «годом великого перелома» (заглавие статьи И. Сталина, опубликована в центральных газетах 7 ноября 1929 года — в день годовщины Октябрьской революции). Платонов исторически точен; «великий перелом» в деревне начался не осенью 1929 года, а в 1928 году, в связи с кризисом хлебозаготовительной кампании (крестьяне отказывались сдавать хлеб по низким ценам).

Жизнь колхоза «14 красных избышек» также насыщена политическими реалиями и решениями начала 1930-х годов. За происками классовых врагов (официальная версия кризисных явлений) угадывается одно из распространенных и в те годы мнений, что причиной голода 1933 года являлся экспорт зерна за границу: продовольствие вывозили в счет погашения иностранных кредитов, взятых на проведение индустриализации страны. Апелляция героев пьесы к ГПУ также вполне объяснима. Именно на ГПУ воз-

лагалось выполнение всех директивных решений по подавлению антисоветских выступлений в деревне. Органы ГПУ должны были усилить карательные меры по чистке сельских парторганизаций; бороться с пассивностью и примиренчеством к саботажникам; проводить уничтожение «всякого рода чуждых элементов»; выселять «саботажников» и заключать их в лагеря; не допускать массового бегства крестьян из голодающих мест в другие районы (См.: Судьбы российского крестьянства. М., 1996. С. 357).

Симптоматичны ссылки героев на «изменения и дополнения, внесенные в конституцию соответствующими постановлениями Президиума ЦИК СССР». Дополнения в Конституцию вносились постоянно; в данном и других эпизодах имеется в виду постановление ЦИК и СНК СССР (от 7 августа 1932) «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», по которому за хищения в особо крупных размерах предусматривались расстрел с конфискацией всего имущества или высылка сроком до 10 лет. С 1930 года практиковалась форма наказания районов и колхозов, не выполнивших директивные планы: им выдавали черное знамя, помещали на «черные доски», нравственное унижение сопровождалось репрессивными мерами. Аналогом черного знамени в пьесе является *рогожное* знамя; низкий смысл этого атрибута наказания колхоза (см. у В. Даля: «В рогожу одеться, от людей отречься») противоположен «красному» знамени, которым награждали победителей социалистического соревнования. В перечисленных деяниях деревенского Антошки, поставившего спектакль о топоре, отразились события не только социальной, но и литературной жизни начала 1930-х годов: «призыв ударников» в литературу, дискуссии в драматургии, эстетика «темпа» и лозунга; конфликт новаторов и консерваторов; пьесы Н. Погодина «Темп» и «Поэма о топоре» (1931), в последней действуют молодые энтузиасты-изобретатели, побивающие своими открытиями и рекордами лесковского Левшу. Антошке Платонов отдает и собственные технические изобретения (в это время он служит старшим инженером в московском тресте «Росмеровес» и участвует в разработках новой конструкции весов).

Голос отца (с. 205)

Впервые: Звезда Востока. Ташкент, 1967. № 3.

Печатается по машинописи с авторской правкой (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 87).

Датируется условно: не ранее 1938 года, возможно, окончательная редакция — 1940 год. На машинописи с авторской правкой, представляющей последнюю редакцию пьесы, имеется помета: «3 экз. // Дет<ская> лит<ература>» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 87, л. 1). Не исключено, что пьеса на морально-педагогическую тему отношения отцов и детей предлагалась в журнал, с которым Платонов начинает активно сотрудничать в 1940 году.

История создания пьесы и основные ее источники (черновой автограф, промежуточная и окончательная редакции) представлены в публикации А. Харитонова (см.: Пьеса «Голос отца» («Молчание»). История текста — история замысла // Из творческого наследия русских писателей XX века. СПб., 1995. С. 391—423). Машинопись, по которой в настоящем издании печатается пьеса, представляет переработку текста «Могила отца (Драматическая новелла)»: составляется список действующих лиц, отменяется прежний финал (до появления милиционера) и на отдельных листах прилагается другая машинопись с пометой: «Продолжение “Могила отца”».

Без вести пропавший, или Избушка возле фронта (с. 214)

Впервые: Наш современник. 1969. № 2.

Печатается по: *Ноев ковчег*.

Датируется условно: не позднее 1942 года.

В записной книжке Платонова 1942 года имеются записи к трем пьесам, два замысла относятся к войне. Первый — жестко и даже жестоко реалистичен, о виденном по дороге в Уфу (эвакуация): «Вагон 5899 — (Пьеса). Клавка, фельдшер, Ив<ан> Мироныч Раздорский и пр. — Плачут, что “мало” едят, истерики — грязная пена людей. Обжорство, вне очереди, а сами тюремные > служащие, кухарки и т. д. Очень важно — совершенно автоматические люди — еда, тепло, покой, порядок, эгоизм. С такими можно делать что угодно» (ЗК. С. 218). Во второй записи — кристаллизуются темы смерти и памяти, главные философские темы всего творчества писателя: «“После войны” — пьеса. Замороженных воскресают — и снова они сражаются, но их уничтожают вновь: две

смерти они переживают» (ЗК. С. 229). К этим замыслам Платонов вернется после войны (сценарий «Семья Иванова»), а в 1942 году в Уфе он пишет пьесу, главные действующие лица которой восходят к героям его предвоенных рассказов и неоконченной пьесы «Избушка бабушки». Пьеса написана в эстетике высокого примитива, как и первые военные рассказы 1942 года (сказки, притчи, легенды), и в целом вписывается в героико-патриотический репертуар советской литературы первого военного года.

Волшебное существо (с. 228)

Впервые: Платонов А., Фраерман Р. Волшебное существо. М.: Отдел распространения драматических произведений ВУОАП, 1967.

Печатается по авторизованной машинописи (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 88).

Датируется условно: вторая половина 1944 года.

О совместной с Р. Фраерманом работе над пьесой вскользь вспоминали знавшие Платонова в те годы: «...отношения с милейшим человеком Р. Фраерманом чуть осложнились после совместного написания пьесы “Волшебное существо”, где Андрей Платонович начисто подавил своего соавтора...» (Нагибин Ю. Еще о Платонове // *Воспоминания*. С. 74); «Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок, но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызвали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались» (Липкин С. Голос друга // Там же. С. 121). Появление соавтора у пьесы можно объяснить жестом дружеского участия Фраермана: в отличие от Платонова, его литературная судьба складывалась вполне благополучно; с конца 1930-х он занимает прочные позиции в секции детской литературы Союза писателей, курирует литературу для юношества, входит в редколлегии детских журналов и издательств. В качестве первого автора Фраерман указан в рукописи «Волшебного существа» (сам автограф полностью выполнен Платоновым), а затем в рукописи киносценария «Семья Иванова» (1945): Отношения между писателями осложнились в 1945 году. Фраерман читал «Волшебное существо» уже в машинописи и, что вполне естественно для соавтора, вносил свои поправки, правда, их Платонов, скорее всего, и не принял (экзем-

пляр пьесы с вставками Фраермана хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома).

Записи к пьесе появляются во фронтовой книжке Платонова летом 1944 года. В это время он находится в действующей армии, принимает участие в Могилевской (23—28 июня) и Минской (29 июня — 4 июля) наступательных операциях; с пометой «С Могилевского направления» в «Красной звезде» печатаются очерки, в которых фронтовые будни пронизаны «сиянием света неба», а сам «прорыв на запад» (заглавие очерка, 26 июня) обретает высокое патетическое звучание — «торжественное зрелище» битвы добра со злом. Фронтовая дорога на запад открывала перед Платоновым не только патетические темы, но и «драмы великой и простой жизни». Далеко от фронта плачет в тоске по отцу ребенок, и «слезы тоски» стоят в глазах солдата, отца ребенка; плачут «русские девушки» в плену, плачут они и в далеких от фронта сибирских и уральских селах. Картины злодейств фашизма и подвига и смерти открывали концентрационные лагеря Украины и Белоруссии. Сожженные белорусские деревни и возвращающиеся на родные пепелища старики и дети. Темы, образы и мотивы очерков и рассказов 1943—1944 годов узнаются и в драматургическом сюжете «Волшебного существа». Лагерную историю еврейской девушки, «святой великомученицы» Розы повторяет в пьесе русская девушка, также «святая великомученица» Наташа. Ко времени работы над пьесой рассказ «Девушка Роза» уже написан; «Афродита» еще только рождается и во многом — именно в ходе работы над пьесой. Черты будущей Натальи Владимировны Фоминой раздаются в пьесе разным и во многом противопоставленным героиням: откровенной мещанке, тридцатилетней Любви Кирилловне и идущей из плена к мужу верной жене генерала Климчицкого Марии Петровне. Упомянутая в пьесе «гороховая летучка на блюде» объясняется в рассказе: «Фомин подходил к буфету, просил <...> так называемую “летучку”, то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом...» («Афродита»).

Явно корреспондирует в пьесе с рассказом «Страх солдата» фигура верного, мудрого и богомольного «старого солдата» Ивана, своеобразного alter ego автора (на это указывает сорокапятилетний возраст, а также сходные музыкальные умения и пристрастия героя). Платонов любил воскрешать имена героев предшествую-

щих произведений, в годы войны это стало почти тенденцией по отношению к его неопубликованным произведениям или не реализованным замыслам. Обретает родственницу в годы войны герой романа «Счастливая Москва» эсперантист Виктор Божко. Обобщающей ролью в пьесе наделят семидесятилетний профессор медицины Череватов, фамилия которого встречается в набросках пьесы 1931 года и в неоконченном киносценарии «Турбинщики», а жизненная философия героя близка европейскому ученому Хозу («14 Красных избушек»), русскому интеллигенту Прушевскому («Котлован») и профессору-хирургу Верещастному, пытающемуся создать искусственное сердце (наброски пьесы 1930-х годов).

1944-й был годом драматургического бума в советской литературе, когда почти все толстые журналы из номера в номер печатают пьесы: «Офицер флота» А. Крона, «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского, «Ливонская война» И. Сельвинского — в «Знамени»; «Отчий дом» В. Катаева — в «Новом мире»; «Площадь цветов» В. Ильенкова — в «Октябре» и т. д.

Как и в других пьесах, в «Волшебном существе» сильна лирическая тема, которую обеспечивает упоминаемый в ремарках песенный репертуар войны. Платонов сознательно соединяет народные и современные песни («Полоняночка», «Рябина», «Липа вековая», «Советская патриотическая»). Первые три песни относятся к народным песням о вечной смертной разлуке любимых, памяти и любви. «Полоняночка» — речь идет о двух возможных текстах народного происхождения: исторические песни-баллады о полонянках эпохи татарского ига (издавались вместе с нотами, исполнялись хором Пятницкого) или появившаяся в годы войны и ставшая особенно популярной в 1943 году в действующей армии «Полонянка»: «Для того ль цветочек синий / В косу мне вплетала мать, / Чтоб в неметчине рабыней / Довелось мне умирать...». «Рябина» — ставшая народной песня на стихи И. Сурикова («Что стоишь качаясь, тонкая рябина...»). «Липа вековая» — народная песня начала XX века («Липа вековая / На горе стоит...»), встречается в первой редакции «Котлована» среди любимых песен Чиклина. «Советская патриотическая» — песня без имени, не ясно, о какой именно песне идет речь; с понятием «советская патриотическая песня» соотносятся песни о Родине и Сталине.

Не обошел Платонов и современную драматургию. Так, упоминаемый в пьесе фильм «Тельняшка моряка» представляет

иронический намек на фильмы, снятые по произведениям Л. Соловьева: «Я — черноморец» (1943), «Иван Никулин — русский матрос» (1944). Как киносценарист Соловьев стал известным уже в 1930-е годы. В 1938 году Платонов опубликовал разгромную рецензию на роман Л. Соловьева «Высокое давление», в которой прямо указал на «крупные непоправимые ошибки» автора, весьма зло высмеял голливудские истоки образа главного героя романа молодого «кинописателя» Михаила Озерова (Литературное обозрение. 1938. № 15. С. 9—16). Отношения между писателями в годы войны испортились окончательно. Платонов продолжал интересоваться произведениями Соловьева, в частности, явно читал повесть «Иван Никулин — русский матрос» (опубликована в журнале «Новый мир», 1943, № 5/6), написанную под огромным влиянием его рассказа «Одухотворенные люди» (1942). Также не исключено, что авторитетный человек в киносценарном ведомстве Л. Соловьев имел отношения к киносценариям Платонова (о публичном разрыве отношений между писателями в 1943 году см. в воспоминаниях Д. Данина: Вопросы литературы. 2005. № 6. С. 244—248).

Ученик Лицея (с. 291)

Впервые: Наш современник. 1974. № 5.

Печатается по авторизованной машинописи (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 86).

Датируется условно: 1947—1948 год.

Весной 1946 года Платонов подает заявку и заключает договор с ЦДТ на пьесу «Добрый Тит», однако осенью он не предоставляет пьесу, а в феврале 1947 года просит дирекцию театра перезаключить с ним договор на пьесу «Юный Пушкин». Для Платонова ситуация менялась стремительно после развернувшейся критики рассказа «Семья Иванова». Замысел пьесы-притчи «Добрый Тит» — о возвращении солдата с фронта является своеобразным продолжением сюжета «Семьи Иванова» — попадал в проработку сразу под два постановления ЦК ВКП(б): «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (от 14 августа 1946) и «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» (от 26 августа 1946). «Тема пьесы, принятая театром в форме заявки, не соответствует новым задачам драматургии», — так резюмировал сложившуюся ситуацию сам Платонов в феврале 1947 года в письме на имя ди-

ректора ЦДТ (см.: А. Платонов и Центральный детский театр // *Воспоминания*. С. 475—477).

Пушкинская тема была для Платонова одной из самых близких и вместе с тем современной, ведь в обоих постановлениях звучала критика литераторов за «дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада».

1947 год проходит под знаком борьбы за «советский патриотизм», разворачивается кампания искоренения антипатриотов и всех форм преклонения перед заграничной культурой и жизнью. Отличительные качества «советского патриотизма» естественно определялись через программные высказывания Ленина и Сталина, главным образом — основные положения книги Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза» (1942), «этой песни песней советского патриотизма»: «коммунистическая сознательность, идейность, массовый, не только воинский, но и трудовой героизм, революционная бдительность, непоколебимая стойкость, подлинный интернационализм, неразрывный с глубоким уважением к лучшему национальным традициям, непримиримость к раболепию и низкопоклонству...» (Ленин и Сталин о советском патриотизме // *Новый мир*. 1947. № 11. С. 223, 243). Советская литература была призвана «развивать и культивировать советский патриотизм» (И. Сталин), а писатели — дать «светлую картину жизни; они имеют возможность показать действительность как осуществленную и осуществляемую мечту; они имеют возможность раскрывать радостные, величественные перспективы дальнейшего победоносного движения нашей страны вперед. Именно это обязывает их быть беспощадно трезвыми и суровыми в обличении всего того, что препятствует этому движению» (Октябрь. 1947. № 12. С. 158). Вновь пересматривалась история русской культуры и литературы, в Союзе писателей разгораются дискуссии, в ходе которых выявляются антипатриотические группы, вводятся суды чести; низкопоклонством в литературе объявляется все, что отступает от наследия русской критики — Белинского и революционных демократов. Достается как очернителям советского патриотизма, так и приверженцам «чистого искусства», которые также объявляются «воинствующими реакционерами» и космополитами по одной причине: они не перешли на позиции марксизма-ленинизма (постоянно называется столп русского литературоведения конца XIX — начала XX века Александр Веселовский, автор «Историче-

ской поэтики»), не приняли и отрицали революционную Россию (разгромные статьи о творчестве А. Грина). Не менее жестко звучали установки о должном отношении к прошлому страны: «Борьба с пережитками национализма, находящими свое выражение в идеализации далекого прошлого, должна продолжаться» (Поспелов Г. Против критики тенденциозной и недобросовестной // ЛГ. 1948. С. 2). Предполагалось, что советские писатели будут «свято оберегать все сокровища русской национальной культуры», но по строго установленным сверху закону о «советском патриотизме». В этой весьма жестокой ситуации Платонов пытается вернуться в литературу через два разрешенных в эти годы направления: переложение русских сказок, над которыми он работает с 1946 года, и пьесу о Пушкине.

Музой Платонова времени работы над «Учеником Лицея» можно назвать ребенка, а охранение детства — главной задачей последних лет его жизни: рассказы — для детских журналов; сказки — для издательства «Детская литература», «Ученик Лицея» — для детского театра. Дети, несущие в себе вечные начала добра и света, в рассказах удивительным образом похожи на юного Пушкина, а «гениально-детское» в Пушкине (определение Д. Овсяннико-Куликовского) повторяется в девочке Даше (рассказ «Неизвестный цветок»). Платоновских детей девятнадцатого и двадцатого веков роднит любопытство к окружающему миру и жажда его одухотворения, им все интересно, а волшебные фантастические виденья открываются во всем; они обнаженным сердцем не принимают смерть (лейтмотив: «Не умирай», «Не умирай никогда»), ощущают неправду сиротства и борются со смертью. В образе Пушкина-лицейста Платонов возвращался к собственной юности с ее непростыми исканиями «истины»; пушкинская резвая «Вольность» перекликается с утопическими проектами пролетарской гармонии, которыми жил молодой Платонов начала 1920-х годов, а затем бредили его герои.

Пушкин прошел через все творчество Платонова, оставаясь для писателя едва ли не главным ориентиром. Платонов хорошо знал творчество Пушкина, и в период работы над пьесой обращается к авторитетным источникам («Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова, первого биографа Пушкина, издания «Пушкин и его современники», «Пушкин в воспоминаниях современников»), но главным образом — к лицейской лирике

Пушкина и к произведениям о детстве поэта («Сон», «Дельвигу», «Городок», «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» и др.). Он заглядывает в раздел ранних редакций академического Пушкина, и вместе с тем не всегда точен в пушкинских цитатах, вкрапляя в пушкинский текст собственные уточнения, возможно, цитируя по памяти (помета «Сверить цитату» встречается в рукописи статьи «Пушкин — наш товарищ»).

«Ученик Лицея» рождается на перекрестье пушкинской, фольклорной и собственной поэтик. Пушкинский текст входит в платоновский большими цитатами, реминисценциями, многообразными аллюзиями, а ключевые платоновские «образы-понятия» (Л. Шубин) даются через проекцию на фольклорный и пушкинский мир творчества. Укажем на некоторые подобные наложения и вольные контаминации. Так, за размышлениями юного Пушкина, желающего «на старости лет» стать «мужиком... либо инвалидом» и жить «в будке при дороге» стоит обязательная принадлежность городского пейзажа пушкинской эпохи (см. историю будочника «чухонца Юрко» в «Гробовщике», для которого будка является единственным жилищем; Онегинская энциклопедия. Т. 1. М., 1999. С. 144—145), и одновременно обнажаются пушкинские источники базового для художественного мира Платонова сюжета ухода в «низкую действительность» (Комягин и Сарториус в романе «Счастливая Москва», Никита Фирсов в рассказе «Река Потудань» и др.). В словах платоновского Пушкина «Там и старушка, там и Киприда! Там лебеди на лоне вод, и вижу — там воробьи» вольно соединяются сразу несколько важнейших образов. Старушка — одно из частотных в пушкинском языке (см.: Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т. 4. М., 2000. С. 366—367): старушка из «ветхой лачужки» («Зимний вечер»), «бедная старушка» — вдова из «Домика в Коломне», «добрая старушка» из «Городка». Киприда — богиня любви и красоты (другое наименование — Афродита; см.: «Богиня красоты прекрасна будет век, / Седого времени не страшна ей обида: / она не смертный человек...», «Лаиса Венере...») и лебеди («Леда») — символы классического искусства, базовые в пушкинском пейзаже лицейского периода («Городок»). В словаре Пушкина воробей отсутствует, однако в мифологическом мире «животных и растений» Платонова этот «герой» занимает необыкновенно высокое место, ср.: «На земле могут погибнуть от долгих уныний и невзгод все нежные создания, но такие живородные существа,

как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня» («Чевенгур»); см. также притчи и сказки о воробье, созданные Платоновым в 1930-е годы (рассказы «Нужная родина», «Алтерке», «Московская скрипка», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья»). Используя простонародные имена, занимающие весьма важное место в поэтике имени пушкинского текста, Платонов через Пушкина («Пусть моя Муза будет не дочерью богов, а дочерью Кузьмы и Акулины, Машкой или Дуней») резюмирует основные положения собственной концепции народности, изложенной им в статьях второй половины 1930-х годов. Пушкинская мать-старушка у могилы забитого на царской службе сына напоминает о единственном сыне писателя Платоне, мальчишке, прошедшем сталинские лагеря, вернувшемся тяжело больным и умершем в январе 1943 года (тема могилы сына проходит через все письма Платонова с фронта). Можно сказать, что именно в пушкинской пьесе и через Пушкина Платонов завершает сюжет детей-сирот, обретших в Сталине ложного отца («Сирота наша Русь, круглая сирота... И царь у нее есть, да не отец он для России, а отчим...»), а сиротство получает библейское толкование: «И ты-то, царь-батюшка, чего детей от родителей отымаешь, да разлукой казнишь, — аль остатнее время настало?».

К началу 1948 года пьеса была написана. Судя по сохранившемуся черновику письма Платонова к главному идеологу страны А. Жданову, редакции отказывались печатать «Ученика Лицея», а театры — ставить (см.: *Воспоминания*. С. 484). Весной 1948 года ЦДТ уведомляет Платонова, что считает невозможным постановку пьесы на сцене театра. Мотивы: «искаженный образ молодого Пушкина и его современников»; «много нарочитости и искусственности», «налет сентиментальности, умиленного отношения к Пушкину» (см.: *Воспоминания*. С. 475—485). К замечаниям Платонов отнесся внимательно, о чем свидетельствует его работа 1948 года над кульминационным 4-м действием пьесы. Вынутые из машинописи страницы 4-го действия подвергаются им серьезной редакции. Он отказывается от действительно «искусственной» сцены присутствия дворовых и Арины Родионовны на экзамене в Лицее, и одновременно вводит абсолютно крамольные диалоги о Боге истинном и «земных богах». Получилась одноактная пьеса «Пушкин на экзамене (Сцена для чтения и представления)». Этот текст Платонов вкладывает в машинопись «Ученика Лицея» вза-

мен изъятого из нее 4 действия (проведенная правка была учтена при подготовке пьесы для настоящего издания).

Однако ни в каком варианте платоновский юный Пушкин не проходил в печать и на сцену.

В приведенных доводах ЦДТ против постановки пьесы о Пушкине немало лукавства. 1947—1950-е годы (1949-й — 150-летие Пушкина) можно назвать эпохой тотального искажения облика Пушкина — в русле концепции «советского патриотизма»: «Мы возвысили отчизну, / О которой ты мечтал / Чтоб зарею коммунизма / Стих, как пламя, прорастал» (Н. Тихонов. «Великан») и т. п. В написанной в эти же годы пьесе К. Паустовского «Наш современник (Пушкин)» молодой Пушкин выступает в роли борца с царизмом и откровенного безбожника, поэт на каждой странице клянется в верности народу, а антиподом его родителей, на протяжении всей пьесы занятых разоблачением сына — «мужицкого апостола», «бунтовщика» и «атеиста», выступает няня поэта Арина Родионовна, в диалогах с которой о «правде» проговаривается концепция «нашего Пушкина» 1940-х годов (см.: Новый мир. 1949. № 6. С. 95—146). Не исключено, что Паустовский был знаком с платоновским «Учеником Лицея», а потому избирает для пьесы период южной ссылки Пушкина, то есть как бы продолжает «Ученика Лицея».

«Ученик Лицея» несет на себе печать времени написания, но при этом остается глубоко платоновским произведением, что не могли не понимать читавшие тогда пьесу современники писателя. Они хорошо помнили, что статьи Платонова о Пушкине («Пушкин — наш товарищ» и «Пушкин и Горький») были квалифицированы в 1939 году журналом «Большевик» (теоретический и политический орган ЦК партии) как «насквозь антимарксистские», а их автор «не понимает (или не хочет понять), что высшим достижением русской и мировой культуры является ленинизм...» (Большевик. 1939. № 11. С. 56—57).

НЕОКОНЧЕННОЕ

<Избушка бабушки> (с. 377)

Печатается впервые, по автографу (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 94).

Предложенное при публикации название носит условный характер. Этот сюжет разрабатывался Платоновым в 1938—1940

годах в прозе («На заре туманной юности»), кинодраматургии («Неродная дочь», «Июльская гроза») и драматургии («Избушка бабушки»). Сохранились фрагменты многоактной пьесы о семье Иноземцевых, куда приходит девочка-сирота. Договор с ЦДТ на пьесу «Избушка бабушки» Платонов подписал 28 марта 1939 года, но пьеса не была предоставлена театру ни в июле 1939, ни в 1940 году.

Не исключено, что публикуемый фрагмент предшествовал не только замыслу пьесы «Избушка бабушки», но и работе над рассказом «На заре туманной юности» («Ольга»). Платонов и сам хорошо понимал, что ни в какой форме написанное не может быть опубликовано. Дописав первое действие, он делает следующую запись: «Переделать конец 1-го акта» и стрелочкой соединяет ее с словами дяди о том, что дети не дойдут до бабушки. Второе действие, очевидно, он предполагал посвятить описанию дороги детей к бабушке в «ночи в пустом поле», однако остановился на полуслове третьего предложения. Незавершенной осталась работа и над 1-м действием. Он несколько раз менял имя мальчика: вместо Мити появляется Ефим, Юшка, Филя, Матвей. Однако при всем этом публикуемый фрагмент обладает всеми признаками эстетической завершенности и представляет еще один шедевр писателя.

Ноев ковчег (Каиново отродье) (с. 388)

Впервые: Новый мир. 1993. № 9. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарий Н. Корниенко.

Печатается по: *Ноев ковчег*.

Над пьесой Платонов работал в последний год жизни. Рукопись состоит из 159 страниц: 21 развернутого листа, двух школьных тетрадей и двух самодельных, сшитых из машинописных листов — возможно, так писателю, уже прикованному к постели, было легче писать.

Первые страницы рукописи отмечены уточнением сатирического замысла: «Эпоха воинов прошла, наступило время шпионов», «Хулиганство американцев, поведение в мире как в трактуре». «Хоровод», — записывает Платонов на полях страницы с доверительными диалогами бывших врагами в годы войны английского премьер-министра У. Черчилля и норвежского писателя К. Гамсуна о новом императоре земного шара, диалогами, удивительным образом воскрешающими замысел чевенгурского

великого инквизитора Прошки Дванова о царстве «интернациональных пролетариев». В логике этой традиции, при этом с пометой 1949 года — кампанией борьбы с «безродными космополитами», делаются наброски к образу Чадо-Ека № 101: «Это наш новый человек, солдат-космополит, бесстрашный солдат всемирной американской нации». В отличие от официальных представителей Европы, Америки и Азии, написанных однозначно сатирическим пером, работа над образами маленьких людей мира, занесенных властью государств на Арарат, шла труднее. В черновом варианте списка действующих лиц рядом с Чарли Чаплином Платонов записывает возможное «слово» любимого им актера и режиссера: «Я ничего не делаю: ищу прообраз великого человека вместо маленького, маленький умер или убит». На полях рукописи Платонов делает пометы к образу Евы, приближая героиню к ее библейскому прообразу («Ева — жизнь»). В черновиках остались и многие прозрения «простых» американцев — радиста Полигнойса и актрисы Марты.

Работа над 4-м действием шла тяжело. Исчезает привычная твердость платоновского почерка, пишутся и вымарываются целые страницы. Несколько раз он помечает, что необходимо вернуться к финалу третьего действия: «согласовать» смерть Конгрессмена и Полигнойса в финале 3-го действия и их возвращение — в 4-м. Однако Платонов уже не сможет этого сделать, как не успеет ввести в действие комедии заявленных героев: Чаплина, Эйнштейна, Шоу и упорядочить список действующих лиц. Рукопись обрывается на странице 159. Лист, на котором Платонов записывает — 160, остается чистым.

Пьеса насыщена и даже, можно сказать, перенасыщена реалиями времени; в «шизофренических» диалогах, коллизиях, жестах и словах ее персонажей узнаваем календарь событий первого послевоенного пятилетия, невероятным образом преображенных Платоновым, а также один из полноправных героев пьесы — радио, «всесоюзный дьячок» («Че-Че-О», 1928). Радио стало главным источником «преображенной» информации, из которого прикованный к постели писатель узнавал о происходящем в мире. Драматургическую фабулу писатель также, скорее всего, позаимствовал из новостных сообщений всесоюзного радио осени 1949 года (на этот источник впервые указал немецкий исследователь Р. Ходел). Американская археологическая экспеди-

ция работала на горе Арарат в 1948—1949 годах с целью поисков останков Ноева ковчега; поводом к экспедиции стало сообщение о находке крестьянина-курда, который якобы обнаружил на Арарате обломки древнего корабля; руководил экспедицией почетный миссионер Аарон Смит, в ней участвовали американские, британские и голландские ученые; библейский ковчег экспедиция не обнаружила, но шума в средствах массовой информации осенью 1949 года было предостаточно; московское радио сообщало, что «агентам секретных спецслужб англо-американского блока явно не хватало воображения, если они не нашли более разумного предлога для проникновения в район рядом с советской границей», сама экспедиция рассматривалась как форма шпионажа, последовали ноты протеста в адрес Турции и т. п. Не только советские, но и некоторые западные средства массовой информации изображали экспедицию в откровенно сатирических тонах, о чем автор «Ноева ковчега» знал из тех же радиосообщений (см.: *Ходел Р.* Комедия «Ноев ковчег»: спор с либерализмом // *СФ—2003*. С. 171—173).

Современная фабула библейского сюжета, преобразованная литературной традицией («Мистерия-буфф» В. Маяковского), а также собственным освоением американской темы (с начала 1920-х годов она находилась в орбите философско-эстетических размышлений Платонова), пронизана множеством других историко-политических и культурных аллюзий. Назовем лишь некоторые события и факты, входящие в генетику языка и формулы героев пьесы (информация дается по «Правде» и «Литературной газете» за 1949—1950 годы). 5 марта 1946 года — речь бывшего английского премьер-министра и союзника во Второй мировой войне У. Черчилля в Фултоне: «Если Россия не будет вести себя соответствующим образом, то она будет разрушена». 14 марта следует ответ Сталина, в котором речь Черчилля (в присутствии президента США Трумэна) названа призывом к войне. В июне 1947 года госсекретарь США Маршалл объявил о плане экономической помощи странам Европы; 12—13 июля в Париже проходит конференция «по плану Маршалла», на которой обсуждается «программа реконструкции Европы» (в черновиках «Ноева ковчега» сохранилась реплика Агасфера, который хочет «получить по плану Маршалла»). 14 мая 1948 года в соответствии с решением ООН провозглашается создание еврейского государства Израиль. 23 апреля 1949 года —

народно-освободительная армия Китая занимает основные провинции страны; бегство Чанкайши на Тайвань; 30 ноября — визит личного посланника Чанкайши в США, «заключение секретного договора». В начале 1949 года набирает обороты кампания борьбы с «буржуазными космополитами» во всех областях советской жизни, включая советскую литературу: «Пропаганда буржуазного космополитизма выгодна сейчас мировой реакции, поджигателям новой войны. Космополитизм в политике империалистов — это стремление ослабить патриотическое чувство независимости <...> связать народы этих стран и выдать их с головой американским монополиям. Космополитизм в искусстве — это стремление подорвать национальные корни, национальную гордость, потому что людей с подрезанными корнями легче сдвинуть с места и продать в рабство американскому империализму» (К. Симонов, февраль 1949). Лето 1949 года — государственные празднования 150-летия со дня рождения А. Пушкина, создание концепции «нашего Пушкина». «Великан Пушкин» открывал галерею «самых великих гениев всех времен и народов — Ленина и Сталина». В канун нового года (21 декабря) начинается празднование семидесятилетия Сталина, газеты заполнены поздравительными приветствиями вождю. Январь-февраль 1950 года — широко отмечается 30-летие советской кинематографии; постоянно цитируется «историческое» сталинское приветствие советским кинематографистам 1935 года, свидетельствующее о внимании партии и «лично товарища Сталина» к кинематографу. 17 марта сообщается о постановлении Совета министров «О подготовке колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу». Май 1950 — начинается обсуждение выступлений Сталина по вопросам языкознания, разворачивается масштабная критика основных положений считавшихся ранее оплотом марксизма работ Н. Марра о происхождении языка, базе и надстройке, возникновении звукового языка из четырех элементов (свод языковедческой проблематики в пьесе представляет Чадо-Ек). В 1949—1950 идет густая информация о судебных процессах: в США — над руководителями компартии; в социалистическом Будапеште — над «агентами американской и английской разведок» и т. п. По вопросам международной политики выступают писатели И. Эренбург, А. Фадеев, А. Сурков, С. Михалков, Б. Лавренев. Тема новой — атомной войны, начатой Америкой взрывами атомных бомб над японскими городами, становится одной из

главных в советской литературе: «Об этом я думаю ночью / Когда потревожен эфир / Америки атомным ветром / И сталинской битвой за мир» (С. Гудзенко. «Голос мира», 1950); образ Сталина в советской литературе этих лет вырастает до грандиозного символа мира: «И знают люди / в каждой стране: / Сталин — / это не быть войне» (А. Сурков. «Имя — знамя», 1950) и т. п.

Мировые географические ареалы послевоенного пятилетия приобрели под пером Платонова черты теперь уже мирового Чевенгура, который в пьесе подтвердил свою всечеловеческую генеалогию — «каиново отродье». Апокалиптическая тема связала все миры — Азию, Запад, Америку, СССР — в определенное единство, где мир с печатью каинова греха (братоубийство) предстал на грани самоуничтожения и исчезновения. С этим предчувствием Платонов уходил из жизни, зажигая в последних детских рассказах свет очага в мире, все более погружающемся во тьму.

Через две недели после смерти писателя «Ноев ковчег» поступил в редакцию журнала «Новый мир» (договор на пьесу подписан в 1950 году). «Всерьез говорить об этой вещи, по-моему, нельзя, как бы ее ни рассматривать» — виза К. Симонова на первом листе машинописи (10 февраля 1951). 3 февраля датировано письмо-отзыв критика А. Тарасенкова А. Твардовскому: «Ничего более странного и больного я, признаться, не читал за всю свою жизнь. Не сомневаюсь, что эта пьеса есть продукт полного распада сознания. Вот ее сюжет вкратце: на горе Арарат американцы делают вид, что нашли останки Ноева ковчега. Вслед за этим на Арарате созывается антисоветский религиозный конгресс, на который прибывают Черчилль, Гамсун, папский нунций, шпионы, кинозвезда Голливуда и другие лица. Их разговоры — пьяная шизофрения. Действуют также глухонемая Ева, брат Иисуса Христа и другие. Внезапно радио приносит сообщение, что США бросили запас атомных бомб в Атлантику, треснула земная кора и начался всемирный потоп. С горы Арарат киноактриса шлет телеграмму Сталину с просьбой спасти ее и кстати всех остальных Черчиллей, Гамсунов и проч. Сталин отвечает приветственной телеграммой и шлет корабль спасать участников антисоветского конгресса. Дальше изложить содержание уже совсем невозможно: пьеса обрывается. Видно у Платонова был какой-то антиамериканский замысел. Он получил чудовищную деформацию, надо полагать, вследствие тяжкой болезни автора. Диалоги бессвязны, алогич-

ны, дики, поступки героев невероятны. То, что говорится в пьесе о товарище Сталине, — кощунственно, нелепо и оскорбительно. Никакой речи о возможности печатать пьесу не может быть. Представлять интерес она может только с научно-медицинской точки зрения» (*Воспоминания*. С. 486).

Сложилась парадоксальная на первый взгляд ситуация. В это время — а это годы холодной войны — антиамериканская тема поддерживалась официальной идеологией (Сталинскую премию в 1950 году получила антиамериканская пьеса Б. Лавренева «Голос Америки»). Отзывы на «Ноев ковчег» отчасти повторяют историю с публикацией «Мусорного ветра». За антифашистской тематикой рассказа, также легализованной в советской литературе, Горький в 1934 году прочитал ее далеко не официозное содержание (не случайно Платонову даже в годы войны не удалось опубликовать рассказ «Мусорный ветер», который он не раз под другим названием включал в книги). Симптоматично, что геополитические и историософские прозрения автора «Мусорного ветра» и «Ноева ковчега» оценивались одними словами; ср. у Горького — «ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом».

КИНОСЦЕНАРИИ

В настоящем издании представлены образцы кинодраматургии Платонова — либретто и киносценарии разных лет.

К написанию первых киносценариев Платонов обратился после возвращения из Тамбова (март 1927). Где-то с мая устанавливаются отношения со сценарным отделом 1-й кинофабрики «Совкино», он включается в работу над киносценариями по собственной прозе. Новое искусство увлекло в двадцатые годы многих писателей. Сценарии для кино пишут В. Маяковский, В. Шкловский, В. Киршон, И. Бабель, В. Зазубрин, Б. Лавренев, Ю. Тынянов, С. Третьяков и др. Писатели и критики (Б. Арватов, О. Брик, С. Третьяков, Б. Эйхенбаум, И. Эренбург) входят в редколлегия журналов «Советское кино»; критики Лефа становятся едва ли не главными теоретиками нового искусства XX века, призванного обновить язык литературы. На рубеже 1926—1927 года много говорится и пишется о «сценарном голоде» в кино, объявляется новый призыв сценаристов (*Перцов В. Литература и кино // Советское кино*. 1927. № 5—6. С. 10). Платонов с энтузиазмом откликнулся на этот

призыв, о чем свидетельствуют его письма жене июля 1927 года: «Либретто передано на доработку режиссеру совместно со мной. В понедельник у меня свидание с режиссером. В понедельник же — ответ из Совкино по поводу службы»; «В Совкино мне говорят, что на мои вещи нельзя писать рецензий, а надо писать целые исследования и т. д. — до того, дескать, они хороши. Отчасти это преувеличенно, но все же каждому должно быть лестно. <...> Завтра ответ в Совкино о службе»; «Меня хвалят всюду. <...> Либретто — тоже. <...> Ставить “Песчаную учительницу” будет лучший режиссер — наверно, Пудовкин. Я видел заключение Правления Совкино»; «В кино мне говорят, что я смогу стать большим сценаристом и, как только приедет из Л<енин>града Эйзенштейн, то меня познакомят с ним» и т. п. (Архив. С. 482—489). Однако надежды Платонова на вхождение в киносценарное сообщество и на службу в Совкино не оправдались: тяжело шла работа над «Песчаной учительницей», рецензенты требовали переделки текста; он писал и переписывал либретто и сценарий, другие сценарии («Епифанские шлюзы», «Лампочка Ильича») не были приняты ни к публикации, ни к постановке.

Судя по сохранившимся заявкам Платонова, он предлагал написать киносценарии практически по всем повестям 1927—1928 годов. С точки зрения письма Платонова, мы имеем здесь прямо противоположный закон: не характерное для прозаического текста сжатие текста, а его расширение и развертывание. Сценарные тексты Платонова представляют уникальные документы авторской интерпретации собственной прозы — обстоятельный авторский комментарий хронологических узлов, формул героев, природы конфликтов прозаического текста. Фактически все этапы работы Платонова над прозой сопровождали сценарные замыслы, они или предшествовали прозаическому и драматургическому тексту («Машинист» — повести «Котлован» и пьесе «Высокое напряжение»), или создавались на их основе (рассказы «Бессмертие» и «Фро» — «Воодушевление», «На заре туманной юности» — «Неродная дочь»). Из-за невозможности опубликовать и поставить тот или иной сценарий Платонов постоянно перемонтировал написанное в новый текст (отсюда повторы целых сюжетов, которые из одного десятилетия переходили в новое).

Отношения с современным киносценарным процессом у Платонова так и не сложились. И в этом была своя закономерность,

ибо киноискусство, как и литература, существовали в общем идеологическом контексте эпохи, на страницах кинематографических изданий обсуждалась та же проблематика (героя, соцреализма, отношения с классикой, формализма и народности и т. п.), шли те же дискуссии, что и в литературе, а в самом «сценарном департаменте» разворачивалась не менее жесткая, чем в литературе, борьба разных группировок и направлений, в которой активное участие принимали писатели, главные работники в этой самой молодой отрасли литературы и создатели нового жанра драматургии — киносценария.

Киноискусству отводилась большая роль в новом государстве (см.: Руководящие постановления по кино. М., 1929). В двадцатые годы выходит огромное количество самых разных периодических киноизданий: двухнедельник Общества кинодеятелей «Кино» (1922—1923), газета «Кино» (с 1925), журнал «Арт-экран» (1923) и «Киножурнал АРК» (1925 — 1926), «Пролетарское кино» (1925, 1931—1932) и «Пролеткино» (1923—1924), «Советский экран» (1925—1929) и др.; создается Общество Друзей советского кинематографа (ОДСКФ), занимающееся пропагандой нового искусства. В киноискусстве разворачивается борьба разных эстетических направлений и течений (см.: *Пиотровский А.* Художественные течения в советском кино. Л., 1930); в эти годы создается огромная специальная литература по языку кино и написанию сценарного текста, печатаются многочисленные «Памятки начинающему сценаристу»; со страниц периодики не сходит обсуждение вопроса «литературного кино», то есть переделки литературного произведения для кино. С 1930 года, когда в киноискусстве проходит революционный поворот от эстетики немого кино, овладевшего принципами монтажа, к звуковому (в августе пройдет Первая Всесоюзная конференция по звуковому кино), все десятилетие обсуждается широкий круг проблем введения звука в ткань эстетики немого кино. Дискуссии на фронте киноискусства в 1930 году не ограничиваются специальными вопросами; кинодеятели также образуют ударные бригады, отправляющиеся на стройки социализма; широко обсуждаются фильмы, посвященные «реконструктивному периоду» деревни и города («Старое и новое» С. Эйзенштейна, «Земля» А. Довженко и др.); в марте объявляется конкурс на лучший сценарий по следующим жгуче актуальным темам «года великого перелома»: «антирелигиозная молодежь в ре-

волюции, социалистическое соревнование, колхоз, новый человек и школа» (На кинофабриках // Рабис. 1930. № 13. С. 8). Платонов, работавший в 1930 году над несколькими сценариями о годе великого перелома в деревне и городе, отзовется на революционный перелом в киноискусстве в статье «Великая Глухая», поставив рядом с новым искусством «родную сестру» — литературу и обвинив их в полном незнании жизни: «За временный технический недостаток — беззвучность — кино было некогда прозвано великим немым. Этот условный образ превратился в безусловный, хотя кино и заговорило, — хотя точнее следовало бы назвать теперь наше кино Великим Слепым: оно не видит того, на что действительно надо наводить объектив съемочного аппарата. Кино наше слепо, как новорожденное существо, а большинство наших картин ничего не говорит напряженному сознанию современного человека — они немые абсолютно, а не технически. В паре Немому идет его Великая Глухая сестра — литература».

С образованием Союза писателей в секции драматургов образуется киногоруппа, которая занимается организацией киносценарной работы и обсуждением сценариев (с 1945 — Комиссия по кинодраматургии); ежегодно проводятся Всесоюзные совещания по тематическому плану кинофабрик, на которых заглавные доклады делают члены ЦК партии; отдельными изданиями выходят «Производственные планы Главного управления советской кинематографии» на каждый год, продолжает издаваться газета «Кино» и журнал «Советское кино» (с 1936 года — «Искусство кино»), на страницах которых печатаются и обсуждаются сценарии, снятые по ним фильмы; специализированное издательство «Кинофотоиздат» постоянно выпускает сборники сценариев и книги по сценарному искусству. На страницах кинопериодики постоянно говорится о некачественных сценариях, из года в год идут призывы к киносценаристам: «Теперешние методы работы со сценаристами должны отойти в прошлое» (К итогам Всесоюзного совещания по тематическому плану // Искусство кино. 1936. № 1. С. 6); «Невыполнение плана производства картин в 1935 г. объясняется отсутствием сценариев...» (Кржижановский Г. За чистоту реалистического искусства // Там же. 1936. № 2. С. 16); «Искусство кино начинается лишь тогда, когда приходит драматургия» (Юков К. К проблеме сценарного образа // Там же. 1936. № 5. С. 32).

С 1935 года кинофабрики возобновляют работу с Платоновым, его имя встречается в планах (см.: План юбилейного года // Там же. 1936. № 7. С. 14); с 1938 он начинает писать сценарии для Союздетфильма, но до публикации дойдет лишь либретто «Неродная дочь», напечатанное на страницах далекого от киноискусства журнала; остальные сценарии осядут в кинематографических архивах или будут возвращены писателю — с отказом или требованием радикальной переработки текста.

Песчаная учительница (с. 445)

Впервые: Киносценарий: Литературно-художественный альманах. 1988. № 2. Публикация М. А. Платоновой.

Печатается по первой публикации.

Работа над либретто и сценарием шла всю вторую половину 1927 года. Сценарий был включен в тематический план кинофабрики на второе полугодие 1928 года, но работа над постановкой так еще и не началась, хотя, кажется, и тематически «Песчаная учительница» вполне вписывалась в генеральную линию пролетарской кинематографии. Об этом говорил в своем отчете на заседании ВАПП (декабрь 1927) зав. Художественным отделом 1-й кинофабрики «Совкино» прозаик А. Тарасов-Родионов: «“Песчаная учительница”. Это рабочее название. Мы сейчас придумываем что-нибудь другое. Я беру это название как ориентировочное. Это фильма о переходе наших кочевников отсталых племен на окраинах нашего Союза на оседлую жизнь, на земледелие. Причем тут же разрабатываются и некоторые моменты национального вопроса»; «нужная тема о продвижении женщины на производство, это есть тема о новой женщине на производстве» (ОР ИМЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 379, л. 16, 18). Название у сценария будет изменено, возможно, чтобы устранить похожесть на планируемый на 1928 год фильм «Первая учительница»; а сам текст переживет еще не одну переработку до выхода в свет фильма «Айна» (1930).

Машинист (с. 459)

Впервые: Новый мир. 1991. № 1. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментариев Н. Корниенко.

Печатается по: Платонов А. Котлован. Текст, материалы творческой истории. СПб.: Наука, 2000.

Как свидетельствуют записные книжки и рабочие тетради, летом-осенью 1930 года Платонов работал над несколькими сценариями на колхозную и производственную темы. Написание сопровождал очерк «По Тихой Сосне» (река в Воронежской области, район, где губернский мелиоратор Платонов в 1924—1926 годах проводил общественно-мелиоративные работы; здесь работал экскаватор, привезенный им из Ленинграда июне 1926 года). Записи к очерку перемежаются в рабочей тетради с материалами к одноименному сценарию, в которых представлен жесткий анализ хозяйственной деятельности года «великого перелома»: «Богатая луг<овая> долина. Бедн<ые> деревни. Постройка дамбы поперек долины. Река умирает. Луга уничтожаются. Деревни нищают. Скот дохнет. Продукции нет. Город строится. Очереди у магазинов. <...> *Партия мобилизует рабочих в деревню*» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 2, ед. хр. 8, л. 5).

После публикации в марте 1930 года статьи Сталина «Головокружение от успехов» Острогожский округ Воронежской области (район Тихой Сосны) фигурирует даже в центральной периодике как яркий пример «головокружения от успехов»; здесь «сплошная коллективизация» была закончена уже к февралю 1930 года, а выступления крестьян подавлены только войсками Красной армии (см.: Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг. М., 1989. С. 319). Место действия в сценарии не указано, но оно имеется в сопроводительном письме, где Платонов предлагал местом съемок район поймы реки Тихая Сосна. На страницах сценария происходила первоначальная разработка контуров сюжета и формул героев «колхозной» части повести «Котлован»; к модели производственной части сценария Платонов вернется в пьесе «Высокое напряжение» (см. подробно: Корниенко Н. Киносценарии в творческой истории «Котлована» // Платонов А. Котлован. Текст, материалы творческой истории. М.: Наука, 2000. С. 323—363).

Воодушевление (с. 477)

Впервые: Здесь и теперь. 1992. № 1. Публикация М. Немцова и Д. Кудри.

Печатается по первой публикации.

7 мая 1936 года Платонов подписал договор на написание сценария о людях железнодорожного транспорта. Сценарий должен

был быть предоставлен к 15 июня того же года. На полях договора запись Платонова: «Просрочка больше месяца» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 19).

Киносценарий написан в рамках государственно-культурного проекта 1936 года о создании произведений о героях железнодорожного транспорта (подробно см. комментарий к тому «Счастливая Москва», с. 580—583). Кажется, что Платонов учел все возможное, чтобы сценарий получился идеальным. Поначалу в рукописи вместо Иных шел сам «народный» нарком Каганович, но затем Платонов от этого героя откажется, заменив его на Иных (в тексте останутся реалии первого решения: так, к примеру, вряд ли стрелочки вешали у себя в будке портрет начальника станции Иных, а портрет Кагановича — обязательно). В отличие от «Машиниста» этот сценарий написан для звукового кино. «Воодушевлением» Платонов предложил свой ответ на широко обсуждаемые в киноведческой периодике вопросы «сюжетной музыки»: «...как озвучить жизнь, разворачивающуюся на экране», как соединить разработанные для немого кино приемы монтажа с введением в ткань фильма звука и музыки» (Черемухин М. Роль композитора в кино // Советское кино. 1935. № 11. С. 50—52).

К концу лета сценарий был написан и сдан в сценарную студию Мосфильма, однако и «Воодушевление» не дойдет до экрана. Платонов не раз еще вернется к тексту. 14 ноября дирекция «Мосфильма» принимает специальное постановление о 3-м варианте «Воодушевления»; автору предлагается «в обязательном порядке» доработать сценарий по указанным замечаниям, которые мало чем отличались от суждений критики о платоновских рассказах.

«В сценарии нужно будет:

1. Доработать образ Начальника дороги — Иных. Он слишком однообразен в своих поступках, он действует в подчеркнутом отрыве от тех сил на ж.-д. транспорте, на которые он должен был опереться в первую очередь. Нужно освободить его поведение, слова, поступки от элементов подавленности, обреченности.

2. В образе и характере Арфы устранить элементы истеричности, найти мотивировку отдельных ее поступков.

Превращение Арфы в почтальона и в последнем варианте сценария сделано неубедительно.

3. Проверить правильность временной протяженности езды Федора (после суда).

Получение Федором телеграммы от Наркома должно сказаться в его поведении: эта телеграмма должна заставить Федора почувствовать себя полноценным человеком; его пассивность, подавленность после возвращения домой ничем не оправданы.

4. Изъять такие эпизоды, как “язык Корчебокова”, “счастливая пара”.

5. Исправить политически неправильные реплики, как решение Корчебокову по благу расширять дорогу, о Наркомсвязи, об орденах, о сознательности Арфы после того, как угнали ее мужа.

Выправление образов Арфы, Федора, Иных, освобождение их от подавленности, обреченности, — особенно во второй половине сценария, когда развертывающиеся в сценарии события уже говорят о первых успехах, достигнутых при новом руководстве, приведет к тому, что и весь сценарий в своей направленности делается более оптимистическим, радостным и утверждающим» (сообщено М. Немцовым).

Платонов провел еще одну доработку сценария, и 20 декабря текст поступил в сценарную студию. К машинописи приложен в целом положительный отзыв, однако в производство сценарий так и не ушел. Платонов продолжал бороться за «Воодушевление» и в 1938 году отослал сценарий в главную киноинстанцию — Комитет по делам кинематографии, о чем свидетельствует записка Я. З. Черняку (в 1938 году — редактор сценарного отдела Комитета по делам кинематографии): «Яков Захарович! У вас есть мой сценарий “Воодушевление”, он уже давно у вас. Когда же будет решение по нему? Сообщите мне, пожалуйста: Тверской бульв., 25, кв. 27, — или вызовите меня. Привет. А. Платонов» (РГАЛИ, ф. 2208, оп. 2, ед. хр. 407, л. 1).

Отец (с. 525)

Впервые: Искусство кино. 1967. № 3. Под названием: «Отец — мать».

Печатается по авторизованной машинописи (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 91). Название в рукописи — «Отец-мать» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 76).

К рукописи приложены «Примечания для постановщика»:

«Картину надо ставить и играть в сухой — жесткой, экономной манере, без всякой сентиментальности. Как на пример постановки

того стиля, который наиболее соответствовал бы теме этого сценария, можно указать на “Парижанку” Чаплина.

Роль мальчика Степана должна исполняться артистически, а не рефлекторно — как часто играют дети в кино, а также — без всякой сентиментальности и детской “обворожительности”.

Сценарий рассчитан главным образом на игру актера.

Основной исходной мелодией для музыкального оформления сценария следует взять, по-моему, “Сурок” Бетховена.

Автор» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 91, л. 2).

Неродная дочь (с. 569)

Впервые: Вокруг света. 1940. № 12. С подзаголовком: «Кинематографический рассказ».

Печатается по машинописи с авторской правкой (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 94).

17 декабря 1938 года Платонов подписал договор с «Союздетфильмом» на написание киносценария под условным названием «На крутом уклоне» (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 29); сценарий должен был представлен не позднее 20 января 1939 года. При написании сценария Платонов использовал страницы журнала «Новый мир» с публикацией рассказа «Ольга» в «Новом мире» (под названием «На крутом уклоне» рассказ печатался в сборнике «Комсомольское племя». М.—Л., 1938).

В отличие от рассказа, действие в котором разворачивается в годы Гражданской войны, в сценарии история сироты передвинута на осень 1938 года (брат Юшки, пограничник, ранен во время вооруженного конфликта на советско-японской границе, в районе озера Хасан).

Жанровое обозначение «Кинематографический рассказ» появилось в машинописи: оно было дважды вписано и вычеркнуто. На обороте последнего листа вписан адресат рукописи («Вокруг света»); очевидно, при перепечатке подзаголовок был восстановлен. В соответствии с новым жанровым обозначением Платонов провел сплошную редактуру сценария, стягивая кадры в единый текст. Именно этот текст стал основой либретто киносценария, отправленного 21 июня 1941 года в Сценарную студию Мосфильма; в левом углу машинописи рукой Платонова вписаны адресаты — М. В. Большинцов (директор сценарной студии Комитета по делам кинематографии) и В. Шкловский (редактор сценарной студии

Мосфильма). В это время в сценарной студии лежали и другие сценарии Платонова; ни один из них не был принят.

Семья Иванова (с. 594)

Впервые: Советская литература. 1990. № 10. Публикация М. А. Платоновой.

Печатается по первой публикации.

8 декабря 1945 года Платонов подписал договор с Мосфильмом на написание сценария «Семья Иванова»; сценарий должен был быть предоставлен к 1 февраля 1946 года (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 46). До этого была написана заявка на киносценарий, в которой изложены замысел, основные идеи и сюжетные линии послевоенной истории капитана Иванова (опубликована; см.: *Воспоминания*. С. 455—457).

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕСЫ

Дураки на периферии	11
Шарманка	57
Высокое напряжение	112
14 Красных избушек	150
Голос отца	205
Без вести пропавший, или Избушка возле фронта	214
Волшебное существо	228
Ученик Лицея	291

НЕОКОНЧЕННОЕ

<Избушка бабушки>	377
Ноев ковчег	388

КИНОСЦЕНАРИИ

Песчаная учительница	445
Машинист	459
Воодушевление	477
Отец	525
Неродная дочь	569
Семья Иванова	594

КОММЕНТАРИИ

<i>Н. Корниенко</i>	681
---------------------------	-----

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ

редактор

Татьяна Тимакова

художественный редактор

Валерий Калныньш

корректор

Ирина Машковская

Подписано в печать 21.02.2011.

Формат 84x108¹/₃₂

Усл. печ. л. 38,64.

Бумага писчая. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз.

Заказ № 154.

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 951 5568

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством

предоставленного оригинал-макета

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

